



АНАТОЛИЙ ТКАЧЕНКО

# **ВРЕМЯ ДОЛГОЙ ЗИМЫ**





Анатолий Сергеевич Ткаченко родился в 1927 году. Детство и юность его прошли на Амуре и в рыбацком селении у Охотского моря. Отсюда был призван в армию, и служил на Дальнем Востоке. После демобилизации стал журналистом. Первая книга вышла в 1955 году — стихи для детей «Пионерское лето». С тех пор в дальневосточных и центральных издательствах вышло немало его книг. И хотя ныне писатель живет в Подмоскowie, в своем творчестве он остается верным родной земле.

Повествование «Время долгой зимы» — автобиографично. Оно наполнено событиями и картинами жизни предвоенных и суровых лет войны.

АНАТОЛИЙ ТКАЧЕНКО

# **ВРЕМЯ ДОЛГОЙ ЗИМЫ**

ПОВЕСТВОВАНИЕ  
В ПЯТИ ЧАСТЯХ



Хабаровское книжное издательство • 1974

**ДВР 2**  
**Т-48**

Т  $\frac{0-7-3-2-30}{M160(03)-74}$  20-74

© Хабаровское книжное издательство, 1974

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

---



---

## ПРАЗДНИК БОЛЬШОЙ РЫБЫ

**Д**едушка Розов открыл дверь, вскинул длинную ладонь к глазам, но очков на носу не оказалось, он сильно сморщился, чтобы заставить свои глаза видеть, спросил:

— Ребятки?..

Мы позабыли сказать «здравствуйте», как это уже не раз случалось на его пороге, замялись, прячась друг за друга, хотя еще минуту назад договорились, что первым все объяснит Бэркэн, и потом вместе мы поздороваемся.

— Вы ко мне?

— К вам, к вам... — сказал наконец Бэркэн из-за моей спины.

— Ну так прошу.

Дедушка Розов повернулся, пошел, неслышно ступая мягкими оленьими туфлями с беличьей оторочкой, на ощупь застегивая меховую жилетку. Он так же неслышно сел в низенькое кресло, покрытое бурой, очень лохматой медвежьей шкурой, нацепил на кончик маленького носа, загнутого сапожком, очки и только сейчас как следует разглядел нас.

— Опять эта двоица! Вы же у меня были недавно. Музей смотреть хотите?

За открытой дверью, в глубине длинного дома, виднелись полки, стеллажи вдоль стен, застекленные ящики,

столики, лавки. И на всем этом тесно, пестро, громоздко размещались чучела птиц, зверей, рыб; горки кристаллов, разного цвета камней. Невозможно было отвести глаза, невозможно было, кажется, заговорить в этом царстве замерших таежных и морских жителей, мерцающих камней. За спиной дедушки Розова сидела желтоглазая сова; справа, на книжной полке, висел вниз головой красноголовый дятел, на некрашеной доске стояла пятнистая, оскаленная рысь, а на письменном столе — белая, как зимний горностай, белка.

Конечно, музей можно смотреть каждый день, и все равно чего-нибудь не увидишь — так здесь много всего, — и мы будем приходить смотреть по выходным дням, когда дедушка Розов открывает музей для всех (в обычные дни ему тоже надо работать), но сейчас у нас с Бэркэном особенное дело.

— Давай, — сказал я, и Бэркэн вынул из-за спины стеклянную банку. — Вот... — он осторожно приблизился к Розову. — Экспонат... — выговорил я красивое, не совсем понятное мне слово и поставил банку на стол перед стариком.

Не поднимаясь, не протягивая руки, дедушка Розов направил стекляшки очков на банку. Смотрел, кажется, долго, совсем безразлично. А в банке была мутная вода, и на дне — длинная, похожая на змейку, рыбка. Рыбка дремала, может быть, померла в теплой воде, и мы не знали, что делать, что сказать. Я начал потихоньку просить, умолять рыбку: «Ну, шевельнись, ты же еще живая... Ну, пожалуйста...» И рыбка наконец всплеснула воду, кольцами проплыла за стеклянными стенками.

— Вы где это взяли? — спросил Розов.

— В речке, — ответил быстро и почему-то жалобно Бэркэн. — У вас такой нету.

— В Кутиме?

— В Кутиме, точно, — подтвердил я. — Вместе на-шли.

— А еще видели?

— Видели несколько штук. Одну поймали.

— Ай, молодцы!

Он все еще сидел, не трогая банку, лишь слегка приблизил к ней нос, всегда почему-то дергающийся, как от комариного укуса, поправил очки. Принюхивался будто. А вода кутимская всегда илом пахнет.

— Да вы садитесь, садитесь, ребята. Я сейчас, одну минутку. — Но не глянул на нас, и, наверное, мы могли бы потихоньку выйти за дверь. — Так, так... Скажите, пожалуйста... В Кутиме, значит...

— Честное слово, — шепотом сказал Бэркэн.

— А вы знаете, что это такое?

— Рыбка-вьюнок, — выговорил я, потому что когда-то в деревне на Амуре видел вьюнов.

Дедушка Розов достал платок, утер глаза, усы и бородку, почистил очки. Потом встал, взял банку, сунул длинные пальцы в воду, выловил рыбешку, положил ее на ладонь.

— Ну вот. Я не ошибся. Это минога. Подкласс бесчелюстных позвоночных животных класса круглоротых. Предполагал, что миноги у нас водятся, а не нашел... Вот тодько маловата что-то... Ничего, теперь разведем... Что вам за это дать, как наградить, ребята?

Все знали в поселке, что краевед Розов платит за редкие экспонаты: мужчинам покупает спирту, женщинам духи, а ребятишкам конфеты или даст немного денег на цветные карандаши, рисовальную бумагу. Его считали чудаком, забавным старикашкой, подсмеивались даже, когда он с ловушками, сачками, сетками, мелкокалиберным ружьем, в шляпе-накомарнике отправлялся на марь или в тайгу. Но все равно уважали, говорили, что он очень ученый человек. К нему приходили советоваться учителя, сам заведующий культбазой. А мы, мальчишки и девчонки, побаивались дедушку Розова: он, казалось нам, колдун немножко, шаман, знающий все про зверей, рыб и людей.

Я глянул на Бэркэна, мой дружок посмотрел на меня. Его узкие глаза сделались еще уже, широкие щеки еще шире, шея и вовсе истончилась. Бэркэн вспотел. Мне тоже стало жарко. Я подумал, что говорить надо мне, потому что Бэркэн плохо знает русский язык, ему трудно выговаривать слова. Мы заранее условились, если наш экспонат будет хорошим, не брать конфет, денег, а попросить Розова рассказать про гору Лумукан.

— Он бичаны Гутчинсон? — вдруг спросил старик, наклонившись к Бэркэну.

Я понял его — это он спросил по-эвенкийски, как живет Гутчинсон, дед Бэркэна.

— Ая! Со ая! — ответил Бэркэн очень серьезно, но

сразу улыбнулся: так ему понравилось, что Розов умеет по-эвенкийски, и тут же нашелся: — Мой дедушка не хотел рассказать Лумукан.

— Лумукан? — удивился Розов, снимая очки, будто ему надоело смотреть на нас. — Вы такие маленькие... Зачем вам?

— Бэркэна дразнят «америкашка», — сказал я.

— Вот как? Почему же это?

— Гутчинсон говорит, что он американец.

— Когда выпьет, наверно?

— Не знаем.

— Ну так и рассказал бы он вам.

Бэркэн махнул рукой, отвернулся к окошку, показав красное ухо.

— Этыркэн не умеет, однако.

Дедушка Розов прошелся до двери, вернулся, нежно потрогал красный хохолок на голове дятла — тот качнулся, будто ожил на минуту, опустился в свое медвежье кресло, принялся молча пощипывать седую, остренькую бородку.

«Его зовут еще «розовый старик», — вспомнилось мне, — потому что все у него розовое: щеки, нос, даже морщинистая шея; и руки нежные, розового цвета. Интересно, сам он придумал себе такую фамилию или от предков ему досталась? Может быть, они тоже были все розовые?..»

— Ну что ж, ребята. Придется рассчитывать. Вот только обдумать надо. Попроще бы... Вы в каком классе?

— В пятый перешли.

— Старички, совсем старички!

— Мы хорошо учился, — сказал Бэркэн.

Розов засмеялся, упер ладони в колени, глаза смежил на зеленые лиственницы за окном.

— Когда-то давно, может, лет пятьдесят назад, может, больше, — истории про это не написано, — приходили из Америки сюда китобои. Добывали зверя, рыбу ловили, пушнину скупали. В нашем заливе база у них была, фактория. Это понятно вам? Хорошо. Сколько тут было американцев — никто не знает. Но главным у них был, будто бы, Гутчинсон. Самый богатый. Хозяин. Он полюбил девушку Лумукан, эвенкийку. Дорогие подарки дарил ей. А потом уехал. Она ждала его, ходила встречать на гору, что у моря. Гутчинсон не вернулся. У Лу-

мукан родился сын. Она брала его с собой на гору. Ну и как-то упала вместе с ребенком со скалы. Сама утонула, а ребенок зацепился одеждой за лиственницу. Там его потом нашли люди. Гору называли Лумукан. Мальчику дали имя Гутчинсон, будто бы в память о добром американце. Вот и все. Понятно?..

Мы молчали. Бэркэн смотрел в пол, на кумалан — коврик из оленьей шкуры — и почему-то сильно сопел носом (можно было подумать, что он плачет). Я перебирал в уме слова дедушки Розова, искал в них то, чего не сказал старик; утаил, считая нас совсем маленькими. Не может же быть так понятно и просто: мы уже знали все это. И за свой «экспонат» хотели услышать длинную сказку с пиратами, парусными кораблями, пещерами и кровавой мстью. И, конечно, чтобы Бэркэн оказался не америкашкой, да и Гутчинсону зачем американцы?.. Сказка должна быть очень интересной, страшной, но все равно должна быть только хорошей..

Дедушка Розов сказал, словно кто-то спросил его:

— Да. Этыркэн Гутчинсон говорит, что он сын Лумукан.

Бэркэн всхлипнул, прижимая ладонь к глазам, убежал в дверь, оставив её открытой. Я видел, как он, размахивая одной рукой, низко наклонившись, бросился в одну, другую сторону и спрятался в кустах стланика. Вскочив с лавки, я хотел побежать за Бэркэном, но меня поймал за рубашку розовый старик.

— Подожди-ка. Вот не ожидал! Беда с вами. Ты вот что. Скажи дружку, что это легенда, сказка. Никто не проверил. А он, Бэркэн, самый настоящий эвенк. Посмотри, какие у него щеки, глаза. Нашли американца. Всем ребятам скажите: Розов говорит — выдумка это. А Гутчинсону я обязательно скажу, чтобы меньше болтал. Ну, иди.

Я бросился к двери, убежал на крыльцо.

— Подожди, минутку!

Дедушка Розов сунул мне в руки горсть конфет-подушечек, шлепнул слегка ладонью в затылок.

— А за многу спасибо. И заходите, жду...

Он еще что-то кричал мне вслед, но я уже не слышал. Метнулся в одну, другую сторону по следу Бэркэна, нырнул в кусты стланика. Запрыгал по багульнику, упал, запутавшись ногами в цепких ветках; чуть не

задохнулся в туче багульниковой пылицы; зато, когда поднялся, сразу увидел Бэркэна. Он сидел под густой стланиковой лапой на белой кочке из мха-ягеля, держа ладонями голову. Он уже не плакал, лишь сопел и надувал толстые губы, будто кто-то невидимый ругал его за нехороший поступок.

Я подсел к нему и сразу заговорил, чтобы Бэркэн опять не сбежал куда-нибудь; в тайге мне его не найти — он все тропки звериные и человеческие знает.

— Послушай. Розовый старик сказал; это все сказка, выдумка. Скажи, говорит, Бэркэну — он самый настоящий эвенк. У него совсем черные волосы — я провел ладонью по колючему ежику друга, — щеки, глаза... Всем ребятам скажите, говорит Розов. А дед твой просто болтает много... Вот, конфет дал, на.

Конфеты Бэркэн любил, никогда не отказывался, в интернате зимой кашу и суп на конфеты менял, и поэтому подставил ладонь; я все ему высыпал, оставил себе за щеку заложить. Он не заметил такой дележки — очень был расстроенный, а когда съел конфеты, перестал сопеть. Значит, поправилось настроение.

— Ты хороший лучакан\*, — сказал Бэркэн. — Байе, друзья будем.

— Мы уже байе.

— Всегда будем.

Я вспомнил, как зимой выручил меня Бэркэн. Шел я вечером куда-то, и меня подкараулил Никита Ямсольский. Повалил в снег, начал колотить за стишок в стенгазете. Стишок маленький, такой: «В нашей школе есть Никита, не похож он на бандита, но девчонок и мальчишек он клюет, как филин мышек». Пустяковый, можно сказать, стишок. И зачем обижаться, если правда в нем написана? Но старшие Ямсольские, отец и мать, в школу приходили, с завучем ругались, а потом Никита меня подкараулил. Навалился, бьет. Я голову прячу, вырваться и не думаю, он вдвое тяжелее меня. И вдруг Никита упал в снег, я вскочил, вижу: на нем верхом сидит Бэркэн, как на олене подпрыгивает. Намяли бока Никите, потребовали слова, что больше не будет на меня нападать. Только после всего этого, когда мы остались вдвоем с Бэркэном, я заплакал. Нет, не от ку-

---

\* Лучакан — русский (эвенк.)

лаков Никиты — оттого что Бэркэн так помог мне, не побоялся здорового Никиты; оттого что дружба может быть не только в книжках... Стыдно потом было, но Бэркэн никому не рассказал об этой драке, о моих нюнях. Таежные люди умеют молчать.

Я протянул Бэркэну руку.

— Давай.

Когда Бэркэн сжал мои пальцы, я дернул его за руку, поднял с кочки.

— Чего сидим? Пойдем куда-нибудь.

Бэркэн подумал немного, раскусил последнюю конфету, сунул половинку мне в рот.

— Пошли на лайду, дельфинов смотреть будем.

Пробрались сквозь стланиковые кусты, нашли тропинку, пустились по ней вниз. Тропинка твердая, пробита до земли, извилистая, как ручеек. По сторонам лиственницы, плотные, ветвями небо закрывают. Бежим — и лес понемногу редет, вот уже марь проглянула впереди, и за нею серо-синяя полоса. Это море.

Пересекаем марь, но не так быстро: надо прыгать с кочки на кочку, чтобы не намочить ноги, да еще морошка и голубика попадают, попробуй не сорви, если особенно крупная, — прыгаем, хватаем ягоду. Бэркэн похож на подстреленного зайца, я, наверное, тоже. Все-таки выбегаем на лайду — морской берег, заваленный плавником, водорослями.

Слева гора Лумукан (она у самого устья реки), справа мысы, голубая галечниковая лайда, уходящая в открытое море, исчезающая в тумане; прямо перед нами — шумит мутная, илистая вода залива. От нее ветер, морские запахи, от нее морось и холод.

Я смотрю на Лумукан, смотрю незаметно для Бэркэна (он-то, знаю, смотреть не будет), но ничего интересного, нового не вижу. Это даже и не гора — большая скала, покрытая сверху лиственницами, обрывается к морю, как срезанная ножом булка. Красивая скала, зелено-черная издали. Но лишь издали. Подойдешь — вся в завалах камней, в гротах, пещерах, и лиственницы поверху корявые, покалеченные ветрами. Неужели она была такой всегда, даже в те времена, когда не имела никакого названия?

— Ты зачем думаешь? — толкнул меня Бэркэн. — Смотри, не ловят дельфинов.

В заливе не было катеров, лодок. Дельфиний невод был подвешен на козлы для просушки. Это и я теперь заметил. Или вчера много заловили дельфинов-белух и на жиротопном заводе не управились, или шторм больше пяти баллов... Из воды виднелись лишь кольца ставных сеток на кету да справа, за серым валуном, сидел охотник, подкарауливая нерп.

— Пойдем смотреть, — сказал Бэркэн.

К охотнику подбирались медленно. Сначала, пригнувшись, перебегали за плавником, потом ползли к валуну по мокрой гальке. Неслышно, почти не дыша. Шумел прибой, кричали чайки, посвистывал ветер. Подползли, поднялись на корточки за валуном, возле охотника, отдохнули.

— Мэнду бэе, Гиравуль! — слегка толкнул оленью куртку охотника Бэркэн.

Тот быстро повернулся, наверное испугался, посмотрел на нас и сразу показал широкие зубы — не рассердился, значит.

— Кэ, мэнду! — ответил (здравствуйте!). — Закурить есть?

Бэркэн сунул руку в карман пиджачка, вынул горсть махорки. Гиравуль медленно взял, набил махоркой трубку, закурил, жмурясь и сладко вздыхая.

— Ая. Спасибо.

Мне сделалось обидно, что не я угостил Гиравуля табаком. Для него бы ничего не пожалел. Он лучший стрелок в школе среди старшекласников, хороший лыжник, лучший гонщик на оленьей упряжке. И еще чемпион в эвенкийской борьбе. Но мне никак нельзя носить в кармане махорку: отец заметит — скандал будет. А Бэркэну можно. Ему чуть ли не с первого дня жизни трубку пососать давали, спиртом угощали. И теперь ни родители, ни дед Гутчинсон за табак не ругают. Правда, Бэркэн не очень любит курить, в школе никому не дает, но табак всегда носит — привычка такая. Чтобы старших угощать. Еще примета у эвенков есть: табак злых духов отгоняет.

— Хорошо, что пришли, — говорит Гиравуль. — Скучно одному, однако.

— Не убил? — строго спросил Бэркэн, будто он самый старший здесь.

Гиравуль перестал улыбаться, ответил очень серьезно, даже немножко извиняясь:

— Понимаешь, далеко ходят... Убью — как достать?

— Далеко — не надо, — согласился Бэркэн. — Давай все смотреть будем.

Гиравуль кивнул, и мы облепили камень, высунув из-за него головы.

Выслеживать нерпу нелегко. Волны у берега толкались, плясали, вспенивались барашками. Солнце то высвечивало сквозь тучи, то пропадало в их черноте. Глаза уставали. Кажется, невозможно заметить в таком месиве мокрую голову нерпы, тем более попасть из мелкокалиберки в нее.

И все-таки дзинькнул выстрел. Гиравуль вскочил, побежал к воде. Мы — за ним. У прибоя Гиравуль сбросил с себя одежду и с коротеньким гарпуном на шнуре кинулся в воду. Было не очень глубоко, но волны сбивали его, он то плыл, то бежал. Наконец завертелся на месте, нырнул, фыркнул, что-то крикнул нам. Мы не поняли, принялись раздеваться. И тут Гиравуль, барахтаясь, быстро побежал к берегу. Его свалила прибойная волна, он на четвереньках выбрался на гальку, сунул нам в руки шнур.

— Тащите! — и, схватив одежду, побежал за валун одеваться.

Мы тянули шнур, на конце которого, где-то в воде, чувствовалась упругая тяжесть. Она медленно подвигалась к нам, и было боязно: вдруг оборвется шнур! Мы тянули, наверное, очень медленно, потому что Гиравуль, вернувшись, крикнул:

— Ай, охотники! Я думал — вы уже вытащили.

И он так начал работать руками, что мы едва успевали за ним, однако шнур, еще более натянувшись, не думал лопаться, словно железным был.

— Ну, теперь дружно! — скомандовал Гиравуль. — Раз, два, взяли!

На песок, как бы сама, выползла пятнистая длинная нерпочка. Сходу мы отволокли ее к плавнику, и тут бросили шнур, изрезавший нам пальцы.

— Ура! Праздник будем делать! — крикнул Гиравуль, а я и Бэркэн заплясали вокруг нерпочки, как старые эвенки вокруг большого убитого сивуча.

Гиравуль вынул нож, освободил гарпун, перевернул нерпочку на спину и взрезал ей живот от хвоста до головы. Запахло теплой тухлой рыбой, забелел жир, за краснело мясо.

— Делайте костер.

Мы принесли несколько охапок крупного сушняка, бересты для растопки, сухих палок для жара, уложили все за валуном, подожгли. А потом стали смотреть, как разделявает тушу Гиравуль.

Красиво он работал. Широко взмахивал рукой, вертел нерпочку, как куклу, придавливал ее коленом. Но ни одной капли крови мы не видели у него на одежде, даже руки выше ладоней были сухие. Пеструю шкуру он снял с нерпочки, как платице, отбросил в сторону. Выпотрошил внутренности, бережно положил на валун печенку. Короткими ударами высек три куска мяса, подал нам.

— Делайте шашлык.

Бэркэн вынул свой нож, срезал три палки-рогульки, надел на них мясо, воткнул палки заостренными концами в песок над огнем. Зашипело сало, запузырилась кровь, и мясо из темно-красного стало делаться черным. Душно запахло горячим рыбьим жиром.

— Ая! — морщился от огня Гиравуль и вертел свой кусок мяса, обжаривая его со всех сторон. — Хороший обед будет!

Я никогда не ел нерпичьего мяса, тем более поджаренного на костре. Русские говорили, что это невозможная дрянь, пахнет тухлой рыбой, вонючим жиром. И на самом деле меня подташнивало от запаха, но я терпеливо вертел свой кусок над огнем, повторяя движения Гиравуля, и старался выказать радость.

Гиравуль и Бэркэн сели у костра, подогнув под себя ноги, вынули ножи, принялись есть. Ели они, хватая зубами горячее мясо, ножом отрезали возле самых губ и, почти не жуя, глотали кусочки. Смотреть на них было страшновато.

— Дэкэл, кушай, — сказал Гиравуль.

И я впился зубами в горячую, душную мякоть, потому что хотел быть похожим на них, эвенков, с которыми мне, я знал, придется долго жить.

Утром я зашел к отцу на культбазу. Он работал в маленькой комнатке, где, кроме стола, табуретки и оленьих рогов у двери (они заменяли вешалку), ничего не было. Самым важным предметом на столе, а может быть, и в жизни отца, как мне казалось, были счеты. Он постоянно щелкал костяшками, очень четко и звучно, и мог заниматься этим в присутствии любого количества людей, даже разговаривая с кем-нибудь. Переставая щелкать, он оставлял руку на счетах, трогая, ощупывая их, как охотник цевье ружья, плотник — топориче.

В его комнате всегда было накурено, припахивало брагой или спиртом: отец выпивал с друзьями каждый вечер. Ходили по очереди в гости друг к другу. Похвалялись легкой жизнью на Севере, ругали прошлую крестьянскую жизнь, и отец всегда кричал, пьянея: «Друзья, товарищи, хорошо живем!»

Я постучался в дверь, вошел.

Отец хлестко бросал костяшки, густо дымил, щуря глаз и скосив голову. Был он не брит да еще с усами (усы, щетина на щеках — седые, почти белые) и потому, наверное, резко выделялись темные, без седины, волосы. Большеносый (эвенки говорили о нем: «нос — все равно чангай»\*), смугловатый лицом. Иногда он называл себя «амурским гураном»\*\*. Что это означало, я не знал толком.

— А, ты, — сказал он, глянув сквозь дым.

У меня екнуло в груди, я перестал дышать. И так всегда. Почему я боялся отца, почему не мог назвать его ни тятей, ни папой, — не мог понять. Он никогда меня не бил, не ругал. На гулянках даже хвастался мной (рисую хорошо, стишки сочиняю). В обычные дни, правда, совсем не замечал меня, но ведь я не обижался на это — больше свободы. Может быть, все потому, что отец не был мне ни другом, ни врагом?

— Хочу на Эвакан идти, — выговорил я в пол.

— Зачем? Это же далеко?

---

\* Чангай — тяжелая палка, которую привязывают пасущимся оленям.

\*\* Гураны — так называют себя забайкальцы смешанной национальности.

— Праздник олло, кеты, смотреть.

— С кем?

— Бэркэн и я.

Отец задумался. Хорошо — значит, можно настан-  
вать. Прекрасно, что Бэркэн остался на улице. Отец  
наверняка подумает о нем как о взрослом человеке —  
такое крепкое имя. Может быть, он знает, что по-эвен-  
кийски это: ловкий, отважный.

— С ночевкой?

— Одна ночевка.

Отец опять задымил, обволок себя дымом. А я уже  
знал, в чем дело: боится отчета перед матерью. «Что,  
куда, как?..» А самому ему уже стало скучно со мной,  
ему лучше просто знать, что я существую, здоров, одет,  
но говорить, заниматься мной — скучно, неинтересно.  
Особенно он остыл ко мне после того, как купил наве-  
селе баян — единственный в поселке, привезенный пар-  
нем по кличке Смит с золотых приисков — и за пол-  
года я не выучил даже гопака. Узнав, что мои дружки  
на моем баяне легко исполняют «На сопках Маньчжу-  
рии» и «Коробушку», он чуть не разбил баян, но мать  
вовремя спрятала, после продала.

— Матери скажи, — наконец решил отец.

Идти к матери было совсем ни к чему, лучше вовсе  
не собираться на Эвакан, и я соврал:

— За ягодами с бабами ушла.

И сам поверил, что так оно и есть: почему бы ей не  
уйти за ягодами? Погода отличная, голубика поспела.  
Отец не станет проверять, сестры едва ли прибегут к  
нему. В нашей семье все жили как бы сами по себе,  
лишь к ночи собираясь домой. Да и зачем было следить  
за нами в маленьком поселке, где каждый каждого  
знает по имени.

— Ладно, — махнул отец костистой, как костяшки,  
рукой.

Вот и все, так бы сразу. Так легче нам обоим. Я ны-  
ряю за дверь, по ступенькам сбегая к Бэркэну.

— Почему долго? — солидно сопит он.

— Поговорить надо было.

— Русские дома сидят, других тоже не пускают.

Чудной этот Бэркэн. Ему кажется, что все в мире  
должны жить так, как живут его сородичи. Никто никого  
не держит, дети считаются взрослыми, живут самостоя-

тельно. Охотятся, рыбу ловят, в тайге ночуют. Их никогда не бьют, не воспитывают. Очень уважительно с ними обращаются.

— В городе еще хуже, — говорю я ему. — В городе совсем жить нельзя.

— Пошли, однако.

За спиной у него котомка, обшитая кожей, на плече мелкокалиберка, в руках два гладких длинных шеста. Я беру у него шесты, и мы быстро идем под гору, к реке, где стоит оморочка Бэркэна — выдолбленная из тополиного ствола лодка.

Зимой наша учительница, Лия Матвеевна, рассказывала, будто в Америке столько автомобилей, что богатые капиталисты покупают и дарят своим сыновьям машины. Не знаю, хорошо иметь автомобиль или нет (у нас здесь, по нашим пенькам, на нем и не проедешь), но быть хозяином мелкокалиберки и оморочки — это здорово, ничего лучшего и не придумаешь. А Бэркэн вовсе не хвастается этим, для него это просто, как носить штаны и рубашку.

Укладываем в лодку котомку, ружье, прыгаем сами. Бэркэн становится с шестом на корме, мне определяет место впереди. Отчаливаем, упираемся в дно шестами, толкаем лодку. Вскидываем шесты, снова разом толкаемся. Это называется здесь — ходить на шесте. Дело нелегкое, утомительное. Надо уметь стоять в верткой долбленке, не раскачивать ее, гибко работать шестом. Я еще учусь, но уже умею немного ходить на шесте.

Скрылись за лиственницами дома поселка, показался дом связи с высокой деревянной мачтой, потом проплыла справа гора Лумукан, промелькнули склады на косе, и вот кончилась коса — на конце ее чистый галечниковый вал. Ребята загорают, купаются: сегодня теплый день.

Кто-то, хохоча, кричит:

— Америкашка, куда счетоводнюшку повез?

Кричал, конечно, Никита Ямольский. Он только что выскочил из воды, плясал на одной ноге, выливая воду из уха, и длинные трусы у него сползли до колен. Неуклюжий, какой-то неладный человек: плечи, как у мужика, ноги тоненькие и кривые. И слово держать не может — божился, что не будет лезть, дразниться... Будто я виноват, что мой отец бухгалтером работает.

Сильно толкаемся шестами, молча проплываем мимо. Все почему-то смеются, наверное угождая Никите.

Удачно вышли из Кутима — прилив уже подпирал течение, и в устье большой реки Тугур вплыли по тихой, стоялой воде. Свернули влево, в узкую протоку, начали пробираться сквозь мари, которые были вровень с бортами оморочки.

Вошли в широкую протоку. Кромкой берега двигались час или два, отдыхали. В одном месте я опустил шест, но не достал дна (попалась глубокая яма) и чуть не вывалился из оморочки. Когда солнце начало растекаться в лиственницах, втолкнули наконец оморочку в речку Эвакан.

На рыбозаводе светились фонари, шумела вода, скрипели вагонетки, а дальше, на чистой лаиде, белели палатки, кое-где в них зажглись огни, и палатки тоже были похожи на большие фонари с красными фитилями.

Пристали к берегу напротив палаток — здесь много оморочек, батов, на воде качались кунгасы, — вытащили на берег подальше свою оморочку, чтобы приливом не смыло, пошли в палаточный поселок.

— Мы к кому? — спросил я Бэркэна после очень долгого молчания (эвенки, работая, плывя на лодке, охотясь, всегда молчат, чтобы не привлекать к себе внимание злых духов). Мне казалось, что сейчас можно заговорить, да и струсил я немного: впервые попал в эвенкийское стойбище. — Может, ты один пока?..

— Не надо тебе бояться.

Бэркэн откинул полу палатки, наклонился и втянул меня внутрь. Мы сразу присели у входа, потому что в палатке от махорочного дыма и горелого жира нечем было дышать. Через минуту я уже кое-что видел.

У правой стенки жарко топились камин, жестяной бок был красным; посередине, подвешенный к перекладине, горел жирник — банка с нерпичьим жиром и фитилем, — горел ярко, чадя, потрескивая, а то и разбрызгивая горячие капельки жира. Вокруг низенького деревянного столика сидели на оленьих шкурах эвенки, почти все старые, сгорбленные. Они молча прихлебывали спирт из фарфоровых чашек, ели вареную кету. Рыбы была целая гора, рыба варилась в чугунах на камине. Я заметил: отдельно лежали сырые головы

кеты. Потом увидел, как один, помоложе других, взял голову, впился зубами в хрящ, принялся сосать, причмокивать.

— Вкусная еда, — толкнул меня Бэркэн. — Вот мой этыркэн, дедушка.

Напротив нас, в середине, на самом видном месте возвышался сутулый, бородатый старик. Под ним была черная медвежья шкура, и чашка у него была больше, и трубка походила на молоток.

А главное — он был бородатый, носатый, большого роста. Я понял: это — Гутчинсон, и стал смотреть только на него.

— Там шаман, — опять толкнул меня Бэркэн.

Слева от Гутчинсона сидел седенький старичок, с жиденькими усами и бороденкой, с красным, величнейшим с кулак личиком и желтой мокрой лысиной. На коленях у него лежал потертый, замасленный бубен, обшитый золотистой бахромой. Старичок ни на кого не смотрел, ничего не брал сам — ему подносили к губам чашку, клали в ладони рыбу. Он молчал, и все вокруг молчало. Это так не походило на русскую гулянку.

Мне было жутко до морозца под рубашкой, интересно и жутко: в первый раз видел живого шамана; видел Гутчинсона, который, может быть, сын американца.

Нас не замечали, с нами не заговаривали, будто нас вовсе не было в палатке, и я удивился, когда, по кивку Гутчинсона, нам подали две чашки, два куса вареной кеты. В чашках был спирт — так резануло мне нос, когда я понюхал, — зато горячая рыба пахла отлично. Я откусил немножко, а чашку поставил у ног на еловую ветку.

— Нельзя, обидишь их, — шепнул мне Бэркэн. — Пить надо араки.

— Не могу. Никогда не пробовал. Заболею.

Бэркэн поднял мою чашку, придвинулся ко мне, отгородив нас своей спиной, и вылил спирт из обеих чашек в еловые ветки.

— Тоже не могу, — сказал он серьезно, очень сожалая, что не может.

Пустые чашки он поставил на столик (видел кто-нибудь, как Бэркэн вылил спирт или нет, — понять было невозможно), и мы принялись рвать зубами, жевать рыбу: так наголодались, глядя на еду. Съели свои куски

без соли, без хлеба, но все равно мне казалось, я никогда не ел такой вкусной кеты.

Потом опять сидели, смотрели. Густел в палатке воздух, наполняясь табачным дымом, становилось совсем жарко, кружилась голова от сгоравшего нерпичьего жира, запаха шкур, спирта. Клонило в дрему. Я опускал и вздергивал голову; смотрел на Бэркэна: он сидел столбиком, строго, как старичок.

И вдруг гукнул, звякнул бубен, затих на мгновение и начал бубнить, дрожать, громко и жалобно вздыхая.

Будто развеялся дым, стало прохладнее, будто люди эти просветлели лицами, выпрямились, сидя, и сделалось больше места в палатке.

Шаман привстал на коленях, вскинул над головой бубен, выкрикнул:

— Келдэгэр-дэгэр-дэгэр!

Люди отшатнулись, начали отодвигаться к стенкам палатки, в сумерки. Гутчинсон убрал столик и тоже попытился в угол, где затих, держа потухшую трубку на колене.

Шаман подпрыгнул, словно его снизу сильно припекло, и закружился, заплясал посередине, выкидывая в стороны ноги, размахивая бубном, колотя в него кулачком, тряся изо всей мочи голову.

— Дэгэр-дэгэ-эр! — хрипя и задыхаясь, пел он.

В такт его прыжкам, выкрикам люди начали медленно раскачиваться, негромко напевать. Зашевелился возле меня Бэркэн. Я слегка отодвинулся. Мой дружок покачивался, как ванька-встанька, что-то нашептывал губами.

И вдруг шаман прыгнул к нам, я шарахнулся в сторону, шаман откинул полу палатки, пригнулся, выпрыгнул наружу. Следом за ним бросился Гутчинсон, а потом все, толкаясь, выбежали из палатки. Бэркэн вцепился в мою руку, по-сумасшедшему подпрыгнул, потащил меня за собой.

Было темно, тихо, от прилива несло холодным туманом, но я сразу заметил на площадке между палатками прыгающих, пляшущих людей. Взявшись за руки, как в хороводе, они бежали, бежали за сутулой, громоздкой фигурой Гутчинсона, а посередине круга вертелся на месте, бил в бубен, выкрикивал непонятные слова маленький шаман.

Мы присели возле пенька, и сразу на нас напали комары. Даже в темноте было видно, как их много — зудящая, морозящая туча. Они впивались в руки, лицо, кусали сквозь штаны и рубашку, гудели в волосах. Мне стало понятно, почему в палатке был такой воздух — это лучшая защита от комаров. Может быть, и праздники эвенки устраивают с хороводом, пляской, чтобы не кормить комаров?

— Давай, — сказал Бэркэн, протягивая мне руки.

Я понял его, живо поднялся. Мы сцепились пальцами, закружились, приплясывая. Вскоре приладились к бубну шамана, стали подпрыгивать, будто играли в лощадки, почти как эвенки.

— Эрэ-эрэ-э! — слышался сильный голос Гутчинсона, и разом в большом хороводе подхватили: — Эрэ-э!

— Эрэ! — подпрыгнул и сказал Бэркэн. — Эрэ! — повторил я.

И все вместе, в один голос, подпевая Гутчинсону, начали выкрикивать то протяжно, то коротко:

— Эрэ-эрэ-э-э!

Из палаток выскакивали эвенки — мужчины и женщины, расцепляли хоровод, становились в круг, плясали, пели. Круг увеличивался, делался огромным. Нам пришлось отодвинуться к листовницам. Потом образовался новый хоровод за палатками. Прибежали эвенкийские мальчишки, взяли с нами за руки, закричали: «Эрэ!» На другом конце стойбища слышались удары бубна.

Взошла огромная оранжевая луна, от Эвакана засквозило морозцем, осел туман, а мы прыгали и пели. Прыгали и пели по всему стойбищу эвенки. Не чувствовалось усталости. Наоборот, ноги делались все легче и гибче, как при ходьбе на лыжах, когда перейдешь на второе дыхание. И не хотелось останавливаться, будто самое интересное будет впереди — вот только надо выше прыгать, громче кричать «Эрэ!», крепче держать руки товарищей. Будет, обязательно будет, потому что так легко, почти воздушно, и дружно, и необыкновенно, как в хорошей сказке.

— Ребята!

Мы замедлили пляску, не расцепляя рук.

— Что это такое?

Из кустов на лунный свет вышел толстый, неболь-

шого роста человек, в шляпе-накомарнике. На боку у него висел фотоаппарат, через плечо была перекинута сумка-планшет. По нему-то, планшету, мы сразу узнали старшего воспитателя интерната Боровикова Ивана Сидоровича, Ван-Сидыча, как еще звали его звенкийские ребята. Он служил в армии младшим командиром, будто бы участвовал в бою где-то на границе, а потом приехал на Север работать воспитателем. Был очень строгий, носил хромовые сапоги, галифе и гимнастерку. И самое главное — значок пулеметчика.

Ребята, плясавшие с нами, пустились бежать, спрятались за палатками, а мы с Бэркэном так и стояли, держась за руки.

— Так, так, — сказал Ван-Сид, раскрывая планшет, нащупывая карандаш. — Ваши фамилии?

Бэркэн молчал, я решил тоже молчать: Боровиков мне не начальник — я не живу в интернате.

Ван-Сид подошел вплотную, сквозь накомарник взгляделся в нас. Бэркэну приподнял ладошкой опущенную голову.

— Так, так... Один интернатский, другой... Запишем обоих.

— Мы просто прыгали, — наконец выговорил Бэркэн.

— От комаров, — прибавил я.

— Так и запишем: плясали ритуальный танец. Пионеры.

— Да мы так просто, честное слово! — Мне хотелось заглянуть в лицо Боровикову, увидеть улыбку: ведь он шутит, конечно. — Ван-Сидыч, честное.

— Назовите фамилии других.

Я не знал ни одного мальчишки из тех, кто танцевал с нами, да и не успел присмотреться к ним. Значит, ничего не мог сказать. Молчал и Бэркэн. Может быть, он тоже не знал их? Или не хочет говорить?

— Молчим? Скрываем? Думаем, что это героизм? Так и запишем.

Ван-Сид сел на пенек, достал металлический портсигар, слегка приподнял нижнюю часть сетки, сунул в рот папироску. От него пахло одеколоном, сапоги сияли лунными бликами, фотоаппарат, планшет делали его всегда особенным, ни на кого не похожим, а теперь и вовсе почему-то пугали. У меня забегали мурашки по спине, вспотели ладони, как в страхе перед шаманом. Ван-Сид

курил, и дым от папиросы был нездешним, напоминал о городах, о Большой земле.

Мне вспомнилось: зимой, где-то в тайге, вверх по Кутиму, сел самолет. Учителя и старшеклассники ходили искать. Нашли. Положили летчиков на лыжные связки, в поселок привезли. Лучше всех вел себя в походе Боровиков, героизм даже проявил, когда в снежный обвал попали. Главный летчик на собрании подарил ему свой портсигар, расцеловал при всех. Заведующий кул்தбазой денежной премией наградил.

«Такой человек, — думал я, — все понимает. Мы же не верим шаманам, ни я, ни Бэркэн. Просто интересно. Посмотреть приехали, ну потанцевали... Как получилось — сами не понимаем. Комары кусали. Это же ерунда. И не надо потом в школе об этом говорить. Такой человек все понимает... Он сейчас засмеется, скажет, что пошутил. Мы возьмемся за руки, попрыгаем, а потом пойдем в палатку, поедим отличной рыбы...»

— Подойди-ка ближе, — сказал строго, будто командовал, Ван-Сид.

Бэркэн зайцем отпрыгнул в сторону и, пригнувшись, словно в него могут выстрелить, побежал к палаткам.

— Стой! — крикнул, вскочив, Боровиков.

Он хотел схватить меня за руку, но я удачно извернулся, бросился вслед за Бэркэном — его светлый пиджачок виднелся за третьей палаткой.

— Мы еще поговорим, имейте в виду!

Бэркэн нырнул в крайнюю от леса палатку, я — за ним. В палатке было пусто, горел неярко жирник, лишь в углу одиноко сидела дряхлая старушонка. Она дремала, едва заметно раскачиваясь в такт пляске, выкрикам «Эрэ!», на нас не глянула.

— Не танцует ава, — сказал Бэркэн. — Совсем старенькая.

— Твоя бабушка?

— Бабушкина бабушка.

— Сколько ей лет?

— Каждый год говорит — сто лет.

Бэркэн пошуровал в печке, поставил на середину чайник, достал из кастрюли рыбу, из другой кастрюли хлеб, сахар. Потом налил в кружку густого чая.

— Ты почему всегда убегаешь? — спросил я.

— Не знаю... Ноги убегают.

За палаткой, чуть в отдалении, слышался тяжелый топот, хрипучие выкрики. Люди утомились, сорвали голоса, но все еще танцевали. Лаяли, выли, не то перепуганные, не то возбужденные собаки.

— Спать будем, — сказал Бэркэн, поправив у стены оленьи шкуры, одну свернул трубкой, бросил под голову. — Ложись давай.

Я лежал, смотрел на старушку, качающуюся в желтых бликах жирника, слушал топот, голоса, — и провалился в черноту сна, гудящего усталостью, полной неразберихой.

Проснулся от холода, вскочил, будто криком меня испугали. Скаты палатки сделались прозрачные, розовели, снаружи подрагивали капли росы. Бэркэна не было. В углу, заваленная шкурами, спала старушка. За палаткой стояла глохлая тишина, лишь изредка где-то невдалеке возникал и обрывался хрип, похожий на скрип расколотой лиственницы.

Я выбрался на воздух. На большой поляне между палатками, в туманной дымке, прыгал, издавал короткие звуки одинокий человек. Был он скрюченный, растрепанный, длинные волосы свисали ему на лицо. По краям поляны прямо на земле лежали сваленные усталостью люди, спали. Это было похоже на древнее поле сражения.

Подошел Бэркэн, сказал шепотом:

— Один танцует.

— Кто это?

— Гутчинсон. Всех победил.

### 3

От Кутима послышался вой сирены. Он прошел сквозь березовую рощу, сквозь стланик и лиственницы, и его слышали в каждом доме. Ребятишки сразу позабыли самые интересные свои дела, пустились под гору, волоча за собой младших братишек и сестреноч. Взрослые, кто был свободен, и те, кто мог оставить работу на какое-то время, тоже заспешили к Кутиму.

Из города пришел катер «Тугур».

В лето он делал несколько рейсов на «материк», уво-

зил и возвращал отпускников, привозил новых вербованных, письма, посылки, учебники для школы. И всегда это был праздник для поселка: «Пришел «Тугур»!» Его дребезжащую, как бы отсыревшую на море сирену знали все, могли отличить от разных других. Катер приходили встречать в любую погоду, даже по ночам.

Я прибежал на берег, когда катер причалил к пристани напротив магазина, Никита Ямсольский поймал конец и, нахохлившись, солидно тащил его к деревянному столбу-кнехту. Пришлось немного помочь ему — ведь это не его личная работа, — но все-таки мы успели слегка поругаться. «Отодвинься, — сказал Никита, — придавлю». — «Силач Бамбула, — сказал я, — вон сопля из ноздри вылезла». Закрепили вместе конец, и я отодвинулся подальше от Никиты: стишки-то мои он не забыл. Да и народ собирался, скоро тесно будет на досках пристани, надо местечко получше выбрать, чтобы катер хорошо видеть.

Пришел заведующий культбазой, крупный человек, одетый во все эвенкийское; он даже летом носил торбаса, оленью куртку; во рту постоянно держал короткую трубку-носогрейку. Пришел мой отец, другие работники культбазы. Кое-кто успел выпить по такому важному случаю, женщины нарядились в косынки и новые платья. Делалось шумно, начинался галдеж, а с «Тугура» почему-то не подавали сходни, будто ждали большего скопления народа. Где же его возьмешь — почти все здесь. Эвенкийские старухи из дальних палаток приползли. Собаки сбежались, дерутся в стланнике.

Ко мне, на краешек пристани, пробрался Тимоха Клок — сердитый человек с такой непонятной фамилией. У него рыжие волосы, и на лице всегда конопушки — рыжие, широкие, как клопы. Притиснулся, чуть не столкнул меня в воду.

— Ты чего?

— Там не видно.

— Тебе здесь цирк, что ли?

— А сам?

Ладно, пусть стоит. Он человек ненормальный, психованный: когда дерется — визжит и кусается. Одному ухо чуть не отгрыз, другому палец прокусил. С ним лучше не связываться. И жалко иногда бывает его: такой рыжий и злой!

— А где твой... — Клок хотел сказать «америкашка», но только покривил рот, будто ему стало смешно.

Я не ответил — не обязательно отвечать клопам (мы его и так иногда называли), к тому же из рубки, наконец, появился старшина катера, которого все в поселке зовут «капитан». Он был в новенькой морской фуражке, в кителе с медными пуговицами, на рукавах шевроны.

— Подать трап! — скомандовал капитан.

С носа прибежал Колька Нечаев, из машинного отделения вылез Володька Зеленец. Они сняли с надстройки трап, развернули, бросили трап на пристань.

И сразу из открытого трюма полезли на палубу приезжие, подкидывая чемоданы, тюки, мешки (раньше срока им не разрешалось толкаться на палубе, чтобы не перевернуть катер), издали здоровались со своими, переговаривались. Навстречу им пробился начальник узла связи, принимать почту. Бочком протиснулись заведующий культбазой и мой отец, сразу скрылись в рубке капитана.

Колька Нечаев и Володька Зеленец командовали у трапа. Перебрасывали на пристань чемоданы, поддерживали укачанных штормом женщин. Мужчин, тоже укачанных, подбадривали острыми словечками, чтобы не позорились на народе. Одну девчонку, из новеньких, на руках вынесли на пристань — ее совсем измучила морская болезнь.

А катер слегка пошевеливался, широкий, весь деревянный, с полосатой трубой, выветренным флажком на мачте. Борта потерты до желтого дерева, кранцы помяты, проржавевший клюз — как заплаканный глаз. Катер опять попал в шторм, сутки его трепало возле Шантарских островов. А бывало приходил без мачты, с искалеченной капитанской рубкой, с оторванными отвальными брусьями.

— Слышь, — толкнул меня Клок. — Вот бы и нам матросами!..

— А штаны запасные есть?

Клок обиделся, запыхтел, жалобно отвернулся. Зачем я с ним так?.. Он ведь просто сказал, мечтая. Куда нам матросами на такой катер!

Я смотрел на Кольку Нечаева и Володьку Зеленца. Оба они в тельняшках, матросских форменках, широченных (аж дух захватывало!) клешах. На обоих

черные, военные, но без кокард зюйдвестки. Загорелые до черноты, с большими руками, сноровистые. И только чуть-чуть грубые, пренебрежительные. Но кто им это запретит? Ведь они всего-навсего семиклассники, а уже на такой опасной и тяжелой работе.

— Полундра! Вырай, вирай! Тетенька, не тяните шерстик! — покрикивали, смеялись Колька и Володька.

Мне больше нравился Колька Нечаев. Ростом он был ниже Володьки, зато шире в плечах, крепче; и неуклюжесть его нравилась: напоминал он борца в тяжелом весе. Мы немножко дружили — я и Нечаев, потому что он дружил с моей сестрой, иногда приходил к нам домой. Зимой помогал решать мне задачки, летом, если мы вместе оказывались на кутимской косе, учил плавать.

— Шабаш! — крикнул Зеленец.

Пассажиров выгрузили, перебросали их багаж. Начальник узла связи выволок на пристань мешок с письмами, два радиста — его работники — достали из трюма и перенесли на пристань посылки: десятка два ящичков. Начальник растолкал людей, начал выкрикивать:

— Сидоров! Здесь?

— Здесь.

— Бери! Распишешься потом.

Ящик плывет над головами, попадает в объятия радостному Сидорову.

— Клементьев!

— Здесь!

— Бери!

Потом началась раздача писем, бандеролей, упаковок с книгами. И отдельно были вручены дедушке Розову стеклянные колбы, оплетенные сетчатыми, плотными корзинами. Никита Ямсо́льский взялся помочь донести до музея. Я бы тоже пошел, да уж очень хотелось, хоть на минуту, увидаться с Колькой. Толкнул Клока:

— Помоги человеку.

Посопел Клок, но не смог оторвать глаза от катера. Надеялся, наверное, прошмыгнуть по трапу, слазить в кубрик, заглянуть в машинное отделение, чтобы потом хвастаться, грудь колесом выпячивать.

— Все, товарищи, все! — сказал начальник узла связи. — Здесь служебная корреспонденция.

Толпа начала редеть, люди пошли на работу. На пристани остались мальчишки и собаки — им торопиться

некуда. Да в стороне, возле стланиковых кустов, стояли девчата. Я заметил свою сестру.

Колька Нечаев и Володька Зеленец нырнули в кубрик, побыли там, опять появились и легко сбежали по трапу на пристань. Они успели сбросить робы — теперь на них были белые, с отложными воротниками форменки, — в руках держали маленькие кожаные чемоданчики.

— Здорово, Колька, — сказал я не очень громко: как-то сразу перехватило в горле, горячо сделалось щекам.

— Привет другу! — Колька крепко стиснул мою руку (он всегда называл меня другом), опустил на плечо ладонь, слегка прижал к себе (от него пахло машинным маслом, одеколоном). — Как живешь?

— Хорошо живу.

— Правильно делаешь.

Кончились доски пристани, мы пошли по траве к лиственницам, и я понял: мы идем к девчатам. Мне так не хотелось, чтобы Колька шел к девчатам — я даже думать об этом боялся. Пусть бы шел к ним один Зеленец. Он, наверное, им больше нравится: чернявый, глазастый, с развалистой походкой... А я стесняюсь девчат, не понимаю, как можно с ними дружить, они же от лягушки в обморок падают, если сунешь им в карман...

— Ты знаешь — в Испании война?

— Знаю.

— Республиканцы дерутся с фашистами.

— Дерутся.

Из-за магазина вышел Гиравуль, сделал рукой салют, подбежал к Кольке и Володьке, сияя от радости всей круглотой лица, принялся обеими руками стискивать им ладони, приветствуя по-русски и по-эвенкийски:

— Мэнду бэ! Дорово!

— Мэнду! Кэ мэнду! — отвечали Колька и Володька, толкали Гиравуля кулаками, хлопали по плечу так, что он едва не падал. — Почему опоздал?

— Охотился. Сирену не слышал.

— Заказ не получишь.

— Юколой тогда не угощу.

Девчата накинулись со всех сторон, их было много, и начались новые приветствия, охи, ахи, шуточки. Кольку и Володьку толкали, дергали, требовали городских

конфет; окружили, взяли под руки, повели в поселок. Гиравуль тоже оказался в середине.

Я бежал то сбоку, то впереди. Мне было стыдно вот так бежать, но я не мог отстать, потому что злился на девчат (вечно они лезут со своими приставаниями, болтовней!), и чувствовал: Колька мне что-то привез — он обещал что-нибудь привезти.

Поднялись на сопку, отсюда хорошо был виден Кутим. «Тугур» у пристани, Лумукан с гущиной лиственниц на голубизне моря, дальние сопки — синие, и еще более дальние — в сумерках всегдашнего тумана. Здесь росли березы, это место называлось «Горка», ее очень любили в поселке: нигде поблизости, да и в тайге не было таких рослых, таких белых, таких кудрявых берез (наверное, потому эвенки поставили когда-то на сопке свои первые чумы). Все остановились — Горку нельзя было просто так пройти, — и Колька Нечаев, сев на дерюговую кочку под березой, положил на колени кожаный чемоданчик. На соседней кочке устроился Володька Зеленец. Когда Колька хлопнул ладонью по крышке чемодана, Володька сипло запел: «Эх, полным-полна коробушка...» Девчата засмеялись, представление им вполне понравилось.

— А теперь всем по конфетке, — сказал Колька, щелкнув замком чемодана. Крышка подпрыгнула, он стал осторожно, двумя пальцами, поднимать бумагу и тут увидел меня — я протолкался наконец сквозь женскую толпу. — Э, постойте, — сказал Колька, — поважнее дело есть.

Он сунул в чемодан руку и вынул оттуда что-то яркое, голубое, с красными кисточками.

— Держи!

Девчата заговорили негромко, будто чего-то испугались: «Испанка»... настоящая... с кисточкой... какая красивая!..» Колька глянул куда-то за мою спину, слегка улыбнулся.

— И тебе тоже, а то заплачешь.

Я оглянулся. Клок протянул свою рыжую руку, и Колька Нечаев вложил в нее испанку. Оказывается, Клок ни на шаг не отставал от меня, просто я не видел его. И вот получил отличную оранжевую испанку. За что это ему?.. Да Колька, может, впервые и увидел его. Чтобы не заплакал? Я вспомнил Бэркэна и сам чуть не

заплакал — так жаль стало друга. Ему бы испанку! Он смелее, умелее всех нас. Он уже почти взрослый среди нас, хоть лет ему ничуть не больше. Да я не надену свою испанку, если у Бэркэна не будет такой же.

— Коля, — сказал я, загораясь ушами, отталкивая девочек. — Дай еще одну.

— Кому?

— Бэркэну.

— А, дружку. Почему встречать не пришел?

— В стойбище, — но этого мне показалось мало, и я быстро приврал: — С дедушкой охотиться ушел...

— Гутчинсон — дедушка?

— Ага.

Колька Нечаев оглядел всех: как, мол, решим — уважительная причина? Девчата загалдели кто что: «Обойдется!.. Нет, надо выделить!.. Сам решай!» Володька Зеленец, видя такую неразбериху, открыл свой чемодан, и девочки бросились к нему, потому что сверху сплошным слоем лежали шоколадные конфеты «Ромашка».

— Надо, — строго сказал Гиравуль.

— Тогда — закон. — Колька вынул третью, зеленую испанку, я схватил ее, отпрыгнул, будто кто-то мог вырвать у меня, и напрямик через рощу побежал к поселку.

Дома никого не было; я очень обрадовался этому: хотелось наедине примерить испанку. Пригладил ладонью волосы, осторожно надел, ощутив, как мягко она охватила голову от затылка до лба. Медленно подошел к зеркалу. Глянул... Ну, конечно, там был совсем не я, — тощий, курносый, с исцарапанными коленками мальчишка, а... (надо смотреть на голову) — боец, хоть и молодой, но суровый, республиканец в пилотке из отряда генерала Лукача. Я взял наган с металлическим стволом, деревянный меч. Разбегайтесь, фашисты!.. Начал скакать от стола до кровати, рубанул одну голову — подвернулась глиняная кукла младшей сестренки, — желтые брызги дзинькнули по окну, замахнулся на тряпичную обезьяну... И увидел в зеркале: в дверь вошла и остановилась у порога мать. Все-таки крикнул, опуская меч:

— Рот фронт!

Мать приблизилась ко мне, сняла с головы испанку, разгладила в руках, распушила шелковую кисточку.

— Нечаев привез?

— Коля.

Мать надвинула мне на лоб испанку, улыбнулась — ей тоже она понравилась, да и шить теперь не надо: привезенная лучше.

— Умылся бы хоть. — Увидела куклу без головы, немного поморщилась (наверное, подумала, как будет орать Надька). — Бери клей, приладь голову.

Ладно, приклею голову. Кукла — не фашист. Сестренка Надька не должна страдать: она ни о какой революции в Испании не слышала. Реветь начнет — всех расстроит. А мне мать жалко: одна в семье работает, и еду готовит, и стирает, и штопает. Отец у нас интеллигент — книжки читает, выпивает. Летом еще ничего, мать успевает с домашним хозяйством; зимой совсем из сил выбивается, потому что еще работает поварихой в интернате. Она всегда немножко усталая, немножко грустная. Если сидит минуту, ничего не делая, значит, думает — не знает, за что сначала приняться. А поет лишь на гулянках, хорошо поет деревенские песни, особенно «Зеленый гай». Конечно, никогда я не говорю матери никаких ласковых слов — почему-то стыдно (или боюсь, что расплачемся вместе?), но стараюсь не очень обижать ее. Стараюсь слушаться, хоть и не каждый день мне это удаётся.

Мать села подштопать мой вельветовый костюм, куртку и брюки-клевш, чтобы я лучше выглядел в новенькой испанке, а я прилаживаю кукле глиняную голову. Здорово отшиб. По всему туловищу трещины пошли, и шея кусками скололась. Работаю спиной к матери, чтобы не видела бедную куклу.

Склеил, подержал над теплой плитой, развел акварельные краски, подкрасил самые некрасивые места, воротник платица подтянул к подбородку, посадил куклу на сундук — ее всегдашнее место: для начала сойдет, потом видно будет...

— Все, — сказал матери.

— Ладно. — Она не глянула (может, чтобы не расстраиваться?), бросила мне куртку и брюки. — Надевай.

Переоделся, но к зеркалу подойти не смог: было почему-то стыдно при матери, или побоялся своего очень красивого вида, и на улицу пойти сразу не решился: станут еще все глазеть, как на приезжего, подшучивать. Луише к вечеру, когда немного стемнеется.

Взял книгу Лермонтова, начал читать «Мцыри». Когда я ее прочел первый раз, то заплакал и сам сочинил стихи. Какие были стихи!.. Жаль, я не записал их сразу, а потом забыл. Теперь я знаю поэму наизусть, несколько раз пересказывал ребятам на спор. Но все равно беру книгу, смотрю сначала портрет Лермонтова, потом рисунки и читаю. Строчки «Он встретил смерть лицом к лицу, как в битве следует бойцу!..» повторяю сквозь слезы (конечно, об этом я никогда никому не скажу). Читать — это совсем не то, что наизусть. Книгу держишь, листаешь, чувствуешь ее тяжесть, по строчкам бежишь, как по тропкам, словно живешь весь внутри книги... А наизусть для других рассказываешь — сам себя почти не слышишь.

— Мама, послушай. — Я хочу прочесть ей то место, где умирающий Мцыри говорит старому монаху: «Но, верь мне, помощи людской я не желал... Я был чужой...»

— Слушаю.

Распахивается во всю ширь дверь, будто ее выносит ветром, входит отец. Он развеселый, довольный, носчангай сизый и потный — значит, крепенько заправился в капитанской рубке (обычно пьют что-нибудь городское, «водочку, коньячок ресторанный», как говорит отец). Он подходит к матери, усмехается, словно утаивает что-то секретное, важное, заглядывая ей в лицо, говорит:

— Маруся, ты знаешь, что Никифоров рассказывал, какие новости?

— Знаю, — безынтересно отвечает мать, не поднимая головы.

— Да что ты! — удивляется серьезно отец, разводя руки и, конечно, радуется, что мать не расспрашивает: рассказать-то, наверное, нечего.

— Когда придут?

— Вот сейчас и придут, — радостно оживает отец. — Бражка у нас есть там?

— Допивайте.

Отец быстренько, расторопно бежит к печке, тормозит бочонок, выколачивает деревянную пробку, из отверстия слышится шипящий звук (я думаю, это джин невидимый вырвался на свободу), комната наполняется острым запахом перекишшего хмеля. Отец нацеживает себе литровую банку — для пробы.

Я прячу испанку Бэркэна в книги на этажерке, свою

скатываю трубочкой, толкаю в карман брюк; осторожно, чтобы отец не задержал меня для разговора о том, как он отдаст меня учиться на инженера, пробираюсь к двери, выскакиваю наружу.

По поселку движется аргиш — караван навьюченных, оседланных оленей. Едут две старушки, старик, одна молодая эвенка; детишки качаются в деревянных лотках-люльках, как выюки. Впереди инэгимни — пастух, хозяин. Он ведет переднего оленя за поводок. Щелкают суставы тонких оленьих ног, потрескивают копыта, бьются рога, над караваном, будто на привязи, облако комаров, залетевших из тайги. Пахнет оленьей шерстью, кожами, стойбищным дымом. Пастух неторопливо направляется к магазину. Семейство оленевода прибыло из колхозного стада в поселок закупить продукты, мануфактуру, погостить у сородичей.

Возле клуба галдят, толпятся мальчишки. Издали вижу — рассматривают, меряют по очереди оранжевую испанку Клока. Все ясно. Свою пока не буду надевать — залапают. Подхожу. Рыжий злится, шмыгая носом, Никита Ямольский хохочет:

— Да я чо, виноватый? Примерил — треснула! Разито испанка?

Клок разглаживает ценную вещь, близко к глазам подносит распоротый шов, словно хочет убедить себя в том, что все это ему лишь чудится, отчаянно выговаривает:

— Дурак, филин!..

Никите немного стыдно (от зависти порвал испанку), поэтому он не теребит Клока, остерегаясь его зубов, но веселится с удовольствием. У него тут и подхалимы имеются, суетятся рядом, ждут команды — любого заколотят, только кому угодит своему вожаку.

— Дай твою примеряю, — говорит мне Никита.

Я держу руки в карманах, показывая этим: «Не видишь — дома оставил!» Клок смотрит на меня, страдая: зачем он первый полез хвастаться? Кричит Никите еще раз: «Дурак, филин!» — и убегает к своему дому, размахивая испанкой, как желтым флажком.

Никита, кажется, вспомнил, что «филин» — словечко из моего стихотворения, придвигается ко мне, пристаёт:

— Принеси, а? Честное слово всех вождей, не порву. Правда, ребя?

— Правда! — соглашаются ребята.

На стене клуба афиша: «Сегодня художественный фильм «Путевка в жизнь». Младшие школьники не допускаются». Ленту привезли на катере. Читаю, думаю, хорошо бы пробраться на сеанс; Никита поет в самое ухо:

Мустафа дорогу строил,  
Мустафа по ней ходил...

Чувствую, как у меня начинают дрожать колени, горячий комок подступает к горлу, потеют ладони. Так всегда перед дракой. Сейчас я ударю ему в рожу, они все нападут на меня... И вдруг вижу: от Горки, гурьбой, идут Колька Нечаев, Володя Зеленец, Гиравуль. С ними девчата. Никита тоже смотрит туда, замолкает и, махнув рукой своим, скрывается в лиственницах за клубом.

И я ухожу. Потому что впереди идут Колька и моя сестрица. Мне всегда стыдно почему-то, когда они вместе. А может быть, сержусь на сестру: чего она пристает к парню, будто ему нечем другим заняться?

#### 4

Появилась осенняя кета — главная рыба на побережье. Старшекласники, учителя, все свободные уехали на рыбозавод. Старики и ребяташки ловят кету сетками: на солку себе, на зимний корм для собак.

Во время отлива вбивают колья, развешивают сетки; приходит вода, в сетках запутывается рыба; когда вода отступает, рыбу собирают в мешки.

У нас с Бэркэном шестовая сетка. Мы сидим на лайде, греемся у костра, ожидаем прилива. Вода, растекаясь пенными языками по илистой глади, вспугивая куликов, подступает к черным камням Лумукана. А на лайде, справа от нас, зверобой перебирают, готовят невод для дельфинов-белух, которые должны подойти к берегу вместе с косяками кеты.

— Корошо, — говорит Бэркэн, поджаривая на невидимом огне кусок юколы. Кожица вспухает белыми пузырями, лопается; шипит, брызжет рыбий жир, темнеет мякоть. Бэркэн откусывает, мотает головой, про-

глатывая горячий кусок, краснеет скулами, будто цвет юколы перешел ему на щеки. — На, пробуй. Дэпкэл!

Многие слова он повторяет по-эвенкийски, словно подкрепляет их. Чтобы я запоминал. Хочет научить меня своему языку.

Беру юколу, держу на ветерке — а он холодный, с сырым туманцем, прямо из непроглядности моря, — откусываю, жую. Вкусная еда, ничего не скажешь; сочная, с отличным запахом; только не соленая. Юколу эвенки сушат, не присаливая, — это и собачий корм, а собакам соленое нельзя, — развешивают на вешалах у моря, долго вялят. И что удивительно — ни одна муха не сядет: так гладко, отточенными ножами, они умеют пластать кету.

— Со ая! Очень хорошо! — говорю я.

Вода залила ил, коснулась гальки. Теперь прилив пойдет вверх, будет набирать силу, и нам пора готовиться. Бэркэн берет скрученную жгутом сетку, дает мне один край, медленно идет поперек лайды, растягивая дель на чистой гальке. Вытряхивает остатки сухих водорослей, застрявшие корешки, губки. Потом волочет от скалы двадцатиметровый шест (составили мы его сами, из стволов тоненьких лиственниц, высушили, скрепили), укладывает его вдоль балбер, конец вставляет в петлю. Шестовая сетка, или «шестовка», как зовут ее в поселке, готова к лову.

С моря приходит туман, понизу, жидкими размокшими хлопьями, бьется о черные глыбы Лумукана, моросит. Желтые лиственницы, каменный столб, издали похожий на стоящего человека, то пропадают в небе, то ярко проглядывают. Ширится прилив, белыми гребешками, закипая, шипят волны. Уже видны гладкие блестящие спины вынырывающих белух, где-то недалеко шумно выдыхает воздух сивуч. С моря медленно, взрывая сиреной, подходит катер с кунгасом — заводить дельфиний невод.

По тропе из леса спустились двое мальчишек, волоча шест. Увидели нас, отодвинулись метров на двести, принялись разбирать сетку.

— Начнем, однако, — командует Бэркэн.

Бегу в конец сетки, поднимая шест. Бэркэн подходит к воде, поднимает другой конец шеста вместе с наки-

нутой на него петлей и, прижимая балберы к шесту, кричит мне:

— Кэ!

Понемногу толкаю шест, он тянет за собой балберы и проволочные кольца-грузила, сеть медленно вдвигается в воду, и мне уже видно: первые поплавки прыгают, сверкают на волнах. Значит — хорошо. Сеть не запуталась, шест не сбило прибоем. Шаг за шагом приближаюсь к воде, а крайняя, красная балбера все дальше уходит от берега.

Бэркэн берет у меня конец шеста, забегает немного в воду, резко дергает шест к себе. Петля спадает, сеть становится на якорь, а шест я вытаскиваю на гальку — бегом, до сухого плавника.

Все. Заброс сделан.

Садимся у воды, Бэркэн держит в руке бечевку. Смотрим на поплавки. Слева от нас меж кольями ставной сети вспухает белый всплеск — попалась крупная рыба. Можно подумать, что кета обходит нашу шестовку, но мы знаем: косяки не идут вдоль берега — с моря, наискось, упираются в лайду. Поплавки играют, пляшут, надоедает следить за ними. Но вот два крайних заныривают, минуту не показываются, потом начинает вспухать, пузыриться вода в конце сетки, и я вижу, как вместе с бечевкой сильно дергается рука Бэркэна.

— Попалась?

— Однако, есть.

Бэркэн встает, сматывает бечевку, быстро выбирает из воды сеть, накидывая верхний подбор с балберами на руку. Я помогаю: став ближе к воде, подтягиваю дель, держу ее в напряжении, чтобы не сорвалась рыба.

Последний рывок делаем вместе. Крупная, сине-белая кета, перемахнув гриву прибоя, шлепается тупо и тяжело на гальку, бьется хвостом и головой, брызгает мокрыми песчинками.

Бэркэн вынул из-за пояса деревянную колотушку, сел верхом на рыбину, прицелился и ударил по голове. Зубатый гонец замер, пустив из жабер густую кровь. Бэркэн выпутал его из сетки, отбросил к костру, сказал:

— Убил. Их надо убивать. Плохо, когда сами умирают. Нехорошо.

Я знал этот эвенкийский обычай: надо убивать, чтобы зверь, птица, рыба не мучались, чтобы вкуснее было

мясо. Убивать мгновенно, красиво. Я видел, как забивают оленей. Не режут им горло, не бьют колуном, не стреляют. Пастух подходит, гладит голову оленю, нащупывает впалдинку на затылке, нацеливает в нее кончик ножа, не очень сильно ударяет ладонью по рукоятке. Олень мертво падает.

— Большой, — говорю я, глядя на гонца (он потемнел на воздухе, от спины к животу проступили нежные фиолетовые полосы, будто чернилами подкрашенные). — Килограмм семь будет.

— Больше бывает.

Бэркэн накидывает на конец шеста петлю, расправляет дель, я толкаю шест, и мы неторопливо, очень удачно вдвигаем сеть в воду навстречу прибою, волне.

Мальчишки, наши соседи, вытащили сразу две кеты, некрупных, но прыгают возле них, кричат. Бэркэн не глянул на них: дураки, разве можно на рыбалке кричать, отпугивать добрых морских духов, а злых приманивать?.. В тумане покачивается у берега катер с кунгасом. Невод загрузили, верблюжьим горбом возвышается он над кунгасом. Одна, другая сирена... Шибче стучит мотор, бегают по берегу возле кунгаса люди. И, натянув буксир, катер начинает медленно отдаляться к морю. С кунгаса сбрасывают сеть, натягивается канат, прикрученный к деревянному вороту на лайде. Дельфинники заводят свой большущий невод. Значит, скоро полный прилив.

— Смотри, — прошептал Бэркэн.

Наша шестовка задергалась, запрыгали поплавки, и над нею поднялись два буруна. Я едва не крикнул: «Тащи!» Но Бэркэн выждал, пока рыба запутается как следует, потом начал быстро выбирать сеть. Две кеты-икрянки мы бросили к костру, снова поставили шестовку. Ее затрясло почти сразу. Не сговариваясь, мы ловко вытащили на берег второго, более крупного гонца. А после считать перестали: видимо, подошел крупный косяк, — едва успевали распутывать сеть, вталкивать в воду, как в нее попадалось тут же по две-три рыбины.

— Добрый день, ребята!

Возле костра стояла Лия Матвеевна, наша учительница. Грела руки, улыбалась нам. Маленькая, тепло одетая в оленью дошку, новенькие торбаза, будто снег уже выпал. Но она слабая, часто болеет и ей, конечно, это

можно. Ее даже на рыбозавод не послали. Добрая Лия Матвеевна, как родная бабушка всем, поэтому мы ее не очень слушаемся зимой. Получается так, будто она нас слушается. Зато рассказывает всегда интересно, на любой вопрос может ответить. И муж у нее был красноармейцем, погиб в гражданскую войну.

— Здравствуйте, Лия Матвеевна!

— Ого, сколько вы рыбки наловнили!

— Много надо, — говорит Бэркэн. — Ему бочку солить. — Он показывает на меня. — Мы будем юколу делать. — Он приложил ладошку к своему пиджаку. — Себе, собачкам надо.

— Сколько у тебя собачек, Бэркэн?

— Шесть моих. У отца шесть, однако. Дед имеет столько-то.

— И на всех ты должен запастись?

— У них работа. Никак не могут.

Лия Матвеевна смотрит на меня, на Бэркэна, улыбается, сморщив беленькое, круглое, как у девчонки, лицо. Наша шестовка на берегу, перепутана, сами мы мокрые, забрызганные рыбьей чешуей (у Бэркэна чешуя в волосах, будто они седые сделались). Лия Матвеевна тихо смеется, говорит:

— Ах, какие мужички! Ну, прямо мужички!

— Рыбу надо? Бери. — Немного обиделся Бэркэн.

— А вас не обижу?

— Чего там! Ловить будем.

— Какую ж мне дадите?

— Бери две. Которые с икрой. Посоли икру. Русские любят.

Лия Матвеевна не обиделась на такое обращение: Бэркэн позабыл за лето, что старших надо называть на «вы», у них в языке нет такого местоимения.

— Собакам отдаем, — не объясняя, строго выговорил Бэркэн.

— Как же я выберу?

Убитая рыба лежала горкой, вываленная в песок, испятнанная кровью. Разве можно взять ее белыми маленькими руками Лии Матвеевны? Я отобрал две не очень крупных икрючки, бросил в воду, их прополоскал прибой, нашел среди плавника гибкий прут, разломил, продел сквозь жабры, переплел концы прутьев, подал в каждую руку Лие Матвеевне по кетине.

— Вот спасибо! Теперь донесу. Приходите уху есть.— Она идет к лиственницам, потому что ей стало холодно возле моря, но вдруг оглядывается, кричит: — Не застудитесь только!

Мы распутываем, вталкиваем в воду сеть. Надо торопиться. Прилив остановился, скоро вода покатится назад, и кета будет ждать в море нового попутного течения.

Конечно, хорошо бы взять и прийти в гости к Лие Матвеевне. Она живет в интернате, в конце коридора, в маленькой комнатке. Один раз я к ней заходил — она болела, принес от матери банку брусники, — и увидел: вся ее комнатка завалена книгами. Книг было больше, чем в школьной библиотеке. И журналов много. Большущая стопа «Огоньков». На обложке одного — летчик Водопьянов. Еще много книг о художниках, с цветными иллюстрациями. Это понятно: Лия Матвеевна сама отлично рисует. Вот бы и прийти в гости. Смело похлебать ухи, полистать журналы, попросить с собой книгу про войну или о рыцарях. Наверняка у нее есть такие. Но мы не пойдем. Не хватит смелости. И есть не сможем от стеснительности. И заикаться будем. «Какие там мужички!» — подумает Лия Матвеевна. Лучше не надо. Мы смелые, когда все вместе, в классе.

Рыбы прибавлялось, было уже не меньше двадцати штук, однако Бэркэну казалось, что этого мало, мы вталкивали и вытаскивали шестовку, хотя попадалось теперь реже и по одной штуке. Косяк прошел, возле берега бродили отставшие лососи.

Сделалось совсем холодно. Ветер отяжелел, густо моросило. Казалось, где-то далеко в море сварили его из тумана, соленой воды, приправили водорослями, запахом погибших рыб, остудили и погнали продувать берега, сопки, тайгу.

Я бегал к костру, совал в огонь руки, распахивал пиджачок, набирая тепла. Но все равно мерз, клацал зубами.

— Смотри, — сказал Бэркэну, — невод уже тащат.

Катер описал большую дугу, с кунгаса подали на лайду конец, и сейчас ловцы, крутя деревянный ворот, подтягивали другой край невода, чтобы примкнуть его к берегу. Катер удалился в туман отстаиваться. Значит, вода покатилась назад, начался отлив.

Бэркэн молчал, сопел (когда он сердится, всегда сопит, будто у него появляется насморк), заставлял меня «греться»: толкать шест в воду, вытаскивать на гальку. Понятно, собачек надо кормить, однако зачем так много ловить в один прилив — перенести рыбу в поселок и то будет нелегко. А мы еще в соленой воде намокли — она прямо обжигает на ветру.

— Тэрэлунгэ! — сказал Бэркэн. — Ты тэрэлунгэ! — Он ткнул в меня пальцем и засмеялся так, будто нашел мне самое подходящее имя.

— Что это?

— Потом скажу. Давай собираем сетку.

Вытряхнули водоросли, повесили сетку на корягу; забросали рыбу песком, чтобы не сохла; раскочегарили костер, нацепили на палки куски ююлы, приставили к огню; сняли пиджаки, брюки, повесили сушиться.

Вода уходила от берега, кое-где обнажился ил, на перекатах била хвостами кета. А в дельфиньем неводе творилось что-то страшное: белухи почувствовали себя отгороженными от большой воды, метались от одной стенки невода к другой, вспучивали мутную воду, пускали длинные фонтаны, тяжело выдыхая воздух. Их спины, как обкатанные валуны, горбились над поверхностью. Издали все это напоминало загон, в котором невидимый зверь гоняет стадо коров.

— Смотреть будем, а?

— Давай. — Бэркэн подержал свои штаны над огнем, чтобы набрать тепло.

— Что такое «тэрэлунгэ»?

— Не скажу.

Бэркэн захохотал, отпрыгнул, будто я хотел его ударить, побежал вдоль лайды к дельфиньему неводу.

У первого ворота, где отдыхали зверобои, сидел на белой коряге плавника дедушка Розов, что-то рассказывал. Мы тихонько подошли, примостились сзади.

— Замечено, что дельфины иногда спасают утопающих. Выталкивают на поверхность, плыть помогают. Были такие случаи на Средиземном, Красном море. Легенды существуют, будто бы дельфины особенно ласково относятся к человеку. Некоторые мореплаватели считают их по сообразительности чуть ли не первыми среди животных. Умнее даже собаки. В древней Греции дельфины были постоянными спутниками богов. Но пока

точно ничего неизвестно. Никто не занимается дельфинами, не дошла очередь.

— А вот убивать дошла очередь, — сказал бригадир неводников, очень не видный по внешности мужичок, с тоненьким голосом, но с хорошей, редкой фамилией — Абрикосов.

Все другие закивали, заусмехались, поддерживая его, даже эвенки согласились, хотя они на морского зверя всегда охотились.

— Иной раз жалко, стонут, будто тебе жалуются.

— Глаза у них умные.

— Детенышей жальче всего.

— Должен вам сказать, — поднял руку дедушка Розов, — должен сказать, что белухи не совсем те дельфины, о которых легенды сложены, хотя одного семейства. Их около семидесяти видов так называемых зубатых китов. Я рассказывал об афалинах — они меньше, проворнее. Но белуха — тоже дельфин. За удивительный голос моряки кличут ее морской канарейкой. Однако мало кто изучал белух. Шкура и жир были нужны.

Зверобой называли Розова «наш инспектор». В шутку так называли, потому что старик присутствовал при каждом забросе невода — в любое время прилива, в самую недобрую погоду. Следил, чтобы выпускали молодняк, маток с детенышами, которые кормятся молоком. Над инспектором, конечно, подсмеивались, но слушались его, считали — лучше не связываться с «профессором» (его и так еще называли). Говорят, был случай года три тому назад: Розов приказал отпустить молодого дельфина, а бригадир запротивился, улов нужен был для плана; тогда старик сел верхом на белуху и не дал застрелить ее, караулил до следующего прилива, да еще воду носил, чтобы у дельфина кожа не пересохла. С тех пор и перестали с ним ссориться зверобой.

— Пора, — сказал старик Розов, поднялся, подтянул до пояса резиновые сапоги, надвинул на лоб капюшон дождевика; увидел меня с Бэркэном, обрадовался: — И вы здесь, ребята? Пришли помогать мне?

— Помогать, — сказал я.

— Только осторожно, знаете?

— Понятно.

От ветра лицо у него сделалось пунцовым, пунцовой была шея и руки. Размахивая палкой, как холодным

оружием, он пошел к морю. За ним двинулась бригада Абрикосова, зарядив и вскинув на плечи берданки. Мы засучили повыше колен штаны, потянулись следом, пока отставая.

Топкий илистый плес почти обнажился, воды было фута на два, и белухи сбивались в ямы, ворочались, дымили фонтанами. От взбаламученного ила вода сделалась серой, густой, даже фонтаны, вспухавшие над крутыми лбами белух, были грязные. Мощно хлестали хвосты, воду резали острые плавники.

Подошли к улову. Белух было штук тридцать, больше крупных, белокожих. Среди них промелькивали синеватые спины молодых дельфинов, и один белушонок — синий, будто обмазанный чернилами. Белухи понемногу затихали, истратив все силы, лишь слышались тяжкие вздохи, тонкий, почти комариный писк, да белушонок все старался влезть на спину матери и с плеском падал в илистую жижу.

Зверобой раздвинулись полукругом, бригадир поднял берданку, скомандовал:

— Начинай!

— Осторожнее, прошу, — сказал ему Розов.

— Знаем, — ответил Абрикосов, но не очень вежливо, даже сердито, а нам мотнул головой, чтобы отодвинуться назад.

Выстрел — как треск молнии. Второй, третий... Зверобой подходили вплотную к белухам, посматривая на взмахивающие хвосты, прикладывали к голове (там, где дырочка уха) ствол, спускали затвор. Зверь делал последний рывок, сваливался на бок, затихал. Выстрелы превращали белух в неподвижные белые глыбы, похожие на валуны.

Редко кто промахивался. Но если такое случалось, раненый зверь бился яростно, фонтанировал кровью, зарывался в ил. К нему нельзя было подойти, пока он не обессилет или не впадает на минуту в забытие.

Дедушка Розов не любил таких стрелков, ругал их, сам хватался за берданку. Сегодня бригада поработала хорошо, быстро успокоила дельфинье стадо, это понравилось и Абрикосову.

— Молодчаги! — крикнул тоненько он.

Живыми остались два молодых синих дельфина, белая крупная матка и чернильный белушонок. Мы подо-

шли к ним вплотную. Звери не шевелились. Лишь белушонка возился в илистой жиже возле бока матери, едва слышно попискивал, как умирающий комарик. Дедушка Розов, потрогав кожу синего дельфина, заторопился:

— Давайте, давайте. Обсыхают звери.

Бригадники накинули петлю на хвост матки, затянули, взялись всемером за канат, поволокли тяжелую белуху к стенке невода. Дедушка Розов и трое других мужиков потащили синего. А мы с Бэркэном взяли за лапы, как под ручки, белушонка, наклонились и бегом припустили догонять воду. Белушонка был тяжелый, килограммов на пятьдесят, но скользил по жидкому илу хорошо — пузо у него гладкое, и весь он упругий, толстокожий, будто туго накачаный воздухом. И сердился. Пробовал вырваться, шлепнуть хвостом и, если удавалось ему заглотить илистой жижи, обдавал нас фонтанами грязи.

Подтащили белушонка вовремя: бригадир как раз снимал петлю с хвоста белухи. Толкнули его к матери, он стал ласкаться, тереться о ее нос своей острой мордочкой. Мать лежала, цедя зубатым ртом чистую воду, потом вяло повела хвостом, пошла, пошла, скользя животом по илу, ведя сбоку малыша, и занырнула в глубь зеленой воды. Через минуту она вынырнула вдалеке — белушонка темным бугорком лепился на ее белой спине. Дедушка Розов помахал им платком.

Зверобои столпились в сторонке, закурили.

— Чертов старик, — сказал один, самый испачканный. — Столько работы задает.

— Вот скотинка, — толкнул сапогом дельфинью голову другой, — выпрыгивала бы сама, если недозрела.

— Справил свое дело и пошел...

У бригадников было еще много работы. Убитых белух надо связать по четыре-пять штук, заякорить, поставить буйки, чтобы по следующему приливу катер мог найти добычу и отбуксировать на жиротопный завод. До ночи они будут месить их.

Мы побежали догонять Розова. Он едва тащил свои сапоги, горбился, припадая к палке. На лайде Бэркэн сказал ему:

— Тебе рыба надо?

— Возьму штучку.

— Идем тогда.

Дали дедушке Розову большую икрянку, он поворошил легонько ладошкой наши головы, сказал «спасибо, ребятки» и поковылял в поселок. Я взял себе в мешок четыре рыбины — на первый засол, четыре штуки положил в мешок Бэркэн. Остальную рыбу перенесут домой на юколу сородичи Гутчинсона, живущие вместе с ним.

## 5

Всю ночь на горе Лумукан горели большие костры, а утром поселок узнал: пришел «снабженец». Так называли грузовой пароход «Иня», который каждую осень обходил побережье Охотского моря, снабжал поселки продуктами и товарами. Ребята, палившие сигнальные костры, слышали хриплый, долгий гудок, когда снабженец вошел в Тугурскую губу.

В этот день мы явились в школу без книжек и сумок — лишь бы показаться, потому что знали: занятий не будет. Даже в класс не пошли, ожидая, пока директор проведет совещание с учителями. Потом сразу собрали в красном уголке старшеклассников — создавать рабочие бригады, — а нас распустили по домам с наказом: «Сидите дома, нянчите младших братишек и сестренок — родители пойдут выгружать пароход».

Конечно, помогать надо. Не выгрузишь свои продукты — год на голодном пайке сидеть будешь, пароход лишние сутки ждать не станет, даст гудок — и к другим поселкам поплывет: ему до больших льдов все побережье снабдить надо. У меня дома полный порядочек. Младшая сестренка не такая уж маленькая, чтобы сама не прожила, к тому же старенькая бабка Шесталова по соседству живет (ее-то на выгрузку не позовут), а Бэркэну совсем хорошо: они никогда своих младших не нянчат — сами растут. Вот только забегу домой, сапоги надену, проверку наведу...

Бежим вместе с Бэркэном к нашему дому. Возле интерната на углу видим двух девчонок. Брызгаются водой из пожарной бочки, хохочут. Девчонки грязные, вода зеленая, вонючая.

— Надька! — кричу я. — Я вот тебе сейчас задам!

Сестренка пугается на минуту, но потом еще сильнее хохочет,

— Она лягушку проглотила!

Катька Шесталова пляшет, бьет себя ладошкой по животу.

— Ты?

— Шаволится! — говорит и хохочет Катька, показывая на живот.

— Тьфу, аю! — Бэркэн отворачивается. — Как африканская крокодил!

Я не очень возмущаюсь. Такая и есть эта Катька Шесталова. Куда только бабка смотрит! Летом Катька головастика глотала. Скажут ей: «Конфету дам» — глотает. Иной раз штук двадцать проглотит, потом тошнит ее, болеет.

— Выплюнь! — приказываю я.

Катька толкает в рот два пальца, сильно икает — и на ладошке у нее появляется лягушонок. Живой, глазами лупает. Катька смеется, вытирая слезы.

— Дай конфету, еще заглочу.

Я хватаю сестренку, тащу за собой. Катька хочет бежать следом. Бэркэн останавливает ее, показывает кулак, делает свиное лицо.

— Глотай сам!

Дома никого нет. Мать уже ушла — ей придется готовить на всех грузчиков; отец тоже на пристани, возле складов — он будет вести учет мешкам и ящикам. Старшую сестру подавно не заставишь сидеть дома, комсомолка, они всегда должны быть впереди, пример показывать, хоть и девчонки. Неужели мешки таскать будут?

Бэркэн вздыхает — надо уже идти, надо везде успеть, все посмотреть, — а я переодеваю Надьку. Кто придумал этих младших? Чтобы жить другим мешали? Их же возненавидеть можно. Но ругаться нельзя, я понимаю, даже виду не показывай, что сердисься. Иначе сиди дома, забавляй, водись, корми...

— Надь, ты посидишь дома, а?

Она молчит, нарочно сильно начинает сопеть, будто собирается заплакать.

— Я быстренько, Надь?

— И-ишпанку дай.

Вот они такие, младшие, которых любить надо. В трудный момент — удар «под дых». Я на самом деле чуть не задохнулся от злости, чуть не ударил Надьку. Кто ее научил этому? Маленькая предательница, враг!

Мне хочется крикнуть: «Ничего не получишь, а если пикнешь!..»

— Дай, — говорит Бэркэн, — маленьким не надо жалеть. Мое братишка носит.

Достаю, держу в руках, глажу новенькую матерiu, аж пот на лбу выступает, но все-таки отдаю.

— Надь, ты осторожно, ладно?

Хватает, смеется, сразу позабыв обо мне, тоненько поет: «Моя Зойка публиканец...» Примеряет кукле испанку.

— Мы пошли.

Не слышит, не понимает. Прячу спички, ставлю на стол еду. Киваю Бэркэну, на цыпочках выходим. Провисываю в петлю палочку (если уж очень будет ломиться сестренка — обязательно откроет дверь) и без оглядки пускаемся сначала по поселку, потом сворачиваем в лес.

Лиственницы желтые, тропинки желтые, воздух желтый: сыплется сверху сухим дождиком лиственничная хвоя. Багульник побурел, пожелтела марь. Даже стланник издали рыжий — созрели на нем кедровые шишки.

А ягод — ступить негде. Голубика, клюква, брусника. Рябина поспела. Морошка — северная земляника — кое-где еще попадает. Моховиков, маслят много, здесь они не бывают червивые. В тайге можно до зимы прожить без домашней еды.

Горстями хватаем ягоду, суем в карманы шишки, которые порыжей, перебегаем марь, не сбавляя скорости, взбираемся по пологому склону на Лумукан.

Тут уже много мальчишек и девчонок, подшевеливают костерки, пекут кедровые орехи. Нас не очень замечают, мы кидаем свои шишки в горячую золу — и сразу к обрыву, за лиственницы.

Да, пароход стоит в заливе, ржаво-белый, с яркой трубой, мачтами, лебедками. Огромный, хоть и далеко вато до него — не меньше десяти километров. Выпрашиваю чей-то бинокль — старенький, с одной уцелевшей линзой, — прикладываю к глазу, прижмуриваюсь. Пароход мгновенно придвигается ко мне, как в кино, даже отступаю немного. И вижу надпись «Иня» над клюзом. У борта покачиваются черные кунгасы, наш «Тугур», еще один катер. Из полосатой трубы кучерявится пар. Стрелы движутся, поднимают из трюмов сетки с меш-

ками и ящиками. На корме парохода мерцает флаг. И людей видно, если присмотреться, бегают, копошатся, почему-то все растопыренные, как пауки. Отдаю бинокль Бэркэну — он уже толкает меня в бок, горячится, бормочет что-то по-эвенкийски.

— Нагрузили? — спрашивает Никита Ямсольский.

— Нет еще.

— А ты бы помог.

— Сам помоги.

— Ого! А ты чего такой смелый?

— Ничего.

Никита грызет шишку, руки у него облипли смолой, сажей, зубы коричневые от ореховой шелухи, усмехается, намекая, что я запросто могу заработать «на орехи». И почему он так не любит меня? За стишков? Но ведь я правду написал. Никита переросток, плохо учится, дерется. Брагу пьет, и о девчонках всегда гадости говорит. Его работать надо послать, а не защищать от стишков, как делают родители.

Никита боком, потихоньку, плюясь шелухой, подвигается ко мне, будто хочет толкнуть со скалы; я знаю — это он делает для виду, пугает, однако на всякий случай отхожу в сторону, к костру.

Бэркэн смотрит в бинокль. Я, конечно, крикну его, если что. Но вот подбегает и становится между нами Алка Замахнина. Хмурится, улыбается, откидывает взмахом головы белобрысую челку со лба, делает руки буквой «ф» — и все это разом, невозможно за нею уследить.

— Ну, чего, чего ты?.. Такой бугай. — Она поворачивается к Никите, выпячивает грудь; Никита отступает, жалобно смотрит на Алку. Она подмигивает мне. — Он трус, бей чем попало — убежит.

Никита хохочет, выгребает угли вместе с шишками, дает всем понять: «Не могу спорить с девчонкой, женский пол, уступаю, но в другой раз...» А я знаю, что он ухаживает за Алкой Замахниной, видели их на Горке вдвоем. И пусть, мне какое дело! Но почему она всегда на людях издевается над Никитой, будто презирает его, и меня сейчас защитила? Приказала бы тогда ему, если может, раз и навсегда: «Не приставай!»

Я смотрю на Алку, почти ненавижу ее. И не могу не смотреть: волосы у нее белые, длинные, глаза черные,

щеки смуглые от загара, зубы чистые, как кварцевые камешки. Она старше меня года на три и, хоть не совсем взрослая, знает, что на нее смотрят мальчишки. И еще я чувствую — Алка отличает меня от всех других, будто я меченый, даже заигрывает со мной иногда. Зачем ей это?

— Погруз кончили! Идут! — крикнул Бэркэн.

От борта парохода отвалил катер с двумя кунгасами на буксире, направился к устью реки. Дымил выхлопной трубой, шел ходко: начинался прилив, морская вода подпирала речную, вспять поворачивала течение.

— Я на пристань, — сказал Клок.

— И я тоже!

— Надо место занять!

— Ребя, пошли.

Девчонки окружили Алку Замахнину, взяли ее за руки, побежали по склону вниз, как выводок за пестрой рябчихой. Следом, догоняя девонок, повел свой отряд Никита Ямольский. Побежали и мы с Бэркэном (самое интересное теперь будет на пристани), но сначала выгребли из костра свои шишки, набили ими карманы.

Марь переходили долго — ели голубику. Кусты были сизые от ягод, невозможно пробежать, чтобы не процедить сквозь пальцы самые рясные ветки. И сладкая была голубика: ее уже прихватили первые морозцы, она начала опадать. Бруснику лучше пока не трогать — к холодам созреет, а клюкву весной будем собирать — «первый наш фрукт», как говорят женщины в поселке.

К пристани на косе успели вовремя, как раз «Тугур» втягивал в устье Кутима кунгасы, нагруженные доверху ящиками и мешками.

— У тебя пожар! — сказал Бэркэн и начал бить ладошкой по карману моего пиджака.

Запахло паленой материей. Я поднял полу пиджака — карман прогорел, из него вываливались кедровые шишки. Ребята засмеялись, заплясали вокруг меня, будто я костер (так всегда — радуемся почему-то чужой беде). Зажав рукой дыру, я тоже засмеялся — скорее отстанут, если вместе смеешься. По-настоящему же мне хотелось убежать и заплакать: пиджак новый, в коричневую клетку, купили мне его к школе.

— Латка не надо, — сказал Бэркэн. — Совсем карман уберем — никто не узнает.

— Давай, — согласился я, радуясь смекалке друга. Прямо настоящий взрослый мужичок, каюр, рыбак. Все знает, все умеет.

Бэркэн вынул нож, отвел меня за угол склада, быстро спорол нашивной карман, швырнул его в стланик.

— Другой оставим?

— Не надо. Заметно будет.

Бэркэн спорол, сложил тряпицу квадратиком, подал мне.

— Возьми мануфактуру, на латка пригодится.

Я сунул руки в карманы брюк, и мы вышли к пристани. Сразу откуда-то взялся Никита, толкнул меня плечом.

— Покажь дырку.

— Какую?

Он осмотрел полы моего пиджака, покраснел от расстройства.

— Клок! Ах ты врунишка! Я тебе сейчас!

Рыжий приплюснул к голове мятую испанку, юркнул в толпу, Никита ринулся за ним, расталкивая мальчишек локтями. Однако не догнал Клока.

А к пристани подчалили оба кунгаса, на них бросили широкие сходни. Сбоку подошел и стал «Тугур», с борта спрыгнули Колька Нечаев и Володька Зеленец. Появился капитан. На пристань прошли, раздвигая грузчиков, заведующий культбазой, директор школы, директор рыбозавода, председатель Гутчинсон, Боровиков с фотоаппаратом (моего отца не было, значит, он на пароходе, принимает продукты). Началось собрание. Курили, спорили, вызывали бригадиров, назначали места бригадам. Наконец заведующий культбазой скомандовал:

— Довольно! Приступаем!

Двери пустых складов распахнули настежь, и первыми, взяв на спины по мешку с мукой, пробежали в их темную утробу Колька Нечаев, Володька Зеленец, Гутчинсон. Когда они появились на досках пристани, все захлопали в ладоши, мальчишки закричали «ура». Первые грузчики шли, покачивая плечами, поправляя капюшоны — мешки, надетые на головы. Боровиков задержал их взмахом руки, установил на треноге фотокамеру, попросил замереть и щелкнул несколько раз, заменяя пластинки. Потом сфотографировал все начальство на фоне катера и кунгасов.

Громко прозвучал залп из трех берданок, и теперь все закричали:

— Ур-ра-а!

В толпе грузчиков ходили по рукам большие бутылки с мутной брагой, передавались стаканы. Затащили туда Нечаева, Зеленца. Угостили, прикрыв их спинами. А потом две бригады подступили к кунгасам, потолкались немного, приноравливаясь к сходням, грузу, и началась работа.

Грузчику бросали на спину мешок или ящик; придерживая его сзади руками, он бежал по дощаному тротуару в склад, скидывал; обратно шел неторопливо, отдыхая; брал новый груз и опять бежал. Казалось, мешки сами вспрыгивали, катились по спинам людей, ныряли в черноту складов.

Пришел Гиравуль, покопался в ворохе чистых пустых кулей, сделал себе капюшон, стал в цепь следом за Колькой и Володькой, принял на плечи мешок. Пригнулся чуть не до трапа, подрожал коленями и легко побежал.

— Герой! — крикнул Колька, идя без груза навстречу. — Надо бы два тебе!

— Оpozдал. Юколу делал.

— Он на олешках привык, — хлопнул по мешку ладонью Володька. — Смотри, как виляет.

— Зато бежит не хуже олешка.

Гиравуль сбросил мешок, догнал друзей, показал руками, что чуть не свалился от тяжести, замотал головой. Мы засмеялись, не веря его жалобам. Гиравуль тоже засмеялся. Зеленец подтолкнул его к мешкам.

— Давай, давай, потребитель!

На этот раз Гиравуль легко пробежал по доскам, а идя обратно, улыбался, щуря черные запятые глаз.

Незаметно мы придвинулись к самой пристани, кое-кто из мальчишек подобрался к кунгасам, двое сидели на кнехтах, один покачивался на корме катера. Прибежал старший воспитатель Боровиков, замахал планшеткой.

— Назад! Как фамилия? Запишу!

Я и Бэркэп быстренько отбежали к складам — нам нельзя попадаться на глаза Ван-Сиду. Он рассказал Лие Матвеевне, директору школы, что мы плясали на празднике рыбы, и еще неизвестно, что нам за это будет: вы-

зовут родителей или на общем собрании перед всеми учениками напоказ выставят.

К нам подошел Никита, но не сердитый, даже с улыбкой небольшой, и руки за спину заложил.

— Слышь, — сказал мне, — твоя матушка поварит. Достань пожрать, а? Живот болит от тунгусской жратвы — рыбки, ягоды. Кашки бы, а? — Он похлопал себя по животу, втянув его, как тощий пес.

— Не пойду.

— Почему, а? Сердишься на меня?

— Надьку одну оставил.

— А-а. Уважительная причина. — Никита, не очень веря, изучал меня мокрыми оловянными глазами, медленно поворачиваясь, как пароход на якоре, к Бэркэну.

— А ты, америкашка?

— Сам иди.

— Я большой. А ты как малая народность.

— Ты дурак! Еще потом фашист!

— Чего, рыбий потрох?

Никита, пригнувшись для драки, пошел на Бэркэна, пугая его кривой усмешкой. Бэркэн не отступил, отодвинул меня рукой, когда я стал рядом с ним. Он следил за Никитой, примеривался к каждому его движению. Потом вдруг выхватил из чехла охотничий нож и, выкрикнув «Кэ!», прыгнул к Никите.

— О-о! — промычал жалобно и удивленно Никита, повернулся, ссутулил спину. Но не побежал. Пошел, вложив руки в карманы. Некрасиво пошел. Однако не струсил окончательно. И это, почувствовали мы, не обещает нам теперь ничего приятного.

— Убью, — Бэркэн сплюнул, вложил в кожаный чехол нож. У него дрожали губы, слезились глаза, голос стал хриплым.

— Ты что? Человек ведь!

— Правда, — согласился Бэркэн, сильно вздыхая. — Амака\* такой злой не бывает.

— Мы его так, руками.

— Нож надо дома оставить, правда?

Бэркэн погладил деревянную, залоснившуюся до черноты рукоятку ножа. Трудно ему даже подумать о том, что он расстанется со своим маленьким оружием, к кото-

---

\* А м а к а — медведь (эвенк.).

рому привык с того дня, как поднялся на ноги и сделал первый шаг по земле. Но все равно придется. Директор школы проводил собрания, вызывал родителей, грозился под суд отдать тех, чьи дети будут носить ножи. А звенки не понимают: «Человек должен всегда иметь оружие», — и многие ребята носят в чехлах маленькие ножи.

— Надо, — сказал я, вспомнив, что отец говорил матери, будто готовится большое поселковое собрание, и потом у всех мальчишек отнимут ножи. — На охоту, на рыбалку брать будем.

Вернулись к пристани, там уже работала другая смена, кунгасы быстро пустели, и в устье Кутима медленно втягивал ржавую баржу катер с названием «Снабженец». Первая смена шла к навесу на косе, где были сколочены из свежих досок столы, а чуть в стороне пылали костры под тремя котлами. Там сустились женщины и девчонки в белых халатах, гремели миски, кастрюли, кружки. Издали я видел мать с черпаком у котла. Алку Замахнину среди девчонок, свою сестру.

Гутчинсон шагал впереди, опустив низко руки в брезентовых рукавицах, сгорбив спину, обтянутую тесным старым пиджаком. Он не похож на своих сородичей — у них и бороды жиденькие, и ростом они небольшие, и, главное, никогда не бывает у них носа «все равно — чангай». Только один Гутчинсон из всех пожилых звенков носит русскую одежду, любит тяжелую работу, легко, красиво таскает мешки (он да еще Гиравуль); другие звенки подсмеиваются: «Груз таскать — олешки есть, собаки», но не каждый из них на самом деле удержит на спине мешок. Однако все они любят Гутчинсона, слушаются его, считают главой тэгэ — рода.

Мне не очень понятно, почему так обижается Бэркэн, когда его называют америкашкой. Такой у него, можно сказать, замечательный дед. Нехорошо, правда, что американцы — буржуи, угнетатели рабочего класса, но, может быть, тот, отец Гутчинсона, был смелым зверобоем, отважным моряком? И не вернулся потому, что погиб вместе со своей шхуной? Кто знает?.. Дедушка Розов копается понемножку, стариков расспрашивает, книги какие-то выписывает — может, расскажет когда-нибудь, как все было. А я вот на Лумукан спокойно смотреть теперь не могу: кажется, тот черный каменный

столб вдруг оживет или гора, как живая, шевельнется, когда по ней идешь.

— Кушать надо, — Бэркэн округлил ноздри, направив их в сторону котлов.

Есть хочется — это точно. Добыть бы юколы, кусок хлеба, хотя бы по сухарю. Я не могу пойти к матери: даст супа и каши и сразу прогонит домой. Сестру попросить — то же самое: раскричится, матери нажалуется.

Бригада сидела под навесом, гомоня, переговариваясь, обедала. Кое-кто из огольцов добыл каши, едят в сторонке на траве; Никита лопает суп с хлебом.

— Бэркэн, иди к Нечаеву, а? Сзади подойди, шепни — пусть добавки возьмет на нас двоих. Он добудет.

Из-за кустов мне было видно, как Бэркэн медленно, пригнувшись, подбирался к навесу, как тронул рукой Колькину спину, шептал ему на ухо. Нечаев мотнул головой, сделал испуганные глаза: «Никак не могу обманывать, нехорошо!» — но это он так, поугаать Бэркэна. Потом поднялся, взял миску, будто робея, пошел к котлам; у поварих выпрашивал, конечно, смело, с шуточками. Вернулся, сунул Бэркэну миску каши, положил сверху кусок хлеба, дал две ложки. Когда Бэркэн, опять пригнувшись, побежал к кустам, Колька свистнул, прикрикнул:

— Держи его!

Все обернулись, засмеялись. Догонять, конечно, никто не кинулся.

Каша была гречневая, со сливочным маслом, хлеб мягкий, теплый — только что из пекарни. Еда самая настоящая, даже Бэркэн по полной ложке проглатывал, хотя еще в прошлом году, кроме рыбы, оленьего или медвежьего мяса, ничего не ел.

У пристани стучал мотором «Снабженец», потом, подчалив баржу, ушел с отливом к пароходу, и снова началась выгрузка мешков, больших и маленьких ящиков — фанерных, решетчатых с картошкой, луком; по сходням, взявшись вчетвером, выкатывали бочки с капустой, огурцами, повидлом.

Никита за сараем ел луковицу, отрезая по кусочку друзьям, кричал, как от работы, вытирал рукавом слезы.

В складах зажгли фонари, «Тугур» включил прожектор — пристань захлестнуло голубым светом. Замелькали

черные тени, резко отделилась вечерняя темнота, в которой и мы как бы отделились от пристани. И тут произошло то, из-за чего вся поселковая ребятня встречает паром, дежурит на выгрузке: упал и разбился на крайних досках ящик с пряниками. Белые мятные пряники, сразу перебив другие запахи, посыпались на землю, в подставленные ладони мальчишек, оказавшихся рядом. Кто-то из грузчиков поддел ящик сапогом — некому собирать, некогда, — он свалился в нашу толпу, и возникла куча мала: лезли друг на друга, гребли, хватали пряники, вырывали из рук, визжали девчонки.

— Налетай — подешевело! — кричали сверху.

— Расхватали — не берут!

Расхватали до последнего пряника, набили карманы, грызли, хвастались — у кого больше. Клок хныкал, но тоже грыз (на всякий случай, чтобы не отняли). Никита держал полную кепку, да еще карманы оттопырились. И нам с Бэркэном кое-что перепало, штук по десять схватили. Жуем. Вкусно!

Прибежала, запыхавшись, Алка Замахнина:

— Мальчики! А нам? Кашу так ели. Давайте, давайте. У кого много?

Мы отделили по два пряника, Алка хотела поцеловать меня: «Дай чмокну!» — я увернулся. Никита отвалил штук десять, подставил щеку. Алка ткнула в нее кулачком: «А ты умывался?» Собрала еще штук десять пряников, обещая завтра накормить обедом, спросила:

— Кто ящик разбил?

— Зеленец.

— Так и знала. Еще конфеты будут, мальчики. Все не съедайте, прибегу!

К полуночи споткнулся и уронил ящик Колька Нечаев. Да так ловко, что вместе с отвалившейся фанерной стенкой высыпалась гора разноцветных круглых конфет. Вот было весело! Алка привела девчат, поварих. Я вовремя набил карманы и спрятался за сарай. Женщины оттащили Никиту, держали его в сторонке, он барахтался, ругался, а девчонки гребли конфеты в кастрюли, отпихивали мальчишек. Потом с хохотом пустились к кухонному навесу.

— Гутчинсон, однако, разобьет, — сказал Бэркэн.

Да, он обязательно разобьет ящик с чем-нибудь хорошим, неизвестно только когда — может, к утру. Я бы

подождал, потому что все будут ждать, но мне надо бежать домой. Хотя бы посмотреть, как там Надька. Может, она померла, устроила пожар, заблудилась в лесу?.. Мать и старшая сестрица думают, что я дома, играю с Надькой, и сами не подумают пойти. Умеют сваливать на других, да еще после воспитывают!

Всю дорогу бежал, воображая Надьку погибшей. Открыл дверь, зажег лампу. Надька спокойненько спала на родительской кровати, а моя новенькая испанка была туго натянута на голову кукле Зойке: младшая сестренка наполовину урезала ее, подштопала.

## 6

На урок зоологии к нам в класс пришел дедушка Розов. Он сел за учительский стол рядом с Лией Матвеевной, разложил плоские застекленные рамки с гербариями, сильно потер озябшие руки, нацепил на пунцовый нос очки. И только потом, с минуту помолчав, громко, по-домашнему заговорил:

— Ребятки! Все, что окружает нас, есть природа — среда, в которой мы живем. Это вы уже знаете. С древних времен человек старается познавать природу, чтобы приспособиться к ней, легче добывать себе пищу. Прежде всего он хотел знать ту местность, где жил сам: растения, животных, реки, озера. Какие плоды полезны, какие ядовиты; какие звери мирные, какие злые; какую рыбу и когда ловить. Всю жизнь я изучаю природу, пять лет живу в нашем поселке — и все собираю, накапливаю растения, делаю чучела из рыб, диких животных. И мне интересно. Но всего изучить я не успею. Потому хочу, чтобы вы помогали мне сейчас, а когда я умру, продолжили мое дело. Пусть кто-нибудь из вас станет зоологом, ботаником. Вдруг ему повезет, он откроет новое растение, приручит хищника, отыщет драгоценный камень. Это ведь очень интересно, ребятки. Правда?

— Правда! — не сразу ответили мы, потому что не ожидали вопроса, но ответили всем классом, охотно: все слушали, смотрели на дедушку Розова, и была такая тишина, что слышно было, как сопит у Клока простуженный нос.

Мы ничуть не боялись розового старика и все равно

сидели спокойно, ловили каждое его тихое слово. Во-первых, он первый раз пришел к нам на урок; во-вторых, такого музея, как у дедушки Розова, не было по всему Охотскому побережью; в-третьих, он был самый смелый человек в поселке: один ходил по тайге, жил по соседству с медведем, когда тот строил себе берлогу; умел управлять оморочкой, ездить на собачьей упряжке. Он дружит с эвенками, записывает у стариков сказки, и они любят его, советуются с ним (он знает эвенкийский язык), и некоторые даже побаиваются его слегка, называют «русский шаман».

— Мне помогают взрослые, охотники, пастухи. И вы уже помогаете, ребятаки. Вот недавно двое ваших, они должны быть здесь, — Розов, придерживая очки, побежал глазами от парты к парте. — Вот они, эти двое. — Он показал на меня и Бэркэна. — Как вас зовут, ребятаки?

— Встать надо, — сказала Лия Матвеевна.

Мы поднялись, назвали себя. Дедушка Розов подошел к нам, потрогал жесткой рукой меня и Бэркэна, усадил.

— Вот они принесли миногу. Настоящую. А я два года охотился за миногами. Теперь минога в стеклянной банке, приходите смотреть. Если наловите побольше миног, научу жарить их — вкуснейшая рыбешка. А им, этим ребятам, у меня подарки есть. — Розов зашаркал оленьими унтами к столу, взял две коробки, принес нам. — Вот тут акварельные краски, кисточки.

Весь класс вскочил, столпился у нашей парты. Каждому хотелось глянуть, потрогать руками. Краски — в металлических коробках, в фарфоровых чашечках, — таких ни у кого в поселке не было.

— По местам, ребята! — сказала, тоже подходя, Лия Матвеевна. — В перемену посмотрите.

И тут Людка Коптяева, выждав, когда все рассядутся и утихнут, четко, словно отвечая урок, проговорила:

— А они на празднике рыбы плясали вместе с шаманом.

Людка была отличница, любимая ученица Лии Матвеевны, каждый год, начиная с первого класса, получала премии. Еще она была дочкой заведующего культурной базой, а мать ее работала главврачом в больнице. Даже самые драчливые мальчишки не трогали ее. Девчонки

дружили с ней, слушались ее, потому что у Людки были самые красивые платья и кофточки. И училась она лучше всех — это точно, отвечала без подсказок, наводящих вопросов, почти как сама Лия Матвеевна. От кого же она узнала про нас, зачем вот взяла и ляпнула на весь класс, да еще при бабушке Розове?

— Да, ребята, — медленно, отворачиваясь к окну, поднялась Лия Матвеевна. — Они плясали. Люда правильно сказала. — Она поднесла ладонь к переносице, потерла ее, как при головной боли. — Но сейчас мы не будем разбирать, не время. Продолжим...

— Минуточку, прошу вас. — Розов коснулся плеча Лии Матвеевны, глянул на Людку. — Ну и что такого? Что такого страшного ты видишь в этом, девочка?

Людка пылала широкими щеками, мяла в руках бу-мажку. Она ничего не ответила старику, не посмотрела на него. Зато так глянула на учительницу, будто крикнула: «Пусть не пристаёт с глупыми вопросами!»

Розовый старик ничего этого не заметил, рассуждал перед классом:

— Ребятки играли, правда? Ну попрыгали там, попрыгали, что за беда? Они ведь никого здесь не собирают, не учат кричать «Эй-рэ!» Им интересно было, они хотели узнать, как исполняется ритуальный танец. Правда, ребятки?

Я кивнул, а Бэркэн не поднял головы — он как уставился в парту после Людкиной речи, так и не отрывал от нее глаз, будто прилепил их к чернильным кляксам. В любую минуту он мог вскочить и выбежать из класса. Потом ищи его по эвенкийским палаткам — у них там все родственники, — и в школу завтра не пойдет. Я тихонько взял руку Бэркэна под партой, сжал ее изо всей силы: «Не отпускай, не думай бежать!» Сказал бабушке Розову:

— Это мы баловались.

— Ну вот, я так и думаю. А тебе, девочка...

Лия Матвеевна поднялась, все еще хмурясь, держа ладонь у переносицы, что-то быстро, вполголоса проговорила старику в ухо. Затем постучала карандашом по столу, хотя никакого шума не было.

— Продолжим урок.

— Продолжим, продолжим, — подтвердил Розов. — Мы отвлеклись немножко. Сегодня, ребята, я покажу

вам гербарии наших трав, насекомых. Водорослей тоже. Вот смотрите.

Расхаживая между партами, он показывал засушенные листики, травинки, головки разных цветов. На некоторых сидели бабочки, мотыльки, почти как живые. Оказывается, стебельки мха очень длинные, а ягель — олений лишайник — напоминает кактусы, если присмотреться, и его можно жевать заблудившимся в тайге. Черемша ничуть не хуже лука или чеснока. Корень саранки «можно употреблять в сыром виде».

— Вы знаете, что самые красивые бабочки выводятся из гусениц, что у кузнечика уши на передних ногах?

— Знаю! — громко сказала Людка Коптяева, у нее все еще не остыли щеки, она смотрела поверх головы старика.

— Хорошо, девочка, — совсем не удивился Розов. — Теперь покажу вам, ребятки, водоросли.

И опять старик ходил между партами, показывал, объяснял, спрашивал, а я смотрел в окно, где было ярко от снега, снежная пыль сыпалась с веток лиственниц и далеко, за Кутимом, густо синела холодная, еще не замерзшая в озерах вода. И помнил о том, что надо идти ловить навагу. Мы уже договорились с Бэркэном — сразу после уроков пойдем. Пообедаем — и на Кутим. Все запасаются навагой — это свежая рыба на всю зиму. Себе, собакам; приманка для лисиц, соболя... Я так задумался, собираясь на рыбалку, что вздрогнул, когда возле нашей парты остановился Розов, поставил перед нами застекленный гербарий, сказал:

— Ламинария. Морская капуста. Пригодна в пищу. В Японии собирают большое количество ламинарии, готовят салаты.

— Ты кушал? — спросил вдруг Бэркэн.

— Каждый день кушаю. Вкусно. Приходи, дам попробовать.

— Бэркэн! — сказала Лия Матвеевна. — Старших следует называть на «вы». Сколько раз мне напоминать?

— Понимаю.

— Значит, выполнять надо.

Дедушка Розов вернулся к учительскому столу, слегка поклонился Лие Матвеевне, приложил к своей хилой груди руку.

— Он привыкнет. Он толковый паренек. Да, вот еще что, ребятки... Едва не забыл. — Старик опять подошел к нашей парте, наклонился к Бэркэну. — Этого мальчика вы дразните америкашкой. Нехорошо, ребятки. К тому же вы слышали звон, да не знаете, где он. В прежние времена американцы ходили по здешним побережьям, однако у нас я пока заметных следов не нашел. Есть останки старой шхуны на косе, закамневшие сваи возле Лумукана, могила с корабельным якорем вместо памятника. Чьи они — неизвестно. А где потомки американцев среди эвенков? Гутчинсон, скажете? Но он и сам не знает, откуда у него такая фамилия, легенде о девушке Лумукан верит. Эту легенду, мне кажется, выдумали, по крайней мере дополнили, приукрасили. Пусть Гутчинсон считает себя американцем, а Бэркэн настоящий эвенк. Покажись им, байе. — Старик приподнял Бэркэна, повернул его лицом к классу. — Ну, убедились? Вот и хорошо. Передайте всем ребятам мои слова.

— Продолжаем урок, — звучно листая классный журнал, напомнила Лия Матвеевна.

Розов показывал гербарии, но, вспомнив что-нибудь интересное, тут же сообщал классу («Вы видели у меня белую белку? А черного горностая? Редкие экспонаты, во всей стране таких не сыскать») — и Лия Матвеевна терпеливо возвращала его к насекомым.

Я думал о розовом старике и нашей учительнице. Они очень похожи друг на дружку. Разговорчивые, суетливые, добрые, одинокие. Ходят в торбазах, оленьих дошках. Одинакового цвета беличьих шапки носят. Даже говорят похоже — слабо, с хрипотцой. Припомнился разговор матери с соседкой: «Пожениться бы, что ли. Маюются поодиночке. Второй год дружбу водят, чаи пустые распивают...» Не понимаю, почему всех хотят поженить? Старику и так не плохо — сам себе хозяин, никаких ему: «Ты куда направился?», «Застегни пальто», «Не напейся», «Наколи дров». А готовить обед, убирать музей и комнату Розова все равно часто приходит Лия Матвеевна...

Загремел звонок — громко дребезжа. У нас нет медного колокольчика, и уборщица звонит оленьим боталом из консервной байки. Звук не очень приятный, зато всем слышно. Вскочили, затарабанили крышками парт. До раздевалки еще помнили о зоологии, дедушке Розове,

учительнице, а потом, на ярком снегу улицы, все сразу позабыли, занялись своими делами.

Бэркэн побежал в интернат, я — домой. Через полчаса встретились около культбазы. Я принес два сачка на длинных черенках, брезентовые рукавицы. Заторопились под гору, к Кутиму.

На отмелях стояли рыбаки, размахивали сачками: был уже полный отлив, и по речке можно бродить в сапогах. Увязая в незамерзшем береговом иле, спустились к воде, под которой сверкал твердый песок; выбрались на отмель, устланную колотым льдом. В первой же чистой лагуне обнаружили навагу. Было ее так много, что она лежала темными пластами, а когда мы сунули в воду сачки — взбунтовалась, закипела, будто снизу разожгли костер, подняла со дна песок. Сделалось тесно в лагуне, навага шелестела плавниками, прыгала на отмель. Поддели сачками, едва вырвали их из воды, плеснули на лед крупную сизо-белую рыбешку. Пляска началась бешеная, как на горячей сковородке в басне Крылова; шлепали хвосты, скрипели жабры, нас обсыпали липкие брызги.

— Аю! — крикнул, отгораживаясь руками, Бэркен.

— Вот тебе «аю»! Хорошее место попало. Давай черпаты!

Рыбаков было много, стояли они по двое, в одиночку, возле каждого — горка пристывшей наваги, тут же пляшет живая. Люди работают не отдыхая, переходят от лагуны к лагуне, выбирают, где рыбы погуще. Надо успеть до следующего прилива наловить, собрать навагу в мешки, вынести на сухой берег. Вычерпывать можно всю, не жалея, — с приливом новые косяки наваги войдут в Кутим, потянутся в верховья на нерест. Запоздавшие останутся в лагунах ждать очередной большой воды, как бы заполнят котлы, и люди вычерпают из них свою долю.

Берут свою долю медведи, выходя из тайги к речкам, выдры, лисы, хищные птицы — это последняя обильная еда перед долгой зимой.

Берем и мы с Бэркэном. В прошлом году по четыре мешка заготовили. Моя мать до самой весны свежую рыбу жарила, все ели, нахваливали. Эвенки строганину делают — сырую едят с нерпичьим жиром. Бэркэн меня угощал, есть можно, но потом тошнит без привычки.

Перешли к другой лагуне. Здесь, кроме наваги, стали попадаться морские бычки, корюшка. Бычки можно выбрасывать или брать для собак (рыбка — хвост да рогатая голова), зато корюшка — отличная добыча. От нее запахло свежими огурцами, и сама она, зеленоватая со спинки, была похожа на живые огурцы. Я чуть не заплакал — так захотелось огурца или помидора, а Бэркэн даже не глянул на корюшку: он никогда не ел свежих овощей, кроме редиски и турнепса с культбазовского огорода, и считает, что самая лучшая зелень — дикая черемша. Правильно считает. Только зря эвенки называют редиску и турнепс «русская еда». Просто здесь ничего другого не растет, вот и кормят интернатских ребятишек такими овощами, чтобы цингой не болели. Но корюшка сама по себе хороша, без запаха; ее можно жарить, варить, коптить, вялить — все равно будет вкусная. Такой рыбешки на материке никто не попробует. Если когда-нибудь Бэркэн переедет жить в город, далеко отсюда, зеленые огурцы будут напоминать ему запах корюшки.

Я выбрал самую крупную, живую, сжал ее в ладони. Она была упругая, плотная, как настоящий огурец. Поднес к носу.

— Воняет? — спросил Бэркэн.

— Еще как!

— Гурцы русские кушает, да?

— Розов говорит — травка такая в море есть, водоросль; корюшка питается ею, сама начинает пахнуть. Может, это морские огурцы?

— Не знаю. — Бэркэн швырнул в воду большого лупоглазого бычка. — Бычка, знаю, шаманы любят. Сушат, чертиков делают, в чум вешают. Разговаривают потом.

— У вас есть бог?

— Есть. Амака.

— Медведь?

— Медведь. От него все люди родились.

— Что ты? От медведя!

— Старики так говорят. Гутчинсон говорит: «От обезьяны плохие люди родились». Амака сильный, добрый. Амака — хозяин тайги.

— Ты его не боишься?

— Он смирный. Всегда уходит. Скажи: «Четь, четь» — и уходит. Обижать не надо амака. Русские обижают...

— Не знают, что он ваш бог.  
— У вас кто бог?  
— У меня нету. У старушек видел — человек бородатый. Нарисованный.  
— Шаман?  
— Может быть. Только не живой. Его никто не видел.

— Амака лучше. Амаку шаманы боятся. Он самый главный на земле. Понял?

Бэркэн смотрел на меня черными кругляшками глаз, будто они никогда не были у него узкими, чутко следил за мной: не засмеюсь ли, не отвернусь ли пренебрежительно (он мог накинуться с кулаками), — и я решил не дразнить друга.

— Понял, — сказал ему. — Давай работать.

В третьей лагуне ловилась навага, даже бычки не попадались; лишь с самого дна достали несколько больших колючих камбал. Живой ворох быстро пристыл, покрылся ипеем — в нем было не меньше мешка наваги. Да в тех лагунах мешка по полтора начерпали. Хватит. Руки закоченели, штаны и телогрейки льдом покрылись. Бэркэн бросил на ворох сачок, присел на корточки, достал трубку, набил табаком.

К нам подошел пожилой эвенк. Попросил закурить. Бэркэн отсыпал ему часть махорки. Эвенк присел тоже на корточки спиной к ветру, задымил, сладко причмокивая губами. Они заговорили сначала вяло, потом торопливо, перебивая друг друга, смеясь. Я не понимал их, но ловил знакомые слова: «Эксэри», «амака», «этыркэн», «лучакан». Если перевести, получалось что-то вроде: «У русских бог старикашка. Это очень смешно: бог — человек...» Они поглядывали на меня так, будто я назвал себя богом, и хотели получше узнать русского бога, чтобы потом рассказывать сородичам и смеяться.

Я не очень обиделся: Бэркэн всегда такой — не умеет ничего скрывать, обманывать, подлизываться; говорит — что думает. Не научился еще. И злости у него нет никакой на меня. Просто у эвенков все равные — взрослые и дети, и со мной Бэркэн дружит так же.

— Веди собачек, — сказал я, — а то не успеем.

Бэркэн молча выбил трубку, пошел в поселок.

К вечеру мы вывезли четыре мешка мороженой наваги.

Стукнула дверь, и я проснулся. С кухни потянуло морозцем, слышались голоса.

— Вот это я понимаю, новость! — трет руки, покрывает отец. — Надо же такое надумать!

— Что с тобой? Неужто успел выпить? — пугается мать.

— Не до того. Послушай, Нечаев, Зеленец, Гиравуль склад обокрали.

Мать, хлопнув ладонями:

— Да ты что? Зачем это им понадобилось?

— В Испанию бежать, на войну.

— В Испанию?..

— Взяли продуктов, одежонку. На лыжи — и ходу. Едва догнали. Да и то — лыжа у одного сломалась.

— Да где же сторож был? — Скрипит стул, мать садится в изнеможении.

— Связали. Никиту Ямского караулить оставили.

— Ой-ей-ей! Что же теперь будет!

Слушать дальше я не мог: все было ясно. Колька, Володька и Гиравуль хотели убежать в Испанию, сражаться с фашистами, а их поймали, не пустили. Сейчас же надо все разузнать, сообщить Бэркэну. Надо немедленно что-то делать. Может, еще не поздно, может, успеем помочь ребятам?.. У Бэркэна есть ружье, собачья упряжка. Я начал быстро одеваться, стараясь не шуметь, чтобы меня не задержали дома, но руки дрожали, и почему-то я плохо видел — так было горячо, мутно в глазах.

Два дня бушевала над поселком пурга, и окна были наполовину завалены снегом. Мы не ходили в школу, а взрослые пробирались в интернат, на культбазу, в сельсовет, держась за натянутые канаты. Вчера к вечеру буран начал утихать, и теперь — это было видно по верхним стеклам окон — с неба светило яркое солнце.

Глянул на часы — без десяти двенадцать. Как я мог столько спать? В такой день! Наверное, все уже все знают. Да я бы вообще не ложился, если бы...

— Ты куда?

В дверях стояла мать, присматривалась ко мне.

— На двор, — находчиво сказал я.

— Побыстрее. Завтрак на столе.

Пробегая кухню, схватил со стола кусок хлеба, в сенях взял лыжи, сорвал со стены несколько копченых корюшек. Возле крыльца стал на лыжи, чтобы не пробираться узенькой, в один след, тропинкой, побежал к интернату.

Во дворе было много ребят, они галдели, кричали, в толпе, как цапля, ходила воспитательница Колобкова, уговаривала, успокаивала, и никого никуда не пускала. Я обошел Колобкову, позвал Бэркэна.

— Знаешь, однако? — спросил он, позабыв поздороваться.

— Знаю.

— Их зарестовали. В рубленке сидят.

Рубленкой мы называли избушку, грубо срубленную из лиственничных бревен, всегда пустую, темную, страшноватую: в прошлом году там лежал замерзший в тайге кореец Цой, мы бегали смотреть, как он, оттаивая, будто живой, расправлял руки и ноги. А раньше еще, рассказывают, сидел в рубленке один бандит, убивший человека. Вечером мимо маленьких черных окошек избушки я всегда проносился бегом.

— В рубленке?

— Ну.

— Как же они могли?..

— Вот мы тут кричим: зачем в рубленку? Наши ребята, мы их выпустим.

Да, ребята интернатские — Нечаев, Зеленец, Гиравуль. У Кольки и Володьки нет родителей (у одного тетка, у другого сестра в поселке живут), у Гиравуля родители зимой и летом с оленьим стадом кочуют. А Никиту наверняка не посадили: он еще не дорос, да и «на вассере» только стоял. Надо все разузнать — зачем здесь ругаться с Колобковой? Надо выручать ребят, они не бандиты — они в Испанию хотели убежать, к Лукачу, в Интербригаду.

— Убежать сможешь? — спросил я Бэркэна.

— Убегу. С той стороны жди, где уборная.

Бэркэн начал выбираться к двери интерната, но тут вся толпа ринулась на улицу, еще сильнее загалдела и заорала. Оказывается, от школы шли заведующий культбазой и директор школы. Оба широкие, в дохах, они едва пробирались между высокими отвалами снега,

а когда ребята заорали и двинулись к ним, остановились, не понимая, что случилось.

Утопая в снегу, размахивая руками, толкаясь, помогая друг другу, мы обступили со всех сторон заведующего и директора.

— Отпустите наших!

— Зачем посадили в рубленку?

— Сломаем замок, свяжем сторожа!

— Они не бандиты!

— Соберем деньги, заплатим за ваши продукты!

— Зачем в рубленку?

— Рубленку сожжем!

Орали все разом, Колобкова металась позади, не могла пробраться к начальству. Кто-то колотил в пустую банку, кто-то свистел. Алка Замахнина сорвала с головы платок, по-бабьи голосила. Заплакали другие девчонки.

Заведующий поднимал руки, пытался перекрычать, мотал головой, показывая этим, что он ничего не понимает. Наконец к ним пробилась Колобкова, заговорила, вскидывая к груди руки, дрожа губами. Заведующий культбазой кивал ей, хмурился, потом вдруг заулыбался, выкинул вверх руку с сжатым кулаком — на мгновение все замолкли — и выкрикнул:

— Рот фронт!

Снова шум, крики, но теперь веселые, с хлопками в ладоши, как на митинге в праздник. Позади самые маленькие ребяташки закричали: «Ура!»

— Ребята! — сказал заведующий, выждав тишину. — Нам все понятно. Мы понимаем вас. Из рубленки их переведем. Но отпустить не можем: приказ милиции из района — держать до прибытия суда. Все, ребята, можете расходиться!

Заведующий и директор пошли к школе, а Колобкова, расставив длинные руки, отгораживала их от нашей толпы. Однако никто уже не кричал, не пытался бежать за начальниками. Медленно выбирались на тропинку, отряхивались. Алка Замахнина вытирала платочком пятнистые, будто нащипанные щеки, смеялась, сообщая каждому: «Переведут, переведут... Добились...» Длинной вереницей потянулись к интернату, подпираемые Колобковой.

Слово «приказ» утомило, утихомирило. Оказывает-

ся, из-за рубленки никто и спорить не стал. Собрались защищать, а дело-то серьезное произошло: суд из района придет.

— Пойдем?

— Надо.

С полчаса я сидел на стланиковом кусте за интернатской уборной. И Бэркэн появился, ни разу еще не было, чтобы он подвел. С ним шел мальчишка-эвенк, тоже на лыжах, в оленьей дошке.

— Дува, — сказал Бэркэн. — С нами хочет.

— Пусть, кивнул я, немного рассердившись: зачем лишние люди? К тому же Дува маленький, слабый на вид.

— Не жалко, правда? — засмеялся Бэркэн. — Он хороший охотник.

Прошли лесом мимо интерната и школы, вышли к дому связи, поднялись немного по склону и там, где начинается белая березовая Горка, увидели рубленку. Приблизились по кустам стланика, осторожно выглянули.

У двери медленно ходила с берданкой на плече школьная истопница тетя Марфа. Она была закутана в тулуп, из-под тулупа выглядывал воротник полушубка, на ногах — большущие подшитые валенки. Лица не видно под шапкой, которую покрывали шерстяные платки. Руки упрятаны в рукавицы из оленьего меха.

— Самурай, — сказал я.

— Деда Мороз, — сказал Бэркэн.

— Атыркан-яга, — сказал Дува, — старуха-яга.

Вышли на полянку возле рубленки, пошли гуськом так, будто мимоходом попали сюда, приблизились к окошкам рубленки. Сквозь закопченное стекло проглянуло чье-то бледное лицо — на губах улыбка, рука поднята. Кажется, Колька Нечаев махал нам.

— Стой! Куда? — закричала вдруг, заметив нас, тетя Марфа.

— Мы немножко гуляем, — сказал ласково Бэркэн. Мне захотелось поближе глянуть в окошко.

— Назад! Стрелять буду!

Тетя Марфа наставила на нас берданку, начала дергать затвор, но тот не поддавался, застыл. Тетя Марфа делала страшные глаза, морщилась, пыхтела.

Мы пересекли поляну, не оглядываясь, потихоньку заскользили в лес.

— Я вам погуляю! Гуляки тут нашлись!

Теперь надо посмотреть склады, пройти по лыжные беглецов — все узнать, увидеть. Нам это очень необходимо. Впереди шел Бэркэн, потом я, за мной Дува. Как на охоте, неслышно передвигали лыжи. На косе остановились.

Взломаны были оба склада — продуктовый и товарный, вокруг сильно вытоптан снег, разбросаны сломанные ящики, куски мешковины, бумага. Двери уже подлатали, закрепили пробои, повесили замки. Но никто не сторожил склады. Их и раньше днем не сторожили: все люди в посёлке на счету, воровать некому. Да и ночью старик Иннокентий Иванов не мерз на морозе, дремал в своей избушке, поглядывая в окошко.

Дува нашел притоптанную снегом пачку галет, Бэркэн выковырял банку тушонки. А я ничего не искал, просто так ходил, смотрел и зябко вздрагивал, воображая, как страшно здесь было ночью.

— Вот, посмотри, — сказал Бэркэн, указывая лыжной палкой. — Здесь они пришли, здесь поставили Никиту, потом... Как это?.. дёромын... воровали. Вот бежал старик, свалил Никиту... Тут они трое свалили старика. Вот положили на снег... Веревки, смотри. Никита караулил. — Бэркэн показал палкой на твердо вытоптанный пятачок, но не ткнул наконечником, чтобы не нарушить след. — Потом они дёромын девге... Как это?.. Воровали запасы. Очень торопились, много бегали. Потом пошли на лайду. Думали, пурга будет, закроет дорожку. Пурга кончилась. Ай, как плохо получилось!

Двинулись к Лумукану. Лыжня хорошо накатана: по ней прошла целая бригада, догонявшая беглецов. Бежать стало легко, почти как на коньках. Только болели глаза от свежего снега, он слегка подтаивал, искрился, блестел влагой. Вдаль нельзя было глянуть — все утопало в тумане, мареве, белом свечении. Самые далекие сопки синели смутно, будто сквозь морскую воду.

— Тут отдыхали, вот. Прямо снегу сидели, — показал Бэркэн.

Приблизились к черным скалам Лумукана, вошли в их тень. Глаза прозрели, будто после слепоты, начали

различать цвета, форму камней, деревья наверху. За-медлили ход, чтобы отдохнуть немного.

Вдруг Дува отклонился в сторону, заспешил к низенькой темной пещере. Пригнулся, сунул в пещеру голову и тут же замахал нам руками.

Вернулись, подошли к нему.

— Смотри туда, — сказал он.

Под сводом пещеры, на чистой мокрой гальке ворохом лежали пачки галет, банки консервов, заряженные картонные патроны, куски сахара и сверху — новенький эмалированный чайник.

— Вот, правильно тебе говорил — охотник, — сказал Бэркэн.

Дува не радовался, не хвастался; показал нам и стоял в сторонке. И хоть Бэркэн слегка подсмеивался, я теперь понимал: Дува — охотник. Лишь долго живя в тайге, выслеживая звериные следы, можно было заметить едва видимую одинокую лыжную бороздку, присыпанную снегом, от главной лыжни к пещере. Ее не приметил Бэркэн, мимо нее прошли все из бригады догнавших; среди них наверняка были эвенки.

— Бросали немного, — вздохнул Дува.

— Тяжело стало.

— Лишний девге — тяжело, — подтвердил Бэркэн.

Постояли, не отводя глаз, — такое богатство! Но никто пальцем не тронул, не захотел влезть в пещеру, будто под ворох добра была подложена граната, или кто-то сидит в глубине сумрака, сторожит, и тронь только — пультнет оттуда камнем или острием ножа.

— Как будем делать?

— Оставим пока, — сказал я. — Потом подумаем.

Дува промолчал, он был младше нас, свое дело сделал, стоял, одиноко ожидая. Так и решили.

В заливе изломан лед — торосы, заструги, ледяные холмы; местами проплешины гладкого льда — он сияет огромными зеркалами, — местами надуты рыхлые сугробы, похожие издали на белые дюны. Лыжня огибает торосы, ледяные холмы, бежит краешком чистого льда, однако точно держит направление к оконечности Первого мыса. Только так и можно двигаться по заливу — срезая бухточки, лагуны. Ребята заранее, наверное, наметили маршрут.

— Вот, отдыхали.

На низком, покрытом снегом торосе видны три углубления — беглецы сидели, — окурки, жженные спички, отпечаток ружейного приклада, обрывок носового платка с пятнышками крови: кто-то сбил руку.

И как возле пещеры, мне опять сделалось зябко и тревожно, будто я читаю книгу и подошел к жутковатому, не очень понятному месту... Здесь они сидели, курили, может быть, спорили. Высчитывали время, сердились на предательницу-пургу. Может, кто-нибудь уже подумывал вернуться; уговорить всех — и вернуться. Сильно вытоптан снег возле тороса, будто толкались, боролись.

Ледяные холмы, заструги, торосы, белизна. Можно смотреть лишь под ноги, на синюю, влажную полосу лыжни. Шуршанием снега, скрипом креплений течет долгое время. Прошли Первый мыс, отдохнули на черных камнях, и снова белый, огромный полукруг бухты, лед, снег.

— Смотри, лыжа сломалась! — кричит Бэркэн, делает шаг в сторону, наклоняется.

В руке Бэркэна — красный носок спортивной лыжи, скололся на самом изгибе. Вот и та заструга, под которую попал носок. Рядом глубоко вмят снег — лыжник упал, увяз руками, долго поднимался. К нему подошли двое других, стояли, опять курили. Потом все двинулись дальше. Тот, у которого была сломана лыжа, шел последним, корежа правой лыжей кромку лыжни.

— Чей лыжа? — спросил Дува, нежно держа в руках обломок, поглаживая красный лак.

— У них были не такие, — сказал я.

— На складе брали, — решил Бэркэн.

Так это и было, наверное. Нечаев, Зеленец, Гиравуль взяли лыжи на складе. Не удержались, увидев новенькие, блестящие, гоночные. Наскоро приделали к ним крепления, бросили свои широкие, лиственничные и побежали. А снег глубокий, лед, торосы... Как мог позариться на городские ходунки Гиравуль? Он-то знает тайгу, он мог сказать Кольке и Володьке, что на них далеко не уйдешь. Не думали, наверное, некогда было им думать.

Посередине бухты лыжня разбилась на много полос, охвативших ее по обеим сторонам. Легко было догадаться — почему. Отсюда началась главная погоня.

К беглецам подходили с трех сторон. Следов было не меньше десяти. Вот упал тот, у кого сломалась лыжа. Вот огромный торос, вокруг него истоптан снег, и дальше — ни одной лыжни. Здесь залегли беглецы. Видны протаявшие места лежанок, ямки от локтей. И стреляные картонные гильзы.

Неужели стреляли? Может, вверх, чтобы отпугнуть, отсидеться и бежать дальше? Но как на таких лыжах, да еще у одного сломалась?

До Николаевска-на-Амуре от нашего поселка километров триста, если напрямик. У них, конечно, был компас, они определили направление. И лыжники они хорошие. Пожалуй, прошли бы. У Зеленца в городе есть какие-то родственники, помогли бы им дальше. Раз в Испанию, воевать с фашистами собрались — нечего бояться. Добровольцами их все равно не пошлют: в школе учиться нужно. Каждому это понятно. Почему же они так плохо подготовились, не подумали хорошо? Может, не надо было обворовывать склады?

— Тут один ползал, смотри.

Четко виден след ползшего человека — с остановками, осторожно. Зашел он почти с тыла, продвигался, прячась в воронках, выдутых ветром, за торосами. Подполз незаметно, наверное. Он-то и принудил беглецов сдать, крикнув «руки вверх!», наставив берданку.

— Как война был, — сказал Дува, собирая гильзы, нюхая их. — Хорошо, правда?

Он хотел сказать: «Интересно, правда?», но не знал такого слова. Однако мы поняли, потому что хорошего здесь было мало, и даже маленький Дува не мог радоваться такому несчастью.

Зачем их догоняли?

Я ненавидел след подползшего сзади человека, ненавидел всех, гнавшихся за ними. Мне хотелось навсегда запомнить этот торос, за которым они прятались, истоптанный снег, взять на память гильзу (и я взял, положил одну в карман). Почему меня не было с ними?.. Я бы помог, прикрыл бы их. Пусть бы убили меня... Они же к республиканцам бежали. Они не могли без теплой одежды, продуктов. Да и сколько они взяли?.. Мы бы по рублю собрали, заплатили... А так плохо получилось. Жить после этого не хочется.

У меня ослепли, запыли слезами глаза. Я отвер-

нулся, молча рыдал. Мне казалось, что я уже не смогу вернуться в поселок, упаду здесь и замерзну. И пусть их всех отпустят, потому что они не виноваты.

— Не топчи! — сказал Бэркэн, оттолкнув в сторону Дуву.

Он рассматривал следы, прикладывал к ним ладошку, приглядывался к направлению каждой лыжни, и все делал так, чтобы не повредить след, — как на охоте в тайге. Для него это главное. Он, наверное, забыл, куда, зачем бежали ребята.

— Дураки, меня надо взять.

Бэркэн сказал это не потому, что ему хотелось бежать в Испанию. Нет. Он вдруг понял: можно было запутать следы, обмануть погоню, уйти к мысу, снять лыжи, бежать по чистой гальке возле скал, спрятаться в пещере, отсидеться, потом идти дальше. Бэркэн даже улыбнулся, постучал пальцем себя по лбу.

— Дураки, понял? — сказал он мне.

— Меня тоже взять, — тихо выговорил Дува.

— Ты? Ай-ай!

Бэркэн засмеялся, ловко высморкался, прижав попеременно одну и вторую ноздрю, достал трубку. Он посмеивался, будто рассуждал сам с собой, отвернулся от нас. Он был доволен собой, очень зауважал себя и, конечно, считал, что мы с Дувой пока малополезные для жизни люди.

Я пошел, оттолкнувшись сильно палками. Пошел прямо к берегу, напрямик. Я рассердился на Бэркэна: нельзя так хвастаться собой. Тем более нельзя, что он не помнит, куда бежали ребята, что они арестованы, что их будут судить. Я решил уйти один. Но сразу на мою лыжню стал Дува, засопел позади: он был обижен как охотник, он не хуже читал следы, сам обнаружил пещеру с девге. Так мы шли несколько минут. Потом нас догнал и обошел сбоку Бэркэн. Он еще задавался: бежал без шапки, сунув под мышку палки. Пришлось стать на его лыжню: зачем зря тратить силы, раз человек пожелал выйти вперед? Через лайду, марь, лес быстро пришли к поселку, возле школы сняли лыжи. Здесь собрались не интернатские мальчишки. Клок подбежал к нам.

— Все, все знаю!

Бэркэн не услышал его, Дува, приволакивая лыжи

и палки, пошел к интернату: обед, наверное, давно кончился, можно остаться без еды до ужина.

— Чего знаешь? — спросил я.

— Все. Их догнал Ван-Сид, окружил вместе с другими. Как на войне. Стреляли. Ван-Сид захватил в плен. А Никита сторожа заморозил, долго не отпускал. Руки у самого замерзли, никак сторожа не мог развязать. Старик Иванов в больнице. Никита дома сидит, отец на замок закрыл. Вот неприятности!.. Директор руку жал Боровикову. «Спасибо, — говорит, — Иван Сидорович, что бандитов поймали...»

— Кого?

— Ну, этих... которые воровали.

Я поднес к зубам Клока туго сжатый кулак.

— Ты чо? — брызнул слюной Клок.

— А испанку забыл?

— Он шкурку меняет, — сказал Бэркэн. — Теперь он зайчик.

Мы пошли в столовую.

Моя мать дала нам супа и каши с оленьим мясом, села смотреть на нас. Она была сердита на меня: сбежал «не поевши», обманул, схитрил, а тут такое несчастье с «испанцами», растут какие-то бандиты «на нашу голову»: что с ними делать, — но есть нам не мешала. Повариха должна сначала накормить. Я растягивал обед (может, кто-нибудь придет, может, помощница позовет мать на кухню), думал, что все равно мне попадет от отца, а Бэркэну от воспитательницы. Меня возмущали ненужные, мешающие жить строгости взрослых, но все равно было хорошо: мы совершили поход — такой поход! — и еда вкусная, и мать сидит усталая (уже сообщает, наверное, как половчее защитить меня от отца), и из кухни идет «вкусное» тепло, и сейчас нам дадут по большой эмалированной кружке компота из сухофруктов.

## 8

Ползем от березы к березе, прячемся за кустами стланика, таимся возле пеньков. Впереди Бэркэн, потом я, за мной Никита Ямольский. Ползем к старой баньке под горой, возле Кутима — там сейчас сидят «испанцы».

Надо передать им литровую бутылку браги, кусок сала, вяленую рыбу и еще записки от девчонок.

Баньку завалило снегом, лишь горбится крыша, покрытая лиственничным корьем, слегка дымится железная труба, да синее маленькое окошко, от которого отгребли снег. Где-то с другой, глухой, стороны есть деревянный желоб: когда-то по нему заливали водой бочки, стоявшие в баньке. Мы должны подползти к желобу, откопать, протолкнуть внутрь припасы.

У последнего стланикового куста собираемся вместе, залегаем, чтобы отдохнуть. Припорошив шапки снегом, по очереди выглядываем из-за сугроба. Школьная истопница тетя Марфа (вдвоем со своим старичком она сторожит «испанцев») сидит на чурбане спиной к двери, курит папироску, покашливает. Одета в полушубок, тулуп, заматана платками. Сторожит дверь и окошко. Знает, что сквозь стены арестованные не убегут.

— Ну и вояка! — говорит Никита. — Давай подползем, свяжем...

— Дурак ты, однако? — спросил печально Бэркэн.

— Да я так, понарошке. Старик Иванов — вот сильный, гад. Вчетвером едва скрутили. А меня в живот как долбанет! Ну я его потом приморозил.

— Однако ты зря... — сказал я. — Он же погибнуть мог.

— Понимаешь ты! У меня часов не было. Жду — ребятам надо уйти.

— Кэ! — махнул рукавичкой Бэркэн.

Спорить совсем не время, это правда. Да и лежать холодно, особенно нам с Бэркэном: мы тощие. А у Никиты морда краснущая, кажется, снег можно ею плавить, и ручищам тепло в меховых перчатках. Весь день пролежит в снегу, посмеиваясь.

— Бери мешок, — сказал мне Бэркэн.

Я тащу из рук Никиты белый мешочек из-под муки-крупчатки, со штампами, затянутый шнурком. Никита придерживает, смотрит ласково мне и Бэркэну в глаза.

— Ребя, записки-то прочитать надо... А то чего они там написали... Может, про нас?

Мне сразу сделалось жарко. Нет, не потому, что я рассердился на Никиту (всякому ясно: читать чужие записки — большое свинство). Он будто угадал мои мысли: мне тоже хотелось глянуть в записки. Ну, ко-

нечно, я бы никогда не сказал это вслух, перетерпел в себе. А Никита — раз — и вывернулся наизнанку. И противно от этого, и стыдно, что угадали тебя, и немножко все-таки радуешься: прочтем, интересно же!..

Я смотрю на Бэркэна. Главное, чтобы перед ним не было мне совестно. Он молчит — или не слышит, или не хочет слышать, или разрешает нам сделать так, как мы хотим, — совсем не сердито торопит:

— Скоро, быстро!

Никита распускает тесемку, сует красную пятерню в мешочек, шелестит бумагой. Вынимает две записки, сложенные треугольниками. На одной я вижу почерк своей сестры и, не успев подумать о чем-либо, вырываю из рук Никиты записку.

— Это не надо!

— Сестричку жалко? Ладно. Мне другая интересней.

Другая — от Алки Замахниной Володьке Зеленцу. Третьей нету. Маргеша, подружка Гиравуля, отказалась писать: эвенки очень стесняются ласковых слов, особенно девчонки. Но Никите нужна Алкина записка, у него даже слегка подрагивают пальцы: он заранее ревнует Алку. Быстро распрямляет треугольник, бежит глазами по бумаге.

— Всем надо, — напомнил Бэркэн.

— Да тут неинтересно... Он вот сестричкину не дает. — Никита толкнул меня плечом. — Всем, так всем...

— Всем, — подтвердил Бэркэн.

— Ну, ладно. Тут написано...

— Читать надо.

— «Володя, милый!» — жалобно начал Никита и сразу добавил от себя: — Во, милый сделался! — «Забудь нашу последнюю ссору, я была такая дурочка! Я не знала, какой ты. Я смеялась, как все девчонки. Нет, ты нравился мне...» — Во, дура! Нравился! — хохотнул Никита. — «Но я еще не знала тебя. Ты же всегда молчишь о себе, такой скрытный! Почему ты не рассказал про самое свое главное, я бы все поняла. Теперь ты для меня как настоящий республиканец. Когда увижу тебя, могу умереть со стыда за прошлое...» — Во, умереть! Да я тебя еще до этого прикокну!.. — «Так мне стыдно! Все девочки шлют тебе приветы, а я тебя целую...» — Чего, чего? Ну, ладно! — «...и люблю. Алла».

Никита бросил бумажку, замахнулся кулаком, что-

бы вдавить ее в снег. Я отбил его руку, Бэркэн поднял записку, аккуратно сложил треугольником.

— Как сохатый раненый.

— А еще вместе с ними был, — сказал я.

Отвернувшись, Никита высморкался и потихоньку зашвырнул, успокаивая себя. Мы помолчали немного, чтобы снова «подружиться», начать думать о главном и Никите помочь: мы не сердимся, понимаем, но ты тоже понимай все хорошо. Мало ли еще чего трудного нас ожидает в жизни.

— Бери мешок, — Бэркэн сбил рукой верхушку сугроба, выглянул и юрко, комком, перекатился на другую сторону. И я сначала выглянул, увидел широкую спину тети Марфы, потом перевалился; но когда съезжал к Бэркэну, мешок догнал меня, больно ударил по голове. Я даже пискнул. Бэркэн рассердился, фыркнул по-оленьи.

— Тащи рукой.

Он пополз, раздвигая головой снег, оставляя позади узенькую глубокую борозду, в которой можно прятаться и которая со стороны наверняка не видна. Я пробирался за ним и, если он замирал на минуту, тоже падал лицом на рукавицу.

Обдумали мы все заранее. Решили пробраться к баньке днем (ночью любой шорох слышен, ночью тетя Марфа или ее старик могут испугаться, пальнуть) — днем сторожа ничего не ожидают, сидят возле двери, дремлют, в поселке много шума, к тому же вот сейчас, когда мы ползем, на Кутиме прилив, морская вода поднимает лед, корежит его — треск, скрежет слышатся оттуда. И что Никита будет «на вассере» заранее решили: ему нельзя второй раз попадаться, ему еще неизвестно, что присудит суд за тот «вассер», испанский. Мы-то вообще его отговаривали, сами не маленькие, но он чуть драться не полез. Может, из-за Алки Замахниной, чтобы показать, какой он смелый — не хуже тех, что под стражей сидят? Может, записку Алкину хотел прочитать?..

Уже не видна спина тети Марфы, мы подползли к углу баньки; теперь вдоль стены, до следующего угла; там за угол — и где-то в конце стены должен быть желоб. Тихо. Едва слышно побряхтывает снег. Я не чувствую своего тела, вес мешка; есть лишь мое маленькое тепло, в нем, как в пустоте, легко и звучно падает и подска-

кивает сердце. Мне чудится: когда замираю, припав к борозде, сердце, как мячик, выбивает в снегу ямку.

Бэркэн остановился, прильнул к стене, копнул раз, другой рукавицей — из снега выглянула кромка желоба. Я подполз с другой стороны, и вместе мы принялись разгребать снег. Быстро очистили углубление желоба, показалась мешковина — ею была заткнута дыра изнутри. Бэркэн нажал кулаком — мешковина слегка вмялась, закрипела: обмерзла по краям. Бэркэн просунул в желоб ногу, уперся спиной в мое плечо, нажал. Пробка с треском провалилась внутрь, грохнула на пол.

Мы отпрянули, прижались к стене. Из желоба зашвыряло банным теплом, и сразу послышался стук в дверь и сонный голос тети Марфы:

— Эй вы, герои! Чтоб у меня смирно сидели!

Тетя Марфа поскрипела снегом, уселась, наверное, на свой чурбан. А из желоба, вместе с теплом, вылетел шепоток:

— Алле, кто там?

С двух сторон мы притиснули головы к дыре.

— А, вон кто! Ну, молодцы, ребята! Как там у вас?

Голос был Кольки Нечаева, но лица мы его почти не видели: в баньке было темно.

— Корошо! — смеясь, прошипел в дыру Бэркэн. — Сейчас посылку давать будем.

Я развязал мешок, вынул бутылку, Бэркэн положил ее в желоб, и она сама поехала в руки Нечаева.

— Ого! — кто-то хохотнул там.

— Корошо! — сказал в дыру Гиравуль.

Бэркэн клал в желоб припасы, они легко соскальзывали вниз, потому что нижняя доска была покрыта ледком. Потом сунул в дыру руку, передал записки.

— Почему Гиравулю нет? — спросил Володька Зеленец.

— Маргеша так передала... Стесняется.

— Пасибо! — сказал Гиравуль.

— С нами еще Никита, — решил сообщить я, чтобы и они это знали. — Он на вассере.

— Опять?

В баньке засмеялись. Булькала брага, разливали в кружки, пили.

— Суд еще не приехал?

— Скоро, говорят.

— В Испании как?

— Немцы бомбят.

— У-у, гады!

Ребята рвали руками вяленую рыбу, ели.

— Записку пишите, — сказал Бэркэн.

— Карандаш, бумага есть?

— Нету.

— Эх вы! Нам же ничего не дают. Даже штаны сваливаются: ремни отобрали. Старые веники тетка Марфа выбросила. Дулом берданки пугает. Жуткая баба!

— Старик лучше. Старик свой парень: табачком угощает, греться заходит...

— Ну, идите, — приказал Колька. — Приветы там всем, поцелуй. Мы держимся, не хнычем. Суда тоже не боимся. Давайте руку.

Мы сунули в дыру ладони, их пожали все «испанцы», и я узнал каждого: у Нечаева рука широкая, жесткая, у Зеленца длинная и влажная, у Гиравуля торопливая и горячая.

Поползли назад, за сугробом разбудили Никиту: его разморило на солнышке. Поползли втроем. Но скоро нам это надоело, на первой тропе вскочили, Никита присвистнул, и дали стрелкача. Тетка Марфа подхватила с чурбака, замахала берданкой.

— Я вам, бандюги несчастные!

Конечно, она ни о чем не догадалась, кричала на всякий случай, чтобы мы вот так бегом не ринулись на ее баньку.

Остановились возле конюшни. Пахло навозом (словно здесь стоял конный полк), и снег был утоптан сеном. Никита подтянулся, нахмурился, выкинул вбок правую руку.

— Р-рота, становись!

Бэркэн и я выстроились, замерли.

— Равняйся! Смирно!

Никита прошел вдоль строя, вернулся, стал напротив нас.

— От имени Республики объявляю благодарности! Мы молчали.

— Дураки. Кричите «рот фронт!» — и кулаки вверх.

— Рот фронт!

— Вольно. Присаживайтесь. Можете закусить сеном. — Никита захохотал, выпучивая белые глаза. —

Давай закурим, — придвинулся к Бэркэну. — Ну, армия, полторы калеки, два Гавроша! — Никита подышал дымом, поморщился, как мужик. — Брагу-то всю им отдали?

— Весь, — сказал Бэркэн.

— А я хуже, да?

— Ты младший.

— Я, да? Ну-ка еще повтори! — Никита вложил руки в карманы, шагнул к Бэркэну. — Вот что, гольянчики. Чешите за брагой, чтоб быстро. Выпить хочу.

Это уже перехватил Никита Ямsolecкий, вспомнил свои старые привычки: всех колотить и атаманишь. Мы-то никогда ему не подчинялись. И дружить с ним не хотели. Он «испанцам» помогал — не зря же они его выбрали на карауле стоять, — к бане ползти с нами попросился. Но Ямsolecкий такой человек: не может он уважать тех, кто физически слабее его. Ему самому нужен командир.

Бэркэн раздул ноздри, пригнул голову, как олень, который хочет боднуть. Я привалился спиной к стогу, будто бы от нечего делать, однако так лениво, что Никита понял: если он замахнется на Бэркэна, я брошусь на него сбоку.

И сразу все переменялось. Ямsolecкий вынул из карманов руки, одной причесал волосы, другую поднес к губам и, быстро почмокав папироску, бросил ее под ноги, притоптал валенком.

— Пошутковать нельзя... Строгие какие. Дядя шутит.

— Дядя крутит, — срифмовал я.

— Дядя — дюр-дюр дю, — пропел Бэркэн, что по-русски получалось: «Дядя — два-два дом» (наверное, Бэркэн хотел сказать «Дядя, величиной в два дома»).

— Да пошли вы!

Никита обиделся, зашагал по дороге к поселку, опять сунув руки в карманы. Со спины он был совсем взрослый, шея толстая, валенки последнего размера. А все равно обиделся.

— Сулаки, — сказал, глядя ему вслед, Бэркэн.

— Что это?

— По-русски, как это?.. Такой, как лиса, что ли.

Мне припомнилось то слово, которым Бэркэн называл меня летом на лайде, когда мы ловили кету. Он мне

не сказал сразу, потом я все собирался спросить, но забывал.

— Что такое тэрэлунге?

— Теперь не надо, — мотнул головой Бэркэн.

— Нет, скажи.

— Тогда надо было.

— Все равно. Слово хочу знать.

— Это человек, который немножко боится. — Бэркэн подумал, натирая ладошкой лоб. — Хитрый... Нет, осторожный, что ли.

— Понятно.

— Давно было.

— Ладно.

— Пойду Гутчинсону, — сказал Бэркэн и очень ласково прибавил: — Кочешь?

В лиственничном лесу желтели на снегу палатки, а с самого края стоял новый рубленый дом. В нем жил председатель «колхозил» Гутчинсон. Другие эвенки, особенно старики, не хотели переселяться в «деревянный палатка»: пол жесткий, печку много топить надо, железная кровать скрипит, как пароход; юколу негде сушить; спать невозможно — светло всегда. Гутчинсон агитировал, пример показывал, молодых насильно перевозил в дома. Но палаточный поселок был еще большой, днем и ночью дымил жестяными трубами, выставленными сквозь стенки, встречал каждого лаем множества собак, запахами вяленой рыбы, нерпичьего жира.

Отец и мать Бэркэна жили на Алгатино, в оленьем стаде, и он ходил к деду кушать мясо и рыбу, потому что интернатская еда, если он долго ею питался, «портила» ему живот. С собой приносил сушеную оленину, угощал меня, но никогда не приглашал в гости к Гутчинсону. Как посмотрит на нас старик? Как вести себя у него? Я побаиваюсь Гутчинсона, особенно после праздника рыбы.

Дом был не огорожен, стоял, будто чум среди леса, вокруг него истоптан снег оленьими копытами, вдоль длинной жерди на столбиках привязаны ездовые собаки — от них пахло мокрой шерстью, несвежей юколой, — у порога подремывали два крупных оленя, впряженных в нарту; и еще три охотничьих лайки кувыркались, терзали клоч медвежьей шкуры: им полагаюсь быть на свободе.

Бэркэн толкнул дверь, не стучась, а войдя, сказа́л по-русски:

— Дорово!

В доме было сумеречно, на окнах висели оленье шкуры, лишь одно светилось нижним краешком, и на полу возле светлого пятна качнулась сутулая фигура сидящего человека. Он промолчал, щелкнул костяшками счетов, наклонился к бумажке, что-то записывая. Это был сам Гутчинсон. Я его узнал, как только присмотрелся к сумеркам.

— Садись, — показал Бэркэн на кумалан — цветной олений коври́к у стены.

Я примостился возле низенького деревянного столика на резных ножках, подобрал под себя ноги, как делают эвенки, и окончательно разглядел жилище «главного тунгусского человека». Не было в нем никаких перегородок, никакой мебели. У двери чернела печь, за нею возвышалась палатка, натянутая по всем правилам; в раздвинутые полы виднелись еловые ветки, плотно устилавшие пол, — как во всех палатках, стоявших на снегу. Половицы затоптаны, их никогда не мыли, вдоль стен разбросаны шкуры, кумаланы, ватные одеяла — это постель; место для гостей, отдыха.

Бэркэн поднял деревянную крышку чугуна, вмазанного в плиту, острием ножа поддел большой кусок мяса, положил на столик; дал мне другой, покороче нож.

— Кушай.

Подвернув ноги, он ловко отхватил от большого куса сочную мякоть и, стискивая ее зубами, у самых губ чиркал ножом.

— Зачем палатка?

— Бабушка живет. По-другому не умеет.

Бэркэн глотал мясо быстро, жадно. Я отрезал маленькие кусочки, долго жевал. Без хлеба, без супа, просто одно мясо мне никогда не приходилось есть. Разве можно питаться одним мясом? Во рту скапливалось много слюны, меня подташнивало. Я отложил нож.

— Мало кушаешь, — сказал Бэркэн.

— Не научился.

Он пошел к плите, вынул из котла большую кость, стукнул ею о край столика — из кости вывалилась горка студенистого костного мозга.

— Уман называется. Депкэл.

Я отодвинулся, замотал головой.

— Лучший еда!

Бэркэн чмокал губами, облизывал пальцы, вздыхал, как старикашка от удовольствия, а я смотрел на Гутчинсона. И опять пугался его огромности, медлительности, густой бороды, растрепанных волос. Широкие скулы, большие глаза... Он сидел на медвежьей шкуре в белой нижней рубашке, у ног его были счеты, сбоку — листок бумаги, карандаш на потрепанной папке. Гутчинсон щелкал костяшками, записывал, шевеля губами, натирая ладонью грудь — совсем как русский мужик. (Может, отец у него не американец?..) И вдруг Гутчинсон приподнял голову. Я увидел у него на шее маленький, тусклый крестик. Такой же носила моя бабушка в деревне.

Бэркэн завернул в газету кусок мяса, прихватил пласт вяленой рыбы — для интернатских ребят.

— Пойдем, однако.

Когда прошли двор и стих лай ездовых собак, учуявших пищу, я спросил:

— Почему у него крестик?

— Он... Как это? Ну... вашего бога верует.

— Крещеный?

— Вот так, правильно.

— Ты же говорил — ваш амака лучше.

— Гутчинсон говорит: два бога совсем хорошо: один — человек, другой — медведь.

— Старики не сердятся?

— Они слушаются. Гутчинсон — шаман.

— Еще и председатель.

— Самый главный — сагда у.

Бэркэн пошел к интернату, а мне пора было показаться дома. И уроки хоть немножко надо поделать: из-за «испанцев» я уже заработал две плохих оценки. Да и вся школа, наверное, стала хуже учиться. Скорее бы суд приезжал!

Только я перешагнул порог — на меня набросились девчата: сестра, Алка Замахнина, Маргеша, еще какие-то две. Стащили с головы шапку, раздели, приказали снять валенки, словно я мог куда-то убежать. Суетились, вздыхали, толкали меня. Были очень сердитые, и я тоже рассердился на них, отвернулся к печке греть

руки. Моя сестра, похрустев пальцами, наконец выговорила:

— Как тебе не стыдно? Мы же ждем!

— У-у, — промычала Алка, и губы у нее побелели.

Маргеша молчала, но я видел, как дрожат ее худенькие плечи и часто мигают глаза.

Нехорошо получилось — это точно. Забыли мы с Бэркэном, что нас ждут девчата, что они собирали припасы, писали записки. Совсем позабыли. И Никита... Нет, Никита все равно бы к ним не пришел: разозлился на Алку. Забежать бы на минуту, сказать, как и что... Они ведь и за нас боялись — послали под берданку тети Марфы. Хоть она и не выстрелит, а все-таки... Чего не бывает?

Сестра села на краешек табуретки, поднесла к лицу ладошки. Волосы ее свесились на руки, она сгорбилась; и платье на ней было старенькое: забыла переодеться.

Я вдруг почувствовал, что очень устал, будто бы даже заболел от усталости: тряслись руки и ноги, мутно было в глазах. Я пошел, как глухой, к дивану, лег и отвернулся к стене.

— Ну, не сердись, — сказала тихо Алка. — Мы же дуры... Где записки?

— Какие?

— Ну, от них?

— Как же они напишут? Ничего нету.

— Ой, и не подумали!

На диван присели сестра и Маргеша, подложили мне под голову подушку, пригладили волосы.

— Все обошлось? — спросила сестра.

— Все.

— Страшно было?

— Нисколько.

— Они не плачут? — спросила Маргеша.

Сестра и Алка засмеялись. Я не ответил на глупый вопрос.

— Что передали?

— Всех любим, говорят.

— О-о... Врунишка.

— А тетя Марфа не заметила?

— Дремала на чурке.

— Как хорошо, что тетя Марфа со стариком караулят!

— Кто же еще будет?

Да, караулить «испанцев», я это знал, больше никому. Хотели создать караульную команду из старшеклассников — все отказались. И комсомольское собрание не помогло. Ребята говорили: «Они не воры — они республиканцам помочь хотели».

## 9

Был выходной день, и вся наша семья собралась дома. Мать готовила обед из трех блюд, отец, лежа на диване, читал толстую книгу «Жерминаль», младшая сестра шила платьице кукле Зойке, старшая делала вид, что занимается уроками, — поглядывала в окно, кого-то ждала; а я рисовал красками, подаренными дедушкой Розовым, и думал: как бы сбежать сразу после обеда? Отец почему-то считал, что выходной — семейный день, все должны быть у него на глазах, обедать вместе, мирно заниматься своими делами.

В дверь четко постучали и, когда мать ответила «да», на пороге появился старший воспитатель интерната Боровиков.

— Здравствовать желаю, — обратился он к отцу. — Разрешите войти?

Отец поднялся с дивана, пожал руку Ван-Сиду, усадил на табуретку. Старший воспитатель неторопливо оглядел комнату, на каждом из нас остановил взгляд, всем улыбнулся, будто тихо обрадовался близким людям, а Надьке, поманив ее пальцем, дал конфету «Мишка на Севере».

Ван-Сид никогда просто так не приходит. Он не пьет брагу, в свободное время тренируется на лыжах, фотографирует или сидит дома пишет (говорят, сочиняет научную книгу о воспитании звенкийских детей). У Ван-Сиды нет семьи — осталась где-то на материке, он сам себе готовит еду, стирает белье и ходит в военной форме. Потому, наверное, кажется строгим, решительным.

— У меня к вам небольшой разговор...

Отец кивнул мне, чтобы я ушел из комнаты, и я подпрыгнул от радости, но Ван-Сид придержал меня, сказав отцу:

— Его присутствие обязательно.

Пришлось сесть, слегка удивиться: зачем это я понадобился интернатскому воспитателю? — на всякий случай, для отца. Однако струхнул, аж пальцы на руках заledenели: Ван-Сид просто так не приходит.

Он расстегнул белый, по-военному сшитый полушубок, положил на стол планшет с маленьким компасом на крышке. Стал виден широкий армейский ремень, значок пулеметчика. Пуговицы ярко начищены, почему-то от них и исходила главная строгость.

— Вы знаете о том... — начал Ван-Сид, постукивая карандашиком по целлулоиду планшета, — о том, что ваш сын, — кивок в мою сторону, — да, ваш сын был на празднике рыбы? И не только был — плясал ритуальный танец. Вы знаете об этом?

— На Эвакане, что ли? — спросил, морща лоб, отец.

— Да, на Эвакане.

— Кажется, отпускал его.

— Но не плясать же с шаманами отпускали? Мы борьбу ведем.

— Я не знал... Думал, пусть посмотрит... Они вдвоем, с этим, как его?.. С тунгусенком.

— Надо говорить: с эвенком.

— Да, с мальчонкой здешним.

— Я хотел поставить этот вопрос на общее собрание родителей, а также среди учащихся обсудить, но последние события отвлекли на себя внимание. Решил персонально поговорить с вами.

— Хорошо.

— Займитесь воспитанием сына.

— Займусь.

Ван-Сид замолчал, давая осознать важность сделанного им сообщения, глянул на меня, вздохнул, как бы сожалел о случившемся: «Не могу, никак не могу иначе, дружок: очень серьезный вопрос!»

— Далее. Вопрос второй.

Отец насупил, подался вперед, словно боясь недоуслышать; из кухни пришла мать, притихла позади Ван-Сиды; старшая сестра бросила уроки; даже Надька устала на меня, будто я сейчас выну из кармана целый кулек припрятанных конфет.

— Группа, обворовавшая склады, на пути своего бегства оставила в пещере Лумукана часть продоволь-

ствия и боевых припасов. Мною установлено, что сразу после погони за бандитами и поимки последних, по лыжне прошли трое: ваш сын, — Ван-Сид тронул меня пальцем, — и двое из интерната. Их имен я пока не назову. Они обнаружили припасы в пещере — это установлено по количеству лыжных следов, времени прохождения — и, вместо того, чтобы доложить об этом дирекции, утаили этот факт. Часть продовольствия и боевых припасов расхищена, часть попортилась. Группа, обворовавшая склады, только на днях сообщила о пещере, надеялась, видимо, впоследствии попользоваться казенным добром. Разрешите поэтому задать вашему сыну вопрос.

— Как же, пожалуйста, задавайте. — Отец вынул пачку «Беломорканала», ласково предложил старшему воспитателю, позабыв, что Ван-Сид не курит.

— Почему ты не сообщил о факте?

С первых слов Ван-Сиды о группе, обворовавшей склады, я вспомнил наш поход по следу «испанцев» и подумал: «Неужели о пещере?» Мы позабыли о ней, вернее, не заговаривали, потому что было много другого, более важного. Да и ничего брать мы не собирались из тех припасов. А сообщить?.. Это невозможно. Во-первых — донос на «испанцев»; во-вторых — вдруг они сбегут и им все это понадобится. Пусть лучше язык отвалится или сгниют эти припасы — их там и всего-то на пятерку... Что же мне говорить сейчас? Можно бы правду сказать: забыли, не могли сообщить. Но ведь не так легко доказать, что пещеру видели мы, по следу «испанцев» прошло потом столько ребят. Наверняка кто-нибудь из них был в пещере?.. А если Бэркэн и Дува сознались?..

— Я жду.

— Не знаю, — сказал я, вдруг почувствовав в себе упрямство, похожее на злость, на обиду за этот стыдный допрос.

— Что ты не знаешь?

— Ничего.

— А твои товарищи признались.

Я глянул на Ван-Сиды. Он часто, трепетно стучал карандашиком, на носу у него выступили капельки пота, он напрягал, пучил глаза, пугая ими. Я понял: он очень хочет, чтобы я признался, потому что Бэркэн и Дува, наверное, ничего ему не сказали.

— Ну? — спросил Ван-Сид.

— Не видел.

Ван-Сид вскочил, грохнул кулаком о стол, шагнул ко мне.

— Врешь! Я тебя заставлю!.. Говори!

В одно мгновение я поднырнул под протянутую руку Ван-Сиды, которой он хотел остановить меня, схватил у порога пальто и шапку, выскочил на улицу. Бросился через лес под гору, лишь бы скорее и дальше убежать от дома.

На повороте у больницы услышал — кто-то гонится позади. Припустил изо всей силы.

— Подожди, дура!

Узнал голос Бэркэна, и все равно бежал вниз, потому что не мог, не хотел остановиться. Показалась лесопилка со штабелями бревен и теса, с опилками, втоптаннкими в снег. Юркнул за штабель колотой клепки, пролез под плахами, присел на чурбак в углу тесового штабеля. Минуту было тихо, а потом застучали доски, и сверху прыгнули Бэркэн и Дува. Отдыхались, вместе помолчали. Трещал на Кутиме лед, ветер пылил опилками.

— Ты почему так бегаешь?

— Ван-Сид допрашивал...

— Знаем. В окошко слушали. Потом ты убежал.

— Я не сказал Ван-Сиду.

Бэркэн засмеялся, ткнул меня кулаком в плечо, глянул под мою шапку.

— Прабильна делал!

— Прабильна, — подтвердил Дува. — Мы не сказали. Он кричал много, пугал. Мы не хотели испугаться. Мы шамана не боимся. Ван-Сид сам говорит: не надо шамана пугаться.

И они, значит, не сказали. Я угадал, я знал, что они не скажут. Но, может, надо было сказать? Ведь припасы казенные, а «испанцев» все равно арестовали? Ван-Сид прав, наверное: по закону полагалось сказать о пещере.

— Может, надо было давно сказать? — спросил я Бэркэна. — Почему ты не сказал?

— Забыл.

— А ты?

— Забыл, — честно тряхнул головой Дува.

— И я забыл. Мы хотели забыть, да?

Бэркэн пододвинулся ко мне, положил руку на мое колено.

— Тебя папа бить будет?

Этого я не знал. Отец никогда меня не бил, но теперь за пляску с шаманом, за пещеру... Он догадался, конечно, что я все знаю о припасах. Пусть поколотит, если захочет. Виноват, переживу как-нибудь. Но почему он сам так боится старшего воспитателя? На улице, кланяясь, руку жмет, кивает каждому его слову! А дома, когда пришел Ван-Сид, терялся и суетился так, будто это его допрашивали. Отец вроде не из трусливых людей — он казаком был на Амуре, воевал, первым председателем сельсовета работал, потом на Север завербовался... Пахал, сеял, саблей орудовал, теперь бухгалтерит — и все у него получается, он человек умелый. Имеются, конечно, у него разные слабости. Например, ездил по путевке на курорт, но дальше Николаевска не уехал: в ресторане задержался. Мать ругала, заведующий культбазой выговор записал. Отец спокойно выдержал эти неприятности, улыбался даже. А вот Ван-Сид боится... И другие почему-то побаиваются Ван-Сиды, очень ласково с ним говорят. Кто он такой, Ван-Сид?..

— Боишься папу?

— Нет.

— Ночуй интернате, а?

— Ладно. Что будем делать сейчас?

Бэркэн задумался, расчерчивая опилки острой щепкой. Непросто было найти занятие — такое, чтобы позабыть Ван-Сиды, оставить все «на потом»: как-нибудь уладится, главное — не думать об этом; может быть, случится что-нибудь очень важное, и взрослые позабудут про нас.

— Старичок Розов болеет, — сказал Дува.

— Пошли к этыркэну, — вскочил я. — Спрячемся пока у него.

— Амаку посмотрим, — согласился Бэркэн.

К музею подошли со стороны леса, глянули из-за угла на дверь, пригнувшись, побежали мимо окошек друг за другом, и когда были на крыльце, дверь открылась. Из нее вышла Лия Матвеевна и отличница Людка Коптяева.

— Вы куда, ребята? — спросила Лия Матвеевна.

— Дедушку проведать, — сказал я.

— Это хорошо, ребята, идите.

Мы посторонились, учительница осторожно, как слепая, начала спускаться по ступенькам крыльца, а Люд-ка так осмотрела нас, будто мы челюскинцы или медвежьими шкурами обросли. Она, конечно, думала, что только отличницы могут навещать больных, чтобы потом их ставили в пример. Бэркэн показал Людке кулак, я нахально усмехнулся, Дува шмыгнул изо всей силы носом. Коптяева пустилась догонять Лию Матвеевну.

— Училка любит старичка, — сказал Дува.

— Жениться хочет, — мигнул мне Бэркэн.

— Откуда ты знаешь?

— Колобкова говорила уборщице.

— Подслушал?

— Что ты! — удивился Бэркэн. — Я так... Это... Нечаянно.

Дверь открылась, из нее выглянул дедушка Розов в белой шерстяной шапочке, с шарфом на шее.

— Ребятки, почему не входите? Мимо окна прошмыгнули и как провалились. Жду-пожду. Дай, думаю, выгляну. Я ведь все вижу, все слышу.

Дедушка Розов замелькал расшитыми оленьими тапочками-олочами к своему креслу возле стола, пригласил рукой нас, а когда мы разделись, спросил:

— Музей смотреть?

— Проведать тебя пришли, — вдруг приблизился к старику и ткнул в него пальцем Бэркэн.

Розов засмеялся длинно и негромко, легонько покрутил головой.

— Молодцы. Спасибо. Вот вы и провели. А теперь смотрите музей, если хочется.

Мы прошли в другую комнату и очутились в ином, лишь в сказках существующем мире, среди животных, растений, камней. Огромный бурый медведь, широко шагнув, занемел навсегда, глядя на нас коричневыми стеклянными глазами; рысь затаилась в прыжке; две лисы, рыжая и чернобурая, дружно, рядышком мышкуют, застыв с приподнятыми лапами; белая белка с кедровой шишкой в коготках и оскаленными желтыми зубками. Бурундуки, горностаи, колонки. Змеи. Ящерицы. А поверху птицы: орланы, ястребы, коршуны, со-

вы желтоглазые. В стеклянных банках — рыбы, медузы, водоросли; и наша минога. На столах, подоконниках, полках, вдоль стен на полу — камни, камни, камни... черные, белые, золотые, красные. Они тоже, кажется, были когда-то живыми, но окаменели, заколдованные дедушкой Розовым.

Все смотрит на нас, удивляется нам, о чем-то немо спрашивает, просит. Но мы не понимаем, не слышим. Мы тоже молчим, как бы понемногу замираем, и двигаемся неслышно, чтобы не разбудить это мертвое царство. Цепенеют пальцы, сухо делается во рту. И вдруг будто тебя кто-то толкает сзади, вздрогнув, оглядываешься: на тебя смотрит одним глазом ушастый филин или хочет дотянуться лапой росомаха.

Бэркэн обошел амаку, наклонился к его голове, словно прислушиваясь, глянул в раскрытую пасть. Протянул к загривку руку, но тут же отдернул, как ожегся: трогать нельзя. Да и зачем трогать? Страшно. Вдруг под рукой ничего не окажется. И станет ясно, что дедушка Розов все придумал, вообразил и заставил других поверить в это. А амака должен быть всегда настоящим, сильным и большим.

Когда Розов убил медведя и сделал из него чучело, эвенки-старики обиделись, думали, что Розов оскорбил эксэри — бога, хотели забрать амаку, в тайгу отвезти, а то рассердится на людей хозяин гор и тайги — не даст им пушного зверя, напустит мор на оленье стада. Шаманы старикам так говорили. Трудно пришлось тогда Розову. Но он хитрый, смекалистый. Сказал эвенкам, что у медведя он взял только шкуру — душу выпустил на свободу, и она сделалась новым, еще более могучим медведем.

Мы неслышно сели на длинную лавку, исцирканную ножом, золоснившуюся от жира, с застаревшими пятнами крови: на ней дедушка Розов разделявал шкуры. Молчали, одинокие, чужие друг другу, будто сами сделались немного экспонатами.

Старик что-то записывал в толстый журнал, покашливал, посвистывал пунцовым носом. Медленно повернулся к нам, медленно снял очки — когда он смотрит на человека, обязательно снимает очки, — медленно узнал нас.

— Чем занимаемся, ребятки?

— Так. Ходим, — ответил я.

— А это не вы воришкам брагу доставили?

Бэркэн промолчал, Дува быстро закрутил головой.

— Они опять едва не сбежали. Перепугали тетку Марфу.

— Они не воришки, — сказал я.

— Понимаю: герои.

— Они просились, их не взяли в Испанию.

— Поэтому побежали?

— Да.

Дедушка Розов поднялся, подошел к большой карте «Охотское побережье», ткнул пальцем в узкий залив ниже Шантарских островов.

— Здесь мы живем. — Он повел пальцем вправо, остановил его в устье Амура. — А здесь город Николаевск. Смотрите теперь, какое между этими точками расстояние. Если по прямой линии, километров двести пятьдесят. Но на пути хребты, тайга, дороги никакой нет. Если по берегу. — Палец начал выписывать извилистую, взлетающую и падающую линию. — Вся тысяча наберется. Дороги опять же никакой. Теперь вопрос к вам: могли бы они добраться до Николаевска?

Я смотрел на карту, она вся в зеленых пятнах тайги, в коричневых полосах гор, с искромсанными берегами, заливами, мысами. Она запутанная, непонятная. В ней как-то неестественно перевернуты море и земля. Я ничего не мог сказать, ждал — может, выскажутся мои друзья.

— Могли, однако, — тихо вымолвил Дува.

Розов легонько рассмеялся, оберегая свое большое горло, сел поглубже в медвежье кресло.

— Только в сказке, ребята.

— Они сильные, — не согласился Бэркэн.

— Понимаю: вы не можете подумать о них плохо — в Испанию бежали. И я не думаю плохо. Но хочу сказать вам, а вы запомните. Любое дело надо делать хорошо. И обязательно думать надо. Если бы они подумали, не было бы нам сейчас так печально, стыдно... И еще смешно. Не вам, а мне. Подумаю о них — вот учудили!

— Они хорошие, — сказал я и едва не заплакал: сделалось жаль ребят, их смелости, риска. Оказывается,

над ними можно смеяться. Да если бы это сказал не розовый старик...

— Хорошо, согласен. Бывает и так: дурачки, а хорошие.

— Их судья заберет? — спросил Дува.

Розов встал, прошагал до двери, вернулся, остановился напротив нас, потрогал бородашку.

— Не отдадим, а?

— Не надо отдавать, — кивнул Дува.

— Договорились. А вы, ребята, не ходите к ним, и никого не слушайте — навредить можете своим героям. Надо жалеть их. Согласны?

Поднялись разом, почувствовали, что пора уходить, вытянулись перед старичком.

— Ну, давайте ваши руки.

Провел до двери, постоял на крыльце, глядя нам вслед.

Мы пошли по улице, потом, не сговариваясь, свернули к интернату — больше идти было некуда. В столовой Бэркэн и Дува получили обед на троих — кого-то они еще называли, чтобы получить для меня порцию, — и мы съели суп, кашу, компот из сухофруктов. По длинному коридору, крадучись, пробрались в комнату, где жили Бэркэн и Дува. Здесь сидел Степка Зыкин, пятиклассник, мальчишка с дальнего телефонного пункта Грань. Он хорошо понимал по-эвенкийски, но был неразговорчивый, почти как немой, всех стеснялся, всегда краснел и был чемпионом школы по шашкам. Никто, никогда, ни разу его не обыграл. А завучу он просто так поддавался.

— Как будут идти, — сказал Бэркэн, намекая на Ван-Сиду и воспитательницу Колобкову, — ты прыгай сюда. — Он приподнял край одеяла, показал пальцем под свою кровать.

— Ладно.

Под кровать сунули мое пальто и шапку. Степка Зыкин удивился немного, но не спросил зачем и показал мне на доску с расставленными шашками. Играть с ним неинтересно — расправится в два счета. Однако я сел: чтобы Степка не обиделся, хотя и обидевшись, он все равно никому ничего не скажет. Обыграл он меня, как дошколенка и еще два «сорттира» запер. Предложил Бэркэну — тот замотал головой, вынул из тумбочки тет-

радь для рисования, а Дува устроился у печки на корточках выстругивать ножом рамку для черкана — ловушки на горностая.

Отлично рисовал Бэркэн. Звери, птицы, олени упряжки, охотники в тайге — все это у него легко возникало на бумаге, жило, двигалось. Было своим, таежным, эвенкийским. Несколькими штрихами он умел набросать фигурку шамана, Гутчинсона верхом на олене с ногами до земли, толстого Ван-Сиды в полушубке, подпоясанным армейским ремнем. Карикатуры Бэркэн обычно рвал на мелкие кусочки, выбрасывал. Но иногда у него выкрадывали ребята, пускали по рукам, и Бэркэну попало — раз от завуча, в другой раз — от Ван-Сиды.

— Кого хочешь? — спросил он.

— Ван-Сиды.

Бэркэн провел линию, вторую, несколько поперечных штрихов, вычертил округлую шапку-ушанку, ремень, планшет, крупные валенки — и появился шагающий старший воспитатель, круглощекий, с заносчиво поднятой головой. Я засмеялся, улыбнулся Степка Зыкин, даже Бэркэн хихикнул — так удачно получилось.

Мне сделалось немножко жаль Ван-Сиды: ну зачем он такой? Воевал человек, значок отличный имеет, отважно все же спасал попавших в беду летчиков, такую замечательную форму носит (наверное, у него и пистолет настоящий есть), и после всего этого ловил «испанцев». Ну, может, ему приказали, так надо — «испанцы» — то интернатчики, — но почему он ненавидит их? Смеялся бы лучше, как дедушка Розов. Что за человек Ван-Сид?..

Бэркэн достал краски — те, подаренные за миногу, принес в стаканчике воды. И вот — синяя широкая полоса: море. Сверху — голубизна, белые пятна: небо, облака. Коричневые сопки, зеленая тайга. Катерок на воде. Желтый берег. Это наш берег, наши сопки, наш залив. И катер наш — «Тугур». Все ярко, интереснее, чем в жизни. Хочется расцеловать Бэркэна. А он сопит себе, ничуть не задается. И рисунки не собирает: нарисует — отдаст, кто попросит. Он, наверное, родился художником. Все эвенки — художники. Я видел, как рыбаки, пастухи, старушки вычерчивают прутиком на песке и на снегу зверей, рыб, деревья, фигурки людей у моря, на охоте. А как расшивают женщины унты, кумала-

ны, перчатки! Дедушка Розов в Москву на выставку отправлял. И никто никогда не учил эвенков рисовать.

— Отдай мне, — попросил я.

— Выставку хочешь делать?

Дома над своею кроватью я вешаю рисунки Бэркэна.

— Не жалко, бирай.

Сели играть в шашки, потом Степка достал старенькие карты — и дотемна сражались «в дурака» (конечно, тайком, отгородившись от двери подушками); проигравший подставлял под щелчки нос. На ужин я не пошел — мне принесли хлеба с маслом, кусок вареной кеты; на третье выпил кружку кипяченой воды из бачка. Спать легли пораньше, чтобы до обхода я мог спрятаться под одеяло.

И дежурный не заметил на узенькой кровати Бэркэна второго человека.

В темноте, поздней ночью, меня кто-то разбудил. Это был отец. Я не испугался, я еще спал, когда он усадил меня на табуретку и принялся одевать. Одевал долго, что-то наговаривал грубовато, но ласково, потом достал из-под кровати пальто, шапку. Сказал, держа за руку, подталкивая к двери:

— Держись, байе! Мужикам держаться надо.

## 10

Четвертый час длился суд. В тесном школьном клубе собрался весь поселок, пустили старшекласников, и было там так тесно и душно, что в щели оконных рам струился белый пар. Из клуба никто не выходил, и туда никого не пускала тетя Марфа. Она то пряталась и слушала суд, то появлялась на ступеньках крыльца и отпугивала нас громкими словами и берданкой.

Мы, конечно, не уходили. Не могли мы уйти в такой день — это все равно, что оставить «испанцев» в беде. Только тетя Марфа скрывалась за дверью, мы припадали ко всем трем окнам клуба, отыскивали незамерзшие уголки в стеклах, продували пятнышки, величиной с глазок. Толкались, отсчитывая минуты — кому сколько смотреть, передавали услышанные слова и кто что делает на суде.

Клок прилип к самому большому чистому пятну, греет нос, шипит:

— Колька встал. «Не признаю», — говорит. Зеленец встал. «Не признаю», — говорит. Гиравуль...

Бэркэн оттаскивает его, расплющивает на стекле свой нос.

— Сидят. Вот вруша.

Я нашел узкую запотевшую щель, присмотрелся. И в какой уже раз увидел часть задымленного зала, скамейку для подсудимых, прокурора справа, защитника слова, а на сцене большого рыжеволосого судью. «Как сивуч», — сказал о нем Бэркэн. Из красного уголка вызывали и отправляли назад свидетелей: сторожа Иванова, Никиту Ямсоляского, Ван-Сиду, Колобкову, дедушку Розова. Больше других говорили старший воспитатель и розовый старик, горячились, утирались носовыми платками, будто важные речи на собрании произносили. Вот опять появился Розов. Я приложил к щели ухо.

— Я все сказал, граждане судьи. Мне кажется, дело ясное... — Он заговорил тише, быстрее, трясая маленькой рукой, и рыжий судья отгородился ладошкой. К Розову подступил тети Марфин муж с берданкой, проводил старика в красный уголок.

Взял слово прокурор, лысый маленький человечек... Взял слово защитник — тощий, седой человечек... Взял слово судья. Нет, он, сидя, сказал:

— Ваше последнее слово, подсудимый Нечаев.

Колька поднялся, опустил руки, как после большой усталости; рубашка у него была мятая, нависала на брюки без ремня. Он говорил негромко — я не поймал ни одного слова, — но под конец кивнул головой. Наверное, признал себя виновным.

Встал Володька Зеленец.

— За воровство виноват, — сказал звонко, четко. — Другое не признаю. — И сел.

Гиравуль поднялся, мотнул головой, отказываясь от слова, повернулся к Нечаеву, выговорил что-то — наверное, согласился с тем, что сказал Колька.

— Суд удаляется на совещание!

Судья и два народных заседателя, мужчина и женщина, ушли за кулисы. Поднялись, закурили, сошлись поговорить прокурор и защитник. В зале возник шум, люди задвигались, но сдержанно, как виноватые, и по-

что никто не вышел на улицу. Появился за дверью лишь Гутчинсон, потный, лохматый, без шапки.

— Как баня настоящий, — сказал тетке Марфе, пососал трубку и нырнул в белый пар.

Потолкавшись, мы опять облепили стекла. В клубе затихал народ, рассаживался, будто тонул в мутной воде — так понакурили мужики. Из-за кулис появился заведующий культбазой и, когда сделалось до жути мертво, скомандовал:

— Встать! Суд идет!

К столу вышел судья, по сторонам от него стали и замерли заседатели.

— Именем Российской Советской... рассмотрев в открытом судебном заседании дело... — начал он громко читать бумагу, но голос его сразу ослаб, и видно было лишь, как шевелятся его губы, слегка вздрагивает рука, держащая бумагу.

Я прижал к щели ухо, прикрыл другое ухо ладонью, и все равно, кроме бормотания, ничего не услышал. Мне хотелось нажать головой на стекло, продавить слегка — может, оно совсем беззвучно упадет на подоконник, и я просуну в помещение голову. Мне надо слышать, обязательно знать, что они там присудили «испанцам». Они ведь ничего не понимают, они могут их засудить. Надо крикнуть, остановить судью!.. Почему он такой спокойный? Ему, конечно, их не жалко, главное для него — склад обворовали, сторож пальцы обморозил... Почему молчит дедушка Розов? Ведь он обещал не отдавать ребят. Закона боится? Зато мы не боимся! Выпустят их — окружим, отобьем и в тайгу убежим. Еще раз склады ограбим и... Раздался треск, звон стекла — и моя голова окунулась в дымное тепло. Я зажмурился, надеясь, что никто в клубе не услышал, но чья-то рука сильно толкнула меня в шапку. Мальчишки бросились от окон, увязая в снегу. Выдавленное стекло кто-то загородил изнутри спиной, а из-за угла вывернулась и ковыляла ко мне, размахивая берданкой, как палкой, тетя Марфа. Я прыгнул в сугроб, переполз его, скатился на другую сторону, побежал к лиственницам. Там ожидали меня друзья.

— Все испортил, — психовал, расстраивал себя Клок.

— Ошибку делал, — сказал Бэркэн.

— Все равно не слышно.

— Вон, смотри! — выглянув из-за деревьев, крикнул Дува.

Вместе с паром, шумом, голосами на улицу вываливалась толпа. Полушубки, дохи, ватники, пальто. Девчонки в цветных платках, Гутчинсон без шапки, дедушка Розов затисканный, с мотающейся головенкой в шерстяном берете, директор школы, Колобкова... Отходили немного, останавливались. Мужики закуривали, женщины, уставшие от молчания, крикливо, но весело разговаривали. И вообще всем было весело, как на гулянке.

— Не взял, однако, судья, — сказал Дува.

— Радуются что-то.

И вот... Толпа расступилась, и из двери вышли Нечаев, Зеленец, Гиравуль и Никита. Их никто не конвоировал, а тетя Марфа, притулив к стене берданку, подбежала к Кольке Нечаеву, повисла у него на плечах, начала целовать в обе щеки. Мужики жали руки Зеленцу, Гиравулю. Никиту схватила и отвела в сторонку мать, запричитав над ним, будто он с того света вернулся. Девчонки толкались возле «испанцев». Алка Замахнина, моя сестрица. Кто-то вдел Кольке в петлицу ватника красный цветок — домашний калачик. Устроили аплодисменты. Можно было подумать, что жители нашего поселка встречают героев, сражавшихся в Интербригаде.

К ребятам пробился выпивший Елькин — бородатый одинокий мужик, с которым дружили и у которого жили летом Нечаев и Зеленец, — взял их под руки, крикнул Гутчинсону: «Бери своего!» Тот потащил за собой Гиравуля. Гурьбой раздвинули толпу, пошли, сцепившись, по улице к дому Елькина.

Девчонки увязались следом, прося отпустить ребят, хватали Елькина и Гутчинсона за полы расстегнутых оленьих дошек, визжали. Нервная Алка плакала. Но мужики крутили головами, упрямо волокли ребят. Потом Гутчинсон погрозил девчонкам кулаком, и вдвоем они втолкнули затурканных, вялых, улыбающихся «испанцев» в низенький, крытый корьем домишко Елькина.

— Бражку пить, — сказал Клок. — Елькин два бочонка заготовил.

— Откуда знаешь?

— Сам хвастался.

Дедушка Розов шел, раскачиваясь, весь расхристан-

ний, на одном унте развязалась кожаная тесемка. Он держал в опущенной руке перчатки, сдвинул со лба берет, посмеивался сам себе: впервые был похож на подвыпившего мужичка. И лицо у него пылало, как после парной.

Мы побежали к нему, окружили.

— Как, а?

— Как, дедушка?

— Не забрал судья?

Розов развел широко руки, удивляясь.

— Да вы ничего не знаете, я вижу?

— Не знаем.

— Главным-то и не сказали. Не пустили на суд и не сказали.

— Ну, дедушка?

— Хорошо все, ребятки. Могло хуже быть. А это все-таки хорошо. Условно всем. Нечаеву четыре года, Зеленцу три, Гиравулю два.

— А Никите?

— Этому ничего. Сказали, чтоб батька дома покрепче выпорол.

— Условно — это как? — спросил Дува. — Это дома сидеть надо?

— Нет, учиться будут, как раньше. Если еще что-нибудь патворят, все им зачтут. Понятно, ребятки?

Он каждого тронул за шапку, за воротник, щелкнул по носу, потолкал, будто проверяя, крепко ли стоим на ногах, и все улыбался той улыбкой, с которой вышел из двери клуба.

К нему подошла Лия Матвеевна, сказала что-то негромко, для него, застегнула дошку на деревянные палочки-пуговицы, поправила берет, присела и завязала тесемки на унте, заставила надеть перчатки. Взяла под руку — он махнул нам, кивком указав на Лию Матвеевну: «Строгая начальница», — и вместе, маленькие, со спины похожие на эвенков, направились к дому Розова.

Несколько минут мы стояли растерянные, безмолвные. Так всегда: пока не уйдет дедушка Розов, пока немного не забудутся его слова — мы стоим, молчим, будто разучились бегать, кричать, толкаться. Это — как почесть ему, как спасибо за то, что он есть. И еще маленькая обида: нам всегда его мало. Нам нужен он каждый день, всю жизнь, но ему нельзя, некогда... И

ничего, что дедушка Розов не совсем понятный для нас человек, всякий раз новый, неожиданный. Его можно побаиваться, ему можно завидовать, но его невозможно не любить. С ним легко разговаривать, о нем интересно думать. Ему бы учителем работать.

— Как тайгу ходит? — покачал головой Бэркэн.

Да, удивительно. Дедушка Розов был отличный охотник, таежник, рыбак; мог пройти по сопкам, марям многие километры; никогда из тайги не возвращался больным, даже усталым. И в то же время он был каким-то хрупким, нежным; дома прибаливал, кутался; всем сочувствовал, всем помогал, но если кто-нибудь жалел его, страшно сердился, мог выгнать из дома. Казалось, в одном маленьком старике живет много разных людей, и все они хорошо дружат между собой.

— К Елькину идем, — сказал Дува.

На поленнице у домика Елькина сидели девчата, ожидали своих дружков (дверь, конечно, была заперта изнутри). Мы подобрались к окошку: за столом сидели Колька, Володька, Гиравуль; по другую сторону — Елкин, Гутчинсон, еще два мужика. Словно собрание проводили.

— Скоро они там? — спросила Алка Замахнина.

— Бражку выпивают.

— Елькина этого судить надо...

— Они его любят.

— Нашли кого — бродяжку бородатого.

Стало ясно: делать нам здесь нечего. Отпустит Елкин ребят — на них набросятся эти вот, что на поленнице грустят. Нам не удастся поговорить с «испанцами», спросить кое о чем, просто пройти с ними по улице. Всегда так: мы нужны в трудное время — к баньке обратиться, записки передать... Надо куда-то идти, что-то придумать, потому что домой никому не хочется: дома в такой день с ума сойдешь от безделья — ничем не сможешь заняться.

— Куда, а? — спросил я.

— Куда? — повторил Дува.

Бэркэн помолчал, потер кулаком лоб.

— Черканы проверять, — сказал он. — Самый лучший дело.

Спорить не стали. Спорить — значит, что-то более интересное предлагать. Я ничего не придумал, Дува

тоже. Разошлись по домам, взяли лыжи, кое-какую еду — кто что смог, встретились за конюшней на своей лыжне и побежали в Черный распадок. У нас с Бэркэном там черканы на горностая, Дува просто так, за компанию.

Лыжня трудная, тянется поверх стланиковых кустов, приваленных снегом, лыжи ныряют, укачаться можно. Зато погодка хорошая: иней облепил лиственницы, елки, белым мехом окутал каждый кустик, любую веточку — все потеряло очертания, расплылось в бескрайней белизне. Да еще солнце холодное светит. Не успеваешь смигивать слезы, и можно смотреть лишь на свои лыжи или в спину идущему впереди. Понемногу привыкаешь к тряскому движению, делается легче, воздушнее, голова слегка гудит от мороза, солнца, и ты живешь будто в хорошем сне.

Скатываемся по склону сопки, попадаем в синие сумерки. Это Черный распадок. Назван он так потому, что плотно зарос ольховником, и в нем всегда тихо и сумеречно. По самому низу течет ручей. Даже сейчас кое-где посверкивает вода. И множество заячьих троп, натоптанных так, что по ним можно ходить пешком. Здесь мы иногда ставим петли на зайцев; но заяц — плохая пушнина, а мясо такое мы не едим.

Отдыхаем в распадке, Бэркэн курит. Потом скользим к противоположному склону, медленно поднимаемся по едва видимой лыжне. Весь снег здесь исписан следами горностаев. Старыми, припорошенными и совсем свежими: горностаи мышковали этой ночью. Под низкими еловыми лапами — пятачок твердого снега, две яркие капли крови. Удачно поохотился горностай!

Вот первый черкан — деревянная рамка с натянутым луком и молоточком на стержне. Черкан стоит у входа в норку горностая. Стоит взведенный. Значит, зверек почувствовал опасность или... Да, он перехитрил нас: прокопал снег сбоку, обошел черкан, сходил на охоту, вернулся и залег спать.

«Старый, хитрый», — с усмешкой крутнул головой Бэркэн, поднял черкан, спустил молоточек.

Надо ставить к другой норке; где живет непуганый горностай, глупый, который и не подумает прокапывать другой выход, а сунет голову в черкан.

Возле норки под стланиковой веткой — ее почти не

видно, я бы и не заметил — Бэркэн настораживает черкан, осторожно втыкая концы рамки в снег. Ни одна снежинка не упала с ветки, остался нетронутым иней на кромках норки. Черкан поставлен так, что зверек, глянув изнутри, не заметит ничего, кроме тоненькой, как соломинка, палочки, поддерживающей молоточек. Соломинку может принести ветер...

Даже Дува слегка прищелкнул языком, видя такую работу. А он и сам мастерил черканы, умел охотиться на всех пушных зверей.

— Понадется... — шепотом сказал я.

Бэркэн зыркнул на меня, слегка сплюнул, отвернулся и замер на минуту, будто молясь деревьям. Я прикусил язык, мне надо бы совсем его откусить. Я забываю, что на охоте нельзя говорить, и еще больше запрещается хвастаться, быть самоуверенным: рассердится амака, хозяин тайги, и звери не пойдут в ловушки, поставленные человеком. Кто этого не знает? Только глупые люди болтают на охоте, но они и возвращаются с пустыми руками.

Наказывая нас, Бэркэн один зашагал вперед. Для него мы сделались немножко «нечистыми»: я — потому что сказал слово, Дува — прищелкнул языком. Конечно, Дува был почти не виноват. Просто Бэркэн не захотел бросать меня одного: луча, русский, в тайге, как на квартире живет.

Оленья дошка Бэркэна мелькала среди деревьев; наклонясь вперед, он разглядывал следы и похож был на маленького старичка, на шамана, пришедшего на свидание с лесными духами.

Медленно двигались за ним. Нам сделалось скучно. Потом Дува шепнул мне, показав палкой на Бэркэна:

— Строгий... — и засмеялся без голоса.

Смахнули снег с поваленной лихты, присели, не снимая лыж. Занемели в ледяной тишине. Пугливо, жалобно пискнула мышь, далеко прострочил дерево дятел; а вот с еловой лапы ссунулся снег — развеялся в воздухе, засверкал, запорошил нас сахарной пылью. В распадке слышались тупые редкие шлепки по твердому снегу: неужели косоного кто спугнул?.. И опять ледяная, бескрайняя тишина, и кажется, в сопках, тайге, тундре все вымерло, превратилось в лед, снег... Но нет, прислушайся: где-то тоненько прохохотала сойка.

— Смотри, — сказал Дува едва внятно, слегка повернул меня.

Совсем с другой стороны к нам приближался Бэркэн. Скользил неслышно, будто парил над снегом, оттопырив локти. С ремня на поясе свешивался горноста́й. Был он длинный, белый, с черной кисточкой на кончике хвоста, и от каждого шага Бэркэна дергался, словно вспрыгивал ему на грудь.

Бэркэн прошел мимо нас, с легким шипением лыж заскользил по склону в распадок. Мы стали на его лыжню, оттолкнулись палками. Возле ручья притормозили. Бэркэн сидел на валежине, расстегнув дошку, положив рядом горноста́я, и улыбался, подсмеиваясь над нами: «Смотрите добычу, радуйтесь!» Потом, закуривая, сказал:

— Костер надо.

Мы послушно наломали и наносили ворох сушняка, подложили бересты, разожгли костер. Дува вынул из сумки котелок, зачерпнул воды, приладил над огнем. Разложил на валежине припасы: юколу, хлеб, вареное мясо, копченую корюшку.

— Почему молчите? Язык скушали? — по-стариковски усмехнулся Бэркэн.

— Амака обидится, — ответил я.

Он рассмеялся, удивляясь моим словам и показывая на меня пальцем.

— Смешной! Тут зайцы живут. Зачем нам зайцы?

Зайцы нам, действительно, ни к чему, и мы с Дувой тоже засмеялись.

— Кушать давай, — сказал Бэркэн.

Юколу подогрели на огне, она сделалась мягкой, сочной, заплыла жиром. Съели по большому куску. Мясо поджарили на углях, разрезали поровну.

В котелке вскипела вода. Бэркэн отломил плиточного чая, бросил в котелок. Вода сделалась коричневой. Дува опустил в нее два куса сахара. Я сполоснул в ручье кружки, поставил на валежину.

Чай был эвенкийский. Такой пьют охотники, проводники. От такого не замерзнешь в любой мороз, такой силу, смелость дает. Мы пьем его, как полагается, маленькими глоточками, вдыхаем горячий пар — делаемся сильными, смелыми. Говорим об охоте, рыбалке, оленях, собаках.

Мы одни. Мы ушли из поселка, где о нас позабыли. Мы не нужны теперь даже «испанцам», которых любим, — они не вспомнили о нас после суда. Ушли пить брагу. Они с девчонками уйдут на вечеринку и опять не подумают про нас. Нам и не надо. Нам вдвоем хорошо. Люди такие: когда им плохо — ласковые, когда счастливые — о себе только думают.

Дува прихлебывает чай, рассказывает:

— Ну, это как... акинми... братом был на охоте. Ну, это... уриkit... стоянку делали. Амака приходил. Сатымар — большой величины. Главный. Ну, это...

Долго, трудно, но очень понятно Дува рассказывает о том, как он с братом охотился на белку, и к ним в зимовье пришел медведь-шатун. Огромный, страшный, злой. Всю ночь спать не давал. Утром брат вышел к сатымару, бросил ему юколы, мяса оленьего, попросил не мешать охотникам, поклонился хозяину тайги, сказал: «Мы тебе плохого не делали, мы тебя уважаем, помоги нам охотиться». Сатымар съел мясо и рыбу, поворчал и ушел. Больше не возвращался. Полюбил Дува и его брата: они много набили белок. В тот год Дува купил себе коньки и дробовое ружье.

Мы подбрасывали в костер сушняка, еще раз заварили чай, грызли сахар.

Я рассказал, как плыл по Амуру на пароходе «Рыбак». Пароход старый, и у него одно большое колесо на корме. Оно шлепало плицами по воде, ухало, бурлило, было огромное, но пароход двигался медленно и весь дрожал. Ехать все-таки мне нравилось, потому что я подружился с матросами, а когда пароход приставал к поселкам, на берегу можно было купить вкусную еду, даже конфеты.

До темноты мы жгли костер, потом потушили и увидели звезды. Под звездами шли домой. Звезды мерцали в снегу, на деревьях. От звезд светился наш горностай — белый, пушистый, крупный. Мы подарим его дедушке Розову, пусть поставит у себя в музее. Такого еще никто не видел. Такого нельзя на воротник.

Было так хорошо, что я сочинил четыре строчки:

Снега белы, как горностай,  
А горностай, как снег,  
И пусть сегодня я устал.  
Счастлив мой лыжный бег.

С утра на первой мари начал собираться народ. Туда же, пыля снегом, промчались оленье и собачьи упряжки. По всему поселку были вывешены плакаты, ярко краснели флаги на чистом снегу первой мари.

Сегодня праздник народов Севера.

Я выскочил из дома, когда по улице с тывкаиьем катила собачья упряжка, подождал ее на повороте, прыгнул в сани. Каюр улыбнулся мне, похвалив за ловкость, мы съехали под гору, пронеслись сквозь лиственничный лесок, и каюр затормозил палкой — остолом, чтобы не врезаться в толпу.

Здесь собрался весь поселок, школа, интернат. Приехали пастухи из стада, пришли древние старички, атыркан, сидели в сторонке на медвежьих шкурах, курили длинные трубки. На трибуне, сколоченной из новеньких досок, стояли заведующий культбазой, директор школы, председатель сельсовета, Боровиков; у каждого на рукаве широкая красная повязка. Немного в стороне, старательно вытоптав снег, первоклашки, взявшись за руки, водили хоровод и громко, по команде Колобковой, выкрикивали:

~~Кара~~

Карав, карав, каравкан,  
Одыр кочин каравкан!

Верхом на олене приехал Гутчинсон, притормозил, упершись ногами в снег. Его окружили, спрашивая, почему опоздал, почему задерживает праздник. Гутчинсон хрипло смеялся, взял у кого-то трубку, сильно пыхнул дымом. Ему подали исписанный лист бумаги, наверное, распорядок дня, он начал читать, вода темным, подкопченным пальцем. В это время олень, мотиув раз-другой рогами, шагнул вперед, вышел из-под седока, затрусил в сторонку, к оленьей упряжке, а Гутчинсон еще минуту стоял, расставив ноги, думая, что под ним олень. Бурный хохот заставил его очнуться, он ругнул оленя: «Дурак орон, свинья орон!» — и пошел к трибуне.

— Товарищи! — резко сказал, опершись на руки, заведующий культбазой. — Сегодня у нас большое, радостное событие — праздник братства и дружбы, смотр наших достижений в труде, культуре, учебе.

Он говорил долго, складно, будто книгу читал; под

конец снял шапку, ветер бросил ему на лоб длинные желтоватые волосы; сильно заполоскались флаги. Потом выступали директор школы, председатель ссельсовета, Гутчинсон. Последним дали слово передовому пастуху. Он не хотел подниматься на трибуну, а когда его втащили, долго не мог ничего сказать, хотя и держал в руках бумажку. Ему подсказывали, подбадривали. Пастух выговорил по-русски: «Наша праздник кароший!...», ветер вырвал у него из руки бумажку, он бросился за ней, и выступление закончилось общим смехом. Затем торжественно вручили премии. Каждый ударник поднимался на трибуну, жал руку начальникам.

Младшие школьники устали от митинга, начали шуметь, бегать — хорошо, что погода была теплая, по-настоящему мартовская, солнце пылало во все небо, снег покрывался влажной, сверкающей корочкой, — и закричали «ура», захлопали рукавицами, когда заведующий культбазой, закрыв митинг, приказал:

— Поднять флаг соревнований!

По шесту поднялся, заструился вверху шелковый вымпел. Гонщики побежали к оленьим упряжкам, укаждого на груди и спине был номер, к каждой нарте прикреплен флажок. Туда же направился Ван-Сид Боровиков с красной повязкой на рукаве, начал распоразжаться, покрикивать. Назвал по списку первые четыре упряжки.

Я пошел искать Бэркэна. Как и думал, нашел его возле нарты Гиравуля. Вдвоем они подправляли алыки на шеях оленей, проверяли ремни. Гиравуль, веселясь, повернулся ко мне:

— Хочешь кататься?

Он ощупал коленные суставы оленям, подогнув им ноги, ударил одного и другого резко по спине, отчего один вздрогнул, а другой присел.

— Слабый этот зверь. Упадет, однако, а?

— Не знаю.

— Падать будет — отвязи. Другой сильный угучак\*, — сказал Бэркэн.

— Чик сделаю, — потрогал Гиравуль чехол с ножом. — Мясо сделаю.

Подбежал Ван-Сид, красный, в распахнутой дохе, с

---

\* Угучак — ездовой олень (эвенк.).

фотоаппаратом, планшетом, с бумагой и карандашом в руке, крикнул, еще больше краснея:

— Почему не на старте?

— Проверка.

— Раньше надо было. На старт!

Ван-Сид кинулся к дороге, где выстраивались упряжки, а Гиравуль нежно помял оленям морды, будто внушив им что-то, сел на узенькую гоночную нарту с красиво гнутыми полозьями, скрепленную новенькими сыромятными ремнями, — она упруго скрипнула, слегка раздвинув полозья, — Гиравуль охватил нарту кривоватыми ногами, ударил вожжой жожака, выехал на дорогу, стал вровень с тремя выстроившимися упряжками.

— Все равно победит, — сказал я, очень желая Гиравулю занять первое место: ему нельзя не победить, им всем, «испанцам», надо сегодня победить.

— Зачем так?.. — обиделся Бэркэн.

Я опять забыл, что не надо загадывать, не надо обижать добрых духов, подсказывать им, они сами все знают, как поступить, но сейчас мое желание было сильнее невидимых духов, и я прямо повторил:

— Победит.

Бэркэн не ответил, не успел ответить, потому что Ван-Сид взмахнул флажком, каюры хлестнули оленей, дико вскрикнули, и четыре упряжки мгновенно исчезли в облаке снежной пыли. Вскрапывание оленей, топот копыт, шелканье ремней, голоса... Лишь в некотором отдалении упряжки обозначались четче, вытянувшись на дороге, а еще через несколько минут неслись, как по тугому белому полотнищу: немо, в мерцании света и воздуха; потом скрылись в перелеске, разделяющем первую и вторую мари.

Когда упряжки, совсем уже крошечные, обозначились по ту сторону перелеска, Бэркэн вгляделся, прикрыв рукавицей глаза, щелкнул языком.

— Что?

— Второй идет!

Скачки до середины третьей мари, всего пятнадцать километров, туда и обратно. Полчаса, не меньше ждать. Мы пошли к лыжникам — они собирались на своем старте. Там уже бегал, командовал с флажком в руке Ван-Сид.

На лыжне стояли Колька Нечаев, и Володька Зеле-

нец. Какие у них были свитера! Толстошерстные, с отложными воротниками; у Кольки красный с зеленой полосой на груди, у Володьки зеленый с красной полосой. В городе Николаевске, наверняка, приобрели, да не в магазине — на толкучке, где, говорят, можно купить чуть ли не любую вещь, существующую в мире. И брюки у Нечаева и Зеленца трикотажные, спортивные, и лыжи с металлическими креплениями. Кто за ними угонится, у кого хватит смелости? Вон двое на охотничьих, камусных лыжах, а один в телогрейке собрался соревноваться.

За Колькой и Володькой пристроился Никита Ям-сольский. Они и его приодели. Не такой он, конечно, красивый — и неуклюжий, и сутуловатый, в рукавицах дырявых, но все равно лучше других лыжников. «Испанцы» приодели Никиту, чтобы подбодрить, и рядом с собой поставили, чтобы держать на примете, подгонять во время гонки — им нельзя не победить: их временно исключили из комсомола, а Никиту из пионеров, и Ван-Сид на каждом собрании называет их «наши герои».

— Победят, — сказал Бэркэн, с радостью глядя на них. Он считал, наверное, что русским таежные духи помешать не могут — у них свой бог, потому и выговорил вслух слово, которое даже в памяти держать нельзя.

— Давай поспорим, — протянул я руку, — кто первым придет: Колька или Володька?

— Давай.

— Ты думаешь кто?

— Колька.

— Я — Володька. На что спорим?

— Как это... На чего кочешь.

Хлопнули ладонями; я начал припоминать, что может взять у меня Бэркэн, если проиграю. Ничего ценного не припомнил. Зато уж у него я, наконец, выпрошу собаку, черную лайку Бурту.

Подшли к «испанцам», чтобы они увидели, как мы хотим им успеха, как будем переживать за них, и просто улыбнуться, кивнуть, посмотреть сбоку на их лыжи, ботинки, крепления: может, что-нибудь недоглядели, лучше исправить здесь, чем на лыжне.

Нечаев и Зеленец кивнули нам: «Порядочек будет!» Колька спросил:

- Как Гиравуль?
- Веселый, — сказал я.
- Привет ему!

Нас и других ребятшек оттеснил Ван-Сид, крикнул: «Приготовиться!» — и взмахнул флажком.

Лыжники скопом бросились к лыжне, потолкались и тут же выстроились в длинную пеструю цепочку. Первым шел Володька, за ним Никита, потом Колька и все другие. Лыжня круто сворачивала в лес, на пересеченную местность, и скоро втянула лыжников в березник на склоне сопки.

У своего старта собрались девчата, окликали друг друга, смеялись. К ним побежал Ван-Сид. А мы пошли к финишу оленьих гонок (девчата — это неинтересно, это хуже, чем «карав, карав, каравкан...») — там уже столпился народ, впереди всех стояли заведующий культбазой и директор школы. Между двумя рядами натянули длинную красную ленту. По проходу ходили дежурные с красными повязками, просили зрителей отступить назад, чтобы могли проехать упряжки. Подошел Ван-Сид, пробился вперед. И тут из перелеска в конце первой мари выкатилась снежная пыль. Она росла, удлинялась и наконец вытолкнула из себя двух оленей с облачками пара над головами, с закинутыми на спины рогами. Олени бежали так, будто хотели разорвать потяг и разлететься в стороны от дороги.

— Кто? — толкнул я Бэркэна.

— Бадма, пастух.

— А Гиравуль?

— Второй бежит.

За первой упряжкой обозначилась другая, но была какой-то узкой, длинной. «Неужели на одном олене? — подумал я. — Неужели тот «зверь» упал?»

— Один угучак, — сказал Бэркэн.

— Проиграет...

Бэркэн глянул на меня, и я понял без слов: вот, ты сам виноват — зачем болтал «победит»?

Олени приближались, видна была третья упряжка, а четвертая, отстав, только что выкатилась из перелеска, но шла быстро, настигая идущих впереди. Вот уже позади половина мари, люди замерли, перестали кашлять, даже детишки притихли. Слышался лишь тупой топот копыт, щелчки ремней, короткие выкрики каюров. Бли-

же, ближе... И... что это?.. Справа от передней пары олень появилась голова третьего оленя. Выровнялась. И понемногу начала выдвигаться вперед. Вот уже виден весь олень, за ним нарта, и медленно, будто в затухающем кино, вся упряжка вышла вперед. А позади нее взрывом поднялся снег.

— Упал олень Бадма, — сказал спокойно Бэркэн.

Впереди мчался угучак Гиравуля. Голова поднята к небу, из ноздрей белые струи, рога на спине — он слепо бил копытами в дорогу, швыряя к нарте комья снега. Гиравуль пригнулся, сделавшись почти невидимым, и уже не погонял, не покрикивал на угучака — и нарта, и седок, и олень слились в одно скачущее существо.

— Ур-ра-а! — взорвалась толпа.

Олень натянул грудью ленту, порвал. Гиравуль пролетел в вихре, шуме, криках и аплодисментах по людскому коридору. Снова вырвался на простор и затормозил остолом.

Мы подбежали первыми, я схватил руку Гиравуля, Бэркэн сел к нему на нарту. Гиравуль воткнул остол, вскочил, ударил шапкой в ноги и, поддев ладонью комок чистого снега, растер на лице. Угучак, по-собачьи вывалив язык, хватал снег губами, шерсть у него была мокрая, от спины поднимался пар.

— Молодец! Мы знали — победишь!

Гиравуль, довольный, мотал головой.

— Понимаешь — везение. Бадма неправильно делал. Надо раньше бросить оленя. Мешал олень. Потом упал. Такое везение, понимаешь?

— Победил, — сказал Бэркэн и наконец неторопливо, как старикашка, пожал руку Гиравулю, будто лишь сейчас узнал об этом.

Потом Гиравуля позвали к трибуне. Заведующий культбазой вручил ему приз — мелкокалиберку с двумя пачками патронов. Мы хотели еще раз позвать руку победителю, но его плотно окружили старшеклассники, и мы побежали к прилавку на козлах, где продавщица начала торговать конфетами и пряниками.

Ребятишки уже сосали леденцы разноцветные, грызли мятные, большие пряники. Я вынул рубль, Бэркэн достал горсть мелочи, сложились, стали в очередь. Ждать пришлось долго, потому что самым маленьким отпускали без очереди. Когда все-таки продавщица взве-

сила нам килё пряников и полкило конфет, кто-то крикнул:

— Лыжники! Лыжники!

Выбрались из очереди, побежали к лыжному финишу и не успели. Там собралась толпа, кричала, окружив гонщиков. Потом начали кого-то подбрасывать. И мы увидели... да, мы увидели: над головами взлетает Никита в дареном синем свитере, серых спортивных штанах.

— Ура Ямсольскому!

— Молодец, Никита!

Понемногу подтягивались отставшие лыжники, отходили в сторонку. И совсем в стороне, под лиственницами, стояли Колька Нечаев и Володька Зеленец. К ним подбежала моя сестрица с Алкой Замахниной, о чем-то они все вместе заговорили. Потом девочки помогли Кольке и Володьке снять лыжи, взяли их под руки, как тяжелораненых, повели в поселок. Но говорили весело, смеялись.

— Какое место заняли? — спросил я Клока.

— Оба второе. Вместе пришли. А Никита обогнал. Во смешно!

Да, смешно. Потому что даже Клоку понятно: никто еще в лыжных гонках не обходил Нечаева и Зеленца, они соревновались между собой, и Володька побеждал чаще. Даже в районе занимали первые места. И тут их обогнал Никита, а сами они пришли рядышком.

— Ван-Сид сказал: разберемся, — сообщил Клок.

— Ирики ты, — сказал Бэркэн.

— Чо, чо?

— Ничо. Пошли, Бэркэн, — взял я за руку друга, понимая, что он как бы навсегда освободил меня от «тэрэлунгэ», назвав Клока дурачком, идиотиком.

У трибуны ждал народ. Никиту почему-то не вызывали. Заведующий культбазой, директор школы, председатель сельсовета, Ван-Сид совещались, негромко спорили. Наконец заведующий культбазой поднялся, сказал:

— Пригласите Ямсольского.

Толпа ожила.

— Никита!

— Ямсольский!

Никита шел вразвалочку, по-солидному, но был весь

красный, глаза бегали, губы дрожали. Поднимаясь на трибуну, он едва не упал, а когда остановился перед начальством, застолбенел, как хэмэкэн — деревянный божок.

Заведующий культбазой вручил ему новенькие финские лыжи с кожаными ботинками, пожал руку. Никита попробовал что-то сказать, однако не смог, бегом пустился с трибуны.

Должны были вызвать Нечаева и Зеленца, но не вызвали: наверное, не знали, как разделить вторую пару лыж без ботинок. Зато маленький охотник Чочан, занявший третье место, получил новенькие коньки-снегурки.

Потом встречали, награждали девчат. Через некоторое время был дан старт собачьим упряжкам. И неудачно. Собаки двух упряжек сцепились, сбились клубком, визжа и грызясь. Пока их растаскивали, две других ушли далеко. Пришлось выпускать отдельно. Под конец праздника Гутчинсон вывел четыре оленьих нарты, объявил:

— Кто желающий соревновать?

Сел на одну из нарт, посмеиваясь, подзывая рукой.

— Давай, давай!

Первым вышел, расстегнув доху, размахивая снятыми рукавицами, заведующий культбазой. Гутчинсон вскочил, подвел начальника к упряжке, стоявшей рядом со своей, дал в одну руку ременную вожжу, в другую — осто, хлопнул по плечу.

— Вот так надо! — сказал всем.

Из толпы выбрался дедушка Розов, его держала за рукав Лия Матвеевна; упиралась, сердилась даже, Гутчинсон побежал ему навстречу, помог освободиться, наговаривая Лие Матвеевне: «Не бойсь, не бойсь. Будет хорошо!» Ласково усадил дедушку Розова на третью нарту, погладил ладонью по меховой шапке.

— Один не хватает! Кто желающий?

К нарте направился председатель сельсовета, бывший пастух. Гутчинсон остановил его, заговорил негромко по-эвенкийски, повернувшись к людям, крикнул:

— Товарищ Боровиков! Вы желающий?

Ван-Сид, стоявший впереди всех, немного попятился, пожал плечами, несмело улыбаясь, но тут же шагнул вперед. И стало ясно, заминка его — шутка, игра.

— Могу, — сказал твердо, сам уселся на нарту, взял вожжу, остол. Отдал флажок и часы председателю сельсовета, показал на стрелки. — Будет здесь — сигнал.

Упряжки рванулись, понеслись по дороге: впереди Гутчинсон, замыкающим Ван-Сид. Утонули в снежной пыли, шуме движения. Зрители опять взорвались криками, подбадривая, веселясь больше, чем при других гонках; каждый понимал: это для задора поскакали начальники, показать, что они тоже простые люди и не боятся насмешек. Мужчины, среди которых был мой отец, договаривались: «Будем качать всех! Всем по бутылке браги!» Но вот толпа как-то разом притихла. На дороге, где вытянулись и четко обозначились упряжки, завязались вроде настоящие гонки. Ван-Сид начал стороной обходить идущих впереди. Зачем это ему? Так бы и вернулись друг за дружкой, всем бы присудили первое место. Ну перед финишем могли немножко посоревноваться — для веселья. О!.. Ван-Сид приближается к упряжке Гутчинсона, его олени выравниваются с оленями... Но что это?! Упряжка Ван-Сид рванулась в сторону, будто испуганная, понеслась по целине, спотыкаясь, увязая в снегу. Ван-Сид тормозит, тянет потяг... Олени, как бешеные, стремятся к лесу... А те три упряжки пересекли марь, скрылись в зарослях: в гонке они не заметили, наверное, беды Ван-Сид. Вот нарта его легла на бок, олени волочат ее вместе с седоком в замяти поднятого снега. Перевернувшись несколько раз, Ван-Сид высвободился, минуту, еле видимый лежал на снегу, — какая долгая минута! — потом вскочил. Олени, будто пробив стену леса, исчезли в лиственницах; и оттуда донесся сухой треск разбитой нарты.

Женщины, девочки подняли визг, Колобкова бегала, приказывала:

— Бегите! Спасайте! Спасайте!

Но и так уже трое старшеклассников, став на лыжи, бежали напрямик к Ван-Сиду, неся ему широкие камусные лыжи, а два пастуха направились к лесу искать оленей.

— Испугался? — взял меня за плечо отец, слегка тряхнул. — Вот как бывает...

— Оленей приведут?

— Если не побились. А то мясо будет... Правда, олешки хорошие...

— Чего они так?

Отец вздохнул, стиснул мое плечо, помолчал, и я понял, что он хочет мне сказать: большая неприятность произошла. Но не скажет — нельзя, не положено с детишками откровенничать, не пойму как следует. Другое дело, если сам догадаюсь, он даже будет этому рад: малец сообразительный! Потому нехотя выговорил:

— Не знаю. Дикие, наверно. Или Боровиков им не понравился. — И совсем тихо, для себя: — Зачем он их погнал?..

Отец закурил, посмотрел, как медленно приближается Ван-Сид в окружении старшекласников, как заметно прихрамывает.

— Ну, я домой, — сказал он. — Что-то устал. А ты на обед?

— Ага.

(В столовой готовился для школьников общий праздничный обед.)

— Гуляй.

Подвели Ван-Сиду, помогли снять лыжи, усадили на свободную нарту. Сразу подбежал поселковый фельдшер Николаич, стал расспрашивать его, сунул руку под доху Ван-Сиду, ощупал плечи, потрогал колени. Ван-Сиду подали папироску, он мотнул головой. Сидел, опустив голову, часто дышал. Нос у него был расцарапан, на щеке ссадина, левая лапа дохи почти оторвана, торбаса смяты в гармошку, на ушибленном колене — клочья штанины, виднеются теплые розовые кальсоны.

— Пройдемте, Иван Сидорович, в амбулаторию, — вежливо предложил фельдшер.

Ван-Сид поднялся, Николаич взял его под руку, будто для приятной прогулки, толпа расступилась, они прошли — один сухой и длинный, другой округлый и маленький, — и полная, какая-то боязливая тишина проводила их. Кто-то отвязал оленью упряжку, догнал фельдшера и старшего воспитателя, повез их в больницу.

Было жутко видеть таким Ван-Сиду. Лучше бы никогда не видеть его таким.

— Почему сиделся? — спросил Бэркэн, невесело спросил кого-то, кто единственный и всесильный заставил Ван-Сиду сесть на нарту и погнать оленей. — Почему? — повторил Бэркэн совсем уже уныло.

— Едут! Едут!

Из перелеска в конце мари выкатился белый дым, вытягиваясь, поплыл в нашу сторону, потом возникли упряжки: первым шел Гутчинсон, вторым заведующий культбазой, третьим дедушка Розов. Держались плотно друг к другу, будто сцепленные.

Это сразу хорошо настроило людей: «Вот же, так мы и предполагали! Так и задумано было!» Все, кажется, позабыли о неприятном случае, он сделался не главным, просто случайностью. А самое важное, интересное — вот оно: три упряжки с тремя людьми — своими, понятными, уважаемыми. Их надо встретить, выказать добрые чувства, чтобы они знали, как их любят в поселке.

Перед финишем олени выровнялись, пошли голова к голове, выкатились на твердую широкую площадку и разом натянули красную ленту.

— Урр-ра!

— Молодцы!

— Герои!

Окружили со всех сторон, помогли подняться с нарт, увели и привязали к лиственницам оленей. Но качать, награждать бутылками с брагой не стали: никто не осмелился, все-таки переменялось настроение. К заведующему культбазой сразу подбежали жена и директор школы, заговорили озабоченно, и с лица его, будто всплеском ветерка, смыло веселье. Он насупился, опустил голову, мял в руках перчатки. Потом потрянул разлохмаченным чубом, подозвал Гутчинсона, сказал ему несколько слов — тот тоже уже не смеялся, — вместе они сели в нарту и уехали в поселок.

Мы направились к дедушке Розову, но позвать ему руку не смогли: возле него было много взрослых, а Лия Матвеевна отстраняла всех, вытирала платочком старику лицо, завязывала тесемки шапки, застегивала дошку. Еще успевала отвечать за него, держа под руку, чтобы — чего доброго! — не вздумали качать старика. Дедушка Розов улыбался каждой морщинкой своего лица, кивал всем на приветствия. Ему предложили стакан браги — отхлебнул глоток, замотал сокрушенно головой. Лия Матвеевна, подталкивая его, вывела из толпы, они зашагали потихоньку домой.

Справа, возле Кутима, послышались резкие щелчки

мелкокалиберок — начались соревнования по стрельбе. Мальчишки побежали туда. Интересно все-таки. К тому же после стрельб могут выделить по одной пулюке. Я посмотрел на Бэркэна, он сказал:

— Хушать кочу.

В столовой мы появились вовремя: как раз закончили носить еду на столы и впустили первую партию — самых маленьких. Разрешили и нам. «Все равно кормить», — сказала повариха, моя мать, провела нас к отдельному столу, за которым сидел Клок. Ел он всегда плохо, но, увидев нас, жадно принялся портить хорошую еду. Расковырял холодец, колупнул пудинг, начал и не одолел картошку с мясом (картошка привозная, ее даже эвенки едят). Почему он такой вредный? Почему делает так, чтобы другим было неприятно, и радуется при этом?.. Мы съели по полной порции каждого блюда, не разговаривая с Клоком, запили брусничным киселем. Конфеты и пряники положили в карманы, чтобы съесть понемногу. А когда вышли из столовой, нас догнал Клок.

— Слыхали? — спросил он с ухмылочкой, показывая зубы.

— Чего?

— Гутчинсон подсунул Ван-Сиду плохих оленей.

## 12

В конце апреля началась весна. Днем снег сочился чистой холодной водой, а ночью покрывался твердым настом. Собаки и олени резали ноги, в тайге исчезли следы зверей. Наступила распутица, и наш поселок на два месяца, до морской навигации, остался в полном одиночестве.

За Кутимом на первом, Большом озере появились широкие полыньи. Вода начиналась сразу от вытявшего стланика, светила резкой синью, казалась бездонной. На нее невозможно было смотреть спокойно: она первая.

Все последние дни мы молча поглядывали за Кутим, по утрам, выбежав из дома, я останавливался на минуту, проверяя: на месте ли полыньи, как они разрослись,

сколько осталось белого льда? Наконец после школы Бэркэн сказал:

— Идем, однако, рыбачить.

Взяли удочки, хлеба-мякиша, ведро; по ломаным льдинам Кутима перебрались на ту сторону. Через островки мокрого снега, по обсохшим буграм пошли к озеру. Ели прошлогоднюю клюкву, созревшую под снегом, — сладкую, холодную (капельки сока в твердой коже). На берегу отыскивали свое старое место с двумя высокими кочками, чистым дном, в стланиковом затишке. Уселись, каждый на свою кочку, ведро поставили посередине, принялись разматывать удочки.

Хотелось первому опустить в воду крючки; глянул на Бэркэна — от тоже торопился, но очень солидно, почти незаметно: кто откажется поймать первую рыбку в первой воде? Намяли комочки хлеба, наживили. Я немного обогнал Бэркэна, выждал, и вместе мы закинули удочки.

Грузила всплеснули, поплавки, окунувшись, подняли вверх гусиные перышки, успокоились. К торфяному берегу прибежали круги, ударились, затихли. У самого дна, зависнув на леске, ясно обозначились комочки хлеба.

Притаили дыхание, глядя на поплавки, остались наедине со своей удачей.

Гольянов в Большом озере уйма, летом они налетают сразу, устраивают толкучку, хватают, рвут наживку. Их можно ловить на пустой крючок: дернешь — и за что-нибудь зацепишь. А сейчас еще тяжеленный лед давит озеро, вода холодная.

Сквозь тонкую рябь вижу коричневое торфяное дно, стланиковые корневища, светлый бок консервной банки (какой-то глупый «гость» побывал здесь осенью). И ни тени, ни проблеска. Вода пуста. Неужели не проснулись гольяшки и ротаны, дремлют в своей теплой постели — пухлой тине?

— Бросим приманку? — спросил я.

Бэркэн раскрошил в ладонях хлеб, широко сыпнул, как посеял зерно. Крошки белой моросью заструились ко дну. И вот одна, другая мигнули, качнулись в сторону, исчезли. Я наклонился. Несколько рыбешек, возникнув из темноты, суетились над осевшей приманкой, задирали вверх хвостики, подбирали хлеб. К ним мед-

ленно выплывают новые, на мгновение замирают, будто припоминая, что это все значит, и бросаются в толчею, как на веселом базаре. Длинно промелькивают черные спинки гольянов, зеркальцами вспыхивают брюшки.

Я повел поплавок ближе к берегу, где не было приманки. К моим ожившим крючкам метнулось несколько рыбешек, заплясали вокруг. Одна, покрупнее, ухватила наживу, заглатывая, повела ее вбок. Не глядя на поплавок, я слегка вздернул удочку и, ощущая ладонью упругий трепет, потянул кверху леску. Подставил ладонь — гольян ударился в нее, заворочался, стиснутый. Теплый, тугой. Придержал, чувствуя, как от весеннего тепла рыбешки у меня горячают руки, делается тепло всему телу; бросил гольяна в воду ведерка, он всплеснул хвостом, ушел на дно и притих, будто опять уснул, а все, что с ним сейчас произошло, — просто нехороший сон.

Почти сразу поймал рыбешку Бэркэн, взвесил на ладошке — у него была крупнее (хоть и не первый, зато крупнее!), нежно опустил в ведро, как в лучшую жизнь, повернулся ко мне, засиял — сделался похожим на маленького деревянного божка. Так прекрасно было ему, так любил он охоту, рыбалку, собак, оленей, так обрадовался он этой маленькой, живой, первой рыбке.

— Со ая! — сказал я.

— Ая! — подтвердил Бэркэн.

А солнце разгуливалось, плавило в небесах облака, топило снег, грело стланик, брусничные бугры; пробуждало запахи, суетливые ветерки; оттаяли голоса у ворон; и дома поселка на склоне за Кутимом дрожали, колебались в синеватом мареве, как сквозь чистую, невесомую морскую глуть.

Рыбешек мы выуживали часто, уже не считая. В полынье их скапливалось все больше, исчезло дно, прикрытое ими. Словно кто-то бежал подо льдом и сзывал гольянов со всего озера. Потом Бэркэн показал мне на темное корневище стланика у берега. В нем, высунув на свет голову, жадно вздувая жабры, сидел крупный ротан. Я выловил в ведерке маленького гольянчика, подал Бэркэну; он проткнул крючком хвостик рыбешки и; живую, тихо опустил к коряге. Ротан отпрянул в темень. Бэркэн плавно повел живца, остановил его у кромки света и тьмы. Наступила длинная минута ожи-

дания: переборет ли свой голод ротан, убережет ли его чутье?.. Нет, он только что проснулся, хочет есть. Он лишь немножко поборется с собой и... рывок вперед, короткая остановка — последняя осторожность, — и ротан, широко распахнув зубатую пасть, всасывает гольяна.

Бэркэн нянчит ротана в руках, отдает мне. Красивый ротан — рыжеватый, пятнистый, с выпученными злыми глазами. Старый, ленивый, потому и попался. Плохая рыба ротан, против него гольян — лучше, летом никто не станет есть ротанов, но сейчас и он — рыба, до первой корюшки. Опускаю гольянского врага в ведро.

Позади трещит стланик, кто-то пробирается к озеру. Не амака ли — таежный бог?.. С удочками, жестяной банкой на дужке появляется Иннокентий Иванов, сторож складской. Утомился. Далековато все-таки для старика, да по буграм, по мари... А рыбки хочется. Не утерпел. Утирается рукавом, сопит. Неторопливо закуривает, потом смотрит в наше ведро. И все это время молчит. Он стал совсем молчаливым после зимнего случая, когда «испанцы» связали его, а Никита долго держал на снегу. Даже немного ненормальным сделался: молчит и опасливо осматривает каждого, будто нападения ожидает. Иной раз суетиться начнет, в карманах что-то ищет, вроде грозит. Неприятно возле такого человека, и мы молчим. Иннокентий еще раз заглядывает в наше ведро, неожиданно улыбается гольянам и ротану, как бы признав их за близких знакомых, поднимается, уходит по берегу дальше, ломая сухие ветки стланика.

— О-хо! — вздохнул Бэркэн, будто нас в самом деле навестил амака, посидел рядом, заскучал, отправился по своим большим таежным делам.

Над тундрой возникла стая уток, зарябила, заморозила в дальнем влажном воздухе, опала к желтой тундре и где-то села — на третьем или четвертом озере. Высоко, еле видимой ниткой, промерцали гуси, о землю разбился холодный хрусталь их голосов.

Подул ветерок, засинела вода, закачалась прошлогонья осока. Гольяны жаднее начали хватать наживу. Вскоре мы набросали полное ведро, сменили воду. Съели остатки хлеба. Пошли домой. Опять по буграм и мари, через вязкие островки снега, подбирая брус-

нику и клюкву, и понимая, и радуясь: ягода, зеленый мох, рыба в ведерке — это весна, наша, настоящая.

На Кутиме два мужика бродили по развороченному льду, опускали сачки в трещины — пробовали ловить корюшку. Но рыбы не было. Она жила еще в море. Бэркэи сказал:

— Этыркэну дадим?

Он вспомнил о дедушке Розове.

— Дадим.

В поселке тоже была весна — своя, поселковая: текли ручьи, наливались снежной водой лужи, от конюшни пахло навозом. А на школе, интернате, клубе, на деревянной арке возле культбазы краснели плакаты и флаги: скоро Первомай.

По вытаявшим доскам тротуара от пристани идут Колька Нечаев и Володька Зеленец. Оба в матросских робах, на груди — синие полоски тельняшек. Идут вразвалочку, очень неторопливо: наверное, помогали катер ремонтировать, свой «Тугур» — красили, драили. Довольные теперь и мало думают об экзаменах. Все равно сдадут, ночью подготовятся и сдадут: они волевые, зимой учились на «отлично». На них невозможно спокойно смотреть, на них вообще лучше не смотреть, если не хочешь разрыдаться: Колька и Володька навсегда уедут летом из поселка. Поступят в мореходное училище. Если не удастся, наймутся матросами на океанское судно, будут ходить в кругосветные плаванья, во все страны и моря.

Я толкаю в плечо Бэркэи, и мы сворачиваем в переулок: не хочу встречаться с ними, говорить, смотреть на них. Лучше потом. Сегодня день такой... Хороший и жалобный. А от них будет пахнуть краской «кузбассом», маслом машинным... С ума можно сойти, если думать, что скоро Кольки и Володьки совсем, навсегда не будут в поселке. Зачем тогда поселок, дома? Зачем мы все?..

Крыльцо музея чистенькое, доски помыты, вышарканы вееником-голышом, на нижней ступеньке тряпка половая: ноги вытирать. Мы глянули на свои сапожки — разве их можно вытереть? Их надо в бочке отмачивать сутки. Воткнули в снег удочки, сняли сапоги, поставили рядышком и пошли босиком.

Дверь открыла Лия Матвеевна, сказала: «Проходи-

те, проходите», не зная еще, зачем мы пожаловали; потом увидела наши ноги, поправила на переносице очки, не веря глазам, спросила:

— Босые?

— Немиожко сапоги грязий.

Она засмеялась, крикнула:

— Илюша, поди сюда!

Притопал дедушка Розов, увидел у меня в руке ведерко, взял, понес к свету. Покачал головой, кашлянул очень довольно.

— Ай, молодцы! Гольяшек подловили. И ротанчик один?

— Тебе половина, — сказал Бэркэн.

— Возьму. Спасибо. Значит, клюет уже?

— Клюет хорошо.

— Ну, иародец! — Розов кивнул и нас, усмехнулся Лие Матвеевне, поддел ладошкой рыбу, помял, показывая. — Меня опередили. А ротанчика отдадите?

— Бери, ладно.

— Мы его для науки используем. Посмотрим, питался он уже гольяшками или вы его прямо с постели подняли... Лия, накорми ребятку, а я сейчас.

Он ушел с ведерком и на кухню.

Все еще смеясь, Лия Матвеевна усадила нас на диван, дала тапочки из оленьего меха, придвинула к дивану стол, и через несколько минут мы хлебали гороховый суп со смальцем, приправленный зеленым луком, который рос в деревянных ящиках на окнах. Хлеб Лия Матвеевна намазала маслом, на закуску поставила селедку с отварной картошкой. Вкусная еда, «интересная», потому что интересно было узнать, чем питается дедушка Розов, какую пищу ему готовит иаша учительница, которая перешла жить в его дом. Даже Бэркэн жевал горох, хотя раньше всегда говорил: «Горох — живот делает ох!» Настоящая была еда, и на диване хорошо было сидеть, и от Лии Матвеевны пахло духами, а сама она была совсем не такая, как в школе: обыкновенная ласковая женщина. Может, ей не надо быть учительницей? Зачем мучиться с нами, нервы свои пожилые портить? Жила бы себе у розового старика, сытно кормила его, жалела, в доме прибирала. И все люди говорили бы ей спасибо.

— Ешьте, дети. — Лия Матвеевна открыла банку

магазинных абрикосов (в магазине они давно кончились, наверное, с осени запаслась). — Питайтесь.

Очень заметно переменялся дом дедушки Розова. Книг стало больше. Книг — как в поселковой библиотеке, вся стена от пола до потолка заставлена, да еще на этажерках, на полу. Их, пожалуй, никогда не пересчитать, и от этого грустно немножко. Прибавился письменный стол — на нем наши тетрадки, — женская дошка на вешалке, тумбочка с зеркалом, пузырьки, коробочки... Но было еще что-то очень важное, потому что оно и переменяло весь дом Розова. Где это важное, куда спрятано, как называется?

— Вот, — сказал, появляясь, розовый старик (он держал на ладони вспоротого ротана). — Прошу комиссию убедиться: желудок у этого зверя пустой.

— Бедненький, — покачала головой Лия Матвеевна.

— Ничуть. Спал, как амака в берлоге.

— Садись, пообедай за него.

Бэркэн отвернулся к двери, засопел, словно боясь чихнуть, негромко выговорил:

— Амака хозяин.

— Виноват. Прости.

Розов сходил к умывальнику, потом сел на диван рядом с Бэркэном. Положил ему на плечо руку, повернул к себе лицом.

— Ну?.. Не будем ссориться, привыкай: медведь есть медведь. — Он грустно пощипал бороду. — А вообще... Много было беды от непонимания обычаев, чужой веры. Не сердись. Я тебе новость приготовил.

Лия Матвеевна подала Розову суп, он принялся есть, и ел так легко, что ни ложка, ни хлеб не мешали ему говорить, смотреть на нас, на Лию Матвеевну. Он говорил о жизни рыб, зверей, птиц — где кто обитает, чем питается, как зимует, будто все они были его соседи, родственники, люди. Медведь, оказывается, больше других зверей похож на человека, с ним не сравнится даже обезьяна: строит себе дом, ест растительную и животную пищу, нежно любит своих детенышей, ходит на задних лапах. Эвенки да и другие люди Севера давно заметили это, удивились, испугались, и стал для них мишка священным животным, предком человека. Стал богом, хозяином тайги.

— Боги бывают — тигры, львы...

Я слушал дедушку Розова и думал: скоро ли он уедет из поселка? Живет он здесь седьмой год, по договору. Любой договор кончается. И вообще... «все течет, все изменяется». Гутчинсон уже не председатель колхоза, работает в стаде пастухом; заведующий культурбазой уехал в район и не вернулся, ждут теперь нового, а наш класс остался без отличницы Людки. Уедут навсегда Нечаев и Зеленец. А если еще и розовый старик?.. Я слушал, но уже не слышал Розова. Я просил его не уезжать, подождать, пока мы немного подрастем. Стал смотреть на Лию Матвеевну — она сидела напротив старика, наклонившись к нему, улыбалась, потом вытерла ему лоб мягким полотенцем, и я понял: нет, она не поможет — они уедут, потому что нашли друг друга... Я догадался вдруг о том «важном», что переменило дом Розова: здесь появилась женщина.

Бэркэн толкнул меня, перевел взгляд на дверь. Надо уходить: «Хороший гость два раза не обедает». Мы поднялись, оставили тапочки под диваном, босиком зашлепали к порогу. Лия Матвеевна подала нам ведро, дедушка Розов вышел на крыльцо.

— Заходите, ребятки, спасибо, — говорил он, пока мы наматывали мокрые портянки, всовывали ноги в сапоги. Потом опустился на нижнюю ступеньку, протянул руку. — Ну...

Бэркэн отступил, спрятав ладонь за спину.

— Ты новость обещал?

— Позабыл, память плохая стала. А новость важная... Помните, про народности Севера я вам рассказывал? Про айнов тоже, которые на Сахалине обитают. Они ни на кого не похожи, не знают, откуда пришли.

— У них бороды длинные, — сказал я.

— Вот, вот. Я расспросил стариков: один айн жил здесь лет семьдесят назад. Американцы завезли. Этот айн Гутчинсоном себя называл — по имени хозяина промысла. Женился потом, семья у него была. Очень уважали айна эвенки, вождем своим избрали. Американцы уехали, а он остался. Здесь и умер.

— А Лумукан? — спросил я.

— Сказка. Придумал наш Гутчинсон.

— Сам придумал?

— Может, и старики немножко помогли... Он — человек веселый. Удивить любит.

— Он наврал! — отчаянно выкрикнул Бэркэн.

— Ну, зачем так, байе? — Розов поймал руку Бэркэна, притянул его к себе. — Вот подрастешь — узнаешь, зачем сказки придумывают. Может, и сам сочинишь... — Он пригладил Бэркэну жесткий ежик, губы дрогнули в легкой усмешке. — И не сердись, как старичок. Ты правду хотел знать? Я тебе сказал. Это же хорошо — знать правду!

Бэркэн кивнул, сильно пожал дедушке ладонь.

— Теперь идите.

Мы прошли лесок, поднялись вверх, на просеке остановились. За рыже-белой марью внезапно, как бы из ничего, выпукло, легко и громоздко вздымалась гора Лумукан. Она дымно зеленела первой хвоей лиственниц, с нее уже стоял снег. А дальше, в пустоте залива, сияли лунным светом льды, и еще дальше в мороси тумана начиналось, бурно жило всегда открытое море.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

---



0

---

## ЖЕЛТЫЙ ХЭМЭКЭН

**В**ы видели, как цветет багульник? Нет, не просто багульник, а целые сопки — большие, маленькие и совсем огромные. Это рассказать невозможно. Снизу и до самых макушек они делаются оранжевыми, фиолетовыми, розовыми. Говорят, только здесь, в наших краях, так цветет багульник.

И запах от него — на всю тайгу, на все поселки и дороги. Запах прямо-таки сильнейший, приятный, немного конфетный издали и одуряющий вблизи. Голова начинает кружиться, будто человек сладкого чего-то объелся или браги ягодной перепил. Это без привычки. Нам, главстановским мальчишкам, ничего от багульника не бывает; если уж очень долго в сопках пробродишь, домой смурным немножко вернешься. Но, случалось, багульник усыплял своим запахом. Цветом заманивал, а запахом...

— Вот батя рассказывал, — говорит Клим Сорин, — давно это было, лет пять назад. Приехал один командировочный из Москвы. Начальник. Пошел в багульники погулять, уснул — и все. Не проснулся. — Клим вытянул руку, слегка махнул в левую сторону: — Вон на той сопке, которая за речкой, с двумя горбами.

Я припомнил: в самом деле что-то говорили о той Верблюжьей сопке. Будто там по почам какие-то звуки раздаются, тени бродят. И бабы никогда не ходили на Верблюжью за грибами. А цвела она ярче других, сразу

на два-три цвета — аж больно глазам. Но, может, это казалось?

— Сходим? — говорит Клим Сорин, опять махнув рукой в сторону двух горбов. — А? Может, трусишь?

Вот так всегда: не успеешь ответить — он уже припрет тебя да еще захохочет. Выворачивайся потом, доказывай. Хорошо, сейчас никого нет, не перед кем ему особенно храбрость свою показывать... Да знаю я этого Клим, хоть и дружу с ним не так давно: сам придумает что-нибудь потихоньку, про себя, испугается и сразу начнет других пугать, чтобы никто не догадался, как ему самому страшно. Конечно, потом Климу приходится первому в любое дело лезть — это правда. Может, так он и заставляет себя быть храбрым?

Мне немного обидно, что я не первый предложил сходить на Верблюжью (а ведь подумал об этом, даже хотел сказать: «Сходим, а?»), но не то сердце уж сильно замерло от страха, не то не успел выговорить), однако, если честно признаться, мне не очень обидно: я привык, что меня почти во всем опережает Клим. И не только меня. Поэтому, наверное, и дружить с ним интересно, — все главстановские мальчишки так думают. Но он сам выбирает себе друзей.

— Давай, — соглашаюсь я, для виду совсем безразлично, будто всего и дела, что сыграть в шашки.

Это не очень нравится Климу, он начинает громко насвистывать «Расцветали яблони и груши», выламывает тальниковый прут и, щелкая им по ботинку, пускается под гору, к речке. И правильно: когда бежишь, легче — не так страшно, забываешь, что ли, обо всем. Наверное, потому и в атаку на войне бегом бегут, а не шагом ходят.

У речки, которая называется Семитка (она седьмая по счету от перевала до нашего поселка), останавливаемся, ложимся животами на округлые валуны, пьем воду. У речки надо пить.

Разуваемся, бредем через быструю и холодную воду — где-то в горах еще не растаял снег, — натягиваем ботинки, отдыхаем на валунах, потом снова пьем: ведь дальше поход в сопки.

— Закурить бы, а? — спрашивает Клим.

Но курить у нас печего, да и не умеем мы еще курить, особенно я — задыхаюсь от дыма. Но сейчас бы,

пожалуй, закурил — для отчаянности. Еще немного медлим, размышляем. Клим хлещет прутом по воде, и наконец я встаю. Думаю, что надо идти к ольховой роще — за ней начинается склон двугорбой сопки, — однако не тороплюсь (встать первому — и то уже хорошо), потом вижу впереди себя спину Клим в коричневой вельветовой рубашке, шагаю следом.

За ольховником — сразу багульник. Плотный, ярко-фиолетовый, будто с неба пролились тысячи чернильниц. Он сначала полого тянется вверх — волнами, перепадами, — а дальше стеной вздымается к небесам, и кажется, белые облака лежат, отдыхая, на цветах багульника.

Идти тяжело, по грудь увязаем в сплошном багульнике, иногда скрываемся «с головкой», тропы почти не видно — появится узким прогалом, и опять нету: с тех пор, как на сопке умер командировочный, сюда мало кто ходил. А мы идем, продираемся. Царапаем лица, руки. Мутно становится в голове от запаха. Идем... Зачем? Не знаем. Но надо, это точно. Надо потому, что мы не хотим показаться друг другу трусами, потому, что весна, хороший день, потому, что мы все-таки сдали экзамены — перешли в 8-й класс, потому, что впереди огромное, еще не початое лето, и надо как-то по-хорошему, по-необыкновенному начать его. Надо — и все.

Кое-где росли одинокие березки — им удалось пробиться сквозь толщу багульника, и теперь они не погибнут. Вообще когда-то и эта сопка была покрыта тайгой, но прошелся по ее горбам пожар, оголил их, после заполонил здесь все набезчик-багульник.

Ближе к вершине — больше камней, голых осыпей (снизу ничего этого не видно). В одном месте Клим сдвинул камень, и под нами зашуршала, потекла щебенка. Сорвались еще два-три камня, со страшной силой запрыгали вниз. Врезались в чащу багульника, взбили над ним цветочную пыль. Мы спрятались, выждали за уступом скалы, пока успокоится щебеночная река, осторожно начали пробираться дальше. Молчали. Потому что первому заговорить — что бы ни сказал — рискованно: вдруг голос не послушается, жалобно прозвучит.

Исцарапали до крови руки, у меня порвалась шта-

нина на колене, Клим ободрал свои почти новые черные ботинки — они у него посерели. Попадет ему дома. И мне тетка за штаны всыплет («Шей, штопай. Вот навязался на мою голову!»), пообещает отцу, матери написать. Все равно лезли, карабкались.

И поняли зачем, когда очутились на вершине левого горба Верблюжьей сопки. Было это здорово: мы поднялись в самое небо. Белое кучевое облако лежало на наших головах — можно потрогать его пальцем, — а внизу весь мир перед нами: дальние и ближние сопки — багульниковые, березовые, лиственничные и еловые (черные); блестящие речки в распадках, озера; желтая дорога, как брошенная на увалы спутанная нитка, — от поселка к поселку; и сами поселки видны далеко рублеными кубиками-домами, а окна тоже блестящие; дымки кучерявые из труб паровозиков-кукушек в разрезе, где добывают руду. И, конечно, — солнце. Большое, красное, низкое. Почти вечернее и потому усталое. Но главное — оно совсем близко от нас, подождем немного и, как у Маяковского в стихах, похлопаем его по горячему плечу.

Клим Сорин садится на камень, сдергивает кепку, обмахивает ею лицо. У него припух правый глаз, заметная царапина на лбу. Но он не жалуется, да и не будет жаловаться, просто сделался очень серьезным, чтобы я его еще больше любил. Как-никак — все он, Клим, придумывает. И сам впереди идет. Никогда бы мне не побывать на Верблюжьей, если бы не он. Я это понимаю. И Клим понимает. Однако не будем об этом говорить — не девчонки же.

— Здесь помер командировочный, — сказал Клим, слегка ткнув каблуком в щебенку. — Вот бы закурить, а?

Я не спорю, но думаю: как же тогда он задохнулся от запаха багульника? Вершина голая, круглая, каменная, ветром продувается. Багульник где-то вполгоры остался. Это снизу кажется, будто вся Верблюжья фиолетовая от цветов. Но я не спорю — зачем злить Клима. Здесь так здесь. Давно ведь было, целых пять лет назад. А курить не хочу. Я, в общем-то, люблю чистым воздухом дышать.

— Да-а, — отвечаю так, чтобы просто ответить, чтобы не обиделся друг.

Смотрю на наш поселок Главстан. Как на топографической карте, нарисованной яркими красками, весь он виден отсюда. Дома в одну улицу, сбоку школа, квадратики огородов: черные — уже вскопанные, бурые — еще нет. Трактор, как букашка, ползет по дороге, что-то резко блеснуло — не то ведро у колодца, не то открытое окно в доме. И вокруг поселка, вдоль разрезов, где когда-то добывали золото, — отвалы перемытой руды или просто серой гальки. Отвалы намыты ровню — сверху это очень хорошо видно, — прямоугольниками, конусами, — серые, как вырубленные из свинца. Отвалов много, здесь в прошлые времена было богатое золото, и потому поселок называли Главстан — Главный Стан. Отсюда и сейчас еще во все стороны тайги старатели расходятся — искать золотые жилы.

— Что, сочиняешь? — спросил Клим, кивнув вниз, на речку, на поселок: это он намекает на то, что я пишу стихи, может быть, сейчас у меня в голове вертятся строчки, — потому что действительно вид с двугорбой сопки самый замечательный. — Стихи — это пустяковое дело, — говорит Клим, слегка с хрипотцой в голосе (для солидности). — Настоящая работа — золото добывать.

Если бы так сказал не Клим, а кто-нибудь другой, я бы смог ответить, например: «Что ты понимаешь в стихах? Вот у меня был случай: написал на одного, в четвертом классе когда учился, — еще как помогло, хоть и поколотил он меня шибко. Никакое твое золото так не сработает...» Но Климу я ничего не говорю, не могу. Потому что в прошлом году он пол-года проработал с отцом на бутаре, катал тачку, и заработал двадцать граммов золота — больше двадцати золотых рублей-бон. Купил велосипед, московский, самый новенький в поселке, с маркой «МА». На оставшиеся деньги ездил в район, — а это у нас почти город, — ходил на приезжих циркачей, ел мороженое и выпил целый стакан красного бочкового вина — грузин на рынке продавал.

Вот я и молчу. А что скажешь такому человеку? Даже имя у него необыкновенное — как у маршала Ворошилова. И он уже кое-что повидал. Конечно, и у меня было немножко такого... Ну, например, от поселка Тугур на побережье Охотского моря (там и сейчас еще живут мои родители, а мне уехать пришлось: в школе нет седьмого класса) я добирался сюда, на прииски, к тет-

ке, верхом на олене. Двести километров. По тайге. Со стариком эвенком. Ночевали у речек, пили чай, варили мясо. Видели медведя — в ручье сидел, рыбачил. Лося видели, лису. Сколько раз я вываливался из седла — раз даже чуть шею не свернул, — пока научился держаться. А это совсем не просто — шкура у оленя не то что у коня, она так ходит на спине, что кажется, будто совсем не приросла к мясу, а лишь слегка накинута на спину. Старик эвенк давал мне покурить из своей трубки, хохотал, когда я падал, но под конец похвалил, сказал, что я как настоящий элгемни — олений проводник.

Не у каждого было такое путешествие. (А какой настоящий друг в Тугуре у меня есть — Бэркэн!) Однако не станешь все рассказывать: будет похоже на хвастовство. Да и не поверят вообще, особенно про элгемни. Другое дело, золото добывать, тут любому видно. А имеешь велосипед — можешь совсем помалкивать. Кататься и помалкивай.

Вздыхаю, молчу. Обещаю себе: в скором времени сделаю что-нибудь выдающееся — или самородок найду большущий, или золотую жилу открою, и меня все узнают. Клим станет меньше задаваться.

Неподалеку цвиркает на камне, суетится синичка-трясогузка, трясет длинным хвостиком. Наверное, у нее здесь гнездо. Зачем забралась на такую высоту? Ветер, камни... Вон и коршун летает над соседним горбом. Будто стережет Верблюжью. Может, недоволен, что мы здесь, проникли в его владения. Надо бежать вниз, — уже и солнце коснулось краешком дальнего, совсем почерневшего, зубчатого леса. Тени длинные от сопок в распадки — там уже совсем темно. И ветер остренький засквозил, как иголками прошивает.

Но вставать не хочется. Опять та же дорога — осыпи, камни, багульник... Какое-то оцепенение, оледенение напало на нас. Сидим, стынем, молчим. Будто вот-вот подлетит к нам коршун, в минуту сделается огромным, величиной с самолет, поднимет нас лапами и плавно, как на парашюте, опустит к речке.

— Пойдем, — говорю я.

— Ага, — отвечает Клим, однако не поднимается, сонно смотрит на закат. А солнца уже нет, лишь красное сияние от него над угольными зубцами леса.

— Пойдем?

Он сидит еще несколько минут. Мне эти минуты кажутся очень долгими, будто я постарел от них лет на пять. Потому что вдруг почувствовал (морозцем по коже) — будет нехорошее впереди. Надо идти сейчас же. Потом, может, и встать не захочется. Здесь такое место... А вот, что это?.. Снизу то теплыми, то холодными толчками начал наплывать плотный, вязкий, сладкий, как помада, багульниковый запах. Я встал, тряхнул за плечо Клима.

Он вскочил, будто испугавшись со сна, повертел головой, сказал:

— Здесь пойдем, ладно? — и показал рукой в сторону от той дороги, по которой мы поднимались. Я посмотрел туда. Показалось, что и в самом деле склон здесь почти гладкий и более пологий. Значит, Клим не дремал — думал, выбирал обратный путь.

Сразу и вместе пошли вниз, затем побежали. Но вскоре разбудили осыпь, она засвистела, зашипела позмеиному, сорвались камни — пронеслись мимо нас в сумерки. Отдохнули, пока замирала осыпь, пошли дальше, теперь осторожно. Поняли — спускаться труднее: дрожали ноги, ломило в коленях, и рукам делать нечего, просто болтаются. Шли рядом — так веселее, — и сразу остановились, ощутив впереди черноту. Беззвучно упали в нее камни.

Двинулись влево, в обход. Валуны становились крупнее — мы прыгали с одного на другой, потом они стали громоздкими — мы обходили их, потом валуны сделались скалами — мы протискивались в расщелины. Ото всюду сыпалась, шипела щебенка. Кажется, нашли спуск, присев, съехали метров на пятьдесят вниз. И опять валуны. И совсем рядом правый горб Верблюжьей. Куда мы идем? Не повернуть ли назад? Но кто нам покажет дорогу?

— Где багульник?

Это сказал я, а может, Клим. Или мы вместе сказали — ведь идем мы, как и вышли, рядом, плечо к плечу. Так мы с ним еще не ходили.

— Даже не пахнет...

Главное — двигаться, не стоять, ведь уже темнеет. Глубоко внизу, в черноте, как на дне моря, мерцают

огни Главстана. Неужели так до него далеко? И почему-то в стороне оказался поселок... Двигаться, идти.

Вошли в сплошные камни. Темная тишина. Скажешь слово — ухнет в провалах и пещерах. Шагнешь — грохот. Сырость, плесень... Откуда-то вода. На горе. Насостоявшая вода. Тиной поросла, — болото. Клим бросил в него камень — бултых! — и круги ленивые, а в скалах: «Бултых!.. бул!.. бух!..» Жутко. Кажется, кто-то все следит за нами из-за камней, из черных провалов. Вот сейчас швырнет булыжником... Или высунет волосатую лапу, к себе затащит... Обошли болото — снова камни, осыпь. Заторопились, побежали. Лишь бы вниз. И уже не остановиться.

А двугорбая будто ждала этого — ожила каждым своим камнем, щебенкой, каждой своей колючей песчинкой. Все сдвинулось, покатилося, заскользило, зашипело. Проснулись в провалах звуки: «Ох! Ах! Б-бах! О-го-го!..» Захохотали совы, запищали мыши, налетел и заслонил черными крыльями небо коршун. Рухнули скалы и, рассыпаясь, устремились вниз. «О-го-го! Ха-ха!..» Двугорбая была уже не сопка — провал, чернота, гнилое подземелье. Отсюда никому не выбраться...

Мы врезались сначала в запах, потом в кусты багульника. Пробрались дальше, вглубь. Зарылись с головой. И тут, обессилев, сели на землю. Хватали ртами помадный воздух, — он казался нам наичистейшим, — а позади все еще грохотала сопка, ворчала, шипела. Дальние горы отзывались эхом: одни весело, будто хохоча, другие мрачно, будто ругая Верблюжью, что так просто отпустила нас. Камни и щебенка, катясь сверху, разбивались и затихали в багульнике, у его кромки. Нам они были не страшны, и лишь плотнела, сгущалась в воздухе взбитая облаком багульниковая пыльца.

Когда поутихла, как бы совсем потерялась в темноте сопка, встали потихоньку, чтобы не спугнуть ее снова, пошли вниз по склону, отклоняясь вправо и вправо, на огни поселка.

Каким легким мне показался багульник — пусть царапает, бьет по лицу, спутывает ноги. Пусть дурманит, пьянит — это же такой запах! — пить его хочется. И кто наболтал, что от него умереть можно? Будто бы багульник совсем бесполезное растение — одна красота, да и то издала.

Спустились к речке. Удивились: почти к тому же месту, откуда начали свой поход. Упали животами на валуны, долго пили воду. Фыркали, захлебывались. Потом умылись. Потом еще немного попили. Сели передохнуть.

Дыра у меня на штанине расползлась, просвечивало голое колено — исцарапанное. Низ другой штанины тоже был порван. Как выглядел Клим, я не видел, темно. Но подумал о его новых ботинках, и сердце заныло: ведь новые, черные, слегка лакированные! Отец выпорот его, это точно, хоть и в восьмой класс перешел Клим и в прошлом году работал на бутаре. Отец у него сердитый. А тетка моя расстонется, изругает: «Шей, штопай. Вот навязался на мою голову!» Дядьку Василия, ее мужа, я совсем не боюсь: хороший человек — всегда выпивший и добрый. Как-нибудь вывернусь. И все-таки нехорошо как-то. Стыдно все получилось. Зачем мы полезли на эту двугорбую?..

Клим Сорин засмеялся. Но слишком тоненько у него получилось, непохоже на себя. Наверное, почувствовал это (так бывает: пока не услышишь свой голос — не знаешь, какой он), замолчал и хрипло, как обычно, кашлянул. Потом встал, подтянул брюки, выпятил слегка грудь — это его всегдашняя привычка.

— Ну как, струхнул?

— Ничуть, — ответил я, и голос у меня, оказалось, тоже не совсем свой.

— Ха-ха! — теперь грубее засмеялся Клим. — Вот смех, правда?

— Ага, — и у меня лучше получилось.

— Я за тебя боялся. Сам — ничего. Для смеху...

— И я...

Перебрали речку, пошли по дороге на увал, к огням своего Главстана. Теперь он был рядом — большой, с множеством людей, с теплыми домами, с моей теткой, которая поругает, но и даст поесть, с мальчишками и девочками. Хоть он и в тайге, наш Главстан, — жить в нем можно. Еще как! Особенно, если из тайги темной и жуткой возвращаешься.

Вышли на улицу. Тут нам расходиться: Климу налево, мне — прямо. Но надо что-то сказать. Так нельзя. Так стыдно как-то — будто ничего с нами сегодня не

случилось. Ведь завтра встретимся и потом встречаться будем. Нам еще и дружить надо.

Я не знал, что сказать, молчал, чуть отвернувшись. Я вообще редко удачно говорю. Ждал. И, кашлянув в кулак, Клим сказал:

— Знаешь, давай про это — никому...

— Ладно.

— А ты смелый, молодец... — Он слегка толкнул меня ладонью в плечо. — Возьму на бутару. Считаю, что записал.

## 2

У моего дядьки хорошая фамилия — Васейкин. Василий да еще Васейкин. И от весны что-то в его фамилии есть, и от слова сеять, и от веселки — деревянной лопаты. И все негромко, уменьшено, ласково. А он, Васейкин, — просто пекарь. Главстану хлеб выпекает.

Как-то раз, в одно отличное, погожее утро (в такое утро только и думаешь: как бы скорей схватить кусок и сорваться на улицу), он сказал, присев на мою узенькую железную кровать и прижав меня к стене:

— Посоветоваться хочу. Понимаешь, у меня подсобник в сопки убежал — где-то там жилу нашли. Поработай, а? Пока вернется.

— А когда он?..

— Скоро, должно. Он уже бегал. Комары накусают — прибежит.

Любому отказал бы — мы сами, под командой Клим Сорины, собирались в бригаду для похода на Пашкину жилу, — но Васейкину не могу. Во-первых, я живу у него, и он относится ко мне ничуть не хуже, чем к своим ребятишкам (правда, они у него еще малолетние), во-вторых, сам он мне как человек нравится. Я, может быть, мечтаю немножко быть таким, как Васейкин, когда вырасту. Таким спокойным, всегда усмехающимся, работающим, очень большим и ласковым: с ним, если у него есть время, можно и в шашки сыграть, и сказки друг другу порассказывать, и гольянов на озере поудить.

Не могу я отказать Васейкину. Тем более — он и не приказывает. Молча поднимаюсь, делаю небольшую за-

рядку — так, прыгаю, машу руками, — и мы вместе завтракаем: по пол-литра молока, по куску белого, самого белого хлеба (его Васейкин выпекает для себя лично). Потом идем по утреннему поселку. Немножко зябко, немножко робко, немножко сонно от росы, ветра с сопок. Двигутся рабочие в шахту-разрез, где погромыхивает «Бочка» — большущая машина, перебивающая породу; расходятся по конторам служащие. А мы идем печь хлеб — белый и черный, и еще сдобные булки для всех людей Главстана.

В пекарне Васейкин долго моет руки под ведерным медным умывальником, потом умываюсь я, и он, надев чистенький, хрустящий халат, подает мне такой же. Я думаю: вот, за ним никто не следит, а он сам моет руки — ведь только что дома умывался. Халат мне велик, до самых пяток, но пахнет от него свежо — мылом и чистой водой, и мне хорошо в нем. Васейкин вручает мне щетку на длинной ручке, ставит на длинный скобленный стол жестяную кастрюлю, не то с маслом, не то с растопленным жиром, говорит:

— Мажь формы. — Пододвигает стопку черных жестяных коробок, в которых выпекают буханки. Показывает: — Вот так, смотри сюда. — Берет форму, быстро проводит внутри смоченной в жире щеткой, откидывает форму на другой край стола. — Понятно, дружба?

Я хочу ответить ему: «Да, понятно, дружба», но пока молчу — надо попробовать, а вдруг и не очень-то получится. И хорошее, васейкинское слово «дружба» пропадет за так просто. Начинаю работать. Сначала поддеваю слишком много жира, потом слишком мало — одна форма блестит, как мокрая, другая совсем сухая. Васейкин смотрит, терпит. Когда видит, что я наловчился — формы внутри ровного тусклого блеска, — отходит к высоким корытам с тестом.

Тесто в корытах поднялось, вспухло, нависло над краями, как снег на крышах после метели, от него пахнет кисло, сыро и почему-то вкусно. Слева белое тесто, справа — сероватое, из него выйдет, наверное, черный хлеб. Васейкин присыпает вспухшие корыта мукой, пробует тесто ладонью, поглаживает и вдруг начинает изо всей силы тузить его кулаками. Ударит, провалит руку по самый локоть, вытащит и снова бьет. У него трясется белый поварской колпак на голове, халат на плечах

того и гляди треснет, лицо багровеет. Тесто пытит, бухает, лезет вверх. Сопrotивляется. А Васейкин наседает. И понемногу тесто, будто выпустив из себя весь кислый дух, опускается до кромок корыта, смирясь, затихает. Зато пекарню прямо-таки распирает от кислоты, я думаю, что и на улице, во всем поселке люди знают: Васейкин месит тесто.

Печь у него уже топится. Огромная, из темного кирпича, как рыцарский замок, со сводом, похожим на арочные ворота, и заслонка — как кованый затвор. Трещит, ухаёт сухими березовыми поленьями, уложенными по четырем углам кострами. Похоже на пальбу, гром сражающихся дружин, даже слышно, как шипит горячая смола, стекая по стенам замка.

В окно вижу угол крепкого рубленого сарая — в нем хранится мука, — склон багульниковой, чисто розовой сопки, тальник с новенькой листвой на речке. И солнце — везде солнце. Аж сердце ноет, когда подумаешь, что дружки где-нибудь в разрезе возле Бочки (сидят на отвале, швыряют гальку, смотрят, как подкатываются вагонетки с золотой рудой) или на марь пошли за прошлогодней клюквой... А вот старик Афанасий воду с Семитки привез, подогнал лошадь вплотную к пекарне, откинул мокрый мешок, прикрывавший торчком стоящую деревянную бочку, запустил в нее черпак на длинной ручке. По желобу вода потекла сквозь стену в пекарню, ударилась в пустую бочку неподалеку от моего стола, заплескалась, зашумела, от нее остро запахло тальником и Семиткой, и я раздул ноздри, как конь, уловивший запах свежего сена. Все внутри у меня тоненько и жалостливо запело.

«А еще пришел помогать, — сказал я себе. — Слабый человек. Нехорошо так».

Васейкин — очень чуткий, просто неловко бывает иногда оттого, что он все без слов угадывает. Ему бы в разведке служить, шпионов допрашивать. Сел отдохнуть, закурил, потом говорит:

— Надоело, а, дружба?

Я улыбаюсь ему: мол, нет, ничего, терпеть можно. Он не верит, его не обманешь.

— А я тебя по наряду проведу. Заработает. Пока этот дурак Федька бегаёт. Копи на велосипед. Не хватит сколько — подмогу.

— На золоте больше можно...

— Золото, золото... — мотает головой очень грустно Васейкин. — Помешались на золоте. А где оно? Когда-то, может, и было. Когда нас не было.

— Есть еще. Надо уметь найти.

— Я не против. Ищите. Вот Федька прибежит, ваяя и ты.

— Пашкина жила — сила, рассказывают.

— Ну, посмотрим.

Я подумал, что подсобник Федька как раз на Пашкиной жиле сейчас. Сколько он уже бегал в тайгу на новые месторождения. Услышит — бежит. Хромой, одноглазый, простуженный до костей и все не может успокоиться. Старательская кровь никак не утихнет в этом человеке. Когда-то он и сам открывал жилы, одна так и называлась — «Федькина жила». Удачлив, говорят, был Федька. Самые широкие бархатные штаны по праздникам надевал, кутил страшно, раз десять женился. Но было это давно — тогда Федька был молодым и сильным. Потом он замерзал в тайге (случайно спасли), в другой раз чуть не помер с голоду (съел свои кожаные сапоги), а года четыре назад его помял медведь — навсегда лишил одного глаза и сделал хромым. Федька устроился к Васейкину подсобником. Работал старательно, молчаливо. Вел себя очень послушно. Но как услышит о новой жиле, соберется потихоньку — и айда. Один, ночью, по тайге.

— Ну, Федька понятно, — рассуждает Васейкин. — Мужик испорченный. Больной, можно сказать. А вы, пацанье? Грамотные все ж, по семь классов имеете. Туда же лезете. Удачу вам подавай. А какую удачу нашел Федька? Да тогда хоть золото было.

— Интересно ведь.

— Это правда. Я вот тоже, когда приехал, чуть в тайгу не ушел. И был одно время. И золотишко в руках подержал. И жадность видел. И понял — не надо это мне. Золота больше — жадность больше. Вот на Бочку пошел бы работать, если б специальность была, скажем, механика. Просто так, чтобы не видеть в глаза этот красивый металл.

Я не очень понимаю Васейкина, почему надо бояться золота. На вид оно совсем и на золото непохоже. Когда я первый раз увидел, не поверил (Клим Сорин

показал в бумажке, свернутой аптекарским порошком). Желтенький, тусклый песочек — и все. Но сдай его в приемную кассу — боны получишь. А на боны в золотоскупке бери что твоей душе угодно. Мотоцикл и то пожалуйста. И продукты там всякие, и мануфактура, и очередей почти никаких. На обычные рубли даже велосипеда не купишь. Нет их в продаже на деньги.

Васейкин, насвистывая «Трех танкистов», — а насвистывает он отлично, очень точно, аж холодок где-то под сердцем возникает, — длинной кочергой, похожей на багор, разбивает березовые угли в печи, и оттуда полыхает жар, как из пустыни Сахары. Я отодвигаюсь подальше — боюсь сгореть. Васейкин с красным, налитым угольным жаром лицом бодро шурует и насвистывает. Хорошо на него смотреть — сильный человек. Но почему так золота боится? Я бы еще больше любил его, если бы он на бутаре работал, носил брезентовую куртку и сапоги резиновые до пояса или жилу богатую открыл. Назвали бы ее «Васильевская»: жилы почему-то всегда по именам старателей называют. И не надо бы мне подмазываться к Климу Сорину, чтобы взял в бригаду, — пошел бы в тайгу с Васейкиным.

Так я думаю, а формы смазываю. Уже двести штук переложил на другой конец стола. Столько же несмазанных. Двести для черного хлеба, двести — для белого. Сдобные булки пекутся просто на жестяных листах. Но это в следующий заход, к вечеру ими займемся.

— Ну, дружба, сажать начнем!

Васейкин берет десяток форм, ставит их в ряд на своем столе. Потом деревянной лопаткой, сунув ее в корыто, ловко отрывает ком теста, кладет его себе на ладонь и, отложив лопатку, быстро перебрасывает ком с руки на руку, как бы нянчит, слегка посыпая мукой. Бух! — и ком теста уже в форме, гладкий, округлый, похожий на буханку (только она еще сырая). Васейкин пришлепывает верхушку ладонью — так шлепают маленьких ребятишек — юзом, ссовывает форму на край стола. Опять движение лопаткой, и на ладони, как отвешенный, следующий ком теста.

— Так мы его! Лупи больше — мягче будет!

И мне делается веселей, работаю — рубашка к спине прилипает. В окно не смотрю — некогда пока. Наконец смазываю последнюю жестянку, оглядываюсь — а у Ва-

сейкина полон стол форм с тестом. Ничего себе потрудился! Он кивает мне: «Добро, дружба!» — и, на минуту выпрямившись, отирает полотенцем лоб.

— Еще смазка, другая. — Сует гусиное перо, пододвигает ко мне кастрюлю с какой-то жидкой мучной болтушкой. — Глазурь хлебы. Чтобы красивые были. — Показывает: обмакнув гусиное перо, нежно проводит им по горбушке буханки.

Принимаюсь за «другую» смазку. И опять поначалу неловко получается. Вот и пустяк, а наловчиться надо. Васейкин поглядывает, терпеливо выжидает.

— Не бултыхай перо, — советует. — Вишь, тесто заливаешь. Эта работа нежная, для девушек. — Смеется: — А то вот в платке наряжу!

Двести форм с черным тестом стоят в два этажа на длинном столе. Васейкин выскребывает корыто, особенно долго сбивает последний ком, делает его круглым, тугим. Достает из шкафа мешочек с изюмом, напичкивает им тесто, протыкая пальцем ком, снова закатывает.

— Это тебе — колобок!

Он спрыгивает в яму перед заслонкой печи, кладет на пол широкую деревянную лопату, и я ставлю на нее сразу четыре формы. Сдвинув заслонку, слегка отпрянув от жары, он сует в печь лопату, и где-то там, в сумрачной утробе, рывком выдергивает ее из-под форм. Еще четыре формы, еще и еще... Я смотрю в печь — она вся ровно, розовато светится. Дальние буханки нежно, коричневатого глянцевого. Вместе с жаром на нас пышут запахи спекающегося теста, подгоревшего масла (это я заляпал бока формам), и Васейкин спешит:

— Давай, давай! Дух выходит!

Я думаю, что «духу» в печке столько, что хватит нашего главстановского быка зажарить или пуд золота выплавить, но все-таки тороплюсь: Васейкину лучше знать, как надо. Кладу на лопату последние четыре формы и отбегаю к окну — у меня мокрая рубашка, глаза слепнут от пота, и даже по ногам под брюками стекают ручейки пота. Последним Васейкин сует в печь колобок, с краю, возле потухающего жара, прямо на красный кирпичный под. Наглухо закрывает ворота пылающего замка, неторопливо выбирается из ямы.

Он не так чтобы очень вспотел — средне, не больше, чем после разделки теста. Утерся полотенцем, сел, мед-

лительно скрутил папиросу, глубоко и с надрывностью затянулся. Подержал в себе дым, выпустил длинными струями через нос. Вот как надо курить! Не то что мы, пацанва. Если кто и украдет у отца махры, одной самокрутки на пятерых хватает — слезы из глаз у каждого. Может, Клим Сорин и умеет немножко, но он же со старателями работал, научился.

Васейкин лезет в шкаф, достает бутылку, заткнутую новенькой длинной пробкой — из таких поплавки отличные получаются, — наливает в граненый стакан чего-то светлого, как вода, кивает мне:

— Хлебни с устатку.

Догадываюсь — спирт. Да и пахнет резковато, как в «чайнушке», где на разлив продают. Отказываюсь. Я спирт совсем не могу. Раз попробовал — чуть не умер. Бражка — другое дело. Особенно если сладкая — можно полстакана с отдышкой вытянуть. А вообще-то я ни курить, ни пить еще не умею. Презираю иногда себя за это (стыдно — ребята смеются), но не умею. Наверное, хилый я человек, мало трудностей преодолел.

— Как хочешь.

Выпив, Васейкин занюхивает коркой черного хлеба, потом ест луковицу с солью. У него мощно двигаются челюсти, скрипят на зубах лук и крупная соль, и мне тоже хочется, очень хочется быть таким (так вот выпить, съесть луковицу с солью), хоть я и знаю, что тетка ругает Васейкина за выпивки; если бы сейчас вошла, прямо от двери все определила, заорала: «Опять носом в рюмку заглядывал? Чтоб ты в ней уже утонул!» Васейкин не боится, — и в этом я хочу быть похожим на него, — так, смолчит, ухмыльнется. Да и тетка кричит не очень строго, мне даже кажется, что кричит она больше для меня, чтобы плохой пример со старшего не брал: все-таки она «ответственная» перед моими родителями. Не раз я видел, как они вместе, запершись на кухне, потихоньку разговаривали и выпивали «по махонькой».

Васейкин дает мне ломоть хлеба, луковицу. Ем, подражая ему, будто тоже выпил, а лук обжигает во рту не хуже спирта — слезы из глаз. Терплю, стараюсь. А Васейкин опять свертывает большую самокрутку, лижет клочок газеты, склеивает. Молчит, о чем-то размышляет, сморщив лоб. Он всегда, думая, морщит лоб,

вскидывает белесые брови, будто удивляется чему-то про себя.

— Как считаешь, — неспешно говорит потом, — война будет?

— Какая?

— Ну, настоящая. Не как на Хасане. Большая.

— Не знаю.

— И я не знаю. Вот думаю, думаю. Что-то порохом сильно пахнет. Немцы всю Европу захватили. На Англию напали...

— У нас же с ними союз, — вспоминаю я слова учителя на последнем уроке географии.

— Это правда. Да что-то душа болит. И япошки у нас под боком.

Я ничуть не беспокоюсь и не понимаю, почему так задумался Васейкин. Война — это же интересно. Пусть совсем большая, не как на Хасане. Танки пойдут, истребители полетят, пушки забухают, конница, обнажив сабли, поскачет. И Ворошилов впереди на белом коне, со своими орденами. Красиво. Жутко, конечно, немного, но все-таки красиво, аж сердце замирает. «И на вражьей земле мы врага разобьем...»

Вдруг я слышу тихий, четкий свист. Он усиливается, веселеет, — это Васейкин «Трех танкистов» насвистывает. Здорово у него получается! Я помогаю ему, сначала исподтишка, дальше смелее, и совсем становится хорошо: песня прямо как по радио звучит. Поглядываю в окно — вот бы кто-нибудь мимо шел, остановился, послушал. У нас хлеб в печке печется — двести буханок, а мы отдыхаем пока и песни боевые насвистываем. И не боимся никакой войны, хоть и не танкисты еще. Главное — быть начеку. В полной готовности. Ведь «как один человек, весь советский народ за свободную родину встанет». Потому что «на земле, в небесах, и на море наш напев и могуч и суров...»

— Разобьем, дружба, правда?

— Еще бы!

— Вот и я говорю — вдрызг! Пусть только полезут.

Колпак у Васейкина съехал набок, щеки зарумянились, глаза сделались прямо-таки большущими. Он похож сейчас на красноармейца, полкового повара. Да и молодой еще сам Васейкин — два года назад ему на действительную срок подошел. Пулеметчиком был бы. Не

взяли по какой-то причине... Но прикажи — хоть сейчас переобмундируется — и в бой, несмотря на то, что пекарем работает. Он бы и золото не хуже других добывал — очень физически сильный, — но почему-то не хочет.

В окне кто-то заслонил свет, потом дзинькнуло стекло. Обернувшись, я увидел широкую физиономию Клима Сорина, а за нею, чуть сбоку, узенькое, бледное личико Генки Максимова, по прозвищу Врио, у которого отец командир полка, но живет отдельно в Хабаровске, а они с матерью здесь, у родственников. Клим и Врио мотали головами, вызывали меня на улицу. Васейкин тоже увидел их, усмехаясь, погрозил в окно кулаком, сказал мне:

— Иди уж, ладно.

Клим и Врио увели меня подальше от двери пекарни, к поленнице дров, там мы присели на березовые чурки. Сначала я подумал, что они достали папиросу (какую-нибудь ценную — «Казбек» или «Северная Пальмира») и хотят дать мне курнуть, но ничего такого у них не оказалось, просто Клим, нахмурившись, спросил:

— Ты что, совсем решил здесь работать?

— А плохо, что ли? Возле хлеба с голоду еще никто не помер, — ответил я словами Васейкина, решив немного поломаться перед дружками: все-таки не каждому приходилось даже видеть, как хлеб выпекают.

— Бабская работа, — сказал Клим, длинно сплюнув, а Врио тоненько, сморщив личико, хихикнул:

— Юбку себе пошей.

— Пошей... — передразнил я и подумал: «Откуда берутся у командиров полка такие хилые дети? Щелчком можно пришибить».

— Ну, ты, — толкнул меня в бок Клим. — Можешь кухарить, не жалко. Другого найдем. Вычеркиваю. — Он и в самом деле достал из одного кармана тетрадный листок, из другого карандаш, нацелился на мою фамилию. И хоть карандаш был незаточен, я испугался, схватил Клима за рукав.

— Постой. Шуток не понимаешь?

— Другой разговор. — Клим спокойно сложил листок, спрятал карандаш. — Федька на Пашкину жилу убежал, знаю.

— Ну вот — помочь надо Васейкину.

Клим поднялся, метко сплюнул в торец березовой чурки, заложил руки в карманы — брюки у него с клиньями, матросский клеш, в вороте расстегнутой рубашки — синие полоски. Я знаю, что у Клима нет тельняшки, просто вшит в ворот кусочек полосатой материи, но все равно завидую: это так красиво, почти по-настоящему, будто Клим сто лет прослужил на военном корабле.

И Врио смотрит на него. Слабый человек Врио, даже против меня никуда не годится. И потому смотрит совсем как малолетка, рот открыл, сунул руки в свои брючонки, сплунуть попробовал. Потом сказал, чтобы угодить Климу:

— Может, пусть кухарит?

— Цыц! — приказал Клим. — Без хлеба как жить, если Васейкин не справится? Тебя бы в самый раз туда.

— Да я нет. Я так просто...

— Федька прибежит — сразу бросай, понял?

— Ага. Он скоро.

— Ну, давай. — Клим пожал мне руку, толкнул Врио, и они вразвалочку пошли к главной улице Главстана.

Я вернулся в пекарню, где уже сильно пахло горячим печеным хлебом, а Васейкин, привалившись спиной к корыту с белым тестом — тесто опять вспухло, вываливалось через края, — сладко дремал, посасывая волосатым тяжелым носом. Очнулся, глянул на меня, слезио помигивая.

— Дружки сманивают?

— Да. Клим Сорин, Врио...

— Что это — Врио?

— Генку Максимова так дразним.

— Врет, что ли?

Никому из взрослых я не стал бы рассказывать, почему мы прозвали так Генку. Одни скажут — глупости, другие хохотать начнут, будто они самые умные на свете, — стой перед ними и терпи. А Васейкину можно, он все спокойненько обдумает и поймет. И вопросов лишних задавать не будет.

— Понимаешь, есть такой город — Рио-де-Жанейро. В Бразилии. Ну, Генка где-то вычитал, что в переводе это обозначает — город на какой-то там реке. А реки в самом деле никогда никакой не было, просто морепла-

ватели залив за реку приняли. Вот и получилось — город на реке, а реки нет. Рассказал нам про это Генка, а Клим захохотал, говорит: «Сам ты врью». Ну, нам это понравилось...

— Вон оно что, — сказал Васейкин, потерев ладонью лоб, как бы лучше усваивая мои объяснения. — Интересно.

Он вынул большие, протертые до меди карманные часы на длинной, витой серебряной цепочке, поднес циферблат к самым глазам, — часы у него отличные, марки «Павел Буре», достались от отца, который тоже пекарил когда-то, только в казачьем войске, в амурской станице, — посмотрел внимательно, побросал слегка часы на ладони (так и хочется подержать их в руке, взвесить на тяжесть), медленно отправил назад — в кармашек брюк.

— Покурю — и будем действовать. Как?

— Давай.

Он покурил, я помолчал, думая о Федьке: «Сколько дней он будет бегать по тайге, принесет или нет золотого песку, а если принесет, захочет ли работать подсобником?» Потом Васейкин прыгнул в яму перед воротами печи-замка, распахнул темный провал, и вместе с жаром на нас полыхнуло духовитым, прожаристым запахом хлеба. Васейкин слегка отпрянул, я отошел подальше от печи. Я все еще побаивался этой раскаленной кирпичной громады, воспринимая ее почти как живое существо: разозлится — и навредит мне.

— Стели вон тот брезент. Поживей, дружба!

Сняв с ларя сложенный стопкой, отбеленный многими стирками брезент, я раскинул его на весь пол. Васейкин сунул в пекло лопату, чуть откачнулся назад, и по брезенту покатился колобок. Он был густо коричневый, с черноватым низом — от пода, в рябинках изюма.

— Бери! Твой!

Я схватил, но тут же выронил: колобок обжег мне руки. Будто обрадовавшись, он покатился вбок по брезенту, оставляя коричневую мучную дорожку, и спрятался под корытом. Васейкин захохотал: «Держи его!» — и вытолкнул колобок лопатой. Колобок резво покатился к другой стене и исчез под ларем. И там Васейкин достал его лопатой. Когда при нашем общем хохоте колобок замер на краю брезента, Васейкин крик-

нул мне: «Ну, держись!» — и начал доставать из печи формы.

Работал он в больших брезентовых рукавицах, каждую форму встряхивал, опрокидывал. Буханки, соря поджаристой крошкой, раскатывались по полу, а формы с грохотом отлетали в сторону. Я тоже натянул рукавицы. Поднимал крайние буханки, укладывал на стеллажи вдоль стен и после, обмакнув гусиное перо в чистую воду, смазывал им затвердевшие горбушки — чтобы красиво блестели, были мягкие, вкусные.

Через полчаса два стеллажа были плотно уставлены черными буханками. В пекарне сделалось душно, почти как в самой печке. Васейкин, повесив на шею полотенце, поминутно опахивал им румяное, будто с мороза, лицо, а я ел колобок, выковыривая спекшиеся изюмины. Колобок был очень вкусный, особенно под холодную воду, — никогда мне не приходилось есть такого сладкого хлеба.

Бегал Федька целую неделю, вернулся еще более хромой, почти ослепший от гноса, в изорванном ватнике. Бросил во дворе, под навесом сарая, лоток, вошел в пекарню, попросил у Васейкина «обогреться» — сто граммов спирта, и послушно принялся за работу.

### 3

Старый отвал зарос осинником, жимолостью, шиповником, покрылся тоненьким дерном. И кое-где, островками, прижился багульник, очень неторопкий, но уже прижился: значит, отвалу много лет. Пятьдесят или семьдесят. Можно подумать, что это просто сопка. Можно, если ты человек приезжий и не знаешь, что сопки не бывают ровными, как стол, и бока у них округлые, а не граненые. Намыли этот отвал драгой или Бочкой в то старое время, когда золота здесь было «хоть лопатой гребь». И гребли. Потому и промывали породу кое-как, лишь бы больше через машину пропустить. Вместе с водой и галькой отходило золото — и мелкое, и даже самородки, — вагонетки свозили его в отвалы. Вот и получилось: через многие годы в отвалах, заросших осинником, жимолостью, шиповником, как бы вновь зародилось золото. И выгодно стало добывать его, потому

что прииски по всей тайге выработались, а новые жилы только жить людям спокойно не давали: всякий раз оказывалось—кроме обыкновенного песка, в них еще попадалась обыкновенная галька. Прогорела и Пашкина жила.

— Дурак Пашка, правда? — сказал Врио.

— Почему еще?

— Нашел — мыл бы себе потихонечку.

— Понимаешь ты чего-нибудь! Он для того и шумел, чтобы другие набежали. Нанесли ему продуктов, наелся, отоспался. Теперь дальше пошел. Другие — домой, а он — дальше. Понял?

— Ага, — Врио кивает белобрысенькой головенкой, отводит глаза: ему стыдно, что сам не догадался.

И мне кажется: так просто — Пашка наелся и в самую темень тайги пошел. Там-то он обязательно найдет — там еще никого не было, а если и были — живые не возвращались. Пашка вернется — это самый удачливый из всех других старатель, — и мешочек с золотым песком принесет. Кутить будет, бабам подарки покупать, ребятишкам самые дорогие конфеты прямо в магазинном ящике выставит.

Об этом же думает, наверное, и наш четвертый дружок, записанный Климом в бригаду, — Петька Самосуд. Смешная у него фамилия, поэтому он никаких прозвищ не получил, просто зовут его все Самосуд — и больше ничего не надо. Он парень крепкий, пожалуй, поздоровавее Клим (раз боролись — Клим едва повалил его, и то незаконно: подножку сделал), и молчаливый очень, не то что Врио. Правда, Самосуд заикается — в детстве конь ударил его копытом — и, может быть, стесняется говорить. Но ему очень идет молчать, прямо как суровый мужичок-старатель делается. Зато уж, если выговорит несколько слов — обязательно о чем-нибудь дельном, толковом. Потому что сначала долго обдумывает. Вот и сейчас он молчит, а я уже чувствую: о Пашке, золоте сказать что-то хочет.

— Че-че-пуха, — краснея до ушей, начинает Самосуд. — З-з-оло-та н-нигде нету. О-отец сказал. Н-надо отвалы перемывать.

Врио тоненько захихикал, заранее не соглашаясь: ведь Клим говорил совсем другое, и можно посмеяться над заикастым Самосудом. Я молчу, вдумываюсь в сло-

ва Самосуда. Вечно он что-нибудь «выпляшет» своим костяным языком. А ведь правильно говорит, если подумать, — нет никакого золота в тайге. Все исхожено. О Пашке больше по привычке болтают: приятно надеяться, верить в старательскую удачу — «А вдруг! Вот бы зажили!» Смотрю на Клима — молчит, отвернувшись, шея слегка покраснела: сердится. Но молчит. Знает, что Самосуд прав. А ругаться — драка может возникнуть, и неизвестно еще, кто победит. Удастся ли ножку подставить? Лучше вовсе не иметь такой победы, чем потом побежденного бояться.

— Отец с-сказал, раз-разрешит нам н-ночью работать.

— Нужны эти твои баксы, — буркнул, не повернувшись, Клима.

— Н-надежней.

— Фи! — хихикнул Врио.

— Нет, — сказал я, — надо обдумать. Может, правильно говорит Самосуд. Бутара — это же трудно. Кайлить породу надо. С отвала песок сам сыплется, только подшевеливай.

— А сколь намоешь?

— Он трусит! — Это опять Врио. А у самого силенок как у кутенка недельного, который еще и глаза не открыл.

— Зачем жадничать, — сказал я.

— П-правда, — согласился Самосуд.

Врио смотрел, выпучив глаза, на Клима, тот скрипил губы и длинно, сквозь зубы, сплюнул. Потом поднял крупную гальку, сильно швырнул ее с отвала, и она где-то внизу, в кустах, тальника, цокнула о камни. Так он успокоил себя. Надвинув на глаза кепку, выговорил одно слово:

— Посмотрим.

Мы сидели на краю старого отвала — пришли посмотреть, как в распадке, где течет речка Семитка, бригада старателей строит желоба — баксы, по которым потечет вода к этому самому отвалу. Командует старателями отец Самосуда, он там бригадир; баксы, поднятые на высокие козлы, длинно вытянулись вдоль русла Семитки и уже своей головой повернулись в сторону отвала. Вести их пришлось метров за восемьсот от плотины. Но ничего другого не придумаешь, ведь вода сама

собой не пойдет в гору. Мы смотрим, скучаем, спорим. Делать пока нам нечего. Вот когда баксы подведут к отвалу и начнут перебивать его, может, бригадир, отец Самосуда, разрешит нам работать в ночную смену: все равно ведь баксы простаивать будут.

Но окончательно мы еще не решили, куда нам пристроиться. Можно и на бутару, к отцу Клима. Там золото из забоя, не перебитое. Но и работа тяжелая — кирпичи, тачки. Кто из нас выдержит? Клим да Самосуд. Ну я какое-то время продержусь. А Врио сразу скиснет. Конечно, можно выгнать его из бригады, покрепче человечка подыскать. Только жалко. Врио одинокий, если не считать матери, хоть и командир полка у него отец. Не живет с ними отец, еще раз женился в Хабаровске. Мать счетоводом работает, копейки получает. А Врио велосипед хочет и коньки «Нурмис» на зиму. Хуже других, что ли? Вот и попробуй выгнать его — сам себя любить перестанешь. По-моему, прав Самосуд — нечего задаваться, надо идти и проситься к его отцу. Потому, что Клим еще неизвестно как все устроит, его отец просто обыкновенный старатель в бригаде.

Мы долго молчим, потому что говорить нам нельзя — поругаемся. Какие-то сегодня очень расстроенные все. Может, надоели друг другу. Но расходиться не хочется: в одиночку совсем со скуки помрешь. Так и сидим, и каждый делает вид, что ничего, можно еще сколько угодно молчать. Я выбираю самые маленькие камешки, швыряю под откос. Самосуд привалился к осине, закрыл глаза — дремлет или думает. Врио тоже швыряет камни (старается попасть в бутылку на откосе), а Клим насвистывает песенку «Не спи, вставай, кудрявая...» Хорошая песенка. И хоть Клим насвистывает в сто раз хуже Васейкина, мне до слез хорошо: так действует на меня эта песенка. Потихоньку, незаметно для себя я начинаю помогать Климу — будто и не слышу вовсе себя. Он сразу замолкает. И правильно делает: у меня совершенно нет слуха, и я всегда только мешаю ему. Мне обидно. Почему я могу сочинить стихотворение — никто из них даже двух строчек не зарифмует, — а пустяковый мотивчик насвистать мне так же трудно, как в одиночку сдвинуть этот старый отвал. Я вспоминаю свой последний стишок о Васейкине и пекарне и, пока Клим, позабыв обо мне, нащупывает

новый мотивчик, я читаю про себя сочиненные строчки, проверяю их на слух, чтобы уменьшить свою обиду.

Васейкин веселкой  
Работает весело,  
Васейкин веселый, —  
Из липкого месива  
Он булки красивые  
Выпечет, хлебы...  
Работу осилить  
Такую и мне бы.

Неплохо, кажется, получилось. Конечно, слова «Работу осилить такую и мне бы» я придумал для стихотворения — чтобы мысль была. Мне больше нравится мыть золото. Интересней. Это почти как охота — не знаешь, что добудешь. Но в стихотворении можно, оно ведь должно само по себе быть красивым. Прочитать бы его сейчас ребятам... У меня не хватит смелости. Да они и презируют стишки: не для мужчины такое занятие. Посмеются. Может, только один Врио разбирается в поэзии (он «Мцыри» Лермонтова панзусть знает и сочинения всегда хорошо пишет), но он человек без личного мнения из-за своей хилости. Подождет, что скажет Клим, потом поддакнет. Его можно прозвать еще «Поддакалка». Злиться же мне на Врио не хочется — у всех людей есть свои слабости, а он еще и без отца. Если самого себя хорошенько спросить, то и вовсе не на кого мне сердиться: я тоже думаю, что стихи ненастоящая, даже стыдноватая работа для мужчины.

— Ребя! — вскочил и вытянул шею к кустам Врио. — Девчата идут. Во-он там.

Все посмотрели туда, за кусты. Очнулся, моргая, Самосуд. По склону багульниковой сопки, на той стороне Семитки, шли главстановские девчонки. Их было пять. В белых платьях, белых косынках, среди полыхающего — розового и фиолетового — багульника они были похожи на стайку бабочек-капустниц, мигающих крыльями на ветру. Девчонки бежали к речке от огородов, наверное, сажали картошку. На таком расстоянии почти нельзя было узнать их по именам.

— Катька и Зинка, вон, впереди, — почему-то прошептал Врио.

— Где? — привстал Клим. — Ври больше. Верка первая.

— Катька. У нее волосы длинные.  
— Т-точно, Ка-катька, — выжал из себя Самосуд.  
— Купаться будут, ребя!  
— Ну и что?  
— Подглядим, а?..  
— Дурак ты, Врио, — Клим длинно сплюнул.  
— Ты сам... — пискнул Врио и от обиды всхлипул. — А сам, скажи, не подглядывал? Помнишь?..

Клим неторопливо согнул средний палец на правой руке и вlepил Врио в затылок крепкий щелчок. Врио отпрыгнул метра на два в сторону, тоненько и жалобно прокричал: «Сам дурак, дурак!» — и убежал в кусты плакать. Несколькo минут мы просидели тихо, обдумывая это происшествие (а девчонки спускались уже к Семитке, слышны стали их голоса, теперь можно было разглядеть каждую, и точно, Катька бежала первая), потом Самосуд с трудом выговорил:

— Т-ты з-зачем его?

Клим не ответил. Заправив поглубже в брюки рубашку и ту же подтянув ремень с большой медной пряжкой, он направился в кусты. Я подумал: мириться с Врио, нельзя же этого малыша так обижать — и остался сидеть. Не шевельнулся и Самосуд. Его трудно разозлить, однако сейчас он разогрелся, как медный самовар. Даже уши забурели, и жмурился как от боли в глазах.

Мы сидели вдвоем, и Самосуд понемногу остывал. А от речки, сквозь ветреные кусты тальника, четко, даже резко слышались голоса: девчонки брызгались и визжали. Мы сидели, и мне становилось все скучнее и печальнее. Чего сидим? Можно ведь пойти искупаться, речка ничья, всем места хватит. Конечно, там, где девчонки, — самая большая глубина, и обрыв каменный, с которого хорошо нырять. Пойти к ним, и все. А если они купаются совсем раздетые, без ничего, мы не виноваты, — это не баня, надо знать, что речка принадлежит всем, каждый может внезапно появиться из-за кустов. Но я сижу, как-то неудобно первому подняться, подумает Самосуд что-нибудь совсем другое... И сидеть уже почти не могу — так и ноет душа от тоски. Смотрю на друга, вижу — ему тоже скучно, аж побледнели скулы, — еще терплю несколько минут: пусть он первый. Про себя говорю ему: «Ну давай, не трусь, а то

искупаются и уйдут... Кто сейчас долго купаться будет — вода-то еще холодная». Самосуд заворочался, сильно толкнул ногой камень, послушал его хлесткий шум по отвалу, сказал:

— П-пайдем, п-паищем их.

Быстренько встали, пошли искать их: Клима и Врио. Наискось по склону отвала, осыпая щебенку, цепляясь за жидкие стволы осинок, обходя заросли жимолости и шиповника. Нашли след в четыре ноги, свежий. Клим и Врио пробили. Пошли по нему к речке. Самосуд обогнал меня, выбежал на полянку и вдруг пригнулся. Я подкрался к нему. Впереди, возле галечникового гребня, утыканного редкими тальниковыми стебельками, лежали к нам спинами Клим и Врио — как разведчики в дозоре. А дальше плескалась невидимая вода, и хохотали девчонки.

— Вот га-гады! — сказал Самосуд.

Мы ползли к ним, и я чувствовал, как замирало и напрягалось во мне дыхание, как билось в пустоте, будто отделившись от меня, мое сердце, — казалось, чуть подними голову, и тебя срежет меткая пуля из-за галечникового гребня. Клим оглянулся, испуганно махнул рукой; приказывая нам совсем слиться с землей. Наконец по-черепашьи мы подползли к ним и уронили головы на руки — отдышаться. Потом медленно, будто в самом деле ожидая пули, я начал отрывать от земли глаза.

Совсем близко, за реденькими прутьями тальника, купались девчонки. Их было четыре, а пятая — Маруська Карина, татарка, одинокая молодая баба, работавшая кассиршей в золотоскупке. Катьку и Зинку я знал, обе из нашего класса; другие, помладше, наверное из шестого. Все в трусиках, правда, на Катьке (она старше других, почти девушка) не было майки. А Маруська Карина совсем голая. Она больше всех хохотала, бежала за девчонками, втаскивала их в воду. И от нее я никак не мог почему-то оторвать глаз — как прилипли. Я помнил, что у нее широкое, с крупным носом и маленькими глазами лицо, но сейчас я не видел ее лица, и она казалась мне очень красивой. Можно было не поверить, что это Маруська Карина, — такое у нее маленькое крепкое тело, такие острые груди, и хоть короткие, толстоватые, но все равно очень стройные ноги. Я

никого больше не видел, — нет, иногда промелькивали длинные ноги Катьки, ее голубые трусики, худая грудь с темными пятачками, — а других и вовсе для меня не существовало. Просто визжали, плескались и мешали смотреть на Маруську Карину.

Мне показалось, что я уснул и вижу все это в бреду, и боялся проснуться — все сразу исчезнет; боялся того, что будет потом, когда очнусь: и жалко себя, и стыдно, и тоскливо до слез (об этом никогда никому не расскажешь). Хотелось смотреть и смотреть, для себя, для тайны, для понимания очень и очень непонятного...

Девчонки побежали к кустам, выжимают трусики. Кто-то из нас противно, громко захихикал. Длинноногая Катька глянула в нашу сторону и вскрикнула, перегнувшись, прикрыв ладонями грудь, локтями живот. А потом...

Потом я увидел лицо Маруськи Кариной — широкое, смуглое, ноздристое. Выломав прут, она, как была, голая, помчалась к нам, невозможно широко раскидывая ноги. Минуту мы были в оцепенении, после тоскливо и жалко взвизгнул Врио — будто подал команду, и мы разом брызнули в лес, к отвалу. Маруська отстала, что-то выкрикивая и хохоча. С верхушки отвала я мельком глянул вниз: маленькая, белея телом на зеленой траве, она медленно шла к речке, волоча за собой прут.

Бежали, пока можно было дышать, и еще немного наддали, лишь бы не останавливаться, а когда остановились, уже был виден на горе Главстан. Потом едва плелись и молчали: все равно после такой пробежки много не наговоришь.

А говорить придется, без этого смелости не хватит разойтись. Я подумал: «Не начну первый», и позавидовал Самосуду — с него самый меньший спрос. И еще подумал о Климе и пожалел его: ему всех стыднее — он же дружит с Катькой.

— В-вы ду-дураки, — неожиданно выжал из себя Самосуд. — М-мы искать в-вас пошли...

— А сам?

— М-молчи...

Врио отскочил подальше в сторону визжа:

— Сам! Сам!

Мне захотелось отколотить Врио. Чего он такой вредный? И так всем противно. Ну сказал бы: «Нехорошо

получилось, ребята», или на худой конец: «Ладно уж, переживем как-нибудь, другие тоже подглядывают», — а то вечно старается доказать, что он лучше многих. Вон Клим идет и помалкивает, даже отстал метров на пятьдесят. Переживает человек. А в прошлом году хвастался, как с одним дружком к бане ходил подглядывать. Смотрели в деревянный желоб, куда водовоз холодную воду заливает. Чуть кипятком глаза им не выжгли — баба из шайки плеснула. Вот до чего можно дойти. Но это все в прошлом году было, давно. Теперь Клим, конечно, уже не такой, и с Катькой серьезно дружит. А Врио всем орет: «Сам! Сам!», но и сам нигде не отстаёт. Противный пацан, без отца растёт, одной матери трудно воспитывать его с таким занудным характером.

В поселке мы разошлись, откалываясь по одному и незаметно юркая в калитки и ворота. У дома Васейкина я подошел к колодцу, достал воды и напился. Влез на край сруба, свесил ноги — они горели от усталости. Входить в дом не хотелось, тетка сразу заставит обедать, а мне не до этого было. Надо немножко успокоиться, подумать. Возле сарая дрались петухи — белый и красный. Я загадал на белого — у него гребень потоньше, — но дрались они долго, жутко окровавились, и мне пришлось разогнать их.

Потом отдаленно тяжело загремело. Я посмотрел в небо. Над высокими горами, высоко, в купол неба, всходило, пучилось, дымно темнело облако. Сквозь него еще пробивался свет, падал пучками на багульниковые сопки, пламенно и больно зажигая их — оранжево, фиолетово, розово. От их кровавости невозможно было отвести глаза.

Страшнее, ближе прогремел гром, покачнулась земля. И я, с холодком внутри себя, вспомнил о войне. Где-то там, далеко, на неведомом мне заграничном Западе, умирали от пуль, бомб и снарядов люди.

#### 4

Сегодня, как только проснулся, сразу сказал себе: «Никуда не пойду», потому что решил: буду рисовать. Что-то я во сне такое видел, необыкновенное, не вспом-

нить, но застряло оно во мне, как ожидание чего-то очень хорошего, и я решил: буду рисовать.

Конечно, рисовать не стихи сочинять — ходи и рифмуй. Тут за стол надо сесть, краски приготовить, и чтобы никто не мешал. Можно в лес пойти, но там труднее: пенек нужно гладкий найти и чтобы вид был рядом красивый; а найдешь — все равно не так-то просто: комары кусаются. Поэтому я больше дома рисую.

Васейкины ушли на работу, их маленькие ребяташки бегали во дворе, в доме было тихо, лишь со скрипом и шипением, неустанно стараясь, покачивали маятник старинные ходики. Грелась на подоконнике и полусонно мурлыкала рыжая кошка. Я сгреб со стола посуду, постелил газету, на нее — лист шершавой рисовальной бумаги, размочил акварельные краски. И сразу хотел нарисовать кошку. Но глянул в окно, увидел двугорбую багульниковую сопку, еще в тумане, и потому очень далекую, начал под нее подбирать краски.

Сначала часто поглядывал в окно, выписывал контуры сопки, потом, когда и цвет угадал, и стала она у меня на бумаге очень похожей на настоящую, я отвернулся от окна. Потому что понял: не это мне хотелось изобразить. Это каждый сумеет. Вот мне что надо... И я начал смешивать черную, синюю, зеленую краски; добавил ядовито-желтой, выписал скалы, дым, камни и — пятнами — глухие провалы. Сопка получилась жуткой, как вулкан после извержения, лохматые горбы развалились в стороны; какие-то огромные птицы летали в дыму, и развевалась чья-то длинная седая борода. А внизу, у речки, чисто и огненно светился багульник.

Я отошел от стола, глянул. Страшно и здорово получилось — почти так же, как было тогда, на сопке. Но еще чего-то не хватало. Я догадался. Подошел и внизу, на розовом багульнике, нарисовал две маленьких, темных, растопыренных фигурки — себя и Климата Сорина.

Теперь было все. Вздохнув, как после тяжелого экзамена, я спрятал краски, вылил из стакана грязную воду. Поставил картину к стене и, пока она сохла, смотрел на нее. Наверное, и во сне я видел все это, но позабыл. А ожидание чего-то очень хорошего было оттого, что я почувствовал: наконец-то нарисую тот свой страх и, может быть, навсегда избавлюсь от него.

Кто-то заслонил свет в окне, я глянул: у завалинки

стоял Самосуд в полном снаряжении — за спиной рюкзак и старательский лоток, в руке острая лопата с коротким черенком; даже две брезентовых рукавицы вшпунуты за ремень. Я вспомнил, что вчера мы договаривались идти на дальний карьер мыть лотком золото. Самосуд знал одно тайное, почти нетронутое место — ему о нем сказал дед. Как же я позабыл!

Сунул картину под свою кровать, начал быстро собираться. У меня нет такого снаряжения, как у Самосуда (они потомственные старатели), но все, что смогу, возьму: полбуханки хлеба, самого белого, васейкинского; картошки с килограмм — испечь в костре; рукавицы, чтобы мозоли не натереть; телогрейку теткину, чтобы ночью не замерзнуть. Лотка у меня нет — Васейкин так и не завел, — лопаты хватит одной. Соль, спички и всякая другая мелочь найдется в рюкзаке у Самосуда; он человек тaeжный.

Только бы на тетку не напороться — полчаса будешь объяснять, куда, зачем, когда вернешься, а потом еще разденет и дома на замок запрет. Женщина, одним словом; такой вредный они народ. С ней даже Васейкин не всегда сладить может. Поэтому, выйдя за двери, я махнул Самосуду, и мы дворами, между огородов, выбрались из поселка.

У дороги Главстан — прииск Озерный остановились. Надо подъехать на машине: свои ноги еще пригодятся. Выбрали место рядом с большой колдобиной — здесь обязательно шофер притормозит. Показался из-за кустов газик, мы присели, а когда задние колеса выбрались из колдобины, разом повисли на кузове и перевалились через борт. В тряске, грохоте шофер не заметил нас. Если и увидит, поленится останавливать машину: все равно прицепимся к другой. А вообще мы пассажиры самые тихие, о нас никаких забот — сами сели, сами и соскочим где-нибудь у колдобины или на крутом повороте. Правда, и взять с нас нечего, мы — зайцы.

Автомобили здесь газогенераторные, с высокими колонками возле кабин — топят сухой березовой чуркой (бензина сюда не завозят), и в кузове всегда пахнет дымком и березовым жаром. Зимой можно погреть руки о колонку. Но есть и недостаток у газогенераторов: шофер часто вылезает из кабины, чтобы засыпать чурку и подкочегарить, а чурка в кузове, и такие встречи не

всегда бывают нам приятны. Лучше заранее прыгнуть и отбежать подальше.

На этот раз повезло: шофер не остановился и не повернул головы. В том месте, где речка Семитка круто сворачивает в горы, мы прыгнули, отыскиали узенькую старую тропу и зашагали по ней: Самосуд впереди, я следом, чуть поотстав, чтобы ветки, которые он задевает, не били меня по лицу.

Хорошо идти с Самосудом. Кажется, что ты уже совсем вырос и незачем тебе осенью связываться опять со школой: надо начинать жить. И не боязно, не скучно: раз впереди идет Самосуд — все будет как следует, хоть он и молчит. Да и кто в тайге много говорит? Клим Сорин и тот затихает, а он, вполовину не такой старатель и таежник. Да и послабее Клим Самосуда, просто верткости у него больше и, наверное, похитрее он. Ну и покрасивей нас всех.

Однако тайга — она и есть тайга. Ей наплевать, что ты имеешь пятерку по алгебре и что тебя любит хорошенькая девочка Катя. Она ничего этого не понимает. Живет сама по себе. И не думай, что тайга всегда такая, как вот сейчас: отмытая, теплая, сияет березами, ласково бормочет речкой Семиткой и слушает, радуясь, птичьи голоса. Иди, радуйся тоже, но не забывай, что она заморила голодом, измучила гнусом, заморозила в снегах очень много людей. Их и не сосчитать.

Старые отвалы, карьеры. Все заросло талом, осинником. Здесь когда-то было большое золото. Да и сейчас еще есть — в этих отвалах, в карьерах, не выбранных до конца. Золото у нас под ногами: сними дерн, нагребь лопатой породы, промой в лотке — и обязательно немного намоешь. В том-то и беда главная, что немного.

Самосуд останавливается, я уткнулся в лоток у него на спине. Он поправляет рюкзак, передвигает лямки, — наверное, утомились плечи. Улыбается мне, и его широкое, конопатое лицо, с очень маленькими и очень яркими голубыми глазами, кажется мне малознакомым. Оно хитровато и слегка таинственно. Можно подумать, что в Самосуда, пока мы шли, вселился маленький таежный леший.

Он показал рукой в сторону, на едва заметную в кустах жимолости и багульника тропку.

— Сюда. П-понял? — и зашагал первым.

Я подумал и понял, для чего он так сказал: чтобы запомнил, где поворот (мало ли что может случиться с нами в тайге), чтобы знал — показывает только мне, — ценил это; чтобы вообще готовился, замирал сердцем, предчувствовал, надеялся на удачу: без этого не бывает золота, равнодушным оно не дается.

Карьер оказался очень старым, заросшим всякой всячиной: ольхой, осинником, дубняком, и только по осыпям можно было догадаться, что здесь когда-то выбрали лопатами, вывезли к Семитке в тачках и промыли многие тонны породы. Тропинка растеклась на две, потом сразу на четыре и вовсе исчезла. Самосуд повертел головой, что-то решил про себя, двинулся влево. Пробрались сквозь чащобу, облепив себя паутиной, и неожиданно вышли к небольшому чистому озерку. Оно было глубокое, образовалось в котловане, но до того обособилось, сделалось настоящим, что и не подумаешь про котлован, если ничего не знаешь об этом старом карьере.

На галечниковом берегу, мыском вдававшемся в озеро, Самосуд сбросил с себя рюкзак и лоток, снял пиджак и кепку. Провел ладонью по мокрым волосам — а волос у него почему-то мало, и лоб кажется большим и жутко умным, — сел неторопливо на перевернутый лоток. Я проделал все то же, но сесть мне пришлось на мешок с припасами. Так мы сидели, отдыхая, и слушали тайгу, и было зябко, страшновато от ожидания (вдруг нам попадется огромный самородок!) и оттого, что здесь когда-то рыли землю люди — неизвестно какие, откуда, как жили, куда уехали. Может, и погибали в этом карьере. Может, очень богатыми стали.

— Здесь будем?.. — спросил я, потому что надоело молчать.

— Там будем рыть, — показал к откосу Самосуд.

— Ты сюда приходил?

— Был р-раз.

— Удачно?

— Грамм н-намыл.

— Это хорошо, правда?

— Ничего. Бывает лучше, если самородок.

— А ты почти не заикаешься.

— Когда народу мало... Когда один, совсем не заикаюсь.

— Меня не считай. Я один. Не народ.

— Ладно.

Синеперая длиннохвостая трясогузка села на прутик у воды, щебетнула раз-другой, скосила на нас черный глазок и улетела. Где-то очень далеко три раза прокуковала кукушка. Зашуршала сухая щебенка на осыпи. И все это казалось необыкновенным — это надо было понимать по-особенному, как какое-то предсказание, таинство. Его и понять, пожалуй, невозможно до конца, просто надо уметь сделаться частицей тайги, и тогда...

— Поедим, или потом?

— Потом.

— А то работа...

— Ничего.

— Тогда давай.

Самосуд сунул мне лопату, сам взял лоток, и мы пошли в сторону осыпи, в заросли ольховника. По траве, плотному багульнику. В леске было сумеречно, сыро, пахло прелью прошлогодней листвы. Самосуд шел не раздумывая, будто по давно пробитой тропе. Потом я увидел разрытый дерн и яму в полметра глубиной. Порода была илистая, голубоватая, с мелкой галькой, — самая настоящая, золотиносная.

— Копай, — шепотом сказал Самосуд.

— Ага, — шепотом ответил я.

Воткнул в яму лопату, прыгнул сам, нажал на лопату ногой. Под лезвием закрипела галька. Поддел, сколько смог, вывалил в лоток.

— От стенок начинай, чтобы шурф ровным был.

— Понятно.

Бросил еще несколько лопат. Порода тяжелая, вязкая, лопата облипает, то и дело надо обколачивать ее, а шуметь не хочется. Надеваю рукавицы, чтобы не натереть мозоли. Лоб и спина быстро мокрые.

— Хватит, — шипит мне почти в самое ухо Самосуд. — Понесли.

Вылезаю, кладу лопату на горку породы, берусь двумя руками за край лотка; Самосуд поворачивается к лотку спиной, приседает, тоже берет. Поднимаем, несем. Между частыми стволами ольховника, по густой траве, раздирая ногами плотный багульник. Тяжело, трещат плечи. Молчим, терпим. У озерка, когда мне кажется: еще минута — и брошу лоток, Самосуд все же

заставляет пройти последних несколько шагов до галечникового мыска. Здесь он медленно, словно боясь разбить что-то драгоценное, приседает на корточки, и мы наконец освобождаемся от лотка. Я трясую руки, разминаю спину, Самосуд отдувается и потихоньку хохочет. Потом кивает мне с хитроватостью лешего:

— Н-начнем?

— Д-давай, — заикнувшись, говорю я.

Он втаскивает в воду лоток, зачерпывает через край и начинает лопатой разминать породу. Вода мутится, он зачерпывает свежей и ворочает, дробит, режет лопатой породу. Глина понемногу смывается, вода в лотке светлеет. Когда она делается совсем чистой и на дне остается лишь галька и песок, Самосуд отбрасывает лопату, приседает на корточки. Теперь самая главная работа — промывка.

Это не каждый может, тут даже талант нужен. Тонкая работа. И чем дальше — тоньше и нежней. Держа лоток, как сито, тряся его, окуная в воду, надо осторожно смыть сначала гальку, потом песок.

Лоток в руках Самосуда казался юрким, почти невесомым: он подрагивал, ходил челноком, нырял лодочкой, оборачивался вокруг себя, когда Самосуд хотел взять его с другой стороны. Галька мельчала, потом ее и вовсе не стало, начал сползать с шершавого днища лотка крупный песок. Наконец осталась на дне темная плотная полоска песка с крапинками слюды — шлих.

И вот самое нежное: смыть шлих так, чтобы ни одна золотинок не сползла с лотка. А шлих тоже тяжелый — это песчинки железняка, окиси меди, — и надо быть просто мастером.

Я приседаю рядом с Самосудом, напрягаюсь, слежу за каждым его движением, не свожу глаз с пляшущего на шершавом деревянном дне черного шлиха, который, утончаясь, растекаясь по всему днищу, почти невидимо ссеивается за край лотка. Проблеснула одна, вторая желтая лепешечка — золото!

Я прижимаюсь плечом к плечу Самосуда, шепчу:

— Тише, тише...

— Сам знаю, — как-то сонно хрипит он.

Меньше шлиха — больше золотинок. Вот одна подползла к самому краю, заплясала там. — у меня остановилось дыхание, вспотела спина, — и, ловко окунув ло-

ток, Самосуд отправил ее обратно, в желобок на днище. Шлиха почти нет, исчезают последние черные песчинки. Руки Самосуда, с закатанными по локоть рукавами, побурели от воды и напряжения, на них вздулись жилы: казалось, еще немножко — и кровь из Самосуда вытечет прямо в лоток. Когда в желобке обозначилась желтая яркая полоска из множества лепешечек-золотиннок, мне подумалось: может, они просыпались туда из ладоней Самосуда?

— В-все, — сказал он, сливая из лотка воду и кладя его на берег. Сел, вытянул на коленях руки, помолчал долго и легко, потом достал папиросу, размял ее в пальцах, закурил. И я увидел, что курит он по-настоящему, как и работает, и мне было хорошо от этого (а бывает стыдно; когда мальчишки сосут исподтишка, задыхаясь дымом), — он имел право, он уже человек.

— Теперь нетрудно, — сказал ласково, успокаивая меня, Самосуд. — Теперь мы вот что сделаем. — Он достал из рюкзака железную банку из-под монпансье, плеснул в лоток воды и ловко смыл все золотинок в банку.

— И еще подсушим. — Нашел клоч сухой травы, поджег, подержал над огоньком банку. — В-все, смотри.

На дне у стенки желтела тусклая полоска меленького песка.

Минуту назад его было больше, а еще больше было в лотке, под водой, — он все уменьшался, мельчал, сжимался. И это из тяжелой, вязкой кучи породы.

— Как? — спросил я.

— Хорошо, — по-лешачьи усмехнулся Самосуд. — Миллиграмм сто пятьдесят будет. Еще лотков шесть — и грамм, понял?

— Шесть?

— Д-да.

«Действительно д-да, — подумал я. — Это же из кожи вылезешь: копать, таскать за двести метров. А промывать!» Но я ничего не сказал. Жаловаться надо маме в письме или тетке, а лучше сидеть дома, мазать красками. Здесь работа. Здесь Самосуд хозяин. Он выбрал меня. Любой бы рад с ним пойти. И смотрит на меня сейчас так (угодливо смотрит), будто это я взял его с собой на такую интересную работу, и он будет помнить меня весь свой остаток жизни.

— Ничего, — сказал я. — Пошли.

По траве, багульнику, сквозь ольховую рощу. Копали, несли, промывали. Снова шли за породой. Обед готовить не стали — съели по куску хлеба с салом и зеленым луком. И опять за работу. Усталость почти исчезла, только туман в голове — как второе дыхание. Еще, еще. Больше. Ведь золото! Целый грамм золота будет!

Мы промывали шестой лоток, когда за озерком слышался треск сучьев, и на поляну вышел человек. Пригнулись, замерли. Человек увидел нас, что-то выкрикнул, будто по-гусиному гоготнул, и быстро, мелкими шагами, припадая набок, пошел к нам, огибая озеро.

— Бежим! — вскочил я.

— Не надо, — угрюмо буркнул Самосуд, следя за человеком, сказал через минуту: — Эт-то Федька-старатель.

Теперь и я видел — это Федька. Я бы и раньше узнал его, но почему-то струсил, словно мы здесь воровали чужое, и глаза у меня сделались мутными. Федька был в полном снаряжении — с рюкзаком, лотком, лопатой и в резиновых сапогах. И был он очень злой — это я почувствовал, и мне опять стало нехорошо, — весь вихлялся, цеплял за кочки хромой ногой и пучил на нас свой единственный глаз, поворачивая голову боком, как это делают петухи.

— Мать вашу... В закон... Бога! — крикнул Федька, подходя и задыхаясь. — Убью!

Он сбросил с себя снаряжение, подпрыгнул, поправляя штаны, как облегченный поплавок, подбежал к воде и пинком опрокинул наш лоток.

— В закон, бога!.. Драпайте!

Федька рванул на груди рубаху, выпучил красный, сумасшедший глаз и пошел на нас с лопатой. Я схватил Самосуда за рукав, он отшвырнул мою руку.

— Не трись, пугает...

Федька шел, перекашивая губы, набычив свою маленькую, с кулачок, головенку, и ветер шевелил у него на темечке реденькие седые волосики. Шел здоровой ногой и слепым глазом вперед, словно прицеливаясь, примериваясь.

Самосуд слегка наклонился, как бы рассматривая

у себя что-то под ногами, сцепил руки за спиной, но я видел: он следит за каждым Федыкиным шагом, — и ноги у него напряжены, отпрыгнет метра на два в любое мгновение. То же сделал и я и заставил себя подвинуться вперед, чтобы стать к плечу Самосуда.

— А-а! — взвизгнул Федька, не выдержав своей медлительности, зашкандыбал к нам, вскинул лопату, сморщил, перекосил лицо (мне даже почудилось, будто у него открылся, проблеснул слепой глаз) — мы разом отпрыгнули к кустам ольховника. Федька подержал над головой лопату, глянул на нее косо и отшвырнул далеко в сторону.

Что-то бормоча, ругаясь и всхлипывая, он вернулся к своему снаряжению, сел на лоток. Упер локти в колени, уронил голову на руки и вовсе укоротился, ужасся, и стало видно, какой он сухонький, изболевшийся и старый. Веса в нем было меньше, чем у меня, а Самосуд — тяжеловес против него.

Потом Федька закурил, глядя тоскливо в воду озера, потом перестал бормотать и ругаться. Он как бы уснул с папиросой в губах, даже голову повалил набок.

Самосуд тронул меня, кивнул:

— П-пошли.

Подошли к перевернутому лотку, подняли его — хорошо, что порода вывалилась у самой воды и ее не размыло, — собрали ладонями все, до последней песчинки, сложили в лоток. Но работать не стали — мало ли чего еще может вытворить Федька, — сели у своего снаряжения, и Самосуд в другой раз закурил.

Так и сидели, долго сидели. Скучно сделалось. Ладно, хоть птицы пели, ветер ходил по верхушкам лиственниц, и по озерку смешно, из конца в конец, бегали длинноногие водомеры. Можно было загадывать на кукушку — сколько проживешь, — куковала где-то за синей багульниковой сопкой. Неплохо бы и подремать — тепло, глаза слепнут от солнца, дурманят лесные запахи, — и спина уже высохла, и усталость появилась: дрожит каждой жилкой, томит и ласкает непосильной вялостью.

Я задремал и не то во сне, не то наяву видел: поднялся Федька, подошел к нам, сел рядом с Самосудом. Они заговорили: «Бу-бу-бу... Кша-кша...» Прислушиваясь, хочу очнуться. И не могу. Наконец пугаюсь:

«А вдруг!..» — и заставляю себя оторвать от локтей голову. Сразу светлеет в голове, из ушей выпадает вата, я чисто слышу:

— Ну, понимаешь, работаю. Васейкин и я. Хлеб сажаем. Сажаем, понял. И вспомнил — ночью увидел это место. Приснилось, понимаешь. Хотел все бросить. Едва дотерпел. Посадили хлеб — и сюда. Бежал, понял. А вы тут. Убить мог. Убить мог, а?..

— Мог, — соглашается Самосуд.

— Мог! — выкрикивает радостно Федька, как бы удивляясь себе.

— Только место не очень, чтобы...

— Чиво ты понимаешь! Здесь еще можно. Лотком. Вспомнил — в двадцатом году здесь уродовался. А как брали? Где погуще. Лотком можно. Покажи?

Самосуд достал из кармана жестянку, открыл. Федька пригнулся. Лицо у него узенькое, желтое, будто он только что сильно переболел.

— Сколько?

— Пять лотков.

— Лучше найду. Нашупаю, где пробросились.

— Еще бы!

— Ну!

— А мне дед сказал.

— Вместе вспомнили, понял. В одну ночь, может, а?

— Н-не знаю.

— В одну. Так бывает. Вот жилу когда ищешь — сразу всем видение. Кто первый дошел — взял.

— Не верю.

— Дурак, понял.

— А ты не обзывайся.

— Ладно. Договор — никому. Деду скажи — молчит пусть. Скажи, Федька требует. Он знает закон. Покопаясь здесь. Лотком можно. Бутарой нечего делать. Мало. Лотком можно. Нашупаю. Давай руку. Как старатели.

Жмут друг дружке, кивают, стоя лицом к лицу.

— Во! А то набегут, понимаешь, — никому. Дай закурить.

Самосуд дает, садятся, дымят.

— Я жилу найду, понял. Найду. Вот у меня на руке линия указывает... — Протягивает сухонькую, морщинистую ладошку. — Одна в запасе, последняя. Понима-

ешь? А тут так — для поддержки штанов. На выпивку, на баб. — Машет рукой в сторону осыпи.

— Куда тебе!

— Мне-то? Да я!.. — кричит, топорщится и привскакивает Федька, но тут же оседает, как лопнувший пузырь, протяжно и жалобно выдыхает из себя понапрасну набранный воздух. — Может, выпьем, а? — говорит он тихо Самосуду. — Припас немного.

— Еду надо приготовить.

Самосуд толкает меня, я вскакиваю, будто все это время дремал, принимаюсь вынимать из мешков наши припасы, а Самосуд, взяв топорик, идет за сушняком в соседний лесок. Приносит большую охапку лиственных сучьев от старого поваленного дерева, вытесывает две рогульки, кладет перекладину, потом ловко и быстро разжигает костер. Я подвешиваю кастрюлю с водой и иду к озерку чистить картошку. Еда будет простая и вкусная — кондер. Но здесь его готовят на свой лад, по-старательски.

Когда закипела картошка, я бросил в кастрюлю большой кусок соленой рыбы — кеты, спустя несколько минут всыпал две горсти пшена. Вот и все дело. Теперь надо, чтобы все это хорошо проварилось, чтобы рыбы кости сделались мягкими и их можно было есть. Сало — в последнюю очередь.

Я следил за кастрюлей, помешивал варево ложкой. Самосуд домывал породу в лотке, а Федька-старатель уснул, устроив свою головенку на рюкзаке и бросив под себя телогрейку. Устал человек от крика и волнения. Маленький, больной человек. Как это он таскает свой лоток с глиной? И зачем ему — ведь умереть может от натуги. Угомонился бы: работа есть, теплая, хлебная, Васейкин не обижает — Васейкин никого не обижает, — жил бы понемножку. Да и на водку всегда есть — подсобнику хорошо платят. Почему человек так терзает себя?

Спать мы легли поздно, когда совсем почернела тайга и из черноты неба морозистым снегом проступили звезды. Догорал, тоненько свистя головешками, костер. Федька и Самосуд храпели: они вдвоем распили поллитру. Я отказался, и потому, наверное, никак не мог

уснуть. То к шорохам прислушиваюсь, то вдруг вода всплеснет в озерке — а рыбы-то в нем нет...

Думаю о Федьке. Подвыпив, он долго и горячо рассказывал о своей прошлой жизни. Нет, не про то, как он бродяжничал по тайге, голодал, мерз, как с медведем пообинмался. Об этом ни слова. Все о красивых женщинах, которых одаривал горстями золотого песка, пирушках в главстановском трактире (теперь и неизвестно его местонахождение), где по бочке самогона покупал, штаны бархатные широченные шил — в каждой штанине могла бы добрая баба поместиться. А когда открыл жилу, прозванную «Федькиной», полные сутки носили его на носилках, обшитых бархатом, по Главстану, угощали вином и кричали «ура». Федька гремел по всем приискам от Охотского моря до реки Амгуни, только последний дурак мог не знать Федьку. В карманах у него столько перебыло золотого песка, что он мог бы всю Америку закупить в свое личное пользование.

А сейчас Федька-старатель спал, скрючившись калачиком, и жалобно всхлипывал. Он так и не промыл ни одного лотка породы.

## 5

Тетка попросила меня перекопать две грядки, чтобы посеять на них редиску. Первую редиску мы уже съели, теперь надо еще раз посеять: «Пусть будет хоть такая зелень до огурцов и помидоров». Надо так надо. Вышел, взял лопату, копаю. Работенка нудная, неинтересная, да и не знаю я толком, как перекапывать эти грядки. Родители мои не занимались сельским хозяйством, у нас не было огорода, — вернее, они занимались, когда жили в Амурской станице и считались казаками, но с тех пор, как отец ушел из колхоза и поселился на Севере, ни одной грядки не завел: брезгливость какая-то у него к этому появилась, а мне вот приходится в земле копать. Немножко обидно: солнце такое хорошее, по-настоящему горячее, сопки багульниковые акварельными красками пылают, на улице ребятишки орут. Однако и совесть надо иметь: редиску тоже ел.

Втыкаю лопату, жму на нее подошвой-ботинка, отковыриваю влажные пласты черной земли. Думаю: все

разное на земле, и земля сама по себе разная; вот та, что в карьере, хоть и глинистая, тяжеленная, — золото дает; эта, у меня под ногами, — редиску даст. Есть и такая земля где-то на западе, в России, на которой хлеб растет. Хлеб еще ничего — без хлеба нельзя, а вот редиска — самый никчемушный продукт, для него и землю трогать жалко.

Думаю так и копаю: надо так надо. Потом вспоминаю Самосуду.

Вчера мы в третий раз ходили мыть золото. Вдвоем, тайно. У нас уже три грамма двести миллиграммов — три золотых боны можно получить, а если перевести на обыкновенные деньги — тридцать рублей. По грамму в день намываем. Не так богато, но если поработать все лето, на велосипеды скотим. С бутарой-то у нас ничего не получается (отец Клима, наверное, не смог договориться с бригадиром), баксы еще не подвели к отвалу. Нехорошо только что вдвоем работаем, надо бы Клима и Врио позвать — друзья все-таки, и еще зимой собирались все вместе золото мыть. Я так и сказал Самосуду. Он засмеялся, говорит: «Ты думаешь, Клим будет так уродоваться? Его мама не пустит — она в конторе сидит. А Врио разок потаскает, поплачет, после сбежит и всем разболтает». Может, это правда, я ведь этих ребят еще плохо знаю.

Я замечаю, что давно уже не копаю: поставил ногу на лопату, оперся о черенок и смотрю то на сопки, то на улицу, где почему-то уж очень суетится сегодня народ. Бабы бегают, галдят. Ребятишки играют в войну — прыгают через заборы, швыряются камнями, один заорал, будто его в самом деле подранили. Принимаюсь копать. Но тут вижу: по улице бегут Клим и Катька. Почему-то вместе. Конечно, они дружат, и давно, всем это известно, но чтобы рядышком бежали днем по улице, — этого никто не видел. Да они, кажется, ко мне. Точно, свернули. И чего он Катьку сюда тащит — не видел я ее, что ли? Вылупится, уставится, а я тут таким «красивым» делом занимаюсь...

— Война! — крикнул Клим, подбегая.

— Какая? — спросил я, думая о мальчишках.

— Немцы напали!

— На кого?..

— На нас!

— Он не знает! — удивилась Катька и засмеялась.

— На нас? Настоящие?

— Ну да! Молотов сам сказал. По радио выступал.

Лицо у Клима горячее, он глянул на меня как-то заносчиво, чуть презрительно: «Вот что я первый узнал!» — схватил Катьку за руку, потащил ее дальше по улице.

Минуту я стоял, ничего толком не соображая, потом сказал себе:

— Война!

И сразу понял: действительно война. Настоящая. Немцы напали. Чего же я стою с лопатой, зачем она мне теперь? Зачем все другое на свете, если война? Это самое главное! Я швыряю лопату в сени, перепрыгиваю через изгородь и бегу вслед за Климом и Катькой. Догоняю, пристраиваюсь сбоку, и мы молча бежим втроем. Куда, зачем, я не спрашиваю, — значит, надо, если бежим. Может, задание такое получил Клим — всех известить о войне. Останавливаемся у дома завмага, во дворе старуха, Клим кричит:

— Война!

— Знаем, чего орешь.

Бежим дальше. Дом Мельникова, рабочего с Бочки. Во дворе — никого. Кричим все вместе в открытую дверь сеней.

— Немцы напали!

Дом школьной сторожихи. Никого. У забора — маленькая девочка. Крикнули ей. Заплакала.

У главного инженера нас облаяла большущая овчарка. И ей сказали:

— Война!

Только древняя глухая старуха Колыхалова, живущая в последнем доме, задержала нас, нудно расспрашивая и подставляя волосатое ухо. Ей объясняла Катька, визгливо выкрикивая слова и почему-то хохоча. Наконец старуха уразумела, перекрестилась и поднесла кончики платка к своим красненьким глазкам.

— Не плачь, бабка. Мы им!.. — сказал Клим.

— Мы им!.. — повторил я.

И мы побежали в обратную сторону, оповещая другой ряд домов. Смешная, думал я о бабке, чего плакать? По радио будут рассказывать, в кино покажут войну, в журналах фотографии красноармейцев, танков и само-

летов напечатают. Мы-то вот не боимся, даже интереснее стало.

Пробежали мимо бани, конторы, школы. Из какого-то переулочка выскочил Врио, пристроился к нам. На конюшню рассказали конюху, он уже знал, но слушал и грозил немцам кулаком. Побывали в кузнице, на электростанции, даже в баню на обратном пути заглянули, но там сегодня был выходной день. Хотели бежать в разрез, где работали старатели на бутарах, но возле клуба нас окликнул Лев Иванович, учитель математики:

— Пойдите, ребята.

Подождал, оглядел нас, узнавая каждого по очереди, сказал:

— Зачем бегаешь, кричишь?

— Война же! — выпалил Клим, часто дыша. Щеки у него прямо-таки пылали.

— Ну и что? — Лев Иванович поправил очки и вскинул голову (это особенно сильно действовало на меня в классе). — Ну и что, говорю? Чему радоваться? Люди и так знают. А кто не знает, все равно знать будет. Нехорошо шуметь. Идите по домам. — И сам тихонечко, прищаркивая, пошел к своему дому.

Вот тебе и на! Так было здорово, мы даже запарились от беготни. Казалось, дальше будет все интереснее и необыкновеннее, а потом случится и совсем что-нибудь невероятное: появятся танки на нашей улице, строем пройдут красноармейцы в буденовках, напевая «Если завтра война...» Или немецкие самолеты вдруг пролетят над сопками, сбросят бомбы — а это посильнее грома и взрывов, когда в карьерах породу рвут. И вот тебе на — оказывается, нехорошо бегать и кричать... Может, и в самом деле нехорошо, а?

Мы медленно брели, глядя себе под ноги, и молчали. Улица была пустой и тихой, — люди работали, как и в прежние дни, — лишь кое-где у калиток стояли бабы, негромко переговариваясь, да визгливо и скандально играли в войну малыши. Становилось все тяжелее молчать, и Врио, как обычно, первый не выдержал.

— Фи, чего бояться.

— Геррой! — сказал Клим и длинно сплюнул.

А я сказал, чтобы не возникла ссора:

— Война, ребята.

Подождали к Катькиному дому, остановились. Я по-

думал, что нехорошо будет, если Катька сейчас уйдет: надо вместе ходить, прожить этот день по-особенному, чтобы привыкнуть к войне. Может, зайти к кому-нибудь, поиграть пластинки с военными песнями, послушать радио, поговорить. Но Катька, не поднимая головы, тихо проговорила:

— Я домой, мальчики.

Задержались у приисковой конторы. На подоконник открытого окна был выставлен репродуктор. Диктор нараспев, как бы удлиняя каждое слово, говорил: «Двадцать второго июня, на рассвете, без объявления войны, немецкие самолеты бомбили Киев, Одессу, Львов... Немецкие войска во многих местах перешли нашу границу. Красная Армия ведет тяжелые бои, отстаивая каждую пядь родной земли. Товарищи!..» Дальше диктор говорил о том, чтобы все оставались на своих местах, еще лучше работали, сплотились вокруг вождя и вместе с Красной Армией дали сокрушительный отпор немецко-фашистским захватчикам. Потом заиграла музыка — очень боевой военный марш.

Теперь было все ясно. Зачем было бегать и орать? Там люди умирают, тяжелые бои, а мы... От голоса диктора и музыки мне сделалось зябко, похолодели пальцы на руках, стало почему-то жалко себя: ведь я не дома и совсем еще пацан... «Что будет с нами со всеми?» — с каким-то предчувствием подумалось мне.

— Пойдем, — сказал Клим.

Врио уже не было, он исчез так же незаметно, как и появился. И нам вместе идти некуда. Не до нас, наверное, всем. Теперь ведь наверняка настанет какая-то другая жизнь. Клим молча пожал мне руку, — а мы никогда не прощались за руку, — пошел к себе во двор. Я постоял немного среди улицы, вспомнил о Васейкине.

Пойду к нему!

В пекарне было душно и тихо. Полки, занавески, корыта, хлебный жар из прикрытой заслонкой печи, надломленная, очень белая, «васейкинская», булка, — все как всегда, как будто в мире ничего не случилось, и нечего бегать, суетиться. Хлебы сидели в печи, пеклись. Васейкин, выпив положенные «сто граммов», читал газету, а Федька спал в закутке между стеной и печкой. «Вот куда надо было сразу прийти!»

— А, дружба! — увидел меня Васейкин. — Садись, поговорим.

— Чего говорить — война...

— Ну и что — война? — Васейкин положил мне на плечо руку — горячую, влажную и тяжелую.

— Война, — повторил я, чувствуя, что могу заплакать.

— И должна была быть. — Васейкин встал, сунул руки в карманы брюк под фартук, крупно прошелся к окну и назад. — Все к этому шло, говорю. Так что нормально.

Он опять сел, отбросил газету, буркнув:

— По радио — война, а в газете ничего такого нету! — и довольно крепко толкнул меня в плечо. — Ты казак?

— Не знаю.

— Как же не знаешь? Твой дед был казак, отец тоже, — значит, и ты казак.

— Ну и что?

— Как это что? — Васейкин рассмеялся. — Ну, дружба, даешь жизни! Казак ведь войны не боится. Казак сколько живет — столько воюет.

Васейкин лезет в шкаф, достает бутылку, заткнутую новенькой пробкой (я все собирался украсть ее на поплавок), отливает немного в стакан, пьет, ничуть не морщась.

— Видишь, разволновался даже. А ты понять не можешь. Слушай. Где мы жили? На Амуре, на китайской границе. Кто мы такие? Потомственные казаки. Мы землю пахали и границу обороняли. Твой отец, я, наши отцы и деды. У нас кони боевые были, сабли, оружие. Как тревога — на коней, защищать станицы, землю нашу. Нас не сдвинули ни китайцы, ни японцы. Амур, Усури удержали. Понял, дружба?

Я кивнул, вспоминая, что мне обо всем этом когда-то рассказывал отец.

— Поймешь, когда вырастешь. Это я больше для себя. Так, воспоминания разные.

Вытянув за цепочку свои веские, замечательные часы, Васейкин долго смотрел на них, будто плохо соображая, потом сказал:

— Скоро вынимать.

Мы помолчали, слушая глуховатую, утробную рабо-

ту печи, — в ней попыхивало, потрескивало, посапывало, и гуще дуло на нас хлебным зноем. За окном было солнечно, многоцветно. Казалось, весь свет, который был там, исходил от ярких багульжиковых сопок. Хотелось надолго и сладко уснуть.

— Вот я и думаю, дружба, — говорил несильно Васейкин. — Чего нам бояться войны? Мы от рождения военные. И другое думаю: получу повестку — попрошусь прямо на фронт. Отвоюю свое. Война-то какая будет! Россия одна на всех.

Васейкин разбудил Федьку, и они начали вынимать хлеба. Сделалось жарче, духовитее. Я поднялся, покачиваясь, пошел в закуток между стеной и печью, лег на Федькину телогрейку. И, задремывая, слушал постукивание жести, удары в пол, скрежет в печи, одышливое дыхание людей. И зной, и духоту. И какое-то жуткое напряжение в себе, в пекарне и во всем свете. Все это вместе, смешавшись, выразилось одним словом, которое никак не засыпало во мне: «Война, война...»

## 6

Нас собрали в школу. Всех — от первачков до десятиклассников. Долго выступал директор, выступали учительницы, брал слово Лев Иванович — он не кричал, говорил четко, как на уроке математики, часто поправлял очки, — и к концу собрания каждый понимал: идет большая и страшная война. Где-то на Западе, в той главной России, откуда мы все когда-то вышли, немцы захватили много городов, жгут и разоряют деревни, рвутся к Москве. Весь наш народ поднялся на борьбу с фашистами, чтобы спасти Родину. Выступал по радио Сталин, Красная Армия, сражаясь насмерть, переходит на новые оборонительные рубежи. В стране введена карточная система на продукты и промтовары — главное теперь экономия. Везде, во всем. Все ресурсы, все силы — на разгром фашистов.

— Ребята! — сказал, закрывая собрание, директор. — Мы тоже не последняя сила в борьбе с фашистами. Мы создадим боевые дружины, отряды противовоздушной обороны, построим возле нашей школы бомбоубежище. Возглавят дружины и отряды значкисты ГТО и БГТО.—

Директор захлопал ладонями, мы дружно помогли ему, крикнули: «Ур-ра!»

Во дворе мальчишкам раздали лопаты, кирки, ломы. Отвели место — за деревьями у забора. Мы начали копать траншею.

Девчонки остались в школе, в своих классах — им нашлась другая работа: резать на узенькие полоски листы белой бумаги и крест-накрест заклеивать стекла на окнах. Чтобы при бомбежке не рассыпались мелкими осколками. Мы копали, выкидывая из траншеи комья тяжелой, сырой глины, а окна нашей двухэтажной школы делались снизу доверху полосатыми, перекрещенными, и это почему-то особенно тревожило и напоминало о войне.

Каждому надо было выкопать по метру в длину и по два в глубину. Мы взяли четыре метра подряд — Клим, Самосуд, Врио и я, — чтобы работать всем вместе, своей бригадой. И хорошо у нас получалось. Отставал, правда, Врио, но над ним подсмеивался только Клим, отпускал ему щелчки в мокрый затылок. Мы по очереди помогали Врию, и наша траншея ровно шла в глубину. В одну из передышек Самосуд поднял руку, чтобы замолчали, подвигал губами и сказал:

— Р-ребя, н-надо всем идти с-сегодня к м-моему отцу. Они работают уже. Н-надо всем. М-меня не слушает он.

— Чего ж ты молчал? — красиво нахмурился Клим.

— Г-говорю вот.

— Г-говорю, говорю!..

— А ты чего? — подступил я к Климу. — Тоже ведь обещал.

— Отца перевели, знаешь сам.

Это правда — отца Клима перевели на Бочку (он партийный) и назначили старшим смены. Бутара для нас отпадает, да и все равно едва ли мы попали бы на нее: тачки катать тяжело, кайлить в забое каменную породу еще тяжелее. Нас быстренько прогнали бы старатели. Там порядок строгий нужен, а мы и забой завалить могли, и бутару попортить. Просто Клим немножко хвастался, обещая договориться с отцом.

— С-сегодня пойдем. Пер-перехватят другие.

Надо идти сегодня, обязательно. А то действительно перехватят. Все десятиклассники пойдут работать, им

уже запретили просто так сидеть дома. Если не поступаешь в техникум или в институт, иди работай. А какие у нас здесь институты? До Хабаровска тыщи две километров. И война еще. Все работать пойдут пока, дальше видно будет. Поэтому надо торопиться — правильно Самосуд говорит.

— Давайте это кончать, — сказал я, берясь за лопату.

— Давайте, — поднялся Клим и толкнул Врио, тот выронил кирку. — Держись, малышка!

— Пшел ты! — тоненько крикнул и замахнулся киркой Врио.

Все засмеялись. Врио подулся немного и тоже оттаял: мы же не девчонки, по-иному дружить не умеем.

Солнце перевалило середину неба, начало скатываться к вершинам сопок, когда мы вылезли из траншеи. Попили воды, которую принесла в ведерке сторожика, остыли от работы, дневной жары. Вспомнили, что очень хочется есть, погрузили: хлеб-то теперь по карточкам (позавидовали мне: всегда могу зайти к Васейкину, отломить кусок). Явился директор самолично принимать работу. Траншея была длинная, широкая и глубокая. Накрыть кругляком — накатником, завалить землей — и бомбоубежище на всю школу.

Директор подождал, пока отставшие ребята подчищали на своих местах дно траншеи, потом спрыгнул в нее, пошел из конца в конец. Толстый, маленького роста, он казался теперь нам сверху пухлым колобком, катившимся по рыжей глине. Кто-то щелчком метнул ему в спину кусочек глины — на рубашке осталось желтое пятнышко, как пулевой прострел. Ребята захихикали. Он вылез в конце траншеи, подошел ко всем нам, сказал:

— Молодцы, по-военному!

— А зачем вообще это? — Длинный рыжеватый парень, десятиклассник, показал пальцем на траншею.

Директор удивился, присматриваясь к парню, развел руки:

— Я же объяснял: бомбоубежище.

— А кто до нас долетит?

— Как это кто?

— Ну кто, правда? — Это спросил другой паренек, чернявый, в куртке с замком-молнией.

Директор достал платок, медленно вытер потную лысину, высморкался, так же неторопливо отправил платок в карман. Было тихо, неприятно тихо, потому что директора в школе все побаивались: он участвовал в гражданской войне, имел орден, долго работал в районе каким-то начальником, носил галифе, сапоги и гимнастерку под ремень. Разговаривал всегда громко и жестковато.

— Приказ есть. Ясно? — наконец четко выкрикнул он. — Никаких разговорчиков! Завтра явиться для окончания работ.

Он повернулся и, часто перебирая толстыми ногами, укатился в двери школы.

Рыжий и чернявый тихонько засмеялись, заговорили о чем-то, их окружили десятиклассники, а мы пошли по домам.

Сначала я не очень понял, почему так рассердился директор, потом стал прикидывать: долетят или нет к нам фашистские самолеты. Или японские, если самураи нападут на нас. Шел и все думал. То казалось — долетят, то — нет. Главное, зачем к нам лететь, чего здесь бомбить? Но опять же, кто их знает, врагов? Возьмут и прилетят, и бомбы сбросят. А нам спрятаться некуда будет. Война — все может быть. Надо подготовиться. Директор, наверное, больше многих других других понимает. Так я и не решил окончательно, пока шел домой, смогут ли прилететь к нам вражеские самолеты.

За плотной стеной зеленого тальника слышался шум напряженной воды в баках, стук гальки, сыпавшейся в желоба, грохот бутары. Изредка можно было уловить негромкие голоса старателей. Бакса работала на полный ход.

Мы остановились, сели где кто мог — на пеньки, на камни: надо дожидаться перерыва, сейчас с нами там никто говорить не будет, даже и не заметят нас.

— П-подождем, — сказал Самосуд.

— Подборка скоро: слабо порода сыплется, — прислушавшись, проговорил Клим.

— Хорошо бы нам здесь... — вздохнул я.

— Еще бы! — с хрипотцой подтвердил Врио.

- Па-апробуем, — сказал Самосуд.
- А у тебя батя как? — спросил Клим.
- Н-нормальный.
- Пробьемся.

— Только всем вместе надо. И чтобы пацанами не показаться, — сказал я.

- Еще бы! — согласился Врио.

Мы сидели минут двадцать, а может, все полчаса. И дальше бы сидели — все равно надо ждать перерыва, хоть и скучно, и говорить не о чем, и волнение какое-то, аж сердце замирает: будто сейчас тебя за что-то ругать и стыдить будут. Но вот оборвался стук гальки и грохот бутары, остался лишь чистый шум воды в желобах, и Самосуд, вскочив, махнул рукой:

- П-пойдем!

Пробрались сквозь тальник, вышли к срезанному, похожему на свежую осыпь отвалу. Увидели: вся бригада столпилась возле бутары. Прошли вдоль желобов с быстрой журчащей водой, приблизились к бутаре. Самосуд шел впереди, его первого увидели старатели.

- На подмогу? — спросил один.

- Да их смотри сколько!

- Сила!

- Один другого здоровее!

- Откуда вы такие, братцы?

Я узнал бригадира, отца Самосуда. Он сидел на стенке бутары, курил, поглядывая на нас. Так близко я видел его впервые и удивился, как сильно они похожи, отец и сын. У старшего Самосуда было такое же широкое, конопатое лицо, маленькие, яркие голубые глаза, и на голове почти не росли волосы. Ростом он был ненамного выше сына.

— Они серьезные, — сказал Самосуд-старший, — видеть, по делу пришли. Говорите.

— П-по тому д-делу, — вполне четко выговорил Самосуд-младший.

— Очень п-просим вас, — грубовато подтвердил Клим.

- Чем бегать — работать решили, — выпалил я.

- Работать! — почти крикнул Врио.

Самосуд-старший помолчал, обвел взглядом старателей, хмыкнул, покрутил большущей головой. Сказал потом, откинув щелчком окуроч:

— Проведем собрание. Как думают товарищи?  
— Да можно бы. Ночь-то пустая. И вроде караулить будут.

— А разрешат им?  
— Разрешат — война, — сказал грубовато Клим.  
— Оно правда.  
— А не нагадят они нам здесь?  
— Прогоним, если что, — буркнул бригадир.  
— Тогда пусть, пожалуй.  
— Ребята большие. Соображают, поди.  
— Ставлю на голосование, — сказал, поднимаясь, Самосуд-старший. — Кто «за», прошу поднять руки. Так. Раз, два, три, четыре... Кто «против»? Нету. Кто воздержался? Один.

Воздержавшимся оказался старик Нефедов — седенький, жилистый мужичонка, кашляющий, часто сморкающийся (он и летом всегда простужался), из местных жителей, потомственный старатель. Очень ехидный, всегда брюзжащий на свою трудную жизнь.

— Почему, Тимофей? — спросил Самосуд-старший.

— Погody. Как показать себя. Больно прыткие чтой-то.

— Ладно. По большинству голосов принимаем.

Стало тихо, слышно было тугое журчание воды в баках, плеск Семитки глубоко внизу, сквозной зеленый шум тальника. Мы расселись, теперь почти как равные — нам бы еще и закурить! — и старатели, выдержав хорошую минуту молчания, заговорили:

— Вот и рабочий класс!  
— Держись, ребятки!  
— Теперь фашистам каюк!  
— Сила!

Самосуд-старший поднял руку, как бы попросив слова. Когда все повернули к нему головы, сказал:

— Лекция маленькая. Для них. Вот, братцы, если б не война, шугнул бы я вас отсюда — воробьями серыми разлетелись бы. Во-первых, рановато к золотишку тянуться. Во-вторых, зачем с таких лет горбы наживать? В-третьих... В-третьих, вот война... Еще, может, не то вам придется.

Я ловил каждое слово бригадира, запоминал, не сводил глаз с его лица, которое было спокойным, почти не

менялось от того, что говорил или делал бригадир (и в этом оба Самосуда были очень похожи), мне казалось, да, пожалуй, так оно и было, — это первый взрослый чужой человек так серьезно говорит со мной.

— Значит, дальше. Мы работаем в две смены. С восьми до двенадцати ночи. Ваша — ночь. Сколько хотите, трудитесь. Но не больше шести часов. Понятно? Я отвечаю. И чтоб полный порядок. К утру — подборка, передвижка бакс, чистая бутара.

Он обвел нас остренькими голубыми глазками, чуть усмехнулся про себя.

— Кто бригадир?

Мы замаялись, понемногу отступая, перемигнулись и вытолкнули вперед Самосуда-младшего. Он не очень упирался: раз сам привел, самому и отвечать за всех.

— Не пойдет, — сказал Самосуд-старший.

Кто-то из старателей спросил:

— Почему это?

— Два начальника в одном доме — нехорошо. Ругаться будем.

Все засмеялись, мы тоже.

— Ты будешь, — указал Самосуд-старший на Клима.

— Я? — переспросил Клим, ткнув себя кулаком в грудь.

— Ты.

Клим посмотрел на старателей, на нас. Никто не смеялся: значит, всерьез. Выждал немного: может, еще что-то переменится или высказаться кто-нибудь захочет. Все молчали, считая это решенным делом, и Клим выговорил:

— Ладно.

— Собрание закрываю. Когда выходить — скажу.

Старатели поднялись, взяли кирки, лопаты, пошли к стене отвала, Самосуд-старший стал на бутару. Мы посмотрели, понаблюдали немного — это теперь и наша работа, — хоть и знали все наизусть. Потом разом, не сговариваясь, пустились вниз, к Семитке.

Бежали долго, пока не запыхались, пока держали ноги главных бегунов — Клима и Самосуда. На зеленой траве возле речки повалились, будто нас срезали косой или пулеметом, и долго, просто так, хохотали. От радости. Оттого, что выдержали такой разговор. Что будем работать. Что очень, очень хороший вечер, и еще тепло

и можно искупаться. Можно просто так поваляться в траве, поболтать. Или лучше помолчать. Надо учиться молчать. Ведь мы сегодня постарели лет на пять, не меньше. Мы теперь — взрослые. К этому тоже надо привыкнуть.

В поселок пришли тихие, очень серьезные. Прощаясь, молча пожали друг другу руки. Клим сказал:

— Завтра — бомбоубежище.

Кивнули:

— Ладно.

Нам с Самосудом в одну сторону. Идем рядом. Говорить совсем не о чем. Да и устали сегодня порядочно. Так, какими-то словечками перебрасываемся.

— Не охота на бомбоубежище...

— Надо.

— Ага.

— Хорошее золото в отвале?

— Среднее, отец говорит. Не хуже чем в забое получается.

— Вот и отвал.

— Он старый.

— Да.

Вдруг я вспоминаю о нашем золоте (3 грамма 200 миллиграммов), мы еще никуда его не дели — это наша тайна. И мне она тяжела. Особенно сейчас, сегодня. Будем все вместе работать, бригадой. А у нас свое золото. Будто обманываем Клим и Врю. Нам надо что-то сделать, как-то так от него избавиться, чтобы никогда потом не было стыдно. Сам я ничего не могу придумать. Все приходит на ум: сдать в золотоскупку, получить боны. А что купишь на боны? Если вещь какую-нибудь, заметно станет. Если еды — противно потихоньку вдвоем наедаться.

Беру за рукав Самосуда, останавливаю.

— Как мы с этим золотом, а?

— Сдать надо.

— Нехорошо как-то.

Самосуд думает, вздыхает, вертит головой.

— Н-нехорошо.

— Как же?

Самосуд еще думает, морщит лоб, хмурится.

— П-придумаем, ладно? П-потом, ладно?

— Придумаем.

— Н-ну, пока!

Он уходит к своему дому, я шагаю потихоньку дальше. Домой не хочется: Васейкина все равно еще нет, с теткой мне делать нечего; опять начнет вычитывать: где пропадал весь день, не жравши почти, почему такие грязные штаны, вот напишу родителям, пусть заберут такого хулигана, мочи моей нет, за своими некогда смотреть, их двое маленьких. Вообще обидно и тяжело жить даже у родных теток. А у чужих так и не знаю как. Лучше дома, лучше со своими, они хоть не говорят, что навязался. Не говорит и Васейкин, но ведь видется приходится больше с теткой.

Вхожу во двор, пробираюсь к лестнице и влезаю на крышу сеней. Сажусь, подтянув колени к подбородку. Здесь хорошо. Из окон меня не заметят, от нагретых за день досок крыши пахнет сухим деревом, и видно отсюда далеко: почти весь Главстан, речку Семитку, сопки — вплоть до синего неба, черную тайгу. И я увижу, когда придет с работы Васейкин.

Достаю письмо из дома, от отца, читаю в третий раз. «Здравствуй, сын! (Отец всегда относится ко мне грубовато, напоминая этим, что я уже почти взрослый.) У нас дома пока все хорошо, твои сестры и братишка здоровы, а мать хворает, но ничего, держится. Вот война — так это всем плохо, беда. Думаю, долгая будет война. И меня скоро призовут. Значит, сын, мы должны решить все вместе, сообща, как нам жить дальше. Оставаться тебе на Главстане или ехать домой? Я думал, прикидывал. Решай сам. Если хочешь учиться, живи у тетки еще зиму. А там видно будет. Если надоело, приезжай, в такое время лучше быть всем в одном доме. А заберут меня — сразу приезжай, матери одной будет трудно с ребятишками. Да и думать о нас двоих — заболеть можно. Напиши, как ты решишь. Подумай хорошенько, сын. Ты у меня уже взрослый. Кстати, большой привет тебе от Бэркэна, он рыбачит в колхозе, хорошо зарабатывает.

В остальном жизнь наша обычная, как всегда. Трудимся. Погода в этом году хорошая, море совсем мало штормит. Подошла к берегу летняя кета. Начинаем лов. Планы сильно повысили. Понятно, война — всем война. Будет кто ехать к вам — пришлю соленой рыбки. Веди себя хорошо. Целует тебя мама и все мы. До свидания».

Отец работает бухгалтером на культбазе, хотя у него всего четыре класса образования. Но те старые четыре класса, он говорит, теперешним семи равняются. Очень строго их учили в казачьей станице. И правда, отец легко разбирался в моей алгебре. Вот только не знаю, почему он не любил рассказывать о своей жизни в деревне. Как воевал с хунхузами, какой у него был боевой конь, сабля. Приходилось ли убивать врагов. Васейкин рассказывает, особенно когда выпьет, больше от него я и узнал, откуда мы все вышли.

Я думаю про это, а у самого на уме другое. Очень важное. Потому я и не хочу сразу думать о нем. Немного побаиваюсь. А думать надо. Как мне быть: ехать домой или остаться здесь еще на одну зиму? Задал мне отец задачу. Ехать — значит, все: может, уже никогда не попаду в школу. Остаться — кто знает, как пойдет дальше война? Заберут отца, мать не сможет помогать мне. А если и Васейкина призовут? У тетки двое на руках, да я еще. Может, матери переехать сюда, жить всей родней вместе? Надо с Васейкиным посоветоваться.

По правде сказать, мне не хочется возвращаться в Тугур: и жил там долго, и друзья, кроме Бэркэна, поразъехались. Дедушка Розов и Лия Матвеевна «откочевали» вместе с музеем на Большую землю. Старшая сестра окончила техникум в Хабаровске, вышла замуж. Нет Кольки Нечаева, Володьки Зеленца — эти уже на фронте, наверное. Культбазой командует Ван-Сид Боровиков, в интернате за главную — Колобкова, переселенцев навезли... Бэркэн работать пошел, правильно сделал: он природный рыбак, охотник, да и живет дома, на родной земле. А я и там и здесь гостем буду.

Чернеют сопки, и кажется — вся тьма идет от них, растекается, как краска, разбавленная водой. Чернеет все — дома, земля, деревья. Вот первые красивые огоньки засветились в окнах — (поздно теперь зажигают лампы: на керосин лимит). И тихо в поселке, даже ребятишки в войну не играют. Я сижу, подремываю: очень устал за весь сегодняшний день. Потом слышу размеренные, широкие шаги, издали узнаю: Васейкин. Подходит, стучит калиткой. Негромко окликаю:

— Васейкин!

— А, ты... — устало хрипит он. — Пошли домой.

Клим стоит в конце баксы на бутаре, перелопачивает породу, кричит нам:

— Давай, давай! Уснули там, что ли!

Самосуд, Врио и я, двигаясь по откосу отвала, кирками обрушиваем породу — рассыпчатую гальку с песком и мелкими комками глины, — она падает в желоба, в быстро текущую воду. Размельчается, несется к бутаре, скапливается на грохоте — стальном изрешеченном листе, — ее ворошит лопатой Клим и чистую гальку отшвыривает в сторону. И покрикивает:

— Давай! Поднажмем!

Мы понимаем: на баксе надо много перегнать породы, чтобы намыть хотя бы грамм золота, — ведь руда была уже когда-то промыта. Надо кайлить и кайлить. И кайлим, молча, старательно, приспособливаясь к работе: как выгоднее стать, чтобы не съезжать вместе с породой к желобам, как одним ударом разбивать слежавшиеся комья. У каждого дела свои хитрости. Надо привыкнуть, натренироваться. И главное, конечно, чтобы сыпалась и сыпалась порода в желоба.

А ночь лунная, чистая и какая-то очень звучная. Крикни слово — перекатится много раз в горах, словно твердый шарик, и клекнет, упав на дно распада. Кажется, слышно все сразу: голоса в поселке, глухой рокот Бочки, шелест листьев от неощутимого ветерка, стук гальки о дно желобов, журчание воды, — и в то же время один звук не мешает другому, живет сам по себе, как самые разные краски, положенные рядом на белую бумагу.

— Давай! — И эхо четко и округло перекатывает: «Вай, вай!..»

Работаем уже больше часа. Будоражим откос, обрушиваем вниз породу. Рядом со мной Самосуд, он сопит, отдувается, будто лезет в гору. Его кирка чаще, чем моя, стучит о гальку, и порода у него из-под ног течет нестихающим ручьем. Он сильный, Самосуд, может быть, самый сильный из всех нас. Я не берусь с ним соревноваться. О Врио и говорить нечего: едва копошится с краю, что-то и не слышно его. Лишь бы сам не скатился к желобам.

Ковыряю, отталкиваю породу ногами, смахиваю рукавом пот со лба, думаю: «Простое дело, а сколько силы надо, если все вручную. Вот оно как достается, золотишко!»

Его добывают лотком, бутарами, драгами, Бочкой. Можно баксами — в старых отвалах. Но суть во всем та же: размыть породу, отделить глину и камни, чтобы мелкий песок вместе с крупцами желтого металла осел, задержался на самом дне решет или в бороздках лотка. У нас на Главстане нет ни одной драги (перевели на другие, богатые прииски), а Бочка пока еще работает. Это и в самом деле бочка — большущая, железная, с множеством отверстий по бокам. В нее сваливают сразу по десятку вагонеток руды, пускают воду, и, вращаясь над решетами, Бочка вымывает золото. Просто, понятно. Но грохот от нее — сильнейший, на весь поселок. Поначалу я среди ночи просыпался.

И сюда слышно Бочку, чуть замри — ее железный лязг пробьется сквозь рощи, рокот Семитки, журчание наших бакс. Это — машинное сердце Главстана. Пока бьется — все нормально, а когда остановится, жизнь поселка и людей станет сразу другой.

Я думаю обо всем этом, чтобы не так тяжело, нудно было кайлить. Отвлекаю себя. И руки, как бы вовсе и не мои, поднимают и опускают кирку. Сыплется, сыплется галька с комками глины в желоба. Видно, что плохо промыли руду первые добытчики — торопились, побольше бы схватить. Говорят, даже самородки попадают в комках глины. Вот бы и нам один достался! Грамма на три. Можно было бы сдать его в фонд обороны. Нудная все-таки работа, механическая. Только ожидание: «Что будет?» — это волнует немножко. «А вдруг!» Но лотком мыть тяжелее, это я теперь знаю — потаскал настоящую руду.

Смотрю на Самосуда. Он сопит, отдувается — все лезет и лезет в гору. Мужичок-кержачок. Дубовая старательская порода. А Врио что-то не видно. Куда запропал? Вон он где: устроился в ямке, скрючился и сидит. Может, уснул? Нам бы тоже не помешало отдохнуть — что-то спина деревянной, нечувствительной сделалась. Крикнуть Самосуду? Нет, не буду. Потом скажут — первым сдался. Потерплю. Врио — пусть, слабый человек, ему бы дома сидеть, может, полечиться на курор-

те: какая-то болезнь его точит. А отец у Врио — он показывал фото — рослый, плечистый и очень красивый, в военной форме. Ремни крест-накрест, кубики на воротнике, наган на боку. Врио ничуть на него не похож... Нет, сейчас скажу Самосуду: «Хватит, надо отдохнуть!» Еще минуты две покайлю...

— Стой! — кричит из сумерек от бутары Клим.

Бросаем кирки, спускаемся вниз — по пути я толкаю, бужу Врио, — вдоль желобов идем к бутаре. Плечи пригибаются, руки кажутся очень длинными, чуть не до земли, а сам весь будто укоротился, стал маленьким и замученным. Клим сидит на деревянной стенке бутары, курит папироску, — хорошо, здесь никто не видит! Стальной лист грохота у него пуст, гальку всю он отбросил: тусклой, поблескивающей горкой она возвышается метрах в двух от бутары (так и полагается), и незамутненная вода, падая из желоба, легко, невидимо проваливается в отверстия грохота.

— Дай курнуть, — говорит сопя Самосуд.

Клим затягивается, аж потрескивает табак, щурясь, смотрит на окурок, отдает Самосуду. Тот курит неторопливо, мечтательно. Когда огонь начинает припекать пальцы, сует мне:

— Потяни.

Тяну всего один раз, больше не могу: задохнусь. И отказаться никак нельзя: мужик я или нет? Отбрасываю истлевший окурок, не предлагая Врио. Ему совсем нельзя.

— Тачек полста промыли, — сказал Клим.

— Больше, — буркнул Самосуд.

— Полста тоже неплохо, — решил вслух я.

— Еще бы! — слабо воскликнул Врио, поглядел каждому в лицо и почему-то весело спросил: — Может, хватит, а?

— Ты что? — Клим привстал. — Да с этой руды полграмма металла не будет.

— Да я нет. Да я так...

— Нечего было братья!

— Ты на бутаре...

— А, вон ты как! — Клим подошел к Врио, наклонился над ним, сунув руки в карманы. — Становись, пожалуйста! Только не заплачь.

Зря это Врио о бутаре. Просто не понимает чело-

век. На бутаре вдвое больше силы надо, и работа очень честная должна быть: чтобы перелопачивать породу, промывать как следует, а не отбрасывать какую попало. Стоящий на бутаре должен один перешвырять всю гальку (кроме смытого ила), которую мы втроем обрушиваем в желоба. И не кричать каждую минуту: «Стоп! Завал!» Зря, совсем зря Врио. Шибко устал, наверное, человек.

— Он пошутил, понимать надо, — сказал я.

— Нет, пусть станет!

Молчаливый Самосуд вдруг потихоньку засмеялся. Отчего, над кем — неизвестно. Сидит, смотрит в землю и смеется. Теперь мы молчим, ждем — что он скажет? Нет, я давно заметил: что-то диковатое, лешачье есть в нем. Вот так засмеется вдруг — слушаешь, и неловко как-то делается. А ночью так и совсем нехорошо. Наконец он затих, прислушался (журчала вода в бутаре, билась о камни внизу Семитка, железный рокот распространяла на всю тайгу Бочка) и, поднимаясь, выговорил:

— Л-ладно, п-пошли.

Идем к отвалу не торопясь, чтобы выгадать еще минуту отдыха, больше иззябнуть на холодноватом воздухе, чтобы захотелось согреться, и я думаю: «Все-таки надо было Самосу да выбрать бригадиром. Его я немножко побаиваюсь. И Врио с ним никогда не спорит. А Клим начальником любит быть — такая привычка — и потому кричит много, обругать может. В любом деле главное — спокойно надо».

Берем кирки, Врио даем лопату: это легче — пусть подшевеливает породу, чтобы лучше скатывалась, а мы вдвоем будем кайлить. Разом бьем кирками по отвалу, оживают галька, глина, песок; шелестя, катятся, ползут вниз, стучат о дно желобов, всплескивают воду. Все другие звуки для нас пропадают, и только ночь, густосиняя, страшновато-огромная, следит за нами несчетными мигалками звезд.

Прохладно, таинственно. Так, будто читаешь книгу о кладах, пиратах, привидениях. Интересно, хоть и не очень понятно. Что такое эта порода — она горько пахнет сырой глиной, от нее саднит в горле, — сколько в ней золота, откуда оно вообще взялось? Что делается в желобах, где сильная вода перекручивает, разминает

породу? А там, в темноте бутары? Оседают ли золотые блески на дно решет, не проскальзывают ли поверху с водой? Наверное, невозможно вымыть все, до последней крошечной золотинки... Сколько скопилось его там? Вот бы самородочек? Но не увидишь, не подсмотришь, пока не кончишь работать, — оно такое, не любит глаз, в темноте, таинственно, превращается из серой породы в желтый металл. Поэтому, наверное, ему моллились старатели, верили в удачу, хотели угодить лесным духам. А сколько погибло из-за него людей? Про это можно вычитать в книгах, можно послушать стари-ков — они и пострашнее кое-что расскажут. Почему его называли «золото», почему ценят превыше всего на свете? Зачем так много надо металла, который ни на что не пригоден — не откуешь топора, не отольешь пули, — кроме как на украшения богатым? И почему на него можно все купить: и хлеб без нормы, и топор самый лучший, и пушку для армии где-нибудь в Америке? Может, и в самом деле это не просто металл?..

Шуршит, течет галька вниз, в темноту. Ее подхватывает напряженная струя воды, как лента транспортера, уносит к бутаре. Я уже не чувствую усталости: занемела спина, руки и ноги, все это сделалось будто не моим, и оттого стало совсем легко. Словно я — это и не я вовсе, а так, частица большой машины: сыплющегося отвала, желобов, воды, бутары. И Клим, едва видимый в сумерках, — частица. И Самосуд. И Врио... Нет, Врио — частица, вышедшая из строя: он сидит, положив на колени лопату, дремлет.

Если отвести глаза от черноты отвала, дать им немножко отдохнуть в пустоте воздуха, увидишь: уже светает. Небо зеленеет за сопками, меркнут и очень часто, на прощанье, мигают звезды. Туманом, как мутной высокой водой, заполняется дремотный распадок, в котором течет Семитка. И уже заметны цвета багульниковых сопок. Они просыпаются, наполняют светлеющее пространство своим запахом.

— Хор-рошо! — с легким стоном выговаривает Самосуд, прогибает спину, смотрит в небо.

Сначала мне кажется, что хорошо ему потому, что уже утро, скоро бросим работу, но потом понимаю: нет, совсем нет. Хорошо ему оттого, что здорово наработался — до стога от усталости, до тумана в голове. Вот это

человек, это мужик! Еще и не жил как следует, а знает работу. Умеет работать. И хорошо ему от такой тяжелой работы.

Я чувствую, что и мне хорошо. Ну, не так, наверное, как Самосуду, поменьше. И все-таки, прислушавшись к себе, чувствую: легко, радостно от усталости, как перед днем рождения, когда ожидаешь, гадая, какой купят тебе подарок.

Течет время шумом породы, плеском воды, грохотом бутары, стремлением из тьмы к свету; мы делаем подборку возле желобов, поддвигаем их ближе к срезу отвала, и Клим протяжно кричит:

— Конча-ай!

Осторожно будим, чтобы не напугать, Врио, прихватываем инструмент, бредем к бутаре, — Клим знает, у него часы. Да и так уже видно: за сопками, за иззубренной кромкой черного леса алеет тонким новеньким ситчи́ком заря.

— Ну как, работнички? — спрашивает Клим. Он стоит, сложив руки на черенке лопаты и уперев в них подбородок. Вид у него почти не усталый, лишь немного сутулятся плечи да лицо заляпано синеватым илом. Тоже хороший трудяга, хоть и красивый, нежный на взгляд, и мать у него с высшим образованием. Говорят, очень она не пускала Клина на баксы.

— А Врио сонный что-то. Спал, что ли?

— Работал. — Я не гляжу на Врио, чтобы не видеть его кислое, плаксивое лицо и не стушеваться. Думаю, почему я вру Климу. Ведь я его не боюсь. Неужели потому, что он бригадир, какой-то мой начальник?

— Н-нормально, — говорит Самосуд.

И он тоже. А уж ему-то и совсем плевать на Клина. Он, может быть, больше для нас всех начальник. Удивительно, непонятно. Такая, наверное, душа в каждом: побаиваться начальства?

— Съемка, работнички! — так же грубовато, приказывая, говорит Клим, отбрасывает лопату, наклоняется к бутаре и поднимает край грохота. Мы подхватываем с боков, вынимаем грохот из деревянных пазов бутары, относим в сторону.

Видим решета с множеством клеток, заполненных крупным чистым песком. Смотрим. Стоим минуту. Потом Клим поднимает решета, осторожно, отряхивая песок,

кладет их на бугорок вымытой гальки. Теперь видна редкая железная сетка, заполненная мелким песком. И ее, страшивая, поднимает и осторожно относит в сторону Клим.

На дне бутары лежит серое ворсистое сукно. На нем множество бугорков крупного и мелкого песка. Подходим к бутаре с четырех углов, нежно отрываем от досок сукно, страшиваем к середине песок и высыпаем его в обыкновенный старательский лоток. Клим ставит его под желоб, набирает воды и полощет сукно, смывая все, до последней песчинки.

— Давай, — негромко, почти шепотом говорит Клим, отступая от лотка.

Мы понимаем, что такое «давай», и Самосуд, наклонившись, взяв в руки лоток, начинает промывку. Это его работа. Лучше Самосуда никто этого не сделает.

Он промывает, а мы налаживаем бутару. Кладем сукно, сетку, решета, сверху, как полагается, — стальной лист грохота. И пускаем воду, чтобы прополоскалась, прочистилась бутара. Чтобы даже не подумали о нас ничего плохого старатели.

Потом подходим к Самосуду, приседаем рядом с ним на корточки. Молча и все больше замирая, смотрим в лоток.

Самосуд трясет, двигает челноком, вертит лоток в лужице (специально для этого вырытой возле бутары), окунает его совсем, ловит, как рыбу, пропускает струи воды поверху (кажется, смоем все в мутную лужицу), но снова лоток всплывает, пляшет лодочкой на волнах, качает в себе воду, песок, шлих, — и все легче, пустее делается с каждой минутой.

Светлеет вода, чаще, нежнее трясет лоток Самосуд. Будто тонкое стекло, хрустальное блюдо. Кажется, слышен прозрачный, как звук сосулек на ветру, звон. Наконец Самосуд, напрягши руки, едва заметно сливает воду, будто она враз испаряется, и Клим, пригнув голову к лотку, вполголоса кричит:

— Ура, работники!

На дне лотка, в поперечном желобке ровной, плотной черно-желтой полоской лежит металл. Мы наклоняемся к нему, смотрим, чтобы почувствовать радость, ласкаем его глазами и улыбаемся — не друг другу, а ему, — и неловко как-то нам, стыдно переглянуться, мы

знаем это, но все-таки смотрим на желтую полоску металла и улыбаемся ему.

— Хватит, — сказал кто-то.

Клим вынул из кармана жестяную баночку (такую же, как у Самосуда, из-под монпансье), смыл в нее, плеснув ладошкой воду, золотой песок и велел развести костерик. Прогрел над огнем, просушил баночку, а после достал из другого кармана пузырек, вынул зубами пробку, капнул в баночку несколько крупных матово-белых, зябко дрожащих капель.

— Что это? — спросил я.

— Увидишь.

Капли побегали, поплясали по дну баночки, слились в одну большую, втянув в себя золотые блески. Черный шлик отделился, лежал на дне перетертым пеплом. Клим выкатил тяжелый шарик себе на ладонь, стряхнул шлик, опять опустил шарик в баночку и поставил ее поближе к огню. На моих глазах шарик стал уменьшаться, играя бликами, будто кипя, потом сделался плоским и исчез.

— Ртуть, — сказал Самосуд.

На дне баночки желтым бугорком лежало чистое золото.

Из третьего кармана Клим вынул крошечные аптекарские весы, высыпал в одну чашечку металл, на другую положил четыре гирьки, величиной с горошину. Добавил еще одну. И еще, совсем мизерную.

— Пять триста.

— Ur-ra! — закричал, перепугав нас, Врио.

Золото надо сдавать сразу. Намыл — сдай. Такое правило. Держать у себя нельзя. Мало ли что с ним может случиться: выкрадут, потеряешь, себе оставишь. Золото, оно такое: и твое и не твое. Даже больше не твое. Поэтому его надо скорее сдать, чтобы всем спокойнее было, получить за него бумажки — боны, которые можно отнести в магазин. Захочешь придержать их — держи у себя сколько вздумается, если хлеба по карточкам тебе хватает, — никто ничего не скажет.

Мы стоим на улице Главстана, возле школьного забора (за ним наше бомбоубежище), и спорим, кому идти сдавать золото. Конечно, это не трудное дело, да-

же самое легкое, но... В том-то все и дело, что «но». В приемочной кассе за железной решеткой сидит Маруся, Карина. Та самая Маруся, за которой мы подглядывали из кустов, когда она купалась с девчонками на речке. Об этом мы вспомнили сейчас, проходя мимо школы и увидев на бугре одинокий дом под железной красной крышей, с зарешеченными окнами, стеклянной вывеской у двери. И вот стоим, переминаемся, нудно спорим.

— Давай ты, — говорит Клим Самосуду.

— Т-ты первый б-бежал.

— Ты, — тычет в меня Клим.

— Сам. Бригадиру полагается.

— Врио, ты, — хмурится и краснеет Клим.

— Ага, ага, — зачастил испуганный Врио. — Она меня хворостиной достала (раньше он про это молчал), узнала, крикнула: «Матери скажу!» Не пойду!

— Л-ладно, — махнул рукой Самосуд. Я подумал уже, что он согласился, но Самосуд выговорил дальше: — Д-давайте жребий. — Вынул из кармана спичечный коробок, достал четыре спички, надломил одну. — К-кому дос-достанется, т-тот пойдет. — Протянул к нам кулак с зажатыми спичками.

— Т-тани, — сказал мне Клим.

— Сам первый.

— Т-тани, — подтолкнул Клим Врио.

Врио отпрыгнул к забору.

Самосуд засмеялся, подставил кулак к самому носу Клина.

— Д-давай, как бригадир.

Клим стал нащупывать пальцами спички, глядя куда-то в сторону, и вдруг, одернув руку, сказал:

— П-постойте, ребя!

Мы оглянулись. По той стороне улицы шла, не замечая нас, Катька. Она была в синем платье с белым пояском, в туфлях на каблуках; прежних косиц у нее как не бывало, вместо них — коротко подстриженные и прямо зачесанные волосы. Многие девчонки обрезают косы, а вот Катька тоже (теперь война, говорят, некогда собой заниматься, а если в армию призовут — тем более). Катьку можно было и не узнать, если не приглядеться: десятиклассницы младше кажутся. Клим окликнул ее.

Катька, издали разглядывая нас, неторопливо подошла, пожала каждому руку.

— Вы что здесь, мальчики?

— Да вот... — Клим отвернулся, морща нос и краснея кончиками ушей. — Сдай металл.

— А, вы намыли? Молодцы, правда?

— Сдай.

— А сами? — Катька обвела нас серыми, большущими, в коричневых крапинках, глазами. — Пойдите, пойдите... — И засмеялась. Ой, не могу!

Мы стояли смирно, пока Катька смеялась, доставала из кармашка пахнущий одеколоном платочек, обшитый кружевами, промокала глаза.

— Так вам и надо, — сказала она.

Самосуд протяжно вздохнул, pokrutil головой, отступил на шаг в сторону. Это означало, что ему надоело представление: тут не клуб, надо разбредаться по домам — ночь-то не спали.

— Ладно, мальчики, — сразу посерьезнела Катька. — Сдам. Только договор: берете меня в бригаду.

— Как?

— Тебя?

— З-зачем еще?

Даже Врио не удержался:

— Ее?

На какую-то минуту мы вовсе позабыли, о чем шел разговор, помнили только одно: «Катьку, эту Катьку на каблуках, взять в бригаду. Никогда!» Мы возмущались, фыркали, зло поглядывали на нее: «Вот еще выдумала! Да засмеют нас старатели!» Самосуд отодвинулся дальше, будто опасаясь, что его могут втянуть в позорное дело.

— Тогда гуд бай, мальчики!

Клим развел руки, посмотрел ей в спину, повернулся к нам, сказал:

— Ребята...

Он сказал это так, что мы враз припомнили и Маруську Карину, и свое золото, и что нам придется еще не раз ходить в кассу, а Маруська может рассказать всем в конторе. В общем-то нечего задаваться. Если кто уж очень гордый, пусть сейчас же идет и сдает металл.

— Кать! — окликнул Клим.

Она вернулась. Но какая-то другая — чуть грустная,

с опущенными глазами. Не ожидая, что ей скажут, заговорила быстро:

— Возьмите, а, мальчики?.. Я не помешаю... Ну там чай подогрею... Еду, если надо, сварю. Умею. И помогу, у меня силы хватит. — Она протянула к нам ладошки. — Вот, мозоли даже. На огороде работала.

— Д-других не потащишь? — спросил Самосуд, опасаясь, что наша бригада понемногу делается женской.

— Нет-нет! — замотала головой Катька.

— А туфли снимешь? — спросил Врно.

— Да-да! — закивала Катька. — У меня сапоги есть.

— И болтать не будешь? — спросил я. |

— Вот! — Катька высунула язык, чиркнула по нему пальцем.

— Ладно, — сказал Клим.

Он подал ей пакетик, свернутый аптекарским порошком, она сжала его в ладошке, повернулась на каблучках и зашагала к конторе. Мы смотрели ей вслед, пока она не скрылась в двери, обитой зеленой клеенкой, потом привалились к забору, в щели которого тянуло сыростью (от школьного бомбоубежища), стали терпеливо ждать. В контору входили и выходили люди. Старатели-бригадиры с бутар и бакс, женщины — эти, наверное, сдавали за своих ненадежных мужиков, лотошников, чтобы уберечь боны. Вышли два старшекласника, веселые: тоже работают где-то, хорошо сдали. А Катьки все не было. Долго не было. Я надвинул на глаза кепку, начал подремывать.

Потом увидел Катькины ноги, платье, белый поясok. Вскочил. Катька веером держала в руке пять больших золотистых бумаг, испечатанных черными цифрами, и белозубо смеялась.

## 8

Багульниковые сопки потеряли цвет, будто вылиняли от солнца или смыли с них акварель летние проливные дожди. Они сделались бурыми, почти коричневыми, под цвет багульниковой листвы, — отяжелели, грубо выперли к небу свои горбы. В таежной речке Керби, — как случается каждый год, — появилась большая рыба — кета, пришедшая из далекого Охотского моря. Люди потянулись в сопки по узенькому, петлистому руслу Семит-

ки, на промысел. И не ради охоты и удовольствия — многим теперь не хватало еды.

Ходил и двое суток пропадал в тайге Васейкин. Вернулся изъеденный комарами, отощавший. Принес в рюкзаке десяток распотрошенных тяжелых (как только донес!) рыбин, две литровые банки малосолевой красной икры. Вернулся вечером, выпил, сонно поел и завалился спать. А утром, когда он лежал еще в постели, почтальонша вручила ему повестку из районного военкомата.

Он долго рассматривал продолговатую бумажку с четко вписанной черными чернилами фамилией, именем и отчеством, ощупывал ее пальцами, поглядел на просвет. Неизвестно, сколько еще времени он изучал бы эту бумажку, но тут появилась из кухни тетка, глянула, подняла к лицу ладони и заголосила:

— Ой, ты кормилец наш родненький!.. Да убьют же тебя на войне!.. На кого ты нас спокоишь...

Проснулись и враз заорали ребятишки.

Васейкин лежал, слушал, как бы соображая для себя, что все это значит, потом неторопливо поднялся, натянул брюки, рубашку, причесался и негромко, веско сказал:

— Цыц, говорю.

Ребятишки затихли, тетка перестала причитать, спокойной, будто и не голосила вовсе, спросила:

— Когда же это, Вась?

— Завтра, к десяти утра.

— Ой, батюшки вы мои! — завела было опять тетка, но спохватилась, прижимая фартук к глазам, убежала на кухню.

Свесив голову, Васейкин заходил с угла в угол, словно для чего-то отмеряя шагами комнату, остановился у окна, посмотрел, ничего не видя, во двор, снова зашагал; заметил, что я не сплю, подошел, сел на край койки и первый раз за утро улыбнулся.

— Ну вот, дружба. Что я тебе говорил? Казака возьмут. На войну возьмут. Как без казака? Без нас никакая война не обходилась. Раньше за Россию стояли, опять постоим.

— А как же хлеб? — спросил я.

— Напекут. Федька справится. Теперь-то сколько его надо!

Васейкин дернул меня за волосы, к нему прибежали детишки — им не нравилось, что отец так долго возле меня, — он посадил их себе на колени, повозился, поцеловал, погладил лохматые головенки. А потом было слышно из кухни, как он разговаривал с теткой, даже покрикивал — это чтобы тетка не очень распускала нюни, так и сказал: «Не распускай нюни!» — и распорядился звать к обеду гостей. Бочка браги бродила в сениях вторую неделю (он, наверное, ждал повестки), сам пошел в огород подкапывать картошку, собирать огурцы.

Было воскресенье, и к половине дня дом Васейкина наполнился гостями. Пришли званные и незванные. На шум, на сборище. Жали хозяину руку, поздравляли, будто он получил награду. Васейкин усаживал всех за длинный стол, устроенный из широких плах, застланных клеенками, наливал в пол-литровые кружки брагу. Ели картошку, огурцы, вареную рыбу — кету (очень кстати Васейкин принес ее), но хлеб, нарезанный тоненькими кусочками, не брали. Он так и лежал, нетронутый, в большой стеклянной вазе посреди стола, как украшение или воспоминание о прежних днях.

Я помогал тетке и Васейкину наливать брагу из бочки, топил печку, носил еду. И каждый раз, когда подходил к столу и видел в вазе горку хлеба, которую обсиживали мухи, я как-то пугался и думал: «Нет, не наедятся гости, сколько бы мы ни выставили картошки, рыбы и огурцов!» Вот опьянеют — это да, брага васейкинская «с секретом», на каких-то особенных заквасках, крепкая. Вон уже Федька повалил свою детскую головенку на руки (как он справится один в пекарне — понять не могу!), два других мужика на краю стола кричат друг другу: «Ты меня уважаешь?» — и целуются. А сколько выпили? По две кружки всего.

Скоро мне надоела вся эта гулянка: пьют, едят, будто последний раз в жизни, даже песни хорошей не спели; затянули «Бродягу» — и то бабы перебили, пошли плясать. Васейкин попал в середину стола, его плотно окружили, чокаются, говорят: «Бей фашиста!» Рыжий бородатый мужик, из старателей, навалился на него обеими ручищами, плачет, бормочет: «Моя родная Красная Армия». Теперь Васейкин надолго застрянет там, а я из-за него вертелся, помогал, чтобы на глазах быть:

может, он захочет сказать мне что-нибудь, поговорить. Ведь не на один же день уезжает, неизвестно, когда увидимся. Но раз он так занят — я могу уйти пока, потому что в доме от тесноты и дыма дышать нечем.

В сенях меня окликнула тетка (наливала из бочки брагу), помог ей, она спросила:

— Ты куда?

— Погуляю.

Помолчала, всхлипнула в темноте, протяжно вздохнула:

— Дядь Вась-то наш... Знаешь... Он заявленья все писал. Просился. Вот и взяли-то его. Почитай, одного с поселка... Ой, головушка моя разнесчастная!

— Ладно вам! — сказал я как мог строже, по-васейкински, и открыл тетке дверь.

Она проворно подхватила кастрюлю, вполне нормальным голосом (меняться она могла прямо-таки мгновенно, не хуже актеры) сказала мне:

— На баксы-то не ходи сегодня.

— Не пойду.

— Ну побегай тогда.

На улице ясно, тихо и чувствуется, что скоро, в ближайшие дни, наступит жара. Здесь она трудная, на приисках, в глубине тайги и сопок, — припечет багульник, лиственницы, елушник, выжмет из всего запахи и стоит до самой темноты банной сыростью, деться некуда. А пока ничего, пока еще воздух с ночи держится или, может, с весны еще не прогрелся. Я иду просто так, куда-нибудь. Однако, на всякий случай, выражаю лицом и походкой озабоченность (в моем возрасте, да еще в войну, просто так шляться стыдно), хоть мне сегодня по-настоящему грустно, хочется плакать и наплевать на все. Главное, чтобы никому не пришлось в голову жалеть меня. От жалости можно ненормальным сделаться.

Один, второй дом. Ребятишки, куры, козы белые и черные. (Здесь почему-то не держат коров, у всех козы, по две, по четыре, а у татар — по десятку целому; и молоко и мясо от них.) Дома же не очень крепкие, срубленные когда-то наспех, да так и застарели, потемнев и покосившись. Никто здесь не собирался жить долго, а теперь, кажется, и уезжать никому не хочется. Куда уезжать? Третий, четвертый дом... На скамеечке у ка-

литки сидит Зина, подруга Катькина, читает книжку. Хочу пройти мимо, окликает:

— Задавалка! Своих не узнаешь!

Это правда — Зина своя. Она для меня, может, больше всех других девчонок своя. И не только девчонок. Мы с ней дружим. Вернее, она сама выбрала меня и стала дружить. Девчонки по-другому не могут, им надо заботиться о ком-нибудь, а у меня с алгеброй и геометрией плохо, просто я тупой в этих предметах, до треска в голове думаю, и все равно выше тройки не получается. Зина всю зиму помогала, приходила ко мне домой, нас даже дразнить начали, но она ничуть не стеснялась. Не знаю, лучше или нет стал я соображать в алгебре и геометрии, однако экзамены сдал на четверку. Потом стихотворение написал Зине, так и обозначил сверху: «З. Н.» — Зине Наумовой. Всего четыре строчки.

Спасибо, Зина. Ты мне друг.  
И я тебя люблю, конечно.  
Ты появилась как-то вдруг,  
Но будь со мною вечно!

Бумажку с этими стихами сунул ей еще весной, потом она уехала в район гостить к родственникам, и с тех пор я ее не видел. За другими разными делами — войной, работой — позабыл о ней. И сейчас прошел было мимо — уж очень мне плохо сейчас, — но она окликнула. А голос у нее такой, так действует на меня, что я остановился.

Зина подвинулась на скамейке, закрыла книгу «Айвенго» (хорошая книга, глянул — сердце екнуло от счастья), сел, думаю: хоть бы не заговорила о стихотворении — сгореть можно со стыда. Особенно теперь. Война страшная, Васейкин уезжает, людям хлеба не хватает — и какие-то стишки...

— Катьку взяли? — спросила Зина шурясь, будто прицеливаясь в меня, и надувая губы.

— Взяли.

— Лучше всех, что ли?

— Так получилось.

— Как?

— Пусть сама расскажет.

— Уже рассказала! — Зина пододвинулась ко мне, свежо, прохладно пахнула ее белая блузка. — Мы же все вместе там были.

Да, тогда на речке была и Зина, были и другие девчонки. Я подумал об этом, хотел вспомнить, как выглядела Зина в купальнике, и не мог ничего представить себе. Ее словно не было. Зато ничуть не позабыл Маруську Карину, она даже снилась мне, и как-то раз, во сне конечно, я поцеловал ее. Мне сделалось почему-то стыдно сейчас, и, чувствуя, как горячают щеки, я отвернулся. Вот так всегда: подумаю о чем-нибудь, вспомню — и краснею, будто все уже знают, что у меня в голове. Такой «психический» характер.

— Ты рассердился? — тихо спросила Зина, придвигаясь, сбоку заглядывая мне в глаза.

— Нет! — отчаянно мотнул я головой.

— Ага, ист... Знаю тебя.

Она положила ладони в колени, опустила голову; плотный белесый клочок упал ей на лоб, прикрыл лицо (волосы у нее густые, их не держали приколки, гребенка, они мучили ее, но зато и завидовали Зине все школьные девчонки). Что там и говорить — разве можно сравнить ее с Маруськой Кариной. Как лебедя с уткой. Да и Катька рядом с ней не очень смотрится. И все-таки я почти никогда не думаю о Зине. Хорошо, что она есть, а думать не хочется. Катька чаще мне вспоминается. Потому, наверное, что она почти взрослая, скоро и замуж может выйти. Сильная еще. А как мы Зину примем в бригаду? Как наденет она резиновые сапоги, брезентовые брюки, возьмет в руки кирку? Все тяжелое, сырое. Невозможно представить Зину — белую, нежную — в таком наряде. Как цветок в старой ржавой банке. Совестно станет за свою грубость, бояться будешь — не случилось бы чего с ней, и работа кувырком пойдет. Но ничего такого сказать Зине я не могу — язык не послушается, а говорить о чем-нибудь надо, чтобы она хоть сейчас не думала о баксах и Катьке, не сердилась на меня: не я придумал так трудно добывать золото.

— Васейкин уезжает, — вдруг вспомнил я.

— Куда?

— На войну.

— Да?.. А говорили, тех, кто... поселенец, не будут забирать.

— По заявлению.

— А-а.

— Он такой.

— Как же вы? Ты?

— Не знаю пока. Поговорю с ним.

Мать у Зины — учительница, преподает в младших классах, отец работает на Бочке каким-то начальником; сильно хромот на одну ногу. Его, конечно, не возьмут в армию, хромые там не нужны. Зине бояться нечего. Но и этого я не сказал ей, вдруг обидится: кому приятно иметь такого отца, который для самого важного дела — для войны — непригоден?

— Ты не уезжай, ладно?

— Не знаю пока.

Зина вздохнула — получилось очень похоже на мою тетку, — и лицо переменялось, будто постарело немножко; она стала смотреть на меня так, словно меня, а не Васейкина забирают на фронт. Очень серьезно, по-взрослому умеет сочувствовать Зина. У нее талант женский. Когда-нибудь, лет через десять, из нее выйдет хорошая жена.

Я поднялся: надо уходить, а то и разреветься можно от всего этого.

— Ну, просто... Просто к вам приду, а?

Сначала я не понял, куда к нам, зачем, но потом вспомнил: опять про баксы она. Точно так же просилась Катька, будто они сговорились, слова одинаковые подготовили, знают, как обмануть нас. Но Катька другое дело, без нее нельзя было... И мы все вместе были. А как я один могу Зине разрешить? Да и нельзя ей идти на баксы, ночью еще; мать узнает — в обморок упадет, отец костылем всю нашу бригаду разгонит.

— Нельзя.

— У-у, задавала!

Вскочила Зина, смерила меня взглядом, словно подумала: «Такой дохлый, не на что посмотреть, а задает-ся!», — быстрыми мелкими шажками пошла к дому, сильно хлопнула калиткой.

Теперь я мог идти. Все хорошо. Зина стала нормальной, как другие девочки; как-нибудь встретимся, поговорим — она не умеет долго сердиться; может, за это время постареет немножко, и мы нарядим ее в сапоги и брюки; или опять уедет в гости к родственникам, — так все и решится само собой. А до зимы далеко. И будет ли вообще теперь зима похожей на прежние зимы?

— Гуд бай! — крикнул я Зине на случай, если она стоит в сенях и следит за мной в щелку.

Пошел дальше по улице. Заглянул во двор к Самосуду, мать сказала — на Семитке, рыбу удит; и Клима Сорина не оказалось дома; а мне надо было сказать, что не приду сегодня, — пусть не заходят ко мне, не ждут на баксах. Пошел к дому Врио. Увидел его во дворе: голый до пояса, затянутый широким ремнем с медной пряжкой (наверное, от отца остался), он, пыхтя, тюкал колуном по круглой чурке. Работал человек, дрова на зиму заготавливал. Поленья аккуратно складывал в штабелек, поближе к сеням, чтобы по морозу далеко не бегать. Вот тебе и Врио: кто бы подумал, что он такой хозяйственный! Окликнул его.

Воткнув в чурку колун, он сонно уставился на меня, будто впервые видел.

— Сегодня не приду.

Заморгал светленькими веками, не понимая.

— Васейкин уезжает.

— Ври!

— На войну.

— Ну?

Надел рубашку, внес в сени колун, повесил замок, вышел за калитку.

— Пошли.

— Куда?

— Я с тобой.

— Ладно, пошли.

Лучше бы, конечно, если со мной пошел Самосуд или Клим, они больше разбираются в жизни, войне, других разных делах; с ними можно выпить браги, песни боевые спеть; и Васейкину показать их приятно: взрослые ребята, почти сами бойцы. Но их нет, и искать некогда. Пусть будет Врио, ладно хоть он попался — все-таки веселей вдвоем в такой трудный день.

Издали услышали шум в доме Васейкина: окна были раскрыты, из них летели на улицу крики, топот, звяканье посуды, тонкие женские голоса, тянувшие какую-то старинную песню. Вошли во двор. И дверь оказалась распахнутой. У затоптанного крыльца, положив голову на ступеньку, спал пьяный Федька-старатель. Два мужика сидели в обнимку, крича друг другу в ухо: «Ты меня узнаешь? Ты солдат?!» Внутри дома синели сумер-

ки от чада, дыма. Люди двигались, раскачивались, как тепи, несуразные бесплотные привидения, и было удивительно, почему так много шума и грохота.

— Пойду к Васейкину! — сказал я себе, Врио, солнечной улице, рожим сопкам. — Надо поговорить.

Он сидел в дыму, еле видимый, с опущенным на глаза белесым, издали будто совсем седым чубом, два мужика стискивали его, висли на его плечах, он кивал им, все ниже опуская голову. Я не знал, как пробраться к нему: по обе стороны стола плясали и выкрикивали частушки бабы, на самом проходе сидел огромный гармонист (казалось, он просто так разводит локти и из ничего делается музыка, потому что гармоники за его плечами не было видно), — подождал, но Васейкин не поднимал головы, и я крикнул:

— Васейкин!

Откинув пятерней со лба чуб, он взгляделся в мою сторону, осторожно стряхнул с плеч руки мужиков, поднялся. Бабы подхватили его, закружили, завизжали вокруг. Выгадав минуту, когда они позабыли о нем, он пробился к двери.

— Поговорить надо, — сказал я.

Правильно, дружба, надо. Пошли.

Вышли во двор, свернули за угол сеней, к сарайчику, сели на чурки возле прошлогодней поленницы. Васейкин закурил, дал мне папиросу. Я взял, не отказываясь и не стыдась: дает, — значит, так надо. Значит, считает, что мне уже можно: война для всех война, все старше самих себя становятся. Закурил, стараясь не очень глубоко затягиваться, чтобы не задохнуться, не опозориться перед Васейкиным. А он молчал, щурясь от дыма, следил за старой рябой курицей, которая суетливо расхаживала возле пустых ящиков, разного хлама, сваленного в углу у забора, поворачивая к нам то один, то другой хитрый глаз. Когда она, сплотившись, вдруг шмыгнула под ящик, Васейкин сказал:

— Проверь. Гнездо там устроила.

Я пошел в угол, к тому ящику, под которым исчезла курица, откинул его. Курица вспорхнула, крикливо закудахтала и, выбивая из себя перья, по-над землей полетела к сараю. В другом, устланном соломой, ящике было гнездо, в нем — штук двадцать чистеньких коричневых, в крапинках, как сама курица, яиц.

— Сколько? — спросил Васейкин.

— Восемнадцать, — сказал я, пересчитав.

— Хорошо. На яичницу себе заберете.

Прикрыв гнездо дном перевернутого ящика, чтобы курица не смогла сесть в него, я вернулся к Васейкину. Он положил мне на плечо руку, близко придвинул свое лицо. Глаза у него были чисто-голубые, от него совсем не пахло брагой.

— Ты не пьяный? — удивился я.

— Что ты, дружба! В такой день — и чтоб папиться!

Помолчал, подымыл, подумал.

— Вот как я решил. Слушай. Пока у нас поживешь. Тетка одна, сам знаешь, ребятишки малые. Письмо напишу твоему отцу. Попрошу. Пока он на месте — поживи. Все-таки мужик. Без мужика какой дом? Мне спокойней будет. Ладно?

Я кивнул.

— Спасибо тебе. Потом рассчитаемся, после войны. В долгу не останусь. Казак казаку — брат на веку.

В доме гремел пол, звякала посуда, гудели голоса. Дом был похож на большую деревянную бомбу, в которой опасно хлокотала взрывчатка — вот-вот произойдет взрыв и во все стороны полетят бревна, кирпичи, щепки.

— Ты не горюй, главное дело. Мне так лучше даже. Сразу отвоюю. Чин чинарем будет. Вернусь — на Амур поеду, к себе в деревню. Все там соберемся. Ты не помнишь... У нас там, знаешь, как? Степь, поля. Земли просторной много. Лодку заведем, рыбачить будем. Землю пахать. Конюхом пойду работать в колхоз. Вот ты говоришь: золото почему не люблю? Да ничего я здесь не люблю — сопки эти, хоть они и красивые, тайгу. Темно, тесно мне в тайге. А золото брезгую в руки брать. Его только возьми — всю жизнь тянуться к нему будешь. Видел Федьку, других видел? Кто из них богатый? Больные люди. А я не могу, мне нельзя. Вот... — Васейкин вытянул перед собой ладони с растопыренными пальцами (широкие ладони, бугроватые — бугорки как мускулы, и грубые от работы, и нежные — сквозь кожу кровь просвечивает). — Мне надо живое что-нибудь ими держать. Для металла жалко их. Понял?

— Да.

— Совсем хорошо, дружба. А теперь мы с тобой

знаешь что?.. Споем вместе. Для двоих, а?.. — И Васейкин, повернувшись ко мне, вполголоса, нахмурясь, запел:

Дан приказ ему на Запад...

## 9

Катится по склону галька, шумит песок, всплескивает в желобах вода; под ногами зыбко, как на осыпи; от растревоженной стены отвала сквозит острой глинистой сыростью; темно. Я едва вижу Катьку, работающую справа от меня, а Самосуд и Врио угадываются шевелящимися ступнями черноты. Цокают кирки о гальку; тяжело ссовываются крупные комья глины. «Их надо разбивать, — думаю я. — Засорим баксы...» И точно. Внизу забурило, захлестало через края желобов вода. Кому-то надо спуститься, разбить затор. Пошел, ругаясь, Самосуд:

— Р-работать на-надо, а не с-спать!

Можно несколько минут передохнуть. Поворачиваюсь спиной к отвалу, сажусь. Бросает кирку Катька, разгибается; закинув руки за спину, тоненько стонет:

— Ой, не могу. Спишушка переламывается!

Она в брюках, свитере, резиновых сапожках. Я смотрю на нее (она плавно раскачивается, как четкая тень самой себе), и мне приятно смотреть на нее. Я думаю об этом, стыжусь: «Вот, рассурился», — поэтому, наверное, говорю ей грубовато и безразлично:

— Сидела бы дома, нюня.

— Сам сиди!

Конечно, и я бы мог что-нибудь покрепче ей выдать. Например: «Заткнись. Когда просилась в бригаду, ласковой была. Между прочим, и я голосовал. А так бы...» Но зачем связываться? Раскричится. Еще заплачет. Девчонки, они тоже как бабы, хоть еще семейной жизнью не живут. Нажалуетса Климу, а тот не любит, когда к Катьке пристают. Она знает это, потому и кричит. Уверена, что ее Клим самый красивый, самый сильный, самый умный. Считаю так, дело твое, но не очень перед другими задавайся: все равно ты девчонка. А нам еще воевать, может, придется, немцы вон уже куда проперли, почти к самой Москве, и все жмут и жмут, страшно подумать, что дальше со всеми нами будет... Ничего

этого, понятно, я не говорю Катьке — не бабий разговор, — просто вздыхаю и отворачиваюсь.

— Уже надулся? — спрашивает она, пробирается по осыпи ко мне, садится рядом.

Я смотрю вниз, где неуклюже, по-мужичьи ворочается Самосуд, стучит лопатой, ворчит, разбирая затор. Из темноты слева свистит, поторапливая, Клим.

— Не сердись, а? — Голос у Катьки совсем другой, тихий, даже жалобный немножко. — Я такая: наговорю, потом сама переживаю. Как моя мать — отцу слова не дает сказать. Ну, помирились, ладно?

Она молчит минуту, ждет. Слышится рокот Бочки, то почему-то глохнущий, будто всю Бочку прикрывают ватным колпаком, то вызывающий четко, близко, каждым камнем, каждой железкой, будто Бочка по невидимым рельсам подъезжает к нам вплотную. Струится вода по каменистому, глубоко промытому руслу Семитки, изредка в черноте леса ухает, злобно и жутко, филин. Словно боясь его, попискивает неподалеку от нас какая-то маленькая птица: может, и подлетела к баксе, чтобы спастись.

— Хочешь, — говорит еще тише Катька, — Зинку возьмем? Уговорю Клим, Самосуда. Она, знаешь... — Катька заикается, будто позабыв слова, набирает побольше в себя воздуха, еле слышно вздыхает: — Твой стишок показала. Только не говори ей, а то она ой как рассердится, подеремся еще... А стишок хороший, как настоящий. Мне никто таких не посвящал...

Я понемногу краснею, мне делается жарко, в горле застревают невыговоренные слова, и я радуюсь, что темно и ничего не замечает Катька.

— А ты правда любишь ее?

Мне кажется, что даже воздух нагрелся вокруг меня и галька, на которой сижу, перестала быть холодной.. Сейчас это почувствует Катька, пожалеет меня и замолчит или расхохочется. Нет, она шепчет:

— Скажи. Так интересно!

По отвалу поднимается Самосуд, волоча лопату; из-под его ног сыплются камни. Сделав шаг, он съезжает на полшага назад, и мне чудится, что карабкается он долго, слишком долго. Не дождавшись, я встаю, беру кирку, говорю, будто ничего не слышал, а так — продремал все это время:

— Кайлить надо.

— Ой, правда! А я бы сидела и сидела.

— Сиди. Я вот покемарил...

Катька не поверила, конечно, она не могла представить себе, что кто-то может спать, когда она говорит (и была права: едва ли найдется такой человек), вскочила, провела ладонями по брючкам спереди и сзади, качнулась, разминая спину.

— У тебя хороший характер. Не долго сердишься. Мы еще поговорим, ладно?

Подошел Самосуд, швырнул лопату, отдышался.

— Д-другой раз и-не пойду.

— Правильно, — говорю я. — Кто завалит — пусть сам и чистит. — Громко говорю, чтобы слышали Катька и Врио, — он, кажется, очнулся там, на краю, берет кирку, — а сам думаю: «Как в такой темноте заметишь, кто пустит вниз неразбитый ком? Если только признается. Просто надо работать на совесть — и днем и ночью». — Слышишь, Врио? — кричу я.

— Чего там, не глухой.

Растянулись по склону, ударили кирками в притихший отвал, зашумел песок, покатились галька, заплескалась в желобах вода. Притихли все другие звуки.

Работаю, теряю время. Двигается оно или навсегда остановилось? И не кончится ночь, и не будет дня? Катька все чаще присаживается на отвал, постанывает, что-то шепотом наговаривает сама себе, — наверное, стыдит за слабосилие, — и мне приходится прихватывать ее край, чтобы ровно ссовывалась порода, не получилось обвала (до утра прокопаемся, впустую смена пройдет). Я немного злюсь на Катьку: «Вот, взяла для красоты, любуйся на нее, а она сидеть будет», — но мне и приятно как-то: пусть знает, что помогаю по-дружески, без слов, и работаю здорово, почти как настоящий старатель; пусть не задается больше. Правда, тут же вспоминаю Самосуда — он уже сколько тянет за Врио и молчит, — думаю: стал бы я помогать Катьке, если бы она не попросила у меня прощения, не поговорила со мной так «секретно-ласково»? Не знаю, трудно ответить. А может, и не хочу: не очень-то приятно разбирать себя, начинаешь думать, что ты самый нехороший человек на земле. Поэтому я легко нахожу новую мысль, всегда близкую, хоть и бесконечную для меня, — о золоте.

— Давай, дава-ай! — кричит протяжно от бутары Клим. Ему, наверное, тоже надоела ночь, стало скучно одному, он устал от грохота, бестолковой работы.

Зачем людям золото?.. На Севере, у Охотского моря, где сейчас мои родители, живут эвенки. Они занимаются оленеводством и рыбной ловлей. Летом съезжаются к морю, охотятся на зверя, ловят кету, сушат юколу. Пригоняют оленьи стада к побережью: здесь, на ветру и просторе, их не так мучает гнус. Живут, как на курорте. А когда похолодает, выпадет первый снег, эвенки вытаскивают на берег оморочки — долбленные лодки, — гасят очаги в чумах и откочевывают в горы, на свои зимние стойбища. Зимой возле моря делать нечего — ветрено, голо, голодно. Зато в горах, в глухой тайге, всегда тишь, мягкие снега (оленьям легко разгребать сугробы, находить корм — мох-ягель), много дров. И жильё готово, въезжай, живи... Но все понятно для меня в их жизни: олени нужны для езды — по тайге ни лошадь, ни трактор не пройдет, мясо оленей — пища хорошая, из шкур можно сшить одежду, не хуже любой магазинной будет. Зверь морской, рыба тоже для жизни нужны. Ничего лишнего не берут люди, ничего непонятного для себя, бестолкового не делают. И не знают, наверное, что такое золото, зачем перекапывать, перемывать из-за него целые горы, строить в тайге поселки, привозить и изнашивать дорогие машины. Расскажи — посмеялись бы: «Зачем? И так можно прожить!» Ну, допустим, это — таежные люди. А Васейкин что говорил мне о золоте: «Брезгую в руки брать... Мне надо живое что-нибудь ими держать. Для металла жалко их...» Вот и разберись во всем этом, голова расколется... И все потому, что много золота нужно нашей стране, фронту. Об этом говорят на всех собраниях, призывают плакаты: «Ударим золотым рублем по фашисту!» Золото — самый сильный металл в мире. Почему?

— Ой, не могу больше, мальчики! — слабым голосом пропела Катька.

У меня тоже стонут руки и ноги, кажется, вот-вот переломится, если я распрямлюсь, задеревеневшая спина, и я кайлю, боясь распрямиться, и даже передыхаю, согнувшись, уперев в грудь черенок кирки. Катька сидит в нескольких шагах от меня, волосы у нее растрепались,

закрыли лицо; руки, свешенные с колен, как плети, брюки и куртка перепачканы глиной. За нею работает Самосуд — у него там шумит не смолкая порода, — а еще дальше сидит горбатеньким старичком Врио. Сидит он давно и, пожалуй, скоро выпится.

Уже светло. Ярko зеленеет за сопками, ширится во все небо зарево. Смолк в сумерках леса филин, перестала жаловаться птичка. Пастух, хлестко стреляя бичом, прогнал по увалу за Семиткой стадо белых коз. Скоро выглянет краешек яркого, горячего, как расплавленный желтый металл, Ярила — и прольется дневной свет на всю тайгу и горы.

Надо продержаться. Надо. Кому сейчас легко? Надо заработать себе на еду, помочь тетке. Надо привыкнуть, втянуться. Дальше еще тяжелее будет. Надо...

Ко мне кто-то подходит, медленно оборачиваюсь — Самосуд и Врио.

— П-послушай его, — говорит Самосуд, придерживая Врио за рукав.

— Отпусти, ты чо! — Врио вырвал рукав, подтянул сползшие брюки. — Точно, видел... Чо мне врать. Сиж, потом какая-то птица пролетела, аж ветер в лицо. Смотрю — ничего. Потом на Клима смотрю. Он быстро наклонился, поднял чего-то с грохота, посмотрел в ладошку, сунул чего-то в карман...

— Чего-о-то, — скривил брезгливо губы Самосуд. — Приснилось тебе чего-то.

Врио подпрыгнул, стараясь быть выше ростом, шмыгнул громко носом, стал боком к Самосуду, будто приготовился драться.

— Ты чо! Точно говорю. Клим самородок подобрал. Можете не верить, а я видел. — Он слегка толкнул Самосуда плечом. — Иди проверь, если смелый.

— Врешь! — крикнула Катька. Она потихоньку подошла и подслушала. — Мальчики, он врет!

— А ну вас, дураков... — У Врио замигали глазки, сморщился лоб, он отвернулся, наверное, заплакал и мелкими шажками побрел к своему месту.

Несколько минут мы молчали. Даже Катька, не выговорив ни слова, озарила нас перепуганными глазами, не веря в то, что услышала, и не желая как-нибудь рассердить нас, будто этим можно было заставить забыть слова Врио. А он, Врио, уже работал у себя на

краю, хорошо работал, и это совсем расстроило нас всех: значит, он не врал, если так обиделся.

— Нет, нет! — прошептала Катька сама себе.

Самосуд, хмыкнув, отвернулся: мол, чего тут нюни разводить, все равно без разговора с Климом не обойтись — вот что главное.

— Ребята, зря мы так... — сказал я, радуясь, что мне пришло это в голову. — Зря, пожалуй. Нормально все: Клим взял самородок. И надо взять. Каждый так сделал бы: ведь его снесет водой с грохота, если не возьмешь. Самородок, как галька, не проскочит в решёта.

— Е-если крупный.

— Видишь — бери любой. Надежней так.

— Правильно.

— Отдаст Клим. Станет он пачкаться!

— Точно, отдаст, мальчики! А мы на него... — обрадовалась, засияла Катька.

Самосуд опять махнул рукой: «Ох, эти бабьи прибаутки!» — сказал:

— М-молчим. Пусть сам. Д-давайте работать.

Разошлись по своим местам, начали шевелить породу кто как мог. Катька, ударив кайлом, съезжала вместе с песком и галькой на несколько метров вниз, потом медленно карабкалась к своему месту. Самосуд работал все так же упрямо, но с перебоями, как машина, у которой на исходе горючее. Врио был похож на жука, бесконечно лезущего вверх по зыбкому отвалу, — лезет, трудится всеми своими лапками, и никакого движения. Себя я не видел со стороны, поэтому ничего не мог сказать о себе, знал только, что если упаду, то проеду сразу до желобов, а там вода унесет меня к бутаре. Думал еще о Климе, заранее переживал: «А вдруг...» — и совсем делалось плохо, хоть бросай кайло, беги, закрыв глаза, куда-нибудь в лес от стыда и работы.

— Начинай подборку-у! — крикнул Клим. Значит, шесть часов утра, скоро конец смены. У Клима были часы, дамские, он брал их у матери на ночь.

Спустились к баксам, начали подборку породы вдоль откоса. Каждому досталось по метру в ширину и метра по три в длину. Работа тоже нелегкая. Поддеваешь совковой лопатой, сколько можешь, сваливаешь породу в желоба, — очищаешь ровную площадку, чтобы потом можно было подвинуть баксы к самому обрыву, кото-

рый стал слишком пологим. Сделали и это. Отвели воду, разняли желоба, снова подогнали, скрепили болтами, пустили воду. Не говоря ни слова, побрели к бутаре.

— Привет работничкам! — сказал Клим, подняв кверху руку и сжав ее в кулак: это означало, что потрудились вполне прилично.

Бутара была уже разобрана, сукно, с кучкой чистого песка, лежало в лотке. На костерке кипел наш медный, до черного глянца прокопченный чайник. Мы перепили привычку у старателей — пить коллективный чай перед сменой и после. Хлеб, сахар, сливочное масло покупали в золотоскупке на специально выделенные из общего заработка купоны. Отличный, веселый чай всегда получался у нас.

Самосуд принялся промывать лоток, мы наладили бутару, откинули лопатами подальше от нее «отработанную» гальку; Катька вынула из рюкзака эмалированные кружки, постелила на траве газету, нарезала большими ломтями белый — теперь его называли «золотой» — хлеб, положила куски сахара, поставила пол-литровую банку подтаявшего у костра масла. «Надо было опустить масло в воду», — подумал я, а Врио сказал, жалобно уставившись на еду:

— Закусим, что ли?

— Подожди. — Катька кивнула на Самосу́да и Кли́ма. Они колдовали над баночкой из-под монпансье, капали в нее ртуть.

Просушили маленький тускло-желтый песочек, взвесили.

— Почти шесть, — сказал Клим.

— Хо-хорошо, — отозвался не очень весело Самосуд.

Сели вокруг газеты, взяли горячие кружки с густым, сладким чаем. Катька намазала маслом ломти хлеба. Климу подала первому — как бригадиру, себе — последней. Дружно, с причмокиванием, как всегда, начали свое утреннее чаепитие.

Но веселился и болтал сегодня лишь Врио: такой он человек — или плачет, или смеется. Я даже подумал, не наболтал ли он на Клима. Присмотрелся — нет, и Врио не так сегодня веселится: все поглядывает исподтишка в сторону бригадира, суетится слишком уж заметно. Просто не может Врио не радоваться, когда пьет

сладкий чай и ест хлеб с маслом, — трудная у него жизнь в семье.

Катка отхлебывала частые глоточки, хлеб ее лежал на краю газеты ненадкусенный; Самосуд отправлял ломти, кажется, вовсе не жуя, в какой-то тупой задумчивости (по лбу и щекам у него текли грязные ручейки пота); я, не отрываясь, смотрел в газету — ничего не видел и смотрел: заголовки, большие и маленькие буквы то разбегались мурашками, как испугнутые, то прочерчивались линиями, плотными и черными.

— Чего надулись? — спросил Клим. — Расклеились, что ли? Бывает. А сегодня хорошо. Плясать можно.

Мне показалось — вот сейчас он вытащит из кармана самородок и преподнесет его нам всем на вытянутой ладони.

— Так бы каждый день, — сказал Клим.

Голос у него был спокойный, неторопливый, как и полагается бригадиру, и слегка пренебрежительный, как и полагается везучему школьному отличнику Климу Сорину. Неужели так «железно» можно вести себя, украв самородок? Как же надо иметь нервы!

— Л-ладно, — выговорил неизвестно к чему Самосуд, отшвырнул кружку, встал.

Я зажмурил глаза: сейчас будет драка. Самосуд ударит Клима... Но прошла минута — было тихо. Я открыл глаза и резко, четко увидел газету, прочитал:

#### ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Группа капитана Шелестова, длительное время оперировавшая в тылу врага на Западном направлении фронта, уничтожила свыше 300 немецких солдат и офицеров, 32 танка и много автомашин. Только на дорогах Витебск — Смоленск и Минск — Смоленск группа разгромила 17 немецких транспортов. В районе В. был разбит батальон «СС» и захвачено 13 станковых пулеметов. Группа капитана Шелестова с боем прорвалась через линию фронта в расположение наших частей.

Некоторое время я вдумывался в заметку, перечитывал, прикидывал, сколько в батальоне «СС» солдат и офицеров, где этот «район В.», а потом газета зашуршала, смялась и поползла куда-то в сторону; повел за нею взглядом — Катка собирала кружки, прятала в рюкзак хлеб, чай-заварку, сахар. Самосуд, уложив в ящик, похожий на ларь, кирки и лопаты, навешивал большой амбарный замок. Врио всухомятку дожевывал

корку хлеба. Клим стоял чуть поодаль, сонливо ждал, пока все соберутся.

— Ну, пошли, — наконец скомандовал он.

Утро холодноватое, чистое, в небо больно глядеть — так сияла там голубизна; тропа, с вытоптанной гладкой галькой, была сырая от росы, мягко похрупывала; пахло родниковой водой, хвоей лиственниц, багульника; и вокруг горы: дальние в зелено-бурых, лохматых шкурах тайги; ближние — в мелком начесе багульника; а эти, что рядом, — отвалы (горы, насыпанные людьми). Тропа петляет, течет, как ручей, несет нас к поселку.

Я думаю: «Какое отличное утро!», но не чувствую большой радости. С тех пор как начал работать на баксе и уставать до помутнения в голове, я разучился радоваться росе, запахам, утренним сопкам: не оставалось на это силы и желания.

Сегодня тем более. Лучше бы никогда не было этого «сегодня». Казалось, и утро, такое свежее и чистое, нарочно придумано для нас: чтобы высветить каждого, чтобы боялись мы глянуть друг другу в глаза. Хорошо бы идти домой в сумерках.

Вот сейчас, за тем горбатым отвалом, Клим остановится, скажет: «Ну, вот что, ребята...» Или за той двустолой древней лиственницей, или... за тем домом, где живет инженер. Нет, вот сейчас — мы остановились у школьного забора, неподалеку от конторы-кассы, — сейчас Клим засмеется, скажет: «Ох, и разыграл я вас!..» Да, он полез в карман, пощуповал там и вынул бумажный квадратик.

Катка отступила на шаг, будто испугалась, нахмурилась, отчего глазницы у нее сделались темными, незрячими пятнами, медленно, как к огню, потянула руку к руке Клима.

— Бери, что ли!

Катка схватила пакетик, словно смахнула его с ладони Клима, повернулась и мелкими шажками, суетливо побежала к конторе. Когда спина ее скрылась в двери, Врио сказал:

— Я пошел...

— Постой, — придержал его за рукав Самосуд. Часто затягиваясь, он докуривал папиросу, и чуть согнутая шея, уши у него понемногу меняли цвет, как бы оживая, розовели.

Я понял: сейчас произойдет то самое... Дальше терпеть нельзя: через несколько минут разойдемся, Клим захлопнет за собой калитку своего двора, и потом доказывай, говори ему, что он украл самородок, жалуйся кому хочешь, никакой суд не рассудит. Вот и Врио струсил, — значит, все, конец. Дальше нельзя. И нельзя, чтобы ушел Врио.

Самосуд, не глядя, швырнул окурок, подтолкнул вялого Врио, тот попятился и стал слева от Клима; кивнул мне — я стал справа, чтобы не дать Климу шмыгнуть на школьный двор. Самосуд, отгородив его от улицы, шагнул, готовясь прижать к забору.

— Вы что, ребя?.. — попятился Клим, быстро оглядывая нас, будто соображая: «Что это с ними случилось?»

— Выкладывай! — хрипло, одышливо сказал Самосуд.

— Чего?

— Сам знаешь!

— А-а, — Клим усмехнулся, едко скривив тонкие, четкие губы. — Так бы и сказали... Вот! — Он сунул в карман руку, вынул сжатый кулак, протянул его к нам, распрямил пальцы: на ладони лежал округлый, пестренький, как воробьиное яйцо, камешек. — Сестренке взял, собирает такие...

— Камень? — спросил тихо Самосуд.

— На, поддержи.

— Врет! — пискнул, отпрыгивая в сторону, Врио.

Клим поднял кверху руки, придвинулся:

— Обыщите.

Я глянул на Самосуда, чувствуя, что мне делается стыдно, и сам я ни за что не полезу в чужой карман; когда Самосуд посмотрел на меня, я помотал головой. Он вздохнул, соглашаясь и как бы сваливая с себя тяжелый груз, выговорил:

— Л-ладно.

— Нет, не верите? — упрямо держал вверх руки Клим.

— Верим, — сказал я.

— Другое дело! — Клим пренебрежительно, по-всегдашнему, тряхнул головой, откинув со лба чуб. — А теперь глядите. — Он так же быстро сунул руку в другой карман, вынул стиснутый кулак и разжал его перед нами: на ладони лежал приплюснутый, мутноватый, с час-тыми темными оспинками кусочек желтого металла.

Мне показалось — черная туча прикрыла солнце.

— Ты-ты взял? — наконец смог выдать из себя Самосуд.

Клим опустил голову, как-то внезапно сник — нельзя было поверить, что это он, этот же самый Клим, несколькими минутами раньше наглово усмехался нам, — негромко сказал:

— Забыл отдать, ребята.

## 10

Я работал во дворе: пилил ножовкой доски, выди-рал щипцами из забора старые ненужные гвозди и ско-лачивал сбоку курятника «дом» для козы. Получалось не очень чтобы хорошо — плотничал я в первый раз, но все же, особенно издали, была полная видимость «до-ма». И тетка, когда выходила на крыльцо, вполне серь-езно нахваливала меня. Потом даже принесла мне ло-моть хлеба, посыпанный солью.

Коза лежала на клочке сена, поскрипывала зубами, жуя жвачку. Была она лохматая, бело-рыжая, одноро-гая. И с никудышным характером. В первую же неделю пастух «отчислил» ее из стада. «Тигра», — сказал он и показал порванную штанину. По утрам теперь тетка выводила ее за поселок, привязывала к железному стержню, ввинченному в землю, а вечером приходилось мне сопровождать козу домой. Я выламывал прут по-толще, пускал подлиннее поводок, но все равно коза, изловчившись, поддевала меня своим старым, корявым рогом. Отношения между нами были самые препротив-ные.

И все же я строил козе дом. Во-первых, козу прика-зал купить Васейкин в письме с фронта (хоть и называл раньше коз «чертова скотинка», презирал за шкод-ливость и возиться с ними не желал); во-вторых, ребяташ-кам действительно нужно было молоко, потому что дру-гих продуктов становилось все меньше, а корову завести

и совсем немислимо: травы по распадам мало, да и плохая она здесь. Коза оказалась молочной, давала почти четыре литра. Нам сразу стало легче жить.

Тетка все прощала козе, оставляла ей корочки от своей пайки хлеба, дала козе имя «Веточка» — когда-то давно, в станице еще, у них была корова с таким нежным именем. Коза, наверное, знала это — она была старая, хитрая — и еще больше не любила меня: пырляла, бодала при каждом удобном случае. Сегодня, когда я вышел во двор, она подкралась сзади и так поддала, что я присел, схватившись рукой за забор. Тетка рассмеялась. Я пнул козу в бок, — тетка очень обиделась, сказала: «Нельзя, перестанет молочко давать». Однако злость у меня не прошла («какая бессовестная животина»). Вспомнив, что старик татарин, у которого тетка купила козу, кликал ее не то «Харза», не то «Шагарза», я назвал ее «Гюрза».

Навесил дверцу на «козий дом», вколотил последний гвоздь в крышу — пусть будет навечно! — сказал тетке, пригорюнившейся на крыльце:

— Можете вводить принцессу.

Тетка не улыбнулась, промолчала, будто и на самом деле Веточка-Гюрза принцесса, пошла к козе, отвязала, почесала у ней за ухом, повела к сараю. Я отодвинулся, но все-таки Гюрза сделала сердитый кивок в мою сторону и охотно, даже весело вошла в свой дом. Ну и скотинка!

Я сел на крыльцо отдохнуть, просушить мокрую голову, посмотреть, как опускается к сопкам, все больше круглея, солнце. Вернулась, выговорив козе все самые нежные слова, тетка, примостилась рядом.

— Теперь ей ой как хорошо!

— Может, добрая станет?

— Не. Характер такой. Как человек — не переменится. Да то и хорошо: чужие не подоят, не угонят.

— Еще бы — пастуха ободрала.

— Ничего. Как-нибудь сами пропасем. Зато молочко-то у Веточки — сливки пожиже бывают.

Это правда: молоко у Гюрзы маслянистое, желтоватое, будто слегка топленое; кружку выпьешь — полдня ходи о еде не думай. (Теперь коз завели в каждом дворе, да по нескольку штук, и называли их «военные коровки».) Удивительно: у такой вредной скотинки и та-

кое питательное, прямо-таки спасительное молоко по теперешнему трудному времени.

— Наготовим веников, засушим. На всю зимушку еда будет ей сытная.

Рубить березовые веники, таскать из лесу придется мне — мужская работа. А их надо штук пятьсот, если больше — совсем хорошо. Просушить, развесить на чердаке, чтобы не попрели.

... К весне козлятки будут, — мечтала тетка.

Становилось прохладно, и сгущался, синел воздух, будто оттого, что остывал. Солнце, не дойдя к сопкам, попало в сизое перистое облако, растеклось, расплавилось по нему, и теперь там лишь слегка, нежно, розовело небо — как у художника на акварельной картине.

За огородом мальчишки играли в войну, строчили деревянными трещотками, бегали, стучали палками-саблями. Один, видно «командир», кричал другому визгливо и сердито:

— Кто тебя на фронт приглашал?

И вдруг где-то во втором или третьем дворе резко вскрикнула и зарыдала женщина. Голос ее поднялся до самой высокой ноты, истончился, на секунду прервался, а потом, родившись в еле слышимом хрипе, снова медленно полез вверх, звеня и переливаясь. Женщина причитала, что-то длинно выпевала-выговаривала. Но ни одного слова нельзя было понять.

Тетка забеспокоилась, поправила платок, встала.

— Пойду-ка, узнаю.

Вскоре к голосу женщины прибавились другие голоса, тоже женские, плачущие. Один, старушечий, коротко, часто выдыхал:

— О-ё-ёй, милочка-а...

Стекла домов еще розово светились от неба и, перекрышенные полосками бумаги, казались битыми окровавленными осколками, чудом не выпадающими из рам. Придавленно, как из какого-то иного мира, слышался грохот Бочки, вскрики «кукушек» в разрезе. Непроглядно чернела тайга.

Вернулась тетка. Шмыгая носом, держа у глаз скомканный платок, сказала:

— Мужа у нее убили.

— Убили?..

Тетка всхлинула, прикрыла лицо ладонями.

Я хотел переспросить: «Как это убили?.. Кто?.. Почему убили?» Но вдруг понял: значит — убили. Война. На войне убивают. Первый главстановский погиб.

Я думал о войне. Какая она? Раньше я представлял ее себе, как показывают в кино и рисуют на картинах: скачет конница, идут строем танки, палят орудия, бегут со штыками наперевес бойцы; взрывы бомб, снарядов; это ничуть не страшно, а даже красиво, потому что рискованно и отважно. И если в сражении падали бойцы, то не верилось в их смерть — полежат, отдохнут, еще стремительней побегут на врага. Ну как в мальчишеской игре (хотя недавно был случай: мальчишки называли одного Гитлером, поймали в плен и так разозлились, что едва не повесили его на чердаке — веревка оборвалась). Конечно, всякое может произойти, это я понимал. Но чтобы смерть по-настоящему... Можно подумать, что война не где-то за тысячи километров от нас, а рядом, за теми черными сопками; прислушайся — орудийный гул донесется.

Тетка ушла в дом зажигать лампу, кормить ребятишек: они уже передрались, ревели там в два голоса.

Я смотрел на сопки, тайгу, на жутковатую пожираемую тьмой красноту неба. И представилась мне война тем страхом и непонятностью, которые я пережил, когда бежал вместе с Климом с двугорбой сопки. Так же рушится земля, грохочут камни, из-за черноты не видно неба; самолеты — как черные птицы; танки — как привидения; и смерть, лохматая, костлявая, гоняется в темноте за солдатами. А убитый, тот, о котором голосит в третьем дворе женщина, лежит, раскинув руки и ноги, в дульном багальнике, как московский командировочный...

Стукнула калитка, кто-то вошел с улицы, идет к крыльцу.

— П-привет!

— А-а, ты...

Самосуд потрогал рукой ступеньку, сел. Он был в новеньких брюках, белой рубашке — купил на собственные, заработанные. А я пока не могу — отдал свои боны тетке на продукты; как-нибудь потом.

— Ч-чего сидишь?

— Так. Вон козе сарай сколотил.

— Надо.

- Само собой.
- К-как баба ревет.
- Скоро перестанет. Силы кончатся.

Женщина уже не рыдала, не голосила, а длинно вскрикивала, как бы пугаясь каждую минуту того, что вдруг вспомнила, чего никак не могла забыть. Соседки всхлипывающими голосами — один был почему-то слишком крикливым — успокаивали, отговаривали, будто усыпляли ее.

- Как д-дальше будем? — спросил Самосуд.
- Надо подумать...

Да, надо подумать, решить. Вот что произошло в нашу последнюю ночную смену. Как обычно, собрались на баксе, вскипятили чай, поужинали перед работой. Но на этот раз совсем невесело, без лишних разговоров. А потом Клим взял кирку и пошел к отвалу: не доверяете, мол, ладно — становитесь сами на бутару. Отговаривать его не стали: человек упрямый, еще больше упрется. На бутару влез Самосуд, начали работать. Все вроде пошло нормально. Обиделся на нас Клим, но и сам виноват, нечего других дурачить; переживает, переболевает, — главное, трудимся вместе, бригада сохранилась. Катке мы, конечно, сказали просто: пошутил Клим и отдал самородок. Она обрадовалась, даже расспрашивать не стала. И когда Клим взял кирку и двинулся к отвалу, не удивилась: решила, наверное, что хочет рядом с нею побыть. Ночь прошла вполне нормально, хоть и немножко скучновато. А утром, промыв золото и взвесив, ахнули: оказалось, что металла почти девять граммов. Откуда? Почему сразу столько? Не может быть!

Минуту или две я ничего не мог понять, но потом, взглядевшись в Самосу́да, догадался: он всыпал в бутару наше золото — три грамма двести миллиграммов. Надоело оно ему. Да тут еще Клим «пошутил» с самородком. Решил избавиться, разделить на всех, по-братски. Главное ведь, чтобы на душе гадко не было.

Правильно сделал. Но зачем так сразу: бух — и у всех глаза на лоб. Откуда, почему? И Клим вон заledenел, лицо все пятнистым сделалось, губы нервно пере-дергиваются. Получается вроде — всегда воровал Клим Сорин золото. А стал на бутару Самосуд — как дождик золотой с неба. Но ведь каждому здешнему дураку по-

нятно: самородок еще можно подобрать, а мелочь даже не увидишь на грохоте бутары. И все-таки — почему, как?

Самосуд не меньше других растерялся (понял, что сглупил), от волнения долго не мог ничего выговорить, мычал, заикался; наконец мы услышали: «Р-ребя, самородок сдадим в фонд обороны, а?.. Т-такая удача». Я поторопился сказать, что это здорово придумал Самосуд — сдать в фонд обороны, все сдают, и нам надо помочь фронту. Врио еле слышно промямлил: «Может, потом, а? Когда подзаработаем?..» Я опять сказал, что нечего ждать, война не ждет — мне почему-то очень хотелось избавиться хотя бы от самородка: казалось, сдадим — и все наладится. Меня поддержала Катька: «Правильно, мальчики, сдадим!» (Ей, при отце и матери, раздумывать нечего было.) Клим кивнул, соглашаясь, но ничего не сказал. Он присматривался к Самосуду, а тот, радуясь, что так легко «вывернулся», уж очень много говорил и суетился. «Б-бывает, т-точно бывает, — выкрикивал Самосуд, — р-раз — и повезет. На-на жилу и-напоролись!» — «Какая тебе жила в отвале?» — нудно, ничего не понимая, ныл Врио (ему жаль до слез самородок). «Б-бывает!» — твердил Самосуд.

Пришли в поселок. Самородок сдали в фонд обороны, получили особую квитанцию, на память: в ней были записаны наши фамилии и имена; нам сказали, чтобы эту квитанцию отнесли потом в школу — для учета. На свой металл получили десять бон (одна бона — 950 миллиграммов золота), досталось каждому по две — отличный заработок! — и пошли по дворам. Вернее, быстренько разбежались, потому что неловкость, молчание, как-пне-то жалкие словечки измучили нас. Решили: сойдемся потом, и будет все хорошо...

— Он все это. Из-за него, — говорит Самосуд. — Взял... и нас в дураках оставил. Хитрый. А еще Клим называется. Как Ворошилов.

— Ты тоже померок отколол.

— Эт-то чего. Главное...

— Теперь-то нам... — остановил я Самосуда, чтобы он не наговорил чего-нибудь лишнего. — Теперь-то нам зачем гадать, как бабкам. Надо помириться. Работать же надо.

— Уйдет — и-не жалко.

А мне сделалось жалко. Всем нам будет жалко, если он уйдет. Он настоящий работник. И хоть из семьи служащих — мог бы и дома сидеть, — работает, не жалея себя, и дружить умеет. Другого такого нелегко найти. Ну, схватил самородок, не удержался в горячке — чего не сделаешь от бестолковой работы, когда шесть часов подряд ворочаешь лопатой породу, мокнешь, глохнешь от грохота гальки, шума воды, — а тут блеснуло яркое, как желтым глазом подмигнуло; схватил, бросил в карман. Лежит, тяжеленький, теплый, гладенький, будто живое что-то. Будто стал совсем другим человеком, когда сунул его в карман. Хочется придержать его у себя, поносить, прощупать руками (кого и когда не смущало золото: за него гибли, шли на голод и смерть, убивали). А Клим отдал бы самородок, через день-два отдал бы. Просто трудно сразу отдать — такой это металл. Не знал Клим, что за ним подружились, ну и рассердился потом — не привык, чтобы с ним так обходились, — камень сначала подсунул: вот, мол, все равно вас, дурачков, обману! Убедились? Теперь смотрите! Как в театре разыграл. Обидно. Но такой он человек — всегда выше других хочет быть. Может, это и хорошо? Может, мы завидуем ему, особенно Самосуд?

— Нет, жалко, — говорю я. — Нельзя, чтобы Клим ушел. Надо плюнуть, и все. Отдал бы он самородок. Отдал же, а мог не отдать.

— Крутил, к-как Чарли Чаплин.

— А мы?.. Мы тоже держали у себя не лучше Федьки.

— Другое дело.

— Дело не дело! — ткнул я локтем Самосуда. — Теперь-то как? Кто поверит в такое везение? Климу никак нельзя остаться — вора из него сделали. Надо придумать что-то.

— Чего тут!

— Нет, подумай. Давай подумаем.

Было тихо, лишь погромыхивала в отдалении, шумела водой Бочка, и это было похоже на бесконечно идущий по реке, шипящий паром колесный пароход. Женщина утихла, затух ее голос (а он и в самом деле как бы светился в темноте). Так гаснет, догорев, свеча. Так затухают утром звезды. Делалось сонно, туманно в поселке. И что я мог придумать? Самое лучшее — расска-

зять о нашем золоте ребятам. Посмеяться и забыть. Однако согласится ли Самосуд? Едва ли. Он ведь все время соревнуется с Климом — кто сильнее, смекалистей, кого больше ребята слушаются. Как два упрямых козла.

— Ну? — подтолкнул я Самосуда, боясь что он уснет.

— Чего ну? М-может, расскажем?..

— Правда?

— Чего там!

Я подскочил, сделал выпад, ударил Самосуда в плечо — он едва не повалился на крыльцо.

— Молодца, Самосуд! Дай я тебя поцелую!

— Пошел ты!

— Здорово! А я трусил тебе сказать. Ты же нарком просвещения! Тебя наградить надо. Чем бы тебя наградить?..

Я вспомнил о пачке недокуренной васейкинской махорки, пошел потихоньку в дом (там уже все спали), вынес махорку, клочок газеты, спички.

— Закурим?

— Д-давай.

Самосуд скрутил толстую сигарку, послуныявил бумагу, чиркнул спичкой и быстро зажал в ладонях огонек, — от ветра, от посторонних глаз, — прикурил, сильно пыхая, потрескивая табаком.

Он покурил. Я помолчал.

— Пойду, — сказал он, — перед сменой посплю.

— Я тоже.

Не зажигая света, выпил стакан козьего молока, решил про себя: все-таки очень вкусное, литр выдуть можно, — лег и сразу уснул. И приснилась мне Веточка-Гюрза. Была она огромная, величиной с кучевое облако, летала по небу, над тайгой, над сопками, будто паслась, а небо и в самом деле все зеленой хорошей травой поросло. Блеет коза — и гром по всему простору идет... Потом тетка появляется. «Где Веточка?» — спрашивает. «Вон Гюрза», — говорю я. Тетка бросает веревку-аркан (на севере так оленей ловят), ловит облако-козу, подтягивает к дому, и из Веточки-Гюрзы дождиком льется молоко. Подставляем ведра, тазы, бочки. А молоко льется. Прибегают соседи, подставляют ведра, кастрюли, корыта. А молоко льется. Коза блеет — гром по всему

пространству. Молоко потекло реками, затопляет сопки, тайгу, в нем утонула, захлебнулась Бочка. Кричат люди, пьют. Голосит женщина: «О-ё-ёй, милочка-а!..» Дым, гарь, война на двугорбой сопке. Кричит Самосуд: «Крути, к-как Чарли Чаплин! А коза уже не облако, просто коза, стоит у сарая, однорогая, лохматая, трясет старческой бородкой, негромко говорит человеческим голосом: «Ме-бе-ме-с... Веников запаси!»

## 11

Клим не вышел на работу. Не явилась и Катька. Отстояли на баксе втроем. Золото пришлось сдавать мне, — я новичок, Маруська Карина может не узнать меня, — все так и случилось, зря побаивались раньше! Отдежурили еще четыре ночи — Клим и Катьки не было. Решили: значит, совсем ушли из бригады.

Было воскресенье. До обеда я спал — это теперь обычная моя ночь, — встал, вышел во двор к колодцу, вылил ведро воды на голову и грудь — научился такой зарядке у Самосуда, — съел, что оставила на кухне тетка: пайку хлеба, миску пшенной каши с постным маслом, два помидора — и собрался идти в лес рубить березовые веники.

За калиткой увидел: идут по улице Врио и Самосуд, подворачивают к моему дому. У них топоры, Врио перекинул через плечо солдатскую флягу в брезентовом чехле (еще отцовская), Самосуд машет рукой:

— П-подожди!

Подходят вразвалочку. В рабочих штанах и рубашках, с закатанными рукавами.

— Куда это вы?

— К тебе. Помогать, — сказал Самосуд, а Врио скороговорочкой, краснея оттого, что ему приятно говорить, объяснил: — Ну, сошлись мы, в шашки сыграли, так себе болтаем, я ему сортир, он говорит — пойдем поможем, я ему — пойдем, ну, решили: сначала тебе пятьсот веников, потом мне полтыщи, потом Самосуду. Мирowo, а?

— Мирowo, — поддакнул я, радуясь такой подмоге. —

Еще бы! У тебя ж — голова! — И во весь размах хлопнул Врио по плечу.

— У него тоже, — сказал он, глядя на Самосуда, поглаживая рукой плечо.

— У него сено, чудак!

— Ой, правда... Я и позабыл...

Самосуд молчал, усмехался, как старый мужичок.

У Самосудов была корова, держали ее давно — хорошая, лучшая корова на Главстане, — и, конечно, они уже накосили, сметали в зароды сено. Отец позаботился. Нашему Самосуду, дружку, мы можем помочь не очень много: почистить вместе стайку, напилить дров на зиму. Словом, как-нибудь оплатим.

— Шагом арш! — скомаандовал я. — Ать-два, ать-два!

Выстроились в затылок друг другу, по тропинке, между огородами, двинулись вниз, к Семитке. Шли в ногу, с топорами на плечах, Врио девчоночьим голоском затынул:

На войне пужна виштовка,  
А еще пужна споровка...

Ему, ничуть не заикаясь, грубовато и хорошо, почти по-солдатски, стал помогать Самосуд.

Перебрали Семитку, выбрали склон с мелким густым березняком, принялись махать топорами. Веселое это дело! Лезвия топоров — «дзинь-дзинь!» — будто птицы цвиркают, стебли валяются рядами, как трава, и пахнет от них горько и бражно, перестоявшимся березовым соком. Вверху птичьи голоса, настоящие, и гушина ольховника, в котором застрял и перегрелся до банного пара воздух. Душно, потно, горячо. А топоры — чисто, прохладно: «дзинь-дзинь!» — и это напоминает кузницу, цокот копыт по камням, покос и... немножко войну; будто рубишь, рубишь, сечешь вражьи головы... Даже злость появляется, счастливо на душе делается за свою работу. Но, конечно, думаешь про себя: «Хорошо, что без крови, хорошо, что пахнет березовым соком».

Звонят топоры, и речка звенит обкатанной галькой, и курлыкают, цвиркают, посвистывают, звонят птицы; и звонким голубым стеклом позванивает небо; и сопки скатывают по склонам эхо, как звонкие мячики; и запах багульника звенит в теплом воздухе тонко и чисто.

— Бей фрица! — играет в войну Врио.

— Кто штаны стирать будет? — спрашивает серьезно Самосуд. — Матери-то некогда.

— Р-руби! — звенит голосом Врно.

На песке возле речки вырастает ворох нарубленного березняка. Листья, будто обваренные кипятком, быстро блекнут и обвисают.

— Хватит! — кричу я. — Давайте вязать.

Садимся вокруг вороха, начинаем вязать веники. Эта работа менее интересная, но легкая — почти полный отдых. Вяжем молодыми тальниковыми прутьями (веревки теперь дефицит, белье бабам не на чем вешать); сначала некрасиво получается, потом наловчились, особенно Самосуд — у него сильные, цепкие пальцы, концы прутьев зубами откусывает; веники складываем отдельно, считаем. Говорим кто о чем: про войну, про последний документальный кинофильм «Смерть немецким оккупантам», про школу — вчера нас собрали и объявили, что учиться не будем до октября.

Мы стояли в толпе на школьном дворе, шумели, ожидая директора. Он появился на крыльце, маленький, толстый, по-всегдашнему суетливый, с красным от жары лицом. Запустил под широкий ремень пальцы, оправил назад складки гимнастерки, выпятив круглый живот, крикнул: «Дорогие учащиеся! Немецко-фашистские захватчики, потеряв голову от первых успехов, зверски рвутся к столице нашей Родины... В этот ответственный момент...» Он сказал дальше, что каждый учащийся должен не меньше месяца отработать в колхозе «на картошке», если не работает «на золоте», и этим внести сильный вклад в фонд обороны. Все были согласны, даже крикнули «Ура!», тем более что до учебы целый месяц. Кто-то предложил: «Выкопаем второе бомбоубежище!» Директор рассердился, вытер платком лицо, высморкался и сказал, что старшеклассников скоро будут призывать в ФЗО. На этом собрание закрылось. Малыши начали бегать по двору, прятаться в черную трубу бомбоубежища. Мы тоже заглянули. Пахло погребом, между тоненькими бревнышками потолка просыпалась глина, кое-где обвалились стены. Стало смешно: от каких это игрушечных бомб соорудили защиту? Теперь-то уже все знали, что такое война.

— М-может, Клим в колхоз уехал? — спросил Самосуд.

— Не-е, — замотал головой Врио. — Не уехал.

— Видел, что ли?

— Ага.

— Где эт-то?

Врио замолчал, стиснув тоненькие губы, нахмурил бровки. Это означало: тайна, не могу сказать.

— Ну? — буркнул почти сердито Самосуд.

— Прибьет он меня.

— Трусишка. А еще друг называется. В бригаде!..

— Да я чего! Я нет!..

— Давай, Гена, — сказал я, назвав Врио настоящим именем (на него это очень сильно действовало).

Он еще немного посидел нахмуренный, с жалобно стиснутыми губами, словно ожидая какого-то большого несчастья, потом, глянув на речку, в кусты, прислушался и шепотом, быстро заговорил:

— Никому, ладно?.. Ну, я пошел к нему, книжку взять... Ну, эту «Айвенго». Зинка Климу ее дала, а потом мне обещала... Ну, стучу в дверь. Никто не отвечает. Нет, думаю, никого, а замок не висит. Не может быть, думаю. Пошел к окошку, залез на завалинку. Глянул потихоньку... А там... Клим и Катька. Целуются. Ну, я бежать, думал, кто за мной гонится... Никому, ребя, тайна, ага?

Несколько минут мы безмолвно вязали веники. Вот тебе и на! Вот это новость! Не знаю, что переживал Самосуд, а у меня в груди, где-то под сердцем, закатало. Отчего? Трудно ответить. От какого-то волнения, обиды. Будто меня обманули, нехорошо обошлись со мной. А может быть, и не то. Пожалуй, не то... Мне всегда нравился Клим Сорин, я охотно дружил с ним, подражал ему. И завидовал кое-чему. Но, конечно, не думал, что мы такие разные. И вот... Да он же совсем взрослый против меня и никогда не дружил со мной по-настоящему, просто возился, как с младшим братишкой. А я серьезно, до последнего слова... Ист, не обидно мне, обида — пустяки! Завидую, наверно, Климу. Не потому, что он целует Катьку (ее, болтают бабы, и другие целовали), а потому, что он легко, незаметно ушел от нас; потому, что ему ничего не стоит взять самородок, подсунуть нам камень, отдать самородок, бросить бригаду, целовать девчонок. Он был где-то дальше нас, в какой-то уже другой, взрослой жизни.

— Эх, ты, Рио-де-Жанейро! — наконец смеясь выговорил Самосуд, но смех был не очень естественный — так, лишь бы не молчать.

— Вру, да? Да? Скажи? — по-петушиному вскочил Врио, выпятил острую грудку, сунул руки в карманы. — Вот! — Он выхватил из кармана руку, провел ребром ладони по горлу.

Самосуд хотел еще что-то подкинуть, чтобы больше разогреть Врио, уже мял на языке, как бы прожевывая жесткие слова, но я сказал:

— Ладно вам дурачиться.

Они замолчали. Самосуд принялся насвистывать, протяжно и невесело, «Трех танкистов», а Врио, быстро позавыв свою обиду, швырял, подпрыгивая, плоские камешки в речку и считал «блины». Потом он отвинтил флягу, жадно присосался к ней.

— О-оставь! — приказал Самосуд. Взял флягу, сделал два крупных, звучных глотка, передал мне. Хлебнул — оказалось, что это компот из сухофруктов, хоть и жидкий, однако вполне компот.

Наконец вяло и неохотно (надоела нудная работенка) довязали веники. Вырубили три длинных палки, низали на них веники: нам с Самосудом по пятнадцать, Врио — десять. И, искупавшись в родниковой семиткинской воде, пошли в поселок. Не пели, почти не говорили, — дорога круто взбиралась в гору, была скользкая, галечниковая, — отдыхая, хватали воздух ртами, как мужики в предбаннике, после парной. Во дворе сбросили веники в кучу у крыльца, и к нам ринулась, наострив рог, «благодарная» Веточка-Гюрза.

Получил от матери письмо.

«Дорогой сыночек, нашего папку забрали на войну, остались мы одни. Одни-одинешеньки. И как будем жить дальше, не знаем. Жить-то, конечно, можно, продукты есть, ягодой запаслись, эвенки мясо-оленину продают, рыбы твой дружок Бэркэн нам наловил. Насчет этого пока ничего. Как же мы без папы-то будем жить? Дрова он нам заготовил, будто бы знал, что заберут. Плакали мы, ревмя ревели. И за тебя тоже. Как ты там живешь без нас, кормят тебя, одевают? А может, ты простудился на своей этой баксе, болеешь? Ты там

один, мы здесь одни. И что это такая за жизнь! Откуда взялся фашист проклятый на нашу голову? Ну ладно, как-нибудь победим его. А ты одевайся потеплее, шарфом шею заматывай. Съедай всю свою пайку хлеба. И учись хорошо — отец тебе так приказал. А мы здесь ничего, ты сильно не беспокойся, как-нибудь проживем, продукты есть. И тебе кое-чего вышлем. Ты учись, старайся. Случится, не захочешь если — домой приезжай, на работу устроишься рыбаком, или к эвенкам в колхоз, или дома будешь помогать по хозяйству. Не вздумай, хуже всего, пить вино. Заработаешь сколько-то на золоте, истрать на питание, а также купи катанки. Слушайся тетку еще. Папка-то теперь наш далеко, с фашистами воюет...»

И опять про хлеб, про катанки. Письмо длиннющее, на четырех тетрадных листах. Под конец я уже ничего не понимал. Главное — отца взяли, и он сейчас едет где-то по стране на фронт. Как он там будет воевать? Ему бы коня дали, саблю — он казак. В пехоту не захочет, казаку-стыдно в пехоте. А вообще отец невоинственный человек, просто невозможно представить его в военной форме (в войске казачьем он служил, когда меня и на свете еще не было). Он даже на гулянках ни с кем не дрался, материться тоже не умел. В свободное время книги разные читал, и еще Библию тайком от нас и от соседей. Вроде как запрещенную книгу. В Библии Экклезиаста какого-то любил, его изречения во время выпивок выкрикивал.

Один раз я выкрал Библию — она была тяжелая, желтая от времени, в деревянных, обклеенных кожей корках, пахла нафталином, — забрался с нею на чердак и просидел до темноты. Дрожал от страха, что нагрянет отец, и почти ничего не понял. Но Экклезиаст удивил меня: говорил он совсем не то, что все другие апостолы и святые; по нему выходило, что нет ни рая, ни ада, и нечего надеяться на какую-то жизнь после смерти. Надо все делать на земле и жить на земле (почти как в школьном учебнике). Надо быть добрым, справедливым, нежадным, стремиться к мудрости. Потому что все другое — суета сует. Мне хотелось плакать от восторга и горькой тяжести вдруг свалившихся на меня откровений, и я нараспев, как стихи, читал, заучивал притчи: «Притесняя других, мудрый делается глу-

пым, и подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного. Гнев гнездится в сердце глупых. Праведник гибнет в праведности своей; нечестивец живет долго в нечестии своем. Мудрость делает мудрого сильнее десяти властителей...»

Отец догадался, что я брал Библию, спросил меня об этом. Я сказал: «И в глаза не видел никакой Библии». Тогда он встал ближе к двери, чтобы я не выскочил на улицу, вынул из своих брюк ремень и выпорол меня, приговаривая: «Ложь поселяется в сердце заблудшего!» Первый раз выпорол, но жестоко. Дня два я не мог сесть и спал на животѣ. Больше никогда отец не трогал меня, да и не надо было: я хорошо усвоил Экклезиаста.

Может быть, они встретятся на фронте — отец и Васейкин? Покурят в окопе, вспомнят мирные годы. Как прекрасно жилось без войны: пили кружками брагу, ели всего досыта, ребятишек своих растили, хотели, чтобы они все инженерами стали или начальниками. Потом выпьют по сто граммов водки — говорят, бойцам перед атакой дают — и пойдут с винтовками на фрицев. А может, на конях боевых поскачут, если в конницу попали, это даже лучше. На коне легче и красивей. И конь казачу «на роду записан».

Война, наверное, будет долгая. Все готовятся к очень долгой войне. Это сначала думали, что она быстро кончится. Теперь смешно так думать. Если война продлится несколько лет, то мы, теперешние пацаны, вырастем и тоже пойдем воевать. И я увижу там своего отца. Только бы он не погиб до этого времени.

Не могу сидеть дома, когда о чем-нибудь тяжелом думаю, за кого-нибудь беспокоюсь или обидит меня кто-нибудь. Тесно мне бывает дома, жутко наедине с собой. Выхожу на улицу, бреду куда-нибудь. Лишь бы поменьше думать.

Иду мимо домов, заборов. Вечер тихий, прохладный. С тополей падают листья, дорога в желтых пятнышках, будто награждают ее деревья золотыми медалями. Желтеют сопки, льдисто тянет из распадков. Далеко-далеко, под самым небом, белеют первым снегом острые, как вулканы, вершины Хинганского хребта. Там зима, а здесь еще осень. Но глубокая, настоящая. Осень везде — на улице, во дворах (заготовлены высокие поленицы дров, копешки сена, вороха сушеных веников). Кое-кто

уже копает картошку; на грядках, прихваченные первым морозцем, голубеют тугие капустные кочаны. Скоро зима. И от этого острый холодок рождается глубоко в груди, перекачивается ледышкой, долго не тает.

Придерживаю шаг возле дома с голубыми наличниками, старой рябиной у крыльца — она обвисла под тяжестью красных ягод, — смотрю во двор. Что мне здесь надо? Понимаю: это дом Зины. Наверное, я шел к нему, только не думал об этом. Мне захотелось пойти к Зине еще в тот день, когда Врио рассказал о Клите и Катке. Очень захотелось. Зачем? Не знаю. Увидеть, поговорить. И что-то сделается ясным, и я не буду казаться себе таким обиженным, неуверенным. Перестану завидовать Климу.

Из конуры выполз, рывкнул рыжий Рекс. В окне появилась Зина (хорошо, что она!), я махнул ей рукой и сел на скамейку возле калитки. Но ждать пришлось долго, или мне так показалось, и когда наконец из калитки выпорхнула Зина, то сразу спросила:

— Пришел?

— Пришел.

— Я так и знала, что придешь.

— А если бы не пришел?

— Ну и дурак был бы!

Вот так встречал! Что это она? Никогда так не говорила со мной. Это больше похоже на Катку. У нее, что ли, научилась? Может, целоваться сразу начнем, как они?

— Ты что так уставился?

— Как?

— Ну... Как будто никогда не видел.

Зина была в белой шелковой кофточке, с заплетенной косой, в фильдекосовых, как у женщин-модниц, чулках, которые продаются только в золотоскупке. От нее пахло духами. И щеки у нее были уж очень румяные — не подкрасила ли слегка?

— Ты сегодня красивая.

— Заметил?

Что это с ней? Не могла же она стать совсем взрослой за месяц. Правда, загорела, вроде вытянулась. Но до Катки ей все равно далеко.

— Уеду, наверно, — сказал я.

— Куда собрался?

— Домой. Отца на фронт взяли. Мать одна.

— А учиться?

Я уже знал, что не уеду, еще одну зиму пробуду здесь, но почему-то сказал не то, что думал. Захотелось соврать (для этого даже сказал себе: «А что, могу и уехать!»), побыть несчастным, чтобы пожалели, — такие минуты бывают, наверное, у всех людей. Посмотрел на Зину — она сидела слегка опечаленная, серьезная, и щеки у нее заметно выцвели. Мне стало хорошо (вот ведь, сочувствует мне!), я сказал слышанные от старшеклассников слова:

— Учиться — после войны.

— Ой, ты же старик будешь!

Рассмеялся и так громко, что в конуре проснулся и зарычал Рекс.

— Не уедешь, правда? Ты же заработаешь себе на зиму.

— Правда.

— А мне обидно даже, что отца на фронт не берут. У многих воюют. Потом могут всех забрать, а он все равно останется.

— Ничего не сделаешь — инвалид.

— Все равно... Ну, я тебе буду помогать, ладно? — Зина наклонилась ко мне, сказала на ухо: — Зимой... Не только там уроки, ну, если голодный будешь... У нас картошки много... А вы меня в бригаду возьмите вместо Катьки, а? Честное слово, смогу. И платы мне никакой не надо, а?..

Вот тебе еще новость! Не знаешь, чего ожидать от этой девчонки. На вид самая настоящая маменькина неженка, кажется, только и сидит дома да книжки Тургенева читает. А поговори с ней — все знает, обо всем слышала. И упрямая. Надумала в бригаду — не отстанет теперь. Потому и учится хорошо, что терпеливая и упрямая.

— Катьки же нет. А я вам чай буду готовить.

Зина схватила мою руку, положила себе на колени, устала в меня свои карие зенки — круглые, немигающие, будто чем-то страшно перепуганные. Я смотрел в них и не мог отвести своего взгляда (так, пожалуй, люди тупеют от гипноза), а потом увидел: зрачки у нее, не мигая, начали туманиться, заплывать влагой, и две большие слезы, одна за другой, скатились по ее щекам.

— Вот еще! — сказал я и встал, потому что у самого вдруг зашипало в глазах.

— Не сердись. Сама не знаю...

— Да нет... Так бы и сказала... Жалко, что ли! Поговорю с Самосудом, согласится — возьмем.

— Ой, спасибо! — Зина промакнула ладошкой слезы, заморгала мокрыми ресницами, заулыбалась, а я, кивнув ей слегка, быстро пошел по улице, чтобы кто-нибудь не увидел всего этого, — разнесут, разболтают, потом из дома носа не высунешь.

Хрустел ботинками по желтым листьям, успокаивался, и мне было хорошо. Я уже не чувствовал себя обиженным, окончательно освобождался от Клима. Нет, не потому, что доказал ему что-то или в чем-то победил, — я понял, что моя обида, зависть были оттого... просто я младше его и совсем другой человек. А мне хотелось во всем походить на Клима. И Зина, паверное, плакала больше потому, что знает все о Катьке, жалеет ее, может быть, завидует, но никогда не сможет стать Катькой. Люди разные, очень разные, их не сделаешь одинаковыми. Даже муравьи в муравейнике неодинаковы. И хорошо, что Зина не похожа на Катьку. А я уже никогда не захочу быть Климом.

## 12

Я шел из школы и уже приближался к дому, когда увидел в нашем дворе толпу женщин. Заторопился, чувствуя, как слабеют, делаются вялыми мои ноги и под кепкой взмокает лоб. Вбежал в калитку. Окруженная соседками, негромко голосила, всхлипывала тетка. Волосы растрепаны, руки опущены плетью, и стояла она, привалясь спиной к доскам сеней. Я проскочил в дом, догадываясь о страшной беде. На столе лежала бумажка со штампом военкомата.

«...в бою на подступах к гор. Можайску смертью героя пал... Васейкин Василий Иванович...»

Постоял минуту, прислушался к надрывному теткин плачу, подумал: «Зачем это все?..» (Ребятишек не было, увела к себе какая-нибудь из соседок.) Захотелось упасть на кровать вниз лицом, закрыть голову подушкой. Но не смог, сделалось жутко в пустом доме. Тихонько открыл дверь, тихонько пробрался по двору,

чтобы не остановили, не стали жалеть бабы, пересек улицу и по кустам стланика спустился под гору, к Семитке.

Сел на камень возле воды. Замер, боясь шевельнуться, чтобы не испугать себя, не разреветься. Долго ни о чем не думал, будто спал. Потом начали складываться строчки о Васейкине — ему и себе в память. Когда на Бочке проревел гудок, оповестивший дневную пересмену, я встал и прочитал вслух деревьям, воде, ближним и дальним сопкам:

Васейкин — пекарь и казак,  
Тебя мне не забыть вовек.  
Ты булки пек, сражался так,  
Как самый лучший человек.  
Ты шел по жизни не сторонкой  
И не жалея свое житье.  
Хотел ты воли, воли звонкой,  
И верь — добьемся мы ее!

Звучала вода в Семитке, сквозил на ветру голыми ветвями лес, сопки были чуткими, звонкими в стылом осеннем воздухе, а солнце светило ярко, не жалея себя, будто знало, что теплу его трудно пробиваться к земле.

Как оно может светить, если никогда уже не будет васейкинского хлеба — воздушного, молочной белизны, его отличного слова «дружба»; его самого — большого, неуклюжего, нежного? Все должно плакать, что не стало на земле Васейкина.

Как оно может быть таким... если фашисты возле самой Москвы; если приходится есть «Федькин хлеб» — так теперь его и называют, будто Федька разработал новую жилу, — да по жалкой норме; если стыдно учиться в школе. «Зачем? Разве это серьезное дело, когда фашисты под Москвой?» Если хочется останавливать на улице взрослых, приставать к учителям в школе и спрашивать: «Почему мы так плохо воюем?»

Разрешили бы работать всю зиму. Или в ФЗО послали — старших ребят берут, в город Хабаровск увозят на заводы, — оттуда и до армии близко. А здесь мне нечего делать, тем более что никогда уже сюда не вернется Васейкин. И мне, как и ему, не очень нравится желтый металл. Не удержит он меня — только для хлеба и нужен был.

Уеду, убегу. Мне бы только весны дожждаться...

Гляжу на ближние тихие деревья, на дальнюю, жел-

тую в лиственничной хвое, тайгу, вижу небо, и под ним — двугорбую сопку, ту, на которой мы были вдвоем с Климом. И вдруг решаю: взберусь на нее. В память Васейкина. Пусть никогда не забудется мне этот день.

— Взберусь! — сказал я вслух деревьям и воде, чтобы уже не отказываться.

По ветхому мостку перебежал на другой берег Семитки, прошел сквозь голый ольховник и по пояс окунулся в заросли багульника. Разбередил, растревожил его, желтая пыльца поднялась выше головы, запах едко и плотно окружил меня. Это был уже не тот багульник, цветущий и ароматный. Предзимний, жесткий. И идти по нему ничуть не легче: листву он не сбрасывает, подсохшие от заморозков стебли сделались проводочно колючими.

Хорошо бы позвать с собой Самосуда. Вдвоем подняться. Он бы не отказался, особенно в такой день. Рассказать бы ему, как мы с Климом струсили (правда, нас тогда ночь застала). Все равно Самосуд нахохотался бы: ни разу я не заметил, чтобы он чего-нибудь испугался. Таежник. Старатель. С семи лет свой собственный лоток имел — дед ему смастерил. Самосуд, конечно, не захочет отсюда уехать, без золота он не представляет, как можно прожить. И отца его на фронт не берут — накрепко забронирован. Но все равно Самосуд — человек. С ним бы я куда угодно пошел — на любую, самую тяжелую работу. С ним бы и сейчас мне было хорошо: шел бы впереди, пыхтел, поругивался. Однако... не крикнешь, не позовешь. Да и стыдно вечно на кого-то надеяться.

Из-под самых ног — чуть не наступил на него — выскочил заяц (серая шерсть клочьями, тощий), продираясь сквозь багульник, он покатился вниз. Что здесь делал, серый, на такой высоте? От лисы прятался или сова не дощипала?

— Фу, черт!

Склон круче, багульник реже. Попадаются щебеночные осыпи: заденешь — оживают, как сонные каменные реки, шумят, струятся. И во все стороны открываются новые просторы: пласты темно-синей тайги, черные пропасти распадков, гранитные, розоватые в солнце, будто древние могильники, вершины сопки. Отдаляется вниз, как бы западает в сопки, Главстан. Все в нем: дома,

огороды, улица, скирды сена во дворах, — делается аккуратным, четко размеченным, ярким от самых неожиданных красок. Там, в поселке, этого не видишь.

Отдыхаю на теплом, гладком куске гранита. Ищу свой дом — вон он, с зеленой крышей; Васейкин перед самой войной покрасил, будто знал, что сверху очень красиво будет смотреться. Дальше, по левой стороне, дом Самосуда — большой, квадратный, с крышей колпаком, с бревенчатым забором, как старинная деревянная крепость. У Зины дом легонький, веселый, сняет наличниками, и рябина красными ягодами светится. Катька живет за школой, ее дома почти не видно — желтый крашенный бок, тесовая крыша. В конце улицы, справа, дом Клина Сорина. Беленый, под цинковой крышей, на цементном фундаменте. Такой дом простоит до конца нашего века.

У моего отца тоже когда-то был свой дом, на Амуре. Достался ему от деда. Может, тот дом я бы любил — родной, единственный на земле. А так — не построю и одной стенки даже. Не надо. Дом притягивает к себе, не отпускает. От него далеко не уедешь. Живи в нем, ухаживай за ним, подколачивай гвоздями, подмалевывай краской. Сколько людей — как родились, так всю жизнь прослужили своему дому. А мне ездить хочется, видеть, узнавать. Жить могу в шалаше, в палатке. Вот когда состарюсь, совсем слабеньким сделаюсь...

«Рррр-ах-тах-тах!» — слышалось сбоку и сверху, где начинались голые осыпи, скалы, пещеры. Эхо раскатило по всей тайге: «Рррр-аах-рра-рра-а...»

Я вздрогнул, вскочил. Прислушался. Все снова стихло, замерло в солнце и прохладе. Наверное, где-то сорвался в пропасть большой камень: по ту сторону вершины уже плотная тень, остывают и трескаются скалы. Надо торопиться, чтобы не застала ночь. Странно: от высоты или от чего другого у меня, как и в прошлый раз, комариный звон в голове; и время как бы совсем отмирает. Будто его нет.

— Вперед! — громко командую я себе.

Нащупываю ногами твердые камни, слежу за осыпью, чтобы не покатила меня вниз, хватаю руками одинокие кустики багульника: возле них всегда прочная земля. И не гляжу вниз. Теперь нельзя — дух захватывает.

Нет, я взберусь! Обязательно! И никому не расскажу про свой поход. Это я для Васейкина — чтобы не забыть его никогда. Чтобы самому стать немножко другим — ведь одним другом на свете меньше. Это мне просто необходимо, потому что я слабее многих, а война только начинается, и неизвестно, как все будет дальше.

Конечно, мне всегда приходилось работать, чуть не с первого класса. Особенно на Охотском море. Ловил рыбу сетками и неводом, заготавливал на зиму дрова — пилил, колол. Умею управлять оленьей и собачьей упряжками. Но настоящая работа для меня была этим летом, на баксе. Я боялся, что не выдержу, сбегу. Человеку часто так кажется — он сам точно не знает, сколько у него силы, на что он способен. Оказалось — даже слабенький Врио выдержал. А потом взяли Зину, и она работала. Это уж совсем было чудо-юдо: тоненькая Зина в резиновых сапогах, брезентовых брюках, с киркой в руках! И ничего, не хуже, чем у Катьки получалось. Свои четыре грамма на четверых каждую смену брали. Зачем ей, Зине, при обеспеченных родителях, такая работа?

Война на всех подействовала, всех задела (правда, нашлись и такие, которым «война — мать родна»: торгуют молочком, картошкой, хлебными карточками). Но хороший человек не может сидеть без дела в это страшное время. Не станет зря переводить еду и одежду — лишь бы себе тепло и сытно было. О других думает. Это — как душа его.

Уже недалеко вершина. Уже она не кажется выточенной из одного огромного камня, — это груды битых, ломаных камней, голых, бесплодных. Я ползу на четвереньках, цепляясь за прочные выступы, проверяю ногами, прежде чем ступить, карнизы. Отсюда сорваться — почти наверняка погибнешь. Будешь кувыркаться до самого багульника... Дышать тяжело, главное — дышать тяжело. Хватаешь, хватаешь воздух, как рыба на сухом песке, и все пусто в груди. Какой-то он жидкий здесь, воздух.

Широкий гладкий уступ, хочу прыгнуть — змея греется на нем. Головка темная, панцирная, глаза, как у птицы, сощурены; по спине четкие серебристые квадратики с пятнышками-золотинками. Наверное, гадюка. На такую высоту заползла, прямо под небо!

Беру камень, швыряю.

— Уступи, хозяйка!

Просыпается, сучит во все стороны острым раздвоенным языком, слепо поводит ромбической головкой, вяло уползает в расселину. Прыгаю на уступ, отдыхаю.

Мир внизу расширился до необозримых пределов и, став таким, измельчил себя. Все, как на огромной карте, потеряло свой привычный вид, свои очертания; — обозначилось условно. Главстан — светлые квадратики по сторонам желтой черточки — улицы; леса — заштрихованные, различной формы пятна; сопки вовсе не сопки — тени от них; речки — извилистые, остро сверкающие нитки. Горизонта нет. Отдаляясь, он теряет форму, смягчается и исчезает где-то посреди неба.

Делается одиноко — до звона в ушах, до полной невесомости в теле. Я один. Я оторвался от привычной земли, которая всегда была под ногами. Мне нужно, хотя бы в душе, не терять ее.

Карабкаюсь дальше. Не чувствую боли, не ощущаю страха. Может быть, я уже не человек? Какое-то четвероногое существо, неизвестное зоологии? И наш учитель, очкастый Митрич, обрадуется, увидев меня.

— Вершина-а!

Я не знаю, кто я, но я здесь, на вершине. Сюда заяц не доскакал, змея не доползла. А я здесь! Даже коршун парит ниже меня. И вровень стоят холодные облака. Выше меня лишь солнце, но оно всегда выше. Я забрался сюда, чтобы крикнуть прекрасное слово моего друга Васейкина:

— Дружба!

И еще раз прочитать стихи:

Ты шел по жизни не сторонкой  
И не жалел свое житье.  
Хотел ты воли, воли звонкой,  
И верь — добудем мы ее!

Я раскачал большой камень, столкнул его вниз. Несколько секунд было тихо, пока камень летел, потом грохнул, взорвавшись бомбой, рассыпал по ущельям осколки, и эхо долго рокотало в пределах неба и земли. И не затихло совсем, а где-то, уже вовсе в невообразимых даях, снова рождалось, перекатывалось.

Нашел самую высокую точку на вершине — это был красноватый валун гранита, гладко обкатанный ветром

и дождями. Взобрался на него. Посмотрел в одну, в другую сторону. Потом медленно начал поворачиваться на камне — и показалось, что вокруг меня поплыла, вращаясь, вся огромная планета. С тайгой, сопками, городами и селами, и далекой страшной войной. Я был в центре, на полюсе...

Вдруг почудилось, что кто-то на меня смотрит. Я замер, остановился. Пристально взгляделся в ту сторону, откуда пришел испуг, — и на соседней вершине увидел каменное чудище: толстым, желто-красным туловищем оно вздымалось из щебеночной осыпи и оканчивалось округлой головой.

Этот каменный столб я увидел, как только поднялся на вершину; я видел его и в тот раз, когда мы были здесь с Климом. Но это был просто каменный столб желтого песчаника. Громоздкий, самый высокий среди других, но все-таки — столб. А сейчас... Наверное, солнце высветило, оживило его.

Я боялся шелохнуться, глубоко вздохнуть. Черными провалами глаз на меня смотрело скуластое, с низким срезанным лбом, плоским носом, безгубое существо... Нет, губы у него были — они расплылись в сонной усмешке по всему его каменному лицу. Существо было похоже на туземного бога хэмэкэна (маленького деревянного хэмэкэнчика я видел в котомке проводника, с которым ехал на оленях) — такое же угрюмое, низколобое, скуластое и морщинистое. Каменный хэмэкэн.

Солнце находилось вровень с ним, резко высвечивало каждую выпуклость, золотило желто-красный камень, и казалось, тонкий живой румянец переливается под дряблой кожей идола.

Он усмехался, смотрел со своей высоты на все, что громоздилось, звучало, текло, туманилось, жило и существовало внизу. Он словно охранял, оберегал все это. Был хозяином золотых ключей, тайги, рек. Он держал возле себя людей. Он вечно стоял здесь, будет стоять всегда.

Он спокоен, и усмехается.

Я спрыгнул с валуна, побежал вниз.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

---



---

## БЕРЕГ ДОЛГОЙ ЗИМЫ

**В**есь день шли по льду Амурского лимана навстречу ветру и снежной крупе, которая поднималась с ребристых заструг, неслась белыми космами к черным лесистым берегам. Старенькая хромая лошаденка, заломаченная инеем, тащила розвальни с нашим барахлом — фанерными сундучками, мешками, котомками. Завхоз дядя Костя, тоже старенький и хромой (его и на войну не взяли), то бежал сбоку лошаденки, держась обеими руками за вожжи, то плюхался в сани, волоча по снегу тяжеленные валенки, и нам становилось завидно: у него отдыхали ноги. Мы уже не спорили, не говорили, даже не думали о том, что ожидает нас впереди — за этими черно-белыми мысами, в рыбацком поселке Пуир, где кончается широченный Амурский лиман и начинается настоящее, совсем уже необъятное море.

Мы шли, пять мальчишек, в затылок друг другу, тянулись за скрипящими полозьями саней, оставлявших на припорошенной дороге две блескучих твердых колеи, на которых не проваливались наши ботинки. Мимо нас медленно, толчками уходили назад пылящие снежные заструги, отдалялся черный берег, а справа виднелись неподвижные бело-стеклянные горы Сахалина. Весь день они стояли на месте и только к вечеру чуть подались в сторону, потеряли четкие синие грани.

Я шагал вторым, за Юркой Нарышкиным, видел его ноги, полозья саней, а после, когда стемнело, стал дер-

жаться «на запахе»: если пахло лошадью и полушубком дяди Кости, — значит, не отстаю, если вдруг в нос бил чистый мороз — прибавлял шаг.

Потом Юрка передвинулся в хвост. Я подумал: «Он детдомовский, плохо питался...» — и стал следить за ним. Может, Юрка такой человек: не будет жаловаться, кончатся силы — ляжет и умрет. Чуть отстав, я пошел рядом с ним, сказал, прикрыв рот рукавицей:

— Подъедешь, а?

— Иди, иди... — выдохнул Юрка. Он догадался о моей жалости и теперь, паверное, кривил губы: презирал меня. Мне тоже сделалось нехорошо, стыдно — «проявил чувствительность».

Другие ребята двигались ходко, они совсем недавно от родителей, посылки получали, а Семен Ирич даже валенки с почты приволок. Теперь идет в них, как довоенный сын папы-итээровца.

Горы Сахалина потемнели, уменьшились, будто отодвинулись в глубь океана, и впереди на белом свистящем льду лимана черной медвежьей головой обозначился огромный мыс. Он был еще далеко, еще нельзя было понять, какой лес на нем, есть ли дома, но почему-то почувствовалось: «Это он!»

— Пуир! — проскрипел дядя Костя. А может быть, это выговорили полозья?

Мы отстали с Юркой Нарышкиным шагов на десять, потом на пятнадцать. Юрка остановился, начал тереть куском снега щеку. У него окоченели пальцы, снег вываливался. Я снял рукавицу, приложил ладонь к Юркиной щеке. Она была как ледышка. Когда мы снова зашагали — дядя Костя, сани и ребята уже скрылись за поворотом мыса. Сделалось пусто, дико. Поднажали из последних сил, которые едва теплились под нашими телогрейками, вошли под лохматый, угрюмый мыс — дорога бороздила снег у самых скал; я провел рукавицей по камню: ведь это — Пуир, здесь нам придется жить. Обогнули ледяные столбы мыса и увидели огни поселка. Работала электростанция, слышался суховатый стук, как в пустую бочку.

Сани скрипели где-то за первыми домами, на улице поселка. Их облаивали собаки.

— Вот те город златоглавый! — радуясь, хихикнул Юрка.

— На семи стоит холмах... — сказал я.

— Пушки с пристани палят! — слабо ударив рукавицей о рукавицу, просипел Юрка.

Сани стояли под горой, у широкого, придавленного снежной крышей домика. Вплотную прижималась дощатая стена длинного сарая, должно быть склада, чуть дальше громоздился другой склад, и между ними виделась серая полоска — берег лимана. Все другие дома, живые, с огнями, светились на склоне горы.

Ребята молчаливо разбирали вещи.

Было совсем темно и оттого, что мы вдруг остановились, до жути зябко. Дядя Костя долго стучал замком, матерился, жаловался: «Руки, как крюки», но все же отвалил дверь, включил свет, ободрившись, крикнул:

— Вваливай, братия!

Ввалились, внесли холод в одежде, в себе, в сундуках и котомках. Почувствовали — печка горячая. А это главное. Это самое нужное человеку в жизни. Наравне с хлебом, водой и солью. Сбросили телогрейки, шапки, расшвыряли ботинки (лишь Сема Ирич остался в валенках), подступили к печке.

— Чей табачок?.. — спросил дядя Костя, горстью обрывая с усов и бороды ледышки. Закурив, потоптался, покряхтел, выдыхая холод «из души», проговорил довольно: — Вот ваша общежития.

— А жратва, вино? — сказал Нарышкин, расстегивая воротник рубашки, чтобы пустить под нее больше тепла.

— Это свое, по норме.

— Свое! Эх, начальнички! У нас особенный день сегодня: вступаем в самостоятельную жизнь!

— Понимаю. Не отпущено.

— Приемчик, тоже мне! Кто у вас директор?

— Брось. Хватит трепаться, — медленно выговорил Дергунов, толкнув локтем Юрку.

— А тебе чо?..

Дергунов промолчал, и Нарышкин затих. Правильно, нечего болтать. Есть всем хочется, сухой паек в дороге сжевали, сразу за весь день. Надо как-то терпеть, завтра на довольствие поставят. А послушаешь Нарышкина — и злиться начнешь: будто и вправду кто-то должен еду приготовить, выпить поднести по случаю нашей новой жизни. А кто, за чей счет? Может, директор свой

пакет принесет? Или дядя Костя отдал? Он сам едва свои валенки доволоч.

Но дядя Костя не обиделся. Покурив, попыхтев, размялся, отогрелся и забыл о разговоре с Нарышкиным. Снова повеселел, принялся хвастать заботой, которую проявил о «рабочей братии», показал на полке жестяной чайник и пять жестяных кружек, колотые дрова в сенях, кивнул на пять застланных сукном топчанов. После протопал к двери подшитыми автомобильной шиной валенками. На полу остались рубчатые следы.

— Без горячего двигается, — сказал Сема Ирич.

— Молчи, буржуй! — зло скосился на Семину валенки Юрка Нарышкин. Он еще не отошел с холода, его тонкие, всегда подсиненные губы стали черными, запеклись от стужи; подмороженная щека ярко пылала. Он чувствовал, что не очень «шикарно» смотрится со стороны, заранее насторожился: попробуй подсмейся!

— Опять кричишь? — тихо, даже лениво проговорил Колька Дергунов.

— А что, нельзя? — задрожал, запылал обеими щеками Юрка. — Рогами забодаешь... Бука-бука!..

Дергунов не ответил. Он не терпел нервных припадков, брезгливо поморщился. Не обиделся Колька и на «буку-буку»: ему давно дали прозвище Лось — за силу, длинный рост и еще за то, что отец у него лесник. Даже комендант ФЗО не называл его по фамилии.

— Ребята, поделим койки, — рассудительно предложил Стас Коневский. — И баюшки-баю. Режим нарушаем!

Юрка схватил свой мешок, бросил на крайний, возле печки, топчан.

— Мой!

Он сделал это так быстро, что никто из нас пошевелиться не успел. Удар — и нокаут.

Все, как только вошли в дом, заметили топчан у печки: тепло, лампочка близко, угол без окна — печка и стенка. Квартирка! Каждый подумал, прицелился к ней, но полезть сразу — хамство. Надо как-то по-хорошему, по-человечески.

Сев на койку, Нарышкин снял рубашку, почесывал тощую грудь, улыбался, откровенно жалея нас. Сема Ирич огорченно вздохнул. А мы выдержали: не покраснели, не побледнели, даже никто не сплюнул. Дергу-

пов — лесник, Коневский — «Рахметов», я тоже ничего, не из самых слабых.

— Эй! — крикнул мне Юрка, будто я стоял не около печки, а по другую сторону Амурского лимана. — Запимай рядом со мной. Разрешаю! Люблю поэтов, они и когда спят сочиняют. Гад буду! Бормочут: «Гремит война, а у нас весна...»

Это было мое стихотворение. В ФЗО оно долго висело, перепечатанное на машинке, в стенной газете. Все выучили его наизусть. Надо бы подойти и дать Юрке по морде. Но я «не услышал», промолчали Колька и Стас, только Ирич засмеялся.

Подняв свой фанерный сундучок, я сунул его под крайнюю койку у окна и начал раздеваться. Рядом со мной поселился Дергунов, в середине — Коневский, возле Юрки — Ирич. Засуетились каждый у своих вещичек, выложили на тумбочки у кого что было: зубные щетки, резаные куски мыла, осколки зеркала. Ирич выставил плоский пузырек одеколона — прислали родители вместе с валенками. Пузырек был цел, Ирич и не думал его открывать: дорогая роскошь. Коневский вынул и приколот над тумбочкой портрет Сталина..

Вещи оживили наш дом, запах табака и одежды сделал его уютным и нам осталось привыкнуть к новым стенам. Для этого надо время, и оно будет: приехали сюда долго жить. А пока вполне можно дышать, спать и думать.

— Эй! — опять крикнул мне Нарышкин. — Пришлешь ледку, если что? Жарища у меня, как в стране людоедов!

— А где такая страна? — спросил Стас Коневский.

— В книге «Робинзон Грузо».

— Крузо, — поправил Стас. — И вообще такой страны нету.

— Могу тебе здесь устроить. Хочешь? — Нарышкин засмеялся, уткнулся головой в подушку — затрещала солома.

Коневский отвернулся. Он любил точность, прочитал очень много книг, но не понимал юмора, считал его забавой тех, кто мало чего знает: просто они ловко защищаются.

Юрка хохотал нарочито длинно и громко, по детдомовской привычке: быть на виду, атаманить.

Это я понял еще сегодня утром, когда нас собрали в красном уголке ФЗО для распределения. Директор сказал: «Имеется заявка — пять человек на рыбозавод Пуир. Приехал уполномоченный. — Директор ткнул пальцем в дядю Костю, мявшего в руках собачью шапку. — Есть желающие? — Наступила тишина. — Ну?» Мы знали, что, если не будет желающих, распределят по списку. А это всегда почему-то неприятно. Я решил поднять руку, подняли руки Колька, Стас и Сема. И вдруг позади, с крайней скамейки, раздался голос: «Я желаю, товарищ директор! Ребята, кто со мной?» Директор похвалил Нарышкина, назначил его старшим группы, первого, возле стола, познакомил с дядей Костей. Пока укладывались и отправлялись, Юрка командовал, покрикивал, но в дороге замолчал: подвело хилое здоровье. Сейчас отогрелся, опять заговорил.

Трижды мигнула лампочка. Это — предупреждение: через пять минут погаснет свет. Электростанция и здесь работала только до двенадцати ночи.

Нарышкин перестал хохотать, замотался в одеяло, буркнул, разыгрывая из себя начальство:

— Подниму рано, гад буду. Поведу в столовку.

Колька Дергунов уже спал, слышался его несильный, булькающий храп. Белобрысая голова чуть откинута на подушке, глаза, нос, губы — все крупно, размашисто на буром с мороза лице; даже сейчас видно, какой он спокойный, невозмутимый, этот Колька Дергунов. Он ходил с отцом на медведя, в семь лет у него было свое ружье. Он привык к тихой таежной жизни и, попав в ФЗО — в шум, толкотню, неразбериху, стал одиноким, хмуроватым; огрызался, пускал в ход свои крупные кулаки, если его бессовестно донимали.

На Пуир Колька пошел из-за меня: я поднял руку, и он тоже. Решил, наверное, что со мной можно: не хвастаюсь, работал на совесть. А близко знакомы мы не были — просто никогда не задевали друг друга.

Стаса Коневского и Сему Ирича я знал еще меньше. Что за ребята, как будут жить?

Я хорошо сплю, но сначала мне надо привыкнуть к месту: постель не принимает — горбится, шуршит, будто ворчит соломой, колет сукном. Ничего, ей тоже надо привыкнуть ко мне. Я смотрю в темный потолок, чуть виднеется острым блеском стекло лампочки. Страшно

хочется есть. Я долго думаю о хлебе — булках, кусках, обедках. Трогаю, ломаю, ем. И когда голод немного затихает, начинаю думать о своем новом месте жизни — рыбозаводе Пуир.

Лают собаки, лопается в лимане лед — с моря идет приливная вода; колко, сухо шуршит по стеклам окон полуночный ветер. А вот уже холод по полу ходит — струями, то пробежит, то затихнет. Остывает печь. И вдруг толчком испуга я чувствую: ой, как далеко этот Пуир, эта земля, этот Амурский лиман. Дальше ничего, лишь море, лишь белые горы Сахалина.

В темном поселке спят люди — они тоже мне, как море и горы, чужие, незнакомые. Трудно, легко ли мне будет с ними?

Хочется заплакать, пожаловаться маме, отцу (он погиб под Курском), пусть они пожалеют меня, подумают обо мне, хоть как-нибудь помогут... И может, я заплакал, но слез не было — слезами плакать стыдно. Слезам война не верит. Она так гремит, что никто не слышит жалоб. Она так необъятна, что даже здесь, на краю света, ею наполнено все вокруг. Прикоснись к одеялу, подушке, вдохни воздух в доме — все пахнет войной.

Нет, я не буду плакать. Я хочу, чтобы мне приснился хороший, мирный сон.

И мне приснились горы — снежные, сияющие; они уходили в бездну неба, к самому солнцу; от них лился на землю тихий лунный свет.

## 2

Стукнула дверь, сильно заскрипел снег на пороге, и мы проснулись — все сразу. По «фезеешной», почти военной привычке вскочили, но, вспомнив, что мы рабочий класс, влезли опять под одеяла.

— Спать, ай ударнички! — прохрипел и закашлялся завхоз дядя Костя. — А я начальника привел.

Это было интересно, и мы подняли головы: в сумерках возле печки стоял рослый сухощавый человек. Он курил папиросу, поглядывал на нас, от него тянуло морозцем: видно, порядком уже побыл на улице.

— Присаживайтесь, — сказал Юрка Нарышкин. — Сейчас чаек сообразим.

Сема Ирич, хихикнув, пропищал:

— Жрать охота...

— Цыц! — рассердился Нарышкин. — Сиська дома с мамой осталась.

Колька Дергунов тупо уставился на прямого, неподвижного начальника, будто стараясь припомнить, где он видел его, а Стас Коневский одевался: был уже в рубахе и штанах, шнуровал ботинки.

— Серьезно, товарищ начальник, садитесь, — сбавил в голосе Юрка.

Коневский вышел на середину пола, отодвинул стол, приступил к зарядке. Первое упражнение — приседание и вытягивание рук вперед, второе — сгибание талии... И так далее. Всего десять упражнений. Стас проделывает их каждое утро, в любую погоду, в любое время года и, пока не закончит бегом на месте, ни с кем не говорит, никого не видит. Об этих его минутах в ФЗО говорили: «Коневский молится».

Нарышкин натянул рубашку на острые, девчоночьи плечи, скуля от холода, сказал:

— Вот закончит обряд мой замполит, доложит обстановочку.

Начальник не шевельнулся, только папироса ходила у него из угла в угол рта. Дядя Костя пыхтел, сипел, кашлял и говорил одно и то же: «От дают, братия!»

В доме делалось светлее, и начальник четче обозначался, словно ближе подходил к нам. Он молчал. Очень неловко, когда молчат. Начали проворно одеваться. Нарышкин замолк — сорвалась его «проба» начальства, а Сема Ирич тоненько, суетливо насвистывал, скрывая нервное расстройство: «Ой как нехорошо!»

Оделись, окружили стол. Кто сел, кто привалился к стене. Коневский закончил бег на месте, стих грохот его красных американских ботинок и наступила совсем уж неприятная тишина. Если не считать, конечно, дядю Костю: он мотал головой, бормотал какие-то слова, и было похоже, что он тихо, безумно чем-то восторгается.

— Доброе утро! — наконец несильно, но четко вымолвил начальник, будто отдал команду, и сразу усмехнулся: так журят строгие дяди маленьких шалунов.

Мы увидели его лицо — смуглое, чуть подпорченное оспой и насупленное. Но не сердитое. Насупленное хит-

ровато, немного задумчиво. А рост — на зависть, плечи широкие, как у красноармейца на плакате «Смерть фашистским оккупантам!» Еще заметна шапка беличья, серая, округлая.

— Умываться будем или так? — спросил начальник.

В доме умывальника не было. Значит, надо идти на улицу и плескать воду друг другу из ведра. Можно снегом, без мыла, но все равно снимать рубашку — в ней не умоешься.

— Так, — сказал Нарышкин.

— Ладно, для начала сойдет. Спишем на дядю Костю: не обеспечил быт — вот и ноль сознания.

— От беда, позабыл! — хлопнул рукавицей по столу дядя Костя. — Ить правда, умываться братии надо!

— Спишем... — пискнул Ирич.

— Тогда вот что: проведем маленькое собрание.

Начальник улыбался все так же — сдержанно, приглядываясь: говорил не серьезно. От этого было немного стыдно, брало зло на Нарышкина — суется со своим детдомовским язычком.

— Приступим, — сказал начальник. — На повестке три вопроса: первый — знакомство, второй — ближайшие планы, третий — разное...

— Давай прямо, — не выдержал Нарышкин.

— Согласен. Прямо — значит, по душам. Без протокола — еще лучше. Нё успел день настать, как мы утвердили форму переговоров. Итак, моя фамилия Русаков, должность — начальник бондарного цеха. Выходит — ваш начальник. Как говорится, любите и не жалуйтесь. Родителей и начальников не выбирают.

Русаков достал из кармана стопку бумаг, полистал, близко поднес к глазам. В его больших руках бумага тонко шелестела, словно жаловалась на грубое обращение.

— Вот ваши удостоверения об окончании ФЗО. Четыре — по четвертому разряду, одно — по пятому. Кто из вас по пятому?

Это было мое удостоверение, я смутился: нехорошо перед ребятами сразу выделиться, стать заметным. Справлюсь ли потом с нормой? Я не просил, мне ни к чему был пятый разряд. Но так получилось: на экзаменах моя бочка оказалась лучшей.

— Мое, — отозвался я.

Русаков оглядел меня, прицениваясь, заметил мою досаду, растерянность, проговорил:

— Что ж, молодец.

— Талант выдающий! — подтвердил дядя Костя. — У нас старики по шестому тянут.

Как раз этого я и боялся. Теперь держись: надо процент, качество. Надо лучше, чем у других. Если одинаково — мне не в счет. Вот уже улыбаются Нарышкин, Ирич.

— Дальше, — сказал Русаков. — Завтрак с семи часов, рабочий день в восемь. Подъем по усмотрению каждого. Но опаздывать, прогуливать не советую: закон военного времени. Хлебные карточки, талоны в столовую, аванс получите сегодня. Со склада выдадим рыбу, молоко, сивучий жир — в доппаек. И еще: баня раз в десять дней, постельное белье — тоже. Тетя Дуся будет топить печь и убирать в доме. Советую не очень мусорить: тетя Дуся старенькая. Разное другое по ходу дела. У меня все.

Уже совсем рассвело, и при белом свете мы отчетливее, определеннее увидели свое общежитие: голые, давно беленые стены, некрашенный стол, две скамейки, топчаны и яркие голубые тумбочки. Наверное, у дяди Кости нашлась только голубая краска. Увидели себя — пятерых пацанов (старшему из нас, Юрке Нарышкину, шестнадцать), угловатых, по-разному одетых да еще неумытых. Мы так подходили к этому общежитию, будто прожили здесь много лет. И лишь начальник, сильный, спокойный, смуглый, был человеком из доброго, сытого довоенного времени.

— Кто-нибудь выскажется? — спросил Русаков.

— Я, — поднял руку Стас Коневский.

Стас выступал в ФЗО на всех собраниях, летучках, митингах, и мы привыкли к этому. Он был членом бюро комсомольской организации, членом редколлегии стенной газеты (он сагитировал меня напечатать стихотворение), членом санитарной комиссии, участвовал в самодеятельности. Ему поручали зачитывать резолюции, выдвигать президиум, сочинять сообразительства. Он первый подписывался на облигации, первым сдавал их в фонд обороны, был совсем не жадный на деньги и хорошо работал. Из всех активистов только над ним не подшучивали, все прощали ему ребята.

— Говори, — кивнул Русаков.

— Я скажу немного. — Стас упер кулаки в стол, вскинул голову: это была его ораторская стойка. — Мы, фезеешники, понимаем, что приехали трудиться, а не в дом отдыха «Лазурные зори». (Он не позабыл свое любимое выражение.) Фронту нужна рыба, рыбе нужна бочка. Мы будем самоотверженно выполнять свой долг — делать бочки. Шесть месяцев нас учили на мастеров, бесплатно кормили хлебом, который отрывали у фронтовиков. От имени своих товарищей и от себя лично заверяю дирекцию рыбозавода Пуир и вас, товарищ Русаков: мы выполним поставленную перед нами задачу — снабдим фронт бочками... вернее, рыбой в бочках. — Стас помолчал, помыслил, мигая на потолок. — Еще два слова. Хочу выразить благодарность за теплую встречу и заботу, мне, детдомовцу, это особенно ценно. Спасибо, товарищ Русаков!

Начальник с удивлением, даже растерянно посмотрел на Коневского: он, конечно, не ожидал такой крепкой речи, закурил и только потом спросил:

— А где твои родители?

— Нету. В заключении, как...

Русаков наклонил голову, чуть отвернулся, стряхивая пепел с папиросы.

— А ты смелый, — сказал он негромко.

Немного смутясь, Коневский улыбнулся, коротко вздохнул, словно выговорил: «По-другому не могу».

— Пошли, ребята! — Русаков толкнул сапогом дверь.

Солнце уже взошло, но висело за морозным туманом, и от этого туман был красный, точно стыдился самого себя: весь мир ждет солнце, а он скрывает его. Горы тоже были в тумане, туман сыпался колющим инеем. Затвердело-черствый снег скрипел так, что зубам становилось больно. В домах красно, морозно горели окна. Трубы поселка бойко выталкивали, стреляли в небо белыми, сочными дымами; казалось, они поднимутся вверх, станут кучевыми облаками и поплывут в теплые страны.

— Вот и весь наш город, — сказал Русаков. — На горе живем, под горой работаем. А вон, за конторой, где штабеля бочек, и есть бондарка. Не заблудитесь, жду!

Дальше нас повел дядя Костя. При начальстве он меньше суетился, укрощал свой язык, зато теперь раз-

винтился: махал рукавицей, подергивал бороденку, даже походка стала чуть вихляющей. Он напоминал подгулявшего попика из кинофильма о старой жизни.

— Истинно говорю, братия, повезло вам, побожиться могу. Чем тут не житуха: работа мировая, в тепле, за верстачком; бомбы не сыплются; харч, считай, тоже не из последних: хлеб — шестьсот, приварок столовский, рыбки начальник подбросит. А? Что в ответ произнесете?

— Нет ли у тебя дочки, батя? — спросил Нарышкин.

— Это тебе зачем?

— Жениться хочу.

— От хулюган! — мотнул головой дядя Костя.

Сема Ирич заойкал, захохотал. Колька Дергунов толкнул меня плечом, кивком показал на Нарышкина, усмехнулся. И правда, смешно: Юрка вышагивал, как мужичок с ноготок, — в отвислой телогрейке, в ботинках на три портянки, шапка помахивала оттопыренными заячьими ушами, ноги подгибались, будто шел он чуть вприсядку.

— Жених! — сказал Дергунов. — Хоть палочками подпирай.

В столовой было натоплено, сыро от кухонного пара, на столах громоздились грязные миски (не успели убрать после завтрака), но как пахло! Хлебом, кислым, подпаленным, горячим пшеничным супом и немножко луком. Можно с ума сойти от этого запаха! Мы замолчали, обалдели, нагло уставились на буфетчицу: за ее спиной на деревянной полке рядками лежали пайки хлеба. Юрка Нарышкин просунул дальше всех, положил на прилавок лохматые рукава телогрейки.

— Отодвинься! — приказала буфетчица.

Дядя Костя вежливо поговорил с ней, она нахмурилась, насторожилась, но все-таки выдала нам по двести граммов хлеба и по картонной, отмеченной печатью бирке.

Нарышкин съел свою пайку сразу, не отходя от прилавка, глянул себе в руки, пошевелил пальцами, словно что-то потерял. Сема Ирич съел через несколько шагов. Я принес к столу половину пайки, а Дергунов и Коневский не тронули даже довесков.

Суп был без жиринки, без картофелинки, но зато с

рыбой. И какой вкусный. Такого супа можно было съесть целый котел. Каждая косточка переварилась, хрустела, а Семе попался кусочек рыбьего бруска.

Нарышкин ел сначала ложкой, потом поднял миску и все сразу вылил в себя.

— Желудок испорченный, — тихо пожаловался он. — Обжег: В детдоме ребята денатуратом раз угостили. — И принялся внимательно смотреть на хлеб Коневского.

Стас и Дергунов ели медленно, на взгляд — лениво; они умели сдерживать аппетит, за едой вырабатывали волю.

Юрка так смотрел на хлеб Коневского, что от Стасовой пайки не осталось бы мизерной крошки, если бы Юркины глаза умели есть по-настоящему. Еще он умел приплюсываться, раздувал пизды, ел, заглатывал запахи хлеба. Коневский не выдержал. Достал из кармана перочинный ножик, отрезал тоненький пластик нижней корки. Дергунов отдал Нарышкину подпаленный кусочек — довесок: хотел оставить себе, чтобы потом положить в рот и сосать, как конфету: самая большая польза от хлеба.

Юрка проглотил не жуя, забыв сказать спасибо. Завтрак окончился: никакой еды на столе не было. Мы посидели, подышали немного кухонным паром, и буфетчица крикнула:

— Освобождайте зал!

— Я ей сделаю, — нервно проворчал Нарышкин. — За грубое обращение, гад буду!

Когда он не ел — был лучше, от пищи становился злым, скандальным, вспоминал свои долгие беспризорные годы.

Дядя Костя куда-то убежал. Вышли сами на улицу, скукожились от холода: Говорят, что еда греет. А поешь — страшно на мороз выходить, так и екает все внутри. Может, пища до войны грела?

Бондарка встретила нас бочками, досками, стружками. И запахом смолы и дымом мангалки. И еще — грохотом изнутри: звенели наковальни, бубнили бочки, стучали молотки. Привычный нам грохот и все-таки не совсем такой, как в ФЗО: мощнее, гуще. Здесь настоящая серьезная работа — план, деньги, соревнование.

Мы очень тихо открыли дверь бондарки, вошли, скучились у порога.

Большой, гулкий цех вдоль стен опоясывали верстаки. Из всех окон било солнце, и люди ходили, двигались едва видимые. Ронлась опилочная пыль, по краям цеха пылали две огромных железных печи. Возле каждого мастера — горка неотесанной клепки, гора стружек, и везде приготовленные запаренные в мангалке дупели, полуотделанные и готовые бочки. Воздух веский, густой от крепкого, спиртного запаха искромсанной древесины.

Русаков стоял у печки, протянув руки к теплу, разговаривал. Ему показали на нас. Он глянул издали, сморщил переносье, будто вспоминая что-то, потом неспешно пошел к нам.

— Приемчик!.. — не вытерпел Юрка Нарышкин. — Как во дворце персидского короля.

Почти всегда у него первого сдавали нервы, и случалось, он точно выражал общее наше состояние. Сейчас его слова означали: «Очень дохленько, братцы, гад буду!»

— Не короля, а шаха, — спокойно поправил его Коневский.

— Ты, буква!.. — без спичек зажегся Нарышкин. Подошел Русаков, сияя всей своей смуглотой, прищуром, оспинками на лице, громко сказал:

— Поздравляю ребята, с первой рабочей минутой.

Каждому сильно тряхнул руку.

Сразу сделалось свободнее, веселее, словно Русаков вытряхнул из нас трусость, стыдливое неверие в себя: работа как работа — пусть она нас боится. Мы окружили Русакова, касаясь плечами, руками его поношенной куртки, слыша добротный запах дерева, табака.

— Ну, теперь инструмент получать.

Излишне громко переговариваясь, толкаясь, двинулись за начальником цеха плотным выводком. В углу бондарки была пригорожена маленькая конторка, в ней стол, табуретка, вдоль стены — стеллажи для инструмента. Список уже лежал на столе; наструги, молотки, зубила, рубанки разложены на пять наборов. Расписывайся — и бери.

Расписались, взяли.

— Покажу места, — сказал Русаков. — Кто первый? Я шагнул вперед, за мной Колька Дергунов. Не сго-

вариваясь, мы решили хоть так опередить Юрку. Он шыгнул носом, отвернулся, явно затаив против нас «хамство».

Русаков повел меня в конец бондарки и указал свободный верстак рядом с мастером, работавшим у стенки. Что-то проговорил мастеру — я не расслышал в грохоте, — тот мельком глянул на меня, ничего не сказал. Мне показалось, что он нахмурился. И вообще мастер был очень чистенький, в аккуратной, свежей спецовке, а лицом — конторский служащий. Я пожалел, что не уступил его Нарышкину.

— Мастер Комлев! — крикнул мне Русаков.

Я заулыбался Комлеву, тряхнул головой, заранее выражая свое почтение к нему, смущение перед ним. Хотел подойти, что-нибудь сказать приятное мастеру. Но он повернулся ко мне спиной.

Кольку Дергунова Русаков поставил слева от меня, и его соседом с другой стороны оказался рыжий, разлохмаченный бондарь, небритый и суетливый. Он делал сразу столько разных движений, что казалось, закружится голова, если долго на него смотреть. Напоминал он пойманного, жужжащего шмеля.

— Мастер Скобцов! — назвал его Русаков.

Это было похоже на объявление участников цирковой борьбы. Почувствовал, наверное, что-то такое и рыжий Скобцов: он бросил на верстак молоток, вытянулся по стойке «смирно» и вскинул руку, будто только что уложил кого-то на четыре лопатки. Потом рассмеялся, щедро показывая желтые зубы.

Скобцов пожал руку Дергунову, хлопнул его изо всей силы по плечу (хорошо, что не Нарышкина, — прибил бы), кивнул мне и поманил пальцем. Я подошел, но не очень близко. Все-таки он ударил и меня, правда слабее, и попросил у нас закурить.

Мы курили, слушали Скобцова, а Русаков разводил по местам Юрку, Сему и Стаса. Дальше всех оказался Нарышкин: ему, кажется, здорово не повезло — не на кого будет влиять во время работы.

Скобцов пообещал дружить, пригласил к себе в гости, сказал, что в любом деле главное — «не робей», и завертелся вокруг своей бочки без доньев.

Мы с меньшей робостью придвинулись к верстакам, оглядели, ощупали их: сколько придется нам простоять

за ними, сколько сделать бочек? Может быть, состаримся здесь: я стану Комлевым, а Колька — Скобцовым. Или наоборот. Ведь отсюда, говорят, даже в армию не берут — так нужна фронту «бочка».

Услоны — станки для строгания клепки — были хоть и не новые, но довольно крепкие. Мы посидели на них — вроде обжились немного. Потом я потрогал свой инструмент, сразу решил: «Надо точить, чтобы после не мучиться», — и мы пошли с Дергуновым к точилу.

Точить — трудное дело. В ФЗО нас учили этому немного, а мой мастер-преподаватель прямо говорил: «На это талант надо иметь. Без чутья к инструменту никакое старание не поможет». И правда, мало кто научился точить. Я был одним из тех, кому повезло с чутьем, иногда мне удавалось очень сносно «направить» инструмент. Приходилось помогать ребятам, и теперь Колька покорно потянулся за мной.

Я влез на сиденье точила, взял в руки наструг — сначала прямой, его легче точить, — сказал себе: «Да поможет бондарный бог». Дергунов начал крутить точильное колесо. Зажурчала вода, завизжала сталь наструга, приткнутая к серому камню. Это был наш первый рабочий шум — он прибавил грохота бондарному цеху.

Подошел Русаков, постоял, посмотрел на мои руки. Сдвинув папиросу в угол рта, проговорил:

— Твой?

— Ага.

— Дай-ка мне.

Я слез со станка, на него взгромоздился Русаков. Засучив рукава куртки, чтобы не забрызгать водой, он сильно прижал наструг к точилу, кивнул Дергунову:

— Крути.

Колька взялся в две руки, но скоро запыхался, и мне пришлось подменить его. Минут через пять взмок и я, будто не просто крутил колесо, а тащил его в гору.

— Вот так, — сказал Русаков. — Надо крепче держать, чтобы фас не подвернуть.

Другое точило «осваивали» Нарышкин, Ирич и Колевский. У них там не ладилось, они перепирались, и, конечно, больше всех орал Юрка. Он петушком сидел на станке (не будет же он крутить!), поучал друзей, кроя их легкими, беглыми ругательными словечками.

Сема перебежал к нам, прихватив инструменты, обремененный и совсем красный. Пришлось принять его в свой «дружный коллектив».

Русаков наточил мне оба наструга, лезвие рубанка, топор и ушел. Я взялся за инструмент Дергунова. Потом старательно поскоблил Семины железки. А когда сели покурить, вдруг подумал: «Почему Русаков наточил только мне?..» Хорошо это или плохо? Может быть, он жалеет меня — как бы не завалился со своим пятым разрядом? Или аванс выдает: «Держись, мастерок!» Конечно, ребята ничего не заметили — просто начальник показывал, как точить. Может, так оно и есть? Мне надо обдумать все это.

Я вернулся к своему верстаку, подышал запахами свежих стружек, по которым ходил и отшвыривал ногами мастер Комлев, и мне захотелось хоть немного построгать. Взял неотесанную клепку, сунул под голову услона, сел и длинно протянул настругом. Отлетела широкая сырая щепка, блеснула мазком смолы. Еще и еще... Выструганную клепку бросил на верстак. Стало легче, беззаботнее (и чего я боюсь, ведь умею, вон и Комлев с придишкой посмотрел на мою клепку, удивился — вполне прилично получилось). Мне даже захотелось петь.

Трам-там,  
Тра-ля-ля!  
Много дел  
У короля!..

Мастер Комлев отвернулся, брезгливо пожевав губами. Нет, он мне не нравится, и я ему тоже. Как же мы будем существовать на таком близком расстоянии? Может, попросить Русакова — пусть переставит на другое место, поменяет с кем-нибудь?.. Однако нехорошо беспокоить, устраиваться, будто не работать приехал, а приятно время проводить. И от Кольки Дергунова не хотелось удаляться.

Сильно ударили в рельс — это двенадцать часов, обед. Мы, фезеошники, собрались в кучу, Русаков оглядел нас, словно пересчитав, сказал, что после столовой можем топтать в контору за карточками, потом в общежитие, в баню — вообще устраивать нормальный быт. Настоящий рабочий день начнется для нас завтра. Сегодня — разминка.

Ринулись в столовую, заправились по рабочей норме: суп-уха, каша перловая, сладкий чай. Нарышкин спер у буфетчицы лишнюю суповую бирку. Воспользовался обстановкой — суматоха была дикая. Удачно сунул бирку в раздаточное окно, получил вторую порцию и, пока шел к столу, выпил горячий суп через край — не обжегся, не поморщился.

В конторе получили по сто рублей дежур, хлебные карточки на остаток месяца, талоны столовские. Купоны в магазин не выдали, сказали, что отоваримся, когда немного поработаем. Нарышкин расскандалился (на купоны полагалось по пол-литра спирта), стал кричать на старую женщину: «Заелись в тылах! Пьете рабочую кровь!» — и другие общие слова военного времени. Нам сделалось стыдно за «рабочую кровь», и Колька Дергунов сунул Нарышкину кулаком в бок. Юрка, правда, не заметил, кто ему сунул, но сразу успокоился: понял, что коллектив против.

Домой я шел с Колькой Дергуновым.

Утреннего тумана уже не было, воздух очистился и, подсвеченный снегом сопки, льдом лимана, стоял высоко, ярко и холодно. Виднелись горы Сахалина — белыми, мерцающими конусами в небе. Было странно, даже чуть зябко смотреть на них: для чего они, почему всегда такие чистые и существуют ли вообще в жизни? Словно они о чем-то напоминали: посмотри, подумай, испугайся... Когда-то давно оттуда бежали каторжане, переплывали на лодках и плотках лиман, а здесь их вылавливали дикие гиляки, отрубали головы и доставляли сахалинскому губернатору. За каждую голову получали деньги... Горы мерцали. Нет, они были не привычные, не обыкновенные горы.

Дергунов молчал. Интересно, думает он о чем-нибудь, когда молчит? Если да, тогда он очень много думает. Его удачно прозвали — Лось: носатый, губатый, сутулый и длинноногий. Идет, будто рогами кусты раздвигает. Посмотришь — видно, что толковый, хороший парень, но почему он всегда молчит? В лесу одичал или мама таким родила?

— Ну как? — спросил я.

— Перезимуем, — ответил Колька.

Так мы поговорили и незаметно пришли в общежитие.

Что такое бочка для человека? Можно без нее жить? Если не подумать, то скажешь — можно, не такая вещь, чтобы не обойтись. А на самом деле никто не живет без бочки. Дома нет — в магазин ходишь, рыбу из бочки покупаешь, разное другое; на базаре — капуста, огурцы тоже не из мешка продаются. Но главное, конечно, рыба, по всему свету ее развозят в бочках, пока ничего лучшего не придумали. Консервы не в счет, консервы — дрянь против настоящего посола. Кто живет на реке или у моря, тот знает, что такое хорошая бочка.

Рыбозавод Пуир много ловит рыбы, здесь самый большой на Амуре заездок — полтора километра. Это такая стена из бревен-свай и тальниковых решет; в нее упираются косяки горбуши и кеты, движутся к фарватеру лимана и попадают в сетную ловушку. Пойманную рыбу переливают в кунгасы. Просто и надежно.

Пуир самый крайний из всех амурских рыбозаводов, дальше — море. Поэтому рыба сначала подходит к нему. Самая первая, самая ценная.

А рыба без бочки — вовсе никакая не рыба. Ее лучше не ловить, разве только для ухи.

Я тешу клепку, думаю об этом, о разном другом. И конечно, думаю о клепке — с нее начинается любая бочка. Отесал уже десять. Беру одиннадцатую, осматриваю, не кривая ли, как идут слои, много ли сучков. Клепку надо выправить, подравнять, срезать сучки. Это работа топора. Если оставить для наструга, будешь потеть, пыхтеть, зря потеряешь время.

Рядом со мной пластает клепку Колька Дергунов. Он сильнее меня, и у него на чурбаке пятнадцатая клепка. Я немножко злюсь, но знаю — обгоню, когда сяду строгать и еще обгоню, когда буду шмыговать и составлять дупель: тонкая работа не для «лосиных» Колькиных конечностей.

По сторонам у нас — Комлев и Скобцов. У них тоже неодинаково идет дело: Комлев вроде и не напрягается очень, так себе — покашливает сухонько, помахивает руками, поглядывает в окно, однако вставляет второе днище, а Скобцов, вертясь, размахивая инструментом, ругаясь, возился еще с первым.

Дупели у них заготовлены с осени, теперь они зани-

маются отделкой — к концу дня пять-шесть новеньких бочек сдают Русакову. Нам, конечно, никто ничего не заготовил. Каждую бочку надо начинать с клепки и кончать обручами и доньями. Норма — две штуки.

Я тешу, отваливаются крупные щепки, желтыми брызгами разлетается мелочь. Хочу, чтобы реже взвизгивал, соскальзывая, топор: кажется — на меня смотрит весь цех и потихоньку усмехается Комлев. У меня двадцать шесть клепок — на сегодня хватит, сажусь на услон, беру наструг. К половине цеха я теперь повернут спиной, и из окна сияет мне в глаза снег. Ребятишки катаются с горы — кто на санках, кто на двух клепках, приспособленных под лыжи, просто на досках, облитых водой и подмороженных; на штанах — никто: война, штаны жалко. Мне тоже хочется туда, на обкатанную до доска горку, съехать с ветерком, дать одну «горячую» красномордому толстяку в собачьей дошке — пусть не командует, не толкает девчонок. Он едва ли младше Нарышкина, но крепче его вдвое. Все-таки надо бы ему врезать.

— Лось! — окликнул я Дергунова.

Он тоже строгал, и так старательно, что открыл рот. Мокрая белобрысая голова дергалась, будто он с каждым разом все дальше отпрыгивал от клепки. Опустив на колени наструг, ошалело уставился на меня.

Я показал в окно: толстяк уже устроил кучу малу, сидел наверху, а из кучи торчали цветные платки, руки без рукавиц, подшитые резиной валенки. Дергунов понял меня, пошевелил толстыми губами, наверное, выругался.

— Буржуй! Возьмем на воспитание! — мотнул он мне головой.

В бондарке становилось жарко от работы, от раскаленных железных печек, от сухой древесной пыли. Чуть смутно, сонно было в голове, потому что сильно пахло смолой, пареной клепкой (старые дупели распаривали в мангалке и подкатывали мастерам), пахло табачным дымом — смолистыми тучами он восходил до самого потолка; хоть и не часто курили бондари, однако основательно, махорку смешивали с «рашпилем» — домашним самосадам.

Я не курил по-настоящему, брал в рот дым, подержав, выпускал: переводил табак. Отказаться совсем не

мог: во-первых, курево полагалось по карточкам, во-вторых, солидности больше. Ребята тоже только учились курить, всерьез, пожалуй, затягивался лишь Юрка Нарышкин. Вообще он был жадный на все крепкое: чай, табак, водку.

Вон, сидит на услоне, накиннув ногу на ногу, покуривает очень серьезно — совсем как маленький мужичок. Над ним только сначала взрослые посмеиваются, через день-два будут делиться табачком, пригласят выпить — это точно: пока Юрка учился в ФЗО, перезнакомился со всеми рыбаками в соседнем поселке, говорят, даже чуть не женился.

Строгаю и строгаю. Теперь уже не чувствую усталости — тяну на втором дыхании. Догоняю Кольку Дергунова, а всех других из нашей «братни» давно оставил позади: они хоть и далековато от меня, — угадываю по их движениям, лицам.

Я отстрогал все двадцать шесть клепок, приготовился шмыговать торцы, когда на краю бондарки вдруг стих гром бочек и наковален. Посмотрел туда: возле верстака Семы Ирича столпились бондари, беспокойно переговаривались. К ним побежал Дергунов, потянулся мастер Скобцов. Я тоже вскочил.

В плотном окружении стоял Сема Ирич, испуганный, с бегающими глазами, и улыбался. Правой рукой он поддерживал левую, встряхивал окровавленной кистью. В крови был брезентовый фартук, кровь капала на стружки, ярко запятнала новые Семины валенки.

— Аптечку, аптечку! — кричали в несколько голосов.

Сковырнули с аптечного ящика сургучную печать, принесли перевязочный пакет. Быстро замотали сначала большой палец, потом всю руку Семы. Кровь проступила сквозь белый бинт, широко расплылась.

— Как на фронте! — хихикнул Нарышкин.

— Дураки... — сказал лысый мастер, похожий на старого доктора, и зашаркал к своему верстаку.

— Детский сад, — переглянулся с ним Комлев.

— Хлюпики, а туда же, кровь проливать!

— И где это ваши мамы?..

— Тоже мне отцы! — перекричал всех Скобцов. — Нет чтобы пожалеть — дети ведь!

— И правда, не по своей воле... — поддержал его худой, длинный бондарь в роговых очках.

Пришел Русаков, мигом сообразил, в чем дело, распорядился:

— Митинг закрываю. А ты — в больницу.

Ирич все улыбался, но очень стыдливо, наверное, чтобы не заплакать, и сразу пошел к двери. Его остановили, помогли надеть телогрейку, повязали за спиной шарф, как школьному первачку. Он медленно вышел из бондарки, а после было видно в окно — бежал по дороге в гору, пока не скрылся за первым домом.

Вернулись к своим верстакам. Скобцов засмолнил цигарку «рашпиль». Ох и здорово он умел курить — табак трещал, как порох, от затяжек! Поманил нас к себе. Додымил цигарку, чтобы зря не выгорела, и тогда сказал:

— Вечерком зайдите. Жинка молока даст, этому, как его... — Он качнул рыжей головой в сторону верстака Семы Ирича. — Пусть подкрепитя.

Принялись за работу. Я отшмыговал несколько клепок, однако без того, прежнего запала. Успел остыть, и мастера ни за что нас обидели: мы боялись этого, и нам не повезло в первый день. Седые, лысые... Разве Сема мог стать бондарем за шесть месяцев? У него папа и мама конторщики, он один у них. Топора до ФЗО не видел. Конечно, он неженка, но кто думал, что будет война? При чем здесь мы? А в детский сад я, допустим, никогда не ходил. Может, Сема в детском саду воспитывался да Стас Коневский, когда у него родители дома были. Так ведь маленьких куда поведут, туда и пойдут. Они не виноваты. И мы тоже — нам всем учиться надо. Война виновата, фрицы...

Мне совсем расхотелось работать. Пойду завтра и попрошусь на фронт. Они все здесь забронированы — «бочкой бьют фашиста», а мой отец погиб. И я ничуть не струшу: легче из пулемета строчить, чем воевать с лысынами. Попробую Дергунова уговорить. Вместе — к военкому, заявления на стол. Дергунов рослый, за ним и я пройду.

Работа помаленьку шла, и я стал думать, что — нет, пожалуй, на фронт не возьмут. Самое малое, год как-нибудь перебиться — и «гуд бай, броневики!» Но год все-таки не день. Они презируют, если им не доказать работой. Или убежать домой?.. Стыдно — военное время. Здесь хоть сколько-нибудь бочек сделаю, да и мама

хочет, чтобы я работал, себя кормил... Значит — доказывать. Эх, побольше бы мне спленок, а то до обеда едва дотягиваю, к вечеру и совсем как соломинка ломаюсь. И есть хочется, даже когда не думаю о еде, все равно помню, будто сидит в животе большой колючий паук и сосет, сосет...

Работаю, забываюсь. Работа, она сама по себе существует. Она втягивает в себя. И когда уйдешь в нее с головой — хорошо становится. Разогреваешься, веселеешь, знаешь, зачем живешь, и наплевать тебе... Вот только мешает мне толстяк за окном: он все командует там, куражится, разгоняет голодных ребятишек, и по его морде видно, что скоро пойдет домой и мама даст ему полную миску супа с куриным мясом. Нет, я не могу терпеть этого буржуя, кричу Дергунову:

— Лось! — киваю на окно.

Он понимает, он тоже голодный, ругается про себя, а вслух говорит:

— Сказал, воспитаем!

Составляю первый дупель — первый, рабочий, за который я получу деньги, который пойдет с рыбой на фронт. Тороплюсь, но клепки подбираю, подгоняю как следует — это очень важно, потом меньше будет возни с отделкой. Набиваю верхние обручи, сажусь немного передохнуть: надо подождать Дергунова, он сейчас тоже набьет обручи.

— Пошли? — говорю я, когда он, стукнув по набойке последний раз, отбросил молоток.

— Пошли.

Мы катим свои дупели к вороту на середину бондарки и осторожно, по очереди, стягиваем их; эта работа для двоих: один держит дупель на тросе, другой крутит ворот.

Подкатил дупель Коневский, он торопился, у него мокрая рубашка: не хотел отстать от нас. И рад — улыбается. Заодно стянули и ему. А Нарышкин поставил в обруч первую клепку: прокурил, просутился возле Ирича наш «бригадир». Корчит нам рожу, усмехается, однако видно — злой, подойди — укусит.

Звучно хлестнул рельс, оборвал грохот, и мы пошли на обед.

После столовки мне всегда плохо, не знаю почему — раскисаю от еды. Приходится перемогать себя, чтобы

заставить работать. Потом пойдет, дальше прерваться будет трудно. Беру наструг — главное начать, — срезаю торцы дупеля; руки вялые, кажутся длинными, словно вовсе не мои. Я ни на кого не смотрю: вдруг и Колька Дергунов «перемогается» — вовсе раскисну.

Позади меня кто-то остановился, догадываюсь — Русаков: от него пахнет чуточку одеколоном, наверное, брился утром. Так от людей пахло когда-то давно, до войны. Выпрямляюсь, подтягиваю живот, не хочу, чтобы он пожалел меня. Русаков уже что-то почувствовал, смекнул — у него нюх на таких мастеров, — подошел ближе, потрогал мой дупель.

— Вполне, — сказал. — Работа чистая. Норму не рви, сразу не возьмешь. Спокойно, понял?

И все это медлительно, вполголоса, не глядя на меня.

Он отошел к Дергунову, проговорил ему что-то, после я увидел его возле Стаса Коневского.

«Спокойно», — приказал я себе и в самом деле успокоился. Дурак — хотел сразу рвануть, класс показать. Сколько зазря силы угробил, играл перед Комлевым. Вместо одного раза дважды таял топором по клепке, чтобы красивей было. Шмыговал, составлял дупель — и все «примеривался» к себе со стороны: как стою, не очень ли суечусь, потею?.. Хвастун с хилым организмом!

К вечеру я отделал, сдал бочку и собрал второй дупель — семьдесят пять процентов нормы. Дергунов и Коневский тоже. Нарышкин едва успел расправиться с одной бочкой — пятьдесят процентов. На пятерых — четыре бочки. Русаков поставил их отдельно, чтобы каждый мог посмотреть. И смотрели, щупали. Лысый мастер, похожий на старого доктора, простучал их, прослушал — не жалуются ли на какую болезнь? Скобцов похвалил: «Работка! Приятно смотреть!» И только мой сосед Комлев прошел мимо, ничего не заметив.

Но бочки были, четыре новеньких полуторацентнеровки. Они удивили, взбудоражили цех: поди ж ты, бочки! Сумели, состряпали. Конечно, качество еще не того, изынанчики есть, а все же молодцы! Бочка — не кадка, не корыто, она умения требует, души. И кто их научил? ФЗО? Не может быть, чтобы за шесть месяцев... Одни поболтали у наших бочек, другие помолчали. И все признали: начало есть.

Мы прибрали свои верстаки, когда в цех вошли две

женщины и три девчонки — подсобные работницы. Нам о них говорили. Каждый вечер они разносят по рабочим местам клепку, пиленые доски для доньев, выметают стружки и щепки.

Женщины сняли телогрейки, надели брезентовые халаты, а девчонки принялись ходить по бондарке, хихикать, поглядывать на нас.

Я не люблю девчонок, не знаю, как разговаривать с ними, стесняюсь и колочу их, если начинают приставать. Из всех них я мог терпеть лишь свою сестрицу, да и то не очень долго: противно становится — то давай в куклы играть, то нарисуй зайчика; стукнешь — жаловаться бежит. Была у меня, правда, на золотых приисках одна знакомая, но это другое дело: она совсем не как все эти. Не боялась темноты, не пищала, могла киркой и лопатой работать, и я ей стихотворение посвятил. Еще у нее были красивые волосы. Тетка мне написала, что она теперь в девятом классе учится и недавно просилась на фронт — медсестрой. Привет мне передала. Вот какие девчонки бывают!

А эти — только хихикать. К ним уже Юрка Нарышкин пристаёт: подвалил, руки в карманах, папироска на губе, слова блатные говорит. Точно — хихикают! И Стас Коневский к ним подошел — этот о самостоятельности и общественной работе будет говорить. Как заявит: «Мы приехали не в дом отдыха «Лазурные зори», — хоть за хвост лови, все равно не удержишь. Нет, стоят, слушают. Интересно, на какую тему разговорчик?

Мы не пойдем — я и Дергунов. Мы гордые и сильные, хоть и не Рахметовы из «Что делать?» и по утрам полным комплексом не занимаемся. Просто мы — мужского рода. У нас много других дел: о бочках думать, о нашей Советской Армии, которая громит немецких оккупантов, о наших матерях — им трудно с младшими сестренками. И немножко о себе: как бы на фронт попасть?

Одна, кажется, нахихикалась, идет сюда. Еще не хватало! Может, ей зайчика нарисовать? Смотри — черноглазая, а волосы светлые, колечками. Ничего вроде. Улыбается вполне приятно. Только зачем она сюда?

Я отворачиваюсь, мне эти штучки ни к чему. И потом я ничего смешного говорить не умею: голова болит от военной жизни. Может быть, она к Дергунову? Пусть.

От него еще скорее отскочит: он на медведя с ружьем ходил, а с девчонками занкой делается, всякие грубо-сти бубнит, отворачивается. Нет, ко мне. Буду стружки из рубанка выколачивать.

— Здравствуйте...

Ого, по имени назвала и на «вы» обращается — культурная. Посмотрим, куда дальше дело поведет. Меня на всякие там глазки-ласки не поймаешь. Дергунов, черт, разулыбался, рот до ушей — рад, что в сторонке отсиживается!

— Вы что, глухой?

— Работаю.

— Какая же это работа — стружки выколачивать?

— Бондарная.

— И вовсе не умно. Давайте по-серьезному. У меня комсомольское поручение: мы должны организовать выпуск стенной газеты в цехе.

— Это вы адресом ошиблись. У нас есть Стас...

— Знаю, говорила уже. Вы тоже нужны: стихи пи-щите.

— Бочки нужнее.

— Ладно задаваться! Вы же не такой... О вас мне папа говорил, вы ему понравились.

— Спасибо. А кто ваш папа?

— Русаков мой папа.

— А-а...

У нее прищурились глаза, сердито напухли губы, она мгновенно повернулась на подшитых валенках, как на каблуках, и ушла.

И правильно сделала: с идиотами так и надо поступать. Вон еще один идиот — по фамилии Дергунов, сидит, рожу лосиную корежит. Подойти бы и дать в скулу, чтобы мозги встряхнулись. Да себя жалко: очень уж сильный этот мой дружок, на бюллетень отправит.

— Пошли, — сказал я ему.

— Пошли-и, — усмехаясь, пропел в ответ.

Всю дорогу в столовую, а потом домой я думал о разговоре в бондарке. Припоминал все сначала, каждое слово, вздыхал. И все стыднее становилось. Назвал себя самыми паршивыми словами. Подумал даже: «Может, вернуться?..», но вообразил себя вернувшимся — и уши запылали.

Только в общежитии легче стало: вошли в тепло,

в чистоту, в какие-то вкусные запахи. У печки на лавке сидела женщина в платочке и цветном переднике, с ложкой в руке — как мама дома. Она встала нам навстречу, будто ждала много лет, шепеляво проговорила:

— Вот и мои детки все собрались.

С ума можно было сойти, вообразить черт знает что, если бы войти одному и не сидел бы на топчане, нянча перевязанную руку, Сема Ирич.

Оказалось все просто и, конечно, здорово. Сема из больницы пошел на рыбозавод, получил в холодильнике рыбу, жир и кетовые молоки. А тетя Дуся приготовила: молоки поджарила, для супа две картошки свои принесла. Миски помыла, стол газетой застелила. И теперь улыбалась. Казалось, улыбкам ее никогда не будет конца.

Надо бы подойти к ней, поцеловать и сказать: «Тетя Дуся, спасибо вам, родненькая!» Но ни у кого не хватило духу, перечувствовали, смолчали. И зря. После обязательно пожалеем.

Сели за стол, стали есть рыбу и молоки. Без хлеба, зато с солью. А тетя Дуся потихоньку рассказывала нам о поселке, о жизни, о работе. Было тихо, потрескивал огонь в печи, за окнами сухо шуршал снег. Хотелось разуться, залезть на лавку с ногами и слушать, слушать. О том, какие хорошие сыновья были у тети Дуси, как один зверя морского бил, другой мотористом на катере работал. И ни один жениться не успел. У тети Дуси завлажнели глаза: оба погибли на фронте. А зачем она, старушка, живет — никому не известно. И умерла бы с горя, да старика жалко: как он один будет? Старика ее звали дядя Костя.

#### 4

В последний день недели я выполнил норму.

Без трех минут шесть склепал обруч, набил его на пук второй бочки, осмотрел ее и без одной минуты шесть оттолкнул обе бочки от верстака.

Кольке Дергунову не повезло: у него дважды рассыпался дупель. Теперь он выпививал донья, старался — хотел вытянуть процентов на девяносто. Надо бы помочь ему немного, но от усталости у меня мутилась голова,

да и он, Колька, вряд ли разрешит: очень боится всяких сочувствований.

Я стоял, привалившись к верстаку, смотрел в серый, запыленный свет бондарки, вслушивался в ее затихающий, как бы остывающий шум и ни о чем не думал. Лень было даже сесть.

Сбоку шевелился, покачивался Комлев. Я привык к его молчанию, недобрым, исподтишка взглядам — такой уж он звероватый человек — и меньше сердился на него. Работал же Комлев как хорошая машина. Не горячился, не остывал — на одном ритме, на одном дыхании. Бочки у него «вылуплялись» чистенькие, одинаковые: нанизки на нитку — бусы получаются. Я видел, как тешет, строгают, шмыгует Комлев, подражал ему (проходя вторую школу), и мои бочки понемногу становились похожими на его бочки-игрушки. Это, пожалуй, тоже не очень нравилось Комлеву.

К нему прибегал сын Борька, третьеклассник, приносил еду в узелке, любил побаловаться в бондарке. Отец и с ним был строг и нелюдим, морщил свой бледный конторский нос, не давал инструмента. Борька прибывался ко мне, строгал на моем верстаке палки, мастерил из клепок лыжи, которые ломались в тот же день. Отец явно не одобрял такое баловство.

И вот сейчас Комлев подошел ко мне. Сначала я не поверил — решил, что примерещилось от кружения головы; но нет, он кивнул на бочку, проговорил:

— Норма?..

— Да.

— А клепочку вам откуда доставили? Может, из Америки?

Я не понял его слов, тупо уставился на него и опять подумал: он ли рядом со мной или мне мерещится его длинная бледная физиономия? Он скудно, экономно улыбнулся, не тратя на это лишней силы, сказал:

— Не понимаете? Клепочка-то у вас отборненькая, без сучка и задоринки...

— Клепочка?.. — переспросил я, закинулся, и меня будто кипятком ошпарила догадка. Я, наверное, и покраснел и побледнел, обмяк от растерянности, потому что Комлев более щедро улыбнулся, чуть махнул рукой:

— Желаю удачи.

Под верстаком лежала неотесанная клепка, штук десять. Присмотрелся к ней: да, она была «отборненькая», почти без сучков. Утром, строя ее, я подумал: «Повезло, хорошая клепка — полдела». Эту клепку и тесать почти не надо было, так, топором чуть-чуть подправить. Я не посмотрел, какая клепка досталась Кольке Дергунову, Скобцову, всем другим. А теперь вижу — у них обычная, всегдашняя, «трудная». Может быть, мне случайно такая досталась, повезло? Я верю в везение, и ребята верят. Но мы «скромно» верим: везение всегда немножко глуповатое и не бывает очень глупым. Это уж что-то другое.

Осторожно подбираюсь к догадке, в первую минуту ошарашившей меня, чтобы привыкнуть к ней, спокойно обдумать. Ставлю себе первый вопрос: «Неужели Валя Русакова выбрала и подложила мне клепку?» Вспоминаю по порядку прошедшие дни.

После того вечера я еще два раза видел Валю. В кино и здесь, в бондарке. Всей своей «братней» мы провозжали девчонок из клуба домой, говорили о войне, потому что фильм был военный, страшный. Потом Нарышкин стал рассказывать анекдоты из детдомовской жизни — было смешно. А у самого Валиного дома он что-то шепнул ей, и она рассердилась, даже «до свидания» не сказала. Нарышкин божился, что сказал ей: «Ты, Валя, чудная девочка». Мы на него орали, толкнули, будто нечаянно, в снег; он тоже орал. В общежитии провели маленькое собрание, большинством голосов (при воздержавшемся Ириче) постановили: «Нарышкин, не распускай язык!» На другой вечер, когда Валя пришла работать, я отдал ей стихотворение для стенгазеты. Конечно, так быстро я не мог написать новое, но хотелось «извиниться» за Юрку, за всех нас (мы все-таки ничего ребята), и я переделал то, старое стихотворение, которое было напечатано в «фезеошной» стенгазете, выбросив строчку: «Гремит война, а у нас весна». Валя сразу прочитала, ей понравилось, решила поместить его вместо передовицы — все и так будет ясно. Потом Валя осмотрела мою бочку, погладила ее бока, но ничего не сказала: наверное, не очень одобрила. Бочка и в самом деле была неудачной — пузатая и, если присмотреться, чуть кривобокая. По форме — никуда, а содержание (рыба), я был уверен, не вывалится: крепко сколотил.

Мы поговорили о стихах Маяковского и Симонова. «Убей» — лучшее из симоновских стихов, об этом спорить не стали. Маяковский лучший, талантливейший, это тоже ясно и понятно. Немного поспорили о жизни после войны: Валя считала, что после победы мы сразу перейдем к мировому коммунизму, а я говорил — сразу будет трудно, но лет через десять наступит такая жизнь, которую теперь и вообразить невозможно. Валя упрямо сказала, что десять лет — это долго, никто не согласится столько ждать, главное — победить фашистов, и ушла работать. Два других вечера я не видел Валью, она приходила в бондарку позже шести часов. И вообще рабочий день у подсобниц начинался с половины седьмого, когда даже припоздавшие бондари расходились по домам.

Колька Дергунов отодвинул к окну инструмент, снимает фартук. В его белых волосах — белые стружки, под глазами, на щеках присохла пыль. Лось тоже устал. Сейчас он позовет меня домой. Идти с ним или подождать Валью?

— Потопали, — говорит Дергунов.

И я решаю: «потопаю», а потом приду, часам к девяти — как раз Валя кончит работу. Провожу и говорю.

Вышли из пыльного тепла в чистый холод, сунули руки в карманы, ссутулились, будто взяли на спины по мешку, но почувствовали себя легче, подвижней — хоть комсомольско-молодежный кросс сдавай. Из-за черного леса желтым, свежим дном бочки всходила луна. Над снежными полями, торосами лимана еще держался дневной свет, и вечер был бело-желтый, как лимонный морс в нашем буфете при бане. Лиман потрескивал, позванивал, от него пахло морем, рыбой и водорослями: приливная вода заливала у берега лед.

Нет, только кажется, что море пахнет рыбой и водорослями. На самом деле море пахнет путешествиями и дальними странами. Африкой, индейцами. Антарктидой и белыми медведями.

— Знаешь, — сказал Дергунов, — я обязательно буду моряком. Кончится война — поступлю в мореходку. Это ничего, что я в лесу жил. Может, я хотел не на кордоне родиться, а на острове Таити. Зато теперь как запахнет морем — знаю, что буду моряком. Буду, и все! Даже не

могу сказать зачем. Море, оно все для меня сделает, раз я так его люблю. Не веришь?

— Тебя укачивает?

— Не пробовал. Но я крепкий.

— А меня укачивает. Я тоже хочу — да укачивает. Умираю от морской болезни. Мне не повезло: всю жизнь буду с берега любить море. А ты, Лось, давай... Вообще лоси плавают хорошо!

Я толкнул Дергунова локтем (все-таки обидно было: вдруг Лось — и станет моряком!), но он не рассердился, до него трудно доходило, к тому же он размышлял и совсем оступел.

Ребята ушли вперед, скрылись за углом конторы, когда мы увидели толстяка, который портил нам нервы, катаясь с горы возле окон бондарки. Он шел рядом с маленькой, тоже толстой женщиной и был на целую голову выше ее. В руке нес меховые рукавички, по-блатному раскачивался.

— Буржуй, — сказал ему Дергунов.

Женщина услышала, сразу, будто ее завели, принялась кричать на нас и обзывать хулиганами, бандитами, заявила, что нас на фронт надо отослать. Буржуй отставил ножку и усмехался, вроде извиняясь: я ничего, я готов поговорить «на высоком уровне», вот только старушка мешает.

Он не трусил, и мы стали немножко больше его уважать, однако решили: «Воспитаем!» Женщина, накричавшись, увела буржуя, а мы двинулись дальше.

В общежитии было тепло, даже душно и пахло кухней: Сема Ирич знойно раскочегарил печь, что-то варил. Он же, инвалид Сема, принес из столовой наш ужин. С ходу обсели стол, съели все, что на нем оказалось, поклонились у Семы добавки и лишь потом осознали: первое — перловая каша с хлебом, второе — отварная кета и кетовые молоки. Очень соленные: Сема плохо вымочил. И еще увидели, что у нас грязные рожи, а руки — хуже придумать нельзя. Пошли умываться.

И все-таки было хорошо: Ирич нежно носил по комнате свою забинтованную руку, Стас Коневский писал заметку в стенгазету, Дергунов мечтал о море и острове Таити, а Юрка Нарышкин, как всегда, — о пище. Он лежал кверху животом на койке, почесывался, воображал булки и котлеты, наконец сказал:

— Так не пойдет. Надо добывать жратву, гад буду!

Я думал о Вале. Как мне уйти, чтобы они не пристали с «подначками» или кто-нибудь не прицепился в напарники? Сидел до последней минуты и, когда прикинул, что еще немного — и опоздаю, оделся и молча вышел. Они не успели сообразить. Пока погадают, я буду уже далеко.

Побежал рядом со своей длинной, изогнутой тенью. У бондарки остановился: подсобницы уже одевались и тушили свет. Теперь самое трудное: как подойти, что сказать Вале? Здесь, при всех, я не смогу, получится чепуха. Догнать на дороге, когда она останется одна?.. А если ее проводят до дома?

В бондарке погасла последняя лампочка, открылась дверь. Мне некуда было деться, и я ничего лучшего не придумал — взбежал на крыльцо навстречу подсобницам. Они перепугались.

— Кто это? — ойкнула самая трусливая, Майка Цюпа.

— Свой, — сказала старшая, медленно оглядывая меня.

— Ты зачем так поздно? — спросила Валя.

— Забыл... — Мне надо было быстро сообразить, что я забыл; от растерянности я даже ощупал свои карманы и выдохнул: — Блокнот забыл.

— Блокнот? Со стихами? — Это взвизгнула Тонька, самая болтливая в бригаде подсобниц.

Я отворил дверь, включил у порога свет, бросился к своему верстаку.

— Подожди, поможем! — кричала и суетилась Тонька, а Майка, дрожа голосом, повторяла:

— Ой, как я напугалась!

Передвинув инструмент, звякнув зубилом, я наклонился и глянул под верстак: ровным штабельком там лежала «отборненькая» клепка.

— Скоро ты? — грубовато окликнула бригадирша.

Я вышел на крыльцо, плотно закрыл дверь, вдел в петлю железную перекладину. Старшая нацепила замок.

— Нашел? — схватила меня за рукав Тонька. — Дай почитать.

— Что ты привязалась? — рассердилась Валя. — Человек стесняется.

— Вот именно! — сказала Майка Цюпа. Она радовалась, что все обошлось так обычно, даже смешно.

Прошли мимо столовой, почты, клуба. Старшая, взяв под руку свою подругу (обе они были солдатками), свернула в переулок. С девчонками мне стало легче: я побаиваюсь женщин, особенно солдаток, — они подсмеиваются, прямо-таки обжигают словами. Но сразу пристала Тонька:

— Прочитай стишок, а? В жизни не слышала поэтов.

— Я тоже, — вздохнула Майка Цюпа.

Валя молчала, и я не знал — читать или нет. «Ладно, — решил потом, — прочитаю маленький, чтобы отвязались эти две пискухи. Может, домой уйдут».

Третий год грохочет война,  
За черными далями дым.  
Но время настанет — придет весна,  
И так же, как нас не обманет она,  
Я знаю: мы победим!

— Ой, как здорово! — сказала Тонька.

— Ага. У меня аж мурашки... — прошептала Майка Цюпа. — А еще, хоть совсем маленький?»

Мы шли и шли, скоро покажется Валин дом, и она скажет «до свидания», а эти две болтали, хихикали и не думали расставаться с нами: им очень нравилась прогулка. Валя помалкивала, она уже догадалась, что я хочу остаться с ней наедине, но не хотела помочь мне. Это злило меня, наконец я сорвался (будь что будет!), сказал:

— Девочки, мне надо поговорить с Вале́й.

От неожиданности они остановились: ни им, ни при них никто никогда не говорил таких слов. Валя опустила голову, Тонька и Майка вылупили на меня глаза, словно вдруг узнали, что я убил сто двадцать фрицев и получил Золотую Звезду Героя. Однако сообразили — так нехорошо, застеснялись и пошли назад по улице, прижавшись друг к другу плечиками, став совсем малолетками.

Я вслушивался в их шаги, будто они мешали мне: вот сейчас замолкнут, и тогда... Луна поднялась, побледнела, на нее наплыло большое серебристое облако, похожее на лосося, и луна сияла рыбьим глазом. Прилив достиг самого большого напряжения, лиман замер, при-

морозились запахи моря. Все это оживет: вода, лед, запахи, — когда прилив, враз ослабнув, хлынет назад, к морю. Поселок был пуст, тих, почему-то не лаяли собаки под горой у нивхов, и лишь дым из труб дружно подпирал небо белыми столбами.

— Валя, мне надо с тобой поговорить, — сказал я.

— Слышала уже, — она чуть отодвинулась.

— Можно прямо?

— Говори.

— Валя, это случайно или нет: у меня самая хорошая клепка?

— Случайно.

— Нет, серьезно. — Я поймал ее руку в меховой рукавичке, слегка сжал. Не знаю, как у меня хватило на это смелости, но очень хотелось, чтобы она почувствовала мое волнение. — Мне вовсе не до шуток.

— Тогда не случайно.

— Значит, ты выбирала клепку и...

— Подложила.

— Только мне или всем нашим ребятам?

— Всем. А тебе больше.

— Почему?

— Не знаю.

— Нет, почему, почему? — Я схватил другую Валину руку и так дернул их к себе, что у Вали откинулась голова и свалилась за плечи шапка. Я поднял ее, отряхнул от снега. Шапка была такая же, как у ее отца, — из серой белки, пушистая. И вдруг мне стало обидно: почему эти Русаковы пристают ко мне — жалеют, помогают? Что я, хуже других? Может, на воспитание возьмут?

— Если будешь драться, я уйду, — сказала Валя, вырывая руки, глядя себе под ноги.

— Не буду драться, но ты объясни... Сегодня подходит Комлев, говорит: клепочка у вас отборная, без сучка и задоринки, из Америки выписали? Понимаешь, я чуть не сгорел со стыда, даже язык отнялся. Весь день работал, а тут — р-раз — и пустое место. Если Комлев разболтает, я убегу отсюда, пешком уйду!

— Комлев?.. — удивилась Валя. Она только сейчас что-то поняла, присмотрелась ко мне, словно надеясь не поверить моим словам. — Чего ему надо?

— Спроси у него.

Мы тихо пошли по улице. Сдвинувшись с места, я почувствовал, как сильно замерз: плечи, руки, ноги, казалось, поскрипывали от холода, ботинки не гнулись, став железными. И говорить расхотелось. Ну зачем пристал к девчонке, допрашиваю? Все и так ясно: хотела помочь нам, чтобы не очень оскандалились перед стариками, к норме скорей привыкли. Она не думала вовсе, что так получится, надеялась — никто не заметит, даже мы. Почему меня выделила? Тоже понятно: числюсь по пятому, а силенок — на третий едва-едва.

— Валя, — сказал я, едва мы остановились возле ее дома, — не надо этой клепки...

Валя резко повернулась ко мне, глянула так, будто услышала что-то обидное для себя, быстро заговорила:

— Они же опытные, сильные... Им всем воевать надо! И моему отцу. У них бронь, они будто бы не винюваты, а кончится война — как жить будут? Видел фронтовика Меркулова, лицо синее, одного глаза нет — в танке обгорел. Страшно. Они все его водкой угощают. стыдно потому что... А этот клепку увидел — «из Америки», мальчишек не жалко!..

— Уж не такие мы мальчишки.

— Мальчишки! — упрямо повторила Валя. — Вам учиться надо.

Мне и в самом деле показалось, что я недоросток, меня следует жалеть, опекать, а вот она, Валя, лет на десять старше, знает людей, умеет жить среди них. Ее необходимо слушаться, как старшую сестру или учительницу. Но все же я попросил:

— Валя, ну ее, эту клепку. Ладно?

— Ладно.

— Мы без нее как-нибудь... А то и нам потом стыдно будет: всю войну на чужом хребте ехали.

— Смотри, чтобы свой не сломался. — Она усмехнулась, по-русаковски сощутив глаза.

— Дай слово.

Она кивнула, дохнув белым паром.

Я схватил ее рукавичку, сильно сжал, сказал «пока» и побежал под гору. Мигом разогрелся, даже ботинки начали гнуться. У магазина пошел шагом, по-солдатски размахивая руками.

Сначала думал о Вале. Все-таки вредная она девчонка: об отце как говорит! А взяли бы отца — и прощай,

школа, зарабатывай полный паек. Словом, вкалывай, как мы; грешные, по примеру старших. Может, и ни при чем ее отец: просился на фронт — не взяли. Что-то не похож он на природного «броневика»... Потом думал о фронтовике Меркулове. Это правда — он всегда пьяный. Ходит по домам, рюмки сшибает. Его кормят, угощают. Пока один фронтовик на весь поселок, всем хочется поговорить, о фронте больше узнать. И стыдно, может, кое-кому. В клубе выступал, тоже пьяный был, едва за трибуной держался. Все сочувствовали: ему можно. А жена плачет, следом ходит, уговаривает образумиться. Как образумиться, если трезвым не бывает? Вчера в сугробе нашли, чуть не замерз. Весь поселок только и говорит о Меркулове: «Что с ним делать? Как заставить хоть немного работать? Куда устроить?» Оперуполномоченный вывесил на конторе приказ: «Всех угощающих фронтовика Меркулова спиртными напитками буду подвергать денежному штрафу». Пока Меркулов ходит пьяный.

Я вспомнил своего отца — что лучше: погибнуть или вернуться таким вот домой? Так и не решив, открыл дверь общежития.

## 5

Было воскресенье, и мы отдыхали. А вообще мы не каждое воскресенье отдыхаем — одно из трех, в другие работаем на оборону. Добровольно. Кроме Юрки Нарышкина, мы все — несовершеннолетние, нам не полагается перерабатывать, сами согласились: война — для всех война. Да и что делать в воскресенье? Спать, читать, по улице шляться? От этого больше есть хочется. Лежишь — думаешь, ходишь — еда мерещится. Когда работаешь, обо всем забываешь, даже о войне. Ударят в рельс, вздрогнешь от неожиданности, удивишься: как быстро время прошло! И всегда не успеваешь: последнюю клепку острогать, последний обруч склепать. Русаков гонит, жалеет нас.

И сегодня лучше бы нам работать. Особенно мне. Стоял бы я сейчас возле верстака, собирал второй дупель, поглядывал на Комлева — я уже сильно его поджимаю, и он сердится, — мыслил о чем-нибудь хорошем,

и не было бы этого... Пусть это случилось бы только с Нарышкиным. Ему все равно, он привык, по-другому жить не может.

Я вошел в общежитие, отдал Кольке Дергунову пайку хлеба и сахар в бумажке, свернутый порошком, не раздеваясь сел на скамейку. Мне ничего не хотелось делать, я, наверное, заболел. У меня ослабели руки и ноги, а в глазах много воды — все кажется мутным, далеким.

Колька откинул одеяло, привалился спиной к подушке, развернул сахар, бережно посыпал им хлеб. Он не пошел на завтрак, решив, что движение отнимает слишком много энергии, и мне пришлось съесть его рыбный суп. Лучше б я его собакам вылил. Конечно, Колька здесь ни при чем. Он смирный, он — лось; он съест сейчас свой хлеб и завалится спать до обеда, не потеряв и капли энергии из своих жил и костей... Колька ест медленно, зажмурившись, как бы вдумываясь в хлеб: он хитрый, знает, что так вся пайка пойдет в пользу. С ним никогда не случится этого... Мне становится зло на его серьезность, прямо мужик натуральный, и я говорю:

— Колька, я украл деньги.

Он еще минуту жует, вдумываясь в хлеб, проглатывает крошки с ладони, минуту молчит. Говорить — для него самый неподходящий момент: не любит, напитавшись, впустую языком ворочать. Но все же выжимает из себя слово:

— Врешь.

Я вынимаю из кармана пачку денег, шлепаю на стол. Пачка из потрепанных пятерок, пухлая, перебинтована крест-накрест белыми полосками бумаги. Дергунов начала серьезно, потом с удивлением смотрит на нее, а вот уже видно — он забыл о хлебе, встал, длинный, худой, как на ходулях проковылял к скамейке, сел подальше от меня, словно чего-то опасаясь.

— Где? — спросил он.

— В столовке.

— Как?

— Понимаешь, мы с Нарышкиным отстали, пришли — никого нет, одна буфетчица на счетах щелкает. Подаём талоны, она говорит: «Проспали, ничего нету». — «Как это нету! — заорал Юрка. — Рабочую пайку урвать хо-

чешь!» Она тоже орала; после, разволнованная, пошла на кухню узнать, не осталось чего в котле. Бросила талоны, бирки на прилавке, ящик чуть выдвинутый оставила. Нарышкин — раз и повис животом на прилавке. Я думал — за пайкой хлеба потянулся. Нет, сунул руку в ящик, вытащил одну, потом вторую пачку денег. Спрыгнул, шипит: «Хватай!» Я тоже схватил пачку, в карман впихнул. Понимаешь, как-то механически, будто вовсе не я. Только в кармане почувствовал: деньги тянули, как кирпич. Испугался, хотел выбросить назад, а тут буфетчица идет, красная от злости. Больше еще испугался: так и жду — вот сейчас схватит за руку и в контору к «оперу» поволочет. Нет, ничего. Выдала нам бирки, за счета уселась. Ну, как я жрал — не знаю, весь рот обварил. Да еще две порции. Нарышкин пошел кланяться добавку, а я бежать. Всю дорогу чудилось — кто-то выслеживает...

— Жалко, что она вас не поймала, — вздохнув тяжело, по-лосиному, усмехнулся Дергунов.

— Понимаешь, она поймала бы, посмотрела бы на меня — и поймала. Я про себя орал ей: «Украл, украл!» — и карман у меня выпирал, как полпуда весил, но она чуть глянула и отвернулась.

Колька взял в руки пачку, потискал, будто проверяя, не поддельная ли она, — спросил:

— Сколько?

— Сто, там написано.

— Так. Можно купить буханку хлеба, или две осьмушки махорки, или четыре соленых кетины. Можно молока четыре литра.

— Я жрать не буду.

— Зачем взял?

— Не знаю. Я же сказал — механически.

— Тогда отдай Нарышкину — он твой механик.

— Правда, отдам. Только ты чего сердишься? Может, сам хочешь, мне — не...

Дергунов медленно поднялся, словно от какой-то боли скривил губы, сморщил нос. Подошел ко мне, — я сжался в комок, притих, — постоял, сильно сопя, покачиваясь, шагнул к постели, с маху шлепнулся на нее и влез под одеяло.

Стало тихо, зябко: за окном жестко струился ветер. Вот сейчас придут ребята... Я глянул на пачку денег,

она лежала там же, гладкая, плотная. Что делать мне с ней? Не ждать, конечно, ребят, не жаловаться им, как Дергунову. А то и расплакаться можно. Сам украл... Я встал, сунул пачку в карман, вышел на улицу.

Я не знал, куда и зачем пойду. Буду просто шагать и все обдумаю. Главное мне ясно: мне не нужны эти деньги. Значит, надо от них избавиться. Пойти и отдать буфетчице? Я вздрогнул, вообразив ее красное лицо, толстые руки с закатанными рукавами грязного халата. Она будет орать и все равно отведет меня к «оперу». Может, тихонько подбросить? Если никого не будет — она заметит пачку, если в толпе — ногами перемесят или кто-нибудь найдет и не отдаст. Народ теперь разный. Отправить ей переводом?.. Дома под дверь подложить?..

«Трус, — сказал я себе, — а еще на фронт собираешься! Смог украсть, умей ответить. Пойди и заяви на себя, пусть судят, пусть презирают: отец погиб на фронте, а сынок буфеты обворовывает. Даже хуже — государству в карман руку запустил. Лет пять вклеют по военному времени. Да в штрафной на передовую, хоть и слишком большое доверие — передовая. Словом, решат, им виднее, что с такими делать».

Вон уже контора с флагом, в конторе есть комната, где сидит оперуполномоченный (у него я хотел проситься на фронт: здесь нет военкома и он занимается призывниками), войду и скажу: «Арестуйте!» Но как быть с Нарышкиным? Не рассказать — те две пачки на меня запишут, потребуют вернуть; рассказать — предательство. Ребята презирать будут. У каждого своя совесть, к тому же у Нарышкина есть судимость, условных два года носит. Засажу на десяток лет, помрет в тюрьме... Лучше морду ему набить как следует, отобрать деньги и по почте послать самой бедной многодетной матери или старушке. Буфетчица не пострадает, толстая, возле хлеба и талонов — выкрутится.

Надо найти Нарышкина, поговорить с ним начистоту. Будет упираться — тряхнуть слегка, мозги на место поставить. Это я и сам смогу, особенно сейчас. Где он ходит-бродит? Может, потратил уже денежки на жратву? Или буфетчица его поймала, пока он стоял за добавкой?

Я шел и шел. Погода была стылая, однако я не очень чувствовал холод. Даже уши не мерзли. Во мне все

разгорелось, точно от водки, обострилось — я хорошо, резко видел, а нос мой улавливал далекие, влажные запахи моря, которые приносил через ледовые поля с открытого океана ветер. Мне бы к морю сейчас! Я бы утопил деньги в зеленой воде и смотрел, как они долго идут ко дну. Их проглотит какая-нибудь рыба: они, залапанные пальцами, пахнут едой.

За клубом с горки катался мальчишка в пухлом старом ватнике, перепооясанный красным кушаком. Шапка и валенки у него были тоже большущие, сразу видно — чужие. Пока мать или дед сидят дома, он старается «наработаться». Съехав с горки, мальчишка, сопя, тащил санки вверх, снова съезжал. Трудился как заведенный, сопли и то некогда было смахнуть рукавицей.

Я подошел к нему, сказал:

— Здорово!

— Чо тебе? — ответил он, пряча веревку от саней за спину. Подумал, наверное, что буду просить показаться.

— Не нужны мне твои сани, — успокоил я его.

— Тогда чо?

— Поговорить хочу.

Мальчишка остановил чистые, намытые морозными слезами глаза.

— Чо, испугался? — спросил я.

— Курить нету, — пошарил он в карманах ватника.

— Не надо мне твое курево. Хочешь, тебе дам?

— Га, — разулыбался он.

— Маленький еще. Сопли подотри.

Шаркнув рукавицей по носу, мальчишка окнул меня быстреньким взглядом.

— Сам какой.

— Я работаю, бондарь пятого разряда.

— Га!

— Хочешь, денег дам? Не жалко.

— Чо врешь?

— Врешь?.. — Я вытащил из кармана край пачки, показал ему. Он заморгал, присматриваясь и пугаясь, от удивления у него опять замокрел нос. — Ну?

Не отводя глаз, будто они прилипли к деньгам, мальчишка прошептал:

— Украл...

Он подтянул к себе сани, попятился и бросился бе-

жать, размахивая заледенелыми рукавами ватника, при-  
волакивая грузные валенки. Я хотел догнать, врезать  
ему, но злость быстро прошла: разорется еще, народ  
соберет.

Мне снова сделалось противно и обидно. Когда по-  
казывал мальчишке деньги, почти позабыл, откуда они  
у меня, хотел поделиться, как своими, заработанными:  
ведь мальчишка — маленький оборвыш, у него, навер-  
ное, полон дом братьев и сестер, а батя на фронте.  
Оказалось — так щедро делюсь ворованными, свои сам  
проедаю, матери еще ни разу не выслал.

Иду дальше, втянув голову в плечи, жуликовато по-  
глядывая. Пачка в кармане шлепает меня по ноге —  
холодная, твердая. Если я до вечера не избавлюсь от  
нее, украду еще что-нибудь. Мне теперь все равно. Буду  
воровать, пока не попадусь... Вместе с Нарышкиным...  
Зато проживем, как буржуи.

Возле барака с обросшими инеем окнами и две-  
рями старуха вешает белье. Она худая, хилая, на синих  
костлявых руках нет рукавиц, да и не верится, что та-  
кие руки могут мерзнуть. Подойду и отдам ей деньги.  
У нас государство народное, деньги тоже. Пусть купит  
себе буханку хлеба или четыре литра молока. А буфет-  
чица — ничего, толстая.

Подхожу к забору, старуха присматривается, ви-  
дит — чужой, морщась, шипит:

— Иди, иди, что тебе...

А вот движется навстречу румяная особа, в довоен-  
ном пальто с каракулевым воротником. Рукавички но-  
вые, на согнутой руке, впереди себя, сумка. В ней ка-  
кая-то жратвишка.

Этой ни копейки не дам, у этой сам чего-нибудь ста-  
щу, если случай подвернется. С Нарышкиным обрабо-  
таем, чистенько.

Идет старик в полушубке и нерпичьих унтах — ни-  
чего, сам проживет, и взять у него нечего. Хохочут две  
молодые бабы — бедноватые, но здоровые, — пусть зара-  
батывают. Вон, далеко, вышел из конторы директор  
рыбозавода в белых бурках. Приличные бурочки — ты-  
сячи на полторы потянут.

А это кто?.. О, Стас Коневский с какой-то девочкой.  
Рукой рубает, словно речь произносит. Телогрейку рас-  
стегнул, горячего парня изображает. Даже непохоже

на Стаса. А девочка, кажется, Тонька. Точно — Тонька! Интересно, как они подружились: он серьезный, она — болтушка. Может, Коневский воспитывать ее взялся? Страшно любит влиять на политически незрелых.

Они свернули в переулочек. Нет, мне надо поговорить с Коневским, сейчас, немедленно: он все знает, у него голова — полный кодекс. Потихонечку выпрошу, как чувствуют себя укравшие деньги, на что тратят их. И вообще, поболтать с ним — будто невропатолога навестить.

— Стас! — крикнул я, когда его спина хотела спрятаться за крайним домом в переулочке.

Они остановились.

Я подошел не торопясь, пожал руку Тоньке, вежливо сняв рукавицу. Это понравилось ей, и она засияла, заговорила о том, что хорошо будет побродить вдвоем по поселку, потолкаться, поболтать. Сейчас мне всякие такие развлечения были ни к чему. Придумав, как избавиться от Тоньки, я сказал:

— Тонь, а тебя мама ищет.

— Ага?

— Я шел возле магазина, она спрашивает: «Не видел Тоню, очень нужна. Ну, я ей дам!» — говорит.

— Ага, ага? — вытаращилась на меня Тонька.

— Ну!

— Тогда я побегу. До свидания, Стасик!

Она пустилась под гору, к магазину. Скоро ее красный платок скрылся за сугробом. Хорошая девочка Тонька, лишь чуточку хуже Вали: очень толстая и болтает много. А мордашкой лучше многих подружек. Теперь и Коневскому клепочка обеспечена. Интересно, как он выпутается, если влипнет в клепочную историю?

— О передовице говорили? — спросил я Стаса.

— Нет... Понимаешь, Тоня рисует неплохо. Но карикатуры не получаются. Я посоветовал ей у Кукрыниксов подучиться.

— Командировку в Москву дашь?

— Зачем? Подшивки можно полистать, журналы. Я ей помогу, не очень трудный вопрос. — Стас застегнул на все пуговицы телогрейку, ему не хотелось быть похожим на меня, сказал тоном выше: — За тобой эпиграммы, пять штук. Смотри, чтобы острые, но необходимые, особенно на стариков.

— Ладно, острые, необходимые... Потом это обсудим. У меня разговор важный. Вообрази, Стас, что ты украл деньги. Как-то украл, и все... Сто рублей. Лежит у тебя пачка в кармане, ты идешь по улице. Как ты себя чувствуешь, куда денешь деньги?.. Ну, вообразил?

— Подожди, не понял. — Стас иахмурил брови, вдумываясь в мои слова. — Так, украл деньги?

— Ага.

— Положил в карман, иду?

— Точно.

— Что я чувствую, куда дену деньги?

— Ну.

— Так, подожди, подумаю.

Коневский идет, опустив голову, сунув руку в карман, вдумывается, вживается в состояние вора. Через минуту говорит:

— Плохо получается. Не могу с ворованными деньгами, боюсь, мешают.

— Я тоже...

— Что?

— Я, говорю, тоже не смог бы. Мы такие хлюпики.

— При чем здесь хлюпики?

— Да так, хорошие люди...

— Ты что-то того... Не выпил, случайно?

Коневский подступает ко мне, чутко принимает.

— Нет, Стас, не выпил. Все-таки скажи: вдруг у тебя оказались деньги?

— Ты что, разыгрываешь? Знаешь, я не люблю таких шуточек.

— Нет, серьезно.

— Спроси у Нарышкина.

Опять Нарышкин! И Дергунов к нему посылал. Где же он шляется, этот Нарышкин? Я должен его найти, вместе воровали — вместе переживать надо. У него опыт, он поделится со мной — и наплевать мне станет на все! Может, добудем водки, выпьем, придем в общежитие и всем этим правильным морды набьем. А Коневскому я бы сейчас съездил, да не станет он драться, прочитает длинную мораль на тему «О дружбе и любви» и спокойно приложит комок снега к разбитой губе или вспухшему глазу. Тут же и прощения просить придется.

— Есть другие вопросы? — спросил Стас.

— Нету.

— Из-за такой ерунды отвлек меня от работы.

— Над Тонькой?

— Меня не заведешь, не пробуй. От общественной. Мы недообсудили оформление.

— Иди к магазину, она еще там.

— Пожалуй, пойду. Извини.

И опять я остался один. Никогда я не был таким брошенным, позабытым. Кажется, впервые почувствовал, что такое одиночество. Это когда тебе трудно с самим собой, ты видишь, какой ты жалкий, ненужный, сопит у тебя от насморка нос, пахнет бесприютством одежда, — и ты начинаешь ненавидеть себя. Тебе все равно, куда идти, что делать, только бы упрятать, скрыть себя от людей. И я пошел к лиману, в его пустоту, белизну и холод.

Был отлив, лед провис, упал над пустотой, затянулись трещины, словно резанные раны, и лишь кое-где, у огромных снежно-ледяных торосов, виднелись пристывшие провалы воды. Я шагал по льду, смотрел туда, откуда пахло морским ветром, смотрел на горы Сахалина — они острые, граненые, как вулканы; над ними лежали облака — и это напоминало дым перед извержением. Я остановился над темным провалом, глянул в него.

Сквозь тонкий стекольный ледок зияла глубина, и далеко внизу серо мерещилось галечниковое дно. Вода была зеленоватая, полуморская, полусоленая. Промелькнула стайка рыбок, наверное, навага; промерцала алыми щупальцами медуза. А вот что-то ползет по дну — темное, разлапистое — наверняка краб; течение стушевывает его, струится над ним маревом.

Я пробил куском твердого снега ледок — запахло стылой толщей воды, — разбежался и... вообразил, что прыгнул. Почувствовал, как меня охватывает, втягивает в себя глубь, как я тону... И утону, потому что выбраться на сколотый, голый лед можно тоже лишь в воображении.

Вообразил — и понял: не могу, страшно из-за сотни залапанных бумажек. Но стоять здесь, рядом со смертью, было даже приятно — больно, жалобно и — приятно. Захочу, шагну, и... жалеите, люди, плачьте обо мне. Я не только делал бочки — еще стихи писал. Это главное.

Вам будет стыдно, когда узнаете, что так просто, на ваших глазах, погиб поэт. Да, я чувствовал сейчас себя поэтом. Попробовал даже сочинить последние стихи — получалось глупо. И я заплакал, по-настоящему, глубоко жалея себя.

Плакал, всхлипывал, думал о маме и отце, у меня разболелась голова, я жутко замерз и, может быть, вправду шагнул бы к обрыву, но позади закрипел снег. Обернулся, увидел Кольку Дергунова. Он бежал, прижав локти и опустив голову, как на дистанции кросса.

Попробовал вытереть щеки и не смог разогнуть пальцы — заледенели. Не знал: идти навстречу Кольке или все-таки прыгнуть в воду? Стоял и смотрел на него, а он с ходу крикнул:

— Дурак, куда ты забрел! Хочешь, врежу по сопатке!

Он схватил меня за руку.

— Пошли.

Я не вырывался, мне все равно. Колька часто дышал и был злой. Он мог врезать. И хорошо бы сделал. Но у меня не было силы попросить его об этом. Пусть сам решит.

Кончился лед, мы вышли на берег.

— Понимаешь, — заговорил Колька, — я на тебя так рассердился там, дома, когда ты мне это самое... что лег, натянул одеяло и уснул. Проснулся — нет тебя, денег тоже. Спрашиваю у Ирича — не видел, отвечает. Схватился, побежал. Ты ведь дурак,образишь трагедию. А где искать, не знаю. У магазина Стас с Тонькой. Спрашиваю — по улице бродит, говорят, и немного выпил, чепуху разную плетет. Прочесал весь поселок. Ладно, какая-то бабка сказала, что ты к лиману поперся.

Колька уже успокоился, настроил свое дыхание, отпустил мой рукав.

Я молчал, мне все равно. Он лучше знает, что говорить и делать.

— Пошли в столовую, — сказал Колька, — а то опоздаем.

— Не пойду.

— Голодовку объявил?

— Есть не хочется...

— А-а, понятно. Дай сюда деньги.

— Зачем?

— Давай, давай. Я все обдумал. Все сам сделаю, потом тебе скажу. Нормально будет.

Я остановился, тупо, растерянно глядя на Кольку. Мне противно было лезть в карман, голыми пальцами касаться денег. Колька глянул, определил, в каком кармане у меня деньги, достал пачку, сунул за пазуху.

— Пойдем.

Без денег стало так, будто я свалил с себя страшную тяжесть, от которой подгибались колени и мутилась память. И в столовку я вошел почти как всегда, только не посмотрел на буфетчицу, сразу нырнул в зал. Колька получил бирки, потом принес рыбный суп и перловую кашу.

Есть мне в самом деле не хотелось, решил было от-  
дать кашу Дергунову — ему с лосиным аппетитом еще бы три порции, — но не осмелился: не возьмет да еще обругает. Проглотил все не жуя, уселся поудобнее ждать, пока Дергунов медленно, вдумчиво перетрет каждую крупинку своими железными челюстями.

Сильно пахло постной рыбой и перловкой. Этот запах смешивался с холодом, сквозившим из разбитой двери, сыростью мокрого, затоптанного пола — и был всегдашним запахом столовой. Им пропитывалась одежда, он набивался в нос, уши, глаза и после долго выветривался. Лишь его мы получали без нормы. И еще без счета доставались каждому мутные капли, которые скапливались на потолке от пристывшего пара и падали на столы, головы, в чашки. Капли напоминали скользкую перловую крупу.

— Лось, — сказал я, когда мы вышли, — мне не хочется домой, пошли в бондарку.

Он согласился. Я знал, что сегодня он будет слушаться меня, как больного. Он дал мне закурить. Это тоже хорошо: от дыма сделалось смутно, чуть сонно в голове.

Бондарка грохотала, переваривала дерево. Во дворе со всех сторон она была заставлена бочками, штабеля росли, громоздились вверх. В бочках, как в баррикадах, мальчишки играли в войну. Гул, скрежет, визги создавали им боевую обстановку. Мы прошли по коридору между штабелями, и в спины нам вlepилось несколько снежков.

Отворили дверь, докурили у порога папиросы.

Скобцов бежал, суетился вокруг своей бочки; Комлев важно, на вид с ленцой обхаживал свою. Скобцов ругался с инструментом, деревом; Комлев вежливо уговаривал. Скобцов «добывал» первую бочку, Комлев наполовину «уговорил» вторую.

Я сел на услон, вложив клепку, взял наструг.

— Трудиться? — крикнул, улыбаясь, Скобцов.

— В фонд обороны, — сказал Колька и тоже сел на услон.

— Это я понимаю! — крикнул Скобцов.

Комлев ходил вокруг бочки, и каждый раз, когда его лицо поворачивалось к нам, он присматривался: не верил, что мы пришли работать, — такой он скептический человек. Если к нему подойти неожиданно и спросить: «Правда ведь — ваша фамилия Комлев?» — в первую минуту он не согласится.

Я строгал и думал о Дергунове. Он — настоящий друг. Сидит и тоже строгает. А мог бы спать. Он любит и умеет спать. Все, кто жил в лесу, умеют спать — там деревья убаюкивают. И выносливые лесники. Дергунов вынесет сегодняшнюю работу из-за меня. А мог бы подремывать, слушать треп Нарышкина или научные лекции Коневского. Но у меня расшатались нервы, и он будет строгать, укреплять мою нервную систему. Я ему непременно чем-нибудь добрым отплачу. Если попадем вместе на фронт, прикрою от пули; если нет — посвящу самый лучший стих.

Долго думаю о Дергунове (он напоминает мне моего бывшего дружка Петьку Самосуда с золотых приисков), думаю и дергаю наструг, говорю в такт рывкам: «Дергу-нов», понемногу забываю о нем и только работаю, работаю. Шуршит стружка, бубнят бочки, лязгают наковальни, а то вдруг слышатся голоса, глухие, как сквозь пургу. Пелится, течет под ногами мягкое дерево. И все вместе это похоже на бушующую штормовую погоду.

## 6

Это была очень длинная ночь. Мы просыпались, переговаривались, снова засыпали. Отлежали бока, но было темно, тихо, и никому не хотелось вставать.

Потом Ирич сказал:

— Ребя, ходики остановились.

Он встал, босиком прошлепал к стене, нащупал цепь ходиков, подтянул гирию.

— Посмотри время, — приказал Нарышкин.

Ирич долго искал спички, натыкался на табуретки, наконец чиркнул спичку к стрелкам часов.

— Двенадцать.

— Чего двенадцать?

— Ночи, наверно.

— Гы, ночи! — заорал, смеясь, Нарышкин. — Значит, два часа всего припухали.

— Чего орешь? — пробурчал Дергунов.

— Голос после затирušки пробую.

Дергунов поднялся, нащарил ботинки, сильно стуча каблуками, пошел к двери. Потоптался, потуркался, через минуту проговорил из темноты:

— Дверь не открывается. — Еще раз ударился плечом. — Замело, что ли?

И тут мы поняли: что-то произошло. Никакая ночь не бывает такой тихой — или ветер слышится, или собачий лай, и лед в лимане так гремит, что пугаешься во сне. Никакая ночь не бывает такой темной — хоть немного синеют окна, а если луна, совсем светло в доме.

— Ребя, замело-о, — жалобно простонал Ирич. — Точно, вечером пурга начиналась и в трубе жутко выло.

Все вскочили, словно по военной тревоге, принялись отыскивать штаны, рубашки, обувку. Засопели, куда-то торопясь, молча толкаясь; кто-то ударился, всхлипнул. Нарышкин выругался, дрожа голосом:

— Куда тащишь, шкура... Моя портянка!

— Тише! — сильно выкрикнул Дергунов. — Свет зажгу. — Он пошел вдоль стены, нащупывая выключатель. — Так, вот он где. — Несколько четких щелчков. — Нет света. Сейчас плошки отыщу. Без паники!

Мы ждали, присмирив, будто Дергунов покажет нам сейчас что-то совершенно необычное, потрясающее. Я сидел на койке без рубашки, в одном ботинке и думал: «Плошки — это хорошо, это — свет. Надо было сразу догадаться».

Дергунов зажег одну, после вторую плошку — жестянки с нерпичьим жиром и фитилями. Мы всегда их держали в запасе: электричество отпускалось поселку

по очень скудному лимиту. Фитили разгорелись, потрескивая, желто осветили стены, печь, наши лица. Запахло горелым жиром.

Некуда стало торопиться, я сидел, не зная, одеваться или опять влезть под одеяло: все равно занесло, все равно нечего делать. Вернулся к своей койке Дергунов в ботинках на босу ногу, принялся медленно, обстоятельно одеваться: туго наматывал портянки, крепко подтягивал ремень на ватных брюках, похлопывал себя по бокам, ощупывал рукава — хорошо ли, плотно ли все прилегло. Так, наверное, облачался он на охоту, когда лесничил с отцом. Я тоже оделся, подтянулся, будто собрался в бондарку.

Совсем неожиданным оказался Стас Коневский. Он даже одеяла не сбросил и теперь выскочил на середину пола в одних трусах.

— Спокойно, ребята, сейчас я вам все объясню!

Сейчас — значит через десять минут. Стас сделал стойку, вытянулся в струнку, размеренно зашагал на месте. Потом были взмахи руками, повороты, сгибы и перегибы, дыхание носом и ртом, лежание на полу. Не было только матраца с гвоздями. Наконец Стас успокоился, быстро оделся, вышел к столу.

— Должен вам сказать, что в этой обстановке отлично проявил себя Николай Дергунов. Он вел себя как боец в трудный момент боя. Могу признаться, в первую минуту я тоже растерялся. Мне хочется пожать руку Дергунову, от всех нас...

Коневский подошел к Лосю, тот рявкнул:

— Пошел ты!..

Коневский ничуть не обиделся, подтянул ремень на военной гимнастерке (он очень любил все военное, у него была даже алюминиевая фляга в брезентовом чехле), вернулся к столу.

— Ребята, — четко сказал он. — У меня еще два слова, разрешите?

— Дуй до горы, — сказал Нарышкин.

— Вот именно, из-за горы, — не расслышал Коневский. — Из-за горы все и произошло. Представьте, наш дом под горой, позади нас высокие склады, мы — в котле. Началась пурга, снег падал на гору, сильным ветром его сносило вниз, на наш дом. Завалило по крышу.

— Успокоил, — прохныкал Ирич.

— Я не собираюсь вас успокаивать, вы — взрослые люди. Некоторые на фронт собираются. Но могу научно доказать, что в этом деревянном ящике мы не задохнемся: свежий снег не очень плотная масса, в нем всегда много воздуха. Не задыхается даже человек, засыпанный снегом.

— Профессор!

— Кандидат академических наук...

— Нет таких наук, — поправил Коневский. — Предлагаю затопить печь, если она не потеряла тяги. Хотя у нас тепло, даже душно — это лишнее доказательство того, что мы в снежном колпаке. — Коневский открыл дверцу, сунул клоч бумаги, поджег. — Так, тяга имеется, подкину дровишек.

— А жрать дашь? — спросил Нарышкин.

— У тебя есть, остальные потерпят. Думаю, что нас уже откапывают, часа через два пойдем в столовую.

— Хорошо грамотным, — сказал Нарышкин, — а я не могу, сейчас затирушки себе сварганю.

Затируху Нарышкин варит из белой муки, которую купил из-под полы у кого-то на две сотни ворованных денег. Ест один, по беспризорной привычке. Другие не просят — знают, что нечестно добыто. Правда, Юрка подкармливает Ирича: тот скоро получит посылку от родителей. Но Ирич и отказаться не сможет, он совсем ребенок, от голода слюни распускает, ему приказывают — слушается, бьют — плачет.

У нас с Дергуновым — никакой еды. Пролетарии. И деньги не знаю куда он дел. Спросить боюсь. Ну их... Лучше голодать, чем страдать из-за этих бумажек, все равно пользы не будет: мы с Колькой очень правильные, по закону жить хотим, от чужого у нас психика портится. Когда-нибудь потом узнаю насчет денег, лет через десять, буду уже старик, угощу Дергунова водкой, и мы душевно поговорим.

— Ребята, давайте займемся газетой, — подошел к нам Коневский.

Это больше касалось меня. Дергунов бездарный. Рисовать, стихи писать, выступать на собраниях — для него погибель, легче медведя убить. Он будет смотреть, слушать, может, советик какой-нибудь подкинет. А мне как раз подходящее дело. И Коневскому — он тоже пролетарий, похуже нас с Дергуновым. Мы буржуи против

него, у меня — мать и сестренки, у Кольки — мать, и отец еще не погиб на фронте; Коневский один на всей планете.

— Давай, — сказал я.

Стас достал из своей тумбочки свернутый в трубку лист бумаги, расстелил его на столе. Во весь лист был написан заголовок: «Бочкой по фрицу!» В первой колонке, вместо передовицы, стояло мое стихотворение. Дальше — заметки и нарисовано несколько карикатур: на Скобцова, Нарышкина, подсобницу Майку Цюпу. Карикатуры очень смахивали на кукрыниксовские.

— Как? — спросил Стас.

— Нормально.

— Тебе тексты под карикатуры. А я займусь перепиской заметок.

Я стал думать о Скобцове: как бы сочинить такую эпиграмму, чтобы он не обиделся. Да и не хочу я вовсе его обижать — он мне весь нравится: со своим криком, суетой, рыжими волосами. Как раз за суету и крик я должен почему-то его критиковать. Будто бы это мешает, создает нервную обстановку в бондарке.

В голове у меня завертелись слова, застучали рифмы: «Скобцов — огурцов — молодцов — образцов; Скобцов шумит, Скобцов гремит...» Я вижу его возле бочки, по пояс в стружках, потного, скандального; разбросана клепка, инструменты, он что-нибудь ищет, матерится. «Скобцов гремит, грохочет и ругается...»

А Юрка Нарышкин варит затируху. У него уже закипела в кастрюле вода, сейчас он подденет синей кружкой муку... Вот, пошел к тумбочке, сунул кружку в мешочек, аккуратно пошуровал... Неполную набрал, жадный, черт. Несет к печке, словно разлить боится. Да ну его!..

«Скобцов... грохочет и ругается. Как будто бой, как будто...» Интересно, что сейчас делает Скобцов? Если обед — он дома. Жинка кормит его. Молоко подает — у них корова. Разные сливки-наливки. Жинка у него очень красивая, но такая... Вот бы про нее я сочинил: «Не кричит, не суетится, но Скобцов ее боится» — и еще что-нибудь. Скобцов обещал на обед позвать. Может, сегодня позвал бы, да «как назло, нас снегом занесло». Поехали дальше...

Нарышкин муку в кипяток сыплет. Разве так надо!

Руки трясутся, кричит на Ирича, чтобы лучше ложкой мешал. Ирич аж заикается. Нет, не получится хорошей затирухи — комков наделают. Надо спокойно, с толком, с чувством. Вот в ФЗО повариха тетя Маша заваривала — аромат, густота, вкус. Две миски слопаешь (во время дежурства на кухне) и ходишь — брюхо бережно носишь. Добрый, смирный, будто войны нету. А котел начнешь чистить, таких лепешек наковыряешь... Уметь надо. Куда Нарышкину! Во, замахнулся на Ирича пустой кружкой. Пусть только стукнет...

— Ну-ка, ты, опусти руку! — это сказал Дергунов. Он читает фантастику А. Беляева «Прыжок в ничто», но все видит. Нарышкин успокоился, лижет ложку. Да ну его...

Так, у меня что-то вытанцовывается. «Как будто бой, а он — герой...» Складно, кажется... А если так:

Скобцов шумит,  
Скобцов гремит,  
Грохочет и ругается,  
Как будто бей,  
А он — герой,  
И фрицы разбегаются.

Ничего. И все-таки немножко обидно для Скобцова. Нужно концовку придумать: вверху будет критика, внизу — хорошие слова.

Нарышкин жрет прямо из кастрюли. Иричу в кружку отложил. И почему так пахнет затируха — убийственно вкусно? Из чего она? Мука и вода. Юрка приправил немного перпичьим жиром — из осветительной площадки горячего отлил. Невозможно подумать, что до войны такую еду не хотели есть. Такой пищей можно всю жизнь питаться — побольше давай. Конечно, Нарышкин испортил, комки глотает. Можно бы, как тетя Маша, — с чувством, с толком. И лепешки бы па дне поджарились, и запах — с ума бы сошел! Не умеешь, других попроси...

Теперь на Майку Цюну надо сочинить. Смотрю карикатуру: Майка сидит возле печки, греется, и улыбка на всю физиономию. Позади нарисованы девчата — таскают огромные охапки клепки. Ясно — лентяйка.

Дергунов встал, отшвырнул книгу, наверное, не выдержал запаха, пошел к двери. Сильно ударил плечом раз, другой. Дверь немного отошла. Дергунов разбе-

жался, ударил ногой — дверь охнула, ходко подалась. В просвете обозначилась ровная, синеватая стена снега. Она была похожа на воду в глубине. Дергунов взял плечом, принялся ковырять снег.

— Для нас, — сказал Нарышкин Семе, — наедемся, будет куда сходить.

Дергунов не ответил.

Я вспомнил о Цюпе, завертел слова: «Цюпа — глупо — скупое — труп... Труп, труп... Майка Цюпа — не живет трупа». Хорошо. «Клепки — пробки — сопки — топки...» Во!

Дергунов пробил в снегу нишу, скрылся в ней. Через минуту вернулся, тяжело прошагал к койке, брякнулся на постель, взял книгу. Я догадался: он «сходил». По одному «сходили» все, лишь Коневский ничего не знал, он, пожалуй, и затирухи не слышал: с головой влез в общественную работу, губы отвисли. Я показал ему на дверь, он подумал, понял и тоже «сходил».

Дальше. «Клепки-топки...» Удачно, как раз то, что надо. Пусть не обижается Майка, когда прочитает:

Майка Цюпа  
Не живет трупа:  
Принесет две клепки —  
Полчаса у топки.

Нарышкин скрежет кастрюлю. Такой скрежет — неужели не жалко казенную посуду? Сказать, что ли? Ирич смотрит на него. Лучше бы он не получал посылки от родителей. Родители старенькие, слабенькие, конторщики-очкарики. Отца по болезни в армию не взяли. Свою пайку Семе пришлют. А ее Нарышкин сожрет. Хотя бы толк был — впустую пройдет: у Юрки желудок испорчен алкоголем.

Надо сочинять на Нарышкина, но что-то не хочется: устал, да и Нарышкин надоел мне. Перестал бы скоблить кастрюлю. Ладно, я на него потом, вдохновение пропало. Помогу лучше Коневскому. Почерк у меня не такой красивый (у всех талантливых, говорят, плохой почерк), однако, если постараюсь, чисто напишу; могу, как у Стаса, с виньетками.

— Хочешь, вместе добьем?

— Нет, — Стас выпрямился, разминаясь, потрещал позвоночником. — Ты займись оформлением. Бери карандаши и орнамент какой-нибудь по краям зарисуй.

Беру карандаши, а их всего два — красный и зеленый, — попробуй «разрисуй». Тут сам художник Шишкин руки вверх поднимет. Прикидываю — что бы такое изобразить? Решаю — зеленые листья и красные стебли. Все-таки бондари имеют большое отношение к лесу. Вывожу. Листья получаются пузатые, неизвестной породы, стебли гладкие, как веревки.

От обжорства Нарышкин и Ирич свалились на койки, уснули. Дергунова сморил голод и «Прыжок в ничто». Мы с Коневским остались вдвоем в засыпанном снегом доме трудиться, нести вахту. Нас никто не смеит, это мы знаем, и если нам надоест — тоже завалимся спать.

Каждому по площадке. Я таскаю свою вдоль края бу-мажного листа и уже посадил на один зеленый лист пятно нерпичьего жира. Коневский передвигает плошку вслед за текстом, низко наклоняется и скоро подпалит свои длинные поповские патлы. Уже пахнет жженым.

Стас кончил писать, подержал над открытой печной дверцей руки, зашагал от печки до стола, глядя полужакрытыми, близорукими глазами прямо перед собой. У него белый лоб, прямой нос, тонкие губы. Он очень худой и похож на военнопленного из немецкого концлагеря. Может быть, таким был Рахметов, но я его не видел. Стас подошел к столу, глянул на мой орнамент.

— Э-э, — наморщился он, — на бабкину вышивку смахивает. Дай-ка я подправлю.

Взял карандаши, чуть вытянул мои листья, подрисовал сучки к стеблям, а после принялся терпеливо обводить все чернилами — получался лавровый венок.

— Надо строже, — сказал Стас. — Война же...

У него выходило и вправду четче, суровей, и это рассердило меня. Я начал следить за рукой Стаса, отыскивая, к чему бы придаться. Если даже не найду — все равно придерусь: у меня, как определил Лось, очень большое самолюбие.

Сверху, от крыши, донеслись тупые удары, шаги, слабые голоса. Это, наверное, пришли нас откапывать, сигналят: «Держитесь, братцы!»

— На час работы, не меньше, — спокойно, не удивившись, проговорил Коневский.

И это мне не понравилось: он все знает, никогда не психует. Ему можно быть летчиком, разведчиком, шпио-

ном. Он железный. Откопают нас, и всем станет известно, что он не паниковал, успокоил нас, показал личный пример стойкости.

— Стас, — сказал я, — почему твоих родителей посадили?

— Не знаю.

Я совсем разозлился. Вот сидит этот человек, рисует, старается, а его родители в тюрьме. И зачем он всегда выслуживается, идейность проявляет?.. Мой отец погиб под Курском, погиб хороший человек Васейкин, сколько других погибло... Такая страшная, непереносимая война. Может, она не была бы такой, если бы меньше было у нас врагов. Или совсем ее не было бы... Как можно жить на свете, если твои родители в тюрьме? Да еще быть железным? Портрет Сталина над койкой повесил, будто он один его любит. Что-то здесь не сходится. И вообще надо последить за Коневским.

Сверху слышатся толчки, лязг лопат, голоса: нас откапывают. Я смотрю на сгорбленную спину Стаса, узкое, желтое, как жир в плошках, лицо, и мне становится жалко его. Ругаю себя: хлюпик, нюня, какой из тебя борец, — но ничего не могу сделать с собой. Слабая воля. Хотя внешне хочу быть стойким, говорю строго:

— Все равно мы победим.

— Победим, — строго соглашается Стас.

Долго молчим, Коневский работает, я смотрю. Немножко подслеживаю: как бы чего-нибудь не вписал в листики и стебельки. Такие на все способны... Устают глаза, но ничего не могу выследить. Ладно, завтра на свежую голову посмотрю. Спрашиваю у Коневского:

— С Нарышкиным в одном детдоме жил?

— В одном.

— Кто у него родители?

— Не знает сам. Его подкинули с бумажкой. Имя и фамилию только написали, даже отчество неизвестно.

— Вот звери!

— Таким лучше, — сказал Стас, как-то жалобно вздохнув, но тут же жестко покашлял.

Черт его знает, этого Коневского, — что он за парень? То его жалко, то зло на него берет. То кажется — свой в доску, то речь какую-нибудь произнесет, стукнуть его хочется. Да не хочу я вовсе за ним следить, не мое это дело! Есть оперуполномоченный. Пусть не

спит. А мне жалко Стаса. Если он враг, то все равно жалкий враг. Он очень худой, лицо желтое, кашляет. Ему никто, никогда не придет посылка.

— Стас, — говорю я, — отдохни, ты устал.

— Всем трудно, — сухо ответил Стас.

Ближе голоса, удары, лязг лопат. Теперь все это слышится со стороны дверей и чуть сверху. Кто-то там хохочет, похоже на Скобцова.

Проснулся Дергунов, подняли головы Нарышкин и Сема Ирич. Им хорошо, отдохнули, сейчас в столовку потопают, а мне спать захотелось. Может, от стихов, может, от разговора с Коневским. Даже в животе пытье прекратилось, будто две порции перловки проглотил. Сижу, голова падает на стол. Встал, потихоньку проковылял к койке, лег лицом в потолок. И сразу коричневые доски с круглыми глазами сучков поплыли вкось, замигали, заколыхались. Сквозь сон, как с той стороны снежного завала, услышал Дергунова.

— Эй, затирушники, берите палки, поможем откопаться!

Мне всегда что-нибудь снится, если не очень наработаюсь. Голова и во сне переваривает жизнь. На этот раз, однако, сон получился плохой, так — полусон. Я только не видел комнаты и ребят, а был с ними. Вот Нарышкин жрет затируху огромной поварешкой прямо из котла. Затируха кипит, лопается пузырями, пахнет вареным тестом, а Нарышкин жрет и жрет. Он весь облепился затирухой, уже не видно лица, лишь чавкает рот. И удивительно, в котле не убавляется и живот у Нарышкина не растет... Ирич бегает вокруг котла, твякает, скулит. Вот он уже пишет письмо родителям, перечисляет, что прислать ему в посылке: кусок шпика, сухари, кусок сахара, теплые носки, варежки. На письмо капает большая Иричева слеза. Лось-Дергунов ходит по дому, нет, наверное, по лесу, длинной мордой раздвигает ветки, всхрапывает. Глаза у него добрые, печальные. Скрипит снег, а может, бумагу сворачивает Коневский. Он сильно стучит по столу кулаком, что-то говорит, но шум не стихает. Не умеют вести себя ребята: ведь Коневскому надо речь произнести. Он утомился, ему бы хоть одну неделю пополучать двойную порцию перловки. Или Тонька помогла. Толстая, болтливая, дома хозяйство частное имеется. Подкормила бы ма-

лость Коневского. А то шуточки, прибауточки, карикатуры, может, еще любовь выдумает. Главное — напитаться, потом все другое. Вот и Стасу надоели такие «вышвенные» отношения, он трахнул по столу кулаком и заорал:

— Урра!

Я вскочил, почувствовал, что в доме стало очень холодно, промигался и увидел горку снега у открытой двери, дневной свет, в котором еще желтее, почти золотисто мигали наши плашки; в доме топталось много народу: Русаков, дядя Костя, Скобцов, худой, длинный мастер в роговых очках, тетя Дуся, какие-то другие люди. Скобцов гоготал, обнимал всех по очереди, называл героями. Он заметил меня, подбежал, обхватил холодными мокрыми рукавицами, потерся колючей распиленной щекой о мой нос, сказал:

— Молодец, еще лучше других: спит себе, и никаких переживаний. Знает, народ не оставит в беде.

От Скобцова пахло немного спиртом, он изображал из себя бойца, прорвавшего немецкое окружение и спасшего своих из котла. Хотя он и бронированный, а все равно неловко в глубоком тылу молоко пить и жену любить. Какого-нибудь геройства хочется. Пожалуй, из-за этого всем сочувствует. Пришел откапывать. И старик этот, длинный... Комлева нет, бочки строгают, вот настоящий «броневик»!

Скобцов отпустил меня, размахивая руками, смешно, в стороны выкидывая ноги, пошел по второму разу обнимать освобожденных из «котла».

— Ти-ша! — крикнул дядя Костя и постучал в полшиной валенка. — Начальник речь хочет говорить.

Русаков придвинулся к столу, снял шапку. Сняли шапки дядя Костя, Скобцов; тетя Дуся поправила платок.

— Ребята, — сказал он, — у меня не речь. У меня очень хорошее сообщение. Слушайте сводку.

Достав из кармана тетрадный листок, Русаков развернул его (газеты в поселок приходили с опозданием на неделю, и он каждое утро, слушая радио, записывал сообщения Информбюро), сказал еще раз «слушайте» и другим, дикторским голосом начал читать:

— «Некоторое время назад ударные группировки 1-го и 2-го Украинских фронтов, прорвав фронт врага,

полностью окружили более 10 немецких дивизий в районе города Корсунь-Шевченковский. Сегодня, 17 февраля, наши войска завершили Корсунь-Шевченковскую операцию, разгромив и ликвидировав крупную группировку немецко-фашистских войск. Взяты в плен тысячи солдат, много боевой техники».

Русаков аккуратно сложил, сунул в карман бумажку (он их собирал, подвешивал и тетрадки носил на политинформацию), обвел всех глазами, улыбнулся.

— Поздравляю, товарищи.

Дядя Костя, стоя по стойке смирно, вскинул мосластую, колючую головушку, выругался:

— Так им, мать иху...

— Правильно, старина! — поддержал Скобцов.

Тетя Дуся концом платка промокала слезы со щек. После гибели сыновей она научилась плакать и от радости и от горя. Плачет и так просто, когда делать нечего. На нас другой раз смотрит-смотрит и разнюнит-ся. Слабая старушка, подорванная войной.

— А теперь так, — сказал Русаков, — в столовую, а потом... гуляйте. В честь Корсунь-Шевченковской.

Мы оставили тетю Дусю подметать, прибирать, топить общежитие, выбрались по узкому снежному тоннелю наверх, на твердый, укатанный ветром сугроб. Вдоль улицы тянулась пробитая полозьями дорога, гуськом зашагали по ней, на перекрестке свернули в столовку, а все другие — к бондарке.

Съели сразу завтрак и обед, выклянчили ужин сухим пайком — хлеб, пятьдесят граммов шпика, ложка сахара, — съели в честь Корсунь-Шевченковской. Нарышкин попросил завтрашний завтрак, но буфетчица отругала его, обозвала «глотом»: она всем своим нутром не переносила его.

— Зажралась! — крикнул Юрка. — На рабочую массу орешь!

Отгорвали от буфета Нарышкинна, вышли на улицу, постояли у крыльца, обдумывая, куда бы податься, и Дергунов сказал мне:

— Пошли на лиман, посмотрим.

По лиману ползли собачьи упряжки, похожие на черных сороконожек, у свежих лунок сидели рыбаки, похожие на черные пеньки. Самое интересное, конечно, было там — рыба, собаки, рыбаки.

Мы с Дергуновым двинулись вниз, к лиману. За нами, поспорив и поругавшись, — Нарышкин и Ирич. Только Коневский свернул в сторону: у него с Тонькой работа — «Бочкой по фрицу!» Стас проговорил, вздохнув: — К сожалению, не могу, ребята.

А мы, к сожалению, можем. Мы любим смотреть, как ловят рыбу, — может быть, самим удастся половить или прокатиться на собачьей упряжке.

И совсем не к сожалению — удивительная погода. Тихо, тепло, небо чистое, и сахалинские горы сняют глыбами далеких айсбергов. Снег, нежный, нетронутый, завалил сопки, леса, поселок. Кроме белого, нет ничего в мире, даже прилив в лимане еще не пробился сквозь снег. Мы не видели, не слышали бурана, он словно приснился, а встали, вышли из дома — и вот он, потрогай руками, хоть и затихший, но еще совсем живой.

В буран всегда немножко страшно и грустно, зато после хочется бегать и смеяться. Мы побежали, до берега хватило силы лишь у Дергунова, я не дотянул метров сто, Ирич сразу отстал, Нарышкин и вовсе не побежал: он презирает такие щенячьи восторги, в душе он — старикашка.

Подошли к первому рыбаку. Это был древний горбатенький нивх с бородашкой-сосулькой, замотанный в собачью дошку, в собачьей шапке, и сидел он, подвернув под себя ножки, на собачьей шкуре. Он слегка подергивал над прорубью удочку-махалку, смотрел в воду, казалось, сладко подремывал. Вокруг было набросано штук двадцать крупных наваг, одна еще шевелилась, облепляясь снегом.

— А т к ы ч \*, — сказал Дергунов, — дай половить.

Нивх не поднял головы, может быть, не услышал, покачивался, подергивал махалку. Колька осторожно протянул руку и взял у него палочку-удилище. Нивх еще покачался немного, глянул на руку, удивился — махалка прыгала сама, минуту смотрел на нас, приходя в себя, потом тихонько прохрипел:

— Мухорка...

Я дал ему закурить, и, пока старик сворачивал папироску, прикуривал от моей спички, Колька, усевшись с ним рядом, выловил большую навагу. Он умел, знал,

---

\* А т к ы ч — старик (нивхск.).

как ловить: надо длинно, часто дергать «паука» — свиновую блесну с крючками, — а старик замерз, еле шевелился. Навага попалась сильная, гибкая, с синеватой, яркой спинкой и желтым брюхом. Очень вкусная рыба!

— Лось еще! — попросил я.

Скоро Колька выловил другую, поменьше, потом раз за разом две больших. Когда поймал пятую, нивх докурил папиросу, пошевелил ручками, разминался, потянулся к махалке. Колька, отжимая его плечом, навис над лункой: ему очень не хотелось отдавать удачливую снасть. Нивх рассердился, сморщил коричневое мальчишечье лицо, сильно толкнул Кольку, по-русски выругался:

— Дай, дура!..

Дергунов не стал спорить, — он умел общаться с местной народностью, — сунул в рукавицу старику махалку, подобрал все пять своих наваг — старик еще раз выругался, — и мы пошли к другой лунке: там приплясывали Нарышкин и Ирич.

— Это они подстреливали каторжан? — спросил я о нивхе.

— Может, и они, если приказ от начальства был. Послушные люди.

Нарышкин бегал вокруг лунки, Ирич пытался поймать навагу. Пожилая женщина, обмотанная, укутанная с ног до головы в поддевки, тужурки, полушубок и платки, расшевеливала маленький костерик, грела руки.

Лунка заплывла ледком, сделалась мутной. Дергунов взял проволоочный сачок, разбил и вычерпал осколки льда. В мутной лунке плохо ловится рыба: мало света, блесна не играет. Немного посмотрел, нагнувшись, как старается Ирич, — выхватил у него махалку, подсел к женщине, чтобы тень от солнца не накрывала лунку.

Ирич шмыгнул носом — он всегда так, будто хочет заплакать, и все ему уступают, — но на Дергунова это не подействовало: от шмыганья рыбы не прибавится. Забавляться чем-нибудь другим можно. Рыба — еда.

Женщина грелась долго, потом мы угостили ее табачком. Когда она потянулась к махалке, в Колькиной кучке было десять наваг. Мы рассовали их по карманам, холодные, как ледышки; пошли дальше. Навестили всех рыбаков, делились махоркой, но больше никто не дал половить своей снастью. Отправились домой, и по пути

Нарышкин выклянчил у одной старой нивхи камбалу-звездчатку килограмма на три.

Замерзли, и все равно было весело. Я толкнул в снег Дергунова, меня — Ирич, сверху уселся Нарышкин. Дергунов поворочался, попыхтел и развалил кучу. Мы побежали, он — за нами. Смех, свист. Бежали, пока не свалились в снег. Отдышались, закусили снегом, и захотелось играть: мы быстро устаем, кашляем, задыхаемся. Мы слабые, как старички. И стыдно нам играть: война, люди гибнут, фронту помогать надо.

Но все равно было весело. Нарышкин потрогал хлипкими пальцами камбалу, взвесил ее на руках, сказал, сияя щуплой мордочкой:

— Сварганим ужин — корсунь-шевченковский!

## 7

Самое трудное для меня в бочке — донья. Это тонкая работа. Их надо вымерить по утору циркулем, вычертить на сколоченных досках, вырезать. Чуть не так — дно провалится в бочку или не войдет в утор. Да и вырезать вихлявой лучковой пилой — не лучшее из бондарных дел. Потом умоешься, пока опишешь круг.

Перед тем как вставить дно, со мной случается легкий испуг: вдруг не так! — и к черту полетит норма, психовать начну, к вечеру устану хуже клячи. У меня к доньям — нервная ненормальность. И все из-за того, что мне сразу не повезло: в первую фезеюшную бочку дно не вошло, во вторую провалилось.

У других — другое. Дергунов боится дупели гнуть — они у него лопаются, Коневский клепку не умеет шмыговать, Нарышкин плюет на все, делает кривые бочки, а Ирич вообще всего боится, хнычет и едва с половиной нормы справляется.

Я выпиливаю донья, стараюсь и побаиваюсь. Но работа движется, даже очень податливо: я ни разу не сбился с циркуля, не завалил пилу. Можно думать о чем-нибудь. Когда думаешь — меньше напрягаешься, легче снуют руки. Словно бы обманываешь самого себя. Наверное, из меня никогда не получится настоящий рабочий — сумбур в голове. А нужно, как Комлев, он ни о чем не думает, ходит вокруг бочки, прижмурившись,

будто во сне, и она «выхаживается», круглеет, хорошеет. Так Комлев сохранит свою душу и тело, сто лет бочки будет делать.

Он настоящий рабочий. У него все рабочее: руки, ноги, удобная, экономная фигура; даже лицо островатое, с желтой, под цвет дерева кожей. Сначала я думал, что он похож на конторского работника, теперь вижу — нет. Он весь — инструмент хороший. И в жизни такой. Когда сынишка Борька приносит ему обед и вертится возле верстака, мне кажется, Комлев решает про себя, как и в каких местах подстрогать, подшлифовать Борьку.

Больше всего он презирает меня за мои нервы, переживания. Он настоящий. Я пока еще слабо, неумело отесанный. Но работать все равно надо. Сейчас допилю дно, острогаю сверху...

С клепкой у меня теперь хорошо — средняя клепочка. Плохой особенно нет, и что «без сучка и задоринки, из Америки», — не скажешь. Нормальная. Иногда Валя совсем корявых несколько штук подкинет — для наглядности. Она тоже хочет, чтобы прилично все было. Мы с ней по-деловому обговорили этот вопрос: на чужом горбу в рай не въедешь. Если бы один солдат воевал, а другой за его шкуру прятался — немцы бы до самого Пуира дотопали. «Гут морген! Ставьте заездок, рыбку ловите — мы кушать желает!» Нет, честной бочкой по фрицу — железно решили. Валя слабость проявила, потому что слабый пол: жалеет котят, собачат, кормит воробьев, сочувствует мальчишкам, которые делают бочки и у которых тонкие шеи и всегда насморк. Однако великий писатель М. Горький сказал: жалость унижает человека. Я согласен. Я это сказал Вале. Она рассердилась, — тоже слегка подорвана войной, — выпалила мне: «Зато воробьев и котят не унижает!» Но все-таки мы договорились: честной бочкой — и точка! Теперь Валя совсем незаметно слабость проявляет: в день мне не больше десяти клепок «из Америки» прибывает.

Вставляю дно, осаживаю обруч. Кажется, сошло гладко — не видно щелей между клепками и в бочку дно не проваливается. Склепаю на торец обруч, набью, возьмусь за другой дупель.

Нет, я совсем не о Вале хотел думать. О ней часто думаю. Буду еще думать и думать: она очень сложная,

не то что Комлев. Но после — может, сегодня вечером, когда Нарышкин перестанет о хлебе болтать, наступит тишина и лишь за окном будет гулко рваться в лимане лед. Я о другом хотел подумать, важном, трудном. Оно во мне сидит, как икота, вот сейчас... Вспомнил! О фронтовике Меркулове.

Меркулова позавчера похоронили. Весь поселок ходил провожать, мы тоже. С работы отпустили на целый час: фронтовик умер. Вернее, замерз. Не помог приказ уполномоченного, кто-то напоил Меркулова, а домой не отвел. Забрел он в сугроб и утонул в нем. Утром ребяташки нашли. У кого напился Меркулов — точно неизвестно, выясняет «опер». Говорят, солдатка Прохорова, повариха столовая, угостила. Она заманивает мужиков, не может без них. К ней наш Нарышкин хотел идти, налопаться мечтал. Отговорили: вышвырнула бы как щенка. Не любят бабы Прохорову, а у нее муж погиб. Конечно, несчастная женщина. Но зачем фронтовика Меркулова трогать? У него жена, детишки. Он израненный весь и на выпивку податливым был.

А может быть, и не она: уполномоченный еще не доискался окончательно. Но бабы говорят, они все такое знают. Только между собой не ругались бы и «опера» меньше путали...

Директор рыбозавода речь на кладбище говорил. Залез на кучу мерзлой глины в белых бурках, новеньком полушубке, красный и огромный. Он смахивал на генерала и говорил по-фронтовому, будто не замерз Меркулов, а погиб от пули фашиста: «За смерть нашего боевого товарища, за его вдову и сирот-детей мы отмстим врагу!» Призвал повысить производительность труда, по-военному встретить весеннюю путину.

Жена Меркулова плакать перестала, услышав его грозный голос, смотрела перепуганно, уронив на снег перчатки. Была она маленькая, с остреньким девчоночьим посом, а ребяташки у нее — толстые и мордастые. Не верилось, что она им мать. На мать больше походила Тонька, которая по комсомольскому поручению нянчила ребяташек.

Засыпали Меркулова глиной, поставили деревянную тумбочку со звездой, директор уехал на конторской кошке, и по дороге в поселок бабы переругались: одни нападали на Прохорову, другие защищали ее.

Потом были поминки, Нарышкин с Иричем ходили, им тоже по рюмке разведенного спирта поднесли. И по капустному пирожку съели. Я не пошел, все равно не смог бы есть. Не терплю, когда в доме покойником пахнет, как помадой, и лицо Меркулова не мог забыть. У мертвого оно стало еще чернее, словно кусок обгоревшего железа, пустой глаз был неплотно прикрыт кожаным кружком на веревочках, и казалось, Меркулов потихоньку подглядывает.

Ночью мне приснилось, что умер не Меркулов, а мой отец. Вернулся с фронта и замерз. Мать плакала, маленькая, как Меркулиха, директор выступал, и я был вовсе не я, а толстый сынишка Меркулова, и меня нянчила Тонька.

Никогда больше не пойду хоронить. Страдаю, воображение разыгрывается. Мне надо было девчонкой родиться, не стыдно было бы перед Комлевым, Скобцовым и другими — все они ходили, выпили, хорошими словами покойника помянули. Коневский с Дергуновым тоже могли бы пойти, но один комсомолец активный — поминонок не признает, другой стеснительный.

Из-за Меркулова я вторую ночь плохо сплю. Сегодня встал, еще темень чернела, притащился в бондарку. Керосиновая лампа на весь цех горела, и старуха Мешкова, истопница, дремала у железной печки. От стука двери очнулась, перекрестилась, напихала в притихшую печку стружек и обрезков. Несильно взревел огонь, заметались по стенам и потолку красные всполохи. Я прошел к своему верстаку, сел на услон. В бондарке было тихо, чисто и уже тепло. Под потолком на балках сушился лес — доски для доньев; горками лежала приготовленная с вечера подсобницами клепка, на верстаках отдыхал инструмент — у кого как: разбросанный или аккуратно убранный на полку; рядами, словно слоны на тупых, негнущихся ногах, с круглыми тяжелыми головами, стояли услоны. И все потрескивало, поскрипывало, постанывало. Какие-то ветерки пробегали за досками под потолком, а то сеялась сверху мелкая труха опилок. Казалось, там кто-то бродит, мягкий, большой, лохматый. Вздыхает, замирает над печкой, греется.

Это домовой. Он живет в бондарке и непохож на всех других — тех, которые живут на чердаках в поселке. Он как пень, вырванный с корнями из земли, только

легкий и неприметный. Но если подкараулить, можно увидеть. Любит домовый зангивать со старухой Мешковой, усядется над нею на доски, хихикает и опилками посыпает. Старуха дремлет, во сне ругается с домовым. Она очень похожа на ведьму и молчит, как ведьма. Жутко с ней в бондарке сидеть. А домовый ничего, он безвредный, живет — и все. Без него нельзя — в бондарке дух не тот будет. Лес перестанет сушиться, клепка сучками обрастет, тепло от печки будет неуютным. Зря домовыми детишек пугают...

Сильно грохнуло — наверное, у кого-то лопнул дупель.

Это вернуло меня к работе, к моей бочке. У меня всегда так — цепляется одно за другое, плетется, вяжется, точно в длинном сне. Захочу — и не буду думать. На радость Комлеву. Он сразу почувствует, что я не думаю, и улыбнется мне. Будем строгать, стучать, выхаживать бочки, не траться на постороннюю чепуху. Производительность дадим.

Вот я уже не думаю. Выпиливаю второе дно на вторую бочку. Пила режет доски сначала вдоль, потом поперек, вжикает, опилки прыскают мне под ноги, выплывая на полу вокруг чурбака желтый круг. Мне жарко, дышу ртом, в горле сухо от опилочной пыли, мокрая рубашка облепила спину, будто вторая кожа. Хорошо бы ее совсем снять, работать, как Дергунов, но у него красивый торс, мускулы, а я стесняюсь, — худой и бледный. Нет, я не такой уж слабый: Лось за мной едва тянется. Но это от воли, у меня много упрямства и злости... Дергунов тоже дно выпиливает — посмотрим, кто первый кончит. У него сила буграми ходит на лопатках, у меня пила сильнее ходит. Он поглядывает на меня, краснеет. Понемногу отстает, хватает пилу двумя руками. Еще сантиметров на пять отстал. Моя пила пошла вдоль доски, вдвое быстрее. Дергунов рванул, заело полотно — выругался. Я спокойно отвалил последний кусок доски, на чурбаке возникло дно, на полу — замкнутый желтый круг. Не смотрю на Лося, чтобы не злить его очень, поворачиваюсь к нему спиной, сажусь передохнуть.

Дергунов заканчивает пилить, выпрямляется.

— Пошли попьем, — говорю я.

— Пошли.

Мы идем в другой конец бондарки, к бочонку с крапом и кружкой на цепи. В бочонке кипяченая вода. Кто-то крупно, углем напisał: «Пресная водица». Очень удачно подметил: вода всегда теплая, пахнет старым деревом и пресней любой самой пресной. Хоть бы подсаливали ее немножко.

Выпили по кружке, передохнули, еще по кружке маленькими глотками выхлебали. Не знаю, как у Дергунова, у меня вода сразу впиталась, выступила под рубашкой и на лбу. Я ослаб, словно две порции перловки слопал.

Дергунов закурил, он еще сердился на меня, смотрел презрительно. Спокойный, как лось, а тоже чувствительный. Наверное, от плохого питания. Если не кормить, все становятся злыми. Дергунов рассказывал про один случай на кордоне... У них был кот и до того зажрался, что перестал мышей ловить. Мыши ему хвост слегка объели. Колькин дед решил воспитать в нем сознательность. Посадил кота в бочку и целую неделю не кормил. Когда кот в бочке научился рычать по-тигриному и прыгать под самую крышку, он выпустил его. Кот сначала набросился на деда, но, получив пинка, кинулся охотиться на мышей. В несколько дней он очистил кордон от мышиных полчищ, принялся бегать в лес за добычей. Потом снова зажрался, стал спать по двадцать четыре часа в сутки. Дед дал ему отдохнуть и опять засадил в бочку. Кот зверски ловил мышей, однако характер у него испортился. Он одичал, царапался, тащил со стола все, что попадалось. Сделался настоящим психом, пришлось его застрелить.

Хоть человек и не кот, а все равно относится к классу млекопитающих. Ему тоже необходимо регулярное питание — такое, чтобы не заелся, но и голодный не ходил.

Подошел Сема Ирич, разлохмаченный, в расстегнутой, навывпуск рубашке, попросил закурить. Его верстак напротив «Пресной водицы», будто Сема заведует ею, и общается с каждым, кто приходит пить. Перекинется несколькими словечками, передохнет, табачком подышит. Потому, наверное, и норму ни разу не выполнил. Да ему и плевать на норму — в месяц по две посылки получает. Конечно, работать надо не только для еды, главное — для победы. Но Сема — ребенок в глубине души, мамин сынок, интеллигентик. Он не совсем по-

нимает, что такое война и победа. У него и папа дома сидит. Ему прощительно.

Я смотрю, как Сема закуривает, дышит, хмурит большие красивые глаза. Он нытик всегдашний, но тело у него упитанное, хоть и маленькое, даже брюшко слегка проступает и щеки розовые. Интересно, хнычет и жалуется он по-серьезному, из-за нежного воспитания, или придуривается?

Дергунов успокоился, стал обычным милым Лосем, позло и только чуть иронически спрашивает Ирича:

— Устал, говоришь?

— Мускулы болят.

— А они у тебя есть?

Ирич сжимает в локтях руки, выпучивает глаза.

— Это мясо, — говорит Дергунов.

— Пощупай, — часто мигает, обижается Ирич.

— Ты ж не девчонка...

Мы с Дергуновым разом взрываемся, хохочем до слез, на нас смотрят мастера, те, что поближе. Ирич опускает голову, сопит.

— Опять подначки, — жалуется он, когда мы затихаем.

— Сам иапросился.

— Да ну вас! — Сема поворачивается к нам боком, но не уходит: ему не хочется работать.

— Как нормочка? — спрашивает Дергунов врасстяжку, грубовато, очень похоже на Русакова. Каждый вечер Русаков задает Иричу этот вопрос.

— Я не трактор.

— Значит, мы тракторы, а ты... этот самый... легкой автомобиль?

— Хотя бы!

— Пылишь и зря беизин переводишь.

Ирич запыхал щеками, отвернулся, быстренько пошел к своему верстаку: ловко помог ему Колька. Ведь он настроился развлекаться у «Пресной водицы», выпрашивать папироски у всех захотевших напиться, будто взывать посылную дань. Потом явится Нарышкин и окончательно морально разложит Ирича: вместе они до вечера проплюют в ящик с песком.

Бондарка неистово гудела и грохотала. Был послеобеденный, самый напряженный час. У одних с утра не ладится, другие медленно раскачиваются, трети по-

обще привыкли к штурмовщине, — словом, к концу дня каждый выкладывается в полную силу. Бондарка содрогалась от работы, как печь от мощного огня.

В середине цеха между двумя столбами была небольшая площадка. Днем здесь гнули дупели, вечером Русаков проводил полтинформации и собрания. Здесь висела наша стенная газета «Бочкой - по фрицу!» Особенно смешно был разрисован Юрка Нарышкин: он сидел возле корявой бочки, сам тоже корявенький, похожий на жучка-паучка, дымил здоровенной самокруткой и поглаживал рахитичный бок недоделанной бочки. Внизу Стас красиво выписал мой стишок:

Расти, милая, сама,  
Спать мне не мешая,  
Когда кончится зима,  
Будешь ты большая.  
И как раз в тебя войдет  
Весь улов за целый год!

После этого стишка Юрка сказал, что набил бы мне морду, только мараться не хочет, и что мне свои сочинения надо писать на стенках в клозетах. И еще намекнул, что из тех, которые крадут деньги у буфетниц, поэты никогда не получают. Я тоже хотел дать ему, но сдержался: жалко тратить силу на драку — вымотаешься и порму не вытянешь. А вообще я сильно вознепа- видел Нарышкина за ту совместную кражу, даже испорченному его желудку перестал сочувствовать. Желудок, конечно, не виноват, что у него хозяин глупый, но когда дело доходит до такого скандала... Все равно Нарышкину скоро в армию идти — как исполнится семнадцать, «опер» повесточку вручит и в город отправит: «Защищай, товарищ Нарышкин, нашу Советскую Родину!» Вот там ему вправят и мозги и желудок. Буфетницы рядом не будет, чтобы бирки и деньги воровать. Хорошая жизнь наступит для товарища Нарышкина, старшина папой и мамой станет, рота — родной семьей. Может, погибнет Юрка в бою и ему вечный памятник воздвигнут, школьникам в пример приводить будут. Он все-таки человек, только испорченный беспризорной жизнью. И один от самого рождения жил, один думал за себя, строил свою судьбу. Детдом ему не очень помогал, потому что Юрка пять раз из него убегал и больше привык к вокзалам, путешествиям по стране...

Мы вернулись к своим местам, я взял с чурбака вырезанное днище, бросил его на верстак. Подбил рубанок, опробовал и начал строгать. Одну сторону надо сделать чище — для верха, другую — слегка поскоблить: рыбе все равно, какое будет дно, лишь бы тузлук не вытек. Строгаю четвертое днище, это лишь сегодня. Сколько их я уже выстрогал! А клепок отесал, дупелей сошпун?

Хорошая работенка — делать бочки: в тепле, заработок сносный, калым подшибить можно, если кадушки бабам мастерить. Бондарь — крепкая специальность, устойчивая, на всю жизнь. По праздникам лучше всех бондарей выражаются, хлеще рыбаков водку пьют: у тех сезонные заработки, бондарь круглый год денежки «строгает». За бондаря любая девушка охотно замуж идет, их на войну через одного берут. Все мальчишки в поселке мечтают на бондарей выучиться.

Ничего работенка, но... скучная. Каждый день одно и то же, всю жизнь одно и то же. Я устаю от этого, тупею, злюсь. Не могу, когда знаю, что к вечеру сострою такие же точно две бочки, как вчера, позавчера... Лучше золото добывать или рыбу ловить, интереснее: тащишь, допустим, невод и не знаешь, что в нем. Может, кеты целая тонна, может, калуга попалась, может, еще что-нибудь. И море разное бывает, и осьминоги плавают, и пароходы белые по горизонту проходят, и утонуть можно. Это мне больше нравится. Даже утонуть не страшно, лишь бы не скучно было.

Если б не война, пошел бы к рыбакам. Они сейчас калугу ловят. Долбят проруби, протягивают по дну на отменях снасти-веревки с большими острыми крючками, потом проверяют. Ловят, да еще как! Раз такую калугу вытащили, едва на двух санях привезли. Мы бегали смотреть. Калуга замерзла здоровенным бревном, покрылась инеем, словно молоком облитая. Голова похожа на акулю, хвост тоже, а по всему хребту рядами тянулись панцирные чешуйки. Они напоминали маленьких черепашек. Я захотел отщипнуть одну, не смог: пальцы замерзли. Возле склада калугу свалили в снег и принялись распиливать на куски. Сначала отпилили голову, после хвост. Потом туловище на равные чурки разрезали. Опилки — белые, крупные: чурки тоже белые, и розоватые округлые витки проступали, как у толстой

березы. Видны были разрезанные поперек внутренности: черная икра, красная печень. Весь поселок сбежался смотреть — такой калуги давно не вылавливали. Одна старушка пришла с веником, аккуратненько смела калужьи опилки в ведерко, понесла домой варить уху. Калуга — лучшая рыба в Амуре. Я ни разу ее не пробовал. Вся она в город отправляется, по особому плану. На оборону. Ну, может, директор для себя немного берет.

Вставляю кругленькое, гладенькое дно-днище, подколачиваю слегка молотком, чтобы вошло в упор, пошвытываю — действую на рабочие нервы Комлеву. Дергунов еще строгают. Сильный Лось, но таланта мало. Надо смекалкой больше, а не жилами. Даже стальные канаты рвутся. И подсказать ему трудно. Ну как подскажешь минуты беречь, меньше лишних движений делать, если я не знаю, какие у него лишние. Это же шкурой, душой, чутьем нужно чувствовать. Сам выдающийся Комлев не поможет, хоть наизусть выучил свою работу.

Весь день я не смотрел в окно, сейчас глянул и не обрадовался: с горы катался толстяк, орал, открывая красный рот, расшвыривал голодных ребятишек. Его желтая собачья дошка лоснилась, будто смазанная жиром. И зачем мне это окно — теперь страдать буду. Не могу я терпеть буржуев и обжор. А этот еще угнетатель и живодер. Вот он оседлал сразу двоих, поехал... У меня в голове зашумело... Может, сказать Дергунову? Нет, пусть работает. Разволнуется еще... Во, отобрал санки у девчонки, плюхнулся на них — раздавишь, скот! — съехал и перевернулся для куража. Как раз пинка бы ему дать в толстый зад. Расскажу потом Дергунову. Надо разыскать буржуя, спросить, чей он, и еще — почему он, гад, фронту не помогает.

Самая трудная для меня работа — донья. Их нужно точно вымерить, вырезать, подогнать. Сегодня все подогналось, все подошло. Кончился мой день, родив две бочки. Солнце, которое кругло светило в окно, погасло за сопками, и желто, резко светились у моего верстака два шара. Может, они вкатились в окно оттуда, сверху, из пустого теперь неба? Они теплые, они напряжены, чуть задень их — загудят ветром, тайгой, гулом прибоя. Это два маленьких солнечных шара.

На партийном собрании бондари постановили: два раза в месяц, по воскресеньям, приглашать нас на домашние обеды, чтобы мы не почувствовали себя позабытыми, не очень отвыкли от своих семей и заодно поддерживать наши «растущие организмы»: столовской еды нам не хватало.

Сегодня наступил «первый раз». Мы уже знали, кто к кому пойдет. Меня взял Русаков, Кольку Дергунова — сосед Скобцов, Комлев — Ирича, длинный худой мастер в роговых очках, по фамилии Кочеточкин, пригласил Коневского, а Юрка Нарышкин пойдет к дяде Косте и тете Дусе. Они его взяли как самого беспризорного.

С утра у нас было непривычное, какое-то стеснительное настроение. Очень мирно, разговаривая о войне и кино, сходили в столовку, не толкались в очереди, и Юрка не кланчил добавки. Взяли обеденные пайки хлеба, завернули в бумажки: в гости надо идти со своим хлебом.

Вернулись, начали потихоньку готовиться к тринадцати ноль-ноль: нагладили рубашки и штаны. Коневский надел галстук в зеленую полоску — это все, что осталось у него от давней семейной жизни. Дергунов поскоблится сухой опасной бритвой, Ирич надраил снегом свои уже посеревшие валенки.

Времени оставалось еще много, я взял книгу «Прыжок в ничто» А. Беляева, решил перечитать некоторые места. Особенно меня интересовали страшноватые жители планеты Венеры, которые ночевали на деревьях и засыпали сразу, как только скрывалось солнце. Они защищались, выпуская из себя мутное облако ядовитого вещества — это похоже на наших осьминогов или медуз, — имели несколько рук и ног. Интересно было читать о растениях, питавшихся живыми существами — хватали их листьями-руками, втягивали в себя. Страшно и необыкновенно.

Юрка Нарышкин валялся на койке, вслух мечтал о тети Дусином обеде. Он почти не готовился, даже к форменной фезеошной рубашке свежий подворотничок не пришил. Но о еде очень заботливо думал. Прикидывал, сколько мяса выдаст ему тетя Дуся и угостит ли дядя Костя для аппетита (это Нарышкина — для аппетита!)

стаканчиком разведенного спирта. Коневский шевелил губами, наверное, подбирал серьезные слова для беседы с очкастым Кочеточкиным; Ирич хмурил тонкие бровки, надувал губы — заранее жаловался Комлеву на людей и жизнь; Дергунов спал, ему нечего было беспокоиться, они со Скобцовым нормально проведут время: выпьют, напрутся до икоты разной едой, расскажут друг другу анекдоты, в карты перебросятся.

А мне труднее всех: не хочу я вовсе идти на этот русаковский обед. Как там буду сидеть, о чем говорить, еще хуже — как есть? Стушуюсь, разозлюсь на Русаковых, и совсем в глотку ничего не полезет. Хотя бы Валя куда-нибудь ушла на это время, при ней — мне хана, голова к плечам примерзнет. И зачем такой обед? И чего ко мне привязался Русаков? Легче еще раз «Прыжок в ничто» перечитать, чем... Или жителем Венеры сделаться, явиться к ним в комнату и облако мутного вещества выпустить. Пока они будут приходить в себя, выпить спирту и уничтожить обед. Ночевать забраться на дерево...

Нарышкин потихоньку сполз с койки, подошел к ходикам, постоял, оглянулся и перевел большую стрелку на пятнадцать минут вперед.

— Подъем, братцы! — заорал он и принялся одеваться. — Вы как хотите, а я пойду. Гад буду! Пока доберусь, то да се... — Он глянул на тумбочку Ирича, увидел пузырек с одеколоном. — Сема, пожертвуй аромат! По такому случаю... чтобы, значит, от нас по-благородному воняло. А?..

Ирич засопел, взял в руки пузырек, посмотрел его на свет, погладил пальцами.

— Как, ребята, а? — сутился Нарышкин, распаляясь. — Чтоб праздником запахло!

— Давай, Ирич, — сказал рассудительно Коневский, — культура облагораживает человека. Между прочим, однофамильцы Юрки боярами были, знатными вельможами при царях... Конечно, если не жалко.

Сема посопел еще немного, отчаянно мотнул головой и аккуратненько, словно пузырек мог взорваться, отвинтил пробку. Подскочил Нарышкин. Прижав горлышко пальцем, Сема побрызгал ему на голову и рубашку. Юрка зашмыгал посом, провел ладонью по волосам.

— Ребя, не пахнет совсем... — Он выхватил пузырек

у Семы, сунул горлышко себе в поздюю. — Гад буду, вода! Вот тебе «в саду благоухали кипарисы», господя бояре!

Ирич подержал пузырек, припohался, растерянно огляделся, будто кто-то из нас похитил запах, дал понюхать Коневскому, потом взял я.

— Вода, — сказал Коневский, — не кипяченая, слегка протухла.

— Выпиши... — прохныкал, наконец, уразумев суть, Ирич.

— Не я, — побожился Нарышкин. — Я бы сознался. Это в ФЗО ребятишки повеселились.

Пожалуй, правда, в ФЗО еще подменили Семин одеколон, и сюда, на рыбозавод Пуир, Сема привез водичку. Это могли сделать — там братцы всякие были, а воровство считалось интеллигентным занятием. Лучше украсть, украсть чем кланчить.

— Плюнь, — сказал я Иричу.

— Ладно, — согласился он и пошел к умывальнику мыть красные глаза.

— Ну, я пошагал и вам советую! — распахнул Нарышкин во всю ширину дверь.

Через несколько минут ушли Коневский и Ирич, я толкнул Дергунова. Он поднялся, закурил, спокойно сказал:

— Двинули.

Идти мне дальше всех. Русаковы жили в крайнем бараке.

Когда Дергунов свернул в сторону, я решил побродить по поселку и... вернуться в общежитие. Не смогу перенести этого обеда. Такой дурацкий характер. Пойду и похлебаю столовского супа. От обиды на себя и на всех людей, может, заплачу, но так мне и падо. Я прошел мимо магазина, клуба, электростанции, повернул назад, спустился под гору, побродил у берега, снова прошел мимо магазина, клуба, электростанции. Бродил и бродил, даже есть расхотелось. Собрался уже повернуть к столовке, как услышал позади:

— Вот ты где! А я в общежитие бегала!

Валя часто дышала, у нее яблоками пылали щеки, меховые рукавички держала кончиками пальцев. На голове пухлая беличья шапка, такая же, как у отца, только поменьше. Вместо пальто черная дошка, сшитая из

полушубка, — отец ее тоже носил полушубок, — и вообще она очень походила на отца. Нет, не внешне, — тот сухой и громоздкий, — движениями, улыбкой, глазами. Это был Русаков женского рода, Русаков-девчонка.

— Пойдем, — она дернула меня за рукав. — Ты что, забыл? Мама все приготовила, ждем... Папка меня послал.

— Я в столовку...

— В столовку?! И не стыдно? Слушать даже не хочу, рассержусь и заплачу сейчас. Хочешь?

— Нет.

— Пошли тогда.

Я стоял, будто пристыл ботинками к дороге. Валя схватила мою руку и так дернула, что поскользнулась, чуть не упала. Я думал, она заплачет, но она расхохоталась, и мы пошли к ее дому. Все равно, решил я, Валька не отстанет, упираться — окончательно всем настроение испортить. Посижу немножко и сбегу.

Ходить с девчонками я совсем не умею. Особенно днем. Деревянным делаюсь, глупым, по сторонам поглядываю: никто случайно из знакомых не видит? И разговора с ними не получается. Если сильно разволнуюсь, как после «американской» клепки, еще могу пару слов связать. Неплохо болтаю, когда ребята рядом. А так вот, один на один, деревянным делаюсь. Или грубить начинаю, будто я хулиган и мне на все наплевать. С Вальей, правда, ничего — она разговорчивая, можно просто молчать.

Она рассказывала о школе, о Майке Цюпе, которая двойку по сочинению схватила. Писали на тему «Образ Павки Корчагина в произведении Н. Островского «Как закалялась сталь»». Кроме ошибок, у нее было такое предложение: «Я люблю Павку, он хороший мальчик». Весь класс смеялся, когда учительница вслух зачитала, а Майка заплакала и до конца занятий проревела. Мать еще дома ее отругала: только бессовестные и бесчувственные могут в войну двойки получать.

Мы немножко поругали Майку Цюпу, пожалели ее и пришли к Валиному барaku. В коридоре было темно, сыро от пара, пахло жареной рыбой. Валя открыла слева вторую или третью дверь, подтолкнула меня вперед, и я оказался в маленькой ярко-белой комнате с печкой, столом, застланным желтой клеенкой, фарфо-

ровой посудой в застекленном шкафу. Это, наверное, была кухня. Занавесками отгорожена дверь в другую комнату, оттуда вышла Валина мать — я как-то видел ее на улице, — сказала нарочито строго:

— Наконец-то. Хотела сама на розыски отправляться.

Я разделся, Валя повесила мой ватник, шарф, шапку, подошла к умывальнику, стала кивать мне, чтобы шел руки мыть. Едва догадался: отвык от домашней культуры.

— Как же так? — говорила Валина мать. — Время военное, а дисциплина довоенная. Наложу взыскание — не дам пирога.

— Прости, мамочка! — засмеялась Валя.

— Ладно, на первый раз... Ну, давай познакомимся. Вот ты какой, мастер! Мне все говорят, говорят...

Я как раз умылся, и она мне пожала руку.

— Зови Елена Васильевна или просто тетя Лена. Как хочешь.

Подумав, я сразу решил: Елена Васильевна. Тети не такие — может, постарше, может, попроще. И еще было в ней что-то учительское; глаза ненавязчиво при-сматривались, изучали — тети так не умеют.

— Прошу, — сказала Елена Васильевна, откинула занавеску, пропустила нас в комнату.

Русаков сидел у окна, читал газету, часы на стенке тихо ударили два раза; пушистая, чистенькая кошка спрыгнула со стула, наверное, испугалась меня. Стол был накрыт белой скатертью, на нем сияли пустые тарелки, в середине — хрустальная ваза с тоненькими ломтиками черного хлеба. Я вспомнил, что позабыл свой хлеб на табуретке у двери, хотел вернуться, попятился, но Елена Васильевна прошла к столу, развернула булку с моим хлебом, нарезала его такими же тоненькими ломтиками и положила на вазу. Едва не всхлипнув от радости, я понял: теперь всегда буду любить Елену Васильевну.

Русаков отложил газету, поднялся, сощурился по-своему, приглядываясь к нам, проговорил:

— Семья в сборе, будем обедать.

Он сказал это просто, как говорил, наверное, каждый день, словно привык видеть меня за столом. Он был немножко непохож на себя, рабочего, в синем глу-

хом кителе с медными морскими пуговицами, озабоченного, чуть сурового: должность все-таки обязывает. В белой расстегнутой рубашке, чисто выбритый — так, что смуглота казалась просто загаром и глубокие редкие оспины почти сгладились, — он выглядел намного моложе себя, таким, наверное, был в двадцать лет.

Русаков указал мне стул рядом с собой, Валя села напротив, место Елены Васильевны было постоянное, обычное для хозяек, поближе к двери. Она принесла в миске квашеную капусту, положила всем по большой ложке — это закуска. Поставила на свой край стола горячую кастрюлю, из нее пахло луком. Сходила еще раз, принесла пузатый графинчик.

— Это я понимаю! — не очень умело потер руки Русаков, подмигнул мне. Он хотел, чтобы все было попросту и немножко по-праздничному.

— Но-но, не шибко, — придержала графинчик Елена Васильевна. — Сама налью.

И это получилось хорошо, очень по-семейному: моя мама тоже не доверяла отцу графинчик.

Елена Васильевна наполнила до краешков рюмку Русакова, другую пододвинула ко мне, спросила:

— Как, молодой человек?

Я не знал, что ответить: хотелось выпить немножко, чтобы меньше стесняться, и неловко было: вдруг подумают, что пьяница. Глянул на Валю, она кивнула мне серьезно, без улыбки, — значит, у них можно, — тоже кивнул.

— Правильно, — сказал Русаков. — Заставлять не люблю, а по желанию... И погодка скверная. А больше всего — выпить есть за что.

Я поднял свои полрюмки. Валя, выжидая, взяла вилку, Елена Васильевна присела к столу, затихла на минуту, и Русаков, нахмурившись, негромко произнес:

— За фронтовичков... и за победу.

Мы выпили вдвоем, закусывать принялись все вместе. Это было тоже как в любой семье; пьют мужчины, едят все. Капуста хрустела, пахла укропом, попадались твердые красные кусочки моркови. Сто лет не ел такой капусты. И оттого, пожалуй, что капусту я жевал медленно, без хлеба, а выпил по-настоящему, я сразу и сильно опьянел. Не умею пить: спирт быстро пронизывает меня, горячит, мутит голову, будто в ней кровь

закипает. Мне сделалось весело, пропала стеснительность. Съев всю капусту, я отвалился к спинке стула, смело посмотрел на Русакова, про себя думая: «За фронтовичков... в семейном уюте... с плеточками...» На окне действительно торчали из горшков красные букеты герани.

Елена Васильевна налила в тарелки супа — мне полнее, с большим куском мяса, и на нее я посмотрел смело, даже пагловато: «Может быть, жалеете меня — отец погиб?»

Русаков отхлебнул несколько ложек, горячих, наперченных, едва отдышался.

— Ничего супчик, боевой!

Я посмотрел на него так, будто он подследственный и мне надо кое-что о нем разузнать. Конечно, это у меня от спирта: выпив, я становлюсь нахальным. Русаков заметил мою недоброту к нему, хмыкнул весело, словно бы довольным.

— А-а, ты об этом... — сказал он. Поедим, и я тебе все расскажу. Поговорим как мужик с мужиком.

Суп был с перловой крупой, по-столовски, но вкуснее в сто раз: от мяса свиного, от разных приправ. Он даже томатом подкрашен. А мясо такое мягкое, сочное — в глазах мутно делалось. Говорят, здесь свиней рыбой кормят, и мясо рыбой припахивает. Может быть, однако я этого не почувствовал — мясо было настоящее, любой рыбе до него далеко.

Елена Васильевна подбавила мне супа, Валя положила два кусочка хлеба, наверное, один свой пожертвовала. Я не отказался, мне теперь наплевать. Мой отец и за них погиб на фронте, за эти «цветочки». Я понимаю, противно так думать, но не давайте мне тогда спирта — я буду нормальный и стеснительный.

Потом была рыба с картошкой, много, целая сковорода. Мне раза два подкладывали. Съев рыбу и картошку, я сыто отвалился, оглядел Русаковых и вдруг почувствовал, что мне немного стыдно. Удивился: отчего? Оказывается, меня незаметно покинул алкоголь — я успел привыкнуть к нему! — и теперь надо жить самому по себе. От этого еще больше растерялся, глянул на Валю: все-таки с ней было легче. Валя улыбнулась мне очень просто, без насмешки, будто сказала: чего ты, все в порядке!

Но я уже сделался прежним, всегдашним. Теперь буду молчать, бояться своих слов. Хорошо бы, заговорил Русаков, он обещал... И Русаков, передохнув, закурив толстую самокрутку, сказал:

— Слушай. Сначала о фронте. — Он встал, прошелся, остановился у окна. — Хотя я и не должен тебе докладывать, но чувствую — надо. Для тебя же самого.

Тихонько вошла кошка, прыгнула на свободный стул, свернулась, прижмурилась. Валя взяла книгу, Елена Васильевна стучала на кухне посудой. Было чуть сонно — от еды, оттого, что на улице низко опустилось хмарное снежное небо.

— Вот я подслушал как-то, вы о «броневиках» говорили. В бондарке, случайно... Окопались, трусят и так далее. Может, кто-нибудь и трусит, но работают хорошо, и летом будет куда рыбу положить. Десять — пятнадцать человек на фронте не переменят хода событий, а здесь они — ударная сила. Без них — конец всему. Понимаешь, настоящий конец: сотням людей делать нечего станет. Зачем ловить рыбу, если солить ее не во что? А рыба — еда. А еды у нас в обрез. Значит, и в «броневиках» есть смысл.

«Да, конечно, — думал я, — не спору. Все правильно. Баб не заставишь бочки делать — не бабья работа, мускульная. Правильно. Но поорать тоже хочется, особенно когда сам в чем-нибудь виноват, или завидуешь, или работать лень. Бывает. И еще потому, скажем, что у меня отец погиб, а тут суп со свиной едят...»

— Что касается меня, — Русаков сел к столу, облокотился, смял в пепельнице папиросу, — то я просился. Мое заявление и сейчас в парткоме лежит, первое на очереди. Считаю — без меня здесь обойдутся. Начальника легче найти. Предлагал Меркулова... Теперь вот и не знаю. Пробовал к верстаку пробиться, мастером поработать — это мне больше нравится, — тоже пока полный отпор. Скоро зазнаюсь: незаменимый! Настоящим «броневиком» стану.

«Нет, ты не станешь, — решил я, — раз просился, раз совестно — не станешь. Я так и думал о тебе: людей ведь очень хорошо видно, надо только присмотреться. И когда врут, тоже можно почувствовать».

— Мне ведь еще долго жить, не старый. Война кончится, буду жить. Вот об этом никогда не забываю.

Настоящие люди будут те, которые с фронта придут. Так считаю.

«Я тоже так считаю. Настоящие — там, и придут отсюда — настоящие. Не мы. Нам останется хвастаться, что работали хорошо. А кто теперь работает плохо? Даже дети малолетние норму перевыполняют. Мы как обиженные будем, словно не заметили нас или сказали: «Оставим, слабачки!»

Елена Васильевна принесла чайник, расставила стаканы граненые (интересно, во всех домах с начала войны спрятали фарфоровые чашки и пьют чай из толстых граненых стаканов), коснулась рукой плеча Русакова.

— Хватит тебе жаловаться. Скоро на улице бабам будешь жаловаться.

— Хватит, — согласился Русаков.

А мне стало обидно: я не баба, и он вовсе не жаловался. Мы просто поговорили, как мужик с мужиком, как полагается после выпивки и хорошего обеда. В войну люди редко встречаются, с работы — домой. Устают, некогда. Трудно. Рано спать ложатся. Разве плохо — поговорили для души?

Возле каждого стакана Елена Васильевна положила по кусочку сахара и сахарина. Сахарин я съел, запивая чаем, — его можно без карточек достать в магазине, — а сахар оставил: это семейная русаковская норма. Не могу есть чужое.

Валя завела патефон, поставила пластинку. «Утомленное солнце, — заиграла пластинка, — нежно с морем прощалось...» Очень люблю я эту музыку, она красивая, она из той жизни, которая была до войны и которая будет потом, через несколько лет.

В этот час ты призналась,  
Что нет любви...

Да, будет и такой вечер, и кто-то скажет, «что нет любви», и все равно это будет хорошо, хоть и грустно немножко. Без грусти не бывает хорошей жизни. Главное — будет хлеб, красивая одежда, главное — люди не будут умирать на фронте. А любить они научатся. Это же нетрудно, когда после работы много силы остается, когда не надо кланчить добавку, когда...

Утомленное солнце  
Нежно с морем прощалось...

Пластинка кончилась, Валя поставила другую, и Русаков заговорил:

— Еще хотел тебе сказать. Вот ты думаешь, почему с первого раза... Ну, как-то я выделил тебя? Во-первых, ты один приехал по пятому разряду. За шесть месяцев получить пятый — это не каждый может. Я ведь знаю, как учат теперь в ФЗО: один мастер на сорок человек, и всем поголовно дают четвертый разряд. Хоть иной на услоне не научился сидеть. А тут — пятый. Значит, тот твой мастер как бы телеграмму мне шлет: обрати внимание! Я принимаю. Пожалуй, и без этого обратил, но сразу трудно. Во-вторых, я понял, почему у тебя такие таланты: на первых держишься — чтобы все у тебя лучше получалось. Как, угадал?... Читаешь много, стихи сочиняешь. Это хорошо, но силенок у тебя...

Русаков наклонился ко мне, кивнул на Валю — она пригнулась к патефону, крутнула ручку, была «крепкая, как репка», руки круглые, коричневые от загара, — сказал вполголоса:

— Хотя бы столько тебе...

— У меня больше, — сразу разозлившись, ответил я.

— О физических говорю. Вам бы поделиться.

— Любых.

— Ладно. За это ты мне и нравишься.

«Вот еще папа нашелся! Пригласил раз на обед и в душу человеку лезет. Разбирается, по полочкам раскладывает. Может, я сам себя еще не понимаю. Может, меня не жалеть надо, а бить. Если бы я так питался, как твоя Валя, я, пожалуй, встал бы сейчас и потрянул тебя для взаимного уважения. Люди теперь издерганные, надо с ними осторожно обращаться. Такие дела, начальник!»

Валя заметила, что я нервничаю, — она, между прочим, лучше всех других меня понимала, — огорчилась, бросила патефон, подошла ко мне, помолчала минутку: «Что бы такое придумать?» — и придумала.

— Пошли на лыжах кататься?

Я люблю на лыжах, после ФЗО ни разу не надевал, и так сразу захотелось, аж сердце заныло — будто уже несусь с горы. Да и с обедом надо было кончать.

— Пошли!

Русаков взял газету, отвернулся к окну. Он, наверное, обиделся на меня. И Елена Васильевна почувст-

вовала это, принесла стакан чаю, поставила ему на подоконник. Я не виноват, что он догадывается, когда на него без слов сердятся. Мы вышли на кухню, оделись и по темному коридору пробрались на улицу.

Валя постояла, подышала холодом, — где бы взять еще одни лыжи? — побежала через дорогу к соседнему барaku. Минут через пять она принесла мне широкие плоские самodelки. Ничего, это тоже лыжи. К ним я привык с детства — в тайге лучше всех других. Крепления мягкие, сыромятные, я накрутил их на ботинки, получилось вполне надежно.

Мы пошли в гору за Валин барак, быстро разогрелись, начали смеяться. Это бывает, когда смеются просто так. От холодного воздуха, от погоды. Оттого, что хорошо вдвоем, — не скучно и можно не говорить, — что скоро станет сумеречно, хмарно, туманно, и всю ночь в поселке и во все стороны за ним будут пустынно сиять снега, а мы уйдем в тепло, заберемся в постели. Но это потом. Сейчас мы лезем и лезем в гору.

— Твоя мать учительница? — спросил я.

— Нет. Детяслами заведует.

— А я думал...

— Вообще, педучилище окончила.

— Ясно.

— А что?

— Я так и думал.

— Ты все думаешь, думаешь... — Валя хихикала. — А может, больше задаешься, чем думаешь?

— Кто думает, тех не любят.

— Кто же тебя не любит?

— Комлев.

— Вообразил! Ему наплевать. Станет он себе настроение портить. — Валя остановилась, присмотрелась ко мне. — Вот я знаю, кто тебя по-настоящему ненавидит.

— Кто?

— Я!

— Ты?..

— Да. Тех, которые очень умные!

Валя сорвалась, побежала. На горе мы отдышались немного и пустились вниз. Сначала медленно поплыли мимо нас черные елки, кусты стланика, пригнутые снегом, затем впереди стали расти дома, засвистел в ушах

ветер; заваливаясь вкось, побежали назад елки и кусты. Мы проскользнули между двумя бараками, как между темными стенами, гора пошла обрывом, ветер ударил ощутимой твердостью — и впереди открылся бело-синий, огромный, тревожно и прекрасно пахнущий морем лиман.

## 9

Сема Ирич убежал. Приберег сухари, которые прислали ему родители в посылке, и убежал домой.

Свое дельце он обдумал хорошо.

Утром, когда мы собрались на работу, он сказал, что заболел, полежит немного, а после пойдет в больницу. Вечером мы прочитали записку без знаков препинания:

«Бегу ребята и вам советую мне это не жизнь до утра не шумите прощайте ребята!!!»

Нарышкин прибавил еще три восклицательных знака, выругался по-хулигански (наверное, ему жалко было Иричевой посылки), но «шуметь» не стали: на улице темно, ветер задувает, вряд ли кто пойдет догонять Ирича.

Утром шли грустные, тихие и виноватые. Нарышкин нес в кармане записку. Смешной тип: в любом скандале старался принять хоть какое-нибудь участие. Был он тоже немножко грустный, но шагал так, словно хоронил героя войны.

Неожиданно, как-то вдруг сегодня запахло весной: подтаял, оледенел на дороге снег, с моря пришел туман — теплый, такой скапливается летом в прохладные ночи, — лиман заплыл широкими желтыми лужами, и если всмотреться, лед сдвинулся, изломал нивхскую нартовую дорогу к сахалинскому берегу. От всего этого смутно, беспокойно позванивало в голове; казалось, неспроста вдруг запахло весной, и становилось обидно, непонятно: «Как мог убежать Ирич?»

Русаков взял записку, долго мял ее в руках, наконец разобрался, в чем дело, спросил для уверенности:

— Убежал?

— Так точно, товарищ начальник, убежал. — Нарышкин вытянулся, сияя глазами, будто Сема Ирич лично уполномочил его доложить о себе.

— Туда ему и дорога, — сказал Русаков.

— Ага, домой!

Русаков так посмотрел на тощего Юрку, что тот заметно поубавился в росте, завял, как репей на морозе.

— Ударь в рельс, — скомандовал. — Проведем летучку.

Нарышкин быстренько зашагал к рельсу — нравились ему всякие проволочки — и устроил колокольный звон.

Бондари, надевшие фартуки, пробовавшие инструмент перед тем, как разом обрушиться на клепку, доски и наковальни, начали собираться к середине цеха, на «площадку собраний». Они не терпели экстренных летучек, совещаний. Это вышибало из ритма, а норма есть норма, ее надо выполнить к концу дня, хоть пади у верстака. Негромко ворчали, вяло переговаривались, жалея утренние, свежие силы.

Русаков коротко, по-деловому сообщил о побеге Ирича, выразил свое возмущение, сказал, что по законам военного времени это равносильно дезертирству с фронта, что так просто нельзя оставить этот позорный случай и, несмотря на несовершеннолетие Семы, надо добиться его возвращения или отдачи под суд. Для полной убедительности и всеобщего возмущения он зачитал записку Ирича без знаков препинания.

— Прошу, товарищи, кратко высказаться по этому делу, — закончил Русаков.

На середину вышел мастер Комлёв, осмотрел всех, словно проверяя, правильно ли он сделал, что решил выступить, нахмурился, давая понять: иначе поступить не может, — заговорил четко, громко, непохоже на себя обычного.

— Я считаю виноватым себя, товарищи! Да, виноватым. Как коммунист, рабочий человек. Недавно дезертир Ирич обедал у меня, это было его третье посещение моей семьи. Мы говорили о военной обстановке, о выполнении производственного плана, затронули некоторые другие вопросы. Ирич ввел меня в заблуждение, внешне показав полное понимание наших общих задач и международной обстановки. В этом большая моя вина. Как коммунист, я должен был разгадать Ирича, человека с гнилой душой, который в скором времени вырастет в злого дезертира. Благодушие убивает бдительность, товарищи! Доверчивость — качество самоус-

покоившихся, товарищи! Как коммунист, я готов понести строгое наказание, как рабочий человек, я решительно возмущаюсь сегодня позорным поступком дезертира Ирича!

Комлев ушел, вспотев и утираясь платком. После него говорил мастер, похожий на старого доктора. Он тоже осудил Сему, намекнул, что давно присматривался к нему, чуял его нездоровый душок. Назвал Ирича пособником врага и провокатором.

Наступила наша очередь. Мы с Дергуновым стояли спокойно (Нарышкин вообще не умел волноваться по таким пустякам) — мы знали, что у нас есть кому выступить. Слово сейчас возьмет Стас Коневский. Он помедлил немножко, чтобы не быть выскочкой и отстоялась общая тишина, поднял руку.

— Разрешите пару слов?

— Говори, — кивнул Русаков.

Конечно, Стас говорил хорошо, убедительно, даже «Лазурные зори» не позабыл. Мы согласны с ним:

Ирич — наш позор, наша беда, больная совесть. Он наложил на нас несмыслимое пятно, осквернил лучшие наши чувства, подвел товарищей в бою — труде. Судить надо Ирича — это тоже правильно. Пусть поддержится за мамочкин подол, поест от пуза картошки с рыбой и топает в исправительно-трудовую колонию трудиться и исправляться. Каждому хочется убежать, каждый знает, что дома лучше. И каждый терпит, а он... Правильно, Сема — враг, хоть и несовершеннолетний. Мы напишем ему коллективное письмо, напишем матери и отцу: пусть и на их седые головы ляжет позор, раз вырастили такого сына.

— Я предлагаю, — сказал в заключение Коневский, — взять нашей молодой бригаде норму дезертира Ирича и выполнять ее каждый день. Пусть Родина не почувствует даже этой маленькой убыли, в которой каждый из нас лично виноват.

Коневскому дружно захлопали, а мастер Кочеточкин, его теперешний «батька», взял его под локоть, что-то сказал, одобрительно кивая.

Хорошо умеет Стас: «Родина не почувствует... каждый виноват». Однако Сема полторы бочки все-таки делал. Нарышкин не в счет — свою норму не тянет. Значит, нам на троих — по полбочки добавочных в день?

Я согласен — Сема эгоист, сволочь, хлюпик и мамсик. Пусть его судят и расстреляют по законам военного времени. Но как я возьму его полбочки, если от своих двух выдыхаюсь? Особенно сегодня, когда полчаса уже провыступали. Ирич убежал, а мы помрем. Какая польза Родине? У меня, как у Юрки, кашель по ночам, глаза плохо видят, книги и то перестал читать: устаю очень. А Стас?.. Вчера только говорил, что хорошо бы в армию уйти или на фронт — там все же легче.

Последним выступил Русаков. На этот раз он говорил очень спокойно, даже грустно, не угрожал Иричу, сказал, что в этой беде виноват весь коллектив и он лично, как начальник бондарного цеха: плохо вел воспитательную работу, мало доходил индивидуально до каждого. Вид у Русакова был очень усталый, он смотрел в пол, — удивительно, как может перемениться человек в полчаса, — насчет нормы Иричевой сказал, что это очень серьезно, надо обдумать, взвесить; от хороших слов до хорошего дела большое расстояние. Нет, он не против. Если есть желание...

— Мы же слышали, желают! — выкрикнул Комлев.

— Я оказал, что не против, — повторил Русаков, — но не буду настаивать, если кто-нибудь из них откажется...

— Кто откажется? — удивился Комлев.

Мы молчали, обдумывая услышанное. Мы никак не ожидали такого поворота собрания: вроде бы с нами советуются и вроде бы из-за нас спорят.

Молчал и Коневский, он, может, толком не понимал, о чем наговорил. Комлев заулыбался, распахнул руки, будто хотел нас обнять.

— Ну вот...

— Собрание считаю закрытым! — резко проговорил Русаков, повернулся ко всем спиной и пошел к своей конторке.

Через минуту уже гремела бондарка, пол устилался стружками, в воздухе металась белая, пахнущая листовым деревом пыль. Не слышно стало отдельных голосов, словно люди, сговорившись, загремели единым, мощным голосом, и от него жалобно пели окна, дрожали стены. Но если умело прислушаться, в этом общем голосе было не все хорошо: он звучал поспешно, неровно.

Я пришел к верстаку, снял с полки инструмент, подумал: закончить вчерашний дупель или строгать клепку? (Дупель был внеплановый, в три дня у меня вышла одна лишняя бочка.) Ирич, собрание, Иричева норма задурили мне голову. Я стоял с настругом в руке, пока не глянул на меня Комлев, — нет, я не дам ему хоть чуточку порадоваться, — сел строгать клепку, будто этим и собирался заняться.

Долго, часа два подряд, строгал клепку. Строгал, почти ни о чем не думая. И отдохнул. Это хорошо, когда мозг выключается, словно засыпает или его совсем нет. Работа все равно движется. После очнешься, даже испугаешься: сколько сделал и не помню как! Со мной это бывает, со мной вообще чего только не бывает. Рассказать невозможно. Кончится война, лечиться начну, поеду на самый лучший курорт, минеральную воду буду пить, теплым морским воздухом дышать. Не верится, что можно просто так, ничего не делая, дышать. Или не чувствовать, как дышишь. Я хватаю воздуха много, особенно когда работаю, но мне его не хватает: здесь он какой-то малопитательный.

Остановился на тридцать второй клепке. Ни одной лишней не отстрогал, ни одной не испортил: сработал как отлаженная машина. Попил «пресной водицы», вернулся, поставил шмыгу и вспомнил Ирича. Зачем он мне теперь, когда сбежал? Жил, работал в бондарке, в столовку ходил, хныкал — и совсем я о нем мало думал. А чего о нем было думать? И так все ясно. Сегодня еще яснее стало: собрание выяснило. «Туда ему дорога».

Но все-таки я сердился на Ирича, по-особенному, словно он лично меня обидел — походя, ни за что. Понял почему: он жил с нами, тайно замысливая побег. Если бы сразу — черт с ним! А так — будто в дураках оставил. Обидно, противно... Как же мы не почувствовали, не догадались? Дышали одним воздухом, а в этом воздухе бродили мысли Ирича; грелись у печки, а Ирич жадно, в запас набирался теплом. Ходили по полу, а ноги Ирича оставляли последние торопливые следы. Вот это обидно!

Я составляю дупель, тасую клепки, а Сема Ирич где-то идет. До города Николаевска-на-Амуре сто километров. Он вышел с Пуира вчера утром. Шел весь день и всю ночь. С горячки и со страху это можно, и сил

хватит. Теперь Сема подходит к городу. Оброс инеем, обледенел, может быть, плачет. Ничего удивительного: сто километров по льду — поземка, ветер ножом режет. В полутные поселки Ирич не заходил — пока греешься, застукают: «Откуда? Куда?» Переночует где-нибудь в Николаевске, в ресторан «Амур» сходит. Какую-то еду и выпить дают в ресторане, правда, за большие деньги. Потом пристанет к обозу и дальше пошагает, вверх по Амуру. Ему от Николаевска еще километров триста топать. Дотянет, если силенок хватит, если не обворуют. А это могут. Отнимут валенки, полушубок, сухари — и погиб Сема. Так что и судить некого будет. Дурак Ирич, дождался бы лета, влез в какую-нибудь баржу, которую вверх поташат, и культурненько поплыл к родителям-очкарикам. Приятное путешествие. Даже если очкарики перепугаются и назад выгонят — летом нетрудно «возвернуться», будто в отпуске без содержания побывал.

Я составил дупель, а Сема Ирич в город Николаевск-на-Амуре вошел. Плакать перестал, присматривается к домишкам на окраине: к какой бы тетке попроситься передохнуть, у печки посидеть, чайком погреться? И чтобы тетка не выдала и чтобы переночевать разрешила? Глупец ты, Сема Ирич! Хотя и надул нас, а глупец. Жалко тебя!

Колька Дергунов, наверное, тоже о тебе вспоминает: брови сводит, нос морщит, усмехается. С тобой говорит. И ругает тебя. В самом деле, на кой черт бежать, если теперь везде есть телеграф? Оперуполномоченный пошлет в твою деревню запрос, и твой деревенский «опер» встретит тебя на дороге, когда до родной мамочки останется сотня шагов. Ведь сердце может разорваться от обиды. Дурак, Сема Ирич! Колька Дергунов тоже так считает.

Вообще этот день был очень трудный. Я едва выполнил свою норму, «заморозил» сверхплановую бочку, об Иричевой норме и подумать не успел.

Коммунисты остались проводить еще одно собрание, а мы — в столовку. После столовки — сразу в клуб: сегодня эстрадный концерт. Первый раз за всю зиму приехали артисты: три человека, один мужчина и две женщины. Но настоящие, говорят, из Хабаровска.

Билеты продавала сама завклубом, толстая да еще

нарядилась в шубу, весь проход загородила. Купишь билет, слегка посторонится, и пройдешь между ее животом и стенкой. Удивительно, чего они едят, эти толстые? Как им не стыдно в военное время, когда «все для фронта», иметь столько лишнего веса? Одним словом, пришлось покупать билеты. Нарышкин дольше всех вертелся в проходе (он не любил «обилечиваться», это унижало его), чуть было не прошмыгнул, но в последнее мгновение завклубом притиснула его. Поорав, выложил денежки, пробрался к нам, а мест — на одном по два зрителя сидят. Выгадал, называется!

Приходилось мне бывать на эстрадных концертах, однако такой давки никогда не видел. Сидели на полу, на подоконниках, кто-то выглядывал из-за печки. Оборвали лозунг «Смерть немецким оккупантам!», отпотел потолок, закапало на головы зрителям. От шуб и ватников пахло войной, будто в клубе разместился полк солдат. Пар и дым от табака замутили воздух, задние почти не видели сцену. Завклубом ругалась с курильщиками, грозила не открывать концерт, но дыму все равно прибавлялось.

Когда оттащили занавес и появился артист — маленький, черненький, с усиками, то его едва было видно, как на передовой после бомбежки. И голос у него, наверное, от недоедания, слабый. Сразу все заорали: «Громче! Не слышно!», затопали, засвистели. Артист поднял руку, сморщился. Ясно, насчет дисциплинки у нас не очень. Трудовая еще держится, а культурная — на первобытном уровне. Лично мы не орали, нам видно и слышно было, сцена перед носом. И образование почти у каждого семь классов.

Артист подошел к самому краю сцены, заговорил громче. У него перевязана шея — простудился, бедняга, пока добирался к нам по Амурскому лиману, — он худенький, слегка похож на Юрку Нарышкина. Быстро объявив, что эстрадный концерт считает открытым, артист прочитал стихи:

В этот радостный час  
Начинаем концерт для вас,  
Дорогие мои пунряне,  
Мы желаем вам жить,  
Для победы творить  
Еще больше и рьяней!

Конечно, стихи не первый сорт. Наверное, сам сочинил, но аплодисментов было много, всем понравилось, даже кто-то крикнул: «Ура!» Артист поклонился, ушел за занавеску, вышел оттуда с баяном и стулом. Посидел немного, перебирая кнопки, и к нему вышли две женщины в белых платьях до полу (интересно, помыла завклубом пол на сцене или только орать в ее обязанности входит?), стали женщины позади артиста, сцепили одинаково на груди руки, глаза — под потолок. Красивые, покрашенные. У нас на Пуире таких нету, все в телогрейках и валенках на шинах. И матерятся многие. Артист кивнул им, заиграл, и вместе они запели «Вставай, страна огромная...»

Пели хорошо, мужественно, аж плакать хотелось. Тихо в зале, только раз кто-то сорвался с подоконника; слушали так, словно никогда по радио не слышали эту песню. Аплодисментов было еще больше, стены дрожали. Чего-чего — похлопать у нас умеют, ладони железные.

Женщины ушли, быстро переоделись и сплясали русскую, еще раз переоделись, оплясали украинскую, после — белорусскую польку. Союз народов. Зрители радовались, хлопали не переставая, а Нарышкин и еще два дурака взвизгивали, когда у артисток высоко поднимались сарафаны и видны были ноги. Красивые ноги, но чего визжать? Особенно Нарышкину, разделся бы да свои показал... Пришлось артисткам еще раз сплясать русскую. Стасу Коневскому это не понравилось.

— Зачем выматывать людей?

— Может, поможешь? — сказал Дергунов. — Полномочки возьми на себя.

Коневский не понял юмора, ответил вполне серьезно:

— Это женский танец.

Маленький артист унес баян и стул, побыл немного за занавеской и вместе с нашим киномехаником Прошкой вынес низенький столик, заставленный ящичками, коробками, стеклянными колбами. Прошка успел тряхнуть своими рыжими патлами, улыбнуться по-артистически, и мальчишки под сценой зашмыгали носами от зависти. Вышла одна женщина в черном платье, сказала, что этот маленький артист — мастер иллюзиона и сейчас проведет сеанс. Она назвала его фамилию, однако запомнить было невозможно: шумели сильно, да и фамилия какая-то сложная, вроде «Пиф-паф-гоф».

— Что это — иллюзион? — спросил Дергунов. Спрашивали друг у друга и сидевшие позади нас. «Иллюзион... Голлюзион... Мильмизион...» — слышалось по всему залу.

— По простому, — фокусы, — сказал Коневский. Теперь во все стороны от нас понеслось: «Фокусы... Фокусы!»

Иллюзионист Пиф-паф (я решил называть его так) показал пустую тонкую коробку, поставил ее на стол, накрыл бархатной салфеткой; поводил над коробкой руками, сдернул салфетку — и зал зарокотал: в коробке стоял стакан с водой. Пиф-паф вынул стакан, поставил его на край стола, накрыл салфеткой и выстрелил из театрального пистолета. Вошла артистка, подняла салфетку — стакана не было. Вошла другая, внесла на блюде стакан с водой.

После нескольких фокусов Пиф-паф сказал:

— Товарищи, мне нужен помощник. Желаящий может подняться на сцену.

Зрители стихли, словно испугались чего-то (это правда, фокусников всегда немножко побаиваются), только мальчишки хихикали возле сцены от нетерпения: «Ой, что будет!»

— Прошу, — развел руками Пиф-паф.

Зрители занемели, мальчишки иступленнее захихикали, а потом все разом заговорили, задвигались: значит, кто-то осмелился, пробирается к сцене. Ага, вот он, его подталкивают, посмеиваются. О, да это же наш Скобцов! Разлохмаченный, веселый. Конечно, кто еще осмелится? Хорошо, что хоть один Скобцов есть на весь Пуир. Без него и Пиф-паф не смог бы свои иллюзии показывать.

По лесенке, пошатываясь, Скобцов забрался на сцену, Пиф-паф показал ему на стул. Скобцов бухнулся, грудь вперед, руки на колени, будто фотографироваться приготовился. Улыбнулся во всю физиономию — перед концертом, наверное, пропустил граммов сто пятьдесят. Зрители тоже радуются ему: свой человек в артисты полез! Кто-то бросил под ноги Скобцову бумажный цветок.

Маленький Пиф-паф начал действовать. Что он только не вытворял с «нашим человеком». Он усыплял Скобцова и поднимал его одной рукой вместе со сту-

лом; заставлял пить водку, но когда говорил: «Отдайте назад, вы за нее не заплатили», водка выливалась из рта Скобцова в пустой стакан; продевал ему сквозь щеку иглу с ниткой; вынимал из кармана Скобцова пачки денег, словно Скобцов только что ограбил сберкасса; приказывал танцевать и петь «камаринского». Напоследок дал Скобцову выпить без возврата, сделал его нормальным, пожал вежливо руку и сказал «спасибо».

Скобцов шел по ступенькам в замолкший зал, всматривался в дым и пар, будто попал неизвестно куда, растерянно улыбался: он чувствовал, что с ним что-то произошло, но ни о чем не мог догадаться.

Впереди захлопали, робко, несильно? подхватила середина, после задние ряды. Бурных аплодисментов не получилось. По голосам, вздохам, смешкам чувствовалось: многие радовались, что не пошли на сцену, что не такие они глупые, как Скобцов.

Пиф-паф и Прошка быстро очистили сцену от «иллюзиона», остался лишь стул, и Пиф-паф вынес баян. К нему вышли артистки, подняли к потолку глаза и тихо, до слез прекрасно запели: «На позицию девушка провожала бойца...» Слева, в темноте, кто-то и вправду всхлипнул, женщины начали подпевать. И каждый пел про себя, переживая эту песню.

Кончилась песня, и кончился концерт.

На улице падал снег, редкий, тяжелый, невидимый — весенний снег. Пахло морем, словно бы в темноте, осторожно оно прихлынуло к самому Пуиру. Было грустно в воздухе, на земле.

Было понятно, что артисты обманывают — все «иллюзион». Смерть и то красивая в хорошей песне. В песне все легко, возможно, возвышенно. А как идти в потной телогрейке со злым желудком, по-цыплячьи дрожать тощими ногами?.. В общезитии даже снегом весенним и морем не пахнет. А тут еще Ирич убежал... После хорошего концерта мне всегда грустно: будто побыл в красивой жизни и тебя вытолкнули из нее.

Я не умею драться и не люблю. Мне жалко бить человека. А если меня ударят, начинаю психовать, очень

сильно злюсь, размахиваю кулаками и мажу. В любой драке мне больше всех попадает.

Поэтому я мир предпочитаю. Можно договориться, выяснить отношения. Можно распнить по сто граммов, если слишком трудный вопрос. Можно в крайнем случае поругаться, обозвать друг друга «сволочью» и «фашистом» и после дня два не здороваться.

Но бывает, конечно, когда надо драться. Исключительные случаи всегда бывают. Душа отказывается существовать, действует сама по себе, по инстинкту.

Мы идем с Колькой Дергуновым по берегу лимана, пинаем льдинки, насвистываем и уже знаем, что сейчас с нами произойдет именно этот случай. Точно знаем: впереди, за вытщенными на-берег черными кунгасами, барахтается на снегу буржуй в собачьей дошке. На него нападают, хохоча, двое таких же сытых, в дошках, и он легко расшвыривает их. Зачем он попался нам? Мы только что поели столовской баланды, раскисли немного, думали о бочках. От этих бочек у нас даже мысли стали круглые, желтые: катаются, гудят в голове. А тут — буржуй. Очень неудачно попался. Я немножко струсил (лучше потом как-нибудь, в воскресенье, когда наедемся «семейных обедов»), дернул слегка Колькин рукав.

Но Лось уже стиснул в карманах кулаки, вытянул шею, раздул ноздри, будто в самом воздухе учуял непереносимый запах. Он оттолкнул меня плечом, гибко зашагал тощими ходулями.

Они увидели нас, присмотрелись к Дергунову и все поняли. Буржуй догадался, что его сейчас будут бить за то, что он толстый, не работает и много жрет. Он знает, что его надо бить, он даже не попытался убежать. Да он, кажется... не очень боится; сбывил голову, смотрит из-под лба, чуть улыбается. Он втолкнул руки в карманы так же, как Дергунов, и было видно — вздулись у него карманы. Интересно, почему перед дракой кулаки прячут в карманы? Я сунул свои ладошки поглубже в штаны, набывил голову.

— Не лезь, если те не полезут, — тихо, сквозь зубы проговорил Колька.

Я отступил на шаг, чтобы сразу не вызвать на драку тех, двоих: мы их не знаем, — может, бить их совсем и не за что. Тем более — их будет трое, все мордастые,

Дергунов пошел медленнее, примериваясь к буржую, тот покачался на ногах, утверждаясь, глянул на снег впереди — чтобы после не запнуться. В двух шагах Дергунов остановился (ему не хватало, наверное, злости), сказал:

— Ты чо, гад?..

— А ты чо? — криво, обидно усмехнулся буржуй.

Этого и надо было Дергунову, он вынул из карманов кулаки, но не успел поднять их, как буржуй бросился на него. Дергунов качнулся в сторону, и хорошо, что успел, буржуй зацепил его вскользь, сбил кулаком шапку и сам, от своей тяжести, зарылся в снег.

— Эй! — заорали те двое. — Витя, шевелись!

Они ободряли, помогали словечками, чтобы друг скорее выбрался из сугроба. Однако Дергунов не воспользовался Витиной оплошностью (я выругался: «Дурак благородный!»), повернувшись, ждал, пока буржуй приведет себя в боевое состояние.

Витя, поняв, что противник «культурный», спокойно отряхнулся, сбросил дошку, отшвырнул шапку, — стало видно, какой он крепкий, тяжелый и лобастый, криво усмехнулся, медленно пошел к Дергунову, пылая красными щеками. Остановился, сказал:

— Ты чо?

— А ты чо?

Дергунов чуть отшагнул, пригнулся, я увидел его вздрагивающие колени и по-настоящему испугался за Лося: здесь ему не лес, здесь никакого благородства; вот сейчас навалится всей своей тушей мощный Витя и насует в бока до потери сознания.

И Витя навалился. Витя знал, что у него короткие руки, ему надо схватить длинного Дергунова, бросить в снег. Витя спрятал голову в плечи, выставил кулаки и попер. Дергунов, пятясь, два раза сильно хрястнул по буржуйской макушке, потом по-боксерски дал ему снизу. Витя вскинул голову — из носа закапала кровь — и медведем, распустив пальцы, будто когти, полез на Дергунова. Ему теперь было все равно, главное — поймать. Дергунов бил его в голову, как по мячу, отпрыгивал в стороны, отступал. Витя, скуля, всхлипывая, шел и шел... Я опять испугался за Лося: теперь он уже не собьет Витю, он ослаб, развинтился, начинает поиховать, щеки у него горячечно заалели.

— А-а! — заревели те двое, подбадривая Витю.

И тут же Витя схватил обеими лапами плечи Дергунова, притянул к себе, пригнул; Дергунов сделал ему несильный калган, вырвался и свалился в снег. Витя с ходу дал пинка, упал на него верхом, поднял пухлый красный кулак.

Я забыл об уговоре, подбежал к Вите-буржую, схватил его за вздувшийся пиджак.

— О-о! — закричали те двое.

— Не лезь... — зло прошипел Дергунов.

Витя сидел верхом и работал кулаками, словно тесто месил. Пыхтел, ухал, суетился. Дергунов прикрыл локтями грудь, кулаками голову, как в боксе при нокадауне, и не пробовал вырваться.

Прошло несколько минут, а Витя все ухал. Те двое прыгали вокруг, дико орали. У меня не выдерживали нервы: долго это будет тянуться и жив ли там мой друг Лось, Колька Дергунов? Я сейчас схвачу кусок льда и трахну по голове буржую. Будь что будет. Пусть потом судят... Я сейчас... Я выбираю глазами кусок льда... Пусть эти двое после меня убьют... Вот этот...

Последний раз я взглядываю на Дергунова, наклоняюсь и вижу — Дергунов, улучив момент, коротко, сильно бьет снизу в подбородок Вити. Откачнувшись, Витя вяло приклонил голову, будто захотел поцеловать Дергунова. Лось помедлил немного, собрался с силами и столкнул с себя Витю. Встал, придерживаясь руками за твердый снег, высморкался кровью, принялся заправлять рубашку в брюки. Я увидел его худой желтый бок, он ходил рывками, проваливался до позвоночника. Отвел глаза.

Витя-буржуй сидел на снегу, жмурился, перебирал губами, точно после сладкого сна. Он трудно соображал, приходя в себя. Витя побывал в хорошем нокауте, еще не зная, что такое бокс. Это полезно Вите. Не все в мире решается при помощи папы, собственной наглости и крепкой холки.

Те двое перестали орать, топтались в сторонке.

— Кто следующий? — спросил Дергунов.

Голос у него был слабый, сиплый, как у сильно переболевшего человека, но те двое плотнее сдвинулись плечами. Они не убегали, не хотели оставить друга Витю и, значит, были не совсем плохие ребята.

Дергунов подошел к Вите, взял его за локоть.

— Ну, вставай, задницу простудишь...

Витя покорно поднялся, дружки принесли ему дошку и шапку, помогли одеться. Я отряхнул от снега и подал шапку Лосю.

— Маме не жалуйся, — сказал Дергунов, и мы пошли дальше по берегу лимана.

Долго молчали. Лосю надо было передохнуть, мне подумать. Я ведь только думать умею, жить — не очень, в жизни я упрямый, но слабый. Вот сейчас Дергунова спас хук — удар в челюсть. Потому что он в ФЗО боксом занимался. А я нет, я книги читал, стихи пописывал. Значит, мне не один еще хук будет. Плохо тому, кто не умеет драться. Пожалуй, попрошу Дергунова, пусть потренирует меня. Пригодится. Всегда есть кому по физиономии дать.

Через десять минут — на работу. Жаль, вымотался Лось. Как он с нормой справится? От обеда в животе у него и малой калорийки не осталось. Надо как-нибудь изловчиться, помочь ему с последней бочкой. Все-таки общественное дело — отлупить Витьку-буржуя. Гражданское. Если станем проходить мимо таких Витек, они всю жизнь лишь пищу переваривать будут.

Конечно, и неловко немного. Это когда спросишь себя: за что ж все-таки отлупили Витю? Толстый и не работает? Разве он виноват? Он несознательный, как многие другие. Родители отвечают за него. Они его кормят, дошки шьют. А подумаешь — при чем тут они: каждый своего ребенка жалеет. Естественно. Если бы на фронт родителей взяли или еду всякую они по блату не доставали — другое дело. Пришлось бы и Вите трудиться за свои шестьсот пятьдесят граммов хлеба. Вот и решай — кто виноват?

Но вообще, в принципе, хорошее дело сделали. Витя теперь будет знать, что он не самый главный на земле. И папа у него не самый сильный, хоть он и главный бухгалтер. И за мамин подол всю жизнь держаться нельзя. Правильно говорил Дергунов: «Воспитаем!»

Надо возвращаться к бондарке, и мы остановились посмотреть на лиман. Вспомнили, что для этого и пришли сюда.

Дергунов успокоился, распахнул ватник с оборванными пуговицами, закурил. Только щеки у него слегка

алели и в ноздрях запеклась кровь. Прищурясь, он смотрел, поплеывая, на синний, вытаявший из-под снега лед, широкие зеленые полыньи, исковерканные торосы. Дергунов любил воду, умел молчать возле нее.

Справа сияли, искрились в небе горы Сахалина — еще зимние, их и краешком не тронула весна; слева черно ершились сопки нашего берега, и прямо перед нами стлался, будто уплывал, лед, где-то далеко-далеко он становился водой, морем, еще дальше — океаном.

— На Таити бы сбежать, — сказал я.

— Или на фронт, — ответил Дергунов.

— А может, как Ирич, — домой? — спросил я.

— Нет, — сказал Дергунов.

И мы пошли к бондарке.

День прошел очень обычно, похоже, как наши бочки похожи друг на дружку. Комлев подслеживал за нами издали, Скобцов суетился у своего верстака и курил такие мощные самокрутки «рашпиля», что у меня сердце ныло от никотина. Чистеньким, сиротливым было рабочее место Семы Ирича — не хотелось смотреть, словно оттуда только что вынесли покойника. Дергунов выполнил норму. Милый Лось! Будь я девушкой, конечно, красивой, я бы подошел и поцеловал тебя в толстые, пересохшие губы. Девушки не знают, кого надо любить, они любят тех, кто больше пристаёт.

Я сложил на полку инструмент и вдруг почувствовал — как испуг, как мгновенную горячую вспышку: «Сегодня назначу свидание Вале. Вот сейчас она придет, и назначу...»

Валя пришла. Я снял фартук, причесался немного, глядя в обломок зеркала, натер лицо платком, чтобы хоть чуть-чуть посвежело, и пошел к Вале.

Майка Цюпа, конечно, хихикала и пищала — и чего она все хихикает и пищит, точно ее щекочит? — а болтливая Тонька почти совсем молчала. И вообще она стала очень серьезной и первой общественницей среди пурских девчонок. Положительное влияние Стаса Коневского. И говорить она научилась так, будто всегда стоит за трибуной, и «Лазурные зори» иногда вспоминает. Вот бы еще Майку отдать Коневскому на воспитание. Хоть на недельку.

Я сказал им всем «привет!» и отдельно Вале:

— Тебя можно?..

Валя глянула на затрепетавших от любопытства подруг, сказала:

— Отодвиньтесь.

— Валя... — выговорил я, — нам надо встретиться.

— Уже встретились.

— Нет, не здесь.

— А-а...

Я стал быстро и потому растеряннo думать: «Где бы встретиться?..» Весь день перед глазами у меня стоял лиман, льды, белые горы, и я сказал:

— На берегу. У большой воды. Знаешь, где два кунгаса рядом...

— Когда? — очень серьезно спросила Валя.

Да, и об этом я позабыл: в какое время? Дурак — надо же было все обдумать!

— В девять, ладно? — спросил я.

Валя медленно отошла.

Я обрадовался, что все сошло вроде хорошо, никто не заметил моей дурацкой физиономии во время разговора, что я не струсил и что разговор уже позади. И только потом, когда вышел с ребятами на улицу, подумал: «Она же ничего мне не ответила! Даже не кивнула. Она, конечно, не придет. Поздно, уроки надо учить. Да и зачем приходить? Вздохнуть на море? Противно...»

Мне стало и в самом деле противно. Ну еще в душе я, может быть, и ничего себе человек. А так, внешне — кому интересно прогуляться со мной «по бережку»? Еще кто-нибудь подсмострит. Вот уж выбрала, скажут, кавалера — ноги заплетаются... И этот Витя-буржуй, они шляются по вечерам, придут бить меня. На глазах у Вали... Я жить дальше не смогу. Подкараулю и убью Витю. Приедет народный суд из города Николаевска, дадут мне десять лет и отправят в штрафной батальон, на фронт. Погибну за Родину, кровью искуплю вину...

Я часто замигал глазами, жалея себя, хотел дальше распустить свое воображение: больно — надо добавить! — но меня пихнул в бок Юрка Нарышкин, выругался матерно.

— Ты опять голову повесил? Грустный, как баба рязанская, у которой мешок из-под задницы сперли. Или стишки сочиняешь? Брось, пожалей молодые годы и маму родную. Учись у меня, гад буду. Нет, не бочки делать... Хочешь, мы с тобой еще раз эту...

— Пшел ты!

— У-у, припадочный! — Нарышкин отшагнул в сторону.

А вообще мы стали жить лучше, дружнее после побега Ирича. Может, немножко испугались, может, меньше нас теперь было и мы не знали, что думает сам про себя каждый другой. Вдруг оставит записку и... Одним словом, сдружились как-то, стерпелись.

Поужинали, разбрелись кто куда. Нарышкин остался «сшибать» добавку, сокращенно «дб», — он был постоянный «дебешник», к нему привыкли повара, не прогоняла даже буфетчица. Дергунов и Коневский пошли в общежитие курить и молчать. Я свернул в библиотеку.

Здесь висели на стене часы, стоял длинный стол, устланный газетами, «Огоньками», «Крокодилами», и за стойкой едва виднелась чистенькая старушка Пикалова. Она всегда вязала чулок, опустив очки на кончик носа, нашептывала что-то сморщенными губами, и, если в библиотеке никого не было, можно было вообразить, что сидишь дома, дремлешь, а бабушка рассказывает сказки.

Я всегда брал Маяковского, тяжелый, единственный здесь том, с броской росписью самого Маяковского на обложке, с «Academia» внизу титульного листа. Я прочитал его от корки до корки, все поэмы и стихи, многое знал наизусть, кое-что выписал в блокнот и все равно, зайдя в библиотеку, каждый раз просил Маяковского. Старушка Пикалова сначала удивлялась, рекомендовала другие художественные книги. Потом привыкла, при виде меня молча стаскивала с полки коричневый том. И держала она его поближе, чтобы меньше утруждать себя непосильной тяжестью.

За столом, распахнув грузный тулуп, распространяя запах овчины и табака, сидел дед — сторож из магазина, листал, слюнявя палец, «Крокодил», хихикал, сипел, разглядывая фашистов, замотанных в бабьи тряпки, с ледяными сосульками на красных носсах — носы были очень похожи на его собственный.

Я устроил свой том на краю стола, подальше от деда, чтобы тот не втянул меня в военный разговор, наугад раскрыл, прочитал: «Обнимись земли и моря глубь, тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп». Почему мне это попало?

Было восемь часов. Если я сейчас выйду, минут двадцать буду идти до кунгасов, там сорок минут... Долго. Закрыв том, снова открыл наугад, прочитал: «...тот, кто постоянно ясен...» Что такое? Осмотрел книгу: наверное, дефект какой-нибудь, листы неровные? Но испытывать больше не стал — и так испортилось настроение. «А что если я и неясен и глуп? — спросил я у Маяковского. — Так может быть?» Это был мой первый спор с моим любимым и лучшим поэтом.

Он мне ничего не ответил, и я отнес том старушке Пикаловой. Осторожно, обогнув сипящего деда, вышел на улицу.

Из-за Сахалина вставала над лиманом голубая, зимняя луна. Она, пожалуй, не знала там, в черной глубине космоса, что у нас подтаяли, подвинулись льды, ближе прихлынуло море и воздух, влажный, дымный, как после долгого, заливного дождя, напиткивает снежные сопки, леса, дома в поселке. Луна казалась глыбой льда, отколовшейся от сахалинских гор.

Я пошел не прямо под гору, к лиману, а мимо клуба, электростанции, бани, чтобы растянуть свой путь, спутать следы тому, кто будет следить за мной. Мне почему-то чудилось, что меня высматривают. Шел, сунув руки в карманы, чуть посвистывая: словно никуда не иду, просто так «прошвыриваюсь». Никто не попался навстречу, никто не остановил, и за баней я свернул вниз. К кунгасам придвинулся медленно, осматриваясь. И все-таки вздрогнул, когда в тени между кунгасами скрипнул снег. Остановился. Чаше заскрипел снег, и на лунный свет вышла...

— Валя! — сказал я.

Она промолчала.

— Ты уже здесь? Почему так рано?..

— Работу кончили, не идти же домой, — ответила просто, чуть улыбочиво.

Мне и так понятно, к чему еще спрашивать!

Мы постояли, дыша паром друг другу в лицо. Надо было о чем-нибудь говорить.

— Валя, — сказал я, — ты знаешь, зачем тебя позвал?

— Зачем? — тихо, перестав дышать, спросила Валя.

— Просто так.

— Ага, — не удивилась Валя.

Я подпрыгнул, сел на корму кунгаса; подал Вале руку, она села рядом со мной. Кунгас подтаял днем, от него теперь пахло рыбой, водорослями, и он покачивался. В огромной лагуне между льдами плавала луна, маленькие волны набегали из темноты, разбивались о ледяной берег. Где-то вверху невидимо прокричала одинокая чайка, прилетевшая с моря.

— Валя, ты не знаешь, где находится остров Таити?

— В Тихом океане.

— А точно?

— В группе островов Товарищества, главный остров, принадлежит Франции.

— Вот я сейчас вспомнил: туда когда-то сбежал один французский художник, бросил все и сбежал. Женился на таитянке, писал картины. После заразился проказой и сжег себя в хижине вместе с картинами.

— Не слышала, — сказала Валя. — Интересно, очень...

— Дергунов говорит, что он мог бы родиться на Таити. Это даже лучше было бы, говорит, потому что в душе он весь моряк.

Валя тоненько засмеялась, сунула рукавицы в рукава шубейки. Необидно засмеялась: просто вообразить трудно, чтобы Дергунов на Таити родился.

— Там пальмы? — спросил я.

— Да.

— А война кончится, ты кем будешь?

— Учительницей.

— Я моряком хочу, только меня укачивает.

— Будь поэтом.

— Трудно.

— А ты постарайся.

— Ладно, если ты хочешь, постараюсь. Буду каждый день писать стихи. Стану поэтом и все стихи посвящу тебе.

— Ты меня забудешь.

«Забуду? — прокричал я сам в себе. — Как же это я забуду! У меня таких девочек не было и не будет. Ты самая лучшая. Другие обязательно будут другими. А мне не надо. Ты будешь красивая потом, после войны, и я буду тебя любить. Буду, это точно. Я чувствую, что буду. В той хорошей жизни я хочу любить только тебя. Хочешь, я тебе поклянусь? Хочешь, прыгну в эту холод-

ную лагуну, пройду по льдинам до Сахалина? Хочешь, погибну, и ты будешь жалеть, что не поверила мне...»

Но ничего этого я не сказал, вдруг почувствовав, что мужчина не должен «ничего этого» говорить, тем более — обещать, пускать слезы. Мужчина должен быть всегда немножко отчужденным и непонятым.

— Валя, — сказал я, — у тебя замерзли руки?

— Ага.

— Давай я погрею.

Она сняла рукавички, я взял ее ладошки — они были холодные и тяжелые, — стал тереть их и дышать на них. Ей было больно, она ойкала, но терпела. После прижала ладошки к моим щекам: они стали теплые и чуть влажные.

— Валя... — сказал я.

Она промолчала.

«Валя! — прокричал я сам в себе. — Ты самая красивая девочка на Пуире! Я так боялся, что ты не придешь сегодня на свидание. Ты пришла. Значит, я все-таки ничего, ко мне можно прийти — просто так, не жалея, не сочувствуя. Я очень рад, спасибо! Мне смешно теперь, что я боялся кого-то. Пусть придет Витя-буржуй и его дружки, пусть придут все Вити, существующие на земле, — у меня хватит на них силы и смелости. Я буду улыбаться, просто улыбаться — и им от этого уже будет страшно. Валя, мне хорошо сейчас, и... я хочу тебя поцеловать! Валя, а? Ну, Валя!..»

Однако ничего этого я не сказал.

— Пойдем, холодно, — сказала Валя.

Я взял ее за руку, и мы пошли. Я хотел взять ее под руку, но не осмелился — это слишком близко, слишком по-взрослому.

Поселок был совсем пустой — ни скрипа, ни голоса. Люди рано ложились спать, берегли силы. Мало светились огней, мало дымилось труб. Где-то одиноко, зябко таякала собака. Говорят, старики нивхи выловили всех собак, «состряпали»<sup>1</sup> из них шашлыки. Но эта, последняя, пока жила и не сдавалась: старательно, за всех бывших и будущих собак поселка облаивала огромную, наглую, зимнюю луну.

— А про Таити? Расскажи, — попросила, стискивая мне ладонь, Валя.

Придержав ее, я тихонько запел:

На острове Таити  
Жил негр дядя Митя.  
Жила там негритянка  
По имени Татьяна.

— Что это? — удивилась Валя.

— Песенка.

— Ты сочинил?

— Не знаю. Может, сочинил, может, услышал где-нибудь. Нет, наверное, сочинил. Хочешь дальше?

— Только не пой.

Приснилось дяде Мите,  
Что он уплыл с Таити,  
И плачет негритянка  
По имени Татьяна.

— Все?

— Нет, можно еще.

Проснулся дядя Митя  
На острове Таити,  
Смеется негритянка  
По имени Татьяна...

— А дальше? — спросила Валя.

— Можно без конца, — сказал я. — Но улица кончилась, вот твой дом.

— Ну еще, пожалуйста! — Валя сильнее сжала мне руку, и я выдал как автомат:

От счастья дядя Митя  
Пирует на Таити,  
И пляшет негритянка,  
Как в клетке обезьянка!

Валя длинно, тоненько засмеялась, отступила на шаг и изо всей силы толкнула меня в снег. Когда я выбрался из супроба, ее уже не было. В бараке засветилось окно.

Я побродил возле окна, поскрипел снегом, остановился, стараясь что-то сообразить. Стоял, еле дыша, не выдыхая пара. Окно погасло, и я понял: мне надо идти домой.

## 11

Раньше всех, как обычно, вскочил с постели Стас Коневский. Сделал он это без стопа и «скрипа» — р-раз! — и уже был на середине комнаты. Приступил

к утренней «молитве». Первое упражнение — приседание и вытягивание рук вперед, второе — сгибание в талии. И так далее. Всего десять упражнений. Закончил бегом на месте, облился водой до пояса, растерся полотенцем.

Теперь будет топить печь. Щиплет тесаком лучины, бросает в топку дрова. Мы не спим, все слышим и ждем, когда по дому пройдут ласковые, пахнущие смолой волны тепла. Вторым встанет Дергунов, потом я, а Нарышкин еще минут пять поваляется. Он умеет ценить минуты отдыха.

Вот уже потрескивает печь и на потолке играют красные всполохи, вот запахло смолой... А вот кто-то сильно застучал в дверь. Коневский откинул крючок. На пороге появился человек в белом полушубке, перепоясанном ремнями.

— Здравия желаю! — сказал человек, и стало ясно, что это оперуполномоченный.

Я вспомнил буфетчицу и деньги, скрючился под одеялом, тихонечко заскулил: все, кто-то выдал, сейчас вежливо окликнет меня «опер» и уведет в кутузку (у него есть в конторе одна комната с решеткой), предварительно изолирует от общества. Хлеба триста граммов, приварок раз в сутки.

— Кто здесь будет товарищ Нарышкин? — спросил оперуполномоченный, сел к столу, заскрипев портупеей.

— Вот, начинается!

Нарышкин и не шевельнулся, и вообще он был такой плоский, едва виднелся на своем топчане под одеялом и телогрейкой.

— Кто здесь будет... — начал опять, выделяя каждое слово, оперуполномоченный.

— Чего еще? — поднял голову Нарышкин. Он не любил, когда отнимали у него законные минуты отдыха.

— Надо отвечать «я», — вежливо сказал оперуполномоченный.

— Ну, я...

— Без «ну», призывник Нарышкин! Получите повестку и распишитесь.

— Да? Так бы и говорил сразу, а то... — Нарышкин вскочил, забыв сунуть ноги в ботинки, босиком побежал к столу. — Так бы и говорил сразу, опер! Давай распишусь. Это мне нравится, гад буду. Спасибо!

— Отставить! — несплыно, но четко, как отрубил оперуполномоченный. — Оденьтесь и не болтайте.

— Мне что, пожалуйста... — сразу сбавив, забормотал Нарышкин. — Вы только не пугайте, начальник...

Оперуполномоченный молчал, прямо сидя за столом, а Нарышкин все что-то наговаривал, бормотал, пока одевался и застилал постель. К столу подошел тихий, подтянутый, только чуть кривя губы — показывал нам, что ему в общем-то наплевать на эту «дисциплинку».

— Распишитесь, — сказал оперуполномоченный, сунул Нарышкину карандаш, ткнул пальцем в бумажку.

Нарышкин чиркнул карандашом и подтянулся. Оперуполномоченный встал, размеренно, опустил по швам руки.

— К двенадцати дня явиться на сборный пункт, во двор конторы, имея при себе пару запасного белья, ложку и кружку, а также суточное довольствие.

— Понятно, чего там...

— «Слушаюсь» надо говорить! — И оперуполномоченный четко прошагал к двери.

Мы вскочили, окружили Нарышкина, начали читать, вырывая друг у друга, повестку. Она была напечатана жирным шрифтом, под номером и со штампом. Повестка в армию, в большой мир из маленького Пуира, в большую жизнь. В службу, в войну, в свою судьбу!

Юрка стоял строгий, зазнавшийся и молчаливый, будто научился у «опера» «дисциплинке». Его уважал теперь даже Коневский — самый военный из нас человек — расхаживал возле него, давал советы, подтягивал и опраивал свою гимнастерку. Юрка слушал, еще бы — Стас почти наизусть знал Устав строевой службы.

Нам пора было в столовку и на работу.

— Привет Русакову! — оживился Нарышкин. — Скажите, с полным моим удовольствием зайду проститься. Возьму на память пару клепочек.

Он подбежал к своей койке, принялся без разбору швырять свои вещички в котомку, снова вернулся к столу, схватил повестку, стал рассматривать ее со всех сторон. Когда мы выходили из дома, крикнул нам вслед:

— Работайте, шпендрики! Я защищу ваш мирный труд!

Мы хотели сказать Русакову, но его, наверное, уже предупредил оперуполномоченный: в графике выполне-

ния нормы фамилия Нарышкина жирно вычеркнута красным карандашом.

На полторы бочки будет меньше теперь выдавать в день бондарка. На полторы кривобоких бочки. По вечерам Русаков перестанет мучиться, принимая Юркины «кадушки», — так прозвали их бондари. Не будет собственноручно подстрагивать, подлаживать, подколачивать им бока, краснея от возмущения и шуточек мастеров.

И все-таки грустно как-то. Привыкли. Трудный человек Нарышкин, а свой. К кому он там попадет, как устроит свою жизнь? Мы-то его терпели, понимали. Не все такие, обидеть могут беспризорного человека.

Мы ходили по «площадке собраний», тихо страдали. Работать не очень хотелось: может, сразу пойти провожать Нарышкина? «Опер» назначил на двенадцать дня — хитрый, как раз в обеденный перерыв, тоже оберегает рабочее время.

Из конторки вышел Русаков, глянул на нас, насупился: ему, конечно, не понравилось наше «тихое страдание». Он не запрещает, переживай сколько хочешь, но там, у своего верстака, постругивая клепочку. Пошел к нам и, пока шел, переменял настроение: с нами нельзя уж очень строго, мы все-таки недорослки.

— Вот о вас я пожалею, — сказал Русаков, по-своему слегка улыбаясь, и развел руки, словно уже потерял нас. Это он намекал, что мы хорошие работяги и что сегодня тоже надо работать.

Вяло пошли к своим верстакам.

Надел я свой фартук, поправил услон, взял наструг и клепку. Занемел на полминуты, вздохнул и длинно провел настругом по клепке. Отлетела широкая маслянистая щепка. Скипидарно запахло соками сырого дерева. Качнулся вперед, резче откинулся — и еще одна щепка упала на чистый пол. Через несколько минут я «нащупал», выбрал для себя ритм на все рабочее время. Он был особенным — не таким, как вчера, как в день, когда убежал Ирич, — он был именно сегодняшним: с грустью о Нарышкине, с маленькой злостью на Русакова, с жалостью к себе (вот еще один уходит, словно убегает, бросает нас на чужбине). Норму я выполню, может быть, даже быстрее, чем в обычные дни, но сегодняшние бочки мне запомнятся. Каждая из них будет

иметь «лицо», характер, будто возьмет чуточку моей души.

Я строгаю, справа от меня трудится Комлев. Между нами установились мирные, добрососедские отношения: мы молча ненавидим друг друга. Он считает, что меня, дармоеда, надо послать на фронт. Я согласен. Однако считаю, что его, «броневика», тоже надо послать на фронт. Он не согласен. Это главное наше расхождение. Дальше — качество продукции. Комлев работает по седьмому, я по пятому разряду. У меня и у него бочки идут первым сортом. Правда, у него норма выше и он всегда ее перевыполняет. Так и должно быть, «броневик» обязан по-фронтовому трудиться. Я тоже перевыполняю свою, пятиразрядную.

Я стараюсь пасолить Комлеву. Конечно, у меня ограниченные возможности. Но есть одна надежная — Борька, сынишка Комлева. Когда он приносит в узелке еду и тятка садится обстоятельно жевать, я подманиваю его к себе, даю инструмент, клепку, помогаю мастерить первую бочку. Борька работает жадно, бестолково, совсем непохоже на отца, и это действует на нервы старшему Комлеву. Дома он треплет Борьку за уши, ругает, приказывает не подходить ко мне, а в бондарке молчит — не хочет выказать себя отцом-самодуром. Борька знает это и — была не была! — отчаянно строгают клепку. Уши у него крепкие, нахальства на троих хватит. И вместе мы каждый день устраиваем Комлему испытание на выдержку — закаляем для будущих боев с фашизмом. Скоро Борька смастерит свою первую бочку, вся бондарка отметит это событие, а мои соседские отношения с мастером Комлевым достигнут такой нестерпимой немоты, что нас уже никто и никогда не сможет примирить.

Сегодня медленно двигалось, вернее, ташилось время, оно всегда замедляется, если происходит что-нибудь необычное. Это я давно заметил. Самым длинным днем у меня был день, когда мать сообщила в письме о гибели отца. К вечеру я почувствовал, что постарел, даже щеки трогал — не выросла ли борода. Честно говоря, Нарышкин мне никто, дружкой и то не стал, но что-то волнуясь я, думая о нем. Может быть, завидую ему?

Наконец я составил и стянул второй дупель, и в дверь вошел Борька. Помахивая узелком, из которого

торчала бутылка молока, он пробрался между бочек, штабелей досок и клепки к старшему Комлеву, сунул ему узелок, что-то бормотнул и повернул ко мне свою красную, широкую физиономию. Глядя на Борьку, перестаешь верить, что третий год война: он откормленный, как довоенный поросенок, от жира слегка страдает одышкой. Если бы не голодное время, мамочка, пожалуй, и не напихивала так Борьку. Сам он меры не знает — жрет, сколько дают, растет в ширину.

Я подмигиваю ему, он выжидает, косится на тятку; тот поворачивается спиной, и Борька мгновенно перебегает ко мне. Это самая трудная минута. Теперь Комлев не тронет его, пока не придет домой. Но дома есть мамочка, дома можно орать, чтобы слышали все соседи и думали, что тебя режут.

Борька перебрал свои клепки, пересчитал, вздохнув, сказал мне:

— Сегодня допризывников провожать надо, у конторы народ собирается.

— Сейчас пойдем. Тебе не жалко Нарышкина?

— А чего жалеть? Наоборот, повезло ему. Каждый рад. Я бы тоже...

— Ну, куда там! Наоборот, повезло!..

Борька, оказывается, тоже завидовал Нарышкину. Мне стало неловко: это было похоже на меня. А что, если и моя зависть такая же мальчишечья? Просто хочется пострелять из винтовки, поиграть в войну? И геройства хватит лишь до первого настоящего дела, после заплачу и позову маму. Нарышкину проще, ему некого звать. Может, прикусить язык и потихоньку «лепить» бочки до конца войны?..

Звякнул рельс, стих грохот.

— Пошли, — сказал я Борьке.

На улице подождали Коневского и Дергунова, все вместе двинулись к конторе.

Погодка была ослепительная — огненно-бело сияли, слепили снега. Глазам некуда было деться, и у меня они почти ничего не видели. Я смотрел себе под ноги, на утопанную, желтую дорогу, принохивался к запахам, наплывавшим со всех сторон. Запахи смешивались, дурманили, отогревшись, и справляли свой первый весенний праздник. Но мне надо было еще видеть, обязательно видеть: лиман, ледистые сахалинские горы,

тайгу... Самому, а не со слов Дергунова — он вообще неинтересно видит.

Завтра пойду в больницу и попрошу рыбьего жира. Если есть рыбий жир и мне выпишут — через неделю я буду хорошо видеть. У меня обычная «куриная слепота», от недоедания. Каждую весну я перестаю видеть, будто весна и вправду ослепляет меня.

Подошли к конторе, здесь собралась порядочная толпа, бабы принарядились — новые платки надели, ребятишки бегали. Между домами, закрывшими пространство, на темном снегу я стал видеть лучше, понемногу поднимал голову. Призывников, вместе с Нарышкиным, было четверо. Их уже остригли, и один, курносый, веснушчатый парнишка, не надевал шапку, наверное показывая этим свою отрешенность от гражданской жизни, солдатскую лихость. Возле него топталась высокая, худая женщина в довоенной потертой беличьей шубе, что-то наговаривала, утирала слезы.

Мы пробились сквозь толпу к ступенькам конторы: нам это полагалось — уходил служить наш друг и товарищ. Борьку хотели не пустить, но он принялся орать, толкаться и тоже пролез.

Нарышкин вроде испугался, когда мы подступили к нему, спрятался за своих новых друзей, огрызнулся:

— С расстояния не видно, целоваться прилезли?

— Не мешало бы, Юра, — сказал серьезно и грустно Коневский. — Ведь уходишь, может, не увидимся.

— Вот еще красotka в брюках нашлась! — нервно хохотнул Нарышкин. — Подари платочек, гад буду, не забуду!

Мы все-таки не отошли, и Юрка успокоился: он ведь знает нас — в такой серьезный момент его жизни мы непременно будем рядом с ним.

Прошел в контору Русаков, через несколько минут туда же медленно прошествовал Комлев — он тоже начальник, председатель месткома. После широко расступилась толпа, и к крыльцу подкатил на повозке дядя Костя. Осадил коня, спрыгнул на снег, сдвинул на затылок лохматую собачью шапку. Лошадка была та же, те же сани, да и дядя Костя ничуть не переменялся, только к валенкам, кажется, подшил еще один слой резины.

Появилась тетя Дуся и сразу заторопилась к Нарышкину, обняла, заплакала. Нарышкин обалдел от такой

ласки, стоял по стойке смирно, стыдливо водил по сторонам глазами: может, кто смеяться будет? Кто-то в самом деле хохотнул.

Нарышкин оттолкнул тетю Дусю, ругнулся:

— Разревелась, как мать родная!

Тетя Дуся не обиделась, стояла рядом с Юркой и плакала. Ей, наверное, хотелось плакать. Потом успокоилась немного, поправила Юрке шапку, чмокнула в щеку и подала ему узелок. Рядом голосили сразу три бабы, а причитающих и охающих не сосчитать.

Нарышкин глянул в узелок, подмигнул нам, вынул сухарь и принялся громко грызть. В толпе засмеялись, кто-то крикнул:

— Подкрепляйся, а то фриц соплей перешибет!

На острьяка заворчали, зашикали. Крупная женщина в телогрейке и ватных штанах проговорила тонко и скандально:

— Будет собрание или нет? Чего тянут!

Сразу нашлась охотница, быстрая молодая бабенка, шмыгнула в дверь конторы, побыла там, снова появилась, крикнула, смеясь и смущаясь:

— Совещаются! Сейчас начнут, говорят.

Еще через некоторое время на крыльцо вышли директор, оперуполномоченный, Русаков и другое начальство. Директор снял шапку — он всегда снимал шапку, готовясь выступать, — грозно обвел глазами народ, откашлялся.

— Товарищи! — выговорил директор не очень сильно, пробуя голос. — Сегодня мы отправляем нашу молодежь, наш золотой фонд, в доблестные ряды нашей армии, громить фашистских оккупантов!..

Дергунов прыснул, толкнул меня:

— Слышишь: Нарышкин — золотой фонд.

— Это ж выступление.

— Ну и что?..

— Не мешай, — попросил я Дергунова.

Мне хотелось послушать директора. Он все-таки умел говорить. Особенно под конец у него здорово получалось: голос становился хриплым; дрожал. Директор взмахивал шапкой. Слушаешь — и мурашки зябкие по коже.

Он говорил минут десять, призвал поднять производительность, крепить трудовую дисциплину; после спу-

стился с крыльца, пожал каждому призывнику руку и трижды поцеловал. От этого бабы заголосили сильнее прежнего, бросились обнимать и целовать ошалевших призывников. Они уже не могли отбиваться, только глупо улыбались и старались устоять на ногах. Нарышкину сунули еще какую-то еду, он взял и теперь покачивался оловянным солдатиком, руки по швам, держа узелки.

Откуда-то взялся пьяный, крикливый старикашка, вынул из кармана бутылку и стакан, принялся угощать призывников, вспоминая гражданскую войну и утирая мокрые глаза.

— Пей, орлы-красноармейцы! — кричал старикашка.

Первым хватил полстакана Нарышкин, счастливо сморщился, достал из узелка кусок жареной рыбы. Курносого, веснушчатого парнишку, все еще стоявшего без шапки, отгородила от старикашки высокая, худая женщина в довоенной беличьей шубе — наверное, мать. Старикашка пытался пробиться, скандалил. Ему помогал Нарышкин, улыбаясь и сочувствуя.

С крыльца сбежал Русаков, подошел к дяде Косте, хмуро заговорил с ним. Дядя Костя оживился, подхватил сундуки призывников, побросал в сани. Понукая и почмокивая, развернул коня и, раздвинув толпу, поехал со двора.

За ним потянулись призывники, родственники, стоящие и охающие бабы. Поковылял старикашка с пустой бутылкой и стаканом. Последним пристроился оперуполномоченный — проводить призывников за поселок, проследить за порядком.

Мы не пошли, нам надо в столовку и на работу, да и Нарышкин, выпив спирта, совсем раззадавался, выпачкивал грудь, напускал на себя военную строгость и не смотрел на нас. Ладно, черт с ним! Может, еще встретимся в пехотном полку, морду набьем!

После работы мы решили в третий раз посмотреть комедию «Волга-Волга». Домой что-то не хотелось, к тому же денек выдался трудный, и Нарышкин никак не забывался. Надо было культурно отдохнуть.

У клуба скопилась галдящая толпа зрителей, не попавших в зал. Оказывается, билеты кончились. На хорошее кино всегда билетов немного продается, словно клуб вполонину меньше становится.

Ко мне подошла Валя, показала два билета. Конев-

скому купила билет Тонька. Я сначала обрадовался, чуть не чмокнул Валю в щечку, но увидел спокойного и очень уж безразличного Дергунова: ему никто не купил билета. Девочки тоже посмотрели на него, пошептались, ругая себя за то, что не подумали о Кольке. Лишь Коневский невозмутимо рассуждал с бондарем Кочеточкиным о недостойном поведении призывника Нарышкина.

Купить еще один билет было невозможно — несбыточная мечта. Оставить Дергунова сегодня одного еще невозможней.

— Не хочу в кино, — сказала Валя, — пять раз уже видела.

— И я не хочу, — сказал я.

— И я... — сказала Тонька.

— Это что за шуточки? — строго спросил Коневский. Он обвел нас начальственным взглядом, остановился на безразличном Дергунове, сразу все понял и так же строго заявил: — Тоже не хочу.

Только после этого Дергунов как бы пришел в себя (он, может быть, и в самом деле не думал о кино), поспешно, смущаясь, заговорил:

— Что вы, ребята, из-за меня? Да плевал я на «Волгу-Волгу»! — и сострил для убедительности: — Она Амуру в притоки не годится.

Но девочки уже продали билеты.

Сошлись в кружок, заговорили кто о чем. Расходиться не хотелось, да и нельзя было просто так разойтись: мы сделали что-то общее, коллективное, и это объединило, сблизило нас. Надо побыть вместе, что-нибудь придумать, чтобы совсем не жалеть о кино.

— Предлагаю организовать общий чай. Можно в общежитии, — сказал Коневский.

— Правильно, — поддержал я, удивляясь всегдашней деловитости Стаса.

— Согласны, — охотно отозвалась Валя.

Девочки отошли в сторону, поговорили и оказали нам, чтобы мы шли к себе, растапливали печь, а они забегут домой, кое-что прихватят и тоже придут. Это было хорошо еще и потому, что не надо идти по поселку всем вместе и выслушивать шуточки и смешки баб, которым почему-то всегда интересно знать, кто к кому и с кем пошел.

Мы быстро зашагали домой и всю дорогу молчали, готовясь к уборке-приборке, соображая, как лучше и скорее привести в порядок свое придавленное снегом жилище, напоминавшее пещеру первобытных людей.

Первым вошел Дергунов, включил свет, и на минуту мы застыли у двери: наши постели были перевернуты, тумбочки открыты, на полу валялись листки с моими стихами, и даже портрет Сталина над кроватью Коневского висел косо, на одной кнопке.

— Все сметено могучим ураганом, — присвистнул я, стараясь догадаться, что произошло в нашем логове.

— Сволочь! — проговорил Дергунов и плюнул.

— Антиобщественный тип, — спокойно сказал Коневский. — Я ведь вам говорил — с ним надо бороться.

Стало яснее дня: Нарышкин на прощанье обворовал нас. Вот почему он прятался, хамил и торопился смыться с наших глаз. Дураки, рассиропились, целоваться лезли, а его бы за шиворот да при всех котомку обыскать. И не подумали даже. Друзья, доверие, чуткость! А он плевал на такие высокие чувства. Сейчас жрет из своих узелков провизию и посмеивается над нами.

Подсчитали убытки. У меня пропали шерстяные носки и новое полотенце; у Коневского сто двадцать рублей денег и хлебная карточка за неделю (болван, оставил ее в тумбочке!); у Дергунова — новые ботинки, которые он заранее приобрел (перекупил у одного барыги) для весны и лета.

— Завтра в городе на барахолке все сплавит, — сказал Дергунов.

— Антиобщественный тип, — подтвердил Коневский, — уголовник с боярской фамилией.

— Ребята, — сказал я, — давайте ни слова девочкам. Стыдно как-то. Жалеть еще начнут.

— Быстренько уберем, — согласился Дергунов.

Коневский принялся шуровать печь, а мы застлать постели, подбирать мои стихи с отпечатками нарышкинских ботинок, подметать пол. И, конечно, не успели навести полный порядок, в сенях послышались шаги, голоса, дверь приоткрылась.

— Можно? — спросила Валя.

— Можно! — заорали в три глотки.

Девочки вошли, с ними была Майка Цюпа. Это отлично они придумали, что позвали Майку — она нравит-

ся Дергунову, только он — Лось, дикий, ни разу не осмелился подойти к ней или перекинуться словечком. Сегодня придется, никуда не денешься, дружок. Майка Цюпа хоть и трусиха, но смелее Дергунова, она от порога глянула на него, он перепуганно засуетился, и Майка засмеялась, заговорила про мороз на дворе, словно и вправду была рада, что попала к нам в тепло.

— Девочки, давайте поможем, — сказала Тонька и пошла к печке.

Валя взяла у меня веник, а Майка подошла к Дергунову, нарочито громко удивилась.

— Разве так застилают!

Дергунов не поднял головы, молча натягивал одеяло, будто всовывал койку в суконный мешок. Маленькая Майка посмотрела немного, рассердилась и оттолкнула Дергунова.

— Смотри, как надо!

Дергунов стоял, хлопал глазами, Майка ловко и красиво застилала койку. После она пошла к другой койке, за ней поплелся Дергунов и так же стоял, хлопал глазами. Смех! Я отвернулся, чтобы не расхохотаться.

Тонька болтала и мыла посуду. Трудно было определить, чего она больше делала — болтала или работала. Пожалуй, поровну у нее выходило. Сегодня она, кажется, позабыла о влиянии Стаса. Все-таки Тонька хорошая работница, даже лучше Вали. У нее отец на фронте, она живет с матерью и все умеет делать сама.

Валя накрыла стол газетами, расставила чистую посуду. Из свертков выложила на тарелки жареную рыбу, вареную картошку, немного хлеба, одну лепешку, граммов сто сахара. Коневский внес нашу долю: хлеб, кусок шпика и семьдесят пять граммов настоящего сахара — наш вечерний сухой паек.

— Прошу за стол, — сказала Тонька, вытирая Стасовым полотенцем руки. И стол был богатым, и есть зверски хотелось, и девочки улыбались, ухаживая за нами, как дома хозяйки за мужьями. Валя подкладывала рыбу и картошку, мы ели с ней из одной тарелки. Майка чуть ли не с ложечки кормила Дергунова. Тонька насыщала Стаса и вела с ним политическую беседу: каким будет мир после войны? Бледнолицый Стас ел медленно, не чавкая, — он и за столом не терял железной выдержки.

Сделалось весело, бестолково, и мне захотелось поцеловать Валю. Но я боялся, так сильно трусил, что даже немножко отодвинулся. Вообще же мне нравился этот первый вечер с девчонками, их смех, чистенькие платья. И ребята сегодня были какие-то хорошие, умные. У Стаса порозовели щеки, стало видно, какое у него тонкое и красивое лицо, а Дергунов так улыбался во весь рот, что сделался похожим на себя маленького, с дошкольной фотографии.

У нас была гитара, старенькая, из клубной самодеятельности, девочки попросили Коневского поиграть. Не доев картошку, Стас взял гитару: общественные интересы для него были важнее самых важных личных. Он хорошо играл, но немножко строго, под военный марш. Но слушать можно, танцевать — тем более.

Валя потащила меня за руку на середину пола, мы закружились, вернее, закружилась она, а я топтался, ворочался, наступал ей на ноги, и мне лишь казалось, что я танцую. Оказывается, и так иногда можно танцевать!

Потом я увидел Дергунова, его водила, бегала вокруг него Майка Цюпа. Лось смеялся, и все-таки на них смотреть было страшновато. Я крикнул:

— Майка, береги ноги!

Тонька села рядом с Коневским, запела «Утомленное солнце» — любимый вальс пуирян. Жаль, что Стас играл его слишком жестко, почти без малейшей грусти.

Опять танцевали, после толстая Тонька сплясала лезгинку с перочинным ножом в зубах, запыхалась, упала на Стасову койку отдыхать. Стас принес воды.

Валя тоже утомилась, села возле моей тумбочки. Я сел рядом, взял ее руку и стал считать пульс — было восемьдесят шесть. Я дал ей воды.

Дергунов пригласил Майку к себе, посадил на табуретку, раскрыл перед ней альбом. Фотографий родных и близких. Я построил ему кислую рожу, чтобы не додумался читать Майке письма родителей.

— У тебя хорошо, — сказала Валя, — как в отдельной комнате.

— Ага, — кивнул я, — приходи еще в гости.

— Ладно, — сказала Валя.

Мы говорили о войне, весне, Нарышкине, о плане и бочках. Мы говорили долго, полупшепотом, спорили. И

все это время мне хотелось, очень хотелось поцеловать Валью. Я так об этом думал, так волновался, что чуть не заплакал. Валя прохладной ладонью пощупала мой лоб, сказала, что у меня температура и что будет по возможности следить за моим нормальным питанием.

Потом мы пили чай, черный, северный. Еще танцевали. Потом пошли провожать их.

И у Валиного дома я поцеловал Валью.

## 12

Лиман открылся темной, холодной водой от Пуира до сахалинского берега. Льды отодвинулись в море и стояли там по всему горизонту призрачной, дрожащей в мареве стеной. От них приходили стывшие ветры, они и сами в каждый прилив придвигались к лиману, но сильное, полное течение Амура останавливало их, крошило, перемалывало. Лиман все дальше уходил в глубь моря, растворялся в его беспредельности.

С сопки стекали ручьи, размывая последний снег, по берегам таяли грязные, позабытые ледоходом льдины. На буграх тонким зеленым ситчиком пробилась первая травка. И только горы Сахалина сияли белизной и свежестью, словно находились не за лиманом и тундрой, а на другой, необитаемой планете.

С утра мы пришли на плот.

У пристани, чадая, пробуя моторы, будоражили воду катера, сипел горячим паром котел водокачки, постукивала донка, напрягая водой шланги, и женщины, девочки, девчонки выбирали просоленную кету из опромных чанов. Рыба лежала ворохами, рыбу везли на вагонетках, сваливали в деревянные корыта с теплым рассолом, отмывали и укладывали в бочки.

Мы открывали пустые новенькие бочки, выстраивали их в ряд у транспортера и, когда укладчицы наполняли их рыбой, закупоривали, сверлили дырки для тузлука. Работа простая, легкая, будто нарочно придуманная для нас Русаковым — на воздухе, у воды, ближе к весне.

Было ветрено, сыро, беспокойно. Мы бегали в котельную греться, свертывали сигарки, долго сидели, слушая самоварное сипение пара и ворчливую болтовню

машиниста деда Ивана, того, что угощал призывников спиртом. Он воевал на всех фронтах гражданской войны, бил Деникина, Колчака, Юденича, лично получил награду от Чапая. Как он все это успел — трудно понять. Но спорить с дедом мы не собирались: выставит из котельной да еще вслед ругать будет на весь плот. Деду хорошо болталось, нам хорошо дремалось, и вскакивали мы, заслышав громкий, почти мужской голос бригадирши:

— Бондаря! Где бондаря!

Хватали молотки и набойки, вынимали и вставляли донья, сверлили бока бочкам. Была и другая, менее приятная работа — заделывать щели. Наши бочки не пропускали воду, но тузлук — не вода. Он едкий, острый, ледяной чистоты и просачивается в любую трещинку. Дерево от тузлука медленно замокает, надо сразу останавливать течь, заделывать, законопачивать. Каждую бочку бригадирша принимала отдельно, заставляла кантовать, катать, матерно ругалась, если обнаруживала дефект, кричала:

— Разве это бондаря? Разве это мужики?

Мы не обижались. Нам было так хорошо здесь, что мы не обижались. И не спорили. Мы работали на совесть. А она пусть поорет, ее муж третий год воюет, ей страшно жить, ожидая извещения о его смерти. Мы не виноваты, что еще не мужики. Станем мужчинами — и нас здесь не будет, придется самой бочки ворочать. Она понимала это не хуже нас, но все равно кричала — такая была скандальная.

Когда надоело ее слушать, Дергунов сказал бригадирше, да и то потому, что был больше меня и Коневского мужиком:

— Не ори, видишь — стараемся.

И она притихла, на удивление нам, даже ласково посмотрела на Дергунова. Мы поняли: она распустила свои нервы среди баб, ей хотелось хотя бы услышать мужской голос. И Дергунов начал покрикивать баском на нас и на укладчиц. Загудел под нос какую-то песенку.

За это, наверное, женщины пригласили нас на свой обед, накормили, каждая чем-нибудь угостила. Бригадирша принесла чашку кетовой икры, дала нам ложки, развеселилась и все задевала Дергунова, чтобы он хму-

рился и говорил грубые слова. Бабы хохотали, подшучивали. После дружно спели песню из кинофильма «Жди меня» и, поохав, размяв спины, принялись за работу.

Работать стало еще легче, проще. Заметно потеплело: откуда-то пришел нагретый ветерок, наверное, от леса, от оттаявшей на сопках земли — и вода притихла в лимане, заиграла рыба, выпрыгивая, взблескивая. Мы теперь не ходили в котельную, а садились на край плота, свешивали ноги, смотрели на берега, воду и льды.

Мальчишки удили с кунгасов и катеров, причаленных к пристани. Ловилась камбала, навага и длинные белые сига. Клев был хороший, но сига попадались редко, и мальчишки складывали их отдельно, считали, соревновались.

— Мечта, — сказал Дергунов, — жареный сиг.

— Питательная рыбка, — подтвердил Коневский.

— Вот бы поудить... — вздохнул я.

— А работать Пушкин будет? — спросил Дергунов.

— Мог бы и Маяковский, — ответил я, — он покрепче был.

— Или граф Толстой, — сказал Коневский. — Между прочим, он любил черный труд.

— Потому что белый был?

— Хватит трепаться! — рассердился Дергунов. Он и в самом деле чувствовал себя бригадиром.

— Это от пищи, — сказал я.

— От безделья, — уточнил Коневский.

А по лиману ходил теплый ветер, совсем весенний, нагревал воду, воздух, берега, и ему радовались чайки, кричали, падали в синюю рябь, купались. Нагрелись доски плота, бочки, наши ватники и шапки. Весна текла, устремлялась в неведомые просторы ветром, водой, звуками. Притихни — и услышишь ее мощное напряжение. И было смутно на душе, сумбурно в голове, хотелось идти, плыть, лететь куда-то — в новые страны, к новым людям — или заплакать потихоньку, чтобы потом стало легко и счастливо, как в детстве.

Чайки кричали, купались. Мальчишка на катере поймал большого искристого сига, дико отплясывал и тоже кричал. С моря пришла стая дельфинов, играла на фарватере, пуская дымные фонтаны. Наверное, начался прилив.

— Куда же делся Ирич? — спросил Коневский.

Я подумал, что тоже помнил о нем, подсознательно, постоянно: «Где наш Ирпч?» Мы написали письмо его родителям и не получили ответа. «Опер» сделал запрос — тоже не обнаружился Ирпч. Может, родители уехали из того поселка? Может, Сема не пошел домой? А может быть, он и вовсе не дошел, замерз и теперь растворился в этих водах, зыбкой земле, воздухе. И весна унесет его в свои просторы, в небытие.

— После войны объявится, — сказал Дергунов.

— Хотя бы... — тихо выговорил Коневский.

— Да.

Дергунову не нравилась наша чувствительность, а больше всего, пожалуй, он боялся сам расслабиться, грубо выговорил, отвернувшись и сплюнув:

— Нарышкина еще пожалейте.

— Тоже человек, — сказал я.

— А-а... — Дергунов встал. — Пошли работать. — Он кривил губы, будто держал во рту что-то горькое; сильно ударив по бочке, сказал: — Из-за таких, как вы, еще долго будут ползать всякие гады по земле.

Мы промолчали — Дергунова не надо заводить, он спорить не умеет, зато дерется здорово. Да и день особенный, первый весенний: хотелось всем все простить, хотелось всех любить и очень хотелось хорошей, долгой, тихой жизни — чтобы хлеб, чтобы дом, чтобы отец состарился и умер на своей деревянной кровати, а не где-то под Курском в пустом поле от немецкой пули. И казалось, что это возможно, надо лишь очень сильно захотеть. И чтобы никто не мешал, было совсем тихо... Но рядом стучали молотками два худых старичка — Дергунов и Коневский. Я был третьим, и ладно, что не видел себя со стороны.

Стало грустно, от этого долго бы мучила грусть в какой-нибудь другой, обычный день. Сегодня нет, сегодня только чуть заныло, приостановилось мое сердце и опять зазвучало ровно и чисто: я люблю воду, она бесконечна, течет как время, она лечит меня своим движением в необъятность. Я дышу ее светлой глубиной и думаю, что все уладится, как-нибудь уладится, а потом, когда-нибудь потом будет совсем хорошо.

Катер подогнал к плоту кунгас. В кунгасе — мешки с солью. Соль привез он от соседей, с Озерпахского промысла. Это первый рейс — соль для будущей пуирской

рыбы. Катер дышал горячим мазутом, покачивался на поднятых своим винтом волнах, был похож на старательного, глазастого ишачка. И заревел он сиреной по-ишачьи. Его хотелось потрогать, погладить, дать ему какое-нибудь ласковое имя.

Выгрузят соль, в кунгас скатят наши бочки, первую сотню, и этот сильный катер-ишачок потащит их в город Николаевск. Дальше они поплывут по Амуру до Хабаровска, после железная дорога увезет их в дальние дали — к Москве и на фронт. На каждой бочке прочитают нашу фирму: «Пуирский рыбозавод» — и штамп: «Высший сорт».

Мимо плота медленно проплыла баржа, груженная новыми сваями, — направилась к мысу, от которого начнется и уйдет в глубь лимана, к самому фарватеру, стена заездка. Следом пропыхтел паровой копер с тяжелой свинцовой «бабой» на стреле — вбивать в дно лимана сваи-столбы. Скоро, совсем скоро пуирский заездок вытянется во все свои полтора километра, и к нему подойдут косячки лосося. Начнется путина, самая первая на Амуре — пуирская.

А пока плывет понемногу баржа, и сваи, бердо-талниковые решета лежат просто лесом, новым желтым лесом.

— Летом хорошо! — сказал я.

Коневский и Дергунов поняли меня: летом мы тоже будем на путине, на заездке. А может, и жить придется в домике на «глаголе», на самом фарватере. Ветер, качка (скрипят и колеблются сваи), и рыба, и запах настоящего моря... Русаков обещал отпустить, он понимает, жалеет нас.

— Хорошо, — сказал Коневский.

Дергунов промолчал, но и он наверняка подумал: «Хорошо!» Какой же моряк без моря? А заездок все-таки лучше, чем остров Таити, о котором можно только мечтать.

Пришла бригадирша, послушала музыкальное насвистывание Коневского — он всегда насвистывал, когда увлекался работой, — и похвалила нас. Похвалила также простецки и от души, как поначалу ругала. Я спел ей, вышибая дно из пустой бочки:

Бочка дура — в бочке пусто,  
Бочке надобна капуста,

Или рыба, или сало,  
Чтобы бочка умпой стала!

Посмеявшись, бригадирша сказала, что на сегодня бочек хватит, мы можем кончать работу. Закроем завтра, пока женщины будут доставать из чанов и мыть рыбу. Успеем — мы настоящие мужчины.

Сняли брезентовые, рыжие от ржавчины фартуки, побросали в ящик инструменты, пошли домой.

Надвигался вечер — туманный, смутный, с тихим шелестом волн, усталым криком чаек. На плоту зажглись огни, много раз отразившись в воде, и поселок озарился спокойным, мерцающим светом. Улица была оживленной — люди не торопились домой, задерживались у калиток, колодцев. На крыльце магазина гудела пестрая бабья сходка. От клуба неслись гулкие удары по мячу, смех — там играли в волейбол.

В столовой настежь открыты окна, не пахло перловым паром, повара улыбались, буфетчица стояла за прилавком в сером красивом платье. Кто бы мог подумать, что она такая молодая! Я посмотрел на нее издали, мысленно попросил у нее прощения, она ни о чем не догадалась, щелкала на счетах, а в окнах слышались крики, гулкие удары по мячу.

От столовой мы пошли к клубу. Здесь и в самом деле было весело: команда мальчишек играла против команды девочек. Суетилась Тонька (в лыжных брюках и красной майке, выглядевшая еще толще), бегала Майка Цюпа (в узеньких брючках и свитере она походила на парнишку). Однако Вали среди игроков и зрителей я не заметил. Мальчишки явно переигрывали, и Тонька закричала:

— Коля, Стасик, помогите!

Они сразу обросили пиджаки, вошли на площадку. Меня не позвали, да и играл я неважно, любительски. А эти, особенно Стас, рубились, как гладиаторы, до упаду или до победы. Конечно, они показали класс. Носились по площадке, сшибали девчонок, брали свои и чужие мячи, пасовались, резали. Быстро набрали счет, обыграли и под крики, свист и хохот ушли с площадки.

Игра понравилась всем, а Витька-буржуй подошел ко мне, сказал:

— Классно!

Я не ответил: не люблю маминых сынков, дармое-

дов. У меня к ним пролетарская ненависть. Если бы Витька пообещал, что он завтра пойдет работать, что будет перевыполнять норму и питаться с нами в столовке, я бы и тогда подождал с ним серьезно разговаривать, дружбу заводить.

— Этот парень откуда? — спросил Витька.

— Который тебе ряху набил?

Витька скривился, хотел огрызнуться, но превозмог свое чувствительное самолюбие, неохотно кивнул.

— Так он из тех... Знаешь русского богатыря Поддубного? Его родственник.

Витька молча отошел.

Коневского, Дергунова и девчонок у клуба уже не было. Глянул в сумерки улицы — они парами, поодаль друг от друга, шли к лиману. Я пошел за ними, но скоро остановился, повернул в другую сторону: «Зачем они мне? За весь день надоели!..» Мне надо побыть одному, особенно сегодня, в такой вечер. Подумаю, поброжу.

Пошел вверх, в сторону пуирского мыса.

Стало темно, из-за сахалинского берега взошла половинка луны — смутная, затушеванная; по воде через весь лиман протянулась белая, мерцающая дорожка. И зимой лунный свет ложился на снега и льды, холодный, сверкающий. Однажды видел я, как нивхская собачья упряжка мчалась по лунной тропе, дымом поднимая снег, и скрылась, будто врезалась в сахалинский берег.

Сесть бы в лодку, выехать на белый, живой свет, долго плыть, молчать; дышать близкой сыростью морской воды, чувствовать темную глубину неба над головой. И быть одному в беспредельности и пустоте.

Припомнились мать, сестренки... Поселок на охотском побережье, дружок Бэркэн, легкое детство... Не ответил на последнее письмо матери. Не написал и тетки на Главстан... Разбросала война родных и друзей. Где, когда увидимся? Наступит ли такое время — не угадать, не предположить пока.

Я не дошел до мыса. Остановился у крайнего дома, напротив Валиных окон. Я, наверное, и шел сюда, только сам не знал об этом.

В окнах было ярко, празднично, по занавескам промелькивали тени, а если хорошо прислушаться — можно различить голоса, Валин тоже. Почему она не вышла

на улицу? Может, зайти узнать? Нет. Заставят раздеться, усадят за стол. Придется есть картошку и рыбу. Не хочу. Сегодня не хочу и не стану думать о еде. Лучше постою здесь, вдруг выйдет Валя, почувствует — и выйдет. Буду звать ее, думать о ней.

Я отошел к поленнице, привалился спиной (дрова еще хранили дневное тепло), стал упрямо смотреть в окна. Смотрел долго, до усталости в глазах. И пришли ко мне весна, море и Валя. Да, конечно, и Валя. Она выбежала из дома, была в летнем платице, смеялась. Мы пошли с ней к лиману и вместе крикнули белым сахалинским горам: «Прощай, зима!» Нам отозвалось длинное, веселое, весеннее эхо.

С берега прикатился гулкий, тяжкий гром: где-то рухнула в воду подмытая льдина. Я поднял голову.

В окнах не было света.

Я вспомнил о войне и пошел домой — завтра на работу.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

---



---

## ВОЛНЫ ЛИМАНА

**С** моря пришла рыба, летняя кета. Ее первые косяки уперлись в стену заездка, постояли, будто решая: как быть дальше? — медлительно двинулись к фарватеру, где заездок оканчивался глаголью — двумя рядами свай, изогнутых буквой «г». Негусто, уже чуть напуганная внезапной преградой, рыба вошла в ворота сетного «двора», ткнулась в одну, другую сторону и, как бы поняв, что ей теперь не выйти отсюда, — бешено заметалась, забилась, вспеннв, вскипятив воду.

Я стоял на помосте, над самыми воротами, перегнувшись, смотрел в пузыристую, тревожную зелень. Остро, косою тенью приблизился новый косяк, разом остановился, трепеща плавниками. Казалось, косяк почувствовал беду, которая ждет его за узкими, всасывающими воротами, обещающими «свободную воду». Наверное, так это и было: неподалеку билась, будоражила воду пойманная кета.

Косяк отпрянул, постоял где-то в стороне, у темной стелы заездка, снова подошел, теперь ближе. И вдруг разом, длинно вытянувшись, втёк во двор. Я перегнулся ниже: что случилось? И тут же понял: прихлынул новый, густой, мощный косяк и втолкнул в ворота этот, пугливый. Однако и сам остановился, сбившись в клочующий котел, заполнил весь угол глаголи. Мне хотелось увидеть, как поведет себя дальше осторожная рыба, но послышался гулкий удар в рельс, команда:

— Все наверх!

Бригадир бежал по крайнему помосту, держа в руке крюк на длинном шесте. Помост качался, и маленький, негнувшийся бригадир — он был в задубелой брезентовой спецовке — то вырастал, то укорачивался, и чудилось: он не падает в воду потому, что держится за длинный, существующий сам по себе шест.

Я схватил свой крюк, побежал по узким доскам наискось, к бригадиру. Я не знал, зачем бегу, что буду делать: бежит бригадир — надо и мне бежать.

Из дощатого дома — дежурки выскочили рыбаки, быстро разобрали шесты, выстроились в ряд, поперек двора. Я подбежал к бригадиру, он глянул, зло мотнул головой:

— Назад!

«Назад!» — это, наверное, к рыбакам, в их строй.

Бросился назад, прыгнул с одного помоста на другой, поскользнулся и ухнул в провал двора. Ударился боком о помост, попробовал ухватиться руками, скользкие доски оттолкнули, звучно чавкнув. Ногами вниз шмыгнул в воду, подумал — сейчас меня накроет с головой, замахал руками, но что-то плотное, живое удержало, закружило, понесло. Догадался: рыба! Она билась снизу, с боков, выпрыгивала из воды, окатывая брызгами, и я стоял в ней, провалившись по грудь, раскинув для устойчивости руки.

Рыбаки быстро сгрудились надо мной, кто орал, кто смеялся. Несколько крюков схватили меня за полы, рукава телогрейки, вырвали из рыбьего месива, понесли вверх. На помост вытащили руками, посадили. Из меня ручьями текла вода, я попробовал встать, покачнулся.

— В дежурку! — крикнул бригадир и выругался. Он стоял в конце двора, над ловушкой, следил за моим купанием издали, не подошел и сейчас, будто это самое обычное дело — кто-то свалился в воду. Но по голосу чувствовалось, как он до крайности зол, и может, потому и не подошел, чтобы в горячке не изматерить меня.

— Пойдем, ничего! — сказал Федька Наумов, хромоногий рыбак, помог встать, и мы с ним, раскачиваясь, словно пьяные, поковыляли к дежурке. Позади смеялись. Сквозь холод и дрожь окатывал меня изнутри стыд: так вот, на виду у всех, слепым кутенком!..

— Ничего, сейчас я тебя тетке Козловой сдам, подсушит, подвялит.

Федька втокнул меня в дежурку, бережно усадил на пары, проговорил в широкую спину поварихи, стоявшей у печки:

— Примите, мамаша. Бригадир приказал обогреть, обласкать мальчика, потому как его мама далеко...

Это уже слишком, перехватил Федька, чтобы оскорбить меня, показать, что он, Наумов, только на год старше, а в маме не нуждается, с помоста в воду не падает. Я бы выругал его, однако он живо смылся, да и зубы клацали — крепкого слова все равно не выговорить.

Тетка Козлова остановилась на некотором расстоянии от меня, сложила руки на выпуклом животе, принялась рассматривать, качая головой и очень глубоко вздыхая. Прошло несколько минут: я дрожал, она вздыхала. Потом с теткой Козловой что-то случилось, ее будто спугнули: она набросилась на меня, сопя, выговаривая разные жалобные слова, принялась сдирать телогрейку, брюки, ботинки — все, что попадалось ей под руки. Быстренько освободила меня от мокрой одежды, хотела сдернуть трусы, но тут я проявил твердость — вцепился в трусы обеими руками.

Тетка Козлова пихнула меня к печке, я уселся на чурбак, протянул к огню руки.

— Надевай-ка, — приказала она, бросив мне на колени свой байковый халат (в нем она обычно ложилась спать, боясь простудиться). Я не мог, конечно, натянуть на себя эту женскую вещь: вдруг войдет кто-нибудь из рыбаков, тот же Федька Наумов, — откинул к ногам халат, сказал:

— И так тепло.

— И-ех, мужик!.. — горько простонала тетка Козлова. — Сиську вчера сосал, а седни стеснения разводит.

Она сняла с себя телогрейку, теплую, сухую, накинула мне на плечи, после запустила пальцы в мои волосы, тряхнула ощутительно.

— И не подумай снять — на холод выгоню.

Ладно, пусть греет меня телогрейка тетки Козловой, буду молчать, буду слушаться ее. Сам виноват. Думал, что уже никогда ни одной пожилкой женщине, похожей на мою мать, не придется обласкивать и разжалобливать меня — это совсем ни к чему, от этого делаешься маленьким и жалким. Этим могли заниматься разные мамы до войны, в той жизни и остались ласки, сочувст-

вования, мамины олады утром и поцелуйчики перед сном. Сам виноват. Не надо расстраивать женщин, у них сердце не каменное, они тоже помнят прекрасную довоенную жизнь.

И зачем я попросился на заездок? Один выпросился, будто Коневский и Дергунов хуже меня. Даже не подумал о них — так захотелось на заездок. К Русакову домой ходил, Валя помогала... Как теперь вернусь в поселок? А вернуться придется — бригадир с первым характером отправит.

Вон и катер идет, качается, дымит — прыгает в окошке, точно поплавок. Рыбаки уже перебрали сетное плотно, сгрудились в конце глаголи, над ловушкой: там вся рыба. Туда и катер потащит пузатый кунгас, похожий на черную морскую утку.

Штормит, не меньше пяти баллов, трудно будет подчалиться к сваям, еще труднее перегрузить рыбу. Сейчас начнется работа — зверская, как говорят сами рыбаки. Но зато — работа. Это не бочки строгать в тепле и спокойствии, тем более закупоривать их на плоту. Тут риск, горячка, напряжение крайнее; тут не зевай, не подводи других и себя береги: покалечит, раздавит между бортом кунгаса и сваями; в открытую воду свалишься — на личное счастье надейся. Вытащат рыбаки, если сумеешь удержаться на такой волне.

Я хотел этой работы, вообразил себя на заездке — и пошел к Русакову домой. Знал, что всех нас он пока не отпустит (надо кому-то и бочки с соленой рыбой закупоривать), один попросился: ничего, через неделю-другую и друзья мои придут. В общежитие пришел — сердце от радости екало, а нехорошо было перед Коневским и Дергуновым. Собрался, сказал: «На заездок отправляют». Стас промолчал, он очень тактичный; Колька заботливо спросил: «Штаны запасные взял?..» Как в воду глядел Лось — сижу без штанов.

У тетки Козловой варила в котле рыба, большие белые куски всплывали, проваливались в глубину бурлящей воды. Упревала икра, молоки, другая лососевая трешуха. И пахло не просто рыбой — жирной, вкуснейшей едой. Я отводил глаза к окну, где за дымом разбивавшихся о сваи волн двигались рыбаки, крепили кунгас, заводили воротом огромный каплер-сачок. Катер прыгал на бурунах поодаль, совсем в тумане.

Все-таки я, наверное, поглядывал на котел, потому что тетка Козлова взяла деревянную ложку, поворочала ею в котле, бросила два веских горбушних куса в миску, пододвинула ко мне.

— Кушай, — сказала, — кушай, не могу видеть такое горе.

Зря тетка разводит жалости, от них никому легче не бывает. Взяв обжигающую миску, подумал: «Успеть бы подсушиться до рыбаков, встретить их одетым. И пусть бригадир отправляет, сам попрошусь на берег: здесь теперь мне не житье. Один Федька Наумов подначками замучает».

Ел рыбу и смотрел в окно. Там завели наконец каплер, опустили в ловушку, воротом в несколько рук подняли полный сетный мешок живой кеты. Каплер медленно ползл мимо свай, повис над кунгасом, чуть опустился и, как прорванный, выплеснул из себя белый рыбий поток. Красиво сработала бригада, с виду совсем легко, будто каплер сам зачерпнул полтонны кеты и весело перенес ее в кунгас.

— Подбавить, что ли? — спросила тетка Козлова.

Я вздрогнул от ее голоса, но как-то необычно — морозом по всей коже, словно меня окатили водой. Придвинулся ближе к печке, к самому буронакаленному железному боку. Тепло стало обжигать, однако холод сидел под кожей пленкой сухого льда, не плавился. Есть уже не хотелось. Ответил тетке:

— Хватит пока.

— Чего там! На вот, погрейся ушницей. Может, трясушку вышибет.

Похлебал вяло, безвкусно; обварил губы и язык. Вспомнил о Дергунове и Коневском. Вот бы им такого супа — полкотла бы съели. Настоящие едоки, только и ждут, когда рыба свежая на плоту появится. Унесут по одной, сварят покрепче с солью. Удастся ли им с первого улова поживиться? Много желающих. А у меня — от пуза варева. Правда, в рот не лезет. Так и получается в жизни: одни выгадывают и объедаются, другие голодом здоровье подрывают.

Глянул в окно — первый кунгас залили доверху, он огруз, едва виднелся над волнами, казалось, его вот-вот захлестнет; подогнали второй, и в нем уже было до половины рыбы. В сумерках плясал на бурунах третий.

Его, наверное, оставят на глаголи, в резерв. Два полных катер поведет к рыбозаводу.

На сваях, по всей глаголи, зажглись огни. Вспыхнула лампочка в дежурке над самой печкой. Окно потемнело, заплыло густой синью, и рыбаки отдалились, помельчали, работали теперь где-то очень далеко. Блестели мокрые доски помоста, качались сваи; скрипел ворот, огни высвечивали маленькие, суетливые фигурки людей. Это было похоже на фильм с почтеными мелкоопытными кадрами или на видение во сне.

Я задремал, медленно поплыл куда-то в сторону от печки, сквозь стены дежурки, на зыбких волнах, тех, в которых недавно искупался, но теперь они были теплые, держали меня легко, на белых гребешках. Вот я уже поднялся на ноги, пошел по волнам, как по твердым буграм. Шагаю, радуюсь и думаю: «Теперь мне не страшно, теперь, если упаду — никакие крюки не понадобятся: Лишь бы не ушибиться...» Вдруг вижу: кто-то идет навстречу. Узнаю — Дергунов шагает по макушкам волн. Кто же, кроме него, осмелится? Хочу пожать ему руку, он увертывается, говорит: «Тебя укачивает, а ты в самое море поперся!..» — «Не твое дело», — хочу ответить, однако слова не выговариваются, застревают во рту, со злости я ругаю Дергунова и... проваливаюсь в холодные шумящие волны...

— И-и, как тебя разморило! — сказала тетка Козлова. — И-ить заболеть — плевое дело. Крепись, малый. На вот, одевай свое.

Она размяла, выколотила об угол стола мои портянки, потерла в руках штаны, рубашку вытянула в длину и ширину — разгладила, помогла мне одеться; когда я застегнул на все пуговицы телогрейку, подала полную кружку густого горячего чая с сахарином.

Все-таки хорошо, что существуют на свете тетки: Козловы, Мешковы, Пикаловы — без них жить бы стало невозможно. Без них мужики изматерятся вконец, супы разучатся есть, от собственной грязи шкурками звериными обрастут. Мужики знают об этом, боятся самих себя и всегда хоть одну тетку, а приглашают в свои бригады. Козлова — здесь то, что надо. Они слушаются ее, как ребяташки, в углу отгородили ей отдельную комнату — только бы не ушла.

В окне стояла ровная чернота, огни раскачивались

внизу и вверх, нельзя было отделить воду от неба, но что-то еле видимое двумя серыми пятнами проплыло вкось через все окно: от глаголи отвалили кунгасы, катер потащил их к Пуиру. Я обрадовался: меня позабыли! Или, может быть, бригадир не захотел отправить?

Заскрипел помост у входа в дежурку, послышались обрывистые на ветру голоса, цокот шестов. Я встал, ото-двинулся к нарам: возле печки и без меня будет тесно.

Первым перешагнул порог бригадир, неуклюже ста-щил с себя куртку, бросил в угол, снял сапоги и совсем неуклюже выкарабкался из мокрых брезентовых штан-нов, стоймя привалив их к стене. В толстых вязаных носках прошаркал к печке, сел на лавку. Жадно поды-шав сухим жаром, принялся медлительно склеивать ци-гарку.

А возле двери шла работа: одирали с себя робы, вы-колачивали из кепок и панам воду, толкались, переру-гивались. Доски пола намокли, словно у двери прошел дождь, оттуда несло сыростью и холодом. Скопом, как на приступ, рыбаки ринулись к печке, обсели ее со всех сторон, задымили и теперь заговорили во все голоса, кто о чем:

— Ты видел, как Иван сачковал?

— Видел, повис на воротах.

— Кто, я? Да хошь, я тебе...

— Ребята, а полкаплера — тью-тью! За борт ушло!

— Это Федька виноват, сунул свою кривую ногу...

— Хо, хо!

— Нет, сачок этот Иван.

— Смотри, он тебя стукнет.

— Эх, по стопке бы гвардейской!

— Не на тот фронт попал, братишка, просись к мар-шалу Рокоссовскому.

Тетка Козлова разливала в большие синие миски уху, совала в руки рыбакам. По одному они затихали, вот и последний, Федька Наумов, получил крупную пор-цию и перестал скалиться. Вредный пацан: так стара-ется казаться взрослым, что неприятно на него смотреть. Жаль, нету Эдес Дергунова, он бы напомнил ему о скромности и уважении к окружающим. Федька дога-дался, что я смотрю именно на него и в душе презираю его до последнего волоска на кудлатой голове, крикнул мне, чтобы все слышали:

— Как водичка, салажонок? Может, еще охота?

В него упер взгляд бригадир, и чувствительно ткнул Федьку в бок парень, сидевший с ним рядом. Он послушненько замолчал, отвернулся от меня, сунув морду в пустую миску, будто глазами можно вылизать то, что осталось после языка.

Я стал смотреть на бригадира, припомнил его фамилию: Истомин. Это самый лучший бригадир и мастер лова. О нем много раз писали газеты, печатали его портреты. Весь Амур, от лимана до Хабаровска, знает Истомина. Он ставит каждую весну заездок, командует на нем, ловит рыбу. С ним директор вежливо разговаривает, первому жмет руку, на всех собраниях в пример другим его ставят. Незаменимый человек, ценнее самого директора, потому и забронирован крепко от фронта. Без него жизнь остановится, рыба мимо Пуира пройдет. Без него — как без бочек, соли... Одним словом — бригадир Истомин. Я смотрю на него потихоньку, чтобы не рассердился вдруг на меня, подмечаю каждое его движение, взгляд: он особенный, большой человек, значит все у него должно быть особенным... Здорово он Федьку усмирил — тот съезжился. И на глаголи Истомин сердит, чтобы хорошенько настроить рыбаков. Когда я свалился в воду, он матюгнулся с досады. Но этого любой не выдюжит. Это похоже на предательство: перед первой рыбой так испортить настроение — шлепнуться в воду... А теперь бригадир Истомин ничем не выделялся среди рыбаков. Как ни смотрел я — ничего особенного не обнаружил. Даже обидно стало. Сидел он тихий, маленький, усталый, сушил вязаные носки, грел широкие белые ступни ног.

От дыма, еды, сохнувших портянок сделалось душно, парно. Я привалился к угловому столбику нар и понемногу задремал. Мне становилось все жарче, словно кто-то посадил меня в раскаленную досуха парную, и было нечем дышать. Отдаленно звучали голоса, звякало железо, сыро, широко плескалась вода... Потом поднялись, задвигались люди, меня толкнули, я услышал:

— А ну, на свое место.

Значит, рыбаки ложатся спать. Мое место на втором этаже нар. Сейчас я встану, полезу... Встал, покачнулся, ухватился рукой за столб. Что такое?..

— И-п, так и знала, заболел...

Это подошла тетка Козлова.

— Куда вы его, — сказала она, — пусть здесь... — И повела меня, обхватив мягкой холодной рукой, к своей комнатухе.

Пусть, мне теперь все равно. Хоть в комнатуху, хоть с помоста в воду. Я бы сейчас с удовольствием утонул, даже барахтаться не стал: уже понял, что заболел, и буду болеть долго, может, умру от истощения, других измучаю... Я так боялся заболеть, у меня никаких сил нету для болезни. А тут бы сразу: глотнул воды — и на дно.

— Федор, — сказал бригадир, — с ночным катером на берег доставишь.

— Опять я... — заныл Федька Наумов. — Наберут са-  
лажат...

— Тебе ясно? — спросил бригадир.

Федьке стало ясно, потому что он замолчал. И мне ясно. Мне все равно — пусть Федька утопит меня, столкнет ночью с катера... Всем облегчение. По-хорошему, по-честному. Я где-то вычитал: таежники приканчивали тех, кто выбивался из сил. Правильно. Это предательство — заболеть в путину, в войну, когда рыба нужна фронту, когда нечем лечить и некому за больными ухаживать.

Я наговаривал и наговаривал шепотом, знал, что брежу, и не мог остановить себя: мысли существовали сами по себе, язык не слушался. И все смешивалось, беззвучно рушилось на меня. Я терял вес, падал куда-то в горячий туман и черноту.

Тетка Козлова приложила к моему лбу мокрую прохладную тряпку. Стало легче, стены, потолок дежурки поднялись, затвердели, слова остановились в горле. Четко, емко услышал я холодный шум волн под тонким полом дежурки, скрип свай, злые порывы ветра.

Глаголь раскачивалась посреди лимана, мигала слабыми огнями, как одинокий пароход на привязи.

## 2

Открыв глаза, я увидел белый-белый свет, минуту привыкал к нему, после понял, что это потолок, повел голову в сторону — показалось, там меньше света, —

увидел тоже белое, и вдруг проступило из самого воздуха лицо. Я начал вглядываться в него, оно было знакомое; конечно, я хорошо знал его, но сейчас никак не мог припомнить... «Это она, — подумал я, — как хорошо, что она». Вот только имя надо назвать, тогда все станет понятным.

— Ты смотришь, — сказала Валя, — ты видишь, да?

Я закрыл глаза, потому что сильно утомился и перестал видеть. Лежал долго, постепенно оживая, очень долго — так показалось мне. Снова открыл глаза, увидел халат, знакомое лицо.

— Вот и отлично, здравствуй, — сказала Валя.

— А?.. — спросил я и испугался своего голоса — это был тихий хрип, словно меня душили.

— Ты будешь жить...

— А?.. — повторил я, отчаянно пробуя свой голос.

— Ой, зачем болтаю! Давай выпьем порошок, потом бульона поедим.

Валя вскочила, убежала куда-то, вернулась; теплый ветер опажнул меня — и сразу напомнил о жизни: я подумал, что есть земля, деревья, море; есть настоящий ветер; есть люди, с которыми я долго жил и, наверное, еще буду жить. Есть Валя — она первый человек, встретивший меня после этого... После чего?.. Ну, будто бы я когда-то жил, знал людей, потом исчез, теперь снова родился — и Валя первая встретила меня. Это хорошо, что Валя. Это так здорово, что Валя...

— Примем порошок, — сказала Валя.

«Ага», — молча кивнул я.

— Отлично. Попьем бульона.

«Ага», — кивнул я, решив пока не пробовать свой голос.

От бульона я так ослабел, что едва снова не умер, испугался и потихоньку заплакал — для себя, внутри себя. Валя, конечно, не заметила, но почему-то тоже испугалась, вскочила, убежала.

Меня коснулся ветер, поднятый ею, я опять почувствовал, что живу, и от злости на себя резко вскинул голову — в глазах почернело. Зато потом стал совсем хорошо видеть. Почувствовал себя всего, целиком — с ногами, руками, впалым и горячим животом.

Вошли двое в халатах, одна была Валя, другая...

— Что случилось? — спросила другая.

Я хотел ответить: «Ничего, нормально», — но она сама сказала, подержав в больших прохладных пальцах запястье моей левой руки:

— Нормально. Ты так больного перепугаешь. — Это она проговорила Вале и чуть-чуть улыбнулась. — На, посчитай пульс. Пища всколыхнула. Бывает. Надо немножку кормить.

Валя взяла мою руку — пальцы у нее дрожали, ладонь была влажная, — прислушалась, быстро отпустила; конечно, она не посчитала, она сделала вид, что посчитала — у нее дрожало, колотилось все, так она жалела меня.

«Видишь, хорошо», — кивнув, успокоил я ее.

Врач коснулась тяжелой, холодной ладонью моего маленького горячего лба, что-то тихо сказала Вале и вышла.

Теперь я уже мог жить, теперь я вынул из-под одеяла руку, спустил с кровати и слушал, как она отдает свой жар комнатному воздуху, и прохлада поднимается по ней прямо мне в грудь, к сердцу.

Валя сидела, еле заметно улыбалась и смотрела на меня жадно, будто видит в последнюю минуту, будто я сейчас напугаю ее по-настоящему: раз — и помру! А я уже знал, что выживу, у меня уже появились силы: чувствовал, как устали мои ноги, спина, голова от лежания, как хочется им свободы, воздуха.

— Давай, поговорим, — сказал я Вале и не удивился тому, что голос мой прозвучал почти нормально, хоть и тихо. Так и должно быть.

— Нет, нет, тебе нельзя! — она привстала, спрятала мою руку под одеяло. — Буду говорить я, а ты слушай, ладно?

— Ладно.

— Вот слушай. Тебе, наверное, все интересно. Наши наступают уже в Польше, говорят, скоро кончится война. Мой отец опять просился на фронт, не пускают... Я бы тоже пошла, хоть немножко посмотрела, чтобы на всю жизнь память осталась. И ты хотел... Даже на Пуире чувствуется — скоро кончится война. Погода хорошая, тайга вся зеленая. А рыба так пошла — давно такой не было здесь. Стасик Коневский и Коля Дергунов на заездке работают, два дня назад приходили к тебе, но ты не помнишь... Говорят, ваших бочек не хватит

для новой рыбы. Ребята огорчились, когда узнали об этом. Особенно Коля: ему так нравится на заездке. Он себе панаму раздобыл, брюки клеенчатые — настоящий рыбак. Ходит вразвалочку, смешно! Сказал, если заставят бочки делать — днем буду в бондарке, а ночью на заездке... Хорошо, правда, что скоро кончится война? Можно с ума сойти, когда услышишь по радио: «Товарищи, мы победили!» Я даже не знаю, что сделаю, куда пойду. Буду ходить весь день по улице и всех целовать, со всеми радоваться и плакать... А рыбы в этом году страшно много, весь плот завалили, не успеваем солить и в холодильники загружать. По ночам работаем. Директор сезонников из города просит. А то пропадем, рыба пропадет... Но ты не беспокойся, выздоравливай. Рыбы много — это же хорошо... Потом, в августе, будет настоящее лето, тепло, в лес пойдем за ягодами. Ты любишь ходить в лес, а?..

«Люблю...» — хотел ответить я, но не смог, потому что начал засыпать и опять обессилел; наверное, от Валиных слов: сразу и так много.

— Молчи, молчи, — сказала она, — я буду говорить, ты слушай.

Валя еще говорила, однако теперь я не понимал слов, просто звучал ее голос, как ровный, убаюкивающий напев, после он стал казаться мне журчанием воды, через какое-то время и вовсе затих, потерялся в тихом, теплом, огромном пространстве беспамятства.

Пришел новый день, и я пришел в него, родившись во второй раз. И это было уже иное рождение — сильное, жадное к жизни. Я попросил есть, мне принесли много хлеба, каши, сахара. Набросился, стал жевать, глотать. Утомившись, приваливался к подушке и снова принимался есть. Меня не интересовало, кто, за чей счет нанес мне столько еды. И не понял тетю Дусю, когда она заботливо сказала:

— Кушай, кушай, все твое. Скопилось, пока болел.

Сколько же я болел? И это не очень озаботило меня. Это совсем неважно. Главное — есть. Питаться, поглощать. Потом я во всем разберусь, пойму, кто я, зачем ел, почему меня кормили.

Явилась Валя, принесла в синей кастрюле рыбный суп. Кормили меня по переменной — она и тетя Дуся. Съел все. Не сказал «спасибо». Не захотел: супа было

мало. Жалко, что ли? Попросил еще — не дали. Едва не заплакал, отвернулся к стене.

Валя ушла, пусть. Она все равно не дает мне ничего больше. Тетя Дуся ходит, пыхтит, бормочет что-то. Я хочу крикнуть ей: «Противная старуха, иди добывай еду! Мне надо есть, жить, а ты старая, вредная, жадная. Зачем тебе жить такой? Иди, иди! Я тебя выгоню сейчас!» Поворачиваюсь к тете Дусе, она сидит рядом с кроватью, вяжет из старой рваной шали носок, морщит жалобно губы — улыбается мне.

— Свяжу тебе тепленькие, носи себе.

— Мне?.. — шепчу я.

И вдруг снова все понимаю: кто я, где нахожусь, почему здесь тетя Дуся. Разом подступают ко мне: Валя, Русаков, Коневский, Дергунов... Настоящие, живые. Из забытья глянула на меня мама, сестры... Пришел отец, встал рядом с кроватью... И зазвучала, загремела война. Мне показалось, что вот сейчас, в эту минуту, у меня разорвется сердце — ему не выдержать внезапной яркости сознания, — и, напрягшись, я оторвал от подушки голову, сел на край постели.

Все отступили, лишь тихая тетя Дуся вязала из рваной шали носок; мне, «тепленькие»...

Я заплакал, не скрывая обильных слез: от стыда, от слабости, от большого несчастья быть таким больным; и оттого еще, что уже все проходит, что я опять делаюсь самим собой.

Третьего рождения не было. Я просто открыл глаза, понял, что проснулся. В палате — пусто, сонно. На тумбочке стояла кружка молока (от Скобцовых, наверное, у них корова), возле нее — пайка хлеба с белым, сочным пластинком шпика. Я заставил себя помедлить, поднялся, опустил ноги к полу и, отхлебывая молоко малюсенькими глотками, «лениво» съел свой завтрак. Пот выступил на лбу, и в груди погорячело — такой трудной оказалась эта работа. Но я победил себя. Победил и подумал: «Никогда никакая беда не сделает теперь меня жадным».

За стенкой слышались голоса — там амбулатория, врач принимает больных. Из окна — тихий шум рыбозавода, сирены катеров. А если очень прислушаться, можно различить крики людей. В окне много света, качаются ветви лиственницы. На голом суке сидит птица,

крутит головой. Дятел, кажется. Улетел. Прилетел, покачался на ветке, снова улетел... Можно сочинить стихи.

Сидела птица,  
Улетела.  
А где сидела —  
Чисто, бело,  
— Как будто вовсе не сидела.  
Такое дело.

Чепуха, конечно. Но голове стало просторнее, словно ветром ее обдуло. Я выздоравливаю, это мне ясно. Я бо-  
лел, чуть не умер... Первый раз чуть не умер.

Вошла тетя Дуся. Второй день вижу только ее. Вали — на плоту. Там сейчас все. Там завал рыбы. Я обойдусь без Вали, мне уже почти хорошо. Да и тетя Дуся рядом. Дети у нее погибли на фронте — нас нянчит, бывших фезеешников. Дом свой забросила, дядя Костя голодный ходит.

— Тетя Дуся, как же так получилось?..

Она присаживается на край кровати, аккуратноенько укладывает в подол халата припухлые кулачки, — выпал неожиданный отдых, — минуту думает, неслышно перебирая губами слова.

— Обыкновенно получилось. Упал, значит, ты в воду, застудился. Воспаление легких началось, как его — крупозное. Слабейкий ты, тела нету, а все ж таки справился. Девчата по ночам дежурили — Тося, Майка, Валия. Теперича поправляйся, живи.

— Теперь буду.

Расспрашиваю тетю Дусю о рыбе, заездке, сезонниках, которых ждут не дождутся, о разном другом — лишь бы она посидела, больше отдохнула и припухшие кулачки ее подремали на белом халате.

Несколько минут мы сидим молча, просто слушаем, как рокошет плот, голоса сирены и за стеной кого-то грубо отчитывает старикашка-врач. Тетя Дуся вздыхает — еле уловимо, протяжно. Это она всех жалеет и всем сочувствует: мне, врачу, людям на рыбозаводе. Трудно, непосильно — война.

Я закрываю глаза, дремлю и, когда снова смотрю на тетю Дусю, вижу в ее руках спицы и недовязанный носок. Мне — носок.

— Бросьте, — говорю, — я и так обойдусь.

— Вот и молодец, — не поняв меня, поднимается те-

тя Дуся. — Ты побудь, а я домой сбегаю, старому чего-нибудь приготовлю.

Она быстренько, шаркая ичигами, работая локтями, — ей кажется, что она бежит, — выходит за дверь и, так же суетясь, через минуту проплывает мимо окна.

Думаю, чем бы мне заняться. Вижу на тумбочке толстую общую тетрадь в ледериновом переплете — такую и до войны не каждый имел, — беру ее, оомаатриваю. Тугая, в линейку, отличная тетрадь. И это мне! Наверное, Валя принесла. Раздобыла где-то или у отца выпросила. Понюхал — клеим и сырой бумагой пахнет. Припомнилась школа: я любил новые книги и тетради.

Карандаш тоже как из магазина, старательно заточенный. Приятно перебирать его в пальцах, приноравливаться к нему, знать, что поведешь им по бумаге — и он оставит слова.

Есть тетрадь, есть карандаш — надо писать. Что если завести дневник? Записывать в него все, честно о себе, ребятах, вообще пуирской жизни. А зиму, которая уже прошла, описать одним разом, с этого можно и начать дневник. Попробую, а?..

Трудился долго, выводил каждое слово, боялся зачеркивать, чтобы не портить бумагу. Устал, отложил тетрадь. Когда опять глянул в нее — удивился: написана всего одна страничка. А пережил, перемучился, как целый роман сочинил. Начал перечитывать.

«Мы, пять ребят, окончили школу ФЗО. Послали нас работать на Пуир, делать бочки. Я по пятому разряду, остальные по четвертому. Нас хорошо встретил начальник бондарного цеха Русаков. У него есть дочка Валя, я с нею подружился. Вообще Русаков — хороший человек, жалеет нас. Требуется тоже: бочки фронту нужны. Конечно, не просто бочки, а бочки с рыбой. Так мы работали. Много бочек за зиму сделали. Я выполнял норму. Правда, одно время Валя (она подсобницей работала) хорошую клепку мне подкладывала. Но это всего несколько дней. Колька Дергунов и Стас Коневский тоже выполняли норму: один на силе тянет, другой на идейности. Сема Ирич убежал домой, нежного воспитания оказался — мама и папа у него конторщики, Юрку Нарышкина служить в армию забрали. И хорошо сделали. Он детдомовец, воришка и с болбным желудком. Ему дисциплина нужна и нормальное питание. Так

мы прожили зиму Наш дом заваливало снегом, но мы все перенесли, не струсил. С нами девочки стали дружить: Майка, Тонька и Валя. Валя лучше всех, я ее люблю... Нет, потом, после войны, я буду ее любить. Сейчас надо все силы отдавать фронту, для победы. Так нормально прошла зима. Мы окрепли, «стали квалифицированными кадрами», как сказал бондарь Скобцов. Оправдали доверие Родины, лично товарища...»

Перечитал и стыдно стало. Какая-то неправда получилась. Я совсем не так думал и хотел написать. Хотел — честно, ничуть не выгораживая себя. А получилось: Нарышкин-воришка, будто он один буфет обворовал, и я тут ни при чем. Не напишу, наверное, как на заездок выпросился, ребят бросил... Для чего тогда дневник? Чтобы врать самому себе, верить, что ты 'хороший'?

Я пожалел написанный лист — такой он был чистый, — белый, на нем много могло уместиться настоящих слов. Надо вырвать его или попросить у Вали резинку и аккуратно стереть. Оставить нельзя. Оставить — это словно не вылечиться после болезни, ходить и носить в себе боль.

В дверь осторожно постучали.

— Да-да! — охотно откликнулся я.

Вошел Стас Коневский. Конечно, он мог бы войти без стука, но такой человек Стас: главное — вежливость, тактичность, обходительность. Крупно прошагал к моей кровати, четко остановился, пожал руку.

— Можно сесть на этот стул? — спросил.

— Для того поставлен.

— Вот держи, — он подал сверток в хрустящей пергаментной бумаге. — Повариха Козлова прислала, малосольная икра.

— Спасибо.

— Передам. Она очень беспокоится о тебе. Из-за этого нас с Николаем жалеет. Я — ничего, понимаю, а Дергунов злится.

«Правильно делает, что злится, — подумал я, — он не хлюпик какой-нибудь, презирает жалость. А ты, Коневский, все понимаешь, ты — очень умный, прямо до неприятности».

— Рыбу приехал сдавать, — сказал Стас. — Пока выгружают — к тебе забежал.

«Вот, уже рыбу доверили, выслужился, быстро в передовые попал».

Я принялся рассматривать Стаса. Он в сапогах, брезентовой спецовке, клеенчатой панаме. Подтянутый, строгий и серьезный. Он похож сейчас на бывшего рыбака так же, как зимой был похож на заправского бондаря. Стас быстро приспосабливается к любому делу, у него на это талант. А мне не повезло, и теперь я уже не попаду на заездок: ослаб, не выдержу. Придется на плоту возле бочек вертеться.

— Как рыба?

— Завал. Два плана скоро будет. Так что не стыдно перед фронтовиками, страна получит дополнительно сотни центнеров.

Ну, сел на свои «лазурные зори»! Нет, я все-таки не понимаю Коневского. Второй год живу с ним вместе и не пойму, что это за человек. То жалею его, потому что он худой и совсем одинокий, то...

Коневский поднялся, взял мою руку.

— Извини, я пойду — работа.

— Привет Дергунову, — сказал я. — Вы как, не сердитесь на меня?.. Один тогда ушел на заездок.

— Что ты, считаю нормальным. Тебе важнее было первым попасть, чем нам. Я так и сказал Николаю: он стихи напишет.

Коневский прошагал к двери.

Вот и разберись в этом друге: никогда он не обижается, все правильно понимает, успокоит, разъяснит, уступит — только бы другим легче было; с ним ни поругаться, ни поспорить. Он словно всегда перед всеми оправдывается.

Мне захотелось встать, пройти по комнате — хоть немного, до окна, — почувствовать, что я живу, двигаюсь, что болезнь не убила во мне самого главного — желания жить. Мне это понадобилось именно сейчас, после разговора с Коневским — доказать, что меня не надо жалеть ни тетке Козловой, ни другим. В душе я сильный, и если даже мое тело умрет — я останусь жить среди людей.

Опускаю ноги, ищу тапочки, их, конечно, нет, потому что мне еще не полагается ходить, зато на полу — сушковая дорожка, можно босиком. Пробую подняться. Голова раскачивается, будто плохо привинченная, спи-

на не выпрямляется, руки и ноги существуют отдельно, сами по себе, и никак не могут «договориться», чтобы оторвать меня от кровати. Я должен вставать, обязательно. Если я не встану, не докажу себе, что душа сильнее тела, то совсем не захочу жить.

Поднимаюсь, все же поднимаюсь. У меня все дрожит, трепещет — даже пальцы, даже губы, как у алкоголика после запоя. Я почти ничего не вижу — лишь белый, режущий свет в окне. Минуту стою, борюсь со слабостью, которая грубо валит меня на кровать, а после, держась за стенку, медленно пробираюсь к окну. Нет, не иду — перемещаюсь. Тело настолько невесомо, что кажется: ноги не касаются пола, а сердце висит и бьется в воздухе.

Возвращаюсь, как во сне, слепо, наверное, так по ногам ходят лунатики. Ложусь и надолго замираю.

И только потом, когда пришла тетя Дуся и, перепугавшись, что мне «похудшало», накормила меня из ложки обедом, я смог порадоваться своей победе — путешествию от кровати до окна.

### 3

Рыба была на плоту, на приплотках, рыбой были забиты засольные цеха, рыба лежала в проходах и служебных пристройках, качалась в кунгасах возле плота. Всюду — рыба, рыба...

Ее не успевали резать, солить, ее просто возили, перекачивали гидротранспортерами в холодильники и ворахами сваливали на лед.

Работали дети, старики, инвалиды — все, кто мог двигаться, что-то делать. Но рыбы не убавлялось. С двух заездов — главного и соседнего, колхозного, — ее везли днем и ночью, будто и не ловили вовсе, а вычерпывали из котла непомерных размеров. Кто-то сказал: «У морского хозяина прорвался мешок». Нет, прорвалось, пожалуй, само море, потому что даже шивхи не помнят такой рыбы. На плоту дежурил сам директор — принимал, браковал рыбу, устанавливал, какую и когда обрабатывать, ругался, кричал; ссорились, кричали бригадиры, стучали вагонетки, клокотали водой и рыбой гид-

ротранспортеры — и весь плот дрожал, грохотал от напряжения.

Я пошел искать Русакова: он и здесь был нашим начальником — бондари подчинялись ему. На плоту его не обнаружил, в засольных цехах — тоже. Нашелся Русаков во втором холодильнике. Громоздкий, неуклюжий — в валенках с галошами, в полушубке, на который был натянут брезентовый плащ, в зимней шапке, — он медленно двигался между деревянными отсеками, наполненными колотым льдом, показывал рабочим, сколько и куда загружать рыбы. Русаков, наш бондарный батя, заведовал теперь вторым холодильником.

Он обрадовался мне, потрогал, потолкал, словно пробуя, надежно ли стою на ногах, спросил:

— Хочешь ко мне в помощники?

Оглядел меня, огорчился.

— Нет, ты тут околеешь: одежка-слабая.

Подумал, ведя взглядом вдоль отсеков, забитых рыбой, остановил глаза на далеком светлом выходе к воде.

— Знаешь, — сказал, снова слегка толкнув меня, — иди в икрянку, будешь бочата закрывать. Как раз подойдет пока. Там Комлев, подмени.

— Комлев?

— Скажи, я приказал.

Меня передернуло: опять Комлев? И почему я все время натыкаюсь на него? Прямо-таки судьба. Будь в икрянке Скобцов, еще кто-нибудь из бондарей — я бы спокойно пошел, сказал, подменил.

— Иди, иди, — уже грубовато подтолкнул Русаков. Ему было некогда, его окружили рабочие, мое дело он считал решенным, и мне надо было уходить, чтобы не отягощать начальника лишней заботой.

Я вышел из холодильника, двинулся вдоль длинного коридора; катились вагонетки с рыбой, сверху, из гидрожелобов, сочилась вода — там тоже густо текла рыба; коридор упирался в текучую беспокойную ширь лимона, и по ней, как по экрану кино, проплывали катера, кунгасы. А если чуть поднять голову, можно увидеть тоненькую полоску сахалинского берега, и выше, будто графенные облака — снежные горы.

Давно я не видел сахалинские горы: весь июнь они прятались в тумане. После болел. Казалось, что с них

уже сошел снег и они стали черными, очень черными. Почему — не знаю. Так мне виделись горы, которые были зимой небесно-белыми. И вот они снова — над лиманом, над беспокойной водой, суетой катеров, грохотом рыбозавода — те же, нетронутые, чистые.

Постоял, глядя за лиман. Подумалось: в жизни всегда есть что-то выше, важнее того, что делаешь. Оно не очень понятно, но есть в душе, в сознании. Надо только не забывать о нем, прислушиваться к нему — и тогда простая, каждодневная жизнь будет меньше тебя утомлять.

Почти успокоившись, пошел в икрынку.

Здесь было опрятно, непохоже на все другие цеха. Женщины в белых халатах — от этого меня слегка покорило — протирали икру сквозь веревочные сита, промывали, опускали в тузлук. Мастер, однорукий Сидоркин, проверял стеклянной пробиркой крепость засолки. Укладчицы парафинили бочонки, выстилали по дну и бокам пергаментной бумагой и до верха наполняли икрой. Бондарь Комлев, тоже в белом халате, почтительно приближался к бочонку, нежно вставлял дно и аккуратненькими, точными ударами молотка набивал обручи. Здесь была нежная работа, не то что на плоту, здесь как раз настоящее место тихому, аккуратному Комлеву.

Опять я начал терять уверенность, но Комлев увидел меня, крикнул негромко:

— С выздоровленцем!

Он попробовал улыбнуться — не получилось, смутился, потому что не мог скрыть своей неприязни ко мне. И почему он не переносит всех нас, фезеешников, а меня — особенно? Я вспомнил свои зимние стычки с Комлевым, почувствовал, что и сам до сих пор не люблю его, подошел, грубовато сказал:

— Русаков велел подменить вас.

— А?.. — удивился Комлев. — Подменить? Зачем? Я не болею...

— Сказал, что я здесь буду работать.

— А... — понял наконец Комлев. — Нам ясненько...

Он хотел еще что-то вымолвить, однако сдержался, вспомнив, наверное, что он — Комлев и всякое лишнее слово может сделать его непохожим на себя. Неторопливо снял халат, положил передо мной на верстак, со-

брал инструмент — молоток, наструг, набойку, — каждую вещь завернул в отдельную тряпицу и все вместе вложил в брезентовую сумку, где были еще отделения для завтрака, записной книжки и газеты. Подозвал Сидоркина, пожал ему левую, единственную руку.

— Прием-сдача, — сказал, кивнув на меня.

Сидоркин, вывернув вескую кисть, поймал мою ладонь, потискал, прижимая меня к верстаку.

— Молодым везде у нас дорога... — пропел шипло.

Комлев открыл дверь, оглянулся.

— Желаю удачи! — и исчез.

Подойдя к верстаку, я понял: работать мне нечем. Свой инструмент Комлев унес, никто другой обо мне не позаботился. Конечно, Комлев мог бы оставить набойку и молоток до вечера, и Русаков, посылая меня, решил, видимо, что так мы и договоримся. Но «инструмент не жена — не могу уступить». Эту комлевскую заповедь я хорошо знал, и на сей раз он не нарушил ее. Просто Русаков в сутолоке недооценил Комлева, а меня болезнь до оупения измотала.

Подкатили сразу три бочонка.

Если бежать в бондарку, туда и обратно — не меньше сорока минут. За это время скопится шесть—восемь бочат, пока я провожусь с ними, мне подкатят еще столько же. Заларюсь, рассердятся икрянщики, и завтра придется Русакову искать для меня другую подходящую работу.

— Молодой! — крикнул Сидоркин. — Чего руки развесил? Может, лишние, отдай одну!

И тут я придумал: побегу к деду Ивану в котельную. Выскочил за дверь, перебежал плот, мимо тесных рядов бочек, ящиков, мешков протиснулся в дощатую будку котельной. Дед Иван закусывал —пил из бутылки молоко. Быстро рассказал ему о своей беде, помянул Комлева («броневика» Комлева дед презирал), попросил молоток, а вместо набойки — кусок железа. Дед Иван разрешил, молча указав на ящик с ключами, гайками, болтами, разным ломаным инструментом. Молоток я отыскал быстро — он был тяжеловат для маленьких бочек, однако и ему обрадовался. Куска железа для набойки никак не мог подобрать. Торопился, сердце отсчитывало секунды. Наконец попало старое, цветом расплющенное сверху долото. Задрожало от радости.

Сказав деду Ивану «большущее спасибо!», бросился назад, в икрянку.

Подкатили еще один бочонок. Теперь — четыре. Надел халат, начал работать. Сразу стало ясно: долото — не набойка, хоть и внешне походит на нее. С обруча соскальзывает, надо все время держать его косо, отбивает пальцы. Но выхода — никакого: или работать, или бросить и идти искать Комлева. От обиды, сознания, что во мне сидит еще, ноет в груди болезнь, глаза заплавили влажной мутью. Я повернулся к икрянщикам спиной и... разозлился. На всех сразу и на себя. Это была знакомая злость, она не раз меня выручала, от нее горячет голова, легко становится в теле, и тебе уже все равно, как ты выглядишь со стороны, болят ли отбитые пальцы или, может быть, тебе хочется пить; главное — работа, главное — сделать, не отстать, не задержать других, а там, когда кончатся силы, можешь лечь и умереть.

Я вставлял донья, осаживал обручи, обстукивал бочкам бока, валил их, тяжелые, похрупывающие, откатывал в сторону. «Обласкав» четвертый бочонок, увидел — женщины пододвинули следующий. Не поднимая головы, принялся за него. Скоро появился шестой, и только после седьмого я смог попить воды, привалился к верстаку передохнуть.

Подошел Сидоркин, сел верхом на закупоренный бочонок, попросил закурить: он из тех, кто свой табачок бережет. Отсыпал ему «на большую», Сидоркин ловко прижал клочок газеты к колену, свернул сигарку. Спичку зажег сам, одной рукой. Глядя на него, подумал: зря Сидоркина на фронт не взяли — своей левой он лучше управляется, чем иной кто-нибудь двумя. И рука у него мало похожа на человеческую — это скорее рычаг-шатун, тяжеленный, узловатый, непомерной силы. Рассказывают, на одной гулянке произошла драка — сцепились два мужика. Сидоркин изловчился, ухватил их за пиджаки, притиснул головами друг к другу и заставил поцеловаться.

— Вот, — сказал Сидоркин, — гляжу я на тебя, а ты бледный, и вроде улыбаешься, а глаза грустные, не улыбаются. Переживание какое, а?

— Нет, просто так...

Мне не хотелось говорить Сидоркину о болезни, ин-

струменте, чтобы он не стал жалеть. Но слова о грустных глазах понравились. Человек улыбается, а глаза — нет. Об этом можно стихи написать. Представил себе свои глаза, и мне в самом деле сделалось печально: такие глаза бывают только у поэтов, потому что поэты думают, страдают за всех...

Сидоркин вынул карманные, до меди протертые часы.

— Щас обед привезут, бери мои котелки, получи на двоих.

Я почему-то сразу почувствовал: Сидоркин обделит меня едой. Однако мирно взял его котелки, талоны, все еще помня о своих грустных глазах. Пошел на плот, занял очередь, получил два обеда. Одну пайку хлеба сунул в карман, чтобы Сидоркин не присвоил довесок, котелки с кашей и супом поставил ему на стол.

— Давай по-солдатски, как фронтовички, — предложил Сидоркин, — прямо из котелков, а?

Я достал из кармана потертую алюминиевую ложку, Сидоркин вынул из-за голенища сапога большую деревянную — некрашеную, пожалуй, сам и выстрогал. Пододвинулись к котелкам, взяли по ложке супа. Я обжегся, суп был прямо-таки огненный, — Сидоркин легко проглотил: дерево не обжигает. Еще по нескольку ложек — и я начал отставать. Сидоркин работал, глядя куда-то в окно, за которым грохотал плот, а дальше шумела, играла тусклым светом вода, — но ни разу не промахнулся ложкой.

— Знаешь, — сказал он, устав от задумчивости, — я люблю так: чтобы суп с кашей — ложку того, ложку другого. Привычка с детства. — И начал обрабатывать второй котелок.

Я опустил ложку, окончательно пав духом.

— Наелся? — спросил Сидоркин. — Ай, какой... Бледный, а мало кушаешь.

Теперь мне и вовсе было не поднять ложку, будто она стопудовой сделалась. «Ладно, — решил я, — хлеб остался, может, икрой угостит».

Сидоркин доел кашу, выскоблил котелок, попросил закурить. Свернул сигарку, икнув, задымил.

— Я тоже что-то ослаб, — проговорил он сонно, — за последнее время. До войны, веришь, буханку черного с борщом уедал.

Икра была в ситах, решетях, тазах, икра лежала на

оцинкованном столе. Мне бы всего граммов двести, и я легко перетерплю до вечера. Я неотрывно смотрю на икру, чтобы Сидоркин догадался, угостил, но он по-прежнему сонно рассказывал о том, как здорово зверюшки ели до войны.

Мне хотелось икры, я так обласкивал ее глазами, что одна из женщин, самая старая, глянув несколько раз на меня, поманила к себе пальцем.

Встал, послушно подошел.

— Икры хочешь? — спросила женщина.

— Да, немножко, у меня хлеб остался.

Женщина положила в свою чашку полный деревянный совок икры, накрыла бумагой, сунула мне в руки. Спокойно взяв, я ушел за штабель пустых бочек-икрянков, примостился в полутьме и медленно съел малосольную, тающую во рту икру, как позабытое сливочное масло, — граммов триста.

Сидоркин еще курил, жмурился, дремал.

Мне подкатили бочонок, я ударил по нему молотком. Сидоркин открыл глаза — я улыбнулся ему так, словно он мой любимый папа. Сидоркин тряхнул головой, полагая, что ему видится во сне моя радость, поднялся, пошарил в карманах.

— Закурить? — спросил я.

Сидоркин подозрительно присмотрелся ко мне, кашлянул и отвернулся. Подойдя к своему рабочему столу, он вдруг заорал на женщин — будто бы они долго обедали и из-за этого целую вагонетку икры придется пустить вторым сортом. Врал, конечно, Сидоркин. — просто у него настроение испортилось после короткой дремоты, и он теперь власть показывает. Однако женщины не очень напугались, молодые прыснули, повернулись к начальнику спинами, а самая старая и строгая сказала:

— Будет тебе пугать-то!

И начали делать каждый свое: женщины — протирать и солить икру, Сидоркин — замерять пробиркой тузлук, я — закупоривать бочки с икрой, в каждой по пятьдесят килограммов. Работа наладилась быстро, будто мы договорились после обеда «поднажать». Не стало слышно разговоров вроде: «Машк, куда задевала мой совок?» или: «Бондарь-лондарь, ты чего сердитый, как мужик с похмелья?» Икра въезжала к нам на вагонетках, проходила через руки женщин, осматрива-

лась, взвешивалась Сидоркиным, и я отталкивал ее от своего верстака в бочонках. Это напоминало хорошо налаженный конвейер. Внешне, конечно. Внутри каждый из нас понимал, чувствовал по-своему. Мне, например, казалось, что все мы подружились, стали понимать друг друга и потому так пошла наша работа.

Понемногу забываюсь, думаю о войне, атаках, бомбежках... Вот Иван Кожедуб летит на своем «Лавочкине», который подарил ему один пчеловод с Волги — купил на личные сбережения, — встречает сразу десять «фокке-вульфов», завязывает бой. Кружатся вокруг него фашисты, строчат из десяти пулеметов, но Кожедуб не сдается — так пилотирует своего «Лавочкина», что сбивает двух «фокке-вульфов», а другие разбегаются. Возвращается Иван Кожедуб на аэродром, его поздравляет генерал, вешает Золотую Звезду, приглашает обедать. Проголодался летчик-герой, ест суп, кашу. После ему подают в тарелке... икру. Пробует, удивляется: никогда не ел такой вкусной икры! Спрашивает, откуда привезли. «С Пуира, — отвечает генерал, — есть на Нижнем Амуре рыбозавод хороший. Между прочим, трудятся там по-фронтовому, даже фэзеошники...» — «Передайте им привет, — говорит Кожедуб, — а я еще крепче буду бить проклятых фашистов!» Еще ест икру, намазывает на белый хлеб с маслом: у них нормы нет, они воюют. Потом пьет чай с шоколадом. Потом садится в самолет и опять сбивает «юнкерсов», «фокке-вульфов».

Это просто замечательно — быть летчиком. Я бы тоже согласился: красиво, питание по первой категории — не то что в пехоте — и окопы не копать, и за танками в атаку не бегать. Сидишь в «Лавочкине», отыскиваешь фашистов...

— Дай-ка закурить!

Я поднял голову — передо мной стоял длинный Сидоркин, протянув большую ладонь (желтую, потрескавшуюся от высохшего на ней икрыного молока), и почему-то очень недовольно хмурился.

— Кричу тебе — не слышишь. Оглох, что ли? — строго удивился он.

Сидоркин не Иван Кожедуб, даже вообще не летчик. Он просто Сидоркин, и я его теперь не боюсь. Я размышлял о войне, сам разволновался, слегка презираю Сидоркина — тем более что неизвестно на каком «фрон-

те» он потерял правую руку, — и не даю ему закурить. У него я ничего не занимал, можно сказать, впервые так близко вижу, а он почему-то обирает меня. И вообще с будущего месяца вместо табака возьму сахар: мне поправляться нужно после болезни.

— Нету, — сказал я, хлопнув по карману, в котором лежала коробка с пол-осьмушкой махорки.

— Как? — поразился Сидоркин.

— Так — нету.

Сидоркин убрал рычаг-шатун, посмотрел в окно, где бледным светом перекачивалась вода, подумал о чем-то, сплющив сухие стариковские губы, и обиделся.

— А я думал — ты друг...

Он ушел к своему столу в таком расстройстве, что позабыл закурить свой табачок, и все сплющивал губы и задумчиво поглядывал в окно.

Мне стало жалко Сидоркина: большой, одорукий, испорченный военной обстановкой человек. Может, у него семья многочисленная? Может, он алкоголик? Не могу видеть обиженного человека — самочувствие портится, сам себя начинаю ненавидеть.

Припомнились слова Сидоркина о моих грустных глазах — уж это он точно определил... Отсыпал потихоньку в ладонь махорки, отнес ему.

— Вот, наскреб немного.

— Другое дело, — спокойно принял Сидоркин, — друг всегда найдет.

На круглых корабельных часах, похожих на барометр, — по ним мастер Сидоркин солил икру — было без пятнадцати шесть. Ровно в шесть — смена. Сменяются рабочие на плоту, женщины-икрянщицы. Сидоркин. Меня должен сменить бондарь Кочеточкин. Хотя бы не опоздал старик. Мне хотелось отыскать Валу, вместе пойти домой.

Без пяти минут шесть в дверях икрянки появился худой медлительный человек Кочеточкин. Он, конечно, уже успел зайти к Русакову (древняя привычка — общаться перед работой с начальством), узнал, что здесь тружусь я, и теперь без удивления смотрел на меня. Это даже лучше — скорее смоюсь. Сунув под верстак свой инструмент — молоток и долото, — я пожал длинную, интеллигентную ладонь старика Кочеточкина.

У меня было три минуты в запасе, когда я вышел

на плот. Теперь надо быстро пройти вдоль гидротранспортера: где-то на нем работала Валя. Желоба протяжно извивались вдоль засольных цехов вплоть до холодильников, сочились водой, по ним густо двигалась рыба. На помостках стояли девчонки и пожилые, непригодные к трудной работе женщины, деревянными гребками проталкивали рыбу, если она застревала. А она, конечно, застревала: нагружали желоба с верхом, лишь бы очистить плот. За смену и здесь, на легкой работе, можно до потери чувства «натолкаться».

Валя стояла на последнем перегоне, ближе ко второму холодильнику. Чуть подальше — Майка Цюпа и Тонька. Вдоль желобов, перекликаясь, стуча сапогами, пробирались сменщицы, становились на свои места, брали гребки. Валя вручила свой гребок маленькой старушке, с головы до ног укутанной в самые разные мужские одежды (ночь-то будет стылая!), пошла к девчонкам. Я окликнул ее.

— Привет! — сказала Валя.

— И тебе!

Ладонь у нее была холодная, влажная от воды, и я почувствовал, как сухо пылает моя ладонь, исцарапанная, побитая о торцы бочек и обручи. Валя задержала мою руку, глянула на мои пальцы.

— Так покалечился? Позабыл, как работать, что ли?

— Нет, инструмента не было. Долотом...

— Долотом?

— Ну да, Комлев не оставил, бежать далеко.

Валя погладила мою ладонь.

— Ладно, — сказал я, — еще заплачу.

Возле холодильника нас догнали Майка Цюпа и Тонька, очень вежливо поздоровались со мной и замолчали. Это было никак не похоже на них: раньше мне казалось, что они даже во сне болтают. Наверное, Майка и Тонька презирали меня: их ребята — Дергунов и Коневский — на заездке, на большой, опасной, почти моряцкой работе, а я с помоста упал, болел, теперь на старииковское место устроился.

Подумав так, я решил не говорить им спасибо за то, что они по ночам у моей кровати в больнице дежурили. Раз презирают — нечего к ним подлизываться.

Мы шли и молчали, и у меня с каждым шагом портилось настроение, словно я вытряхивал из себя тепло,

которое осталось во мне после работы. У самой проходной стоял Сидоркин, говорил с какой-то женщиной, положив ей руку на плечо. Когда мы поравнялись с ними, я услышал:

— Гляжу на тебя, а ты бледная, и вроде улыбаешься, а глаза грустные... Переживание какое, а?

Меня передернуло от этих слов, я втянул голову в плечи, будто резануло холодным ветром.

— Ты что? — спросила Валя.

Я отвернулся, промолчал.

— Сердитый, — сказала Тонька, и они с Майкой, обнявшись, ушли в сторону, к своим домам. Я решил, что девчонки завидуют Вале: мы вместе, а их ребята — на заездке. Сделалось немного легче, Валя тихонько толкнула меня: «Хватит дуться!»

— Пойдем ко мне, — вдруг выговорил я.

— Домой надо...

— Я же больной.

— Хитрый! Ладно, на пять минут.

В общежитии было пусто, тихо, чисто. На столе в литровой банке стояла охалка саранок: тетя Дуся украсила наш дом. Она изо всех сил старалась, чтобы не пахло у нас «заезжим двором». Занавески вышила, цветные коврики из тряпок смастерила, картинки довоенные «огоньковские» к стенкам приколотла. Особенно тетя Дуся старалась в последние дни, когда я из больницы вышел, а Дергунов и Коневский на заездок откочевали. Хотелось ей, чтобы я жил, как у своей мамы дома. Но все равно было пусто, тихо. Даже чисто. И я бродил допоздна по поселку, чтобы прийти и сразу забраться в постель.

— Садись, Валя, я сейчас...

Спрятавшись за печку, быстро передел брюки и рубашку, причесался.

Валя стояла у стола, трогала кончиками пальцев желтые и красивые лепестки саранок. Я положил ей руки на плечи, глянул в глаза. Она чуть отступила, будто испугалась: так горячи были мои руки, так загорелся я весь, прикоснувшись к ее плечам. Удивился: только что едва тащил свои ноги. Пробуя силу, прижал к себе Валу, она ойкнула, вырвалась.

— Что будем делать? — спросила Валя, уйдя за стол.

— Целоваться.

— Ну, это надоест.

— Давай попробуем?

— Догони!

— Так, — сказал я, разгадав Валин «злой умысел», пошел к двери, повернул в замке ключ, сунул его в карман. — Теперь на старт!

— Ой! — Валя метнулась влево, вправо, я расчетливо двинул навстречу ей стол, она перепрыгнула через кровать, бросилась к окну, от него к печке, я развернул стол, прикрыл угол, она сильно толкнула стол, литровая банка с саранками грохнулась на пол, взорвалась брызгами и цветами. — Ах! — замерла на мгновение Валя, и я поймал ее.

Я целовал ее, наверное, много-много раз, она хотела, конечно, вырваться и не могла, потом резко отклонила голову, и я увидел ее влажные, непомерной величины глаза, четкие, словно прожегшие кожу конопутки, открытые, вздрагивающие губы. Да, конечно, я ее целовал... Но можно было подумать совсем другое: вот только сейчас ее кто-то до смерти перепугал. Я осторожно повел взглядом от окна к окну. В них стоял пустой, блеклый пуирский свет.

— Ты что? — спросил я слабым, одышливым голосом.

Валя не услышала.

— Сядем, — сказала она.

Мы сели: Валя — на кровать, я — на табуретку. Валя минуту смотрела на меня, как бы стараясь припомнить, кто я такой, затем медленно протянула руки к моей голове, наклонила ее и положила себе на колени.

— Зачем ты так... — услышал я сверху. — Тебе нельзя, ты больной. Нельзя так волноваться... Ты сразу какой-то ненормальный сделался, бледный... Ты так больше не будешь, ладно? Ну скажи, я прошу...

Я молчал, боялся что-нибудь сказать: вдруг обрвется голос или получится тихо, жалобно. Я чувствовал щекой круглое, крепкое Валино колено и от этого казался себе совсем легким, хилым. Но сердце билось сильно, обжигало меня кровью, я не хотел, чтобы меня жалела Валя, кусал себе губы — только бы не расплакаться! — и молчал.

— Ну скажи, прошу.

Валя растопыренными пальцами провела по моим волосам, сжала пальцы, чуть тряхнула голову.

И я сказал, а может быть, показалось, что сказал:

— Люблю...

Услыхала ли Валя?

4

Несколько ночей подряд с плота увозили протухшую рыбу и где-то в море сбрасывали с кунгасов. На плоту трудно дышать, чудилось, и свежая, только что привезенная от заездка рыба пропитана тухлыми запахами. Плот поливали водой из шланга, будто тушили пожар, однако воздух не становился чище, и я старался реже выходить из икрынки. Стучал по бочкам, курил, говорил с Сидоркиным, но когда очень уж надоедало все это, шел на плот, сразу к воде — смотреть катера, свежую рыбу, дышать морским ветром.

Сегодня с заездка должен приехать Колька Дергунов. Мы не виделись больше двух недель. Надо встретить его, посмотреть, каким он стал в море, и я, закупорив очередные пять бочат, в третий раз вышел на воздух.

Весь плот был завален свежей рыбой. Тухлой осталось уже немного, ее отгородили досками — полежит до ночи, а там погрузят и вывезут в море.

Я сбежал на приплоток — здесь острее ощущался ветер, — сел на самый край, свесив ноги. Внизу терлись друг о друга мокрые, облепленные чешуей кунгасы, сипел кухонным паром катер. Вода, как бы тоже блестя рыбьей чешуей, выстилалась от приплотка к сахалинскому берегу и налево — к морю. Глаголь заездка едва виднелась в свете и блеске, сваи, помост, дом на помосте, казалось, висели над водой — их срезало, колыхало марево.

День был хороший, редкий по своей непуирской нежности. Хотелось глотать и глотать воздух, впитывать тепло, ощущая мурашки на спине, — это выходил из тела зимний холод — тихо подремывать и радоваться. Но было тревожно, как-то неловко, будто сделал ты что-то не так и теперь тебе стыдно. «Это от запаха, — думал я, — оттого, что рыбу в море выбрасывают. Почему ее ночью возят?»

От глаголи отделился катер с двумя кунгасами и,

тоже не касаясь воды, поплыл к берегу. Марево переливалось сверху и снизу, чудилось, катер с кунгасами попал в шторм, их швыряют невидимые волны.

Я решил подождать — может, Колька Дергунов придет этим рейсом, — привалился спиной к столбу, закрыл глаза: слепил огненный блеск воды.

Позади остановились несколько человек, заговорили. По голосу я узнал оперуполномоченного. Все дни теперь он дежурил на плоту — здесь у него был главный объект: помогал принимать рыбу, следил за общественным порядком, боролся с хищничеством; он же занимался вывозкой рыбы в море.

— Понятно вам, товарищ Кононенко? — четко спросил, словно скомандовал «опер».

— Понятно-то понятно. Да все ж таки можно по-другому поступить. Рыба хоть и порченная, а народ взял бы. Часть себе можно использовать, остальную — свиньям...

— Повторяю вам, товарищ Кононенко, и всем остальным товарищам. — «Опер» скрипнул португеей. — Представьте, отдадим народу рыбу — где он соль возьмет? Казенную потащит. Тут хоть стреляй — не уследишь. А соли в обрез. Под трибунал попадем.

— Предупредить народ...

— Вы мне сказки не рассказывайте. Нельзя, чтоб народ тащил. Не уследишь, все в ход пустят, хорошую рыбу тоже. Опять же соль. Без нее вонь по поселку пойдет, мухота. Эпидемию разведем!

— Народу есть надо.

— Повторяю, товарищ Кононенко: это демагогия. Народ имеет необходимое, перетерпит. Народ понимает — все для фронта, для победы. Там люди погибают, а мы тут о желудке разговор ведем... Все у меня, товарищи!

Оперуполномоченный ушел, строго стуча каблуками новеньких кирзовых сапог. Кононенко и другие товарищи поговорили еще немного о тухлой рыбе, о неправильном, самовольном поведении «опера», погрозились обратиться к директору и тоже ушли.

Катер с двумя кунгасами был уже близко, его не трепало марево, он тупо бороздил воду, и лишь дрожал, плескался огоньком на мачте флажок.

В кунгасах — свежая, живая рыба. Видно, как они тяжело огрузли, увязли по самые отвальные брусья. Над

кунгасами мечутся чайки, скандально кричат, будто это у них отняли улов. Значит, путина в полной силе, рыбы будет еще много. А с плота не вывезли тухлую... Нужно скорее утопить ее в море, вместе с вонью, чтобы позабыть о ней, освободиться от неловкости и тревоги: столько рыбы, подумать страшно!

Может быть, и вправду раздать ее людям? Пусть берут, кому захочется. Я, допустим, ни одной штуки не возьму, меня издали тошнит от запаха. Уступлю Кононенко свой пай: он свиной выкармливает, а тухлая рыба, говорят, для них лучшее — после мяса меньше отдает рыбьим жиром. Кононенко знает в этом толк, каждую зиму свиной торгует. И другие некоторые не теряются. Раздал бы им «опер» тухлятину — все равно натааскают домой рыбы, выкормят свиной.

Катер приближался к плоту, я увидел на втором кунгасе Кольку Дергунова. Он правил рулем, следя за ходом катера, но тяжелый кунгас, как пойманную рыбину, заносило то вправо, то влево, вдавливало носом в буруны.

Я помахал кепкой Дергунову. Он не отозвался. Или не заметил, или задается. Неужели научился задаваться?

Бросив буксир, катер ушел в сторону, кунгасы сбавили ход и, подняв носы, медленно прибились к плоту. Дергунов выпрыгнул с концом в руках, накинул петлю на деревянную тумбу-кнехт. Увидев меня, чуть насутился — наверное, показывая свою моряцкую суровость, — но сразу рассмеялся: понял, что нехорошо вышаваться перед более слабым товарищем, да я и не поверю, будто он уже не просто Колька Дергунов по прозвищу Лось.

И все-таки руку стиснул железно, подержал, чтобы как следует занемели мои пальцы — знай наших, с заездка! — потом оказал:

— Как дела?

— Сам видишь — рыба тухнет.

— Работать крепче надо.

— Стараемся. Днем и ночью...

— Да, тыл у нас слабоват. — Колька свел брови, горько скривил губы, вынул из кармана кисет — новенький, плюшевый, с вышивкой: «Коле на долгую вечную память», — протянул мне. — Подводите, братцы. А так бы три плана отгрохали.

— Брось задаваться! — Я толкнул его кулаком в живот. Он отпрыгнул, перегнулся, делая вид, что получил сильный удар ниже солнечного сплетения.

— Ничего! — похвалил. — А я думал, ты ослаб после болезни. Здоров, как сивуч... У нас сивуч во двор влез, сети порвал, едва пристрелили из берданки... Он тебе сивуч, привет передал — на, держи! — Колька полез глубоко за пазуху, вынул что-то завернутое в газету.

— Через газету привет?

— Нет, вещественно: кусок своего мяса прислал.

Газета была в свежих пятнах жира, я чувствовал пальцами упругую, сочную мякоть сивучьего мяса — пахло надежной, крепкой едой.

— Спасибо, Лось.

— Это от меня и Коневского. А это от твоей мамы — тетки Козловой. — Он вынул из-за голенища сапога продолговатый пласт копченого кетового брюшка.

— Вот еще!

— Бери. Пусть жалеет. Позабыть не может, как ты в воду свалился. Пусть. Надо же ей кого-то жалеть.

— Ладно.

— И вообще, ты больше жира ешь: легкие у тебя слабые.

Мы отошли в сторону (с кунгасов начали выгружать рыбу, она шлепалась о доски плотa, выбивала брызги), устроились на пустом ящике у самой воды — здесь чище был воздух, — помолчали минуту. Это тоже надо — помолчать. Когда встретил друга, когда тебе хорошо с ним — не торопись говорить, береги дружбу от лишних слов.

Я смотрел на Дергунова сбоку, лицо его резко выделось, подсвеченное водой, казалось очень смуглым, огрубевшим. У глаз собрались морщинки, и щурился он, как рыбак, полжизни пробывший на морском ветру. Понятно, это от бликов на воде так резко видится лицо Дергунова, но все-таки он сильно переменялся: море, о котором он всегда мечтал, хорошо, по-доброму встретило его. Признало, выветрило из него земную вялость, бледную кожу на лице и руках заменило коричневой, прочной. Мне сделалось немножко обидно: море вытолкнуло меня, будто сразу почувствовало, что я не тот, кто ему пужен, не так пришел, что мое место на всю жизнь — твердая земля.

Подумалось о зиме, бондарке. Мы все были бледнолицыми, одинаковыми (это, наверное, от дерева, стружек, едкой древесной пыли) и работали вместе, хоть и по-разному. Дергунов едва тянулся за мной, зато сейчас словно наверстывает — каждую минуту живет морем, работой.

— Лось, ты вспоминаешь бочки? — спросил я.

— Ага. Все-таки привыкли мы здорово. Как услышу запах свежего дерева — заноев в душе.

— У меня тоже. Вроде и не любим эту работу...

— К дереву человек легко привыкает. Говорят, к железу и то привыкают.

— Поработаем еще.

— Может. Если в армию не заберут.

— В армию тоже охота.

— Нет, мне бы во флот.

Дергунов знает, куда ему надо, на нем тельняшка будет сидеть, как на матросе с плаката: «Смерть немецким оккупантам!» А мне нельзя, особенно теперь, после болезни. Хоть бы в пехоту попасть, в обоз, в тыловые части. Подкрепиться немного, спортом позаниматься, потом — на фронт. Там главное — смелость, находчивость. Физической силы немного потребуется: автомат подниму. Еще увидим, кто отличится. Александр Матросов, рассказывают, маленького роста был, худой. Детдомовец. И сам я видел на портрете: шейка тоненькая, гимнастерка с плеч мешком свисает. Главное — боевой дух, а не мускулы. Медведь тоже сильный, однако на амбразуру не пойдет.

— Про что думаешь? — спросил Дергунов.

— Так. Про войну.

— А я про рыбу. Аж голова заболела от вони. Столько погибло едь. Сезонников обещали, соли тоже — и нету. Кто-то в городе Николаевске вредит, трудности создает, чтобы фронт ослабить. Я бы ему своими руками глотку перервал.

Он не ответил, глядя туда же, за рыбные вороха, в сумерки крытого плота. Я повернулся и увидел: к нам шла Майка Цюпа. Колька уже улыбался ей, позабыв обо мне, и одна рука у него быстро застегивала пуговицы на клеенчатой, желтой, красивой куртке. Майка знала, конечно, что Дергунов приедет, — записочку наверняка получила, — и теперь шла на свидание.

Надо уходить — в одну минуту я сделался лишним, — хоть и хотелось еще поговорить, побыть с Лосем, чтобы он и самую малость не сердился на меня. Но Майка приближалась, а Лось в душе все дальше удалялся от меня, и наверное, позабыл мое имя.

— Ну, я пойду, пока, — сказал я ему в самое ухо.

— Бывай, — ответил Дергунов, слепо сунув мне руку.

Майка была в платье, волосы подвязаны красным платочком (комбинезон сняла для такого случая, не позабыла чуть-чуть подкрасить губы), и сияла глазами, словно ей красивую игрушку издали показывали. Она была даже красивая сейчас; никогда раньше не поверил бы, что она может стать такой. Правда, я и не смотрел на нее как следует.

Майка не увидела меня или не захотела увидеть, Дергунов взял ее за руку, они пошли в конец приплетка, где было меньше суеты и людей, чище воздух, ярче светила вода.

Глянув им вслед, я сказал себе. «Валя все равно лучше, Майка Цюпа до нее, как... как немцам теперь до Москвы», — быстро придумал я, и мне понравилось это, веселее стало. Валя лучше, но я никогда не повернусь к другу спиной, чтобы видеть только ее. Друг дороже любой самой красивой девчонки — пусть она киноактриса или отважный снайпер, убившая двести фашистов. Это понимать надо, если ты мужчина. И Колька Дергунов поймет скоро. Поймет, и еще стыдно будет, прощения попросит. А пока я не сержусь: первая девчонка у него, и люблю я Лосю больше всех девчонок на свете.

Когда я подходил к икрянке, на солнце навалилась бродячая туча, вода потемнела, стало видно, что она не зеленая — коричневатая, наполовину амурская; плот, кунгасы, катера, переставшая парить в воздухе глаголь заездка — все обозначилось черно, тяжело, каменно прочно. Усилился, будто отяжелел, грохот вагонеток, гуще зашумела вода в желобах; засквозило холодом по низкой, широкой воде от сахалинского берега, от снежных гор. И как-то стало по-особенному понятно: главное — война, главное — работа. А всякие чувства, всякие споры надо оставить для грядущей жизни: она будет такая мирная, такая сытая, что, пожалуй, и дела-то в ней трудного не найдешь.

У моего верстака стояло четыре бочонка с икрой.

Принялся заколачивать их. Теперь меня не пугало и большее количество, я приловчился к делу, инструмент был свой, надежный. Сидоркин строго посмотрел в мою сторону, однако промолчал; у нас наладились хорошие отношения: обедаем отдельно, икру я добываю у жепщин, курим каждый свой табачок, и на меня не действует то, что я бледный и у меня прустные глаза. Мы просто молча уважаем друг друга: оба трудимся из всех возможных сил, как и полагается мужчинам-тыловикам.

Женщины тоже умеют работать молча, но все-таки иногда говорят. Они — женщины, им тяжко весь день молчать. Говорят о мужьях, погибших и живых, о ребяташках, о картошке, которую туманы «съели» — некогда было ее обиходить: рыба замучила. И опять о войне, мужьях.

Вот повысила голос Кондратьевна, самая пожилая — та, которая икрой меня угощает; она за старшую у них, и слушаются они ее охотно.

— Замолчи, Клашка, — сказала Кондратьевна, — и чего это ты разохалась. Послушать тебя — хоть в воду прыгай.

Клашка молодая, болтливая и суетная бабенка. За неделю до начала войны она развелась с мужем, но считает себя солдаткой, шлет письма бывшему мужу на фронт, помирилась с ним, и когда получает от него солдатские треугольники без марок, раскрывает при всех и вслух зачитывает самые нежные места. Например: «Клашенька, береги себя, родненькая, у нас с тобой вся жизнь еще впереди, веди себя строго, как полагается жене воина-фронтовика, тони от себя укывшихся за бабьи подолы от Великой Отечественной войны. Если кто из них тебя обидит, сообщи мне, я запомню и по приезде поговорю с ним на коротком фронтовом языке». Или про любовь: «Любимая моя женщина Клашенька. Теперь, под огнем ненавистного врага, я понял, как не могу без тебя жить, дышать, существовать. Вижу тебя в своих солдатских снах, обнимаю, целую всю и плачу... Хочу от тебя ребеночка...» Дальше я обычно не слушаю, нервы не выдерживают и стыдно становится. Изо всей мочи стучу молотком, чтобы заглушить Клашкин голос. И зачем она читает вслух эти нежности? Это надо читать наедине с собой, шепотом, чтобы даже из-за спины никто не подглядел. Раз я так разозлился

на Клашку, что хотел написать ее мужу письмо и рассказать про эти ее чтения и особенно про ее поведение: она всю заигрывает с «броневиками», между собой бабы называют ее «простигосподи», она придумала себе отговорку: «Хочешь жить — умей вертеться».

Сегодня у Клашки не было письма, и она несколько раз принималась рассказывать, как в третьем засольном беге упала с лестницы женщина. Стояла над чаном — и упала. Увезли ее в больницу, оказалось: усталость и истощение. А у женщины ребятишек пятеро, муж погиб. Клашка, конечно, бегала смотреть, описывала лицо женщины, разбитую голову, не забывала прибавить, что другая женщина, тоже слабая, потеряла сознание от этого. Клашка судачила бы без конца, она никогда не уставала болтать, но Кондратьевна прикрикнула:

— Замолчи, Клашка!

Я не любил Клашку и побаивался ее: очень она нахальная и грубая. Подойдет незаметно, ущипнет за ухо или за нос и хохочет, разглядывая с ног до головы. Стыдно делается, будто тебя женщинами в голом виде показали, и хочется стукнуть Клашку молотком по глупой голове. Замахнулся раз, она отскочила и теперь пока не пристаёт. Ничего я не могу простить Клашке, особенно кражу икры. Все понемногу берут, а на нее противно смотреть: спрячется за бочку, поднимет подол и сунет под резинку не меньше полкило икры — плоско, хитро завернутую в пергаментную бумагу.

Наслушавшись бабьих пересудов, каждый раз после смены бегу на гидротранспортер к Вале, и мы вместе идем домой. Говорим или молчим, долго бредем по поселку, потом я провожаю Валу, еще полчаса стоим возле ее дома. Когда возвращаюсь к себе в общежитие, то уже ни на кого не злюсь, в душе у меня чисто, словно там прошел теплый дождик, й я понимаю: надо быть очень терпимым, очень прощающим, чтобы научиться любить жизнь.

Сдав мастеру Кочеточкину верстак за пять минут до конца смены, я и сегодня пошел к Вале, подождал, пока на ее место станет сменщица. Валя вынула зеркальце, отерла ладошкой лицо, пригладила волосы. Мы сбежали по трапу вниз, пошли к проходной.

У самой двери собралась толпа, слышался промкий говор, оперуполномоченный составлял акт. Обычная ис-

тория: у кого-то отняли рыбу. А вот и виновник — рябенький мужичок с руками, оттопыренными в стороны, как у деревянной фигурки, — у ног его лежит большущий лосось-самец. Брезентовая куртка, телогрейка, пиджак у мужичка расстегнуты, рубашка вытащена из брюк. Нес рыбу на животе, однако не рассчитал: для его комплекции великоватой штука оказалась, нащупали.

— Мы это вам не позабудем! — кричала такая же маленькая женщина, наверное, жена мужичка. — В Москву напишем, лично товарищу Сталину. Сколько рыбы вредительски погубили, а рабочему человеку на еду жалко!

Пробились через проходную, вышли на простор, где слева, по всему взгорью, весело теснились дома, справа — убегал к открытому морю, теряясь среди вод и небес, берег лимана. Остались позади прохот и шум плота, голоса людей, запахи сырой кеты, соли, мокрого железа, дерева. Будто мы тоже большие, усталые, но еще живые рыбины, и вырвались из мутной воды в чистую, звонко-голубую.

— Пойдем на мыс! — сказал я Вале.

— Пойдем. Только я забегу переоденусь.

— Ладно. Буду тебя ждать. Там, — я показал рукой в небо, где на белом кучевом облаке был четко вырисован черный и зеленый мыс Пуир.

— Хорошо, там!

Я тоже переоделся, вышел, глянул на крутой бок мыса, вздымавшийся прямо у нашего общежития и, цепляясь за кусты, пни, выступы камней, быстро полез вверх. Решил взобраться на мыс без передышки — до болезни я это умел, — чтобы почувствовать себя прежним, чтобы выгнать из себя усталость, которая даже ночью, во сне томила меня. И взобрался. Но первую минуту стоял ничего не видя от черноты в глазах, задыхался, словно здесь совсем не было воздуха. После тихо пошел к обрыву, глядя на широченную буйную воду лимана и дальше — на сахалинский берег с призрачными, стеклянно-чистыми конусами гор.

Пуир — нивхское название, означает оно — крутой мыс, однако пуиряне звали его по своему — мыс Любви. Кто, когда окрестил так каменистую сопку, издали похожую на голову припавшего к воде медведя, связано

ли это с легендой или случаем — никто не помнил. Странно и то, что здесь, на мысе Любви, было поселковое кладбище.

Любовь, смерть, дальние дали вокруг мыса... И эти сахалинские горы — всегда чистые, всегда высокие. Глянешь на них — и обязательно подумается: мы все когда-нибудь умрем. А горы все так же чисто-будут сиять снегами... И очищаешься от суеты, жадности, от своей и чужой недоброты, и хочется сочинить хорошие стихи, которые, как горы, напоминали бы людям о небесной чистоте, о смерти.

Сел на теплый камень, упер локти в колени, опустил голову на ладони. Смотрел на острое мерцание воды, и чудилось, она течет куда-то со скоростью света; грустил, думал, перебирая слова, рифмы. Сидел долго, пока не онемели колени и руки, поднялся и целую минуту не мог понять, почему я здесь, зачем сюда пришел.

Солнце опускалось в Охотское море, окровавило небо в той стороне, окровавило воду. Было жутко смотреть на море крови, которая темнела по краям, будто запеклась, и красные, тревожные отсветы окрасили тайгу, дальние берега, каменные мысы.

Вали не было.

Я пошел через кладбище, кресты тянули ко мне деревянные руки, казалось, чуть-чуть покачивались, приплясывали.

Валю увидел у поселка на тропинке, она шла к мысу, торопилась. Спрятался за куст и, когда Валя поравнялась с кустом, поднялся ей навстречу.

— Стой, несчастная!

— Ай, — отпрыгнула с тропинки Валя.

— Отвечай, где так долго пропадала?

— Это ты?..

— Молись, Дездемона!

— Прости, Отелло!

Валя обхватила руками мою шею, поджала ноги. Я удержал ее, поднял и пронес несколько шагов. Опустил на тропинку, взял под руку. Мне опять не хватало воздуха, словно я еще раз взобрался на мыс Любви, но теперь не знал, отчего это: от усталости или волнения.

Мы тихо пошли к посейку, Валя прижималась ко мне — ей было зябко в ситцевом платье, — и я чув-

ствовал ее так, будто она была частью самого меня — прохладной, здоровой, спокойной и очень-очень красивой.

— Ты не спрашиваешь, почему я опоздала? — спросила Валя.

— Верю, не могла.

— Не могла. Прихожу — отец дома. Всегда позже приходил, а тут — дома. Ужин ему разогрела. Потом соседка заскочила: в магазине кофточка вязаные по купонам дают. Побежала: так хочется хоть одну... Час протолкалась в очереди — не досталась. Стою и реву как дура. А тут Тонька выбирается из очереди, пыхтит, распарилась, в руках две кофточки. На, говорит, чего ревешь. Схватила кофточку, глазам не верю, сунула Тоньке купоны, расцеловала ее толстые щеки и — домой. Примерила...

— Вот если бы не примеряла, я бы тебе простил.

— Ладно, ты всегда сердитый!

Кровь на Охотском море почернела, траурная чернота легла на тайгу, бескрайние берега, мысы — это было напоминанием о войне, каким-то новым прустным предчувствием. Я крепче прижал к себе Валину руку, мы остановились возле ее барака — в окнах уже зажигали свет, — я сказал:

— Устал сегодня очень. Не знаю почему. Сейчас пойду домой. Но сначала прочту тебе стихотворение. Сочинил, пока ждал. Прочту, чтобы не позабыть. Слушай:

В мире огромном,  
Злом и прекрасном  
Надо быть скромным,  
Надо быть ясным.  
В мире окрестном,  
Светлом и мгlistом,  
Надо быть честным,  
Надо быть чистым,  
А если не так,  
Если иначе —  
Не будет мира,  
Любви,  
Удачи!

Валя молчала. Я долго ждал, боялся, что она ничего не скажет. Она еле слышно выговорила:

— Мне нравится, очень.

Он пришел с моря, остановился против Пуира, на фарватере, бросил якоря. Он пришел ночью, а утром пулярыне увидели его от своих домов, с горы — серо-голубой, длинный, тяжело увязший в воду военный корабль. Струился на мачте вымпел, башни тускло отсвечивали, как крутые лбы, орудия были зачехлены, и все равно грозно смётрели куда-то вдоль сахалинского берега, в Татарский пролив.

Я шел к рыбозаводу, смотрел на корабль, военный, настоящий, — мне лишь в кино приходилось видеть такие корабли, — на нем суетились, бегали матросы. Вот они собрались на баке, под стволами главного калибра, выстроились. Перед ними остановился офицер в черном кителе. Вот матросы снова разбежались по палубе, принялись спускать на воду шлюпки. Одна, вторая, третья... Мне даже казалось, что я слышу, как они шлепаются днищами о воду. Матросы взяли за весла, разом подняли их, будто у каждой шлюпки выросли перепончатые крылья, и шлюпки, выстроившись в длинный ряд, двинулись к Пуиру.

Это напоминало десант, только не гремели пушки и не курилась дымовая завеса. Но чувствовалась тревога, почти настоящая, военная. Я заторопился, чтобы попасть на плот до подхода шлюпок, еще немного посмотреть моряков на воде.

Со всех сторон к проходной шли люди, переговаривались, громко приветствовали друг друга. Были среди них рабочие из ночных смен, хоть и полагалось им сейчас отдыхать. Орали, сбегались к проходной мальчишки, их там не пропускали, они лезли на заборы, и оперуполномоченный во всю силу дул в свисток. В шумной, тревожной толпе слышалось:

- Морячки пожаловали.
- Наконец-то!
- Берегись, бабы...
- А чего нам беречься-то: мы не фрицы!
- Ой, Нютка, уморила!
- Теперь работаем.
- Еще бы, с такой свежей силой!
- А морды у них! Издали видно — самоварные!
- Это я понимаю...

— Одним словом — боевой флот!

Протолкавшись через проходную, я побежал к пристани и лишь сейчас подумал, что моряки приехали помочь рыбозаводу, вместо сезонников, которых так и не прислал город Николаевск (не хватило их для Пуира, что ли?). Еще вчера я слышал о военном корабле, а увидел — и сразу забыл, почему он здесь очутился. Он пришел, как из кинофильма, и не был похож ни на что вокруг; наш лучший директорский катер по сравнению с ним казался грязной плавучей кочегаркой. И жизнь, конечно, на нем необыкновенная — праздничная, красивая, с хорошей пищей и чистой одеждой. Разве мог я подумать, что этот прекрасный корабль только затем и бросил якоря на пуирском рейде, чтобы помочь нам справиться с рыбой.

По всему плоту, на пристани толпились люди, и было непривычно тихо: замерли вагонетки и транспортеры, не гремели бочки и молотки, даже вода в желобах остановилась: перестала работать донка. Люди давно отвыкли от такой тишины — плот гремел днем и ночью, — говорили теперь ненужно громко, понимали это, однако никак не могли настроить свои голоса.

Особенно тесно, в несколько затвердевших рядов, пуиряне стояли у воды, но все-таки мне удалось протиснуться к самому краю плота; я примостился на обшарпанном деревянном кнехте, за которой цепляли кунгасы, и сразу увидел шлюпки с моряками. Их было десять, они приближались, как по команде, поднимая и опуская весла. Сейчас они еще больше напоминали огромных бабочек с легкими сверкающими крыльями. На передней шлюпке, спиной к берегу, раскачивался офицер, несильно, четко выкрикивая: «И-раз!.. И-раз!..» Он, наверное, и в самом деле командовал преблей. Шлюпки подвигались толчками, длинно вытянувшись, а позади них стоял, словно впаянный в ровную воду, весь в крутых лбах-башнях корабль. Его черный клюз строго хмурился в сторону берега.

Первая шлюпка прошла красный буй — границу порта, и директор рыбозавода, сдернув парусиновую фуражку, замахал ею над головой. Он был в черных суконных штанах, в светлом полотняном кителе с медными пуговицами, смахивал на моряка и держался по-моряцки: расставил для устойчивости ноги, будто под ним

качалась палуба. Зимой директор ходил в бурках, галлифе и гимнастерке, внешностью и строгостью напоминал генерала. Теперь ему вполне подходила морская форма. Он махал над головой фуражкой, махали его подчиненные: заместитель, главный бухгалтер, еще какое-то начальство, — и вдруг он повернулся к народу, раскинул руки, весело прокричал:

— Товарищи, друзья! Освободим местечко, подвижемся! Сейчас морячки будут высаживаться, так чтобы их не столкнуло обратно в море. Ну-ну, прошу!

Толпа медленно, переталкиваясь и уплотняясь, отодвинулась — освободила край пристани шириной в несколько досок; я усидел на своем кнехте, не обратив внимания на сердитый взгляд главного бухгалтера. Хоть он и главный, однако не большой начальник для меня. К тому же зимой Дергунов побил его сына Витьку: может, он злится на нас? Словом, я усидел, и мне хорошо был виден корабль, моряки в шлюпках.

Первая шлюпка летела прямо на сваи пристани, но в самый последний момент матросы по команде командира разом затабили, и она, развернувшись, плавно, даже как-то нежно примкнулась к пристани. Один матрос выпрыгнул, ему бросили конец, он поймал его, огляделся и побежал ко мне. Я сначала ничего не понял, матрос улыбнулся, кивнул на кнехт, я соскочил, он накинул на тумбу петлю.

Неловко получилось, смешно, и хорошо, что никто этого не заметил. Все смотрели на моряков и шлюпку.

Из нее неспешно выбрался офицер в черном кителе, белой мичманке, с кортиком на боку; на золотых погонах по две больших звезды. Офицер отдал честь всем людям, к нему заторопился директор, протянув руки. Они поздоровались, после обнялись и расцеловались, как родные.

Из шлюпки повыпрыгивали матросы — все десять, — принялись пожимать руки тем, кто поближе. А внизу к сваям пристани подошла другая шлюпка, к ней причаливала третья. Через несколько минут подплыли остальные. Пристань забелела, заголубела от матросских роб и тельняшек. Пуирыне отступили, дали больше места морякам, но все равно было тесно, потому что всем хотелось пожать руку флоту, улыбнуться, хлопнуть по плечу. Кое-кто уже познакомился, закуривал флотского

табачку. Смеялись, перешучивались женщины, особенно молодые, возле них кружились самые боевые матросы. Один, рыжий-рыжий, держал под ручку хохочущую бабенку.

Раздались крики: «Дорогу, дорогу!» — кто-то пробивался сквозь толпу. Наконец показались двое, несущие стол, накрытый красной материей; за ними следом несли стулья, графин с водой. Все чинно установили, отодвинули в сторону людей, и стало ясно: будет митинг.

За стол сели офицер, директор, заместитель, главный бухгалтер и другое начальство. Когда поутих шум, поднялся заместитель, сказал:

— Товарищи! Разрешите митинг, посвященный прибытию на рыбозавод Пуир доблестных моряков Советского флота, считать открытым! Слово для приветствия предоставляется...

Директор, не дожидаясь, когда назовут его, вскочил, сдернул с головы парусиновую фуражку, уперся обоими кулаками в стол и, сильно накрепившись вперед, начал говорить:

— Товарищи! На днях советские войска завершили освобождение территории СССР от немецко-фашистских захватчиков!

Главный бухгалтер захлопал бледными ладошками, все подхватили, устроили громкие аплодисменты.

— Войска 1-го Украинского фронта ликвидировали окруженную группировку противника в районе Львова, завершив первый этап Львовско-Сандомирской наступательной операции. В ходе успешно развивающегося наступления войска фронта нанесли крупное поражение немецкой группе армий «Северная Украина» и создали условия для дальнейших успешных наступательных действий. Войска 1-го Белорусского фронта освободили город Седлец, Радзымин, Отвоцк и завязали бои на подступах к предместью Варшавы. В Выборгском заливе советский катер-охотник потопил немецкую подводную лодку «У-250».

Бухгалтер опять захлопал, и на этот раз возникли прямо-таки бурные аплодисменты. Особенно отличились моряки: они так гремели ладонями, будто им некуда было девать силу. Пуирским мужикам и бабам понравилось их старание, подбавили жарку от себя: продемонстрировали крепость тыла. Директор слушал, улыбался,

наконец поднял обе руки, показывая, что сдается без боя.

Дальше он, уже нормальным голосом, осветил достижения рыбозавода, сколько и чего сдали в фонд обороны, поставил задачи на ближайшее время: в сроки и только с высоким качеством обработать продукцию, до окончания осенней путины рапортовать лично товарищу Сталину о выполнении двух годовых планов.

Еще раз хлопали. В заключение директор поздравил моряков с прибытием на трудовой фронт, заранее выразил им благодарность от рабочих и служащих рыбозавода, обнял и расцеловал офицера в обе щеки.

Поднялся заместитель, громко, перекрывая шум, сказал:

— Слово предоставляется товарищу капитану второго ранга!

Офицер как-то немного смутился, не очень ловко встал, помолчал, глядя в море на свой корабль, и заговорил совсем тихо, не по-военному. А вообще он был красивый: с маленькими четкими баками, широким подбородком, глаза шурил, словно цель выискивал. Черный китель, золотые погоны, кортик и брюки клеш — все ему так шло, было таким боевым, что у меня кожа гусиной делалась, если я долго на него смотрел. Офицер говорил мало и, наверное, что-нибудь интересное, потому что мужик, стоявший рядом со мной, сказал: «Р-режь налево и направо!» Я тоже хотел прислушаться к словам офицера, но грохнули аплодисменты, и офицер, снова смутившись, торопливо уселся на стул.

После выступления представительницы комсомола (выступала Тонька, заглядывая в блокнотик и заикаясь) и представителя старейших рабочих рыбозавода (выступал засольный мастер, проработавший на Пуире тридцать лет) заместитель директора объявил митинг дружбы законченным.

Еще несколько минут происходила неразбериха: неуспевшие познакомиться и закуривали с моряками, пожимали, трясли руки; смеялись и визжали бабы — у многих из них были подкрашены даже щеки, головы повязаны чистыми цветными косынками. Потом начали нехотя расходиться по своим цехам, а моряки скопились вокруг стола: директор и капитан второго ранга сразу принялись расписывать их по рабочим участкам.

Я и Сидоркин спокойно пошли к себе в икрянку: нам все равно «не распишут» ни одного морячка, придется и дальше с бабами трудиться, слушать Клашкину болтовню, грустные разговоры о детях. Обидно. Тем более что я надоел Сидоркину, он — мне. Нам хотя бы одного самого маленького морячка, мы бы и работать его много не заставили, пусть бы сидел и про флот рассказывал.

— Хошь, попрошу тебе на помощь? — сказал вдруг Сидоркин.

— Попроси, а! — Мне так захотелось, чтобы и у нас, где все красно от икры, замелькала синяя тельняшка.

— Шас, — и Сидоркин пошел на пристань к столу. Он там размахивал одной рукой, что-то говорил, может быть, ругался, а я ждал. Долго ждал. Наконец Сидоркин перестал толкаться возле стола, взял за руку одного матроса — я аж глаза кулаками протер — и повел рядом с собой.

Матрос и впрямь достался нам небольшого роста, черненький, совсем еще мальчишка — о таких говорят «салажонок». И роба угловато висела на нем, штаны и рукава подкатаны. Но я все равно радовался, заранее улыбался матросу.

— Заводите, значит, знакомство, — сказал Сидоркин, очень гордый, что так удивил меня своим прекрасным успехом. — Русаков, ладно, помог. Говорит: надо выделить одного, укрепить участок.

Мы очень крепко пожали друг дружке руки: матрос дал понять — он уже не «салажонок», я — пусть и хилый на вид, однако силенку имею.

— Ильгиз, — назвал свое имя матрос.

— Как? — спросил я.

— Ильгиз, татарский имя, — сказал он и засмеялся. Во рту у него были широкие белые зубы, и я сразу почувствовал, что паренек из деревенских и крепкий, а что маленького роста — так он еще вырастет за время службы, на хорошем питании.

В икрянке Ильгиза окружили бабы — смотреть, знакомиться. Клашка потрогала его за плечо, визгливо крикнула:

— Бабоньки, кажется, настоящий!

Все засмеялись, Ильгиз слегка покраснел и обиделся, — я это заметил, — хоть он и принялся спокойно за-

куривать, показывая, что ничуть не обиделся, что выдержка у него железная.

— По местам, говорю! — скомандовал Сидоркин.

Мы с Ильгизом остались у верстака одни. Сначала нам как-то говорить не о чем было, мы просто улыбались друг другу. Когда подкатили бочонок, я сказал:

— Сегодня смотри, привыкай. Завтра принесу инструмент — сам попробуешь закупоривать.

— Ладно, хорошо. А ты бочки умеешь строить?

— Умею. Что тут такого.

— Вот бы я научился! В деревне всем родным построил. В колхозе тоже нужно. — Ильгиз погладил бок бочонка, прищелкнул языком. — Денег бы мешок большой заработал, а?

— Чудак. На флоте специальность получишь. Настоящую. После в торговый или рыбный флот махнешь.

— Не знаю. Может, полюблю море. Пока домой хочу.

— Полюбишь! Точно тебе говорю. Оно всех влюбляет. Меня вот укачивает...

— Ладно, хорошо, — сказал очень серьезно Ильгиз. — Начинай, работай. Я посмотрю.

Ильгиз подпрыгнул, сел на верстак. Я вставил дно, осадил нижний обруч, надел и набил верхний. Продолжал все неторопливо, четко, как в замедленном кино. Подкатили еще один бочонок, и его закупорил не спеша, но чуть побыстрее. Потом стал работать нормально: надо было успевать за икрянщиками.

Целый час, наверное, Ильгиз смотрел, курил и молчал. Клашка поглядывала на него, хихикала. Не вытерпев, сказала бабам:

— Морячок-то как охранник у нас!

Ильгиз и головой не повел в ее сторону. Еще через некоторое время он спрыгнул с верстака, подошел ко мне.

— Давай попробую.

Сказал он это так, словно когда-то много работал бондарем, но на флоте подзабыл и вот посмотрел — и все вспомнил. Я отдал ему молоток и набойку. Ильгиз подержал, повертел в руках инструмент, приноровился, осторожно поставил набойку на обруч, поднял молоток, несильно ударил по набойке. Она скрипнула, соскочила с обруча. Ильгиз ушиб себе пальцы. Снова по-

ставил набойку на обруч... Когда наконец удачно ударил по обручу — усмехнулся во весь рот, показав крупные крестьянские зубы.

До конца смены он несколько раз брался за инструмент, ушибал пальцы, сердито сопел; взбирался на верстак, молча запоминал мои движения. Пришел старик Кочеточкин, и Ильгиз удивился, что так быстро закончилась наша работа, хотел остаться с Кочеточкиным, но, подумав, сказал:

— Забыл. Сегодня мы организуем танцы у вас. Приходи.

Танцы — это хорошо. Особенно под моряцкую музыку и с моряками. Конечно, я приду. Придут все, даже старики и старухи: когда еще согласишься, как танцуют моряки. Договорились встретиться. Ильгиз побежал к пристани, а я — к проходной. За Валею решил не заходить, все равно увидимся на танцах.

После столовки пошел в общежитие, переоделся, немного повалялся на кровати — отдохнул, книгу полистал. Едва засинело в окнах и на рыбозаводе замигали первые огни, отправился к клубу.

Здесь уже было полно народу, особенно женщин и девчат. Девчата пришли, наверное, все, потому что я удивился: как много, оказывается, на Пуире девчат! Стояли они, перешептываясь, возле волейбольной площадки (у нас негде устраивать танцы); на столбах, к которым раньше была привязана сетка, горели две лампы — шнур к ним тянулся из окна клуба. В другой стороне площадки сидел бритый наголо матрос, держа на коленях, покрытых красным бархатным лоскутом, сверкающий, весь перламутровый аккордеон. Мне не приходилось видеть аккордеона, однако я догадался, что это аккордеон, и заграничный — трофейный. Позади аккордеониста — прямо в глазах рябило — бело-синечерной стеной стояли моряки. Бескозырки с якорями, тельняшки, форменки, брюки клеш. Красиво, ничего не скажешь. Особенно выделялся мичман — в четкой фуражке с крабом, в кителе с медными, яркими пуговицами. Лицо у него было нежное, девичье, и маленькие усики казались нарисованными или приклеенными. Мичман обходил матросов, будто бы на параде, что-то им говорил, они смеялись, поправляли воротники, блестящие пряжки ремней.

Танцы почему-то не начинались. Мичман поглядывал на девчат, словно подсчитывал их, и все ходил перед матросами.

Я увидел Валю, она только что пришла; наверное, бежала, у нее чуть порозовели щеки и вздрагивали губы. Подошел к ней сзади, взял за руку. Она негромко вскрикнула.

— Думала — моряк? — спросил я.

— Нет... — Она посмотрела на меня как-то жалобно, виновато, рука ее не ответила на мое пожатие. Я хотел расспросить, что случилось: может, с матерью поссорилась, может, отец не пускал на танцы, — но красивый мичман кивнул лысому аккордеонисту, и тот сразу и сильно грянул «Амурские волны». Потом он сбавил, плавно повел мелодию, моряки тихо запели:

Плавно Амур свои воды несет,  
Ветер даурский им песню поет...

Я не ожидал, никто не ожидал, что гости устроят такое вступление к танцам. Наши девочки затрепетали от восторга, взялись за руки, будто опасаясь упасть, зашептались, а еще через несколько минут, в полном забытии, стали подпевать:

Волны бегут, бегут, бегут...

Валя смотрела туда, где дирижировал песней, слегка хмурился мичман, и ее рука в моей лежала, как позабытая, ненужная ей.

Матросы допели, аккордеонист передохнул минуту, начал сначала, и по команде мичмана бело-сине-черная стена разом рассыпалась, матросы двинулись через волейбольную площадку в нашу сторону, приглядываясь и выбирая девушек. Подходили, чуть кланялись, брали за руки. Первые пары закружились по утоптанной площадке, а девушек все разбирали; случилось, к одной подходило два моряка, оба приглашали, девушка краснела, опускала голову, и уводил ее тот, кто был посмелее.

— Прощу, Валя, — услышал я сбоку, обернулся и увидел мичмана. Он улыбался, топорщил черные колкие усики, сиял пуговицами и погонами, был красив, как герой с цветной картинки.

Валя потянулась к нему, рука ее выскользнула из моей, мичман легко, воздушно подхватил Валю и закружился с нею по площадке. Я сначала следил за ними — все-таки красиво: он весь в черном, она в белом платье клешем. После увидел руку мичмана на Валиной талии, и у меня сразу как-то скучно заняло сердце.

Кончился танец, аккордеонист, вытерев лысину платком, принялся длинно и прекрасно выводить «На сопках Маньчжурии». Валя не подошла ко мне, стояла где-то в гуще моряков и девчат. Я опять увидел ее, когда наискось по площадке она пронеслась, прильнув щекой к плечу мичмана, сощутив глаза. Если бы я точно не знал, что эта девушка — Валя, я бы мог подумать: какая красивая, незнакомая девушка вдруг появилась на Пуире.

Звучали танго, фокстроты и снова, вытерев лоб, аккордеонист заводил вальс, а я стоял и ждал: вот сейчас Валя бросит мичмана, подойдет ко мне. Но ко мне подошли Тонька и Майка Цюпа, они натацевались, собрались домой. Они — правильные, особенно Тонька: не хочет, наверное, чтобы хоть что-нибудь неприятное сказали о ней Коневскому.

— Пойдем, — толкнула меня Тонька.

Я не понял, куда, зачем пойдем, подумал внезапно: «А мичман сразу назвал ее Валей — значит, они еще днем познакомились; и музыка заиграла, как только Валя пришла...» От этого у меня горячо загорелось и тут же похолодело в груди, я зло, ненавистно глянул на Тоньку и Майку Цюпу, стыдясь их догадливости, и они быстро удалились.

Танцующих пар становилось все меньше, как шлюпки, они отваливали от пристани, уплывали в сумерки. Лысину аккордеонист вытирал уже не сам, над ним клонилась, помахивая платочком, молодая женщина в цветастом сарафане. Потом и Валя с мичманом исчезли — как-то незаметно, будто потеряли освещенную площадку и сразу растворились в темноте.

Подошел Федька Наумов (парень с заездка), сильно хромая, привалился ко мне боком. От него запахло водкой.

— И у тебя... гады! — проговорил он сонно. — Давай соберемся, всыпем ракушечникам, а?

Ильгиз оказался толковым парнем: на пятый день он уже легко закупоривал бочки-икрянки, выстукивая набойкой по обручам четко и быстро. Особенно любил повторять: «Та-та, тра-та-та», и снова: «Та-та, тра-та-та», — и так всю долгую смену. Перекуривая, Ильгиз рассказывал о море и флоте, о своем корабле, где служил сигнальщиком. Брал в руки два носовых платка, свой и мой, влезал на закупоренный бочонок и флажным телеграфом выписывал буквы и фразы. Заставлял влезать меня, говорил:

— Учись. На флот попадешь — сразу отличником будешь.

Женщины смотрели на Ильгиза, смеялись. Клашка каждый раз кричала:

— Опять этот, чокнутый, представление показывает. Ой, не могу! Чистый клоун. — И потихоньку рассказывала бабам, какой настоящий моряк попался ей: в годах, серьезный, машинистом служит на корабле. «Мужчина по всем статьям, побудет в квартире — весь день после него мужским духом пахнет».

Я стыдился влезать на бочонок, Ильгиз все-таки заставлял меня, я отворачивался к окну, за которым плескалась вода, и выводил руками знаки: очень хотелось научиться хоть такой флотской службе.

Но это было не главное — это просто интересно. Главное — Ильгиз всю смену работал за меня, а я сидел на верстаке или бродил по рыбозаводу. Я ничего не мог делать: я болел. Нет, не той болезнью, из-за которой лежал в больнице, ее я совсем пересилил и уже начал забывать. У меня болела душа. Болела оттого, что я все время думал о Вале и мичмане. И не то чтобы думал — не забывал о них. Не забывал — и все. У меня слегка кружилась голова, будто от настоящей физической болезни, и-ныло, стонало в груди — трудно было сделать глубокий вдох. Так, наверное, болит грудь у тех, кого раздавило ящиком или мешком, переломало ребра. Я слабел с каждым днем, забывал ходить в столовую, по вечерам, не зажигая света, лежал на топчане, смотрел в черный потолок. И только сны почему-то снились хорошие, какие-то южные, яркие, с тропическими деревьями, огромными яблоками на пальмах, с Валею и легким

звонящим разговором, — таких снов не придумаешь. Я скорее старался уснуть, чтобы побольше пожить во сне.

Валю я не видел с тех самых танцев. О ней мне рассказывали ребята, иногда Ильгиз. Он страдал за меня. А помочь не мог: мичман был его начальником. Да и как можно помочь в этом? Ильгиз не гулял ни с одной пуирской девчонкой — даже просто так, «чтобы не скучно жить»; говорил мне: «Их не надо любить, тогда душа не будет болеть». Мне казалось, что я вот-вот успокоюсь, переборю и эту свою болезнь, стану сильным, бывалым «мореманом», научусь пить спирт. И на время успокаивался. Но если Ильгиз начинал говорить о Вале, меня мгновенно обдавало жаром, я жадно ловил каждое слово. Презирал себя и слушал.

Я знал, что Валя каждый вечер встречается с мичманом, их видели на берегу, на мысе Любви. Кто-то заметил — они целовались. А сегодня Ильгиз рассказал мне, со слов матросов, что Валю и мичмана выследил поздно вечером сам Русаков, отругал мичмана, хворостинной погнал Валю домой.

Сегодня мне было особенно плохо. Так плохо, что совсем не хотелось жить. Стыдно жить. И я серьезно думал: покончить с собой или убить мичмана?.. Если покончу с собой — меня пожалеют, скажут: от слабости характера, не выдержал. Если убью — дадут десять лет, отправят в штрафной батальон, там я погибну за Родину. Проявлю героизм — и погибну. Это мне больше подходило. К концу дня я начал обдумывать, как убить мичмана? В душе у меня все выболело, вся жалость перегорела. Да и за что жалеть мичмана? Ясно теперь: он задурил голову. Вале — формой, якорями, погонами; она первый раз увидела настоящего военного моряка. Он — просто нахал. И нельзя его полюбить, приглядись — и не полюбишь. Он совсем не мужественный, у него нежное девчоночье лицо, и усы он носит, чтобы больше мужчиной казаться. Неужели Валя не знает, почему мичман носит усы?.. Я убью его и спасу Валю. Она поймет это потом, когда станет совсем взрослой, пожалеет меня, потому что только я...

— Знаешь, — вдруг перебил меня Ильгиз, — поговори с Валькой, может, сразу страдать перестанешь.

Я сначала не понял его: далеко был в своих рассу-  
ж-

дениях и переживаниях. Но после подумал: почему я ни разу не захотел встретиться с Валею? Трушу? Боюсь — сердце разорвется и упаду ей в ноги? Все-таки мы с ней дружили — пусть ответит мне прямо, что случилось. Пусть пожалеется. И тогда я... И тогда я решу, как отомстить мичману. Пусть он не думает, что приехал к дикарям на какой-то Пуир и здесь можно соблазнять чужих девочек.

Досидел смену на верстаке и так измучился под конец, что едва не уснул, привалившись спиной к пустому бочонку. Услышал голос старика Кочеточкина — он хвалил Ильгиза за успехи в бондарном деле, — слез с верстака; забыв сказать Ильгизу «до свидания», вышел на плот.

Ветер, зябкая морось хлестали в узком проходе между цехами, я вздрогнул, словно меня встряхнули за воротник, подумал: «Пойду или не пойду к ней?..» На холоде и сырости, в шуме близкого, тяжелого, большого моря я показался себе затерянным, жалким и потому, наверное (чтобы совсем не презирать себя), решил: пойду!

Не стал подниматься на гидротранспортер, выждал Валью у двери холодильника, прячась от ветра. Она немного запоздала, шла одна — мне просто повезло, — шагнул к ней сбоку и громко, весело сказал:

— Привет, Валья!..

Нет, это я хотел сказать громко и весело, а сказал зябко, зябче самой мороси. Тихо сказал, будто ветер что-то прошепелявил. Однако Валья услышала, резко остановилась, отшагнула в сторону: можно было подумывать, что я на самом деле крикнул громко и перепугал ее.

Она быстро глянула, чуть опустила голову, жестко, по-русаковски стиснув губы. Пошла медленнее, нехотя разрешая идти с собой рядом. Я понял, почувствовал: это все, больше она ничего не сделает для меня сегодня и будет молчать. И во мне ожило упрямство — мое, настоящее, притихшее от душевной усталости.

Прошли проходную, молча пошли берегом, поднялись в гору, прошли мимо клуба. Пошли дальше. Я молчал и уже знал, что не скажу ни слова: я сделался упрямым. Почти прежним. Я молчал, но про себя громко, сильно говорил, почти кричал Вале и был уверен, что

она понимает меня, непременно, не может человек идти рядом и не слышать, если ему кричишь во всю свою силу, хоть не вслух.

«Валя! — говорил я. — Ну давай поговорим. Мы друзья, мы хорошо дружили. Мы прожили такую длинную трудную зиму. Будто воевали, фронтовиками сделались. Давай поговорим прямо, как солдаты. Скажи, что с тобой? Ну приехал мичман, уедет мичман. Увезет свои якоря, погоны. Ты что, моряков не видела? Это же форма просто. А под ней человек. Человека можно в любую форму нарядить — он все равно останется тем же. Ну присмотришься к мичману, ты же умная. Как его можно целовать, ходить с ним под руку? Он обмануть хочет тебя или уже обманул... Ты же не любишь его — разве можно любить человека, который старается красивым казаться? Я чувствую, ему больше ничего не надо. Такой и воевать плохо будет, ведь там, на фронте, можно форму испачкать, шишек себе набить, а то и пулю лбом поймать. Валя! Скажи ему, что он нахал, что ты ему никакой не враг и не надо убивать тебя. Скажи! А если не можешь, если духу не хватает, попроси меня... Ничего, что я мелковат против него. Ничего. Это не главное в человеке. Я справлюсь с ним: у меня столько силы — на двух мичманов хватит. Ну, только не молчи...»

Прошли один, второй барак. Я молчал все напряженнее и яростнее. Я так молчал, стиснув зубы и кулаки, что Валя шла теперь, чуть отстранившись. Она слышала, понимала меня — я мог поручиться в этом — и боялась. Я победил ее в молчании, сделался самим собой, и она молчала сейчас просто от своей слабости. Жаль, что никого не было рядом, а то бы я сказал: «Посмотрите! У нее разжались, дрожат губы. Щеки нервно закраснелись. Она вот-вот разревется!»

Во мне начала пропадать злость — нельзя же так сразу, зверски нападать. Может быть, все труднее, сложнее. Может быть, она...

«Валя, — сказал я, — может, ты любишь мичмана? Тогда другое дело. Страшно, но — другое. Я читал книги, я знаю: если любовь, то девушки идут на все, не жалеют себя, родителей, становятся сумасшедшими. Из-за любви Анна Каренина погибла, царица Клеопатра, Аксинья из «Тихого Дона». Ну, скажи — любишь?

И я уйду от тебя, никогда на глаза не покажусь, даже за мичмана прощения попрошу. Мне в общем-то наплевать на него. Не я в него влюбился. Может, он и ничего парень, и воевать хорошо будет, и усики свои киношные обреет. Может, героем станет, и вы после войны семью прекрасную постройте, детишек воспитывать будете. Я ведь незнаком с мичманом — мне просто показалось, что он какой-то ненастоящий. Ревную, наверно. В какой-то книжке я вычитал: «Ревность унижает человека. Ревнующий — глух и слеп». Это точно. Могу теперь от себя прибавить: ревнующий — больной человек. Меня, пожалуй, труднее вылечить, чем тебя. Но я справлюсь, чувствую — справлюсь. Не убью мичмана, не убью себя. Просто исчезну. Ну, скажи одно слово: «Люблю!»

Валя еще дальше отстранилась, в ее глазах стояли слезы — да, слезы; она плохо видела дорогу, натыкалась на камни, пеньки. Прошли третий, четвертый барак... Почему я так грубо с ней говорю? Будто она моя жена и изменила мне. Она вовсе не обязана отвечать, я могу лишь просить ее. А разве об этом просят девушки — не любить другого? Разве девушки могут приказывать себе? Но ведь и я не виноват...

«Не виноват, Валя. Ты же знаешь, что я не виноват. Так получилось. Лучше бы мне никогда тебя не видеть, совсем не приезжать на Пуир. Я мог попасть в другое место, и там не было бы никакой Вали. Или лучше бы я умер, когда болел от простуды. К этому и шло, но ты, ты же меня спасала и спасла. Ночи не спала, куриным бульоном поила... Зачем? Я бы умер, и мне теперь было бы хорошо. Никакой мичман не отнял бы тебя. Нельзя хоть что-нибудь отнять у мертвого. Ты это понимаешь? Тогда проси прощения за то, что спасла меня. Или тебе на все наплевать, ни до кого нет дела, ты ослепла, оглохла? Ты любишь — и все. Да?..»

Подошли к Валиному барaku. Я хотел остановиться на том месте, где мы всегда стояли по вечерам, но Валя отошла немного в сторону, словно ей жгла ноги утоптанная нами земля возле старой поленицы дров. Мы стояли рядом, я видел Валино лицо в профиль, покусанные губы, один большой, заледенелый глаз. Щека у нее была мокрая — наверное, от мороси. А может, она плакала?.. Морось наплывала шквалами, зарядами, проносила под Пуиром и сопками, глохла где-то в тайге,

и на несколько минут открывалось небо — синими, сияющими клочками.

«Валя, — сказал я молча, — посмотри вон туда, за лиман. Ветер разорвал облака, и видны белые, все еще белые горы Сахалина. Не горы даже — макушки. Как сахарные головки... Нет, это не точно. Они легкие, даже прозрачные. Они всегда не настоящие — как горы из хорошей книги или кинофильма. Мы любили смотреть на них, думать о них. Они успокаивали, очищали, напоминали о какой-то другой, замечательной жизни, доступной каждому человеку, только не надо забывать, что есть такие горы... Посмотри, Валя. Но ты смотришь совсем в другую сторону, на военный корабль. Он похож сейчас на тупорылый уют, который хочет разгладить измятую воду лимана. Ты не отводишь от него глаз... Но, Валя, корабль уйдет, а горы всегда будут там, за лиманом и под небом...»

Я говорил и говорил, я уговаривал, заговаривал, просил, умолял; я протянул Вале руку и не почувствовал ее руки; а когда поднял голову — Вали уже не было рядом со мной; она ушла неслышно, как отлетела по воздуху, я словно выронил ее из рук.

Замолчав, я пошел и стал на то, «наше» место, привалился спиной к поленнице. Раньше это мне помогало. Сейчас поленница сочилась холодными каплями, пахла гнилью; чья-то быстрая рука задернула белые занавески в квартире Русаковых.

Мне надо уходить.

Неужели уходить?..

Да, уходить!

И я пошел. Пошел вниз, к рыбозаводу. Я еще не думал, однако знал, что отыщу Русакова и отпрошусь на заездку. Отпрошусь. К своим ребятам, на настоящую работу. Я не смогу здесь жить, я просто убегу... Мне теперь все равно, я ничего не боюсь. Мне даже не стыдно будет встретиться с мастером лова, бригадиром Истоминым, на глазах у которого я свалился в воду. У меня опять заболела душа и от этого пропало упрямство.

В проходной меня долго не пропускала толстая старая женщина в милицейском полушубке, с пустой кобурой на ремне. «Сменился со смены, иди спать», — говорила она и вытаткивала за дверь. Наконец зазвонил

телефон, вахтерша кинулась к трубке, и я проскочил через обе двери проходной.

Во втором холодильнике Русакова не было, сказали, что он ушел на плот. Здесь горели огни, в их свете желтыми всполохами проносилась морось, и люди черными силуэтами, черными громоздкими тенями двигались, перемещались, как детали какой-то огромной, неокладной машины.

Русаков стоял под фонарем, говорил с мужиками, не очень серьезно — наверное, так, отдыхая. Присев напротив, чтобы он видел меня, я решил подождать, пока уйдут мужики. Они стояли, говорили, и Русаков, сказав им «Ну, пока!», подошел ко мне.

Я не видел своего начальника недели две, немного отвык от него; может быть, поэтому он показался мне слишком отчужденным, строгим. Но тут же понял: он еще больше почернел и, всегда завидно прямой, чуть ссутулился от летней, тяжелой работы на рыбозаводе. У него не строгость — усталость, забота. Может, и мичман с Валеи досадили ему, прибавили хлопот.

— Ну как? — спросил Русаков, положив мне на плечо руку.

Это была его привычка — класть руку на плечо тому, кто ему нравился или с кем он дружил. И все-таки я не любил, когда его тяжелая, по-настоящему мужская рука оказывалась на моем плече. Она словно бы прижимала меня к земле, делала ниже ростом, и я ощущал, какое у меня худое, слабое тело. Обычно, слегка поводя плечом, я вежливо сталкивал руку Русакова. Сейчас почти не обратил на это внимания, — такие пустяки! — сказал, вздохнув:

— Плохо.

— Ну да? — удивился Русаков. — Наши наступают, бьют фрицев, мы тут планы перевыполняем, а тебе плохо. — Русаков смотрел на меня, все знал и про себя улыбался. Улыбался, однако не очень весело, я это чувствовал.

— На заездок хочу.

— Еще раз...

— Еще, — перебил я Русакова, чтобы он не сказал — «еще раз искупаться?», и твердо, даже сердито прибавил: — Хочу настоящей работы.

— А как же икрюнка?

— Ильгиз справится. Не хуже меня работает, — заторопился я, уловив перемену в Русакове, поняв, что все будет зависеть от силы моих слов. — Честно. Мне все равно нечего делать: всю смену молоток и набойку Ильгиз не дает. Говорит, бондарное дело хочу освоить, у себя в деревне пригодится. Хороший парень, не подведет. Слово с него возьму. Мне бы хоть на неделю — в море хочу, к ребятам. Надоело одному. Аж голова болит. Будто там фронт, а здесь тыл. В тылу сижу.

Последнее я сказал с расчетом, хоть и немного нечестно: Русаков стыдился звания «броневика», считал настоящими людьми только фронтовиков. Это, мне показалось, больше всего подействовало на него, он нахмурился, вздохнул, снова положил на мое плечо руку. Но я ошибся. Слегка стиснув пальцами плечо и тряхнув меня, Русаков тихо, грустно проговорил:

— Не хитри, не умеешь.

— Да я...

— Понимаю, — остановил меня Русаков, — трудно прямо сказать. Об этом и не говорят. А понимать надо, по-мужски, молча. Я и понимаю. Понял сразу, как увидел тебя. И решил — отпущу.

Я промолчал, сдержал в себе сразу много слов, которые так и хотели вырваться — спасти мое самолюбие, поблагодарить этого человека...

— Вот и хорошо, — сказал Русаков. — Поезжай, я все улажу.

## 7

Мы сидим на краю заездка — Дергунов, Коневский и я. Только что закончилась переборка сетей, мы немного устали и теперь, свесив с помоста ноги, грелись на тихом пуирском солнце. Стас держал на коленях толстую залапанную книгу, трогал пальцами листы, собирался читать; Колька, привалившись спиной к стене барака, щурился в небо, подремывал.

Подошел хромой Федька Наумов, примостился недалеко от нас, помахивая короткой ногой, начал скалиться, «заводить меня». Видя, что Колька и Стас заняты сами собой, и я как бы остался наедине, Федька сказал:

— Знаешь, когда ты это в воду свалился в тот раз, бригадир испугался: невезение с рыбой будет, подумал.

Ну, значит, ругался. После рыба поперла, говорит бригадир: значит, к хорошему крещение было. Из-за того он тебя принял.

— Врешь!

Федька помахивал ногой, присматривался ко мне — как подействовали его слова? — а я вспомнил свое прибытие на заездок.

От рыбозавода ехать пришлось долго, катерок едва тащил пустые кунгасы — у него что-то не срабатывало в машине, — и все это время я думал: как встречу с бригадиром Истоминым? Вдруг он припомнит то, прошлое, рассердится и отправит меня назад? Кожа съезжалась у меня на спине — так я трусил, — но деться было некуда, по воде не побежишь к берегу. На глаголи, отыскав Истомина, доложил: «Назначили к вам», — и на минуту заledenел. Маленький, знаменитый, брезентовый человек уперся в меня взглядом — быстрым, утомленно невидящим, — чуть кивнул широкой клеенчатой панамой и прошел мимо. Мне показалось, что он не узнал меня. Почему он должен помнить какого-то мальчишку, который свалился с помоста в воду? Забыл, конечно. Я вздохнул, разом освобождаясь: хоть в этом повезло! Пошел к рыбакам. Они поднимали сетное плотно, крутя тяжелые ворота, перегоняли рыбу в ловушку. Взял крюк, стал в общий ряд. И лишь через час, когда перелили рыбу в кунгасы, поздоровался с Колькой Дергуновым и Стасом Коневским.

Весь день я старался не попадаться на глаза Истомину и среди рыбаков не толкался. В свободное время уходил на край глаголи, садился где-нибудь за свайным столбом, смотрел в море, на низкий ржавый берег Сахалина. Привыкал к заездку. И все-таки вечером пристал ко мне Федька Наумов. Подхромал, толкнул плечом: «Топиться, значит, приехал. Бабу увели — топиться приехал». И захохотал в самое ухо. Дать бы ему по корявой роже, однако он крепкий, хоть и хромой. Подошли ребята. Колька втиснулся между нами, с улыбочкой, руки в карманах, будто обоих нас пламенно любит, и Федька полез за табачком, всем предложил закурить. А я почувствовал: раньше он меня презирал, сейчас ненавидит. Как невезучего. У него тоже моряки отбили девчонку, он с кем-то из них дрался. Я же тогда ушел — Федька считает, что трусил.

Одним словом, мой первый день на заездке был не таким уж и страшным для меня. И Федька не очень расстроил: рядом Колька и Стас. Нас трое, мы один за одного, особенно я и Колька. Сумею постоять за себя. Главное — Истомин принял меня, а с Федькой мы справимся.

— Вот так, начальник! — сказал, лениво усмехаясь, Федька.

— Врешь.

— Чего врать? О ком другом — могу. О бригадире не буду.

Неужели правда: Истомин такой суеверный, и узнал меня, и принял из-за «того»? Может, бригадир пошутил? Федька, конечно, никакого юмора не понимает. Спросить у Дергунова?.. Он спал, расстегнув телогрейку, уткнувшись подбородком в грудь. Стас читал толстый роман про революцию — хмурился, улыбался, шепелил губами. Его тоже не хотелось трогать, да и пришлось бы долго объяснять им обоим, в чем дело.

Отвернувшись, я решил не слушать Федькину болтовню, начал потихоньку насвистывать: мол, неинтересно все это, парень. Федька поприставал немного и ушел в барак. Там он завалится на нары и сразу уснет: это у него отлично выходит — храп через минуту.

Глаголь слегка покачивается, напряженно, как телеграфные столбы на ветру, позванивают свай. Сквозь сизую влагу воздуха приглушенно, но старательно греет солнце, и чуть кружится голова, и дремлет, и мысли текут просто, сами по себе, как вода под помостом. Вот уже чудится: глаголь — это пароход среди лимана. Он скоро снимется с якоря и поплывет в море, в какие-то дальние страны. Дощатый барак с флюгером и красным флагом вовсе не барак, а рубка, и ничего, что в ней всегда топится железная печь и тетка Козлова варит еду. Зато помост, как палуба, и по ночам — ярко горит электросвет. И много вокруг воды: то рыжей — амурской, то зеленой — морской. Очень близко, по фарватеру, проплывают другие пароходы, иногда океанские.

Я смотрю под помост, во двор глаголи. Там носятся, сталкиваются косяки кеты. Темно-синие спины, белые животы. Рыба чувствует, что попалась, что нет для нее выхода, что с каждой минутой все теснее становится в сетном дворе, и стремительней, резче промелькивает от

стены к стене. Словно ей хочется оставить все свои силы в родной воде, оставить свою «душу» — и пусть человек возьмет лишь розовое, вялое рыбье тело.

Тихо на заездке, рыбаки спят. Они привыкли спать урывками, по два-три часа, днем и ночью. Дремлият чайки на гладких волнах, и солнце, кажется, остановилось в сизом влажном небе: куда спешить, зачем, если здесь, над широченным лиманом среди диких сопок можно отдохнуть в настоящей, давно потерянной землей тишине.

Мне чудится, что солнце и в самом деле не торопится туда, где сейчас рвутся снаряды, трассируют пули, умирают люди. Оно тоже устало от грохота, ненависти, крови. Ему не все равно, что освещать и видеть.

В стороне Охотского моря встает из воды синий прямой дым; несколько минут он растет в небо, густеет, а потом под ним возникает черно-белый треугольник, колеблемый струями марева. К устью Амура идет пароход.

Слежу за ним, вижу, как он увеличивается, обретает формы, тяжелеет. Обозначились белые трубы, иголки мачт. Он почти не касается воды, и мнится, его качает, треплет невидимый отсюда свирепый шторм. Значит, он еще очень далеко, он — виденье, мираж. Слежу за ним, хочу поймать момент, когда он отяжелеет и станет настолько пароходом, что прижмется к воде и его не сможет качать марево.

Звучат три удара в рельс. Я вздрагиваю, как спросонья, вскакиваю. Очередная переборка сетей. Не пожар, не бедствие — просто переборка. Я не привык еще, каждый раз пугаюсь, а Дергунов с Коневским поднимаются вяло, медленно приходят в себя. Они вполне «орыбачились». Но я уже знаю: такие у них только первые минуты побудки. Сейчас все переменится. Колька подтягивает туже ремень, Стас прячет под ватник роман, отчего грудь у него вспухает, делает его горбатым. Я топчусь на досках, разминаю ноги, от легкого волнения у меня першит в горле.

Дверь барака распаивается во всю ширь, из нее, наклонившись вперед, выбегает мастер лова, бригадир Истомин. Быстро, ловко перепрыгивая с помоста на помост, он направляется в конец глаголи, на свое место, — и все так же бегом, хватая крючья, устремляются за

ним. Это напоминало боевую тревогу, бросок. К этому здесь привыкли: бригадир считает, что главное — начало, первые минуты; как начнешь — так и дело пойдет. И хотелось ему, наверное, чтобы хоть немного было похоже на боевую, солдатскую обстановку.

Перекрыв ворота двора, рыбаки стали в ряд поперек глаголи, по команде Истомина крючьями подняли край сетного полотна — рыба отхлынула, сеть подтянули выше, подвесили к скобам на помосте. Перешли дальше, снова подняли крючьями сетное полотно, отгеснили рыбу. На бортах глаголи работали ручные ворота, поднимали края полотна, прогибая его чашей.

Я шел рядом с Колькой Дергуновым (здесь мое рабочее место), следил за каждым его шагом, подхватывал сеть вместе с ним, разом тянул вверх. Нельзя отстать или поторопиться: нарушится стена вздымающегося полотна, возникнут прогалы, рыба утечет назад, во двор. Чем выше к скобам подтягивается сеть, тем труднее держать ее: внизу сгущается, тяжелеет рыба. Всего лишь раз у меня сорвалась дель, и я увидел, как, напрыгавшись, обострив скулы, Дергунов удержал ее. Сделал это незаметно для моего соседа, старого ворчливого рыбака, чтобы после тот не подсмеивался надо мной и не жаловался Истому: «Вот, набрали сосунков — и рвем свои трудовые жилы». Дергунов и на меня не глянул, будто ничего не случилось. Пожалел, наверное: начну суетиться, совсем испорчу свою работу. Мне просто не хватило силы, ловкости. Главное — ловкости. Она особенно нужна, если силы маловато; я чувствовал: минут три-четыре дня — и натренируюсь не хуже других.

— Стоп! — крикнул резко и тонко Истомин, подняв над головой брезентовую рукавицу.

Рыба густо, темным мерцающим потоком втекала в ловушку. Рыбе было так тесно, что казалось, она перетерла, испарила воду и течет по воздуху. Красиво и немного жутко: огромный косяк кеты сам, по доброй воле, радуясь и неистовствуя, шел к людям, себе на погибель. Еще минута — и рыба втекла в ловушку; последний, тяжелый и зубатый самец, словно догадавшись о чем-то, метнулся назад, ударился в одну, другую сетную стенку, замер, борясь с захлестывавшим течением; кто-то из рыбаков поддел крюком дель у самого его носа, дер-

нул вверх, и старый, мудрый самец, взлетев, шлепнулся в гущу своего косяка.

Истомин снова махнул рукавицей. Мы сбросили скоб сетное полотно. Двое рыбаков побежали по мокрым помосткам, качаясь и приплясывая, к стене заезда, завертелись деревянные барабаны — открыли ворота. Я опустил на доски свой крюк, сунул в карманы руки: они у меня заledenели от воды и ветра. Переборка закончилась, можно было идти в барак.

— Подожди, — остановил Дергунов, кивнув на бригадира.

В прошлые переборки Истомин, глянув на меня, отсылал в барак: «Иди, грейся!» Жалел как новичка. А сейчас промолчал. Может быть, позабыл? Или решил поддержать на переливке рыбы?

К глаголи подогнали пустой кунгас, рыбаки сгруппировались над ловушкой, на тесной площадке. Надо быть здесь и мне, хоть заплачь, хоть расстегни штаны и сунь греть заколеченные ладошки. Дергунов отдал свои рукавицы, себе взял мои. Рукавицы у него были сухие — работал так, что никогда не мочил их, — и я чуть не заревел от радости и любви к Лосю.

Подошел, ссутулясь, с романом под телогрейкой, Стас Коневский, сказал:

— Смотри, какой красивый!..

Я повел взглядом за его рукой и увидел пароход: он был уже близко, шел по фарватеру лимана — белосиний, высокий, сияющий медью и красными полосами на трубах, с вымпелом на мачте и якорями в клюзах.

— Из Америки, — сказал Коневский.

— Почему?

— Видишь, пушка на носу? Хотя и грузовой, а с пушкой.

Истомин подал команду: «Каплер!» Рыбаки — из тех, кто поопытнее — заняли свои места на площадке. Заскрипел ворот, большущий сачок-каплер опустился в кипящую рыбой ловушку, зачерпнул доверху, медленно, сочась водой, поднялся над ловушкой, понес живую рыбу в кунгас. Два рыбака направляли увесистую рукоять каплера, два других стояли в кунгасе и вытряхивали каплер. Истомин следил, сунув руки в рукава ватника — это его обычная поза во время заливки кунгасов, — а нам, самым молодым и самым старым, и

вовсе делать было нечего. Мог бы и бригадир уйти в барак, однако каждый раз он, не уставая, стоял и следил. Уходил вместе со всеми, когда рыбаки, опрокинув последний каплер, подтягивали сетный мешок к балке на просушку, и катер, выстроив позади себя кунгасы, отправлялся к рыбозаводу. Ночью, в любую погоду Истомин сам проводил переборки, сам следил за переливной рыбой.

-- Смотри, --- сказал Стас, --- идет как заводной, ни одного человечка не видно.

Пароход шипел паром, трудно раздвигал воду, волоча перед носом кипучий белый бурун; иллюминаторы огненно отсвечивали, казалось, внутри парохода горели мощные электролампы; из труб белыми облачками отлетал дым. Но ни на палубе, ни на капитанском мостике не было людей. Можно было подумать, что эта громадина сама по себе идет из Америки в город Николаевск.

На борту по-русски и по-английски написано: «СССР», эти же четыре буквы выведены на каждом спасательном круге, на шлюпках, даже на ведрах.

Колька Дергунов длинно вздохнул, сдернул с головы кепочку-жучок и как-то еле заметно, обидчиво улыбнулся: катера, пароходы, все другие морские посудины расстранивали его, напоминали о море, о будущей жизни (непременно на корабле), к которой Дергунов готовит себя с того самого дня, как увидел море. А ему тогда, он говорит, было всего семь лет.

— Не упади, — показал я Дергунову на хлипкий помост. Он не отозвался, наверное, не услышал.

Хотелось перейти глаголь, приблизиться к пароходу, разглядеть его. Но рыбу не перелили, Истомин все так же стоял, держа руки в рукавах, и не видел ничего, кроме кунгасов, каплера и рыбаков. Даже железно терпеливый Коневский глянул на него, определяя: можно уйти или еще не время?

— Дисциплинка, — сказал я.

— У него порядочек, — подтвердил Стас, — как в действующих войсках.

— Говорят, за путину ни разу в поселке не был.

— Был один раз: директор на совещание вызвал. А так — чего ему там делать? Жинка приезжает, детишки тоже.

Стасу нравился Истомин, Стас и сам был такой же, как Истомин: замотанный на вид, а в душе неутомимый, и мог заставить себя выполнить самое трудное, нечеловеческое дело. Воспитал в себе волю. Ему, может быть, позавидовал бы сам Рахметов, которого Стас в пример для себя выбрал. И я немножко завидую ему. Вот только родители у него...

— Пойдем! — тронул меня Стас, уловив по какому-то жесту, взгляду Истомина, что можно идти.

Он не ошибся, он почти никогда не ошибается, и я спокойно пошел за Стасом через глаголь, к крайним сваям, вбитым у самого фарватера.

Пароход был почти напротив заездка, двигался очень медленно, словно едва справляясь с течением, поубавился белый бурун впереди носа. На палубе пусто — нигде никого. Он уже поравнялся с заездком, грузный, тяжело напряженный, и так шипел паром, что думалось: руки можно погреть.

Дергунов все еще стоял без копки, навалиясь на перила, «ел глазами» пароход. Пожалуй, его, Дергунова, здесь и не было: тело здесь, душа — там. Душа ходит по палубам, спускается в машинное отделение, избегает на капитанский мостик, ведет пароход, произносит самые морские, самые красивые в мире слова.

Замедлив понемногу движение, пароход проплыл мимо заездка и совсем остановился, вяло будоража винтами воду.

— Не пойдет дальше, — проговорил, не глядя на нас, Дергунов, — прилива будет ждать. Осадка большая...

Как бы подтверждая слова Кольки, на пароходе загремела цепь, из правого клюза в воду шлепнулся якорь, взбив высокий фонтан воды. На мостике появился человек, выйдя из застекленной рубки, — он был в белом кителе и такой маленький, что казался лилипутом на Гулливеровом корабле. К нему вышел другой человек, такой же маленький, потом внизу по палубе пробежало несколько крошечных матросов. А вот над капитанской рубкой, как-то сразу возник сигнальщик, расправил флажки, замахал ими.

— Нам что-то пишет, — сказал Дергунов.

Я стал всматриваться, читать знаки. С первого раза ничего не понял (пожалел, что плохо учился у Ильгиза). Сигнальщик начал снова, медленнее. Я прочитал

несколько знаков. Когда он еще раз повторил, почти по-черепаши, я понял его, сказал ребятам:

— Спрашивает: «Есть рыба?»

Дергунов не обернулся, он по-прежнему отсутствовал, а Стас удивился: «Умеешь по-флотски?» — спросили его глаза, и я уловил в них маленькую зависть. Впервые. Работать флажками — это, кажется, единственное, чего пока не умел Стас. Но вот его глаза нахмурились, рот жестко сжался. Стас, наверняка, сказал себе: «Необходимо изучить!» Точно, сказал и головой тряхнул — утвердил свое решение. Придется мне преподавать ему сигнальное дело.

— Надо Истомину доложить, а?

— Правильно, — подтвердил Стас, — пойду.

Сигнальщик все выписывал свой простой вопрос, добавив к нему лишь одно новое слово: «Отвечайте».

Коневский выбежал из барака, сильно ударил в рельс. Подошел ко мне.

— Бригадир знает их, говорит, старые друзья. Ответить ударом.

Сигнальщика как водой смыло, и через несколько минут в одну из шлюпок, подвешенных к кронбалкам, влезло пять человек. Заработали блоки, шлюпка соскользнула вниз, прочертив черный борт, и закачалась на воде. Матросы взмахнули веслами, шлюпка ожила, нацелилась носом в глаголь заездка.

Прихромал Федька Наумов, пришли другие рыбаки, кто не поленился проснуться. Когда шлюпка притерлась к сваям глаголи, вышел из барака Истомин. Он поприветствовал поднятой рукой человека, сидевшего на корме шлюпки (на удивление нам, тот оказался морским офицером), крикнул:

— Салют морякам! С прибытием!

— Привет рыбакам! — ответил офицер, и матросы (они были в военных флотских робах) заулыбались, один снял бескозырку, помахал ею над головой. Все они выглядели крепкими, какими-то новыми — от свежих, тугих лиц до увесистых, на толстой подошве ботинок. И казалось, пахли далекой, сытой, капиталистической Америкой.

Истомин перегнулся, стал говорить с офицером о плавании, об Америке, о рыбе. Потом, обернувшись, сказал:

— Ну-ка, выловите десятка два.

Дергунов, будто дремавший все это время, сорвался с места, схватил сачок, запрыгал по мосткам к ловушке, где всегда оставалось немного рыбы. Туда же захромал с сачком Федька Наумов.

Подцепив сразу четырех, здоровенных, Колька вскинул сачок на плечо и, глядя себе под ноги, быстро перебежал глаголь. На вытянутой руке он опустил сачок в лодку, ловко вытряхнул рыбу. Офицер кивнул ему:

— О'кей!

Все засмеялись, офицер вынул большую коробку с сигарами, начал швырять по одной рыбакам, а Дергунов снова побежал к ловушке. Я взял две сигары: одну на Колькину долю. Оставшиеся в коробке офицер плотно закрыл, крикнул Истомину: «Лови!» — и метко метнул ему в руки.

Кто сразу закурил, кто решил не торопиться, в руках подержать; мне и вовсе было жалко подносить к такому куреву спичку: сигара большущая, тугая, с красной глянцевой этикеткой, отдавала дорогими духами.

Дергунов четвертый раз принес три кетины, Федька успел обернуться на хромой ноге лишь два раза. На дне лодки лежало больше двадцати штук крупных, как поросята, лососей. Офицер накинул сверху брезентовый плащ, чтобы привезти рыбу живой, поднял голову.

— Сенкью! — Ему нравилось, наверное, что мы не совсем его понимаем. — А теперь, — сказал он, — прошу конец.

Ему опустили веревку, он привязал к ней пакет и, командовав: «Вира!» — со смехом подтолкнул кверху. Пакет был тяжел, обернут в тоикую мешковину (из такой можно сшить отличные летние брючки), четко приляпан штамп «Made in USA».

— Посылочка из США!

Матросы оттолкнули лодку, взялись за весла, офицер поднял руку.

— Стоп! Где эти работнички? Которые с сачками бегали? — Дергунова и Федьку подтолкнули к перилам. — Носатый, лови! — Что-то, сверкнув, взлетело вверх, спряталось в руках Лося. — И тебе, полторы ноги, не обижайся!

Матросы резанули воду веслами, лодка юрко развернулась и пошла к пароходу. Офицер махал белой

мичманкой, мы — кто кепкой, кто рукавицей. Стояли, пока лодка не притерлась к черному борту парохода. Ее быстро подняли, она закачалась на кронбалках. Рыбаки пошли в барак.

Я вспомнил о Дергунове, повернулся: он и Федька Наумов сидели друг против друга, держали в руках какие-то железки и шелкали ими. Подойдя, догадался: американские зажигалки! У Кольки побольше, широкая, с каким-то рисунком; Федькина узенькая, из белого металла.

— Смотри! — сказал Лось.

На зажигалке нарисовано синее море, желтый пляж и голая (совсем голая) хохочущая женщина. Пожалуй, это не рисунок — цветная фотография. Внизу что-то написано по-английски.

— Дай-ка, — сказал Коневский. Он близоруко прищелкнулся, словно припоминая: где это раньше мог видеть эту американку. Оказывается, Стас читал надпись на зажигалке.

— «Жду тебя в Калифорнии, милый!» — проговорил задумчиво он.

— Ха! — дернулся и захохотал Федька. — Дергун!.. Тебя, в Калифорнии!..

— В Калифорнии, — поправил Коневский, — полуостров такой. Вообще — порнография, буржуазные штучки.

— Чего-чего? — хохотал Федька, трогая пальцами американку.

— Воевали бы храбрее, союзнички! — Стас вынул роман, листая его, спокойно пошел к барaku.

— От политначальник, — сказал Федька, — произведение искусства не понимает.

Дергунов спрятал зажигалку в карман, но и там держал ее в руке, гладил пальцами. Повезло Лосю, даже завидно. И черт с ней, с голой дурочкой (хотя к ней так и прилипают глаза), наплевать, что она зовет в Калифорнию; главное — зажигалка из рук моряка, с парохода, переплыла Тихий океан. От нее морем, странствиями, странами веет. Колька ведь моряком хочет быть — это ему как обещание настоящей, моряцкой жизни.

И вообще красиво иметь такую вещицу: шелкнул, зажег папиросу, поиграл перед глазами других, опустил в карман. Экономия тоже. Спичек не хватает, прихо-

дится кресалом пользоваться — примитивно, как пещерный человек когда-то. А тут заправил бензипичком и ходи, что твой американец.

Весь вечер к Дергунову и Федьке подходили рыбаки, прикуривали, рассматривали красотку, смеялись и анекдоты рассказывали. Один пристал к Дергунову — продай зажигалку, тысячу рублей обещал. Колька рассердчился, спрятал ее в бумажник, где хранились документы, сунул во внутренний карман пиджака.

После переборки, поздно вечером, тетка Козлова подала ужин. Кулеш был с американским колбасным фаршем, заправлен американским шпиком. У каждой чашки тетка положила по четыре белых галеты и по два квадратика шоколада. Истомин вынул из пакета большую бутылку американской водки, которая называлась «виски», отмерил каждому по четверти стакана.

— Ну, за второй фронт!

— А главное — за первый! — добавил Стас.

Приступили к «американскому» ужину, расправились в несколько минут. Зато долго пили кипяток, крепко заваренный целой плиткой американского чая. Говорили о японцах, перехватывающих наши торговые суда (сколько-то уже потопили), и, конечно, о наших моряках — дивились их смелости, риску, выдержке: проплывают они где-то у Камчатки, по узенькому проходу; все курильские проливы заминированы. Старики вспоминали гражданскую войну, самураев, молодые курили сигары.

Я лежал на нарах, в голове бродило виски, было тепло, смутно, и мне виделась желтая Калифорния, синее-синее море, хохочущая американка.

В полночь меня толкнул Дергунов, мы вышли из барака. Холодно, звездно, тихо мерцал лиман. Прилив приподнял его, расширил, будто отодвинул в глубь сопки берега. Подождали. Пароход выбрал якорь и огнистым, веселым дымом уплыл к устью Амура.

## 8

Где-то у Японских островов зародился тайфун, побушевал там и двинулся в нашу сторону. Он шел с юга, а у нас ветер подул с Охотского моря, прямо с Севера,

ему навстречу. Так бывает всегда: тайфун — это как пустое место, и тяжелые холодные ветры рвутся заполнить пустоту.

Глаголь раскачивалась, скрипели помосты и сваи, во дворе металась сети. До полудня мы провели только одну переборку, и то едва-едва, набили ловушку, и теперь Истомин сидел у телефона, звонил на рыбзавод, лично директору в контору, чтобы прислали кунгасы и забрали рыбу. Грозился выпустить улов: «Не буду же рвать сети!» Ему отвечали, что слишком крутая волна, зальет кунгасы, надо выждать затишье. А такие затишья случаются, словно тайфун, налившись, передыхает. Их называют «окнами».

Мы валялись на нарах, спали, просыпались и говорили. Слушали рев ветра, скрежет жестяного флюгера на крыше барака. В щелях посвистывали острые ветерки, но было тепло: тетка Козлова нашуровывала железную печь, готовила еду, распарилась — казалось, и от нее пышет теплом.

Я выспался, отлежал бока, однако вставать не хотелось. Да и что будешь делать, куда пойдешь? На глаголи больше пяти минут не выстоишь, бродить по бараку — людям мешать.

Под подушкой у Коневского — толстый, замусоленный, истерзанный роман. Осторожно вынул его, полистал. «Овод», хорошая книга, я ее еще в школе читал. И Коневский, конечно, читал, теперь снова взял (два месяца числился в очереди) и обстоятельно изучает. Выписывает в блокнотик отдельные выражения, запоминает целые страницы. Стас читает лишь героические книги, готовит себя к борьбе за мировую революцию. «Что делать?» Чернышевского он имеет личный экземпляр, возит с собой в чемодане.

Прочитал немного, сунул роман под подушку Коневскому. С середины не интересно, с начала — мало толку: проснется Стас, отнимет книгу. Лег на бок, уставился в окно; по нему мутными всполохами проносилась вода, звенело стекло, и окно чудилось большим белым, плачущим глазом. Смотрел долго, чувствуя, как и мои глаза заплывают мутной влагой; отвернулся, увидел: на меня смотрит Дергунов.

— Ты что? — спросил он, немного смутившись оттого, что подсматривал за мной. — Советую: плюнь — и все!..

Это он говорил о Вале. Он не мог видеть меня страдающим, сам бледнел и заболел. Делался злым и однажды отругал меня: «Раскис, соску отняли! Что она, жинка тебе, что ли?» От работы, всегдашней усталости понемногу я успокаивался, словно засыпал после долгой бессонницы. Но вчера тетка Козлова ездила на Пуир, привезла разные новости, сплетни. Особенно долго охала и болтала о том, что дочка Русакова спуталась с матросом, как отец хворостиной загонял ее домой, и теперь, чтобы она не принесла ему в подоле, отправил к родственникам на Озерпах. «Будто это поможет, — качала головой Козлова, — будто там не с кем Вальке спутаться. Свинка грязи везде найдет».

Весь вечер тетка «перемывала косточки» русаковского семейства. У меня заболела голова. Хотелось крикнуть ей: «Замолчи, старая дура!» — и потом сбежать с заездка. И я бы сказал, наверное, что-нибудь Козловой, однако она утомилась, пошла к себе за фанерную перегородку, и через минуту оттуда послышался ее женский спокойный храп.

Хорошая женщина тетка Козлова, жалеет нас, мальчишек, подкармливает, от стариков защищает; мне и вовсе ее не забыть. Хорошая тетка, без таких трудно было бы жить на свете; но почему она такая болтливая, почему радуется, когда разные сплетни пересказывает, когда у других беда? Сама же помогает, последним делится, а говорить начнет — противно слушать. Неужели все женщины такие?..

— Плюнь — и все, — повторил Дергунов.

Я промолчал. Я не понимаю, как это «плюнуть — и все»? Плюну — и все равно ничего не переменится. У меня уже заживала душа, тетка Козлова растрвила ее. Я опять болею, в груди у меня ноет, будто звенит тоненькая струна; оборвется — и я, может, умру или так опустею, что спрошу себя: «Зачем жить?»

— Баб хватит, — сказал Дергунов. — На наш век хватит их, разных.

Он хочет успокоить меня, поэтому выказывает себя небрежным и грубым. А я ведь знаю Лося: никаких баб у него еще не было, и он боится их, баб, как непонятных существ. Легче ему подойти и расцеловать медведя, чем взять за руку девчонку. С Майкой Цюпой едва научился говорить, и то она зовет его бармалеем.

Не знаю, очень ли нравятся они друг другу, но Майка не завела себе матроса, потащует и домой одна бежит. Тонька к тому же морально стойкая (теперешняя жизнь не дом отдыха «Лазурные зори»), письма Коневскому передает, своими мыслями по разным вопросам делится. Я подсмеивался над ними, а сейчас вижу: повезло ребятам.

— Давай не будем об этом, — попросил я Дергунова.

— Давай, — сразу согласился он. Ему непосильны всякие рассуждения о женщинах, стыдно изображать себя бывалым и грубым.

Ветер плотнел, наш барак-дежурка поскрипывал каждой доской и гвоздем. И покачивался на сваях. Под полом шипели пеной, взбугривались валы, все чаще в щели вплескивалась вода. Флюгер на крыше затих: его сорвало или заклинило.

Истомин выходил на глаголь, смотрел ловушку с рыбой. Возвращался, протянув руки к печке, думал, что делать с уловом. Ворота во двор давно перекрыты, рыба отстаивалась у стены заездка, а может быть, и обходила глаголь по фарватеру, но эту, пойманную, жаль отпускать. Время от времени, как бы разозлившись, Истомин подходил к телефону, звонил директору, заместителю, начальнику плота, требовал, упрашивал прислать кунгасы.

— Все! — кричал в трубку Истомин. — Выпускаю рыбу! Сети дороже. Я не хочу под суд!

— Потерпи... — сипел в трубку директор.

— Не могу! — кричал Истомин. Бросал трубку, торопился на глаголь, через несколько минут вбегал мокрый, красный от ветра, однако не играл подъема, шел к печке, потом опять к телефону.

— Когда шторм, — сказал Дергунов, — мне хорошо. Немножко жутко, и все равно хорошо. Будто испытание проходишь, меняешься... Когда много раз попадешь в шторм и выстоишь — можешь моряком себя называть.

Я подумал, что меня тоже и пугают и как-то по-особенному настраивают штормы, пурги. Очень точно подметил Лось: природа бушует — меняет, обновляет себя; и, борясь с нею, укрепляется человек. Оттого, наверное, хочется иногда рвануться в темень, в снег или буревой дождь, что-то делать, кого-то спасать, задышаться, падать, рисковать жизнью; и все-таки победить и выйти

хоть чуточку новым — новым в чем-то основном, человеческом. Я хотел об этом сказать Дергунову, но понял, что не смогу: будет длинно и путаю, — сказал просто:

— Правильно. Я тоже так чувствую.

— Буря — это как душа, которая вырвалась из человека и бушует.

— Может быть. Только трудно представить. Первый раз ты понятнее сказал. Вот я подумал сейчас: буря — это воспоминание о первобытной жизни человека...

— Совсем как из книжки. Буря — просто буря. Она существует, чтобы человек не забывал, что должен быть человеком.

— Пожалуй, так.

Ветер бил по стене заездка, по глаголи, по бараку-дежурке зарядами, навалится всей мощью (воздухом, дождем, волнами), проревет, проскрипит досками, железом, сваями и ослабнет, отступит куда-то в море. Наберется новых сил, разъярится, опять ринется в жерло лимана, ревя и плотнея между берегами, словно в огромной трубе. Заряды можно считать, они повторяются почти через равные промежутки времени.

Проснулся Коневский, сходил к бочонку с пресной водой, постоял у горячей печки. После брякнулся на матрац, достал из-под подушки роман. Дергунов притих, натянул на голову одеяло: будет «добирать». А мне не хотелось спать и молчать было трудно: в голову лезло все тяжелое, непереносимое. Когда ничего не делаю, голова у меня какая-то беззащитная. Поэтому заговорил с Коневским:

— Стас, ты как переживаешь бурю?

— Чего?

— Ну, какие у тебя чувства возникают?

— Ты что? — Стас приподнялся на локте, строго взглянул на меня. — Разыграть хочешь?

— Нет, я серьезно.

Стас еще пристальнее посмотрел, не обнаружил подвоха, но все-таки переспросил:

— Серьезно?

— Вот те крест!

— Значит, так: какие чувства у меня в бурю?

— Да.

— Подумаю. Спал я вот сейчас и сон видел. Будто я маленький совсем и отец с матерью со мной. Мы где-

то на юге. Может, в Ялте, может, в Сочи. Мы там бывали. Ну, ты понимаешь, я тогда о родителях ничего не знал. Любил их, конечно... И вот солнце, песок, море тихое-тихое. Бежим мы втроем к воде, легко так. И вода навстречу нам синяя-синяя, как у Дергунова на зажигалке. Отец первый, потом мать, и я за ними — с размаху в воду. А волна уже поднялась, вроде сделалась воздухом. Мы прикоснулись — она вспыхнула огнем, взорвалась как-то совсем неслышно. И ничего не стало... Мне этот сон уже снился. Хочу дальше посмотреть — просыпаюсь. Вот сейчас бок от стенки замерз...

— Это же сон, Стас. Хорошо ты рассказал. Я про бурю спрашивал.

— Про бурю? Бурю я не люблю. Чувствую, что не люблю. Ничего про нее не думаю.

— Совсем ничего?

— Может, не совсем. Думаю, что буря — плохо. От нее всегда беда какая-нибудь. Вот у нас рыба гибнет, заездок может не выдержать. Дрыхнем, время теряем. Буря — как война, от нее одна разруха.

— Дергунов говорит: шторм закаляет.

— Чего же он спит?

— Ну, это сейчас...

— Ладно. Ты начинаешь заводить. Не старайся, у меня настроения нет.

Коневский отгородился книгой и быстро ушел в другую, по-настоящему буревую жизнь.

Я остался один, поворочался и уснул, чтобы ни о чем не думать.

Спал долго и не глубоко, словно плыл по поверхности зыбкой воды, хотел опуститься глубже: там теплее, уютнее, — и что-то выталкивало меня наверх, как при долгом нырке. Я слышал шаги, голоса, ворчание тетки Козловой: «Ходят, дверь не закрывают...» Брякал телефон, ругался Истомин. А я все хотел нырнуть поглубже в сон, чтобы приснилось другое — южное море, желтый песок, огромное солнце. Как Стасу Коневскому. Я так жаждал увидеть это, так мучился и, наверное, увидел бы, но откуда-то сверху обрушилось:

— Подъем!

Вскочил, нащупал ватник, брюки, сунул ноги в сапоги. Потом огляделся. Рядом спокойно подтягивался, хлопывал себя Дергунов. Стас, уже готовый, держал

близко перед глазами кингу, дочитывал страницу. За окнами было темно, на столе желто коптили две жировые площадки: электропроводку оборвал ветер. Кажется, тише стало за стенами, на глаголи.

— Ужинать и — аврал, — хрипло проговорил Истомин. Телефон испортил ему голос.

Окружили стол, кто сидя, кто стоя, съели все, что отпустила по норме тетка Козлова; закурили, запасаясь теплом от дыма и печки, помолчали, и Истомин ударом сапога настезь открыл дверь.

Выбежали в темень, в едкий дождь. Ветер заметно поутих, однако волна шла крутая, сваи раскачивались, как пьяные. Пригляделись к черноте, заметили: от рыбо-завода медленно приближаются огни. Идет катер с кунгасами. Сгрудились над ловушкой. Площадка скользкая, слегка перекошена: штормом выбило из гнезд сваи. Четверо стали на ворот, двое принялись распутывать концы на каплере, остальные — подтягивать, расправлять ловушку: в ней полууснула рыба, отяжелела. Нашлось и нам дело, взялись кто за что: поправлять доски, подавать старикам топоры, мотауз для сращивания концов. Коневского позвали к себе каплерщики.

Налетел заряд, ключьями нанес туман, проревел в сваях и снастях, окатил холодными брызгами и через несколько минут ослабел. Огни катера качались уже близко, а вот пробилась сквозь дождь и шум воды острая сирена.

Приготовились крепить кунгасы. Катер подводил их осторожно, будто выбирая поровнее путь — два двадцатитонных — они играли на бурунах, как черные поплавки. На рубке катера включили прожектор, свет прошелся по глаголи, ударил нам в глаза, колеблясь, остановился чуть ниже площадки, у тех свай, к которым должны причалить кунгасы. Катер двинулся к концу глаголи, удерживая свет на том же месте, и к нам стали приближаться кунгасы. Нос первого, вздымаясь и падая, чиркнул по свае; когда он снова пошел вверх, на него ловко спрыгнул рыбак, ему бросили конец, он зацепил его за носовой кнехт. Перебежал на корму и там закрепил конец. Второй кунгас притерли к сваям рядом, у кормы первого. Катер отдал буксир, шипя паром, лег в дрейф у стены заездка: там меньше раскачивалась вода.

Окунули в ловушку каплер, понесли к кунгасу, долго

приноравливались, чтобы не вылить мимо. По команде Истоминна распустили сетный низ, и все-таки половина рыбы ушла за борт. Истомин выругался, сам прыгнув в кунгас, прокричал, закрывая лицо рукавицей:

— Заводи!

Завели, терпеливо выждали, рыба хлынула в кунгас. Лишь немного, в последнее мгновение, попало мимо. Два новых захода были совсем удачными: приноровился Истомин, приспособились рыбаки. А потом налетел шквал, все утонуло в дожде и тумане, свет прожектора с катера едва пробивался к глаголи, и нельзя было что-нибудь увидеть, различить.

Минут пятнадцать стояли, повернув спины к ветру, мокли, мерзли. Когда пронесся заряд и прожектор осветил кунгасы и площадку, увидели, что натиск моря выдержан: концы не оборвались, люди на местах, катер прыгает с волны на волну, как раскаленный самовар, шипит паром.

Залили кунгас, подвели второй. После шквала, глубоже распахавшего воду, работать стало труднее. Почти невозможно. Да это была вовсе и не работа — упорство, отчаяние: или сделать, или погибнуть. Так, наверное, на фронте бойцы отбивают атаки. Поскользнулся старый рыбак Кузьмин, ухватился за рукоять каплера, не удержался — его поймали за полу ватника, помогли встать на ноги. Федьке Наумову концом каната угодило в лицо, отскочил, вытирает кровь рукавицей. Сам Истомин едва устоял на кунгасе: огромный вал перехлестнул через борт, залил дно, рыба всплыла. Мокрый, злой, он силится перекрычать ветер, волны, скрежет свай. Машет руками, командует. Его никто не слышит и не слушается. От усталости, качки, опасности рыбаки перестали понимать друг друга, работали по памяти, по привычке. Заводили каплер, вырывали из ловушки, несли, расплескивая рыбу; над кунгасами медлили, выжидали, кто-нибудь не выдерживал, кричал: «Давай!» — и половина рыбы уходила за борт.

Кузьмин лег животом на помост, свесился вниз, крикнул Истомину:

— Кончаем! Мать ее... такую работу!

Истомин показал кулак; широко раскрыв рот, проорал что-то цемо; улучив момент, взобрался на площадку. Оттолкнул Кузьмина, взялся за каплер.

— В кунгас! — крикнул он не то Кузьмину, не то всем: чтобы нашелся охотник. Кузьмин выругался, отошел от края площадки. (Он был помощником бригадиром, самым старым на заседке.) Истомин бешено глянул на него, повернулся к рыбакам, отыскивая, кого бы послать в кунгас, но тут налетел заряд и утопил нас в реве, дожде и холоде.

Шквал был сильнее прежнего — сносил, смывал, рушил. Рыбаки заматались в полумгле, отыскивая столбы, перила, тросы.

— Ложись! — пробился в уши чей-то голос.

Легли, ухватились за доски помоста; головами к ветру. Ревел ветер, трещали сваи. Казалось, вот сейчас глаголь не выдержит, рухнет, и мы провалимся в холод жестокой воды; в руках останутся лишь доски, за которые мы держимся.

Заряд оборвался так же внезапно, как налетел, словно его отсекали, отгородили невидимой стеной, и в тишине только шипели, плескались волны. Катер подошел ближе, окатил нас резким светом прожектора, трижды взревела сирена. Это сигнал: кончайте погрузку!

Столпились на площадке, растерянные, не зная, за что приняться: отдавать концы или догружать кунгас. Кое-кто начал закуривать, доставая табак и спички из-под ватников, пиджаков, рубашек — от самого тела, где еще было сухо.

— По местам! — приказал Истомин.

Разошлись не споря, но и неспешно: на то и другое, пожалуй, не было уже силы. Взялись, приспособились.

— В кунгас! — обернулся к нам Истомин.

Эту команду опять будто не услышали: никто не сдвинулся с места. Кузьмин стоял теперь дальше всех от края площадки.

Истомин прошелся взглядом по каждому, чуть заметно усмехнулся, скривил губы. Все поняли — он сказал: «Сволочи! Бабы!»

И тогда кто-то справа рванулся к краю площадки, ухватился руками за канат, мгновение повисел над водой, как бы раздумывая, и скользнул вниз. Сразу же из кунгаса послышался голос рыбака:

— Э-э! Помогите!..

Сгрудились у края площадки, свесились. Кунгас ухал, раскачивался, а между ним и стеной свай то взлетал,

то проваливался в темень воды человек. Вот его руки поймали борт кунгаса, сорвались; вот он вцепился пальцами в решето берда, и снова его накрыла волна.

По кунгасу бегал, кричал рыбак. К нему спрыгнул Истомня. Спрыгнули Кузьмин и еще двое. Им подали крюки. Они стали в ряд у борта кунгаса. Наклонились, работали шестами, падали и никак не могли выловить человека.

На какое-то время его не стало видно, кунгас швырнуло в немой лустоте, а потом как-то сразу, в четыре крюка зацепили человека, подтащили к борту, перевалили в кунгас.

Плотную подошел катер, почувствовав беду, ярче осветил кунгас, воду, глаголь. Человека подняли на площадку, окружили разом, плотно, заговорили:

— Раздеть, раздеть!

— Слушай пульс!

— Сердце!

— Кровь! Откуда кровь?

— Грудь раздавило!

— Ах, беда какая!

— Кончается...

Я пробился сквозь согнутые спины рыбаков и на помосте, резко освещенном со стороны моря прожектором, увидел человека... Это был Стас Коневский.

## 9

Стаса хоронили через два дня на мысе Любви. К одиннадцати часам утра сюда собрался весь поселок, строем пришли моряки. На плечах у них были карабины; впереди строя — духовой оркестр. Моряки стали напротив обрыва, лицами к лиману. Пуиряне толпой сгрудились по другую сторону. А в середине на двух табуретках поставили гроб, обитый красным сатином.

Мичман кивнул музыкантам, медленно, хрипло запела труба, затем, плача, вступили флейты, тяжело заохал барабан. Люди шелохнулись, ниже опустили головы, окаменели в строю матросы. Женщины приложили к глазам платки, старухи принялись всхлипывать, сморкаться. Кто-то заголосил. Музыка пробудила, напомнила всем: умер человек, Стас Коневский, умер всерьез,

никогда уже больше его не будет на свете, — очистила души от житейских забот для чистой печали.

Шел мелкий, тихий дождь, все тонуло в мутном дыму. Мы стояли — я и Дергунов — в двух шагах от гроба, держа в руках кепки, а дождь скапливался в наших волосах, тек по щекам, и я не знал: вода это или мои слезы? У самого гроба стояли Тонька, мастер Кочеточкин с женой — самые близкие Стасу люди из пунрян. Тонька была повязана темным платком, у нее напухли глаза, лицо одрябло; она походила на пожилую женщину, словно Стас прожил с ней долгую жизнь, и теперь Тонька хоронила его.

Я старался не смотреть на Стаса: у меня перехватывало дыхание, все надрывалось внутри, как при жуткой качке на море. Мне и так запомнится он навсегда. Густые, почти черные волосы с крупными каплями дождя, желтый большой лоб (на нем широкое пятно синяка: Стас ударился о сваю), прямой, сейчас чуть пригнутый книзу нос, слегка раскрытые тонкие губы, и между ними — белая полоска чистых зубов. Дождевая морось вылоснила лицо Стаса, лужицами скопилась в темных, емких глазницах. Капли, отяжелев в волосах, вдруг одна за другой скатывались на марлевою подушку, и тогда казалось, что Стас слегка встряхивает головой. Я не могу на него смотреть, мне это не под силу, но все-таки глаза тянутся к гробу, резко, больно запоминают каждую морщинку, каждую каплю дождя на лице Стаса.

Рыдает музыка, неподвижно стоят матросы. Опустили головы директор, Русаков, капитан второго ранга. Дергунов плачет, я слышу его всхлипы. Все молчат. Только спокойно перешептываются старухи. Им можно: они больше других знают о жизни, душе и смерти.

— Руки какие белехонькие, видать, из семейства хо-рошего.

— Детдомовский.

Теперь-то много таких.

— И некому оплакать...

— Сиротинка.

— Третий день пошел, а от него никакого духу, видать, чистый душой парнишка был.

Последние слова сказала дряхлая старушонка, вся сморщенная, темная лицом: наверное, за войну так усохла. Я подумал о ней: «И от тебя никакого духу не бу-

дет...» Потом вдруг увидел синяк на лбу Стаса: «Почему он и у мертвого синий, свежий, как у живого?..» А старушонка как о духе Коневского!.. Угадала, будто внутрь заглянула. Я же два года присматривался к Стасу. Он терпел, старался всем доказать, что ему можно верить; работал, кашлял, никогда не мог ничего себе достать. Не жаловался. Я не слышал от него даже вздоха... Опять глянул, удивился: «Какие у Стаса длинные, костистые пальцы!..» Конечно, он не был железным, и не Рахметов, не Овод он — просто худой, замученный детдомовский мальчишка. Я это знаю теперь, глядя на него в гробу. Почему не знал раньше? Почему другие не знали?.. А вот Тонька знала. Эта глупая, толстая Тонька, которая сейчас похожа на старую женщину, над которой я подшучивал, — она знала. Она была Стасу самым близким человеком на всей земле. Мне хотелось подойти к ней, обнять и проговорить: «Тонька, дорогая Тонька! Как хорошо, что ты любила Стаса!..»

Музыка оборвалась, и в тишине стало слышно — сеется, шуршит дождь. Директор быстро пошел к могиле, влез на мокрый, скользкий холмик глины возле гроба, сжал в кулаке фуражку и на минуту притих, глядя себе под ноги. Я подумал, что мне тоже надо выступить, сказать несколько слов. Если я этого не сделаю, всю жизнь буду носить в душе боль. А мне хочется, чтобы и от меня — «никакого духу».

— Товарищи! — сказал директор, не поднимая головы. — Сегодня мы хороним нашего юного друга Станислава Коневского. Ему не было и семнадцати лет... Ему бы в школу ходить, а мы его хороним. Товарищи! Я понимаю, когда гибнут наши люди на фронте, когда замерз у нас здесь зимой фронтовик Меркулов... Но не могу понять, как погиб этот мальчик...

Директор говорил совсем непохоже на себя, без выкриков и лозунгов. Он затихал, думал, терял слова. Он обвинил себя, бригадира Истомина, рыбаков. Сказал, что с его разрешения послали нас на заездок — значит, он больше других виноват; но он хотел поддержать мальчишек: там веселее работа, лучше еда.

«Вот кончит директор, и выйду... — думал я. — Ставлю себя. Первый раз в жизни. Слова найдутся. Или, может быть, прочесть стихотворение, которое я сочинил, пока несли Стаса через поселок к мысу Любви?.. Оно

еще не совсем сложилось, но все поймут. Это будет сильнее моих слов, которые суетятся в голове, и я никак не могу связать их вместе».

— Товарищи! — услышался мне снова голос директора. — Я только сегодня узнал, кто родители Станислава... Он погиб как боец в трудную минуту боя, доказал свою преданность нашему делу. Почтим минутой молчания память юного друга Станислава Коневского.

Директор пошел с холмика, поскользнулся. Его поддерживал секретарь парткома, что-то сказал, наклонившись к уху, и сам влез на скользкую глину. Он говорил немного, четко, резал ладонью воздух. После вышел Русаков. А я все стоял. Приказывал себе: «Вот сейчас ты пойдешь и выступишь». Однако в последнее мгновение не хватало духу: будто шагну — и куда-то провалюсь.

Русакова я слушал плохо — припоминал, пересказывал свое стихотворение, — запомнились лишь слова: «Это был человек большой совести, большой совести...»

Я шагнул к холмику, поняв, что Русаков кончил говорить, и тут увидел: с другой стороны быстро, во весь свой шаг подходит капитан второго ранга. Я остановился, решил выждать — все равно он опережал меня. Капитан второго ранга, как и подумалось, произнес всего несколько слов: «Станислава Коневского мы, моряки, будем считать членом своей флотской семьи. Он достоин этого...» Заметив, что глиняный, притоптанный ногами холмик опустел, я торопливо взобрался на него.

— Товарищи... — сказал и не услышал своего голоса.

— Громче, — кто-то шепнул позади.

— Товарищи, — повторил я. — Я не буду говорить. Я прочитаю стихи. В память о Стасе... Вот такие стихи:

Погиб наш Стас, погиб Коневский,  
И хоть он был не громок, не велик, —  
Из всех советских более советский,  
Из всех партийных самый большевик!

Не поднимая головы, не чувствуя под ногами земли, я прошагал, как перенесся по воздуху, к Дергунову и пришел в себя, когда тот поймал мою руку и крепко, до сильной боли сжал ее. Это он сказал мне, что стихи ничего, что он удивлен — как я набрался духу, и еще: «Мы одни, нас теперь двое...» Я никак не мог поднять головы, Дергунов тронул меня плечом.

— Смотри...

К гробу несли красную крышку. Надо смотреть — последний раз. Навсегда, на всю жизнь.

Жена Кочеточкина концом марлевого покрывала промокнула лицо Стаса, глазницы, в которых стояла темная вода, и Стас будто яснее, строже глянул в туман, серую морось над своей головой. Женщина наклонилась, поцеловала Стаса в лоб. Взяв обеими руками марлевое покрывало, она начала медленно накрывать руки, грудь Стаса. Вот конец покрывала коснулся его подбородка и... охнув, заплакала, зарыдала Тонька. Она упала лицом на марлевую подушку к голове Стаса и, наверное, сползла бы на землю — ее подхватили: с одной стороны Дергунов, с другой — Кочеточкин. Тонька голосила жутко, с причитаниями, надрывным воем. Так голоса́т пожилые женщины.

Никто не знал, что она так любила Коневского. Пожалуй, и сама Тонька не думала, что способна на такие рыдания. Если бы не война, если бы не эта страшная жизнь... Рыдания подступили к ней из какой-то давней, древней старины — сами по себе, и потому жутко было их слушать.

Сначала тихо, затем все сильнее зазвучала музыка. Тонькин голос пригlox. Жена Кочеточкина неторопливо прикрыла лицо Стаса, словно дав ему последний раз посмотреть в белый свет, и на гроб положили крышку. Резко, быстро вбили гвозди. Подошли четыре рыбака, продели красные кушаки под днище гроба, подняли. Понесли. Остановились над ямой, помедлили — мощнее, надрывнее зарыдала музыка, в ней утонул Тонькин плач — и толчками, будто гроб сам осел в землю, начали опускать его. Вот крышка еще видна, вот ее нет... Выдернули кушаки, и четверо других, подступив с лопатами, ударили ими в глиняный холм.

Кочеточкин, его жена, старухи бросили на гроб по горсти земли. Вложили Тоньке в руку кусочек глины, заставили бросить. Бросили мы с Дергуновым. Чтобы покойнику пухом стала земля, чтобы не обижался на живых, не беспокоил по ночам.

Рыдала музыка, и на крышку гроба падали комья мокрой глины. Удары становились мягче, глуше; вот их вовсе не слышно. Лишь музыка, звяканье лопат и тяжелое дыхание рыбаков.

Поставили голубую фанерную тумбочку с красной звездой, присыпали землей. Быстро вырос желтый мокрый холм, его приклепали лопатами, он гладко залоснился. Девчата положили сверху венки из саранок, одуванчиков, зеленых еловых веток.

Смолкла музыка. Моряки вскинули карабины — раздался залп, следом еще два. Эхо прогремело в скалах, укатилось в дым, туман, куда-то к сахалинскому берегу. И наступила тишина. Только слышался ровный шум прибоя внизу — равнодушный, холодный, вечный.

Несколько минут люди стояли, негромко говорили о покойнике, трудной земле, венках. Вдыхали, как бы освобождаясь от непосильного дела, решали, что предпринять дальше. Первыми нашлись старухи: перекрестились на могилу, на красную звезду и одна за другой поковыляли к поселку. Моряков распустили, они пошли к обрыву, посмотреть на камни, на лиман. Все другие двинулись за старухами.

Было холодно, сыро, промозгло. Ватник у меня на плечах промок насквозь, голова заледенела, и весь я будто пристыл на сильном холоде. Натянул до самых ушей кепку. Дергунов сделал то же и еще застегнул пуговицы; неторопливо обошел вокруг могилы, потрогал тумбочку, звезду: крепко ли держатся? Поправил венок, размял подошвой ботинка комок глины. Сунул руки в карманы.

— Пошли, — проговорил потом, словно убедившись, что нашему Коневскому будет здесь вполне хорошо.

Мимо мокрых кустов стланика, темных березовых рощиц, оскальзываясь на расхоженной тропе, зашагали в поселок. Молчали. Я хотел что-то вспомнить, и мне все казалось, что мы бросаем в беде друга, предаем, оставляем в страхе и одиночестве... Наконец вспомнил, удивился: такая ерунда. Неужели я это хотел вспомнить? Сказал сникшему Дергунову:

— Стас говорил: «За семьдесят лет жизни человек выпивает пятьдесят тонн воды, съедает больше двух с половиной тонн белка, две тонны жира, десять тонн углеводов, почти полтонны соли». Как ты думаешь, сколько на долю Стаса досталось?

Он не ответил, переспросил:

— Про что ты?

Нас начали обгонять моряки, их снова выстроили:

с оружием нельзя поодиночке. Я увидел Ильгиза — он кивнул мне, чуть-чуть улыбнулся: держись, не падай духом! Форменки намокли, воротники потемнели, обвисли ленточки, и стало видно, что многие из матросов совсем мальчишки, похожие на нас. Мне захотелось оказаться в строю, в мокрой форменке, с карабином на плече. Промаршировать к берегу, сесть в шлюпку и уплыть на корабль. Чтобы вспомнить о Пунре, о ребятах, о Стасе, как о давней жизни. И самое важное — не идти сейчас в общежитие, где будет пустая кровать.

Дергунов тоже смотрел на моряков, незаметно для себя примерил к ним свой шаг, вынул из карманов руки. Так стремился человек к службе, морю и дисциплине. Главное, конечно, к морю. Мне даже подумать страшно: вдруг нас призовут, и Колька не попадет во флот.

Сбоку прошел мицман в черном мокром кителе, чуть ссутулясь, придерживая рукой золоченый кортик. Я глянул на него: те же пухловатые щеки, мазок усиков под посом, чуть нахмуренные глаза — для строгости; может быть, он бледнее, скучнее сегодня и шагает не совсем по-строевому. Все это я спокойно заметил, как бы зная, что мицман будет именно таким, несколько не взволновался. А на заездке думал: увижу — и сердце разорвется от ненависти. Глупость какую-нибудь сотворю, драться полезу. И пожалуй, не удержался, если бы не это, сегодняшнее... Теперь, вот сейчас, мне все равно: есть на свете мицман или он приснился. Может, и к Вале у меня все перегорело? Пройдет мимо — я гляну на нее спокойно, как на всех других?..

Дождь лил, шуршал — ровный, плотный. Холодной мглой, туманом наполнил пространство от облаков до земли, медленно, неумолимо истязал людей за какие-то их грехи. Так мне казалось. Чтобы спастись от тоски, от холода, от какой-то явной своей вины, я начал придумывать новые строчки к той строфе о Стасе, которую прочитал у могилы. Когда подходили к поселку, придерживал Дергунова.

— Послушай:

Мыс Любви никого не любит,  
Он из камня, глины, песка.  
Сюда влюбляться приходят люди,  
Здесь их хоронят после на века.

— Как?

Дергунов наклонил голову, наморщил нос, вдумываясь в стихи; ответил, отмеряв с полсотни шагов:

— Ерунда, по-моему. «Мыс не любит...» Конечно, сам же говоришь: «из камня, песка...» Люди приходят влюбляться, и их хоронят... За то, что влюбляются? Ерунда какая-то. Вот о Коневском ты ничего сочинил: «Из всех советских самый он советский». Это я согласен. Вообще ты меньше голову ломай, не для мужика такая работа. Моя бабка говорила мне: «Меньше башку ломай, береги голову».

Спорить не хотелось, просто не было никакой злости. Я молча обиделся на Дергунова. Это же не критика, это человек не понимает ничего в стихах. Хороший, настоящий человек, а не понимает. Ему надо начинать не с моих стихов — с Пушкина, которому он, наверное, больше доверяет.

Впереди остановились, ожидая нас, Русаков и Истомин. Мы не прибавили шагу, шли так же расхлябанно, безынтересно ко всему на свете. Пусть ждут, если им надо, или пусть идут дальше: сегодня мы сами по себе, никому не подчиненные. Могут и стерпеть из уважения к нашей беде.

Поравнялись, не сговариваясь, хотели пройти мимо; Русаков окликнул:

— Ребята.

Остановились, не поднимая глаз, сгорбив ватники.

— Ребята, — повторил Русаков, — прошу вас зайти ко мне, отогрессмся немного, посидим.

Что ж, пожалуй, можно и зайти: русаковский барак с краю, до общежития далеко, да и кто там сегодня печь натопил? Уборщица тетя Дуся была на похоронах, сами утром и не подумали о печке. Может, выпить у Русакова найдется, это сейчас очень не помешало бы.

Пошли все вместе. Истомин взял под руки меня и Дергунова, несколько шагов молчал, силло дыша, зависая на наших руках, когда его ботинки оскальзывались, потом заговорил:

— Беда произошла, ребята... Вот думаю все, думаю... Виноват я больше других, однако. Послали вас на заездок. Незаконно послали. Помнишь, как ты свалился? — он дернул меня за руку. — Это будто бы предупреждение мне было: смотри, не забава заездок. Не обратил внимания. Давно у нас ничего не было. Думал:

пусть ребята на деле побудут, подкормятся немножко за лето. Поначалу-то следил за вами, после из виду выпустил. Обалдел от работы. В этот последний раз надо было вас в дежурку отправить. Отправил бы, но замотался. И как он выскочил, Коневский?

— Я тоже хотел... — сказал Дергунов.

— Вот! Тоже! — тряхнул нас за руки Истомин. — И он тоже! Ну, орал я на своих, приказывал. Хотел твердость проявить: нельзя, чтобы кто-то струсил, у нас работа такая. А вас-то не касалось...

— Мы тоже свои, — сказал Дергунов.

— Вот! Свои! Я думал — вы все-таки умные, знаете, как вести себя. За вас отвечают. Думал, а проследил. За работой чертовой... На всю жизнь грех себе на душу принял...

Я впервые видел Истомина не в брезенте и сапогах, чисто выбритого. Кажется, он чувствовал себя неловко — в новеньком шевиотовом костюме, ботинках, серой кепке. И руки бригадира держались за нас, чтобы была им хоть какая-то работа, а так они мешали ему: не руки — выглаженные рукава. Курил он часто, суетился. От волнения и еще с непривычки, наверное, что можно просто идти, говорить и через пять, десять минут, даже через час не надо бежать по заездку, приниматься за дело.

Дверь открыла Елена Васильевна, жена Русакова, посторонилась, пропустила в комнату.

— Хорошо, что зашли, ребята, — проговорила она негромко мне и Дергунову, ловя наши иззябшие ладони теплыми маленькими ладошками. — Погода — стынь лютая. Раздевайтесь, садитесь, поближе к печке. Сейчас обедать будем.

Она понесла стопку тарелок в соседнюю комнату, начала расставлять их на белой скатерти, а мы примостились к теплу. Притихли. Поскрипывая, отмеривали секунды старые часы, кошка лежала на стуле, вышивки по стенам; и голос Елены Васильевны, домашний, нежно-материнский, словно говорил: в мире ничего не случилось, а если и случилось, то не такое уж страшное, даже обычное. И часы идут, и кошка лежит, и горячо топится печь, и сейчас будет обед. И будет у нас завтра день, другие разные дни, и работа, рыба, война...

— Ребята, — сказал Русаков, — мы тут решили: не-

чего вам оставаться в общежитии. Да и помещение надо освободить: две семьи переселенцев приехали. Ты будешь жить у нас, — Русаков положил руку мне на плечо. — А тебя, — он тронул плечо Дергунова, — возьмет Скобцов. Мы договорились. Пообедаем — и можете переносить свои вещички.

«Спокойно, спокойно...» — отстукивали часы; «Тише, тише...» — поддакивали им шаги Елены Васильевны; «Ша-ша-ша...» — тихо переговаривались Русаков и Истомин. А Дергунов дремал. А Валина кровать застелена ровно, без складочки, будто это и не кровать — модель магазинная: на ней давно уже никто не спал. А Елена Васильевна все внушает: «Тише, тише...» — чтобы не разбудить в своей душе боль свою... У нее лишь голос спокойный, все другое: глаза, руки, движения — волнуются, страдают. Она очень переменялась с тех пор, как я был у них последний раз. Только не пойму: постарела или похудела сильно?.. Но все равно: «Спокойно, спокойно... Тише, тише...»

— Ребята, прошу к столу! — позвала Елена Васильевна.

Поднимаемся, идем. И я внезапно, мгновенно, до ледистого холода в груди осознаю: «Коневский умер... Навсегда... Навечно...»

## 10

Нас «списали» с заездка. Как мы ни просили Истомину, ходили к директору — списали. А почему? Чтобы мы не утонули, не погибли? Этого теперь и бояться не надо было: мы привыкли к заездковой работе, бегали по помостам, перебирали сети не хуже других рыбаков. Но так уж заведено: случилось что-то — прими подлежащие меры.

Я оказался в икрянке, возле маленьких пузатых бочат, Дергунова поставили на плот закупоривать большие бочки. Там работали все наши бондари.

Несколько дней я «сачковал» (цедил время, как сачок пустую воду), потому что Ильгиз сам расправлялся с бочатами, не подпускал меня к ним, говорил: «Отдыхай, уедем — поработаешь еще!» Я отдыхал. Брал с собой какую-нибудь книгу, уходил за склады и сараи на

старые, нагретые солнцем бревна; читал, думал, а то и подремывал, слушая грохот рыбозавода. Ко мне приходил Дергунов, курил, ложился на спину и тоже смотрел в небо, которое с каждым днем все больше серело, остывало. Как-то наткнулся на нас Русаков, смутился (ему давно не приходилось видеть такого «санатория»), сделал вид, что ничего не заметил.

И сегодня я пришел сюда, устроился поудобнее. Раскрыл книжку Петра Комарова «У берегов Амура» — первую его книжку, попавшую мне в руки. Я слышал по радио, читал в газетах стихи Комарова, но книжка — другое дело, ее даже в руках держать приятно, будто сам сочинил эти стихи. Нашел стихотворение «Охотник».

В унтах-скороходах из нерпичьих шкур  
Без усталости бродит охотник Саур...

Из-за угла сарая выскочил Ильгиз, отыскал меня глазами, подошел.

— Пойдем, — сказал, — работу сдам. Приказ есть — мы снимаемся.

— Хорошо, — ответил я ему. — Послушай стихи.

Ни птица, ни зверь от него не уйдет —  
Он волка догонит, медведя найдет.  
Ему в этот год повидать довелось,  
Как в лунных озерах купается лось...

— Зачем стихи? — удивился Ильгиз. — Ты пойми, мы уходим. Работу принимай.

— Ты Комарова знаешь?

— Тебя знаю! — рассердился Ильгиз.

Он пошел к плоту, а я только сейчас понял, что моряки снимаются, оставляют Пуир, и мне надо идти и заколачивать бочки.

— Постой! — крикнул Ильгизу. Догнал, поймал за рукав форменки. — Так бы и сказал.

— Так и сказал. Ты спал, что ли?

— Нет... Есть такой хороший поэт, Комаров, в Хабаровске живет, о нашем Дальнем Востоке пишет. Хочешь, я тебе немножко почитаю.

— Не хочу.

— Почему, Ильгиз?

— Нам работать надо, служить. Стишки пускай девочки учат.

— У него о пограничниках есть, о войне...

— Уходим, понимаешь?

Понимаю. Ильгиз. Потому и говорю. Запомни, есть у нас поэт Комаров. Отслужил, уедешь в свою Татарию. А если захочешь вспомнить Амур, горы, тайгу — почитай Комарова. Как будто снова здесь бываешь.

— Ладно. Легко запомнить: мошка, комар...

Ильгиз торопился, молчал. Он думал, наверное, о корабле, службе; куда они пойдут отсюда. Мне же все вспоминались, складывались в стихи комаровские строчки.

Как бы мне не сдать в библиотеку бабке Пикаловой маленькую, в ладонь величиной, книжку «У берегов Амура»? Нашел я ее в ворохе «нового поступления»; бабка полусонно вписала что-то в мою читательскую карточку. Если я скажу, что потерял и вместо нее сдам две новых, толстых — бабка обрадуется. Другим здесь Комаров пока не нужен. Может, после войны пуиряне полюбят его, но тогда много будет книжек Комарова. И вообще мало кто из людей читает стихи. Вот Ильгиз, Дергунов... Да и Коневский говорил, что стихи лишь те нужны, которые к борьбе призывают. А по-моему, все настоящие, даже тихие стихи к борьбе призывают. Читаю Комарова: «От сопок к Амуру спускается мгла, ложится на берег покатый...» или «Течет Амур между двух миров, они сошлись у его берегов...» — и взбудораживаюсь от этих строк. Значит, заряжаюсь борьбой за добро, справедливость среди людей. Надо всем читать стихи, обязательно, и тогда люди научатся понимать друг друга без автоматов в руках.

— Смотри, — сказал Ильгиз. — Вот молоток, набойка, запасные обручи. Заклепки в банке. Чего еще?.. Все в порядке.

— Конечно. Зачем так беспокоишься?

— Чтобы не вспомнил меня плохо.

— Хорошо вспомню.

— Ну, давай покурим.

Подошел икряной мастер Сидоркин, тоже подставил клочок газет.

— Сыпни моряцкого, на прощанье. — Послужавил, ловко свернул одной рукой папиросу. — А мои бабоньки, — он мотнул головой к икряным столам, — разбежались. Флот провозжают.

И правда, работала только бригадирша и еще две пожилых женщины. Да и то как-то вполсилы, вяло переговариваясь, будто и делать особенного нечего.

— Чего рано провожать ушли? — спросил Ильгиз.

— Сказал — так набросились, чуть не загрызли. Клешка зубами закрипела. Вот стерва! — Сидоркин вздохнул и загрустил. — Прогул записать, что ли?

— Не надо, — сказал Ильгиз. — Уедем — жизнь ваша наладится.

— Сыпни-ка еще, — подставил Сидоркин другой, побольше клочок газеты.

— За то, что разладили... — пояснил я.

Сидоркин пропустил мимо ушей мои слова, медленно и крепко свернул сигарку, пожал Ильгизу руку: «Служи, братишка», — и ушел руководить поредевшей бригадой, как на фронте после жестокого боя.

Я проводил Ильгиза до плота. Он побежал к своим — матросы жили в палатках на берегу, — гладиться, переодеваться, готовиться к прощальному митингу, который должен состояться перед концом рабочего дня. Не мешало бы и мне сбегать и сменить рубашку, все-таки особенный случай. Нехорошо, если пуиряне в робах выстроятся — на неуважение будет похоже.

У верстака стояли два бочонка. Быстро заколотив их, я влез на верстак, достал книжку.

«Сегодня не устану, — подумал я, — сегодня никто не устанет».

Читал, впитывал в себя строчки, снова думал о стихах, людях, о женщинах, которые бросили работу, не боясь законов военного времени. Побежали к своим матросам, будут говорить им нежные слова. Или плакать. И все равно они уже никогда не встретятся друг с другом. Зачем знакомились?.. Они не знают. А в стихах обо всем этом говорится, стихи все понимают. Читаешь их, и грустно становится за себя, за людей. Было бы совсем тяжело, если бы стихи не обещали, что когда-нибудь люди станут другими, не похожими на теперешних — как настоящие стихи. Вот Коневский был стихотворением, напряженным, четким. Конечно, с недостатками: словно его сочинили для газеты. Сидоркин — басня: смотри и выводи мораль. Дергунов — начатая морская баллада. А я... я, наверное, лишь заготовка для стихотворения.

Эта игра мне понравилась, я начал прикидывать размеры, формы стихов к Русакову, директору, Вале. Получалось неожиданно, смешно и немножко горько. Пожалуй, долго бы я упражнялся, но меня окликнул Сидоркин-басня:

— Поет! Ну-кась бочки обработай, икра пересохнет!

Бочек было всего две, и икра в них лежала свеженькая, будто ее только что выметала кета прямо на пергаментную бумагу. Сидоркин командовал — хотел отомстить за то, что я подметил, как он выжимал табачок у Ильгиза. Он не любит меня «за язык», я не уважаю его «за длинную руку». Однако работать вместе мы можем, и хорошо работаем: все-таки Сидоркин не злой, быстро забывает обиды, а я прощаю ему как человеку, которому пришлось жить при царском строе.

До конца смены я еще несколько раз перечитал Комарова. Когда старик Кочеточкин вошел в икрынку, я запоминал наизусть стихотворение «Рыболов»: «Лишь цвет заката переймет спокойная вода — ты свой поставишь перемет, закинешь невода...» И так мне нравились эти строчки, что я едва не прочел их Кочеточкину. Но старик был сердит — или со старухой поругался, или печень опять разболелась, — пришлось молча сдать ему смену, про себя пожалев: никогда Кочеточкин не узнает, что вода перенимает цвет заката.

На плоту отыскал Кольку Дергунова, сказал ему, что надо сбегать домой и переодеться: нехорошо провожать морячков в рабочей одежде.

— Чего? — скривил губы Колька.

— Переодеться, говорю.

— Может, еще в баню сходишь?

— Не успею, сходил бы.

— Брось! Пойдем...

— Куда?

— Пойдем, не пожалеешь. — Дергунов схватил мою руку, потащил меня за собой, как младшего братишку, приговаривая: — И чего ты интеллигентик какой-то, можно подумать еще, что твой папа в Большом театре работал.

За штабелем ящиков, у самого края плота, сидели на поваленных пустых бочках матросы. Их было четверо. Одна бочка поставлена на попа, на ней — бутылка, кусок черного хлеба, мутный граненый стакан и большая

надрезанная луковица. Такие сладкие, с синими прожилками луковицы до войны привозили с Украины и называли их «хохлашками». Мелотенький, беленький матросик выковыривал перочинным ножом пробку из бутылки, другой, постарше, с одной лычкой на погоне, повернувшись к нам, спросил:

— Пополнение?

— Дружок, — ответил Коляка.

— Значит, садись в кружок! — Матрос засмеялся, и я увидел у него два золотых зуба. Лицо чистое, чуть смуглое, большие голубые глаза и—золотые зубы... Мне показалось—это очень красиво, недоступно для всех простых людей. Будто матрос только что приехал из-за границы, где прожил много лет.

— Чего смотришь? — спросил он. — Зубы понравились? Хочешь, один отдам. Серьезно, не жалко. До призыва я на приисках работал, ну и вставил для моды. На здоровые зубы насадил. Дурак, правда?

Я промолчал, потому что не знал, шутит матрос или на самом деле считает себя дураком. Все равно ему очень шли эти золотые зубы, без них он не был бы таким особенным, ни на кого не похожим. Пожалел себя—почему не догадался «подзолотиться».

Припомнились прииски, баксы, ребята... Тетка писала, что Клима Сорина взяли в армию, попал на фронт, вернулся израненный, женился на Катьке, в конторе работает, пьет... Золотозубый матрос почему-то напомнил мне Клима... Другие, Врио и Самосуд, на бутаре теперь, в ФЗО не попали: один по слабости здоровья, другого отец сумел дома оставить.

— Разливай, Митя, — сказал старший матрос беленькому матросику. — Сдвинемся, ребята. Коляка, давай сюда и дружка прихватывай.

«Разливай...», а стакан был всего один, и беленький наполнил его на четверть, перочинным ножом аккуратно разделил хлеб и луковицу на шесть частичек—поровну, словно на аптекарских весах отмерял.

Подвинулись к бочке. Запахло разведенным спиртом, хлебом, луком. Стало тесно и всем хорошо. Заговорили кто о чем.

— На прощание!

— За дружбу...

— Пусть вечно живет и ловит рыбу Пуир!

- Хорошо мы здесь работали.
- Позагорали!
- Еще бы месячишко...
- Сколько девочек!

Старший матрос протянул к стакану руку — ладонь у него оказалась узкой, белой, — как-то нежно, по-женски коснулся стекла.

— Ну, я первый, — и мотнул головой на свою лычку. Выпил, повернулся ко мне. И пока стакан шел по кругу, рассказал: — Понимаешь, я на приiske работал, золото мыл. Когда служить призывали, взял себе на память самородок, граммов пять весом. Чтобы другим показывать. Еще на берегу, в полуэкипаже украли. А то бы и тебе показал. Натуральный. А зубы — это глупость. Свой, родные, всегда лучше.

Я решил не говорить ему, что и сам жил, работал на приiske. Зачем? Вдруг ему станет неловко — как школьнику поведал о дорогом желтом металле... Да и времени не было для долгих разговоров.

Беленький точно разделил спирт, вылил себе остаток, и бутылку зашвырнул далеко в воду. Она всплеснула, будто взорвалась граната. Съели хлеб, лук, заговорили веселой.

А на рейде, в тихом, сонном свете лимана стоял корабль, тяжелый и праздничный, удивительно нерабочий. Он уходил в море, появлялся опять. И вот уже сутки стоит без движения — ждет возвращения своего «десанта». Красивый корабль, гордый, недоступный. Даже не верится, что такие простые ребята служат на нем, и без них он не может уйти ни в какие дальние плавания, сражения.

Дергунов, щурясь, грустно посвистывая, смотрел на корабль; запомнил, наверное, каждую башню, рубку, четкий серый силуэт, чтобы потом, когда призовут служить, попроситься точно на такой же корабль.

— Пошли, ребята, — сказал старший матрос. — Там уже шум-гам: митинг собирается.

Весь плот, приплоток, площадки перед засольными цехами были заняты пуирянами: рыбаки, женщины, ребяташки. Пришли даже древние старики, одного держали под руки две молодые бабы. И шум-гам был действительно плотный, как на ярмарке в праздничный день.

На свободном месте возле края плота уже стоял

конторский стол, накрытый красным материалом, графин с водой, несколько стульев. Это придавало некоторую строгость обстановке, и люди, находившиеся ближе к столу, вели себя сдержаннее, не кричали.

Матросы смешались с пуирянами; их белые форменки, бескозырки и синие воротники особенно свежо и ярко выделялись среди серой толпы: многие из пуирян не успели или, по военной привычке, не захотели переодеться. Но девушки принарядились: у кого платок цветной, у кого кофточка, воротничок чистый, а нет ничего этого — щеки слегка подрумянены. Девушки теперь красились, потому что их сильно обесцветила война.

Наши друзья-морячки «рассосались», я видел лишь старшего матроса, он держал за обе руки молодую худенькую женщину с большими, прямо-таки фарамиглазами, что-то ей наговаривал, наклонялся, быстро целовал. Мне казалось, что женщина неотрывно смотрит на его зубы, восторгается «золотой», резкой улыбкой.

Мы остались одни, пошли ближе к столу. Кто-то потянул сзади Дергунова за рукав, оглянулись — Майка Цюпа. Сияет, довольна, что разыскала Кольку на такой всепуирской сходке. Подмалевалась, синий платочек на голове. Это для него все, никакие клеши и ленточки с якорями не подействовали на нее. Железной оказалась маленькая Майка. И сейчас пучит свои глазенки, щебечет что-то, только бы угодить губатому Лосю. А он будто не замечает ничего, хмурится, смотрит на корабль или еще дальше — в открытые моря и океаны. И все равно его выдают глаза, движения, голос грубоватый: он рад, до обалдения рад, что Майка сама нашла его, что виснет на его руке, что он может стоять вот так и всем ста матросам показывать себя, красивую девочку Майку.

Я хотел бросить их, пошататься один, но подошла Тонька, как-то тихо обрадовалась нам, каждому пожала руку. Она не переоделась, не подкрасилась, прямо с гидротранспортера спустилась сюда. Я не видел ее со дня похорон Коневского и теперь удивился: она почти не переменилась, как стояла у гроба с припухшими глазами, потемневшим лицом, такой и осталась. Шестнадцатилетняя старушка. Разве мог кто-нибудь предположить, что толстушка Тонька, которая заливалась смехом, если покажешь ей мизинец, так страшно пере-

живет смерть Стаса. Просто-таки надорвалась. Мне сделалось неловко: мы с Дергуновым как-то уже свыклись, обдумали все и решили — у каждого своя судьба.

— Стас бы тоже выступил, — вдруг проговорила Тонька, указав глазами на красный стол.

Я живо представил себе: Коневский идет к столу, упирается кулаками в красный сатин, медлит минуту и говорит... Говорит, как бросается на пулеметную амбразуру, забывая себя, товарищей, видя только цель — ту цель, которая всегда впереди, которая видится лишь ему и ради которой он никого не пожалеет.

— Стас по-другому не мог, — сказал я.

— А мы?

— Не в этом дело. Ты же знаешь...

— Знаю теперь, — тяжело вздохнула Тонька.

Из конторки к красному столу вышли директор, заместитель, капитан второго ранга, секретарь парткома, Русаков и другое начальство. Сели, но тут же поднялись, потому что кто-то захлопал в ладоши, его поддерживали и получились бурные аплодисменты неизвестно в честь чего. Просто многие выпили и хотели, чтобы прощание было веселым, громким.

Директор заулыбался, закивал, радуясь всеобщей активности, а заместитель, когда стихли аплодисменты и шум, объявил:

— Слово предоставляется директору завода!

Директор говорил о достижениях, о помощи моряков, о двух годовых планах, которые уже выполнил рыбозавод, о фронте, победе, премиях лучшим рыбакам и обработчикам, о подарках морякам. Он говорил долго и, как всегда, толково.

Я люблю слушать директора: волнение возникает, какой-то зябкий холодок, словно тут же ринешься на подвиг. Но сейчас одним ухом ловил его слова: Тонька проговорила, что получила письмо от Вали; почувствовала, как я насторожился, и начала медленно, с неохотой рассказывать; сбивалась, переходила на шепот, чтобы слышно было только мне. Я ловил каждый ее звук, ждал — вот она скажет очень важное (ну хотя бы, что Валя все обдумала, пережила, что ей страшно возвращаться на Пуир; или вспомнила обо мне, привет передала), однако ничего такого не услышал. Все было прощ: Валя живет на Озерпахе у тетки, в хорошие дни

загорает, купается, часто ходит в кино. Сшила новое платье. Озерпах против Пуира — почти город, и жить там вполне можно. Под конец Тошка поняла, что проболталась совсем напрасно, от своей доброй души прибавила:

— Всем приветы передала.

— Спасибо, — сказал я. — Мне все равно.

Тошка с осторожным неверием посмотрела на меня.

— Все равно, — повторил я и подумал, что мне и в самом деле почти все равно, как тогда, в день похорон Коневского. ▲ мое волнение — больше от привычки; каждый раз после него пустее, свободнее делается на душе.

Директор перечислил всех моряков, отличившихся «на горячем трудовом фронте», вспотел и совсем измял в руке парусиновую фуражку. Потом выступил молоденький парнишка от комсомола, от профсоюза и рабочих взял слово Русаков. Свою короткую, спокойную речь он закончил, слегка поклонившись морякам: «Спасибо, ребята, за братскую помощь!»

Позади нас, в толпе, засмеялись.

— За братскую, слышь? — кхекая, проговорил хилый мужик. — Мишман-то его дочку по-братски...

— Замолчь, бестыжий! — сказала ему женщина.

— При чем здесь это... — помогла ей другая.

За столом президиума дзинькали карандашом о графин, заместитель директора поднялся, попросил соблюдать тишину. Оказывается, выступал уже капитан второго ранга. Он смущенно хмурился, отворачивал лицо к лиману, где в легком тумане мутнел, словно отдалялся в море корабль. Капитан второго ранга привык, конечно, к дисциплине, порядку, чтобы все по уставу было. А у нас народ разболтанный, поговорить любит, к тому же перед вечером многие выпить успели. Непонятно: где столько спиртного люди добывают?

Капитан второго ранга поблагодарил жителей поселка за гостеприимство, добрые чувства; сказал, что моряки никогда не забудут прекрасное слово «Пуир»; пожал руку директору, они крепко обнялись. После этого заместитель взял список, начал выкрикивать фамилии матросов. По одному матросы подходили к столу, и директор вручал им, под громкие аплодисменты, ценные подарки: или сто рублей денег, которые каждый,

кто получал, тут же славал в фонд обороны; или вышитые нурекими женщинами кисеты и носовые платки. Трём достались толстые шерстяные носки, матросы, поддерживая их в руках, оставили на столе: попросили отослать бойцам в действующую армию.

Митинг окончился, капитан второго ранга объявил, что военнослужащие через полчаса должны собраться на правом приплотке. Значит, полчаса на прощание. Толпа зашевелилась, заговорила, расплываясь во все стороны.

Я увидел спины Дергунова и Майки Цюпы — они пробивались к проходной; Тонька рядом со мной разговаривала о Стасе с какой-то пожилой, сгорбленной женщиной. Я подумал, что очень тяжело будет идти в поселок, слушая Тонькин надорванный говор, — в душе она все еще голосит, — и решил отыскать Ильгиза, проститься с ним.

Нашел его у штабеля бочек-икрянок (наверное, потянуло в последний раз глянуть на свою работу). Он стоял возле девочки в голубой кофточке и что-то ей рассказывал, весь двигаясь, словно приплясывая, и взмахивал руками.

— Привет! — сказал мне Ильгиз, забыв, что сегодня мы с ним уже виделись. — Познакомься, Соня!

Соню я знал, она работала медсестрой в больнице, но все равно пожал ей руку, чтобы сделать приятное Ильгизу. Она засмеялась и слегка покраснела. Вообще Ильгиз ни с кем не встречался и не дружил, только закупоривал бочки. Это точно известно мне. И вот знакомит с Соней, будто сто лет ее знает; и смутилась она. Смешной: многие прощаются со своими девушками или женщинами и ему захотелось. Хоть поговорить, руку поддержать, адресами обменяться. Чтобы как у всех было, чтобы не жалеть после, что зря на берегу побывал. Я понял его, немного огорчился: не придется на прощанье поговорить, — потискал ему руку и пошел к проходной.

— Пиши! — крикнул мне вслед Ильгиз. — Потом приходи к нам служить!

Везде стояли, сидели пары. Одни торопливо говорили, почти не слушая друг друга, другие молчали, напряженно, чтобы как-то продлить, ощутить время; держались за руки, глядели в глаза, притрагивались ладонями

к лицам, словно желая разгладить печаль; были слезы. Почему-то плакали больше женщины. Одна стояла с ребенком, маленьким, напуганным, в телогрейке до земли, и так всхлипывала и взрывалась, что матрос, здоровенный, быковатый парень (видимо, из деревенских хохлов), бурел от стеснения и оглядывался по сторонам. А вот и девушка плачет, молча, глазами — они тают, как ледышки в оттепель.

Вышел за проходную, оставил все это позади себя. Почувствовал — теперь простился с моряками, и медленно двинулся в гору, домой.

Жил я у Русаковых, они поставили на кухне кровать, отгородили занавеской, дали стул. К стене я прибил полку для книг, гвоздь для пиджака и рубашки, в голубую тумбочку, которую завхоз дядя Костя разрешил мне взять с собой, положил все другое свое имущество. Прихватил с собой плошку: ее я зажигал после двенадцати ночи, когда гасло электричество. Жить бы можно вполне. И Елена Васильевна добрая, сочувствующая женщина. Но мне трудно: я стеснительный, даже дикий какой-то. Боюсь помешать, не угодить. За столом есть не могу спокойно, а карточки продуктовые пришлось отдать Елене Васильевне: нехорошо отделяться, если люди в семью пригласили. Мне бы в столовой питаться, пусть там хуже еда, зато вся до крошки своя.

Я не хотел уходить из общежития, и Дергунов соглашался остаться: привыкли. Русаков рассердился (они уже решили на партийном собрании, кому кого взять), пошел со мной, вместе перенесли мои вещи. И получилось: сделал человек доброе дело — пригласил к себе жить, а мне не очень хорошо. Это еще Вали нет. Она скоро придет, ей в школу идти. Встретимся на кухне... За столом три раза в день будем встречаться. Так мне и надо. А может, Русаковы пригласили меня, чтобы Вали устыдить: «Вот, он нам тоже родной...» Все равно — виноват я, только я. Зачем поддался, почему попал именно сюда? Любои наш бондарь примет квартиранта. Я начинаю понимать, что много зла люди делают себе и другим по своей слабости: как бы не обидеть кого-нибудь...

Я пришел к бараку, остановился.

Я всегда медлю, выжидаю, прежде чем войти к Русаковым. Словно может что-то произойти, и мне неза-

чем будет к ним входить. Открываю дверь, когда продрогну или соседи начнут приглядываться: чего он топчется, как жулик?

Сегодня я остановился еще и потому, чтобы посмотреть на корабль. Шлюпки уже причалили к нему, их подняли на кронбалки. На мачтах зажглись сигнальные огни, и башни, надстройки, орудия четче выписались на синеве сумерек. А потом резанул воду прожектор, прошелся от сахалинского берега к Пуиру, ослепил плот, катера, дома на горе и, медленно развернувшись, установился в открытое море. Это был прощальный взгляд корабля.

Еще через несколько минут он сдвинулся, едва заметно начал отдаляться в ночь, в огромное, сырое, ветреное пространство, имя которому — океан.

## 11

На сахалинских горах сошел и вновь появился снег. Тонкий, синеватый, будто кто-то застеклил вершины. Когда сошел снег и когда появился — я не заметил. Почти все лето были туманы, сырая дымка от большой воды и дождей, а сегодня я вышел и в осеинем холоде за лиманом увидел горы — синие, застекленные. К ним уже прилетела, на них угнездилась зима. Она будет смотреть оттуда на лиман, на наш берег, на великий простор вокруг — бело, холодно напоминая о конце тепла, зелени, живой воды. Потом спустится к подножию сахалинских гор, пройдет по тундре, переправится через лиман и накроет снегом пуирский мыс.

Сегодня иду в бондарку. Мне кажется, что я не был там очень давно — так давно, что позабыл, как держать в руках наструг, не смогу сделать бочку. Я привык к работе рыбацкой — свободной, рискованной, и сама бондарка стала представляться мне глухой закупоренной бочкой.

Иду медленно, чтобы заранее, постепенно подготовить себя к верстаку, инструменту; думаю лишь об этом; выгоняю из своего тела летнюю расхлябанность, подтягиваюсь, настраиваюсь на ритм, четкость, чтобы первый день не показался мне слишком тяжелым, ничего горького не осталось от него.

За поворотом улицы свернул вниз, под гору, и уви-

дел бондарку. Она стояла на пустыре, одиноко, я едва узнал ее. Тут же понял, почему: вокруг бондарки всегда громоздились штабеля бочек, она едва виднелась из-за них, а теперь здесь — ни одной бочки. Все взял рыбозавод, ему еще и не хватило.

Бондарка уже погромыхивала изнутри, в самом деле напоминала большущую пустую бочку, скатывающуюся под гору.

Вошел, остановился у порога. Как тогда, в первый раз, только что прибыв из ФЗО. Почти все бондари были на местах, кое-кто пробовал инструмент, визжало точило, и мой сосед, мастер Комлев, обстukiвал щелястый старый дупель, оставшийся с весны. Пахло стружкой, топилась железная печь, вырабатывая особое, смолистое, бондарное тепло. Ощувив, что потихоньку оживает ко всему этому моя душа, я направился к своему верстаку.

Дергунов подколачивал рубанок, шурил глаз, просматривал лезвие на свет.

— Ну как? — спросил я.

— Как в Калифорнии, — ответил он. — Тепло, светло и мухи не кусают.

— Точно! — засмеялся Скобцов. — Лучшее место на Пуире. Пришел — на свет божий родился. Пораньше пришел, никого не было. Сел на верстак, слушаю — дерево трещит, дышит... Нет, ребята, кому как, а мне морская сырость кости выкручивает! — Скобцов постучал черенком молотка по своим коленям.

Летом я редко видел Скобцова — он работал то на плоту, то на холодильнике — и сейчас, приглядевшись, отметил себе: он и вправду как-то отсырел у моря. Тепло поджарое, расплылось, словно он побыл на курорте, движения замедлились, походка стала неторопливой.

— Вот когда бегаю возле бочки — я в норме, — сиял улыбками Скобцов и понемногу начинал суеиться — находить самого себя, обычного, шумного и крикливого бондаря Скобцова.

Человек радовался, человек вернулся к своему делу: ничего он так не любил, как свой верстак, дерево, инструмент, бочки.

Я сел на услон, достал топор, наструги. Начал пробовать лезвия. Удивительно: инструмент, самый острый, тупится от пыли и безделия.

— Подправим? — крикнул Колька.

— Давай.

Но оба точила были заняты, решили отложить это на после обеда. Я вынул из-под верстака клепку, пропил по ней настрогом, отделил широкую, с корой и желтой древесной щепу и понял: можно, очень даже можно любить бондарную работу. Она древняя, лесная, всегда была нужной человеку, и потому — стоит взять в руки инструмент, почувствовать под ним дерево — душа твоя радуется хорошему, человеческому делу.

Из конторки вышел Русаков, приколот к доске на «площадке собраний» новый график выполнения плана, несильно ударил в рельс. Значит, будет летучка, да и пельзя без нее сегодня: первый рабочий день в бондарке.

Встали, собрались, посмотрели график — нормы согласно разрядов и личных обязательств.

— Товарищи, — заговорил негромко Русаков, — позвал я вас на одну минуту. Совещаться долго вроде не о чем. Хочу поздравить с сегодняшним днем, поблагодарить от имени дирекции за хорошую работу на путине. Желаю каждому успеха в нашем главном труде... Может, есть у кого вопросы?

Русаков сказал это спокойно, как-то непривычно уныло, опустил руки по швам. Был он в своем прежнем синем кителе с медными морскими пуговицами, брюках навыпуск, брезентовых ботинках, словно не было лета, работы на плоту. Только кожа на лице и руках у него сделалась густо-коричневой, шершавой, как у старого рыбака-нивха.

— Ну, товарищи? — Русаков свел брови на переносице, как от боли, и мы поняли: он сильно устал, ему бы хоть неделю передохнуть, отоспаться, отойти в тишине и беззаботности. Наверное, то же думал он о всех нас и не мог быть веселым, хоть и понимал, что никому не сможет помочь.

— У меня, — слегка выступил вперед мастер Кочеточкин.

— Говори.

— Вот какое дело: у нас в семье остались кое-какие вещи Стасика. Рубашки, брюки почти что новые, галстук, книг штук пять... Надо бы определить куда-то.

Русаков покрутил голову, думая, а Кочеточкин, как

развел руки, так и держал их, будто ловя что-то невидимое. Действительно, часть вещей Коневского осталась у Кочеточкина, семья которого шефствовала над Стасом; к ним он ходил по воскресеньям на обеды и так прижился, что и рубашки ему там стирали и брюки гладили. Иногда ночевать оставался.

— Ребята, — сказал Русаков, повернувшись ко мне и Дергунову, — может, возьмете себе, на память... А нет — оперуполномоченный опишет.

Я не знал, что сказать, потому что не умел быстро думать: мне надо все взвесить, прикинуть так и эдак, чтобы не было после неловко и главное — самому не страдать от собственной совести. Я соображал, а Дергунов спокойно проговорил:

— Возьмем.

— Решено, — кивнул Русаков, спросил: — Все, товарищи?

— Все.

— Будем работать.

Вернулись к своим верстакам и теперь дружно, с большей охотой принялись за дело: тесать клепку, строгать, точить инструмент. Мой сосед Комлев прямо-таки сердито начал обстукивать, стягивать обручами свой пересохший, оставшийся с весны дупель. Словно нам не хватало этой короткой летучки, слов Русакова: «Будем работать».

Я взялся тесать клепку, Дергунов тоже. Скобцов сразу уселся на услон и стал строгать неотесанную клепку: широкие, толстые щепки, как из-под топора, разлетались в стороны. У него много силы, он может позволить себе это, да и соскучился человек по своему родному занятию, рад, что снова у верстака.

Скобцов нравится мне. Он понравился с первого дня, зимой, когда мы пришли в бондарку, и я не разлюбил его до сих пор. Он весь такой, какой есть. Страдает на глазах, сочувствует, никого не стесняясь, ругает себя при всех. Говорит то, что думает. Иногда похож на ребенка: не понимает чего-нибудь и улыбается. Любит выпить, но не прячется, есть — угостит кого угодно. Даже как самосад «рашпиль» курит, мне приятно смотреть: с треском, смачно, от удовольствия глаза влажнеют. Для нас с Дергуновым он никогда не старший — просто товарищ, и я завидую Кольке: он у Скобцова.

Тешу, поглядываю на верстаки, вытянувшиеся вдоль стен бондарки, вижу — поднимается в воздух древесная пыль, закипает на свету у окон, и все сильнее, гуще пахнет пиленным, рубленным деревом, лесом, смолой. Бондарка, остывшая, запустевшая летом, приходила в себя, обретала свое истинное, извечное существо. И удивительно, я это замечал раньше, переживаю сейчас вновь: чем больше бондарка наполняется своими запахами, звуками, пылью, тем быстрее я становлюсь бондарем. Вот уже чувствую лезвие топора, могу рассчитывать взмахи, ощущаю древесину — как она отделяется по слоям, охотно уступая моей силе.

Отесываю тридцать, с запасом, клепок. С непривычки болит кисть руки, передыхаю, сажусь строгать. Пока тесал, левая рука отдыхала, сейчас больше налегаю на нее. Строгать все-таки легче: сидишь, и весь корпус тебе помогает. Каждую клепку сверху — прямым настругом, снизу — выгнутым, по торцам — снова прямым. Поторавливаюсь, однако аккуратно строгаю, даже нежно под конец: после будет проще шмыговать.

Дергунов тоже строгают. Он снял рубашку, спина, плечи, руки жирно лоснятся от пота, как у борца на ковре. Тело мускулистое, красивое. Мне завидно: я стесняюсь снимать рубашку — никого не обрадуют мои кости. Тело у Дергунова красивей, чем его лицо. Так мне кажется. И не будешь знать настоящего Кольку, если не увидишь его мускулы.

— Лось! — говорю я. — Дострогаем — попьем водички?

— Ну! — соглашаясь, трясет головой.

В бондарке становится шумнее, громче. Кто-то уже клепают обруч для дупеля — колоколом гудит наковальня. Комлев управляет дно в первую бочку — бьет как в барабан. Мне опять вспоминается: бондарка похожа на огромную бочку, только сейчас мы все внутри нее, и она гремит и охает, скатываясь по бесконечному склону.

Мастер Комлев сделает первую бочку, через полчаса подправит ей бока настругом и оттолкнет на середину цеха, к «площадке собраний»: каждый может посмотреть, потрогать крепкую, изящную, комлевскую бочку. Первую бочку в сезоне. Может быть, Комлев умышленно оставил с весны один дупель, чтобы вот так, небреж-

но, первому оттолкнуть от верстака бочку? Не знаю, трудно разгадать, а сам Комлев не скажет — угрюмый, аккуратный, деловой и дисциплинированный человек, будто под спецовкой у него сфрейторские потоны. В соревновании первое место занимает. Сто пятьдесят процентов — его нормальная выработка. Из всех «броневиков» Комлева самого последнего возьмут на фронт.

Мы идем к бочонку с водой, на котором кем-то давно написано «пресная водица», звеним кружкой на цепи, пьем. Вода, кажется, не переменилась с весны — такая же теплая, пахнет прелым деревом. Может, сторожиха забыла налить свежей? Или бочонок за многие годы закис? Переменить бы, да невозможно: новые в план зачисляются.

Садимся покурить возле ящика с песком, Колька вдыхает дым, поигрывает американской зажигалкой, а я смотрю на нашу стенную газету «Бочкой по фрицу!», первый номер которой до сих пор висит в цехе. Летом было не до газет, не до критики. Бумага выцвела, запылилась, но карикатуры хорошо видны, и подписи можно разобрать. Я их сочинил в стихах. На Майку Цюпу, Нарышкина, Скобцова... Интересно, где сейчас Юрка Нарышкин, в каких частях служит, к какому старшине попал? А Сема Ирич?.. Хоть бы что-нибудь узнать о них, словно без вести пропали.

Напротив курилки — верстак Семы Ирича, пустой, пыльный. Бывало, придешь воды попить — и Сема тут как тут; любил этот маленький толстый человечек дурака повалять. Рядом с ним — рабочее место Нарышкина. Там и сейчас еще лежат изуродованные топором, окаленные клепки; обруч, криво склепанный. И жил Юрка так же — вкривь, вкось; под конец обворовал нас. Дальше, за мастером Кочеточкиным — верстак Стаса Коневского... Вот бы написать над каждым верстаком, вечную память оставить: «Занимал место Сема Ирич, трусил, убежал домой к маме», «Отбывал рабочий срок Нарышкин, едва дождался призыва в армию», «Работал комсомолец Стас Коневский, трагически погиб за идею».

— Слышь, ты что, уснул? — теребил меня Колька, поднося зажигалку; оказывается, папироска моя сгорела наполовину и потухла. — Знаешь, подумал сейчас, — Колька жалобно прижмурил глаза, — давно не писал

матери. От нее получаю, сам не пишу. Скоро мать на рельсы пошлет. А ты как?

Будто не знаешь.

Плохо.

— Хуже не бывает.

— Давай сегодня напишем, поручение такое себе дадим. Завтра конверты друг другу покажем.

— Согласен.

Я шмыговал клепки, потом составлял дупели и думал о матери. Дергунов очень большое ворохнул: знаешь, помнишь, что надо писать, и все откладываешь. Не обидится мама, поймет — работа, путина. Да и что может такого случиться? Но вот сказал Дергунов — сердцу тесно стало в груди, заныло, затосковало. Мне трудно. А ей, маме? Она одна. Одна получила похоронную, пережила смерть отца. Сестренка маленькая, другая — в Хабаровске живет. С ними не поговоришь. А тут еще — думать, думать обо мне... Сколько раз клялся, божился хоть раз в месяц писать домой — и все без толку. Не человек — бочка дырявая.

Ударили в рельс, и грохот в бондарке оборвался. Неожиданно резко наступила тишина, лишь шуршали стружки, переговаривались бондари: так привыкли — на счету работа, на счету минуты отдыха. Надо сразу бросать, потому что с обеда каждый обязан вернуться точно к сроку. Война ничего не прощает.

На улице было сумрачно, сыро. С моря занесло туман, он заморосил, навалился на сопки, тайгу. Все утонуло, как в безмолвной пурге. Дома еле проглядывали сквозь движущиеся космы тумана, и казалось, сами неслись куда-то по горбам сопки, хотели вырваться к свету, простору.

Пообедав, я шел к бондарке и думал о еде. Я не голоден, а сказал Елене Васильевне, что вполне сыт. Съесть я могу много, однако не знаю, сколько можно, чтобы не обидеть Русакова и ее, Елену Васильевну. Мне трудно знать свою норму, законную, к ней и желудок привыкает. Как мне сказать Русаковым?.. Иначе я буду сидеть всю зиму, не выдержу работы. Иду, нервничаю. Первый день в бондарке — и живот пустой. На площадке на заездке было легче: нет задания, не выматываешься к концу дня до тошноты, и еды больше, рыбы вдоволь.

Меня догнал Дергунов, сказал:

— Начал письмо писать, вечером закончу.

Ему хорошо, у них никаких церемоний: сядут и все съедят, что подаст на стол жена Скобцова. Добавки потребуют. По вечерам сено для коровы ходят косить, иной раз на плот подвернут — рыбки достанут. Умеют жить, не то что мы, интеллигенция: газетки почитываем... Конечно, я не заговорил об этом с Колькой. Думать сколько угодно могу, но жаловаться — никогда до такой степени не распускаюсь. Не люблю жаловаться и слушать жалобы. Каждый устраивается по своим способностям или нахальству. Плохо — рвись к лучшему, слабоват — терпи.

В бондарку пришли за две минуты до конца обеденного перерыва. Я не стал курить, сразу — за работу. Осадил обручи на двух дупелях, составленных до обеда, принялся отделявать торцы. Через полчаса уже не помнил о еде (она меня нервирует, когда я вижу ее), а два часа спустя вставлял донья в первый дупель и потихоньку напевал:

Трам-там,  
Тра-ля-ля!  
Много дел  
У короля!

Дергунов немного отстал, он по-прежнему технически слабоват. Грубо работает, мускулами берет, они его выручают. Поэтому, наверное, голова у него всегда отдыхает. Мне так нельзя, я больше смекалкой, «малой кровью» — рассчитываю, хитрю, заранее примериваюсь. Учусь у мастера Комлева: сухонький, конторский на вид человек, работает же за полтора Скобцовых.

Подошел Русаков (у него привычка: время от времени обходить цех, проверять нашу старательность), осмотрел мои дупели, провел ладонью по их бокам, промолвил вполголоса:

— Не горячись, успеешь.

Он жалеет меня, напоминает: силу рассчитывай, как спортсмен на дистанции — чтобы перед финишем не упасть. Не забывайся!

Остановился около Дергунова. Ему он скажет другое — то же, что всегда. Уже сказал:

— Нажимай, Никола!

Значит, надо Дергунову сноровки прибавить, ему не

повредит: сила есть. К шести часам справимся с нормой и уйдем отдыхать. Очень не любит Русаков, когда кто-нибудь из нас, фезеешников, задерживается. Мастерам еще позволяет повозиться у верстака, нас гонит, ворчит: «Домой, домой... Ужинать, спать». Были случаи — сам оставался, доделывал наши бочки.

Я вставил донья в дупель, наклепал верхние обручи и оттолкнул от верстака первую свою бочку в этом сезоне. Колька глянул, покраснел от злости на себя.

Присев на услон, решил подождать: не хочется мне, чтобы Лось психовал, лучше когда друг в хорошем настроении. Обоим лучше. Просто он забывает, что я окончил ФЗО по пятому разряду, что сила не самое главное в жизни.

Резким пинком Дергунов оттолкнул на середину цеха свою, не очень красивую бочку. Они у него крепкие, но некрасивые — такой он «нехудожественный» мастер. Покурили вместе, отдыхая, не тратя сил на придумывание слов. Молча разошлись.

Строгали, пилили, клепали обручи; ускоряли, учащали движения, некогда было смахнуть пот, выпрямить спину. И вот звякнул рельс. Я зачищал бока своей бочке, Колька стягивал свою обручами. Русаков издали возрился на нас, и мы разом бросили инструмент на верстак.

Как всегда, по прежней привычке, присели на две-три минуты: остыть, отдышаться, прийти в себя. Чтобы лучше видеть, легче говорить. Послушать горячее гудение в теле, — и как бы оставить скопившуюся за день тяжесть здесь, в бондарке, среди дерева, железа, в дыме, загустевшем от напряжения воздухе.

Встали, медленно сбросили фартуки, накинули на плечи пиджаки, медленно вышли на улицу.

Лиман в тумане, мороси. Коротко, тупо бьет в берег прибой, шуршит, перекачивается галька. На плоту работает болиндер, еле видимо светятся огни. А бараки все бегут сквозь космы тумана в какие-то лучшие, неведомые края.

По домам расходиться рано (да и хозяевам какое-то время надо побыть без нас), на улице холодно. Стоим, промываем себе внутренности мокрым воздухом, думаем: куда бы податься?

— Пойдем к Майке, — говорит Дергунов. Неуверен-

по говорит — так, чтобы я отказался или прибавил твердости ему.

Пойти к Майке Цюпе совсем неплохо: чаем угостит, пластинки покрутит, можно в шашки сыграть, в карты переброситься. Майка погадает мне на бубновую даму. Кольке на себя — трефовую. Будет хмуриться, надувать губы, серьезно веря в «тоску сердечную, казенный дом и дорогу дальнюю». И тепло будет, тихо, и кошка настоящая, живая у Майки есть. Но есть у нее и мама. Она работает на плоту засольщицей, к вечеру утомляется, рано ложится спать. А комната одна...

— Нет, — говорю я, — сам знаешь...

Мы идем в сторону клуба, не сговариваясь: больше некуда. У входа толпа, все не помещаются. Сегодня какое-то кино. Толстая заведующая продает входные билеты. Когда я вижу ее, думаю: «Как не стыдно иметь столько лишнего тела в военное время». И билет не хочется покупать — кажется, что деньги она кладет в свой карман. Однако мимо нее не прошмыгнешь, разорется на весь поселок. Занимаем очередь, Дергунов спрашивает:

— Какое кино?

— Про войну.

Конечно, про войну. Других фильмов у нас не бывает. О любви и дружбе «Волгу-Волгу» зимой показывали. Да артисты приезжали, песенки пели. Можно и про войну, это ничего: война для всех война. Беда только — фильмы старые, о планомерном отступлении и зверствах фашистов. Теперь наши в Восточной Пруссии немцев бьют. Вот бы что посмотреть после трудового рабочего дня. Для поднятия духа.

Подходит очередь, берем входные.

## 12

Было воскресенье. Русаковы ушли в гости к директору: у дочки директора родился ребенок, — и я сидел один на своей кухне. Читал Комарова, пробовал сам что-нибудь сочинить, получалось очень похоже на Комарова — голова болела от беспомощности. Достал общую тетрадь, новенькую, с одним испорченным листом, — я так и не вписал в нее ничего после больницы, — раз-

вернул, помедлил: на что употребить эту драгоценную бумагу? Переписать в тетрадь все свои стихи или все-таки решиться — и каждый день, что бы ни случилось, за минуту до смерти, — вести дневник?

Бумага пугала, я знал: любое слово, кажущееся мне хорошим (пока ношу его в себе), попав на бумагу, выйдет, и завтра мне стыдно будет прочесть его. Наверное, поэтому я никогда не записываю свои стихи. Боюсь увидеть их на бумаге.

Трогаю листы, закрываю и снова открываю тетрадь, а за окном идет чистый лохматый снег. Он устелил весь склон, дорогу, тропинки. Он похож на белую бумагу, по которой ходили люди, выводили ногами строчки. На крышу соседнего барака села ворона, пробежала и тоже нацарапала что-то. Идет снег, стирает каракули на белой земле, но опять и опять их выписывают люди, собаки, птицы.

И это были уже стихи, и я начал подбирать к ним нужные слова, как скрипнула дверь, кто-то вошел, остановился у порога. Я оглянулся: в летнем пальтишке, с маленьким чемоданчиком стояла Валя.

— Здравствуй, — сказала она, поставила чемоданчик, разделась. Не удивилась, что я здесь, — значит, еще на Озерпахе знала об этом, — сказала «здравствуй» так, будто мы только вчера виделись. Прошла в комнату, затихла там. Минут пять было тихо, потом скрипнул шкаф: принялась переодеваться. Спросила оттуда:

— Где наши?

— К директору ушли.

— А-а...

Меня удивило: почему «наши», а не «мои»? Наши вместе — Русаков и Елена Васильевна? Когда же я успел породниться с ними?

Валя переодевалась. Я убрал со стола тетрадь, спрятав карандаш. Полистал книгу, однако читать не мог. Выйдет Валя на кухню или нет?.. Если выйдет, то как мне вести себя, что говорить? Решил — буду молчать. Да и внутри у меня все занемело, сжалось в тяжелый комок, и не сумею спокойно выговорить слова.

Шел снег, клубился, перекрашивал землю в один цвет. Мне захотелось выйти, побродить в близне, тумане, хорошо промерзнуть.

Валя причесывалась. Волосы у нее длинные, плотные.

Она будет долго их разбирать, распушать, после заплетет или перевяжет на затылке лентой. Я встал, проговорил неслышно, как бы с лентой:

— Пойду поброжу... Обед на плите, если...

— Подожди, — сказала Валя.

Она вышла в стареньком коричневом платье (своем школьном), в тапочках на босу ногу, села возле окна, положила на стол руки, коричневые от загара, под цвет платья. Пощурилась за окно, вздохнула.

— Знаешь, — сказала, оживляясь, — едва добралась. Здесь тихо, только снег. В лимане — волны. Катер обледенел, и баржа с солью чуть не утонула. Последний транспорт. А вообще, — слегка хлопнула ладонью по столу, — хотела там остаться, у тетки. Школа такая же... Потребовали: немедленно, срочно.

Валя проговорила все это вполголоса, то глядя в мою сторону и как-то мало видя меня, то шурясь в окно. Так обычно люди разговаривают сами с собой в присутствии других. Говорила — и сама слушала свои слова. И смотрела по-настоящему пристально лишь в себя.

— Немедленно отправили, срочно вызвали. — Она едва заметно усмехнулась — морщинками возле губ. Этих морщинок, кажется, не было раньше или я не видел их. Усмешка получилась горьковатая, решительная: после нее, мне приходилось видеть, отчаянные девчонки достают папироски и неумело раскуривают. Я ждал: сейчас она попросит закурить и уже полез за табаком, но Валя сказала:

— Жалко — курить не научилась, голова болит...

Свернул папиросу неторопливо, растягивая время, задымил один.

— Давай обедать.

И это прозвучало так, словно она спрашивала больше себя. Подождала ответа, не глянув на меня. Уверилась в согласии, встала, сняла с кастрюли теплое полотенце, налила две полных тарелки супа с американской тушенкой. Выдала граммов по двести хлеба.

— А им... — я кивнул на кастрюлю, думая о Русакове и Елене Васильевне.

— Перебьются. Тетка сала передала, яиц... Вот и тебе. — Валя открыла чемоданчик, отрезала кусок сала. — Ешь. Ты растущий организм.

Начали молча хлебать. За окном падал и падал снег,

лохматый, медленный. Он был виден, пока мерцал в воздухе, а чуть касался белой земли — сразу исчезал, будто таял. Если долго-долго смотреть, не мигая, то начнет казаться, что снег идет снизу вверх, от белой земли к черному небу.

— Ну, как ты здесь?.. — спросила Валя.

— Работал...

— На Озерпахе ребята повестки получили. С твоего года.

— Здесь пока не слышно.

— И хорошо.

— Нет, лучше бы...

— Успеешь. — Валя, встала, сполоснула мою тарелку, положила в нее пшенной каши, щедро залила растительным маслом. — Успеешь, — повторила, — там не дома. Мамы не будет.

Меня удивило это ее «успеешь», ее спокойствие. Ну, допустим, я тоже уже спокоен, переболел, однако она должна понимать, как мне нелегко, и больше всего из-за того, что живу у них же, у Русаковых... И вдруг из глухоты, тумана, в котором я зябко поеживался все это время, четко проявилось: «Да ведь она жалеет меня как родственника, как брата. Заботится и жалеет... Ничего другого ко мне она не чувствует, и потому я ей не мешаю. Брат сестре не может мешать. Потому она сказала о Русакове и Елене Васильевне — «наши», потому не удивилась, увидев меня у себя дома. Разве брат должен быть где-то в другом месте, к тому же младший? И ее, конечно, не обрадует повестка...»

Это так меня поразило, что несколько минут, вылупив глаза, я жадно, даже нахально смотрел на Валю. Она убирала посуду, ходила тяжеловато, чуть задумчиво, словно утомленная хозяйка. Я заметил теперь: она стала какой-то другой. Под глазами появились тени, губы затвердели, чуть брезгливо припухли, и вокруг них действительно появились морщинки. Что-то переменялось и в ее фигуре — я не мог никак уловить, но чувствовал: переменялось. Вот, кажется, уловил: она пополнела, точнее — округлилась едва заметно. Локти, колени, плечи потеряли угловатость. Будто Валю, прежнюю Валю, подменили другой, похожей и все же не настоящей.

Валя двигалась, стучала посудой, ставила на стол

грашенные стаканы для чая, а мне хотелось крикнуть, резко, изо всей силы, чтобы Валя вздрогнула, остановилась и сделалась той, настоящей. Я верил, всего мгновение, что та Валя не умерла для меня. Эта Валя сказала:

— Пей чай и можешь идти.

Выпил, оделся, пошел.

Снег охватил меня снизу, сверху, со всех сторон. Был только снег и снег. Чудилось, и море уже загустело от него. Когда кончилось лето, когда началось? Длинное оно было или совсем короткое? Может, его вовсе не было — так вот шел и шел снег годы, столетия напролет?

Пойду к Дергунову. Надо куда-то идти.

«Немедленно... Срочно...» Бедные Русаковы! Почему все родители такие: им кажется, что они умные, многознающие, а их очень нетрудно обмануть. Отправили и успокоились. Теперь я припоминаю, Ильгиз тоже намекал — мичман ездил к Вале на Озерпах, и не раз, они переписывались. У них все серьезно, даже слишком. Разъехавшись, они думают друг о друге. Они как муж и жена. Годы пройдут — они все равно встретятся. Может быть, мичман погибнет, и Валя станет шестнадцатилетней вдовой... А ее на Озерпах, за каких-то двадцать километров, упрятали

«Пойду к Дергунову», — сказал я себе, заметив, что все еще стою у порога.

Шел снег и я шел. Только снег ни о чем не думал. Я же не мог не думать. «Вот, — думал я, — родился где-то мальчик — на Волге или в Сибири, рос, учился в школе. Может, работал. Потом — война. Его призвали, попал на флот, стал мичманом. На каком-то неизвестном Пуире, который по-нивхски означает «Крутой мыс», случился завал рыбы. Давно уже ничего такого не помнили рыбаки — «у морского хозяина мешок прорвался». Корабль, где служил мичман, был послан на помощь. Моряки десантом высадились на берег... И тут мичман увидел Валю».

Я прошагал мимо трех барачков, подвернул к четвертому.

«Теперь им кажется, наверное, что так и должно было произойти. А если бы мичман не попал на флот, если бы не очутился на этом корабле? Если бы столько рыбы не привалило к Пуиру?..»

Дергунов дома, я слышу за дверью его голос.

«Лучше было бы нам с Валей или нет?..»

Стучусь и вхожу. Скобцов и Колька играют в карты, спорят, ругаются. На стене карандашом пишут палочки — кто сколько раз остался дураком. Палочек у того и другого много, значит, режутся с утра. Жена Скобцова убирает посуду, дочка, третьеклассница, готовит уроки, пахнет щами с мясом (крепенько пообедали!) и брагой. Интересно, как это Скобцов ухитряется в такое скудное время брагу заваривать? Шаманство какое-то.

— Садись! — кричит Скобцов, сдает на мою долю несколько карт. Подмигивает жене, указывая на меня: — Маня! Для поддержки морального духа мужичку!

Маленькая, тяжелая, молчаливая Маня идет за печку — слышится клекот жидкости, сильно пахнет кислыми дрожжами — и выносит в протянутой руке полную синюю кружку браги.

Принимаю, благодарю. Пробую выпить залпом — не получается: не брага, а горлодер. Чего только нет в ней! Говорят, для крепости Скобцов заправляет ее прелым самосадом. Пью короткими глотками, играю в дурака и быстро проигрываю.

Мне ставят жирную палочку на стене, сдаю карты, допиваю брагу.

— Это правда, — спрашиваю Скобцова, — до войны ты свадьбу играл. Человек сто пригласил. Все выпили — закусить не успели: свалились где кто сидел?

Скобцов хохочет, хлещет картами.

Я проигрываю раз за разом, у меня на стене — ча-стокол. Дурак, дурак... Наконец не выдерживаю, потому что уже по-серьезному начинаю чувствовать себя дураком, говорю Дергунову:

— Пойдем побродим.

— Побродим! — быстро согласился Колька, поняв, что избавиться на какое-то время от браги и Скобцова — хорошее дело.

Выходим в снежный мир. Снежные горы, снежное море, снежный воздух. Однако сверху снег уже не валится, там суетятся облака, словно кто-то их спешно расталкивает, и блеклыми полыннями проглядывает небо — тоже снежное.

Бредем просто так, под гору, к рыбозаводу. Может, кто-нибудь попадется навстречу или увидим что-нибудь

интересное. Можно пойти на плот, поближе к воде, посмотреть на пустой, угрюмый лиман — заездок уже разобрали, сваи лежат на берегу возле мыса, — взять у мальчишек удочки, половить сегов.

— Валя приехала, — говорю я как можно безразличнее, чтобы Колька потом не подумал, будто я зачем-то скрывал это.

— Знаю, — ответил он так же безразлично.

— Телеграмму получил?

— Как раз по воду вышел. Идет навстречу, остановилась, поздоровались. Спрашивает: правда, что ты у них живешь. Правда, говорю. Ну и хорошо, говорит.

— Вот еще!

— Это чтобы алименты на тебя опосля записать...

Фыркнув, Дергунов вприпрыжку пускается под гору, я — за ним.

Возле магазина остановились. На крыльце судачат бабы, толкаются разряженные девчата. Скопом жмутся поближе к прилавку: вдруг выбросят что-нибудь дефицитное — кофточки, мыло туалетное или чулки импортные. Пониже, на ступеньках, сидят мужики подвыпившие. В середине — крупный дядька в солдатском бушлате, серой шапке, с одним сапогом. Вместо другого — новенький протез-деревяшка, резиновая подушечка на конце. На бушлате косо прицеплены медали и орден Славы третьей степени.

— Вот, — говорит громко дядька, — пошли, значит, в атаку. Немец фаустами начал бросаться. Я за лейтенантом... Строчу...

Приближаемся к крыльцу, Колька спрашивает у знакомой девчонки, кто этот военный. Оказывается — фронтовик, по фамилии Шлямин, муж одной из наших бондарных подсобниц. Добрался через Озерпах последним катером.

— Строчу, — говорит Шлямин, пригибая голову и изготавливаясь руками. — А он швыряет фаустами. Лейтенант молоденький, шинелька на спине горбиком. Гляжу: раз — и нету его, покатился в воронку. А тут немец поднимается из окопов...

— Слышь, погоди! — мужик справа сует в руку Шлямина стакан. — Накось глотни для ослабления души.

Шлямин осушает, хмурится, вспоминая, о чем рассказывал, продолжает:

— Подымается, значит, из окопов немец. Я гранату — швырь. Взорвалась прямо в гущине. И норовлю в этот прогал, где дым еще столбом... А тут хлоп меня снизу...

— Слышь, погоди! — толкает снова взволнованный мужик.

Шлямин отстраняет его, досказывает:

— Этак мягко приподняло, как на той волне. Зато после как об камень шибануло... В сапбате только и привели в чувство...

Мужики крутят головами, тяжело вздыхают, предлагают Шлямину закуривать.

— Это еще подвезло, — говорит Шлямин, нежно глядя ладонью протез, — вот нашего сержанта...

Придвигаемся вплотную, слушаем. Мы не видели фронтовиков, кроме Меркулова, танкиста, который зимой заблудился и замерз в сугробе. Шлямин — второй. Пуирцев погибло уже несколько человек, вернулся лишь второй. И крепкий на вид, а что без ноги — так это и небольшая беда: на Пуире мало полностью целых мужиков. Шлямин не ослабнет от водки, не замерзнет в сугробе — видно с первого взгляда — и работать, наверное, пойдет. Незамученный человек, хоть и воевал. Против него все другие наши, особенно мы с Колькой, бледно выглядим.

— Молодежь! — заметив нас, крикнул Шлямин. — Такие, как вы, уже воюют. У нас в роте с десятка таких было. Ничего, воевали. При наступлении можно. Правда, один во сне все маму звал.

Я смотрю на медали, орден Славы — начищенные, они и при тусклом свете посверкивают, кажутся горячими от бывших боев, жарких схваток, — а Шлямин опять рассказывает. О Варшаве, за которую он имеет медаль, о мощных прорывах нашей армии, о каком-то комбате, который глупо подорвался на mine, и снова про то, как он, Шлямин, шел в последнюю свою атаку.

Все это здорово, можно слушать всю ночь, но главное — просто слышать голос солдата, чувствовать себя рядом с ним, принюхиваться к его бушлату, сапогу, ловить хриплое дыхание и наполняться до зябкости в теле фронтовым духом, отвагой, риском.

Мужики поднесли еще Шлямину, он с удовольствием и легко выпил, поблагодарил.

— Ну, пора солдату в часть, — сказал улыбочиво, — тут у меня построже генерал, хоть и в юбке.

Придерживаясь за плечи мужиков, он гонимый, однако понял, что не очень прочно держится на ногах, костыль же дома позабыл. Мужиков весело покачивало, как балберы на воде.

— Ребятки, помогите, — попросил нас Шлямин.

Дергунов стал справа, я — слева, Шлямин оперся о нас, и мы Лотихоньку двинулись в гору, к пятому барраку, в котором еще до войны поселился Шлямин.

Он сильно хромал, наваливался то на меня, то на Кольку — не привык к своей новой деревянной ноге, — от него пахло спиртом, и рассказывал он уже не так интересно. И все равно было похоже на что-то настоящее: будто мы выносим с поля боя раненого бойца, а прибой, бьющий в берег, — взрывы близких снарядов.

В бараке мы провели Шлямина по длинному коридору, остановились против его двери, постучали. Выглянула жена, осмотрела Шлямина, нас, рассердилась, аж губы задрожали.

— Не стыдно! — крикнула нам. — Сопляки, а старых спаваете! Еще инвалида!

Мы бегом пронеслись по коридору, выбежали на улицу, рассмеялись. Было лишь немного обидно. Но совсем хорошо почти не бывает в жизни: или огорчение какое-нибудь случится, или вспомнится что-нибудь неприятное. Наверное, поэтому люди воюют, работают, страдают, чтобы потом, в будущем, всем и всегда было хорошо.

Снова побрели, не зная куда. Так, мимо домов, мимо людей и к домам, к людям. Непременно кого-нибудь увидим, встретимся, поговорим. Может, поспорим, может, подеремся — если за правду, можно и кулаки не пожалеть, — проведем с пользой свое воскресенье. Теперь нам легче брести: мы уже сделали что-то хорошее, от этого стали лучше, и люди должны больше любить нас.

На плоту зажглись огни, их мало, они скупо отражались в сгущенной снегом воде. Крыши засольных цехов, холодильники слились в громоздкий черный силуэт. Рыбозавод был похож на живое, деревянно-железное существо, напостовину вползшее в амурский лиман.

Отшумев, отгрохотав, он скоро надолго вмерзнет в зеленые толщи льда, замрет до новой весны.

Поговорили с охранником у проходной. Пропахший самосадом мужичок еле двигался в тулупе и подшитых шинной валенках, носил под мышкой берданку. Он не пустил нас на плот — поздно, не поверил, что мы просто так просимся — походить, вспомнить о лете, сказал: «Производство для работы существует». Пожелали ему спокойной ночи, Дергунов поддернул мужичку воротник тулупа — заругался, засуетился охранник, — и мы побежали в поселок.

Возле магазина судачили бабы: может быть, те, прежние, может, новые собрались. В окнах свет, продавщица стоит за прилавком. Ребятишки бегают. Бабы догуливают воскресенье, утомленные, без дневной бойкости переговариваются:

— Об эту пору, бывало, до войны, гулянки зачинались, свадьбы. Брагу бочками квасили.

— Бывало... И-эх!..

— А я ей говорю: «Клашка, как же так: муж вернется, а у тебя приплод?» — «Военный, — отвечает, — государственный». — «Прибьет, — говорю, муж-то тебе». — «Закон, — отвечает, — защитит».

— Разбаловались, бабоньки...

— Теперь и девки...

— Война спишет.

— А брага была, слышь, сладкая, ароматная...

— Много ей списывать придется. А на кого?..

— И-эх!..

Поднялись в гору, остановились у открытой двери электростанции. Внутри было чисто, сияла медь, ровно стучал, позванивал клапанами дизель. Хлопал ремень, гудело динамо, и пахло горячим маслом, горячей нефтью. И от всего этого, еще от яркого изобильного света внутри, стало хорошо, стало понятно: это маленький кусочек будущей жизни, которая где-то впереди, где-то за войной.

— Хорошо побродили, — сказал я.

— Пойдем спать.

Колька ушел, а я еще послонялся между бараками. Один, в тишине и холоде. Снова повалил снег на воду, на сопки, на Пуур. Он был лохматый, сырой, обступил меня, как белый глухой лес. Он трудился старательно,

безмолвно, и когда я возвращался к Русаковым, не было на сплошной белизне ни дорог, ни тропинок.

Через два дня, вечером, перед концом работы, в бондарку вошел оперуполномоченный. Не глядя под ноги, прошагал по чуркам, стружкам, между новенькими бочками, остановился у верстака. Подозвал к себе меня и Дергунова и молча вручил аккуратные листки. На своем я прочел:

#### ПОВЕСТКА

На основании Закона о всеобщей воинской обязанности Вы призваны на действительную военную службу. Приказываю Вам явиться на сборный пункт для отправки к месту прохождения службы.

Ударила, колокольно зазвучала сталь.

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

---



---

## СИГНАЛ ОПОВЕЩЕНИЯ

— **Р**-р-рота! Тревога!

Мгновенно возникает движение, в смутном ночном освещении, от стены до стены, оживают нары: взлетают одеяла, поднимаются головы, раскачиваются сутулые фигуры. Тесно. Душновато. Сталкиваются плечи, локти, колени. Слышится легкая перебранка. Казарма гудит от напряжения.

Я отыскал ботинки, наматываю портянки, беру обмотки (край одной раскатался, его хватает сосед, молча выдергиваю), обертываю ноги, решив пока не шнуровать ботинки: главное — успеть стать в строй, чтобы старшина Беленький не зачислил в команду отставших. Посреди казармы вырастает реденькая шеренга — я тороплюсь, хотя, кажется, ничуть не убыстряю движений, — поднимаю с пола ремень, пробую затянуться...

— Рота, становись!

Бегу, держа пряжку и конец ремня в руках: главное — успеть, рассчитаться по порядку... Занимаю место возле ефрейтора Мищенко. Вижу — он без пилотки, говорю: «Пилотка где?» Он срывается, бежит в сумерки к нарам, мешая бегущим в строй.

— По порядку номеров рассчитайся!

— Первый, второй... четвертый...

Прерывисто звучат голоса солдат. Кто-то прослушал номер соседа, произносит свой, постоянный (а строй не полный), счет сбивается.

— Отставить!

Сзади просовывается Мищенко, его узенькая головенка утонула в чужой пилотке — ну прямо бледная поганка после дождя! Ему сдергивают пилотку на нос. Прокатывается легкий смешок — впервые за три минуты подъема. Старшина Беленький пятится назад, чтобы видеть весь строй, кричит:

— Приготовиться к походу!

Берем карабины, подсумки, навьючиваем скатки, вещмешки, переносные радиостанции РБМ («эрбушки», как нежно называем их) — это наша полная боевая выкладка. Строимся повзводно. Занимаю место рядом с сержантом Зыбиным: он командир расчета, я — второй номер.

В стороне стоят командиры взводов, три младших офицера. Два подтянутых, аккуратных, на вид боевитых и наш Голосков — брюхатый, толстоногий, большеголовый. Им пока нечего делать, они, повернувшись к темному окну, негромко разговаривают. А старшина Беленький, задыхаясь от старательности, строгости, показывая свою почти воздушную выправку, обходит строй, проверяет снаряжение, выравнивает по ранжиру, рассчитывает.

Из комнаты-канцелярии быстро выходит, будто он там ночевал, командир роты майор Сидоров. Останавливается поодаль, блеснув очками, медленно ведет головой вдоль строя, вложив большой палец правой руки за ремень.

— Смирна-а! — раскатывает всю силу своего голоса старшина Беленький, отрывисто — чок, чок, чок — отмечает три шага. — Товарищ майор! Рота по тревоге выстроена!

— Вольно, — едва внятно говорит Сидоров.

— Вольна-а! — отзывается старшина.

Майор издали оглядывает нас, сутулясь, и как-то внешне грустнея, словно говорит себе: «Откуда их столько на мою голову!..» Своим особенным, резковатым полувзмахом руки подзывает командиров взводов. Бегло и неслышно разъясняет им что-то. Выслушав от каждого «Так точно, слушаюсь», взял под козырек, сказал: «Действуйте».

— Взвод, слушай мою команду! — приближаясь к нам и как бы ласково уговаривая, произносит младший лейтенант Голосков. — Направу! Шагом арш!

Выходим из казармы в темень, осеннюю лесную слякоть. После сырой духоты — в сырой холод. Прячем головы в плечи, жмемся друг к другу. Не спешим, слабо надеясь на команду «Тревога отменяется!» Но первый взвод уже втягивается в непроглядный провал дороги под деревьями, за ним, покачивая навьюченными горбами, двинулся второй. А вот и мы во главе с Голосковым, поотстав (не ожидал ли и он отмены тревоги?), зачавкали ботинками по лесной дороге.

Всем становится ясно: где-то в гарнизоне начались учения, и нашей радиороте обязательно придется обеспечивать связь.

Кто только придумывает учения в такое время, в такую погоду и ночью? Что за человек? А может, серьезное что-нибудь?..

Но это так, просто мысли. Их у всякого солдата вдосталь. Стоишь на посту — думай, дежуришь у приемника — думай; и вот сейчас, идешь — тоже думай. Конечно, мысли у каждого свои, особенные. Мой командир расчета сержант Зыбин, по прозвищу «Серый», и во сне и наяву думает о своей рязанской деревне Колотушки, где оставил молоденькую жену Лизку, не успев с ней нацеловаться и поверить, что она будет ждать его. Через день письма пишет Лизке, матери, всем знакомым, наказывает, спрашивает, грозит. Как-то раз просыпаясь ночью, гляжу — не спит Зыбин, в темноте смотрит на фотографию, и щеки у него мокрые...

— Подтянуться!

Вдоль строя бежит старший сержант Бабкин, наш помкомвзвода. Его крупная, изогнутая, с отвисшими руками фигура скрылась где-то в голове взвода. Я понял: теперь начнет командовать Бабкин, а Голосков «отключился» — будет просто брести за взводом, рассуждать сам с собой.

Под ногами хлупала дождевая вода, горько пахло опавшими, измокшими листьями, и холодок задувал из темени леса — острый, с колючим ледком, будто где-то недалеко выпал снег; или, может быть, тучи снежные нависли над лесом? Деревья молчали, чернея каменными столбами, затонувшими в студеное море. И оттого наша немота, глухое движение были вполне естественными, потому что все время казалось — мы бредем сквозь воду, дышим водой.

На меня постепенно находит тупое, полусонное состояние: я словно бы делюсь на части и каждая живет сама по себе. Ноги идут, отмеривая одинаковые, куцые шаги — голова медлительно перебирает тягучие думы-видения, которые могут показаться и явью и сном. Всплывают, гаснут и опять как бы светятся строчки стихотворения: «Я жду тебя и знаю: ты вернешься, с сверкающей медалью на груди, в глаза заглянешь, нежно улыбнешься, придешь затем, чтоб больше не уйти...»

Стихотворение прислала мне Ася Шатуновская, из города Армавира... Познакомились мы так... «Комсомольская правда» напечатала ее портрет, с подписью — студентка пединститута, сочиняет стихи... Написал ей... Ася ответила... Стихотворение мне понравилось, но «с сверкающей» не совсем хорошо звучит, я ей черкнул об этом, жду ответа... Неужели обиделась?.. И зачем сразу поучать сунулся... Ведь все равно хорошо: «...придешь затем, чтоб больше не уйти...»

Меня толкают сзади, оглядываюсь, насколько позволяет затянутая ремнями и скаткой шея: ефрейтор Мищенко, задремав на ходу, ткнулся головой в мою спину. Самый расхлябанный солдатик в нашей роте. Из всех сил перевоспитывает его старшина Беленький, а Мищенко будто упирается. На самом же деле ничего не может поделать с собой: суетится, тужится, и все равно гимнастерка сидит на нем, как длинная бабья кофта, шаровары отвисают, собираются в складки, как юбка. Ребята прозвали его «Параскевья».

— Параскевья, — говорю я вполголоса, — еще раз ткнешься — дуло подставлю.

Мищенко просыпается, бормочет что-то, с перепугу отстает шага на два, его толкают сзади...

— Прекратить разговорчики! — старший сержант пропускает мимо себя строй, вытянув руку, сильно работает ею: отставших подталкивает вперед, слепившихся разделяет, устанавливает нужный интервал, едко поругивается, как пастух в непутевом стаде: — Приятного сна, Васюков!.. Гмыря, на вас едет Потапов... Мищенко, не тычьтесь носом в спину товарища, свернете...

— Спину, что ли? — спрашивает кто-то в темноте.

— Разговорчики!

Идем дальше, несем полную боевую выкладку. Куда, зачем? Никто не знает и не спрашивает. И то и другое —

не положено. Понемногу светает — сереет, как бы слегка приподнимается небо, стволы деревьев подступают ближе к дороге, из каменных делаются деревянными, похожими на бесконечный плотный частокол, за который невозможно проникнуть. Дорога заметно забирает высь, делается суше. Но идти труднее, приходится все ниже гнуть голову к земле. Пахнет сырыми прогретыми потом гимнастерками, и, если присмотреться, увидишь легкий парок над строем нашего взвода.

Я слежу за спиной Зыбина-Серого — мощно работают плечи, оттопыривается ягодицами зад, двигаются локти, словно отталкиваясь от чего-то твердого, — и стараюсь шагать с ним шаг в шаг. Сильный человек Серый, хорошо питался в войну (их деревня не была в оккупации), мать работает председателем колхоза. Поэтому и жениться смог — силенку девать некуда было. И в армию попал на год позже меня. Он больше многих других — мужик, бороду по-настоящему бреет, бритва скрипит. Фотографию жены показывает. А что ночью плакал — я никому не рассказываю, чувствую — нельзя про это говорить, самому стыдно, да и ребята подхватят, смеяться начнут. Многие не любят Серого: за посылки рязанские, за жену, за упитанность. Я к нему ничего такого не имею, мы даже дружим немного, однако уступить в чем-нибудь никак не могу, ни в одном маршброске не отстал от Серого.

Перевалили сопочку, унизанную молодым березнячком, спустились в широкий распадок, по которому текла просторная, мелковатая речка с чистой водой. Первый взвод остановился на ровной гальке берега. Подтянулись, услышали команду, переданную по рядам: «Рота, стой!..»

Офицеры собрались в сторонке, под старым корявым ильмом, обступили майора Сидорова. Тот, держа в руке очки, по своему обыкновению, резко, внезапно вглядываясь в каждого, что-то отрывисто говорил. Потом слегка, пренебрежительно взмахнул рукой — отпустил офицеров, а сам пошел к речке, сполоснул ладонь и, поддевая ею воду, принялся громко пить.

Голосков подозвал к себе Бабкина, сунул ему блокнотный листок. Бабкин, мельком глянул в него, быстрыми, почти строевыми шагами приблизился к нам, начал громко читать:

— Расчет номер один — высота 235-а... Расчет номер два — восточный склон высоты 234... Расчет номер три — высота Безымянная, вершина... Расчет...

— Слышь? — сказал мне Зыбин-Серый. — Повезло, что твоим новобранцам.

Это он о Безымянной, на сей раз она досталась нам — крутая, безлесная, ветреная сопка. Она существовала как наказание для солдат, как нарочно придуманное природой зло. Риск всегда был настоящий: зимой снежные обвалы, летом щебеночные осыпи. Поэтому, наверное, Серый сказал мне так, будто я виноват, что нам досталась Безымянная; в его голосе я уловил и другое: мол, посмотрим, хватит ли у тебя силенок вскарабкаться на сопочку. Мне же хотелось ссориться перед нелегким походом, и я спокойно, тихо сказал:

— Ничего, бывал уже там.

— Выход на связь в семь ноль-ноль, — внятно выговаривал Бабкин, — шифр ноль-пять. Приступить к выполнению задания!

Разошлись порасчетно, заговорили, поспешно обсуждая, как лучше идти в назначенные пункты. Кое-кто заспорил. Штабная группа принялась ставить палатку, разбирать такелаж радиостанции, устанавливать дюралевую антенну — значит, здесь будет штаб роты. Зыбин-Серый, молча и вроде сердито, зашагал вверх по течению речки. Я тронулся за ним, думая, что очень удачно выбрал направление мой командир, хоть и впервые идет на Безымянную: в нем развита крестьянская смекалка и бережливость к себе — лишнего шага зря не сделает. Нутром угадывает выгоду.

Всходим на первый холм, я осматриваюсь. На сером пятне гальки четко обозначилась палатка, поднялась на оттяжках мачта, и уже курится дымок костерка. Младший лейтенант Голосков, сунув руки в карманы галифе, мешковато понурив плечи, бродит возле воды, пинает камни: ему, наверное, скучно, не с кем порассуждать — все другие заняты штабной суетой. Добрый человек Голосков, но служака — никакой. Его не любит полковое начальство. У него много выговоров, и, если бы не майор Сидоров, который почему-то терпит, даже бережет «младшего», уволили бы давно в запас Голоскова. К тому же он давно просит об этом, пишет докладные.

— Ты чего, скис? — Серый, обернувшись, ждал, оглядывал меня, словно сожалел, что я еще могу идти.

— Задумался.

— А ты поменьше. — Он показал вверх, на вершины лиственниц. — Вон там думать будешь. — Голос у него слегка позванивал, был почти начальственный. Я не обиделся. Серый слегка презирает меня за то, что я хорошей жизни не видел.

Идем час, другой. Тропа делается круче, пересекает осыпи, скользко на мокрой щебенке, тянет, режет плечи упаковка, карабин, трет шею скатка. От росы, льющей с кустов, мы вымокли так, будто искупались с полной боевой выкладкой, и теперь молчим — только идем, ту-по идем. И выбираем тропу, чтобы не попасть на гибельную осыпь. Серый слушается меня, если я подсказываю, и даже жалуется, что у него упаковка тяжелее, а ему вовсе не больше надо от службы, хоть он и командир расчета. И сила ему еще пригодится на гражданке, в той настоящей, очень толковой жизни. Я поддакиваю ему, но о себе не говорю: нечем похвастать — ни прошлым, ни будущим. Позади — почти ничего, впереди — густой туман. Девушку — и ту придумал, в Армавире живет.

Начались сплошные осыпи. Ни кустика, ни крупного камня. Тропа то виднеется тоненькой жилкой, то исчезает, съеденная щебенкой. Ползем на четвереньках, как выючные, цепляясь всеми четырьмя конечностями за зыбкую землю, готовые в любое мгновение, если зашипит и покатится вниз дресва и щебенка, лечь на живот, распластаться пошире и удержаться в какой-нибудь впадине.

Взбираемся на вершину-голец. Она вся завалена большими и малыми камнями и не такая гладкая, какой кажется снизу, сияя в солнечные дни четким конусом. Находим маленький неглубокий околчик (я его помню по прошлому году), спрыгиваем в него, снимаем с себя карабины, упаковки, скатки. Садимся на бруствер покурить — в запасе у нас наверняка есть несколько минут: шли-то без передышки, штурмом, как на войне одолели высоту.

Уже светло, туман растекся по распадкам, таежным дебрям, чтобы там умереть, сделавшись водой. И видно далеко, хоть и смутно: разогретая за лето земля парила,

остывая, и терялась в безбрежности влажных сумерек. Но, если взглядеться, можно уловить, вернее, почувствовать, сгустки домов, слабые штришки труб, еле приметные огоньки города. А за ним — широкую, серую полосу реки. И больше совершенно ничего — мгла, бесконечность.

— Действуй, — сказал Зыбин-Серый, сплевывая на искуренную папиросу.

— Действую.

Хочется еще посидеть, остыть на ветерке, однако я встаю, начинаю «действовать»: открываю упаковки, присоединяю к рации питание, выдвигаю штыревую антенну, другую, кабельную, забрасываю повыше на камень (если штыревой будет мало), устраиваю приемопередатчик так, чтобы удобно было дежурить у него: сесть, привалиться к камню, вытянуть ноги. И думаю о Зыбине — как удачно прозвали его Серый. Он и в самом деле весь какой-то серый: глаза, тугое лицо с большим носом, — все тускловатого серого цвета, словно раз и навсегда припорошенное мягким печным пеплом. И даже голос у него какого-то среднего, ровного, серого оттенка. Говорят, свое прозвище он привез из деревни. Сказал кому-то поначалу, что его дома дразнили «Серый» — и все, как ярлык себе прилепил.

Включаю приемник, настраиваю. В наушниках стучит, позванивает морзянка, кто-то хрипло зовет: «Венера, Венера, я — Марс. Как меня слышите? Перехожу на прием». И опять: «Венера, Венера...» Точно нащупываю свою волну, кладу наушники на рацию: услышу и так позывные, если начнется проверка — наш КП у речки, недалеко, по прямой не более пяти километров будет. А Серый роется в вещевом мешке, достает сухой паек. Выложил на клочок газеты два сухаря, отсыпал из мешочка щепотку соли; подержал в руке, взвешивая, банку тушенки, вернул ее в вещмешок. Вынул луковницу и кусок вяленого мяса — это из собственных запасов.

В наушниках возникают прерывистые всхлипы, толчки, шипение. Слегка подправляю настройку — и ловлю четкую морзянку. Трижды повторяется буква «ж», трижды наш позывной, дважды — позывной КП и дается ШРК с вопросом «Как слышите?» Включаюсь, повторяю в обратном порядке позывные, отвечаю «ШСА-5» — «слышу отлично». КП подтверждает мой ответ, приказывает

вает вести наблюдение, постоянно находиться на связи и начинает звать другие радиорасчеты.

Вот и вся работа, кладу паушинки на рацию. А наблюдение дело простое. Увидим какой-нибудь самолет, хоть гражданский кукурузник — сообщим, что в такое-то время, в таком-то направлении пролетел самолет такого-то типа. По шифру, конечно, сообщим. Но и это — зашифровать — дело не трудное. Главное — сиди, мерзни, грусти. В другом месте, в лесу, скажем, можно костерок малюсенький, бездымный развести, чаю закипятить, тушенку разогреть. Здесь — Бездымная, голая, из одних камней, которые даже в сухом виде не горят.

Серый ест луковицу, обильно макая в соль. Луковица крепкая, скрипучая, и у него краснеют, слезятся глаза, он отдувается, как после ста граммов; грызет сухарь, заливая водой из баклажки. Мне не предлагает. Вот если я попрошу — отделит частицу луковицы, однако подаст так, что навек должником станешь. И не жадный вроде человек. Когда просят табаку, бумаги для письма или посылочную еду — не отказывает, делится. По-куркулевски, правда; от воспитания особого, что ли? Спокойно взять может тот, кому наплевать на все, съест да еще похочет в душе над Серым. Я не могу так и потому не прошу, хоть и не пробовал свежего лука почти с довоенного времени. «Ладно, — думаю, — со-весть дороже». К тому же я еще плохо знаю Зыбина — всего второй наш выход. До него моим командиром был старший сержант Бабкин. Теперь его повысили: он остался на сверхсрочную.

— Ну, ты давай, действуй, — говорит вяло Серый, — а я тут прикурну чуток. — Медленно, сонно заворачивается в шинель, втискивается под камень — там суше и тише, ворочаясь, затихает. Но чего-то ему все-таки не хватает, и через минуту тишины слышится его голос: — Представь, у нас в Колотушках пива наварили, свадьбы играют, еды полно, мясо обязательно. Коммунизм, можно сказать. Представь, моя Лизка что за баба? Маленькая вроде, а обоймешь, ну прямо тыквочка крепенькая... так и расколется вроде... Тебе непонятно. — Серый высовывает серую голову, всматривается в меня, за что-то сердится (уж очень пустой я для него человек, непонятный). — Ты вот что. Демобилизуешься — приезжай ко мне. Устрою по знакомству. Жить будешь,

обещаю. Если ты, конечным делом, не лентяюга какой-нибудь. Имей в виду. — Он шарит в кармане гимнастерки, достает письмо от Лизки, читает, довольно внятно бормоча. — Вот, люблю, сообщает, верная до гробовой доски, воздушных поцелуев два миллиона шлет...

Где-то вдали и сбоку возникает рокот, быстро усиливается, превращается в гром — мелко вздрагивает наша Безымянная, — и я вижу в сумерках неба три силуэта «ЯКов». Гром мгновенно спадает, превращается в рокот, затем в отдаленное шелестение. Силуэты исчезают в стороне.

— Действуй, — говорит Серый, прячась в шинель.

Щелкаю переключателем, зову КП, сообщаю цифровым кодом: «На северо-запад проследовало звено истребителей. Полет бреющий, скорость предельная». Получаю подтверждение, снимаю наушники, быстро лезу в шинель.

Идут учения. Большие, маленькие, вообще какие учения — мне неизвестно. Зачем — тоже не знаю. Долго ли будут — можно только гадать. Сиди, жди команды. Сухого пайка на трое суток. Не будет отбоя — сутки еще на ничем продержимся (экономь еду!). Учения — почти настоящая война. Война в мирное время.

Трудно, конечно, поверить в серьезность этой войны, потому что после той, настоящей, долгой и страшной, прошло всего полгода. И хоть я не попал на фронт, не успел попасть, все равно знаю, какой была та война. Я как будто бы и сам изранен ею, дня не могу прожить, чтобы не подумать о ней, не услышать про нее, не увидеть на ком-нибудь или на чем-нибудь ее памяти. А эта, теперешняя, — все-таки игра. Неловко так «воевать» после той войны, стыдно. И времени жалко: жизнь-то еще не начата, в ней придется устраиваться (не всем же дом с мезонином приготовлен, как Зыбину-Серому!), а тут вот сиди, зябни и наблюдай за своими самолетами. Может быть, надо призвать молодых солдатиков вместо нас, «старичков»: мы поуехали, непригодны для игры. Нас готовили для настоящего дела. И фронтовички, наши союзнички, поразъехались искать себя в мирной жизни; оставшиеся просто трудятся, зарабатывают на семью, отдыхают, рассказывают о войне, вдохновляют, напоминают о мировом империализме. Но мы-то это давно и отлично знаем.

— Как? — спрашивает, очнувшись, Серый.

— Тридцать три, — отвечаю я.

— Что это — тридцать три?

— А что как?

Серый ворочается, медленно привстает, откидывает воротник шинели, вытягивает руки по швам, прошивает меня серым взглядом.

— Вы что — наряд захотели?

— За что?

— Шуточки при выполнении боевого задания!

— Думал, не обидетесь...

— Меньше думать надо, понятно? Доложу комвзвода. А если еще допустите — отправлю на КП.

— Слушаюсь.

Зыбин-Серый отодвигает меня плечом, присаживается у рации, надевает наушники. Это значит: «Освобождаю вас пока от дежурства». Вроде и наказание, и себе пригодится на всякий случай: вдруг я скажу Бабкину, что он всю «войну» проспал. Иду к тому камню, где посуше, заворачиваюсь в шинель.

Смотрю на дымные вершины сопок, таежную хмарь далеко внизу, на город, который все больше, как на пленке, проявлялся из мглы, думаю о себе. О своей какой-то всегдашней неудачливости. Что я за человек?.. Служу больше Серого на год, оба мы сержанты, однако он командир. У него дома все хорошо, женился на красивой девушке, а у меня придуманная, где-то в Армави-ре живет. Кто такая, зачем она мне?.. И зачем я разыграл Зыбина (ведь он все равно никогда не поймет юмора), с некоторыми другими в роте не могу ужиться. Старшина Беленький «держит на мне глаз». Суюсь, куда не надо, характер свой показываю. К чему он мне, этот характер, если пользы от него никакой?

Смотрю, думаю. Идут минуты, часы боевого учения.

## 2

За три года службы я побывал в полковой школе (учился на радиотелеграфиста), в пехоте побывал (тоже радистом) и вот попал сюда. Служба здесь показалась мне легче, если не считать походов, бросков, ночевки в тайге и на высотах. Но учения случались

не так часто, были обычно не долгими. Все остальное время радисты радиороты жили в казарме, вели службу радионаблюдения — дежурили у приемников, ловя сигналы воздушного оповещения. Никто из нас сигналов этих не слышал. Поговаривали, правда, что сразу после войны один радист пропустил сигнал оповещения, за что отсидел десять суток гауптвахты, а потом был переведен в другую часть. Второй радист, уволившийся в запас, будто бы в это же время поймал сигнал (очень важный), был повышен в звании, награжден медалью «За боевые заслуги». Писаная же история роты эти факты почему-то не хранила, командиры сменились, и один только старшина Беленький мог что-то припомнить, однако, будучи человеком неразговорчивым, помалкивал.

Однажды на политинформации я спросил его о медали за сигнал оповещения, он почему-то сильно рассердился, поставил меня по стойке «смирно», отчитал за глупый вопрос.

И говорить об этом перестали: неинтересно сделалось. Просто дежурили, ловили сигналы оповещения, сидя в тепле.

Сегодня я дежурю в паре с Зыбиным-Серым, да и все последнее время — с тех пор, как сержанта Бабкина произвели в помкомвзвода — мы почти не расстаемся: я и Серый. Сидим за длинным столом, в удобных каучуковых наушниках, потихоньку крутим ручки приемников, у каждого своя волна, перед каждым лист чистой бумаги и два заточенных карандаша — на случай, если один сломается.

Настраиваемся, отстраиваемся. Надо точно держать-ся на своей частоте, но нельзя, чтобы забивала ее морзянка или музыка, — вот и «крути, верти красную нить указателя, смотри на шкалу: вдруг возникнут те самые позывные, быстрые, мгновенные, а за ними прочастит сигнал оповещения.

Серый старательно навалился на стол, как бы желая влезть внутрь приемника, наконец разыскать то, из-за чего мы здесь бьемся непрерывно, и бегом отнести командиру роты. Сразу получить отпуск к Лизке и матери в рязанскую деревню, сказать, презирая меня: «Досвиданьца. Не подведите расчет!» Он сердится за «тридцать три» на высоте Безымянной, хотя после у нас все

шло хорошо, и померзли мы всего сутки — сущий пустяк для солдата. И луковницей он меня угостил, когда я ему сухарь дал. Правда, в роте, забывшись, Серый опять спросил меня: «Ну как?» Я ответил: «Тридцать четыре». Вот мы и молчим уже несколько дней. Сейчас он старается еще и потому, чтобы я не вздумал заняться чем-нибудь посторонним на дежурстве — пример показывает.

В радиорубке тихо. Вялая осенняя муха тычется в стены, потолок, падает на пол. За окном спокойный и какой-то бескрайний серенький денек. Голые черно-белые рощицы березок, слева лиственницы, кое-где желтые, с неопавшей хвоей; болотце, за ним узенькая речка в стороне города. А прямо, на широком нашем дворе — высокая деревянная радиомачта с оттяжками-тросами; гараж, склад для продуктов, зарядная станция. Ближе к кухне солдаты, сняв ремни и расстегнув воротники, пилят дрова, взваливая чурки на козлы. Вышел повар Иван Шемет в белом колпаке, что-то кричит им, хохочет, лоснясь красной физиономией.

По дороге к казарме быстро прошел майор Сидоров, командир роты. Он живет не здесь, в гарнизоне, и каждый день добирается к нам «на перекладных» — то подъедет, то пешком. Неустающий, натренированный, молчаливый человек. Никогда не повысит голоса, не рассердится. Но если поступишь неладно, сам себе будешь не рад, помня его резкие, в упор взглядывающие глаза, полувзмах руки и немое выражение: «скучно мне с вами невозможно...» Ему, знавшему настоящее фронтовое дело, едва переносима, наверное, наша суетливая, мелкая службишка.

Нет, я не могу все четыре часа быть неподвижным. Ну полтора, два часа... Потом мне делается нудно, даже голова болит от пустоты, безынтересности. Я начинаю говорить себе, что сигнала не будет (какой дурак пошлет к нам самолет вскоре после войны, к тому же у японцев вся авиация погибла), да и Серый хорошо слушает, а оповещение, если и передадут, то обязательно на обеих волнах...

Красная нитка настройки попадает на далекую, едва слышимую музыку — тоненьким голоском поет какая-то азиатка. Проверяю — частота моя, оставляю музыку. Азиатка рыдает за тысячью километров, и мне хочет-

ся плакать: так жалко ее и себя. Ведь она красивая, тоненькая, в шелковом цветастом кимоно... Вспомню песенку Вертинского с вывезенной из Харбина пластинки: «У ней такая маленькая грудь и губы, губы алые, как маки...» И я уже люблю азиатку, не могу без нее, задыхаюсь от тоски, пою вместе с ней: «Уходит капитан в далекий путь, целуя девушку из Нагасаки...»

Эфир забит жизнью — он лишь на вид, когда смотришь в небо, пуст, — звенят, шипят, хлюпают морзянки, переговариваются дальние и близкие голоса, и много музыки. Эфир гремит от музыки — пустота наполнена музыкой, неслышимой без аппарата. Людям надо жить, ходить по улицам с наушниками на голове. Ведь эта вся огромная, нескончаемая музыка для них, чтобы они слушали, делались лучше, никогда не враждовали.

Азиатка затухает где-то за океаном, за временем и расстоянием, но не умирает вовсе, а словно бы проявившись по-новому, видится мне в образе чернявой, выпуклоглазой девушки с газетной фотографии. Я ничуть не удивляюсь, спокойно говорю: «Здравствуйте, Ася Шатуновская. Очень рад вас видеть. Не думал, что так скоро мы встретимся. Вы очень похожи на себя, точно такая же, как там, в газете. И стихи мне ваши понравились: «Я жду тебя, и знаю — ты вернешься...» Конечно, вернусь. Война-то кончилась. Вот медали у меня нету, не досталось ни войны, ни медали... Это беда, человеком даже себя не чувствуешь. Но жить-то надо. Может, я поэтом стану, как вы, сочиню вам большую поэму, так и надпишу сверху: «Любимой Асе Шатуновской», — это же не хуже медали будет. А пока вот вам мои грустные стихи:

❧

Снег, снег на осенний сад,  
Бель-белизна на аллея.  
Страшно вдруг оглянуться назад —  
Там вчера еще розы алели.  
Ну, а разве сама белизна  
Не всегда новизна?..

Конечно, Ася, никакого сада здесь нет — лесочки, перелески, болотца, горы, тайга, — и роз я никогда не видел. Это ведь только стихи, в них все можно, они должны быть всегда красивыми. Они ведь просто душа, просто тоска о том, чего нет. Вы согласны, Ася?.. Вы молчите. Вы боитесь мне помешать — службу человек

несет. Вы комсомолка. Правильно, несу. И ни азиатка, ни вы мне не помешали — я все это время был в эфире. Радист я хороший, второго класса. Вот службист из меня неважный, но это другое дело. Это, если хотите...

Толчок в спину, тоненький голосок позади:

— Вставай-ка, паря! Смена!

Поднимаюсь нехотя — как-то не верится, что пролетели четыре часа, — передаю наушники младшему сержанту Васюкову, маленькому, розовенькому и очень разговорчивому человечку, думаю мельком: «Покуда мы здесь топчемся и Васюков что-то болтает — два сигнала могут прозвучать».

— Садись, — подталкиваю Васюкова, — ныряй в эфир, там поговоришь.

Зыбина-Серого сменяет сержант Гмыря — тот молчалив, обстоятелен, как все хохлы, — садится на стул, как на арбу с парой запряженных волов. Так и чудится мне, что всю смену Гмыря продрыхнет. Главное ведь, чтобы дежурный офицер не поймал, а он проверяет в основном ночью.

Расписываюсь в журнале приема-передачи дежурства, иду, не дожидаясь Серого: он трусоват, и там, в казарме, придираться не будет. Вот только Беленькому может накапать... И чего ему надо? Не может позабыть, как бабами в деревне командовал, пока мужики воевали. «Бабий начальник» — обзову его в следующий раз, если прицепится.

Осторожно заглядываю в казарму. За канцелярским столом сидит старшина Беленький, закусив губу, старательно водит пером по бумаге — составляет отчет или сочиняет докладную, увлекся, не слышит скрипа двери. Здесь мне делать нечего, и руки мыть перед едой необязательно (не в кочегарке же уголек швырял!). Увидит Беленький, начнет гонять: «Почему у вас пряжка на боку?.. Намотайте выше обмотки!.. Начистить ботинки!.. Доложите командиру...» и т. д. Тихонько прикрываю дверь, бегу по длинному коридору, сворачиваю влево. Ни на кого не наткнулся — хорошо. Вот и столовая. Все уже пообедали, деревянные, похожие на топчаны, столы убраны, наскоблены. Из кухонного окошка выглядывает широкая румяная личность повара Шемета.

— Привет, Иван! — говорю ему и не могу удержаться от улыбки: так мне приятно видеть Шемета, потому

что я знаю — он жалует меня, считает хлюпиком, но жалует; мы оба из амурских казаков (вернее, отцы и деды наши были казаками) и как бы немного родственники. Чуть ли не в одной деревне в детстве жили.

— Дежурил, что ли ча? — спрашивает несколько строго Иван.

— Ага.

— Молодца тогда.

Он наливает полную миску борща со свежей капустой и молодой картошкой — очень редко у нас это бывает, — несет к столу, ставит передо мной. Из кармана халата вынимает пайку хлеба. Борщ густой, со дна котла, пахнет прямо-таки по-домашнему. Сам садится напротив, складывая на груди руки, как делают утомленные бабы, а я достаю алюминиевую ложку с усеченным, съеденным краем — она у меня на длинном поводке, чтобы не потерять, — и принимаюсь громко, не стесняясь, хлебать.

— Ешь вроде жадно, — рассуждает Шемет, — а худой. Болееешь, что ли ча?..

Я мотаю головой: «нет, нет!» — отвечать вслух некогда.

— Раньше в хозяйстве так бывало: кормит казак скотинку, а она все дохлая. Корму жалко станет, забьет... — Шемет смеется, щеки у него трясутся, и чувствуется, весь он тяжело колышится под халатом. — Ты не обижайся, а? Я по-свойски. Подкормлю. Молодой — может, еще войдешь в тело, а?..

— Войду.

Он берет мою пустую миску, идет к печке за кашей. Мне хочется попросить добавки борща, но не осмеливаюсь: нельзя так пользоваться дружбой, да и борща, наверное, в обрез, для наряда лишь осталось — он бы и сам предложил.

Повезло мне все-таки здесь — земляк попался. Везение, хоть изредка, должно всем перепадать, чтобы жить не разонравилось. А то, что Иван Шемет повар — ничего, мне это даже лучше. Во всем другом он не хуже любого. По званию — старшина, воевал с япошками, до Харбина дошел и орден Красной Звезды заслужил: в одном бою под Цзямусы двух камикадзе (смертников) уничтожил, сам ранение получил; личную благодарность командующего фронтом имеет. В повара он пошел по-

том, после войны, когда на сверхсрочную остался. «Душа у меня не строевая», — говорит он. Хотел эмигрантку вывезти из Харбина — не разрешили, ненадежной вроде оказалась. Теперь уже успокоился, в деревню собирается вернуться, в казачьи края. «Женюсь, — говорит, — на хохлушке, да чтобы помясистой была». Остался денег подкопить — сразу дом поставить, семью завести. В деревне-то сейчас слишком много не зарабатываешь...

— Расправься-ка! — Иван пододвигает полмиски пшенной каши, заправленной растопленным лярдом, ставит кружку компота. — Как у моряков, а?

Входит Зыбин-Серый — задержался, может быть, с Бельским беседовал? — кладет на стол мамины посылочные припасы, медленно загоразживает раздаточное окно. Ему выдает помощник Шемета, и мне почему-то неловко, что Иван сидит со мной, ласково смотрит на меня. Подумает что-нибудь плохое Серый, нажалуется старшине. Но я-то знаю, не так уж шибко он подкармливает меня — самому хочется посидеть рядом, поболтать с земляком, будто погреться немножко. У казаков это есть — родственные чувства, особенно в теперешние времена, когда они рассеялись с Амура по всему краю. И немножко гордится Шемет мною: вот, нашенький, а радистом служит, интеллигенция, как ни говори. Стишки опять же сочиняет. Хоть и пустяковое дельце — все ж таки культурное, мозговитое. «Приятно, очень приятно нам, казачкам».

Разве поймет все это Серый, разве можно ему объяснить? Стараюсь побыстрее доесть кашу, выпить компот и освободить Шемета. Тот, конечно, ни о чем таком не думает, отдыхая рассуждает:

— Я ить старше тебя лет на десять. Большая, счи-тай, разница. Я ить на коне скакать умею, саблей орудовать. Помню всех твоих родичей, Василия Васейкина, нашу займку. Хунхузов, понимаешь, помню. Как напали. Амур тот, наш, как на картинке вижу. А ты чего помнишь?

— Почти ничего.

— Так я и знал! — удивляется, бьет себя по толстому колену.

Я вскакиваю, поворачиваюсь спиной к Зыбину-Серому, ловлю пухловатую, нежную от поварской работы

руку Шемета, киваю: «Спасибо!» — и быстренько ухожу из столовой.

В казарме тихо, сонливо, Беленький прилег на свою отдельную железную кровать у стены, дремлет: ему можно и не раздеваясь. Для всех мертвый час. На цыпочках прохожу к нарам, раскручиваю обмотки, снимаю ботинки и, выжавшись на руках, кидаю себя на верхние нары. Почти все на месте — кто спит, кто потихоньку переговаривается, кто читает. Лезу под одеяло, достаю из-под наволочки тетрадку — в нее я записываю услышанные или вычитанные непонятные слова, стихи, афоризмы, которые придумываю сам, — хочу записать слово «абстракционизм» и сегодняшний стишок, посвященный Асе Шатуновской. Надо успеть, пока медленно пережует свой обед Зыбин-Серый. Его постель первая с краю, рядом с моей. Дальше постели ефрейтора Потапова, Мищенко, Гмыри... Попарно, порасчетно — на случай тревоги. Писать и читать я научился лежа на боку, слегка прикрывшись одеялом. Устраиваюсь поудобнее, слышу — Потапов толкает.

— Э, придвинься сюда.

— Чего?

— Фантастика — блеск. Это какой война будет лет через пятьдесят. Техника — жуть. Послушай...

Мне не очень хочется слушать фантастику; вернее, фантастику о путешествиях и других планетах я люблю, например: «Прыжок в ничто», «Человек-амфибия». А о войне не нравится. Она ведь вот только, совсем недавно была, и ничего в ней увлекательного нет. Но Потапова не хочу обидеть: он наш агитатор, помкомотделения и работает на контрольном пункте, следит за радиообменом — это не каждому поручается, тем более в звании ефрейтора.

— Ладно, давай, — говорю я.

— Вообрази, война идет. Ну, атомная бомба уже взорвалась. Слушай дальше: «Прикрываясь темнотой, при содействии штурмовой авиации, десантные силы «восточных» подошли к побережью «западных». Минные заграждения прикрывают берег на обширном пространстве. К ним направляются тральщики. Они прокладывают проходы. В воздухе — сражение истребителей. Бой нарастает... Под прикрытием густой дымовой завесы к берегу выходят десантные суда. Они идут еще-

донами. Их тупые носы раскрываются, и в волны ныряют бронетранспортеры, танки, автомобили-амфибии. Начинают стрелять пулеметы, раздаются орудийные выстрелы. Напряжение боя усиливается... Атомная подводная лодка, выполняя боевое задание, произвела пуск баллистических ракет из подводного положения. И ракеты, как говорят моряки, «легли у колышка» — попали точно в цель...» Ну и так далее. Я тебе кусочек один. Блеск, правда?

— Блеск. А ты думаешь — война еще будет?

— А как же.

— Против кого?

— С мировым империализмом. Америка-то, видишь, почти враг уже.

— Отдохнуть бы немножко.

— Фи-и. Ты что, кровь мешками проливал?

— Да я нет. Я просто так.

— Вот тебе и так. Враг, он отдыхать не будет.

Ефрейтор Потапов отгораживается книжкой, читает фантастику про будущую войну. Я прикрываюсь тетрадкой, но писать ничего не могу. Вот так всегда: расстроюсь — и раскисаю, как тряпка, хоть выжимай. Ни на что не пригоден, пока не успокоюсь. Психую, рассуждаю сам с собой... Ну, допустим, не воевали мы с Потаповым — другие многие воевали. И сколько погибло! Нас-то, двадцатилетних, не хватит для настоящей войны. Или мать мою возьмем. Одна, я ничем не могу помочь. От нее, наверное, скелет остался за эти пять лет. Письма стала выводить каракулями — руки не слушаются. А мать у Потапова? На фабрике в городе Иванове работает, отец без ноги вернулся, детей пять или шесть. Вояка! Живот в ниточку затягивает.

Но спорить с Потаповым я не хочу — как-то не умею: не то побаиваюсь откровенничать с ним, не то стесняюсь его всегдашней уверенности. И чувствую его доброту к себе, а она оттого, пожалуй, что прожил он очень голодное детство, намытарился до армии по чужим людям, как и я. Вот и не хочется мне с ним спорить — поругаемся еще.

— Скажи, что такое «абстракционизм»? — спрашиваю я, чтобы проверить — не рассердился ли он на меня за всякие эти мысли о нем.

— Чего ты себе башку забиваешь? — Потапов вдруг

щурит слабые, морщинистые глазки в радостной усмешке. — Такого слова нету.

— Почему?

— Потому. Другое дело... — сглотнув букву «т», он выговаривает это слово и, весь сморщившись, хохочет, сунув голову под одеяло.

На нары тяжело вспрыгивает Зыбин-Серый, замирает на коленях, как бы приняв стойку «смирно», коротко командует:

— Прекратить болтовню!

### 3

Я сижу в канцелярии командира роты перед столом, на котором нет ничего, кроме стеклянной глыбы чернильницы с пересохшими чернилами. По другую сторону, под большим, почти во всю стену, портретом — замполит капитан Мерзляков, младший лейтенант Голосков, старшина Беленький и старший сержант Бабкин. Все они серьезные, какое-то время молчат; я тоже молчу, вживаюсь в скверное положение подсудного лица.

— Начнем, — сказал всем замполит, и отдельно мне (не глянув на меня): — Говорите.

Я не ожидал, что придется говорить первому мне, никак не подготовился. И вообще я не собирался говорить: виноват — накажите. Все равно ничего не смогу доказать.

— Как считаете — правильно поступили?

И на это мне нелегко ответить. Ну, если бы я мог постепенно, не сбиваясь, один на один с кем-нибудь, скажем, с Бабкиным или Голосковым... Чтобы потом спокойно рассудить. Дело-то, в общем, пустяковое, но... Дневалил я прошлую ночь по роте, сидел, как обычно, возле двери за тумбочкой с телефоном, писал длинное письмо Асе Шатуновской (про то, какой хорошей будет жизнь лет через пять — ни карточной системы, ни обид, огорчений, и человеческая личность достигнет полного расцвета, почти как при коммунизме), помню, написал слова: «Конечно, для этого мы должны изо всех сил трудиться, работать, учиться, служить...» — и уперся лбом в кулак. Не знаю, сколько прошло минут, не больше пяти, наверное. Вдруг сильный удар в плечо подкинул

меня, я вытянулся, ухватившись рукой за штык в чехле, осмотрелся. У ног моих лежал новый валенок, а старшина Беленький, поворочавшись на скрипучей железной кровати, спокойно повернулся на другой бок. Вот тут-то и наступило то самое «но». Мне надо было отнести старшине валенок, поставить его рядом с другим, потихоньку вернуться к тумбочке и продолжать службу. (Беленький всегда так будил дневальных, и наутро не вспоминал об этом.) Со мной же что-то произошло, на мгновение я даже потерял ясное сознание — может быть, он как-то обидно отвернулся, — я схватил валенок и швырнул Беленькому в кровать. Старшина неторопливо поднялся, надел валенки, подошел ко мне и указал на нары, что означало: «Снимаю с дневальства!» Я разбудил сменщика, сам лег спать. Вот и все. Так бы я, пожалуй, рассказал. Но нельзя — это будет вранье, потому что Беленький доложил: «Спал на дежурстве, а когда его разбудил, начал грубить». К тому же, рассказать о валенке — значит, подвести всех. Старшина как-нибудь оправдается, перестанет швыряться и начнет давать наряды, снимать с дежурства.

— Будем говорить? — спросил устало капитан Мерзляков.

Я глянул на него. Лицо желтое, щеки ввалились, четко выписываются кости скул, череп тонко обтянут кожей и тоже четко проступил. Замполит очень больной человек, мы редко видим его в роте, лежит дома или в госпитале. Он фронтовик, весь изранен и, говорят, самое опасное — у него вырезана часть желудка. Мне стыдно утомлять капитана, однако я боюсь и рассердить его каким-нибудь случайным словом-отговоркой. Смотрю на Голоскова, Бабкина. Им скучно от этой тяготины, они молча, исподтишка вздыхая, как бы говорят мне: «Кончай — не девица же красная!» А Беленький красен, сердит, на лбу капельки пота — его явно бесит мое тупое молчание: что еще ляпну — неизвестно! Наконец не выдерживает:

— Так что, считаете себя виноватым?

Я понимаю — это подсказка, это вовсе не о том, что я задремал на дневальстве, — просто немного сдал старшина (тоже не железный!), и мне надо быстро согласиться, хоть и неизвестно, как потом обойдется для меня неожиданная слабость старшины.

— Виноват. Накажите, — говорю я.

Капитан Мерзляков, будто вернувшись из забытья, медленно и совсем утомленно оглядывает командиров: «Так. По-моему, все решено?» — поднимается, кивает Голоскову:

— Примите меры.

— Слушаюсь.

Все поспешно встают, переговариваются, забывая скучное сидение, уходят. Остается младший лейтенант Голосков и я. Он закуривает папиросу — ему присылают из Москвы «Беломорканал», — сонно щурится за окно: там сияет чистый, сухой, прочный снег.

— Снег-то рано, а? — говорит, обращаясь, наверное, к снегу.

Ах, как нравится мне Голосков! Весь, до кончиков розовых, всегда чистых ногтей. Нравятся его рассуждения, немного женская, тонкая кожа лица, всегдашняя расхлябанность (какая-то прирожденная невоенность), живот, распирающий гимнастерку, почти незатухающая улыбка, самые неожиданные вопросы. Я чувствую нашу внутреннюю родственность и знаю — он тоже что-то такое питает ко мне, хоть мы никогда об этом не говорили, — и готов сидеть с ним весь день, молчать, рассуждать, ругаться. Все равно он не сделает, не сможет сделать мне никакого, даже малого зла: он же понимает, что я люблю его!

— Как думаешь, — поворачивает он ко мне большую, округлую, почти лысую голову, — снег только у нас или на других планетах тоже бывает.

— Бывает, — мотаю я головой, точно угадывая, что именно этот ответ нужен Голоскову.

— Если снег — значит, и люди есть?

— Есть, — отвечаю я.

— Интересно...

Он смотрит в окно, смутно улыбается. Смотрит долго и молчит. Наконец вспоминает обо мне.

— Слушай, два наряда тебе. Скажи там им.

— Слушаюсь! — вскакиваю я.

— Иди.

Иду к двери, Голосков окликает:

— Слушай, зайди ко мне вечером, а?

— Слушаюсь!

— Да брось ты это. Заходи.

— Ладно.

В казарме старшина Беленький воспитывал ефрейтора Мищенко: поворачивал кругом, одергивал, подталкивал. Как бы сколачивал плотнее. Потом подтянул ему ремень так, что Мищенко крикнул.

— Вы баба ростовская (Беленький сам из Ростовской области), понятно?

— Та хиба нн! — пляя мокрые маленькие глаза, выкрикнул Мищенко.

Беленький хохотнул, не сдержавшись, махнул вяло рукой, повернулся ко мне.

— Два наряда, — доложил я.

— Дрова пилить, сортир чистить. — Он взял за рукав Мищенко, сблизил нас. — А это ваш дружок. Выпняйте. — И выкатился в дверь тугим мячиком.

Можно присесть на минуту, морально подготовиться к труду. Мы присели. Я глянул на Мищенко, он на меня. Нам было неловко, потому что мы уже едва терпели друг друга. Сортирщики, друзья по несчастью... Так всегда, я заметил — унижение не сближает. И пусть между нами не было ни теплых, ни холодных отношений и ничего такого не предполагалось, мы теперь не будем взаимно равнодушны. Может, и поругаемся сегодня.

«Ну почему Мищенко мне достался? — думал, расстраиваясь я. — С ним ведь только появишься во дворе — засмеют. Еще и мне какую-нибудь кличку пришьют. И Беленький хорош: мог бы сортир не навязывать — все-таки я не выдал его. Зверь-человек, маленький злющий зверь».

По званию я старше Мищенко, значит, мне и командовать нашей штрафной группой, мне отвечать за работу. А не подними Мищенко — просидит весь день, еще и всхрапнет сидя.

— Пошли, Параскевья, — говорю я, будто в шутку; на самом деле не могу удержаться, чтобы как-нибудь не задеть ефрейтора.

Он встает очень исторонливо, ухмыляется глуповато: мол, чего ни говори — оба сортирщики! — выжимает из себя хохлацкие слова:

— Того, сержант, треба пимы получиты.

Правильно, для наружных работ полагаются валенки — в ботинках околеешь. Идем в каптерку, приветствуем старшего сержанта Лебединского.

— Треба пимы, — говорит Мищенко.

— Нарядники? — Не смотрит на нас черногривый Лебединский.

— Так точно!

— Перебьетесь.

— Та хіба можно в морозяку... — начинает вежливо ругаться Мищенко, а я смотрю на каптенармуса: «С такой выдающейся фамилией и сидит среди пимов и тряпок. Ему поэтом быть, киноартистом; если служить, то не менее как в полковничьем звании». — Душевно просим вас посочувствовать, — напевает Мищенко.

Лебединский, по-прежнему не глядя, швыряет в нас из угла каптерки двумя парами безразмерных, подшитых кожемитом пимов, заставляет меня расписаться, в придачу мы должны оставить у него свои ботинки: строгий человек Лебединский. Может, так и полагается, да еще при такой выдающейся фамилии?

Переобуваемся, выходим на морозец, идем к дровяному навесу, где березовые и лиственничные кряжи, прямо-таки пугающего вида, сложены в бело-коричневый штабель. Выбираем что-нибудь помельче, но уже давно все перебрано, пересортировано «штрафниками», взваливаем на козлы, принимаемся пилить. Пила, конечно, не знала подпилка с довоенного времени, зубья стерлись, закруглились. Надо не пилить, а рвать дерево. Отваливаем одну, другую чурку. Сдвигаем на затылки ушанки, расстегиваем бушлаты — пар из-под них. Беру пилу, топор, пробую сделать лезвием развод — чуть развести зубья, чтобы не заедало пилу в древесине.

— Чи умеемо, сержант?

— Умеемо. Бондарем работал.

— Ну, ты скажи за ради бога!

Пилим, отваливаем чурку — пила идет легче (эх, подпилка бы добыть, подточить немного!), Мищенко почти с уважением зыркает на меня. Разгорелись вовсю — уже наплевать, что нарядники, главное — работа, она сама по себе существует и хорошо настраивает, если ты не прирожденный лентяй.

Погодка морозная и солнечная, воздух, как вода родниковая, прихваченная ледком. И видно необозримо далеко во все стороны. Лес заледенел, опушился инеем, на Безымянной сияющая белая папаха, снегири красными яблоками обсыпали березу, а в стороне города

синие-белые неподвижные дымы: город накрылся воздушными одеялами. И все это как бы звучит — напряженно вызывает стальными оттяжками и высоким столбом нашей антенны, словно в нее втекают, обретая простую материальность, радиоволны со всего света.

Мищенко скалит гнилые зубки, морщинит личико моложавого старичка. Он тщедушен, однако терпелив и вынослив. Два года прожил в оккупации где-то под Херсоном, питался картошкой и брюквой, похоронил мать, деда и бабу, отец погиб на фронте. Ранен в ногу — не тяжело, пуля насквозь прошла икру, — с пацанами воровал у немцев мороженую рыбу. Кое-как выжил, и теперь вот даже служит. Правда, больше сортир чистит, дрова шлут, посуду моет на кухне, но такая планида. Подорванный оккупацией человек. Не удастся никак прийти в себя. И Беленький, боровичок ростовский, совсем заклевал его: подавай дисциплину! А может, скажи Мищенко два-три ласковых слова — скорее поймет. Сортиры вконец обозлить могут. Вот и я сегодня на ефрейтора... Что он мне нехорошего сделал?

— Обедать пойдем последние, — говорю я, подмигивая. — Шемет «дб» подкинет.

— Ыгы! — радуется Мищенко.

— А ты немца хоть одного убил?

— Ни. Кирпичакой одного бухого ударив.

— Смелый.

Мищенко «лыбится», как говорят солдаты, и даже щеки у него слегка покраснелись, и он уже не кажется несчастным — просто заморенный мальчишка, который еще сможет выправиться. Закваска у него, видать, хорошая: в кости широк, прочен, ноги и руки длинные, словно бы с запасцем для будущего тела.

У меня ведь тоже хохлацкая фамилия, и мы с Мищенко как-никак земляки. Вернее, наши прадеды были земляками. Его остался на Украине, а мой, более бродяжливый по натуре, переехал сначала на Кубань, потом на Амур — зачинать амурское казачье войско. Так и распрощались навсегда. Отец мой не знал ни одного хохлацкого слова, я же и подавно. И все-таки мы с Мищенко немножко сородичи.

Это открытие меня удивило и немного раздосадовало: вот тебе и Параскевья! Надо приглядеться, не гоготать, когда кто-нибудь устраивает представление...

— Бог помощь, работнички!

Подошел Шемет в колпаке и халате, распаренный, пахнувший жареным, вареным — вкуснейшей едой, которая наверняка и не водится на нашей кухне. Сел на чурку, закурил. Ему ничуть не холодно при таком мощном пылающем теле. Жмурится, как кот сибирский, усмешается, приятно остывает на морозце.

— Наряд? — спрашивает меня.

— Два.

— Ай-яй-яй! И чего у тебя служба не получается? Вроде мы, казаки, вечные служаки, а у тебя не получается. Неспособный, что ли ча?

— А ты способный?

— Я заслуженный.

— С поварежкой?

— Нет, почему же это — на фронтах, — Шемет ухмыляется, аж щеки до ушей сдвинулись, хочет меня «завести». Человек явно пришел повеселиться.

— На фронтах каждый может, — говорю я, хоть и чувствую — надо промолчать, не подливать масла, все равно его ничем таким не прошибешь.

— Ха, ха! — оглашает лес Шемет. — Вот вояка, Аника-воин!

Смеемся все вместе, и Шемет, махнув на нас рукой: «Ну вас совсем к богу, цыпят недощипаных!» — уходит, похохатывая себе под нос.

Колем чурки на поленья, складываем в штабелек — кладем хитро, так, чтобы больше казалось — с воздухом между поленьями. В окнах столовой мелькание, плотное движение, доносится стук бачков и мисок, голоса — там полным ходом уничтожается еда. Хочется есть. Но мы выждем, «штрафникам» полагается в последнюю очередь. Они несчастные, и им обычно перепадает погуще, со дна. Их жалеет Шемет.

Штабель получился средним по величине, пришлось распилить еще один кряж, наложили сверху горбом — вышло вроде ничего, как раз норма двух нарядов, установленная Беленьким. Это точно знал каждый, и старшина обычно не приходил проверять — обмануть его невозможно, он все равно следит издали, из окон, все равно всегда рядом с тобой.

Наконец идем обедать, получаем по большой порции супа и каши, медленно съедаем в пустой столовой. По-

том долго сидим, дремлем. Шемет ушел на склад получать продукты, в посудомойке тихо звякают миски. Мы вроде бы вне закона, вне общества, люди позабыли о нас. Мы будем долго дремать на столовских лавках: служба-то идет! Сумерки затягивают синей бумагой окна, холодком подступают от двери к нашим ногам. Но вставать не хочется. Вставать — значит, идти чистить сортир. Кажется, если вот так долго, очень долго сидеть, все переменится, промелькнет, как во сне, и совсем не нам с Мищенко придется... Вообще-то мне не так уж и тяжело, весь день мне сегодня было по-особенному легко, чуточку возвышенно, да и сейчас меня не очень пугает второй наряд. Когда что-то есть в душе, когда она как бы едва помещается в тебе — все не страшно. Все можно перемочь. Только бы было это в душе. А оно у меня весь день сегодня есть. Откуда, что?.. Я думаю — и меня легоньким жаром обдаст: ведь Голосков пригласил к себе. И я пойду. И надо скорее разделаться с работой.

— Подъем! — вскакиваю и тереблю за плечо Мищенко.

В сарае берем ломики, лопаты, идем к дощатому продолговатому сооружению, входим внутрь. Желтовато горит одинокая лампочка. Сыро, холодно. Все десять очков обмерзли, их надо одалбливать. Начинаем. Желтый ледок брызжет вверх, в стороны. Важно, чтобы меньше попадало в лицо (оно теплое, ледок сразу подтаивает и оставляет на коже капли). И еще: не выронить ломик, уйдет с концом в яму — получишь наряд. Два ломика уже там, старшина просто задохнется, узнав о гибели третьего.

— Бо це людэ? — ворчит сквозь сжатые губы Мищенко.

И правда, неужели поаккуратней нельзя? Столько намерзло всякой дряни, что кажется — назло это сделано.

Кто-то заглядывает в дверь, спрашивает:

— Как, можно?

— Подождешь, — отвечаю я.

— Та в штани! — советует Мищенко.

— Развоняли тут, — ворчит солдат и уходит куда-то в лес.

Работа есть работа, делать надо ее хорошо. И чистую

и грязную. Замполит Мерзляков рассказывал — у него в роте на фронте один ученый математик служил, очень известный в научном мире, так он любую грязную работу выполнял весело, даже сам иногда напрашивался. «Культурный человек, — будто бы говорил сам математик, — все должен уметь делать, ничем не пнушаться». Приводил в пример Толстого. Ну, я не могу сказать, что мне нравится такая работа, однако она страшна, пока за нее не возьмешься.

Отправляем еще двух солдатиков прогуляться по морозцу в лесок, берем метлы-окрибуны, подчищаем ледяную крошку, выскабливаем пол до досок.

— Все, — сказал я. — Как в лучших столичных домах.

— Гарно. Хоть житы оставайся!

Помедлили немного, привалившись к метлам, как-то жаль стало уходить от такой чистоты. Будь я старшиной — назначил бы возле уборной специальный пост, учить людей аккуратности.

В казарме на нас сразу навалились.

— Р-рота! Встать, смирно! — скомандовал кругленький, румяный, как дорогой пирожок, младший сержант Васюков. Подойдя строевым шагом ко мне, он доложил: — Товарищ сержант! Личный состав готов посетить ваше культурное заведение. Когда прикажете?

От хохота, кажется, потрескались стекла в рамах, и я заметил: даже всегда строгий Зыбин-Серый, слегка ухмыльнулся. Значит, — действительно всем смешно.

Нарочито боязливо приблизился к нам оутулый сержант Гмыря (у него все всегда развинчено — руки, ноги, голова, туловище, — будто каждая часть живет сама по себе), потянул сизым кирпатым носом.

— Духи футы-нуты. Тыща рублей флакон.

Снова хохот, снова коротенькая ухмылка Серого. Значит, — смешно. Но мне не обидно. Смотрю на Мищенко — тоже ничуть не страдает, сияет глазками, помогает хохотать. Мы хорошо поработали, и это нас подружило. А ведь шли утром почти ненавидя друг друга, и если бы пролентяйничали весь день — вернулись бы, пожалуй, врагами. Хохот теперешний разделит бы нас окончательно.

Мищенко снимает бушлат, слегка трясет его, словно бы скупое делясь духами «футы-нуты». Еще взрыв хох-

та, уже последний — иссякли силы, упал интерес: мы «не завелись». К тому же явился от Беленького, схватив наряд, рядовой Скуратов — ему предстояло в одиночку долбить помойную яму, — принялись обсуждать это заметное событие в жизни роты, советовать Скуратову, как лучше проявить свои моральные и физические качества при выполнении важного задания.

После ужина, когда наступило личное время, я надел выходную гимнастерку, перемотал обмотки новой стороной наружу, надраил ботинки, причесался — сделал все так, будто собрался в городское увольнение. Постарался, однако, чтобы никто особенно не приметил. Выскользнул наружу, пробежал двором возле стены, вошел в подъезд с другой стороны дома: здесь жили холостые офицеры и сверхсрочники.

В сумеречном коридорчике отыскал третью от края дверь. Постучал.

— Кто там? Входи! — прозвучал неспешный басок Голоскова.

Он лежал на железной койке в белой нижней рубашке, сатиновых шароварах и шерстяных носках. Курил, глядя в потолок. На столе зиял раскрытой пастью патефон с пластинкой, на электроплитке сипел, будто тоненько голосил, горячий чайник. У стены слева, от пола до окна, висела обтрепанная стопа книг. Над кроватью — застекленный портрет девушки с сержантскими погонами.

— Садись. Я сейчас.

Я не знал, что означает «сейчас», сел на табуретку и, видя крайнюю сосредоточенность Голоскова, понял: ему надо что-то додумать.

За окном, в безмолвии и тишине, посыпался сухой частый снежок, заштриховал небо, леса, землю. Замутил дальние огни города. Сделалось совсем глухо. Лишь раскаялся чайник, да еле слышался сквозь стены и коридоры веселенький плач гармошки из казармы.

— Слушай, — вдруг привстал Голосков, и я вздрогнул. — Вот думаю сейчас... Почему человек решил: могу делать на земле, что захочу? Откуда взялся человек? Ну, предположим, от обезьяны. Но обезьяна не делает, что захочет, не убивает других обезьян. Она культурнее, значит... Почему один человек возвышается над другими? Кто дал ему это право? — Голосков прошагал

к окну, уткнулося лбом в стекло, глядя на снег. — Как-то идем с лейтенантом Маевским по лесу. Червяк через тропинку ползет. Он его — раз сапогом. Размазал. «Зачем?» — спрашиваю. «Червяк же», — отвечает. «Ну и что? Какой червяк, куда полз, почему существует?.. Да и не больше у нас права на жизнь, чем у него», — говорю. Засмеялся, дурачком посчитал. Так всегда — сначала червяк, потом ворону просто так, от скуки, женщиной попользовался... Сошло. Руки-ноги на месте остались, глаза не ослепли. Можно развиваться дальше. И появляется это проклятое право... Что нам делать, а?

Живо представляю себе лейтенанта Маевского, командира первого взвода, — среднего роста, чистенький, подтянутый в струнку, всегда пахнущий одеколоном; исполнительен до мелочности, строг с подчиненными; брезглив; любимые его слова: «Вы разгильдяй и перьях!» Невозможно себе представить, чтобы он спокойно отнесся к ползущему через тропинку червяку.

— Не знаю, — вздохнул я, решив еще раз послушать Голоскова, потом уже что-нибудь сказать, если будет ему интересно.

— Знаю, что не знаешь. Давай пить чай. — Он насыпал прямо в кружки заварку, залил кипятком, бросил по куску сахара, вынул из стола пачку печенья (наверное, прислали из Москвы). — Ты же будешь знать, а?

— Не знаю...

— Вот заладил. Мне-то надо с кем-то поговорить. А ты... человек еще не начатый, можно сказать, не уперся как бык в крашенные ворота. Стихийно можешь изъясняться. Что думаешь — то скажешь. Большая ценность в таком слове. Когда устами младенца... Не обижайся, мы с тобой одинаковые: я тоже сочинял стишки. А насчет службы — просто братишки. Душонки у нас насквозь штатские.

Голосков как-то зло накрутил патефон, опустил мембрану на пластинку. Из шипения, из ничего возникла вдруг, ущипнув сердце, довоенная, из самого моего детства, песенка:

Улыбнись, Маша,  
Ласково взгляни,  
Жизнь прекрасна наша,  
Солнечны все дни.

Он опять повалился на кровать, заложил под голову

руку. Рубашка вылезла из брюк, ворот расстегнут, жиденькие русые волосы вспучились как от ветра; шерстяные носки, присланные мамой, слегка проносились; в серых больших глазах бесконечная рассеянность, скука. И весь он ужасно гражданский, домашний, и я вспоминаю — он уже несколько раз подавал докладные с просьбой уволить его в запас.

— Это тоже Маша, — указал Голосков на застекленную фотографию. — Убили немцы. А я вот ничего, правда, чуть-чуть войны прихватил. Вроде опоздал. Он повернул голову к фотографии. — Жениться не буду. Никогда. Верить?

— А я стихи писать не буду, — вдруг как-то сказалось само по себе.

— Почему?

— Несерьезно. Так все считают.

— Правильно. Ты прозу давай. За нее, говорят, больше платят.

Голосков засмеялся, колыхая живот. Потом мы помолчали минуту, слушая далекую гармошку в казарме.

— Поеду в Москву, домой, — проговорил Голосков, словно с риском доверяя мне очень важное. — Отпустят скоро. Зачем такого держать? Поступлю в медицинский. У меня ведь папа врач известный, хирург. Мама терапевт. И дед был врач. Династия. Мне та же дорога начертана. От запаха йода — и то чуть не плачу... Приезжай лет через пять, если заболеешь. Ну, и так просто приезжай, а?

— Приеду.

Голосков негромко рассмеялся, как бы для самого себя, радуясь своему отличному душевному состоянию, и положил тяжелую белую ладонь на мою руку.

#### 4

Идем со старшим сержантом Бабкиным в город. Он отпросился, а мне выхлопотал увольнительную записку до двадцати трех ноль-ноль. Мы с ним самые близкие друзья в роте. В последнее время, правда, когда его назначили помкомвзвода, мы реже бываем вместе. Ему поставили железную койку, рядом со старшиной (вообще-то им полагалось по отдельной комнате, но с жил-

площадью в роте было плоховато), и он словно бы отдалился от меня. Да и подчиненные должны видеть: дружба дружбой, а служба — важнее. Но все-таки Бабкин выхлопотал мне на сегодня увольнение — это считается большим поощрением, — и мы шагаем вдвоем в город.

— Миррово! — говорит он, палекая на букву «р», будто командуя, и отмеряет костлявыми ногами широкие шаги по твердой снежной дороге. — У тебя девушка была?

— Была. — Стараюсь, попадать с ним в шаг. — Когда на рыбозаводе после ФЗО работал.

— Хоррошая?

— Ничего. Матрогон отбил.

— Значит, слаб в коленках оказался.

— Теперь думаю: фиг с ней!

— Заведешь.

— Завел уже. В Армавире живет.

Бабкин приостановился, скосил на меня густо-коричневые, монголистые глаза, отрывисто захохотал, будто закашлялся.

— В Америке? Как же целоваться будете на таком большом расстоянии?

— В Армавире, говорю. Переппсыцамся.

— Вот козел-фантазер!

— Зато дружок был настоящий, — сказал я, сердясь на свою болтливость. — На рыбозаводе тоже. Вместе призвали. Колька Дергунов, по прозвищу Лось. Погиб на Сахалине. Там, рассказывают, япошки смертников в дзоты насажали. Потом драпали, конечно, до самого пролива Лаперуза... А Кольку, человека, жалко.

— Понятно. У меня двух дружков...

Шагаем, поглядывая на белые, клубистые дымы города. Словно кучевые облака легли на дома. Это от мороза и солнца. От искристого пнея, висящего в воздухе. Нам хорошо, по-особенному весело. Потому, что кончилась война, потому, что впереди бесконечная, ясная жизнь, похожая на солнечное сияние города.

Слышится дребезжание, рокот — нагоняет полуторка. Бабкин кивает мне, мы расступаемся, пропускаем машину, как сквозь ворота, и сразу бросаемся вслед за ней. Первым цепляется Бабкин, переваливается, взбрыкнув ногами, в кузов, подает мне длинную руку. Хвата-

юсь, зависаю, карабкаюсь на борт, валюсь на дно кузова. Вместе пробираемся ближе к кабине, приседаем на корточки: здесь не так трясет, меньше режет встречный морозный поток.

Это наш обычный транспорт. Шоферы солдат не сгоняют, не требуют платы. Но и никогда не останавливаются: садись, как знаешь, сходи, где захочешь.

Доехали до крайних улиц, машина свернула влево, к дымным заводским корпусам, на повороте сбавила бег, и мы удачно покинули ее припорошенный угольной крошкой кузов. Посмотрели друг на друга — угольной пыли и нам перепало, под носами черные усы, — почистились платками, отряхнулись, затянули на бушлатах ремни.

Вскоре шли по главной улице. Она в городе самая длинная, со старинными домами, с двумя кинотеатрами, магазинами, ресторанами и оканчивается площадью. Держимся плечом к плечу, «не теряем ногу», как в малом строю, отдаем честь встречным офицерам. Мы подтянуты, начищены, и на нас, наверное, приятно посмотреть со стороны (даже я в кирзовых наваксенных сапогах — Бабкин выпросил у капитанармуса). Так и должно быть: народ любит своих солдат-победителей, гордится ими.

Я не спрашиваю, куда мы идем. Мне все равно. Главное — быть в городе, видеть каменные дома, стучать каблуками по асфальту, заглядывать в витрины магазинов. А они, витрины, делаются все более красивыми: ситцы, сатины самые разные появляются, импортные кофточки для женщин, кожаная обувь (скоро, поговаривают, и вовсе наступит прекрасная жизнь — отменят карточную систему). Может быть сходим в кино, погрустим часок в тихом ресторанчике, куда совсем редко заглядывает патруль — или просто съедем по три порции брусничного мороженого. Это решит Бабкин — он старший по званию и по годам, он пригласил меня, и ему известно, как распорядиться нашим общим городским временем.

Прошли мимо кинотеатра, магазина, павильончика «Закусочная», главной почты. Остановились у входа в гастроном — красивое здание, с витринными стеклами во весь нижний этаж, со скульптурой над порталом. Говорят, это бывший магазин одного богатого куп-

ца... Бабкин глянул на штампованные, японской марки, часы, нахмурился, думая, что-то прикидывая.

— Внища бутылочку возьмем?

— Давай...

Потолпились у прилавка, выбрали бутылъ плодово-ягодного, емкостью 0,75, потом, за какую-то большую сумму, Бабкин приобрел коробку соевых конфет, а оказавшийся в толпе барыга сплавил нам за сотнягу двух копченых сазанчиков средней величины. Рассовали все по карманам, довольные, покинули гастроном.

— Теперь так, — сказал задумчиво Бабкин, глянув опять на свою штамповку. — Свидание в три ноль-ноль. В запасе полчаса. Двинули полегоньку, пока найдем...

— Девушка? — спросил осторожно я.

— Катя.

— Когда познакомился?

— В прошлое воскресенье. Билетик предложил на сеанс...

— Понятно.

С главной улицы спускаемся вниз, в овраг, к речке. Вообще весь этот город расположен на трех длинных горбах, между которыми шумно текут две речушки. Обе — грязные такие ручьи, неизвестно откуда берущие начало. Возможно, это просто сточные каналы... Берега плотно застроены деревянными домами (есть среди них довольно старинные, с цинковыми крышами, резными наличниками, окованными ставнями), щетинятся крепостным частоколом, заборами с колючей проволокой, горбятся сараюшками, хлевами, какими-то непонятными вертикальными строениями, похожими на голубятни, хотя за время войны от голубей не осталось и пуха. И народу здесь, понятно всякому, неисчислимое множество. По ночам стоит сплошной собачий лай. А найти нужный дом в этакой чехарде — очень даже нелегкое занятие.

Движемся вдоль нескончаемых закуржавевших заборов, по бережку замерзающей, густо бурой, парящей баным духом речушки, ищем номер 39-бв. Почему сразу «бв» — не знаем, однако не удивляемся: пережив войну, разучились удивляться. Все может быть!

Наконец видим номер 39 — широко рассевшийся старый дом под снежным куполом. Окна у самой завалинки, скособочены, бревна в трещинах, подточены трухой.

Везде сараюшки, стайки, чуланы. Стучим в калитку. Из конуры высовывается тощая морда лайки. Пес грустно рычит — лаять ему, наверное, лень. Через несколько минут в двери сеней появляется старушечья голова в шапке-ушанке.

— Чего надо?

— Бабушка, где здесь номер 39-бв?

— С другой стороны.

— А как пройти?

— Как знаешь.

Старуха скрылась, накинула на дверь крючок. Стало понятно: здесь никто никому не верит, а «как знаешь» — значит: если приглашен, то найдешь и без расспросов.

Осторожно идем у забора, находим другую калитку, стучим. Отзывается собака, потом из сеней высовывается небритая физиономия нестарого мужчины.

— Чего?

— У вас не «бв»?

— «Бе». — И голова исчезает в темени сеней.

Идем до следующей калитки. Собака. Голова.

— Не скажете, как найти «в»?

— Не скажу. — А позади, из глубины дома, хохоток, песенка: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...»

— Нет, серьезно.

— Так бы и говорил, мальчик. Тогда — здесь.

— Нам Катю.

— Которую?

Бабкин молчал, лупая глазами, что-то вспоминая, но вспомнить, пожалуй, было нечего, он выговорил:

— Катю, черненькую...

Женщина обернулась в сумерки дома, спросила:

— Есть такие?

— Есть, — отозвались со смешком. — Две черненьких, одна рыженькая.

— Зайдете, что ли?

Женщина больше высунулась из двери, всматриваясь в нас. Была она толста, в годах, накрашенная и в широком цветастом халате на одной пуговице. Ноги голые, в тапочках, волосы мелко, старательно завиты плойкой.

Мы стояли, стесненно поглядывали на нее, не зная, как поступить: если Катя дома, то почему она не выйдет, если мы ошиблись, то зачем эта пожилая женщина обманывает нас? И вообще, хорошо ли, стоит ли вхо-

дить в этот затонувший в снегу, необъятных размеров сумрачный дом?

Женщина прошла к собачьей конуре, захлопнула ее, нестеснительно наклонившись. С крыльца проговорила бойко, не оборачиваясь:

— Не трусьте, мальчики.

Вошли в низкие темные сени, протиснулись в еще более низкую дверь дома и оказались в большой, сухо патапленной комнате с несколькими кроватями, скрытыми ситцевыми занавесками. Посередине был стол, застланный довоенной скатертью, на нем — патефон, стопка пластинок, небольшой яркий самовар, горка чашек из старого пожелтевшего фарфора. Беленая жаркая плита, узенькая дверь в комнату-каморку, между оконными проемами — два военных портрета.

В комнате, казалось, никого не было, но, присмотревшись, я заметил — пошевеливаются ситцевые занавески, за нами следят в узенькие щелки. А вот послышался легкий смешок, пружинный скрип.

Женщина подтолкнула нас к вешалке у двери, молча подождала, пока мы разоблачились, провела к столу, усадила так, чтобы нам были видны все четыре кровати, крикнула не громко, однако довольно повелительно:

— Катки, к вам мальчики!

Сразу же из-за двух занавесок, как выстреленные, выпорхнули две девушки — обе небольшого роста, чернявые (может быть, умело покрашенные?), подошли к столу, уселись напротив нас. Одна, севшая ближе к Бабкину, оглядев его и меня, проговорила, вздохнув:

— Ах, какие сержантики!

— Смотри-ка, — удивилась другая, — один с медалью даже. — Она наклонилась к Бабкину, медленно прочитала: — «За отвагу». — И тут же, прижав к груди стиснутые ладошки, попросила: — Ой, расскажите, как вы воевали!

Бабкин бегло взирал то на одну, то на другую, как в магазине кукол, щеки у него запунцовели — а это с ним случается лишь от жгучего смущения — и мне было непонятно, что происходит с ним. Ведь все, кажется, нормально: его Катя рядом, вроде симпатичная девушка; возле меня другая Катя (обо мне как-будто тоже позаботились), на вид не хуже всех иных девушек на свете... Я уже собирался толкнуть Бабкина локтем: «Чего тебе

не хватает!», но он приподнялся, расправил гимнастерку под ремнем, поблуждал глазами и спросил куда-то в пустоту:

— А где Катя?..

— Мы же Кати, — спокойно, несколько сердито ответила его соседка.

— Нет, — приложил руку к медали Бабкии. — Другая, та...

Девушки засмеялись, будто услышали остренькую шутку, и обе, как-то разом, накиннули нога на ногу, отчего полы их тесных домашних халатиков разошлись, оголив колени. Из-за наших спин к столу протянулись тяжелые, обнаженные до плеч руки и поставили на скатерть бутыль плодово-ягодного вина, коробку соевых конфет, два копченых сазана средней величины. Оттуда же послышался уже хорошо знакомый нам голос:

— Не трусьте, мальчики. У нас здесь жэковское обшежитие. Я за старшую... Девочки, организуем погреться.

Обе Кати вскочили, побежали к печке, открыли деревянный шкафчик, принесли граненые стаканы, нож, две засушенные соевые лепешки. Старшая, веско положив руку на плечо Бабкина, усадила его на место, ловко склупнула с бутылки засургученную железку, разлила вино поровну в пять стаканов.

— Будем знакомы, — скомандовала она и выпила, ни на кого не посмотрев.

Девушки тоже выпили свое вино. Я ожидал Бабкина, чтобы по-дружески, разом с ним. К тому же он главный, должен подать пример. Бабкин смотрел в стакан, рука у него вздрагивала, черные брови были сведены на переносице. Я слегка толкнул его в локоть: мол, невежливо так, — и выпил вино. У Бабкина еще немного подрожала рука, потом он резко встряхнул чубом, одним длинным глотком опорожнил стакан.

— Фронтончик! — сказала одна из Кать.

Они жевали соевые конфеты, а старшая разделявала сазанов. И вообще здорово эта женщина распорядилась нашими припасами. Надо пережить четыре года войны, набедствовать, потерять много дорогого, до тонкостей приспособиться к военной жизни, чтобы уметь вот так, запросто, вынуть из чужих карманов вино, конфеты, рыбу. Нет, меня это не возмущало, не удивляло — пусть

возмутится кто-то другой, будущий, при хорошей жизни, — я скорее всего завидовал ее естественности, прочному умению жить.

Бабкин опять вырос над столом медленно и молчаливо. Я заметил — он ничем не заел вино, выпив, даже не глянул на стол, и теперь щеки у него из пунцовых сделались желто-коричневыми, слегка ввалились. Он оперся рукой о край стола, поднял глаза, из-под стиснутых бровей уставился на старшую.

— Нет, вы мне скажете, где Катя, — выговорил он четко, даже слишком звонко. — Скажете...

Старшая бросила рыбу, глянула быстро и опытно на Бабкина, вытерла о фартук руки.

— Фу, какой серьезный! Так бы и говорил. — Она неторопливо уселась на стул, положила в подол ладони. — Так бы... Была. Ушла от нас. Совсем.

— Давно ушла?

— С осени, с сентября будет.

— Зачем пригласила сюда?

— Этого не могу знать, мальчик. Ты знакомился...

— Ясно.

Бабкин бережно отставил стул, пошел к вешалке. Я вскочил, заторопился следом. Старшая тоже подошла к вешалке. Мы быстро и четко оделись. Старшая все это время молчала, скрестив руки под фартуком. Когда мы повернулись, чтобы сказать «до свидания», она проговорила спокойно:

— Может, останетесь?

— Нет.

Я глянул от двери в глубину комнаты и как-то резко, подогретым от вина сознанием, запомнил девушек. Они так и сидели за большим дубовым, очень старинным столом, обе кукольно-маленькие, с бледными крашеными лицами, и не улыбались. И стало видно, что они уже не молодые и совсем разные: у одной голова круглая, на тоненькой шейке; у другой — продолговатая и словно бы прилеплена к узеньким плечам. Но главное — девушки не улыбались: от них, наверное, так запросто никто не уходил.

На улице засинело, воздух потрескивал морозцем. Мы поежились, выпуская из бушлатов не наше, незаконно прихваченное тепло, и во всю длину ног зашагали в гору.

Я не задевал Бабкину расспросами: захочет — сам заговорит; да и шел он ходко, все обгоняя меня, будто не хотел, чтобы я видел его лицо.

«И чего бы нам не посидеть? — рассуждал я с ним молча. — Чего испугались? Тепло, выпили, у девчат пластинки имеются. Да и вообще интересно — что за люди, почему пригласили нас? Можно было подружиться с девочками, заходить к ним «на огонек»... Ну, если они такие, легкого поведения?.. После войны чего не увидишь. Может быть, они совсем шлюхи, а старшая их начальница? Тогда другое дело, тогда не надо... Однако посидеть, погреться все равно стоило — для интереса, изучения жизни...»

Мы лезли в гору, с каждым шагом заметнее отрывались от речушки — она погружалась в сплошную, затянутую речным паром черноту, кое-где продырявленную желтыми огоньками, — и впереди вырастал город — каменными домами главной улицы, освещенными витринами, автобусами. Мы как бы возносились от земли к небу.

На асфальте Бабкин свернул влево, сбавил шаг, мы медлительно заскользили мимо ярких, расписанных морозом витрин. Времени у нас еще порядочно, и если бы это было летом — направились к реке, побродили по парку, посидели на утесе, где всегда мальчишки и старики ловят сачками мелкую рыбешку; съели бы мороженого, поглазели на женщин, погрустили. И конечно, постарались бы познакомиться с девушками... Бабкин уже свернул к павильончику «Закусочная», словно мы заранее договорились. Даже при полном молчании можно хорошо понимать друг друга, если мысли и чувства одинаковы.

Здесь было парно, дымно. Пахло валенками, сырой кожей, телогрейками. Огромный южанин, уса́тый и лупоглазый, продавал за буфетной стойкой бочковое вино.

Пробираемся в дальний угол — в самую темь, дым: Бабкину ничего, он сверхсрочник, а меня может взять патруль. Здесь, в тесноте, не так опасно, и все рассчитано: юркну под стол в нужное время, пережду. Садимся лбами друг к другу. Молча пьем, едим. Хорошо все-таки вот так посидеть, выпить немного, помолчать. Человеком становишься, и заплакать хочется, если поду-

маешь, что когда-нибудь будет и у нас — тихая, сытная жизнь до самой старости.

Бабкин подымил папироской, глядя мимо меня, сказал:

— Вот тебе «мирово»!

— Плюнь. Береги нервы.

— Ну, ты пойми, зачем? Ну, познакомились, в кино посидели, в ресторане там... За что меня обманывать? 39-бв... В бардак посылать? Чтобы я знал, откуда она? Или остался там — испытать меня? Почему такое зло?

— Не захотела, наверно.

— Так я же не принуждал.

— Плюнь. Война все это.

— А-а... Был я на войне и скажу, слушай: люди везде люди. На войне тем более. На войне всякого видно. — Бабкин замолчал, хлебнул вина. — Правда, война лучше военного тыла. Чище. Это мне понятно теперь. Там самое страшное — погибнуть. Здесь — нечеловеком сделаться.

Бабкин говорил и говорил. Его, оказывается, очень больно задела вся эта чердымовская история. Потрясла прямо. У него дрожали губы, и глаза все наполнялись влагой, как бы пухли, словно в них наливалось вино. А я думал о нем, о его Кате. Кто он; старший сержант Бабкин?.. Сибирский паренек, из какой-то деревушки под Красноярском. Воевал, был ранен, получил медаль «За отвагу» — очень уважаемую солдатами. За что — не рассказывает: или тяжело вспоминать, или боится хвастовства. Остался на сверхсрочную, хочет получить комнату, здесь, а потом вызвать к себе одинокую мать. Впоследствии видно будет, что делать. Может, поступит в институт, может, сразу на завод — учеником токаря. Важно, сейчас определиться на местожительство, а город ему понравился: тут и рыбалка, и охота, три института, производство.

Бабкин принес еще по банке вина. Отхлебнули. Заели очередной порцией еды — пирожком и селедкой. Бабкин улыбнулся наконец, откинулся к стене, растянулся бушлат.

— Полегчало вроде, — выговорил почти нормальным голосом.

А я рассуждал. Конечно, Бабкину жениться надо, он уже в летах — двадцать четыре года. Вот и познако-

миться хотел... Муж из него получится хороший — повидал человек много разного, притомился от войны, деловой, тихий будет, любящий жену и детишек. Почему же ему попалась эта Катя? За какие грехи такая обида от нее? Похоже на месть. За себя, за войну?

— Может, надо найти Катю? — спросил я.

Бабкин мотнул головой, впервые нехорошо выругался.

Я вспомнил о письме из дома, вынул, перечитал. Мать писала, что скоро будет перебираться в город (здесь еще с довоенного времени живет моя старшая сестра), надоел Север, плохой климат, надоело жить без овец. Подумал, что и мне придется после демобилизации остаться здесь, чтобы учиться или работать. Мы будем дружить — Бабкин и я, построим общую лодку, будем ездить на рыбалку.

Бабкин сунул мне банку с вином — оказывается, сходил в третий раз. Стукнулись стеклом, выпили.

Потом, в дальнем углу, где сидела большая компания, возникла драка. Загремели столы, стулья, разбитые банки. Сквозь шум и крики прорвался какой-то уж очень одинокий, мальчишеский голос:

— Солдатики, наших бьют!

Бросились туда. В сумерках, свалке отмахивается белыми кулаками матросик. На него насаждают две телогрейки и желтый, со споротыми погонами полушубок. Все другие орут, подзадоривают. Влезли в самую гущину. Бабкин ухватил своими рычагами обе телогрейки, рванул их от матросика. Я ударил плечом полушубок — повалил боком на стол. Толкнули матросика к двери. Он выскочил на мороз, за ним я, потом Бабкин. И последнее, что улавливает мой слух — гогочет, что-то довольно выкрикивает продавец вина, тоненько визжит, будто плачет, буфетчица.

Сворачиваем за угол закусочной, несемся вниз, к речушке. Проскальзываем в темную подворотню, пересекаем двор, прячемся между забором и деревянной уборной. Где-то у закусочной шумит, булгачит народ. Значит — оторвались. Патруль, милиция нам нипочем.

— Закурим? — говорит матросик. Подает папироски, дрожа руками. Часто дышит, слова получаются куцые, шипящие. — Г-гады. Шантрапа... Часы увидели... Продай. Дареные, не могу... Отцовы... В драку полезли. —

Он словно оправдывался, жаловался. — Ну, я одному и-нос поправил.

— Ладно, — вяло взмахнул рукой Бабкин. — Выходим по одному.

Пожали матросику руку, он выговорил «Спасибо, братцы», шмыгнул на улицу. Выждали минуту. Тишина. Через три квартала повернули к главной улице, выбрались на свет, спокойно застучали каблуками по асфальту. Настроение почти наладилось — как после не очень важного, но необходимого дела.

Бабкин подтянул ремень на бушлате, откашлялся в кулак, налаживая дыхание, подобрал под меня шаг.

— Ну, как? — спросил, слегка толкнув плечом.

— Миррово!

Он негромко рассмеялся и потом, пока мы шли по городу, вдруг начинал хихикать, мотая головой. Мне было понятно: он переживает все снова, страдает, мучается; хочет видеть нас со стороны и, конечно, смешными дурачками, чтобы ни на кого не сердиться. Ведь нам надо жить, ведь главное — кончилась война... Когда погас керосиновый огонек последнего городского дома, он твердо сказал, окончательно прощаясь с сегодняшним днем:

— Оставим себе на память.

Впереди распахнулись привычных пятнадцать километров по морозу и темноте.

## 5

— О вои, службою живущий,  
Читай устав на сон грядущий  
И, ото сна опять восстав,  
Читай усиленно устав, —

напевает ефрейтор Мищенко, со всем своим возможным старанием наматывая обмотки. Нам смешно слушать это, потому что Мищенко из тех людей, которые уродились на свет, чтобы ничего особенного не знать, тем более армейских уставов. Когда его спросили однажды, принимал ли Присягу, он ответил: «Кажись, было такое дило». Но если что-либо удастся запомнить Мищенко, он выпаливает четко, старательно, тут же наново выжидая похвалы. Сердиться на него — все равно, что

на плохую погоду, и никто из офицеров не сердится, кроме подшучиваний, Мищенко ничего от них не слышит. А старшина без конца муштрует его, хочет переломить, сделать примерным солдатом.

Мы готовимся к занятиям по боевой подготовке. Мищенко, я, Васюков, Скуратов и еще шесть человек отстающих. Нам полагаются дополнительные занятия. Проводит их обычно старшина Беленький. Командиры взводов как-то удачно, «по-тихому» взвалили на него эту добавочную работенку, и он аккуратно ее исполняет.

В прошлых «допзанятиях» я не участвовал — дежурил в радиокомнате, да и сегодня случайно попал в список отстающих: по боевой у меня все-таки не самая низкая отметка. Докладывал Беленькому о выполнении приказа (он посылал вызвать каптенармуса Лебединского), и приложил руку не к виску, а чуть пониже — к уху. Старшина тут же сказал: «Придется нам потренироваться».

Все были готовы. Сняли с пирамиды деревянные винтовки с проволочными штыками, учебные гранаты, повязались пустыми подсумками.

Подтянулись, оглядели друг друга, чтобы не сердить старшину с первых минут. Сели кто на что — как перед важным делом. Лишь Мищенко суетился — ощупывал, хлопывал себя, даже в осколок зеркала глянул, усмехнулся: «Гарий!» — и запел с жутким хохлацким говором: «О воин, злужбою живущий...»

Из канцелярии вышел Беленький в желтом полушубке, подпоясанном широким кожаным ремнем, повой шапке-ушанке, начищенных сапожках в гармошку. Мстнул на нас голубой, родниковый взгляд, остановился посередине площадки между нарами и стеной, вскинул руку на уровне плеча, резко выкрикнул:

— Становись!

Выстроились по ранжиру. Старшина шагнул вперед, повернулся к нам лицом. Наступила минута неопределенной тишины — старшина цепко оглядывал нас, — и я в какой уже раз почувствовал холодок где-то пониже горла: так всегда действуют на меня строгость, безжалостный взгляд. И хоть разумом понимаю: ерунда все это, и Беленький совсем не страшен, но упряменькая покорность сидит глубоко внутри меня. Более того, она

приятна мне — как освобождение от груза собственного я, как возвращение в стародавнее детство. Минута минула ощутимым временем. Старшина удовлетворенно, бегло бросил команды:

— Равняйсь! Смирно! Напра-во! Шагом арш!

Выходим в белизну снегов, в черноту леса, в морозное сияние неба. Отбиваем четкий, сухо-скрипучий шаг по твердой дороге, ведущей в распадок между холмами — там у нас учебный полигон. Беленький сияет сапогами, пряжкой, звездой на ушанке; шагает пружинисто, с легким подскоком, экономно отсчитывая каждое движение.

— Рраз-два. Рраз!..

Покачиваются, плывут, режут глаза блеском холмы, заиндевелые рощи, дальние вершины. Дыхание опадает порошей на воротники, спины впереди идущих. Воздух леденит, пробирается в самые темные, теплые глубины тела, острыми искрами потрескивает на щеках и кончиках ушей. Мороз —35°. И он мерещится мне в снежном отдалении красными мгновенными всполохами, выписывающими эту цифру.

— Реже шаг! Запевай!

Запевала в роте один — Васюков. Он здесь, с нами, и всем другим нечего бояться, что старшина, не выдержав молчания, вдруг укажет на кого-нибудь пальцем. Голос у Васюкова несильный, но точный: до призыва он пел в клубной самодеятельности. И по строевой у него пятерка. Старшина берет его каждый раз для песни, для примера отстающим.

Замедляем шаг, выравниваем дыхание. И слышим, как неторопливо, в такт шагам, рождается и зависает в морозном воздухе хриловатый голосок Васюкова. Он поет строевую песню Дальневосточной Краснознаменной. Выжидаем последних слов куплета и, когда Васюков, как бы вконец истончившись, замирает, гаркаем припев:

Прицелом точным  
Врагу в упор,  
Дальневосточная,  
Даешь отпор!

Бодрее настроение, легче шагать, неся песенное единение. Мороз отпускает. Боевитость откуда-то из про-

стора нисходит на душу. И возникает всеобщее чувство, которое можно выразить лишь одним словом — Родина. Она в душе у каждого, рождается на свет вместе с нами. Она может не ощущаться, но ее надо пробудить. Песня всегда помогает этому.

Допели «Дальневосточную», прибыли на плац. Снегу здесь было немного — сдуло ветром, кое-где виднелась пожухлая трава, кочки. Перед линией окопов выстроены соломенные чучела, ближе — полоса препятствий: бревенчатые барьеры, бум, канавы, стенка... Все это напоминало детский городок для игры в войну.

— Рразойдись! — скомандовал старшина.

Брызнули врассыпную — как и положено при этой команде, — потом сгрудились, составили винтовки в козлы, задымили, хлопая рукавицами, оттирая уши и носы, постукивая ботинками о каменно-ледяную землю. Привычный смех, острые и тупые шуточки.

— Параскевья, подол подбери!

— Тоби, може, нижки показаты?

— Тьфу, шарахнутый.

— Васюков, спой арию: «Сердце красавицы измешнит — мается».

Начинается разговор. Про то, что хорошо было, когда служили эрзац-солдаты. В каждой части — свой девишник, выбирай, знакомься. В город незачем бегать. Живи как отдельное государство.

Подошел старшина Беленький — весь перекур он осматривал окопы, полосу препятствий — для будущих занятий: это тоже его хозяйство, — попросил огонька, закурил. Мы замолчали, сбитые с существенной темы, затолкались, нарочито перебраниваясь. Старшина чутко уловил перемену, спросил, с легкой ухмылкой смерив беглым взглядом неуклюжую фигуру Мищенко:

— О чем гуторили?

— Як вам сказаты, товарищ...

— Нет, ты давай прямо.

Мищенко растерялся, засучил руками, замигалечно беспокойными, мальчишескими глазками (старшина редко обращался к нам на «ты»; если это случалось — значит, он в отличном настроении) и наконец, отчаявшись, выпалил:

— Та за баб, товарищ старшина.

Мы грохнули, как по команде, засмеялся и Беленький. Очерь весело засмеялся — показал широкие белые зубы, сверкнул заслезившейся водичей глаз, слегка сдвинул на загилок ушанку. На минуту все увидели: он еще совсем молодой, не старше Скуратова, и на щеках у него пушок вместо щетины, а пожилым кажется от вечной строгости, хмурости, напряженного голоса. Мне делается хорошо от такого открытия, оглядываю всех — всем хорошо, хочу спросить старшину, была ли у него когда-нибудь любимая девушка, и уже заикаюсь, но Беленький бросает недокуренную папиросу, водружает на место ушанку и, бросив от себя руку, выкрикивает:

— Отделение, становись!

Разобрали оружие. Выстроились. Подравнялись. Рассчитались. Сдвоились. Повернулись налево.

— Строевым шагом арш!

Стуча подошвами о снежный наст, взяв винтовки наперевес, двинулись по плацу. Сбоку, высоко выкидывая ногу, вывернув к нам голову, четко щелкает сапогами пружинный человечек старшина Беленький.

— Реже шаг! Не части! Слушай мою команду: эть-два, эть-два! Выше ногу. И не качайся! Носок оттянут! Рука идет вперед до пояса, назад — до отказа. Голову выше. Смотреть прямо перед собой! Не выбирать дороги. Шире шаг! Не сбиваться с ритма.

Шагаем тверже, настраиваемся на единый ритм, спланиваемся — каждое слово старшины шлифует, обрабатывает нас, как бы вколачивает друг в друга, — и вот уже мы единое тело, сгусток, живой и послушный команде. Над нами один разум, одно властвующее существо — старшина Беленький.

— Отставить! Вперед! Неприятель. По-пластунски, вперед! Как работаете руками? Спрячьте зад, Мищенко! Неприятель видит! Очередью полоснет! К земле, к земле ближе! Она, родная, спасет! Короткими перебежками, в шахматном порядке, вперед! Приготовить гранаты! За мной! Ура-а!..

Прыгаем в окопы, тонем в рыхлом, смешанном с землей снегу, протаптываем площадки, кладем на бруствер винтовки — вслед отступающему врагу.

Сработали четко, самозабвенно.

По команде собрались у соломенных чучел, изобра-

жающих фигуры солдат. Приступили к отработке приемов штыкового боя.

— Коротким коли!

— Длинным с выпадом коли!

— Прикладом бей!

Старшина вызывает к себе по одному, проверяет, поправляет, тренирует. Выматывает до пота, до одышки. Кричит, подсмеивается — использует все возможные средства воспитания.

Подходит моя очередь. Нужно сорваться с места, бегом приблизиться к старшине, за десять шагов приостановиться и, точно печатая шаг, подойти (не дальше и не ближе двух шагов), доложить: «Товарищ старшина, по вашему приказанию прибыл сержант...» Бегу, печатаю шаг, замираю, докладываю.

— Отставить!

Возвращаюсь. Изготавливаю. Бегу. Шагаю. Докладываю во всю силу голоса.

— Отставить!

«Что такое?» — Возвращаюсь. Одергиваю, осматриваю себя. Думаю. Гляжу на друзей: молчат — значит, все в порядке. Бегу. Докладываю.

— Отставить!

На сей раз я стою, не собираюсь возвращаться. Я уже зол: «Ты давай мне скажи, в чем дело или сейчас я скажу тебе что-нибудь, и тебе придется ввалить мне два наряда вне очереди». Стою, ем глазами старшину. Он догадывается: все, больше нельзя гонять. Это его сердит, накручивает, как пружину, он делает ко мне два резких шага, поднимает руки и, сдернув с моей головы ушанку, жестко пасаживает ее до самых бровей.

— Вы что, кучер — дэннь-ля-ля? Головной убор на затылке!

Ну, конечно же, не на затылке — понятно это и ему и тем более мне. Слегка была сдвинута ушанка, наверное, на самую малость, потому что ребята не заметили со стороны. Беленький придрался. Он не может жить, чтобы к кому-нибудь не придраться. И особенно любит, когда другие подсмеиваются. Знает слабость человеческую. Даже друзья начинают хихикать потихоньку при виде бестолково бегающего, козыряющего. Есть в каждом из нас такое: «Хорошо, что не я!»

Старшина тренирует меня, муштрует. Любой, самый

пустяковый ружейный прием приходится мне повторять по многу раз, шагать с винтовкой наперевес, замирать перед ним, слушать его ласковые, будто обращенные к малолетнему, наставления. И все из-за того, что старшина чувствует во мне противление: я не очень верю в его право командовать, подчиняюсь потому, что так положено по уставу.

В короткое время передышки успеваю молча сказать старшине:

«Слушай, ростовский мужичок. Почему ты не поехал в свою деревню, восстанавливать колхоз? Остался здесь валенками швыряться, мальчишек муштровать. Или там у вас рабочих рук много, или немцы перед уходом привели в порядок хозяйство? Нет, отсидеться остался — одежда добрая, харч бесплатный, к тому же особый. Деньгу скопить можно. А служба для такого здоровяка — игра кота с мышками. Может быть, так представляешь военную обстановку? Но там ведь было не до шапки, сдвинутой на полсантиметра, не до глупой муштры — на другое силы требовались. Тебе это не понять, ты как-то не попал на фронт, и здесь дальше маньчжурской границы не двинулся. Потому, наверное...»

— Крру-гом! Шагом арш! Четче шаг. Носок оттянут, рука идет вперед до пояса, назад — до отказа! Оружие на плечо! Равнение на-право! Выше подбородок! — Старшина бежит рядом, греется, делает много мелких движений, утомляется, кричит: — Стой!

Я не слышу команды, он кричит еще раз. Я иду. Он догоняет, командует чуть ли не в ухо:

— Приставить ногу!

Останавливаюсь. Присматривается ко мне. Выдерживаю: ни усмешки, ни частого хлопанья глазами. Кипит внутри себя, но подавляет слова — притомился старшина; отвернувшись, подает команду для всех:

— Отделение, становись!

Идем в роту по твердой дороге, перелесками, мимо снежных холмов, в блескучей мороси инея, сквозь снежные, жестко морозные просторы. Скрипят заledenевшие подошвы, белый пар нашего дыхания осыпается сухой порошей.

— Запева-ай!

Вот и казарма, тепло — наше, братское, пропахшее кожей, сукном, байковыми портянками. И сотней тел, и

оружейным маслом. Почти родное, потому что спасительное. Каждый по-своему радуется — шутит, напева-ет, вдыхая прогретый кирпичами воздух. А Мищенко, дребезжа нахолодавшим голосом, канючит:

О воин, службою живущий,  
Читай устав...

## 6

Утром, сразу после физзарядки, прошел слухок: сержант Рыбочкин, дежуривший в ночную смену, поймал сигнал воздушного оповещения. Немного позже, когда мы вернулись из столовой, было объявлено — сегодня роту посетит командир части.

Свободных от несения службы распределили по объектам: казарма, пищеблок, аппаратная, офицерские комнаты, двор — чистить, драить, наводить шик-блеск.

Возникла суета, неразбериха, словно перед праздником. Нарушилось обычное течение жизни: два события — сигнал оповещения и командир части — неожиданно ворвались в казарму, озаботили каждого из нас. Офицеры же, напротив, сделались молчаливы, даже как-то застенчивы. Меня подозвал к себе младший лейтенант Голосков.

— Может, пойдешь ко мне! — спросил он. — Подметешь, книжки сложишь, а?

Мне не хотелось уходить из казармы. Здесь было веселее: ребята шутили, гадали о ночном сигнале, ожидали с дежурства пару, которая сменила Рыбочкина (сам он сейчас спал), чтобы расспросить, записан ли действительно в журнале этот сигнал. Да и вообще в такое время интересно быть вместе со всеми. Но подумалось: Голосков все равно пошлет к себе кого-нибудь, а это как бы нарушит нашу дружбу, и я сказал:

— Пойду.

Вышел наружу, побродил немного по двору, постоял у открытого настежь окна кухни. Краснорожий Шемет шуровал в котле черпаком, рубил тесаком мясо, заправлял компот, покрикивал на подчиненных — кухонный наряд, — делал все сразу и, казалось, ему все-таки не хватало дела, потому что он выкраивал минуту-другую

постоять у раскрытого окна, курнуть папироску, подышать морозом.

— Фронтowej будет обедец! — прокричал мне, словно я стоял у дровяного навеса.

И это хорошо, празднично — «фронтowej обедец», по случаю приезда начальника. Активно настроившись, иду на офицерскую половину. Комнаты у них не запираются, толкаю дверь Голоскова, вполне по-хозяйски вхожу в его «берлогу». Точно, его комната напоминает берлогу, я еще тогда заметил это, однако не нашел подходящего слова. Сейчас легко подумалось: у больших неуклюжих людей жилье напоминает берлогу, у маленьких, юрких — птичьи гнезда.

Так, начнем действовать. Завожу патефон, ставлю мембрану на пластинку.

Улыбнись, Маша,  
Ласково взгляни...

Преотлично. Смотрю на стенку — на меня глядит белокурая застекленная Маша. Смотрю долго, говорю ей: «Улыбнись, Маша... Это ничего, что ты умерла. Голосков тебя любит — значит, ты еще живешь. Ты, конечно, умрешь когда-нибудь, когда умрут твои родители и женится Голосков. А может, и тогда ты будешь жить в нем, до его последнего дня. Он парень упрямый, кряжистый... Все равно ты счастливая, Маша: у тебя был Голосков. Ну, улыбнись, пожалуйста...» И Маша улыбается — я вижу ее сощуренные, голубые, огромные глаза, лучики морщинок возле них, чуть раздвинутые губы. «Вот и хорошо. И Голосков скоро уедет в свою родную Москву, будет учиться на врача, ходить по тем улицам и бульварам, где вы ходили вместе. Будет всегда помогать тебе...»

Теперь надо подмести в комнате. Веника, понятно, нет. Одеваюсь, выхожу во двор, бреду по глубокому снегу до первого куста, ломаю ветки. Руки чернеют от смолы, а когда вхожу в комнату, запах оттаявшего леса наполняет ее. Для берлоги — это то, что надо. Мету, выгребаю мусор за порог. Веник сую в угол возле умывальника: пусть еще долго пахнет смолой.

Принимаюсь за книги. Их много, сложены вроде аккуратно, но можно лучше. Отгораживаю стулом часть стены от окна к углу, укладываю, воображая стеллаж.

Художественные, политические, исторические, медицинские. Больше по медицине. Поднимаю крупный том — «Хождение по мукам». Мировая книга, говорят. Надо попросить у младшего лейтенанта. А вот «Лечебная гимнастика», «Мозговые оболочки», «Микседема», «Неврастения»... Это интересно, насчет нервов. Все мы немножко психопаты. Надо почитать.

«...Заболевания нервной системы, относящиеся к неврозам, развивающимся вследствие длительного перенапряжения, переутомления, недостатка регулярного отдыха и необходимой продолжительности сна...»

Так, перенапряжение, переутомление... Есть. После войны у всех есть. Насчет регулярного отдыха у нас в роте нормально. Спим вдосталь.

«...а также после длительных неприятностей, систематических психических травм...»

Это точно. Угнетает нас иногда старшина Беленький, наносит психические травмы.

«...резко меняется в зависимости от отношения, заинтересованности в данном виде труда, результатах и оценки выполняемого труда...»

Беленький, наверное, заинтересован в данном виде своего труда, доволен его результатами, и потому у него никакой неврастении.

«...Большую роль играют также индивидуальные особенности высшей...»

Распахивается дверь, в проем, как в портретную раму, вписывается ефрейтор Потапов. Начищенный, подтянутый, слегка вспотевший.

— Он читает! В казарму, живо! Личный состав строится!

Можно и не торопиться — Потапов вечно «порёт горячку», суетится, выслуживается. Воображает себя героем в будущей фантастической войне, про которую он все знает из книжек. Потапов, конечно, пойдет учиться на офицера — у него лучшие данные к этому. Каждому своя дорога, я понимаю, но зачем орать?.. Быстро складываю книги, не очень старательно бегу за Потаповым.

В казарме никакого построения. Наоборот, полный порядок обыкновенной жизни: отдыхающие — спят, свободные от службы, разбившись на две группы, занимаются. Руководят занятиями Бабкин и Беленький. Офицеры, должно быть, в канцелярии, совещаются. Я заме-

чаю — занятия идут больше для вида, чтобы создать деловую атмосферу (вот, мол, всегда у нас так!). И в общем-то у нас действительно всегда так. Но сейчас весь личный состав сплоченно старался доказать это.

— Сержант! — окликнул меня Бабкин.

Я приобщился к его группе, изучающей тактико-технические данные РБМ (радиостанции батальонной малогабаритной) — нашей родненькой, мучающей нас на всех учениях.

— Ефрейтор Мищенко! В передатчик не поступает питание. Как вы будете действовать?

— Як действовати? — медленно распрямляет себя полууснувший Мищенко. — Та хибя ж...

От соседней группы слышится ровный, железно четкий говорок старшины Беленького:

— В артиллерии наиболее распространены затворы поршневые и клиновые...

Мне здесь лучше — у Бабкина. РБМ знаю наизусть, да и кроме меня есть кого спрашивать, «салажат» достаточно. Устраиваюсь поудобнее, смотрю в окно. Видна кромка березового леса — розовые жилки-веточки, кусок неба фиолетового от мороза, низкие и плотные дымы города. Слышится словно бы отдаленное бухтение голосов, думаю: «Уже время обеда, но команды не дают — ждут командира. А вот шепоток рядом:

— Ну, как сигнал?

— Точно. Поймал Рыбочкин. Важный. Из штаба вроде подтвердили.

— Наградят Рыбочкина?

— Должно...

Течет, журчит время. Приоткроешь глаза — сиянием неба, белыми дымами, розовыми жилками, расщепившими воздух... Смежишь веки — говорком, теплом, неборимой ленью... И внезапно команда:

— Строиться на обед!

Значит, все — не будет, не жди начальство. Ложная тревога. Кто-то в штабе подшутил, или там решили отложить приезд. Обидно стало за командира роты, всех офицеров, за себя — так готовились, старались, начистились, душевно напряглись. Ждали с радостью и страхом, как и положено встречать высшее начальство. И вот, будто отменили праздник. Будто обманули. К чему же тогда «фронтowej обедец» Шемета — тоже человек

старался. Конечно, съедем, однако без необходимого на то права.

Строимся, выравниваемся. Подталкиваем друг друга, вполголоса бранимся. Все пошло по-обыкновенному, скучновато. Даже старшина Беленький в забывчивости держит рукой пряжку ремня — редкостная для него небрежность.

— Смирна-а!

И тут во всю ширь распахивается дверь канцелярии, из нее, словно выстреленные, вышагивают майор Сидоров, капитан Мерзляков, командиры взводов.

— Отставить! — негромко бросает, не глядя на строй, Сидоров, идет к выходу.

— Разойдись. Продолжать занятия! — мгновенно сработал старшина Беленький. — Моя группа ко мне!

Рассаживаемся, настраиваемся на занятия. Бабкин торопливо распаковывает оба ящика радиостанции, разбрасывает такелаж по столу, вызывает Мищенко.

— Тактико-технические данные...

— Та я ж уже отвечав...

— Поперечный!

Смотрю в окно, на дорогу. Она острым белым лезвием впивается в рощицу, и на ней никакого движения. Смотрю. И в конце лезвия вдруг взвизгивает снежное дымное облако. Кипит, ширится, вытягивается вдоль дороги к казарме. Из него проступает тупое рыло «виллиса», два передних рубчатых колеса, стекло, кабина. На утоптанном дворе облако рассеивается, опадает, «виллис» подваливает к самому входу, клюнув рылом.

Шофер выпрыгнул из своей дверцы, обежал спереди машину, распахнул противоположную дверцу, отступил на шаг. В проем высунулся лакированный сапог, золотые широкие погоны.

Откуда-то сбоку, будто по воздуху, подлетел лейтенант Маевский — он дежурный по части, — загородил приехавшего командира, взял под козырек, вздернул подбородок (прислушайся — услышишь звон его тела), доложил. Слова его пробились в казарму стеклянным, обрывочным звяканьем. «Хорошо, что он дежурит сегодня, а не Голосков, — с успокоением говорю себе я. — Голосков испортил бы весь парад».

Стихин сделал быстрый шаг вперед, лейтенант отпрыгнул, как сшибленный щелчком, и в окне появился

майор Сидоров. Неторопливо, но твердо, не распрямляя сутулой спины, буднично поднял к ушанке руку. Наверное, не успел ничего сказать — командир махнул рукой, снял перчатку, протянул ладонь.

Маевский открыл дверь, пропустил вперед его и майора, влетел следом, из-за их спин прокричал:

— Рота, смирно-о!

Мы вскочили, напряженно замерли. Стихин прошелся по нашим лицам медленным, до пронзительности смким взглядом, сам вытянулся, замер, как бы давая так же внимательно осмотреть себя.

— Товарищ командир! Личный состав...

Он взмахнул рукой на стеклянный вскрик Маевского, слегка поморщился.

— Вольно! — точно среагировал Маевский.

— Постройте личный состав, — слабо приказал командир.

Маевский выбежал на середину казармы.

— Рота, становись!

Выстроились как для боевого похода, во главе каждого отделения — отделенный, во главе взводов — взводные командиры. Майор Сидоров, капитан Мерзляков и лейтенант Масевский стали на шаг позади Стихина. И он быстро двинулся вдоль рядов.

Нечасто навещало нашу отдаленную роту такое начальство. Зато после любого наезда, а особенно неожиданного, было что вспомнить и о чем поговорить: странностей у маленького, такого стремительного Стихина было предостаточно, и никто не мог заранее предугадать его слов и поступков. В прошлый раз, осматривая казарму, он вдруг юркнул под нары. Вылез оттуда с носовым платком в руке и преподнес его майору Сидорову к самому носу: на носовом платке было пятнышко пыли. Дал изучить носовой платок командирам взводов. Рассказывают еще, раз был случай: пришел однажды Стихин ночью в казарму — дневальный спит; снял его с дежурства, отправил спать, а сам дневалил до утра, и ровно в шесть ноль-ноль произвел подъем. Стихин короткими, непостижимо четко натренированными шагами идет вдоль первого ряда. Скошенным, нацеленным взглядом прощупывает нас с головы до ног, отчего кажется, будто кивает в отдельности каждому. Приближается ко мне. Костеню. Жизнь во мне умень-

шается до простого растительного существования. Ловлю влажный, почти плачущий взгляд, выдерживаю. Он утекает вниз, как бы сплющивая меня (еще больше, до задыхания убираю живот), тяжело падает на ботинки... И возносится вверх и вкось — на моего соседа Скуратова. Пронесло. Расслабляюсь. Радуюсь чему-то. А может быть, чуть-чуть злорадствую: посмотрим, как другие! Не повезет же кому-нибудь.

Осторожно смотрю на Стихина. Лицо у него очень худое, щеки западают под скулами и уж очень румяны, призрачно-румяны, нос острый — обтянутый кожей хрящ. Все это обычно, не очень выразительно, напоминает выписавшегося из госпиталя, изболевшегося человека. И лишь губы — четко очерченные, слегка выпяченные, молодод-свежие — делали лицо Стихина особенным, навсегда запоминающимся. Каждое мгновение губы меняли свое выражение: твердели, вздрагивали, вытягивались в подобие усмешки, брезгливо обвисали, — заранее выдавая мысли и настроение Стихина. А говорил он мало, торопливым, невнятным голосом.

— Вы, — слабо выговорил Стихин перед кем-то остановившись.

— Сержант Гмыря! — раздалось в ответ.

— Кто командир?

— Сержант Зыбин.

— Сержант Зыбин, прошу сюда.

Зыбин-Серый сделал шаг вперед, повернулся налево, отстукал несколько шагов в сторону командира.

— Научите сержанта Гмырю наматывать обмотки.

Серый стоит колом, влившись в командира, не зная, как понимать его слова.

— Некуда сесть? — спрашивает Стихин. — Садитесь на пол, он же у вас чистый.

С радостью, будто узнали что-то необыкновенно волнующее, проникли в тайну бытия, Гмыря и Зыбин усаживаются посреди пола и наперегонки раскручивают ленты обмоток.

Командир чеканит дальше. Выудил сфрейтора Смольникова, отослал спарывать и заново пришивать подворотничок — заметил нитку, прошедшую наружу. Дернул чей-то ремень, самолично затянул, приговаривая: «Вы ж не баба-роженица». Кому-то приказал:

— Смотрите мне в глаза. — Через минуту молча-

ния: — Почему вы ими бегаете? Стыдно смотреть мне в глаза? А вы не стыдитесь. Я воевал. Вот служу, стараюсь. Вместе служим, одной Родине. Смотрите в глаза, как солдат солдату. — Еще через минуту молчания: — Так, хорошо. Будьте здоровы.

Левифланговому, толстому, низкорослому младшему сержанту Замогильному «повезло» больше всех: командир приказал вывернуть наизнанку нижнюю рубашку и опустить шаровары до колен — решил посмотреть на «форму 20». Вглядываясь, быстро прощупал тонкими пальцами швы.

— Старшина!

У каждого из нас заняла душа от тоски и беззащитности: если обнаружит насекомое или даже признаки оного — топать нам сегодня в гарнизонную парилку, пропускать вещички, вплоть до обмоток и ботинок, через раскаленную газовую камеру; туда же нести одеяла, наволочки, матрацы (вытряхнув из них сено), а потом несколько дней подряд дышать вонью серного газа, недели две подряд по утрам проверяться на «форму 20». Занемели в ожидании, до звона в воздухе обострили слух.

— Старшина, — повторил командир, когда Беленький щелкнул каблуками у него сбоку. — Гляньте-ка сюда. — Он указал на руки Замогильного, робко придерживающие кальсоны. Беленький низко перегнулся. — Научите солдатика пуговицы пришивать.

— Слушаюсь! — спружинился вверх Беленький.

По строю сквознячком прошло легкое шелестение, кто-то зябко икнул. На сей раз сошло, бывает на свете и везение.

Стихин возвращается к голове строя, видит стоящих в сторонке Зыбина и Гмырю, осматривает их обмотки, командует:

— Нале-во!

Пара четко поворачивается.

— Напра-во!

Четкий поворот.

— Кру-гом!

Пара одновременно обращает закаменелые лица к Стихину.

— Гмыря, говорите?

— Так точно!

- А вы тому Гмыре, певцу, не доводитеесь родней?
- Никак нет.
- Говорят, он у самого фюрера в плену был?
- Не могу знать.
- Ну-ну.

Стихин сухонькой рукой трогает сутулое, кряжистое плечо Гмыри, слегка толкает, словно испытывая на прочность, и отправляет обоих в строй.

Совершает несколько шагов к середине строя, поворачивается, выкрикивает во всю мощь слабого голоса:

— Благодарю за службу!

Выслушав наш ответный, радостный, единоголосный рев, поспешно шагает к выходу (вслед устремляются офицеры), впрыгивает в распахнутую шофером дверцу «виллиса» (офицеры берут под козырек) и уезжает, утопив казарму, ближний лес в снежном дыму.

## 7

Сержант Рыбочкин получил именные часы, благодарность командования и двухнедельный отпуск в родные края. Это событие еще более потрясло личный состав радиороты. Особенно двухнедельный отпуск. За все послевоенное время было два или три случая, когда отпускали домой, и то по самым крайним причинам: смерть отца или матери, тяжелое положение семьи.

«Ти-ти-ти ти-та ти-та-ти-ти ти-ти-та-ти та ти-та-ти...— быстро записываю я морзянку, и на бумаге у меня возникают слова: «Салют Рыбочкину».

Это передал мне Бабкин с противоположного края стола. Мы в паре с ним тренируемся на прием и передачу. Идут занятия по специальной подготовке, и весь наш взвод, захомотав головы наушниками, делает то же: пишет буквы и цифры на бумаге, строчит телеграфными ключами. Чуть сдвинешь наушники — тупой непрерывный цокот напоминает кормление кур на птичьем дворе. Выбиваю в ответ Бабкину:

«Ти-ти-та ти-та-ти ти-та та-та-ти-та-та», что означает «Ура!», и даю «сц» — прошу передышки. Он выбивает «ок» — согласен.

Можно «побездествовать» несколько минут. Напи-

сать письмецо домой, поразмышлять, «с рабочим видом» привалившись к столу. Бабкин окликнет, пустив в уши едкий писк зуммера. Но сегодня мне не пишется, не мечтается. Из-за Рыбочкина?.. Пожалуй.

В окнах неслышно скользят снежинки от неба к земле — крупные, лопушистые, медленные, — на наш двор, на лес за белесой мглой. Радиомачта, мощно вздымаясь, истончается на уровне крыши, исчезает, размытая снегом. Все строения призрачны, как в сумеречном свете. И грустно от затерянности, и невозможно отвести глаза от живой белизны, затопившей вселенную.

Младший лейтенант Голосков сидит у окна, просторно разместившись на стуле, не мигая смотрит влажными шарами глаз в сисжную бездонность за стеклами и, конечно, ничего не видит. Ощущает глазами, впитывает ими пространство, которое тонизирует его, вызывает медлительные, привычные, дорогие раздумья. На подоконнике — книжка, наверное по медицине, и рука одна на подоконнике, как позабытая. Ремень расслабился, спустился до колен, гимнастерка собралась плиссированной юбкой. Увидел бы его сейчас Стихин — сразу демобилизовал в запас: не получится из Голоскова солдата даже через двадцать лет.

А Рыбочкин едет домой, на Ургал — это недалеко, в малых Хинганских горах, — там шахты какие-то, он оттуда в армию призывался. Каптенармус Лебединский выдал ему новенькую шинель, сапоги «б/у», однако вполне приличные, сухой паек высшей категории, проездные по железной дороге... Нет, мне ничуть не завидно, не такой уж я мелочный человек: заслужил — получай! По уставу положено. Ну почему Рыбочкин? Кто он такой? Пусть бы Зыбин-Серый, Потапов, даже Мищенко — все было бы понятно. Люди эти заметные, каждый по-своему выглядит и на примете, хорошей или плохой, у начальства. А Рыбочкина я и по фамилии-то едва знал — просто худенький, среднего роста сержантик, спокойный, малозаметный. Ни говорун, ни фронтовик, ни спортсмен, ни агитатор. Ни отличник, ни отстающий. Есть такие люди: будто и живет, но так тихо, никому не мешая, что кажется — может, его вовсе нет. И лицом он какой-то средний, похожий на многих других, я и сейчас не могу представить его себе: белесоватый, с обычным носом, непонятного цвета глазами. Одним сло-

вом, средний. О таких еще говорят: «Из-за угла мешком слегка пришибленный».

«Сержант Рыбочкин, сержант Рыбочкин!» — слышится все эти дни. То, что сержант — пустяки: в роте рядовых почти нет. Звания присваивают за классность по специальности, а ниже третьеклассников (младших сержантов) у нас и к аппаратуре не подпускают. Есть даже несколько старшин-рядовых — радистов первого класса. Другое дело фамилия — Рыбочкин, она теперь надолго запомнится.

На прошлом дежурстве я отыскал в журнале сигнал воздушного оповещения, принятый Рыбочкиным — цифровой текст из пяти групп, в каждой группе по пяти цифр. И ничего больше. Такую радиограмму можно принять в полусонном состоянии, при помехах, самой малой слышимости. Проще нельзя ничего придумать. (Куда сложнее буквенный текст или смешанный — буквы и цифры.) Посчастливилось человеку. На его месте мог бы оказаться любой из нас. «Приплыла к Рыбочкину золотая рыбка и спросила: «Чего тебе надобно, старче?..»

Если бы я получил две недели отпуска — поехал к себе на Север, на Охотское побережье. Рыбы разной половил, поохотился с Бэркэном (его и в армию не взяли, нужный человек — бригадир, пушнину добывает), браги попил — там ее на бруснике заквашивают, как вино настоящее получается. Девчонки не все поразьехались. И отговорил бы мать ехать сюда. В эту суету городскую, очень непривычную нам.

«Ти-та-та...» — пререзают мне уши сигналы. Даю знак «Слушаю». Бабкин бегло сточит: «Кончай почевать, а то как Замогильному...» — Отвечаю: «Ты пока не полковник». — Он мне: «Молчать! Принимай радиограмму».

Занимаемся. Передаем, принимаем цифровые, буквенные, смешанные тексты. Нам скоро сдавать на первый класс. Будем старшинами, прибавят денежное содержание, особенно моему дружку Бабкину. Мне выдадут кирзовые сапоги — тоже золотая мечта: очень уж надоели глнсты-обмотки!

Напротив меня, чуть левее, трудится Зыбин-Серый. Он наклонился к столу, что-то метнул себе в мощный рот, медленно, скрытно жует. «Орешки» тайно потреб-

ляет — такие шарики из белого сладкого теста, сваренные в масле. Эту удобную еду присылает ему мать — чтобы в любую минуту Серый мог подпитаться.

Мищенко подремывает, прикрыв грудью ключ и подперев костлявую щеку рукой. Он в паре с Гмырей. Того тоже нос к столу клонит. Хохлам вся эта музыка ни к чему. Им больше третьего класса не надо. До родной хаты добраться, до сада-огорода. Сальца шматок, горилку, девку за гарный бок ухватить... Служба-то идет, а обстановка самая мирная, вот и дрыхни до последующих указаний. Береги здоровье — второго в жизни не будет.

Другое дело — Потапов. Чистый работник. Рубит на ключе часа полтора уже. Без перерыва. Замучил слабого Васюкова. Но Потапову никого не жалко. Ему надоело быть ефрейтором, хоть и служит всего второй год; до потери сознания он командовать любит, вытягиваться в струнку, дрожать перед начальством, кричать на подчиненных, носить красную форму. На нем и обмотки сидят, как сапожки-джимми. Другие против него — средней старательности люди. Делают то, что приказано.

А Голосков все присутствует в снежном пространстве, позабыв здесь свое упитанное не очень красивое тело. Беспризорное, оно живет лишь для себя, и совсем не строго выглядит. Ему не следует подчиняться. Оно такое же, как у всех, только пожирнее. Это понятно каждому, и из класса улетучились последние жалкие атомы дисциплины: Голоскова-то нет.

Рыбочкин едет к себе домой, на Ургал. Мы с Бабкиным упорно совершенствуем спецподготовку. Зыбин-Серый неутомимо жует свои сладкие орешки. И время, главное — время идет. А значит, каждый из нас куда-нибудь движется: к демобилизации, к следующему чину, к денежной надбавке... И все вместе к ближайшей существенной цели — обед.

Попискивают на разные тона голоса зуммера. Стучат — клюют ключи. Сплошной курятник, Бабкин сылет мне в уши цифровые и буквенные группы, разрабатывает кисть руки, поддает «жарку». Скорость на уровне первого класса. Потом я беру ключ, передаю ему эту же радиограмму — чтобы проверил, много ли у меня ошибок. Имитируем радиообмен в эфире.

Я охотно занимаюсь спецподготовкой. Для себя. Вдруг пригодится. Думаю, что наверняка пригодится. Уволюсь — специальности никакой. В институт сразу не сунешься, никто мне там теплого места не приготовил, а на стипендию учиться в обмотках и гимнастерке — лучше необразованным остаться. Без высшего тоже люди, хотя, конечно, второго сорта. Вот и пойду сначала радистом куда-нибудь: в геологическую экспедицию, Амурское пароходство или гражданскую авиацию борт-радистом; можно и просто в почтовую радиосвязь. Везде примут с первым классом, с нашей армейской муштровкой. Институт придется заочно кончать — это в мою судьбу заранее вписано: мать с младшей сестренкой едва перебиваются, богатых родственников никогда не водилось.

Работаю — принимаю, передаю.словно проведен прямой проводок от моих ушей к руке: звук течет по нему, цифрой или буквой, срывается с кончика карандаша на бумагу; если передаю — цифру или букву схватывают глаза и препровождают к руке, которая послушно отстукивает точки-тире. Моя работа не мешает мне мыслить, как музыка человеку, слушающему ее. Потому что морзянка тоже музыка; каждая цифра, буква принимаются на слух, имеют свою, неповторимую мелодию. Единица, например, состоит из одной точки и четырех тире — ти-та-та-та-та, а звучит как «пить дай-дай-дай-дай»; двойка из двух точек и трех тире — «за во-дой по-шла»; тройка — «те-тя Ка-тя» и так далее. Есть слова, звучащие музыкальными фразами; скажем «яйцо» — ти-та ти-та ти-та-та-та та-ти-та-ти та-та-та. Когда принимаешь или передаешь, не считаешь точки и тире, это и невозможно при большой скорости, схватываешь знак сразу, целиком, будто музыкальную фигуру. Потому-то и призывают в «армейскую интеллигенцию» (радиоподразделения) людей с точным слухом, ну и, конечно, грамотешкой, чтобы не ниже неполной средней школы — радиотехника тоже техника, да еще какая.

«ЩТЦ» — выбивает Бабкин, — «примите радиограмму». Выбивает веселенько, с ехидцей — морзянка выдает любое настроение. Даю «ок» — «согласен», и Бабкин частит скороговоркой: «Как дела Армавире? Отбиваем атаки матрогонов?» Я быстренько отвечаю: «Расцвели

яблони и груши. Нет ли приглашения от Катюши?» Бабкин четко отстучал: «Сниму штаны!» и «ец» — «конец связи».

Может, обиделся? Задел за самое больное место?.. Сам напросился. Или начальником насквозь себя почувствовал? «Знай, с кем дело имеешь! Дружба дружбой...» Ладно, потом все выясню, само собой выяснится. А насчет штанов... Теперь это ротная шутка. Только и слышится: «Эй, штаны сниму!», «Держи портки крепче!» Замогильному жизни нет. В тот же вечер Гмыря разыграл его. Вынув пятак, спросил: «Симпатичный грошник?» — «Ничего, — ответил Замогильный, — новенький». — «Тады на, — спокойненько выговорил Гмыря, — две дырки пробурь — пуговка будет». Чего только не подсовывают бедняге в карманы и под подушку: железки, деревяшки, напоминающие пуговицы, мотки ниток, ветошь после обтирки аккумуляторов... Развеселил командир части личный состав радиороты, проживающей в лесной глухоте.

По-разному говорят у нас об этом Стихине. Одни его считают сухарем, службистом; другие — настоящим комиком.

Но в одном все решительно сходятся — все у нас чистосердечно, серьезно побаиваются командира, не скрывая, побаиваются. Нет, не команд, не крика его — он и кричать-то, при слабом голосе, не умеет — слов острых, прожигающих, находчивости, догадки; глаз, как бы проникающих в нутро каждого; улыбки, долгой, болезненной, прощающей и говорящей: «Ну-ну, постарайся быть человеком». И я тоже пугаюсь Стихина, по-особенному, тонко и даже как-то музыкально: мне радостно подчиниться ему, и хочется самому быть таким же. Так чувствую я его сильную натуру. И думаю: если уж быть военным, то лишь таким, как Стихин — военным до конца, до последней жилки и кровинки. (Это же, наверное, чувствует в нем Голосков, сокрушаясь своей невоспелостью.)

Ко всему сказанному, есть у меня еще одно, совсем уж личное чувство: мне жаль нашего командира — Стихина. Он был изранен на фронте, и служба его теперь заканчивалась.

— Взвод, встать! — слышится команда. — Приготовиться на обед!

Сержант Зыбин хмурит серые брови, кисло кривит серые губы, не глядя на меня, полувыговаривает:

— Давай, давай!..

Выходит у него это как «Тавай, тавай!» — нестрогое, по-деревенски. Наверное, так он подгонял бабью бригаду в колхозе. Однако командует по-серьезному, потому что шутить не умеет, даже со злостью — одышливость появилась, словно нутро перегрелось. Он нарочно внушает себе, будто я плохо работаю; от этого злится еще сильнее, понимая, конечно — нехорошо это, но... и т. д. Зыбин потому и Зыбин, а не Мищенко или я. Он должен быть Зыбиным, оправдывать свое зыбинское рождение на свет. Зачем-то он родился, как и каждый из нас.

— Тавай, тавай!

— Таю, таю!

Серый не улавливает «юмора», и я немного благодарен ему: очень не хочется ругаться, когда работаешь, вдвое больше силы тратишь. Да и работа нам перепадала, пусть и не очень «умственная», но все-таки не совсем простецкая: вскрыть схему сломанного радиопередатчика. Где-то что-то в нем нарушилось, перегорело, отсоединилось, и громоздкий аппарат бездействует вторую неделю. Нам поручено только вскрыть — снять кожух, отсоединить блоки, обнажить внутренности, — потом придет кто-нибудь из наших инженеров, отыщет неисправность.

Передатчик в автофургоне, работать тесно. Все прижато, привинчено, подогнано так, чтобы не осталось ни единого бесполезного сантиметра — по военному расчету. Будто бы аппарат смонтирован на ближайшие тысячу лет и никогда не поломается. И темно в фургоне — подсвечиваем друг другу лампочкой-переноской. Еще надо подшуровывать железную печурку, прогревать фургон: нам-то терпимо, в перчатках можно, а у инженера пальцы к контактам пристынут.

Собрали в коробку болты, сняли железный кожух. Мать моя матушка! Провода разных расцветок, сопротивления, конденсаторы, намотки, обмотки; и само собой, лампы, величиной с полуваттнеровый бочонок. Когда видишь это на схеме — не очень страшно, схема-то в

плоскости, развернута, и на ней все понятно. Здесь же, по соображениям компактности, нагромождено, переплетено, перевито...

Кажется, не найдется такой головы, чтобы разобралась в этом месиве.

— Техника! — кивнул я на странно-бессмысленное обнажение.

— Подбери инструмент, — начальственно сказал Зыбин-Серый.

— Давай закурим!

— Подбери, слышал?

— Понадобится же еще...

— Выполняйте!

Собираю инструмент, укладываю в специальный деревянный ящик: ключи, отвертки, кусачки — в свои отсеки, по своим местам. Закрепляю, как для похода. Зыбин следит и, чувствуя, сердится: придется снова все распаковывать; но молчит — ведь сам приказал. Он распорядился просто уложить инструмент в ящик, для порядка, а я основательно выполняю приказ. Зыбин сопит, накаляется, однако молчит — не уточняет приказ: боится, что я психану, пошлю его подальше, и опять придется на меня докладывать Голоскову или старшине Беленькому. Тем уже это надоело, они прежде всего «накачают» самого Зыбина, чтобы умел руководить подчиненными, потом займутся мной. С другой стороны, Зыбину приятно любое беспрекословное подчинение, точное исполнение в его присутствии приказа. Вот и молчит он, хоть и накаляется.

— Товарищ сержант, ваше приказание выполнено! — насколько можно вытянувшись в фургоне, докладываю я. — Разрешите подкочегарить печку!

Зыбин-Серый взглядывает на меня — вполне ли серьезно идет служба? — ничего обидного для себя не обнаруживает в моем голосе и стойке, разрешает:

— Подкочегарьте.

Бросаю в печурку березовые мерзлые полешки, греюсь, насвистываю: «Улыбнись, Маша, ласково взгляни...» Думаю о Зыбине-Сером: зачем я его «завожу»? Подшутить над ним мне ничего не стоит. Каждый раз говорю себе, что не буду, и не могу удержаться. Мне нравится его разыгрывать так же, как ему командовать. Он начинает проявлять власть — я начинаю «ду-

рачка валять» перед ним. Иногда мне становится жаль Зыбина-Серого: большой, себялюбивый и неумный. Он же не виноват, что таким его на свет произвели. Но чаще злюсь на Зыбина-Серого: откуда готовенький командир на мою голову взялся?

— Слушай,— говорю я, переходя на «ты» и подавая жестяную коробку с махоркой (мы с ним то на «вы», то на «ты» — по обстановке).— Почему командовать любишь?

— Чего? — Он берет из жестянки щепоть, скручивает крупную сигарку.

— Командовать, говорю.

— Надо.

— Ты же не собираешься на сверхсрочную.

— Везде порядок нужен.

— Так это ты его будешь наводить?

— Я тоже, а как же.

— Да на кого ты готовишься?

Зыбин-Серый приценивается ко мне, долго молчит, что-то упорно соображая, для этого морщит большущий бледно-серый лоб, метким щелчком швыряет окурочек в открытый зев печурки.

— А ваше какое дело?

— Наше — никакое. Просто интересно.

— Не обязан докладывать.

— Я же по-дружески.

— В низах не останусь. Будьте спокойны насчет меня.

Вот и опять я закипаю — не могу спокойно переварить слова Зыбина: откуда этот упрямый, уверенный, быкообразный человечек? Хоть бы смутился, захохотал, покраснел или, в конце-концов, выматерился. Чтобы можно было понять его, посочувствовать (всякие недостатки бывают у людей, никто от них не избавлен), чтобы жену его Лизку не очень жалеть — человек как человек Зыбин. Нормальный. Может, и отцом хорошим будет.

— У тебя мания величия,— говорю я.

— Чего?

— Болезнь такая есть.

— Никогда не болею.

Зыбин расстегивает бушлат, подставляет теплу широкую, выпуклую грудь.

— У меня стишки есть про манию. Послушай.

— Я не детский сад.

— Что ты! Даже очень важные люди полезные стихи любят.

Зыбин-Серый поднимает голову, привычно смотрит на меня, словно снимая допрос, — серьезно, ответственно ли настроен? — неопределенно, как иногда умеют делать опытные начальники, опускает глаза: сам реши, на твою ответственность.

Мания величия  
долго не умрет, —

читаю я,—

Манией величия  
заразился крот...

— Ты на что намекаешь?

— Ни на что.

— Нет, намекаешь.

— Тьфу! Какие тебе намеки!

— Не плюйся. На будущее учти.— Зыбин порывлся во внутреннем кармане бушлата, вынул треугольник письма.— Человеком надо делаться. Послушай, что мне Лиза сообщает про нашу жизнь... Вообще, приезжай в Колотушки. Помогу. Ты мне нравишься немножко... Заведующим клубом устрою.

— Иди ты!..

Договорить я не успел, и хорошо — назревал всегдашний скандал,— в низкую дверь фургона входил майор Сидоров. Вернее, протискивался плечом вперед, склонив голову. Для его сухопарой, громоздкой фигуры были тесными и дверь, и фургон, в котором он, войдя, так и не смог распрямиться.

Вскочили, вытянулись по стойке «смирно», Зыбин доложил:

— Товарищ майор, ваше приказание выполнено! — Он, конечно, позабыл, что вовсе не командир роты приказал нам разобрать передатчик.

Сидоров не ответил, снял шинель, шапку, сел на табуретный ящик у стены. Скосил глаза за стеклами очков, медленно осмотрел цветные, яркие внутренности передатчика. Отвернулся. Подумал. Опять прошелся взглядом по блокам, лампам, жгутам проводов. Его застекленные глаза, казалось, стали частицами аппарата.

— Ну, что посоветуете? — спросил нас.

Мы не ожидали командира роты. Мы решили, что из гарнизона приедет, видимо, толстый Кац, инженер, такой умный и болтливый капитан, и мы с ним не толькоотремонтируем передатчик, но и отлично проведем время: наслушаемся смешных историй и анекдотов. Некоторая расхлябанность, особенно моя, была вызвана приятным ожиданием инженера Каца. Почему-то он не смог приехать; и вот пришел сам майор Сидоров.

Мы снова вытянулись, майор усадил нас своим нетерпеливым полувзмахом руки, и на мгновение в его глазах мелькнула обычная грусть. Зыбин-Серый, поедая глазами начальство, молчал, а я, пожалев, что заранее не подготовился к техническому разговору, сказал:

— Лампы действуют, предохранители тоже. Конденсаторы проверили — действуют. Кабель от генератора проверили...

— Значит? — терпеливо перебил меня Сидоров.

— Значит... — повторил я, поспешно перебирая в голове не очень тяжелый груз радиознаний. Хотелось сказать и то и другое, хотелось блеснуть догадкой, но ничего оригинального не выуживалось; к тому же сдерживало опасение — не сглупить бы уж очень сильно.

— Значит? — Майор глянул на Зыбина и словно пришел его к стене. Тот оторопел, минуту был в неподвижности, наконец, оторвавшись от ящика, доложил:

— Не могу знать!

Майор полувзмахнул рукой, отвернулся, привычно загрустив.

— Контуры надо проверить, — сказал, как бы обращаясь к передатчику, — контуры... Определить, в каком.

— Так точно! — выкрикнул я, опять вскочив.

Оглядев нас в щелку под очками, будто чего-то не понимая, майор усмехнулся скупой и огорчительно (трудно было определить — доволен он нашей дисциплиной, удивлен ею или не нравятся ему эти бесконечные вскакивания), проговорил негромко, словно неуверенно советуя:

— Возьмите прибор, проверьте. — Достал портсигар, ударил мундштуком папиросы о крышку, продул, пустил по фургону дымок.

Мы подступили к передатчику. Сунув Серому прибор — держать, я взял штырьки-щупы с проводками, начал приставлять их к контактам на входах и выходах

контуров. Подставляю — посмотрю. Отклонилась стрелка на приборе — хорошо, можно двигаться дальше. Лезу к верхнему, выходному контуру, полушепотом командуя:

— Давай, давай... Выше. Ну, чего ты!

Приборная коробка тяжела, держать ее неудобно, Зыбин пыхтит, напрягается, мечет на меня короткие, возмущенные до глубины души взгляды. Я чувствую, как внутри перекаляется его плотное хорошо напитанное тело, подбрасываю огонька:

— Да ближе ты! Не укушу. Тавай-тавай!

Зыбин-Серый слушается, а у самого лоб взмокшел. Но не от тяжести — это у меня дрожали бы руки и ноги, — от жгучей обиды: так простенько одурачили его! Он имел полное право на штырьки-шупы.

— Так, хорошо, — подбадриваю Серого.

По железным скобам лезу под потолок фургона.

Он держит прибор на животе, обхватив края руками, как тетка с грузным животом, жалобно поглядывает на майора Сидорова, немо крича: «Вы только посмотрите, товарищ майор! Он командует, а я командир отделения. Он же нахал. Он тут еще намекал... Прикажете, чтобы немедленно взял прибор. Так мы, знаете, до чего дойдем!..» Однако я спокоен — крика его не слышно. При начальстве он не закричит — сам себя чувствует подчиненным и мелькает перед другими. Такой человек Зыбин-Серый: командовать или подчиняться.

— Так, так... — подставляю штырьки к контактам, поглядываю на стрелку прибора.

Вот, кажется, замерла, не двигается.

— Посмотри, — говорю Зыбину.

Он качнул ящик, потрогал провода — не обрыв ли? — доложил:

— Не показывает.

— Ясно. Можете опустить прибор.

Спрыгиваю на пол, подхожу к майору.

— Товарищ майор! Выходной контур!

Сидоров медленно поднимает голову, смотрит на меня с неторопливым вопросом: «Что такое, о чем, собственно, речь?» Он был где-то далеко в своих размышлениях, позабыл себя здешнего, нас с Зыбиным, фургон и передатчик. Чтобы майор не трудился вспоминать, я быстро повторил:

— Выходной не действует.

Глаза Сидорова, только что замутненные, проступили сквозь блеск стекол всей своей резкой чернотой, как бы слегка ударили меня (кажется, я почувствовал их вес) — это означало, что он полностью вернулся к службе, и вокруг него, в его роте, должен быть полный порядок. Я выдержал его взгляд, и майор, при великой своей молчаливости, одарил меня словом:

— Молодец.

Он сбросил шинель, аккуратно засучил рукава гимнастерки — руки у него оказались волосатые, сухие и длинные, как перекрученные в жгут жилы, — понес их впереди себя, словно хирург, подступающий к операционному столу. Железные скобы ему не понадобились, голова пригнулась как раз на уровне выходного контура; приподняв руки, он запустил их в радиовнутренности.

Я стал позади майора, приготовил инструменты, и очень вовремя: не оборачиваясь, он протянул за спину руку, сказал:

— Отвертку.

Вложил ему в ладонь отвертку. Через минуту принял дугую, вороненно подкопченную лампу, передал Серому; тот уложил ее на мягкую ветошь. И пошла работа. Майор коротко командовал: «Ключ!», «Плоскогубцы!», «Прибор!», «Отвертку!» — и я расторопно, заранее готовясь, подавал ему, а от него принимал детали, которые всовывал послушному Зыбину. Наконец, опустив руки и полуповернувшись, майор сказал:

— Приготовить паяльник.

— Приготовить паяльник, — как эхо повторил я, держа в руках ящик с инструментом, и Серый бросился выполнять наше приказание.

Сидоров достал портсигар, постучал мундштуком напирсы о крышку — как точно человек повторяет свои привычки! — спросил меня:

— Курите?

— Так, балуюсь...

— Тогда не надо.

— Так точно.

Он глянул в отсек передатчика, где размещался выходной контур, слегка отстранился.

— Гляньте, что там?

Я вскочил на вторую скобу, сунул голову в отсек.

И сразу заметил: проводок в желтой изоляционной обмотке как бы пересох, потемнел, потрескался; вокруг него — облачко копоти, отпечаток вспышки; сам проводок превратился в труху.

— Замыкание,— сказал я.

— Отчего?

— Оголилась изоляция.

— Почему?

Вопроса этого я не ожидал и, как в первый раз, умственно засуеился. Почему? Нас этому не учили, да и невозможно всему научить, могут быть частные особенности и недостатки в каждой отдельной схеме. Их не учтешь. Они объясняются лишь данным случаем... Что же произошло здесь?.. Вон уже Серый с явным удовольствием воззрился на меня, его слова, как радиоволны, передаются мне: «Так тебе и надо, дохлячок, не будешь выскакивать!» Я должен догадаться, смекнуть — у меня же по радиотехнике всегда было отлично,— сую руку в глубину, щупаю контакты, проводок. Он как-то выпячен над панелью, взбугрен... и замкнул на корпус. Не на другие провода... Почему? А если от лампы? Перекалился? Осыпалась изоляция? А потом уже... Мало вероятно. Такое может случиться раз в сто лет. Но другого здесь ничего не придумаешь. Если оно и есть — то не для моего скудного понимания.

— От лампы,— сказал я.

— Молодец.

Меня окатило жаром восторга, редкой удачи — в глазах; словно перед плачем, погорячело: так показать себя командиру роты, да еще в присутствии Зыбина-Серого! Наш майор за весь этот год ни одной благодарности не объявил, никого не поощрил (кроме, конечно, Рыбочкина), а тут сразу два «молодца» мне перепало. И пусть их не запишут в личное дело — такие слова, к тому же сказанные не перед строем, туда не вносятся, — все равно здорово. Чтобы знать, что не только сортир могу хорошо чистить. Чтобы в душе не соглашаться со старшиной Беленьким. Чтобы никогда не поверить ему и Зыбину, что их воспитание очень пригодится каждому из нас в дальнейшей жизни.

Сидоров взял кусачки, срезал горелый проводок; я подал ему раскаленный паяльник, он потер его о кани-

фоль, кончиком подцепил каплю олова и, ловко, дважды чиркнув, припаял проводок — вот уж точно говорят: «Как припаял!» — отдал мне паяльник, я сунул его Серому, отступил с инструментом к такелажному ящику. Майор опустил рукава гимнастерки, надел шинель, застегнулся; и, боком просовываясь в дверь фургона, блеснув очками, сказал:

— Соберите сами.

Можно и передохнуть. Собрать — соберем, пустяковое дело. Не инженерное. Подкочегариваем печку, садимся курить. Затягиваюсь дымом по-настоящему — от переживаний острых, наверное. Зыбин долго молчит. Чувствую: мужает, приходит в свое обычное состояние. А мне так хорошо, возвышенно, что даже жалею его: в такой серости только что был человек! И по моей вине. Я мстил ему мелко. Может, извиниться, сказать: «Прости, больше не буду», чтобы сделалось совсем хорошо, навсегда? Я, пожалуй, смогу, заставлю себя. У меня хватит воли. Надо уметь владеть собой.

— Чего папироску не взял? — толкнул плечом Зыбин.

— Застеснялся. Да и куряка я — только портить.

— Мне бы дал.

— Не подумал.

— Ты меньше думай. Больше соображай. Понял?

— Понял.

Зыбин-Серый откинулся к стенке, достал носовой платок, громко высморкался, покашлял на разные голоса, прочищая горло от долгого, застойного молчания, приказал:

— Приступайте.

— А ты?

— Прошу не тыкать. У вас была легкая работа. И вы пахальный человек. Я это учту на будущее. Можно сказать, обманули своим показным поведением командира роты.

— Ну и скажи.

— Не ваше дело. Выполняйте приказание! — Зыбин вскочил, принял стойку «смирно». — Даю минуту. Не приступите — накажу.

По уставу Зыбин-Серый может дать мне всего один паряд вне очереди. Ну зачем мне хотя бы один? Белецкий обрадуется — пошлет сортир чистить. Я и так почти

штатный ассенизатор. И вонь надоедает: дня три вокруг себя распространяешь... Минуту держу Серого по стойке «смирно», но потом, когда Серый делается красным, раздумчиво поднимаюсь, иду к передатчику. Зыбин усаживается курить, пыхтит, шипит, как дырявый котел. Мне же становится опять хорошо: ведь это отличная работа — покопаться в аппаратуре, пошевелить мозгами, настроить нутро передатчика; тем более, что все детали брал в руки, осматривал, ощупывал инженер-майор Сидоров.

— А вы не хотите посмотреть? — обратился я к Зыбину. — Кое-что расскажу. Пригодится.

Он не повернулся, не ответил. Сидел, почти упершись лбом в дверцу печки, протянув к огоньку руки, и, наверное, думал о Лизке и деревне, в которой мало порядка без него.

Тружусь молчаливо. Беру детали, вставляю, пашу кончиками пальцев контакты, определяю место каждой проводке, — и все это пахнет технической краской, немножко одеколоном и потными руками майора: кое-что он протирал носовым платком. Думаю о нем. Что за человек? На службе тих, едва приметен, но ощущаешь его постоянное присутствие. Очень худой, до синевы под глазами (может, оттого глаза у него страшноваты?), сильный, жестко тренированный. Как он живет в городе, какая у него семья? Кто жена, и красивая ли она?.. Он никогда не командует, однако очень охотно его слушаются офицеры, а о нас и говорить нечего: хочется разбиться, выполняя даже маленькое его поручение. Такая в нем воля чувствуется, и она, верится, частично перейдет в тебя, если до конца подчинишься ей. Он самый загадочный в роте человек... Как запомнили его те, кто уже демобилизовался? Как вспоминают? Но совершенно точно: каждому из них перепало от него хоть по капельке воли, сдержанности, молчаливости; на худой конец — скудного, много объясняющего взмаха руки. Значит, не всегда нужны слова...

— Ну? — строго спросил Зыбин-Серый.

— Что ну?

— За тридцать три получите наряд. Отвечайте по уставу.

— Приказание еще не выполнил.

— Выполняйте.

— Слушаюсь.

Так... На чем я остановился? Вставил лампу, надо нацепить катодный колпачок... Значит, не всегда нужны слова... И вот я видел его работу, помогал ему. Он хрипло дышал, покашливал, курил. Сказал мне несколько слов. И я, кажется, всем своим слабым существом открыл для себя великую истину: он, майор Сидоров, просто человек. Затверделый от войны. Уставший от семьи и, конечно, от ежедневных хождений из гарнизона в роту. И добрый человек (потому, наверное, молчалив). Я понимаю это и запомню навсегда. Мне, как видение, открылась истина. Но я никому не скажу о ней. Нельзя. Не всякий поймет. Невозможно объяснить. И майор Сидоров не захочет этого.

9

— Она же такая...

— Знаю,— не дает мне договорить Бабкин.— Всю войну одна перемаялась. Не повезло ей. Не виновата она.

— Смотри.

— Смотрию.

Сидим у окошка, в закутке. Тихо. Лишь похрапывает кто-то простуженным носом, да изредка вскрикивает во сне ефрейтор Мищенко — детство свое в оккупации никак позабыть не может. В роте послеобеденный мертвый час.

Я бы тоже лег — Бабкин позвал говорить. И вот сидим, больше помалкиваем. Поглядываем в окно. А там невыносимо ярко от снега: его коснулся издали прилетевший теплый ветерок, подплавил макушки сугробов, заслуденил, и сияют они теперь невозможно остро, до боли в висках. Лес отсырел, набух каждой веточкой, покраснелся, поплотнел. От этого тоже как-то и смутно и ярко в голове, хочется закрыть глаза. Или сказать: «Скоро весна», а потом лечь спать. Но Бабкин ждет, ему надо услышать еще какие-то слова, и я спрашиваю:

— Матери написал?

— Нет пока.

Что ему посоветовать? В город он ходил один, побывал в том овраге, разыскал Катю. Вернулся веселый,

насвистывая мотивчики (я старался на расстоянии держаться — не до дружка в такие минуты). Потом остался в городе ночевать. Где? У кого?.. У Кати, наверное. Пришел рассеянный, о чем-то думая. Со старшиной Белевским грубовато поговорил. Мне ни слова — как там у них с Катей, какая любовь? А теперь советуется... Пригласил бы по-дружески, посидели вдвоем или в кино сходили. Со стороны бывает видней, не влюбленному-то. Тем более — девушка с биографией. Она же, если захочет, сто раз вокруг своего пальчика обведет и на дверь укажет. Мы против нее — сырой матерьялец. Неужели непонятно все это?

— Рассказал бы, что ли?

### Рассказ сержанта Бабкина о второй встрече с Катей

Пошел я опять по тому самому адресу, на «бв» это. Старшей дома не было, и хорошо. Одна Катя, коротенькая, у окошка сидела. Ждала кого-то. Сказал ей: «Знаешь ведь, говори». Сказал и придвигаюсь, руки в карманах держу — будто бы что-то нащупываю. Испугалась коротенькая. «Знаю, знаю, — зашептала, подумала немножко. — Улицу только знаю, найдешь. И молчи, ни слова нашей ведьме старой... На Пушкинскую иди, там внизу деревянные дома, в каком-то из них...» Поверил, пошел. Под вечер уже было. Найду, думаю. Пусть прогонит, обсмеет — найду. После того, помнишь, успокоиться не мог, заболел: не может быть, я же видел ее, говорил с ней, человек же она! Какая-то загадка есть, мало ли чего за войну поднакопилось.

И повезло, знаешь. Спускаюсь по Пушкинской, домишки считаю. Вижу, у колонки кто-то воду набирает, женщина или девушка. Ближе подошел: она! Катя! В телогреечке, в платке, какие бабки носят, валенки подшитые. Хотел крикнуть от радости — не смог почему-то. Подняла ведра Катя, несет. Поравнялся с нею, тихонечко взял одно ведро: «Разрешите, помогу». Она глянула, спокойно так спросила: «Вы?» — «Я». Ведро выпустила. «Позвольте, — говорю, — и второе». Отдала. Шагаем помаленьку, молчим. Возле хилого домишки, в самом низу Катя остановилась, еще раз глянула на меня: «Нашли, значит?» — «Нашел», — отвечаю. «За-

чем?» — спрашивает. Держу ведра, моргаю, молчу. «Знала, — говорит, — что найдешь. Чувствовала, — толкнула валенком дверь, — ну, заходи». В допшше-завалюхе темновато, но чистенько, вижу занавесочки, тряпичные коврики. Бабуся допотопная сидит, чулок, как в сказке, вяжет. Сказал: «Добрый вечер». Ни ответа, ни привета. Поставил ведра на лавку, стою. Катя разделась, сбросила валенки, ушла в комнатуху за печкой. Долго там молчала, потом слышу: «Увольнительная до которого часа у тебя?» — «На офицерской должности, — говорю, — могу до утра». — «Хорошо. Снимай шинельку, протискавайся в мою келью». Засмеялась вроде бы потихоньку. А дверь и вправду — амбразура пошире, веришь, едва протиснулся. «Садись», — приглашает, стул подвинула, сама на кровать присела. Теснота. Стол, стул, кровать и два шага до двери. Каморка. У нашего каптенармуса побольше.

Знаешь меня, я не очень трусливый с девчонками. И первый раз, возле кинотеатра, когда пригласил Катю в кино, запросто подошел, нахально даже. А тут сбел. От тесноты, что ли, от бабки допотопной или потому, что один на один остались, без народа. Она смотрит на меня, кажется, посмеивается, я в окошечке сарай дровяной изучаю. Руки, хоть оторви, не знаю, куда деть, и на стол боюсь облокотиться — скатерочка чистенькая. Обалдел, одним словом. Маршал медаль вручал — не так растерялся. Достал платок, вытер мокрый лоб, сказал, вспомнив «общезитие»: «Не хотите закусь?» Катя — ну, комедия! — наклонилась ко мне, кивнула на мою шинель за дверцей, спросила шепотом: «А имеется?..» Вскочил, вытащил из карманов банку тушенки, хлеб, сахару два куса — суточный паек. Подумал, и бутылку прихватил — вермут, в гастрономе стоял. Свалил все на стол. «Вот это парень! — сказала Катя. — Так бы и действовал сразу!» Она уперла в бока руки, тихонько запела:

«Пойду выйду на крыльцо,  
Погляжу на небо.  
Не идет ли старшина,  
Не несет ли хлеба».

И смеется мне в глаза: мол, радуйся — нашел, что искал, у нас по простому. Но слышу, чувствую нутром — не очень-то она веселится, для показухи больше. Вы-

дала себя, одним словом. Тут уж я перехватил инициативу. Спокойненько, однако приказным тоном говорю: «Принеси стаканы». Катя глянула на меня, удивилась, улыбочку как тучку ветерком сдуло, вроде бы и рассердилась и немного испугалась сразу. Быстро вышла, принесла стаканы, тарелку, нож. Села напротив и все зыркала чернявыми глазками, пока я открывал банку, резал хлеб, выковыривал из бутылки пробку. Изучала, должно, меня. Почему-то злая стала, будто я ее отколотил. Пожалеел, что так получилось: голос повысил. Скорее стаканы наполнил. «За встречу», — предложил совсем тихо, попробовал улыбнуться: извини, если что не так.

Катя выпила немного, оставила стакан, сказала: «Не выношу, когда на меня кричат. — Подумала минутку и так грустно спросила: — А может, мне надо приказывать? Как считаешь?»

Я промолчал, чтобы еще как-нибудь не обидеть ее. Она вздохнула, показала на дверь. В щель заглядывала старуха — один глаз, выпученный, нос крючком, из уха волосы растут. Так меня и прохватило морозцем. «Чего она?» — шепотом спрашиваю. «Пригласи, есть хочет», — сказала Катя. Встал, открыл дверь, старуха шарахнулась, но не очень вроде бы испугалась, смотрит мимо меня, на стол. Зову, приглашаю, молчит, лупает совиными глазами. Понял: глухая. Взял под руку, усадил на свою табуретку, сам сел на кровать: другой-то табуретки не поместить. Катя подала старухе свой стакан, вилку. И тут бабуся начала действовать: выпила одним духом вино, принялась за хлеб и консервы. Шамкала, сопела, куски закидывала в рот пальцами. В минуту бы уничтожила наши припасы, но Катя вежливо отобрала у нее тарелку, остатки хлеба. Старуха поднялась, сердито проворчала что-то и на прощанье схватила кусок сахара. Зыркнула на меня, выскочила в дверь. И сейчас вот как сон плохой вспоминаю. «Несчастная», — сказала Катя. — Совсем одна осталась». — «Почему же в такой камерке тебя держит? — спрашиваю. — Там ведь целые хоромы». — «Два сына у нее были, оба погибли. Никого в их комнаты не пускает, кровати застелила, костюмы, рубашки, книги — все, как при их жизни, сохраняет. Утром «доброе утро» им говорит, на ночь целует подушки...» — «И совсем одинокая?» — «Старик

еще до войны умер, в гражданскую был изранен. Приезжала недавно сестра из Благовещенска, звала к себе, уговаривала продать дом. Слушать не стала... Вот так, мой товарищ старшина. Выпьем, что ли?»

Я не обиделся за «старшину». Понимаю: нарочно называет, чтобы как в частушке было. И не дает забыть: «Знаю, зачем пришел». Рассказала — работает телеграфисткой на главпочтамте, собирается на запад, домой. Ждет из города Смоленска письмо от родственников. Пока ничего нет.

Стемнело уже, а Катя свет не включала. Сидим. Я ей о себе говорю: сибиряк, с Енисея, мать в поселке Даурское, на сверхсрочную остался. О тебе сказал: решились вместе этот город осчастливить... Детство свое вспомнил — рыбалки, тайгу, сплав по Енисею на плотках; отец плотогоном-лоцманом был. И как сестренка утонула — на перекате шалаш с бревен смыло, и ее вместе... Тогда ведь семьями на заготовку леса и сплав ходили. Катя слушала или нет — не понять было. Потом привалилась ко мне плечом, вздохнула: «Обними меня». Руки у нее холодные, и вроде бы вся она заледенела. Обнял тихонько, грею. И говорить стало не о чем.

Сколько сидели, не знаю, слышу Катин голос: «Может, всю жизнь просидим?» — «Не знаю», — отвечаю. Катя поднялась, начала раздеваться. «Будем спать», — сказала. «Как?» — спросил я. Понимаешь, по-дурацки спросил, но так растерялся... «Как мужчина и женщина», — засмеялась Катя.

Ну, ты меня знаешь, я не мальчик, пришлось кое-чего повидать. И смерти понюхал. А тут — спать. Спать так спать, тем более с такой девушкой. И обманула она меня, и обидела. Принять расчет предлагает. За все, и за угощение — тоже. Старшине надо платить известно чем... И тут, веришь, что-то со мною случилось: и жарко мне стало, и холодно, и стыдно. И обидно — хоть разревнись. «Да что же, — думаю, — для того я тебя искал, обиду стерпел... Да я бы на этом «бв» остался без всяких душевных бесед... Да ты меня за человека не считаешь!..»

Катя разделась, легла, приглашает: «Ну, шевелись, вояка». И я зашевелился. Выскочил, схватил шинель и шапку (по пути едва не прибил старуху: не то подглядывала, не то у порога топталась), выкарабкался нару-

жу, как из глубины темной вынырнул, хватаю воздух, шинель не могу застегнуть. Наконец разобрался, в какую сторону идти, пошел полегоньку.

У колонки воду пустил, напился. И слышу — хлопнула дверь, кто-то бежит ко мне. Ну, ты уже догадался: Катя. Валенки на босу ногу, бабкина шубейка, платок еле повязан... Подбегает, хватает меня за руку, да так цепко — потом пальцы болят, — говорит: «Куда ты в ночь?.. Не пущу. Прости. Утром уйдешь... И слушать не хочу, разорусь на всю улицу. Пойдем!» Что делать? Вернулся. Ведет, за руку держит.

Постелила мне на полу в своей каморке, сама на кровать легла. Не спит, чувствую. И я глаз сомкнуть не могу — вижу эти валенки на босу ногу, платок растрепанный... И жалко ее, горло перехватывает. Не вытерпел, сказал: «Прости, Катя, как-то глупо все получилось. Не хотел тебя обидеть». Лучше бы не говорил, или хорошо, что сказал, теперь уж и не пойму: она всхлипнула и заплакала.

Как она плакала, дружок! Мне не приходилось слышать такого плача ни в деревнях, по которым прошли немцы, ни на фронте. Так плачут и дети, и девушки, и женщины. А Катя — разом за всех. Такой плач рвет тебя, душу твою разъедает...

Сел я на край кровати, принялся успокаивать Катю. Что-то говорил, слезы вытирал, а подушка вся мокрая. Понимал, надо выплакаться ей, много всего накопилось. Понемногу она затихла, потом взяла мою руку, стиснула ладошками и совсем успокоилась.

До утра мы говорили. Я узнал, как оказалась Катя здесь.

В первый месяц войны отец пропал без вести. Немцы взяли Смоленск, мать, она учительницей была, ушла к партизанам. Катю с бабушкой эвакуировали в Омск. Бабушка работала на швейной фабрике, потом заболела и умерла. Катя попала в детдом. Ей было тогда пятнадцать. После седьмого класса поступила на курсы телеграфисток, окончила, стала работать. Писала письма на фронт, в Москву — ни одной весточки от матери и отца. Ходила в госпиталь, спрашивала фронтовиков, дежурила с подружками в палатах тяжелораненых. И тут ее заметила сестра-хозяйка Санюкова, сказала, что и она одинока, потеряла мужа, пригласила к себе —

все лучше, чем в общежитии. Но скоро Катя начала замечать: Санюкова приторговывает на рынке, да и с мужиками ведет себя вольно. Хотела уйти. Та не пустила, вещи отобрала, в горячке крикнула: «Вместе дело делаем! Выносила из госпиталя мои свертки? Выносила. А что в них, знаешь?» Догадаться пришлось: хлеб. Им-то и приторговывала из-под полы Санюкова. «Едва не повесилась, — говорит Катя, — а надо бы...» Через полгода попала старшая подружка, однако выкрутилась (у нее и поговорка была: «Вертись молодка — будет закусь и водка»), но с работы выгнали. Вот тогда-то она и предложила: «Едем подальше, легче войну перетерпим, эвакуированных туда не посылают, рыбы много». Выхлопотала вызов от сестры — Дальний-то Восток был закрыт, японцев ожидали, — и согласилась Катя ехать, опять припугнула ее подружка: «Запачканная ты здесь». Приехали на это самое «бв», в «общежитие», родная сестрица отдала Санюковой половину дома. Быстренько освоилась Санюкова, подобрала жиличек, стала устраивать вечеринки с винцом и закуской. Ну, мы видели, как она ласково принимает... В чужом городе, без работы, без места, в семнадцать лет... Одним словом, обманула она Катю женихом, свадьбой. А потом было все равно.

Вижу по тебе: страшно. Ничего, до Санюковой я доберусь. А Катя и сама вырвалась. Правда, боится ее имя назвать — дрожит вся. Домой идет — петляет по улицам, чтобы та не выследила.

Ну скажи, как я могу ее оставить? Да мне ничего от нее не надо. А не вижу долго — ненормальным делаюсь.

Бабкин расстегивает кармашек гимнастерки, достает бумажник, вынимает фотографию. Беру, вглядываюсь. Темноволосая, глазастая, с пухленькими губами, очень молоденькая девушка — «девчушка» называют иногда таких. И, наверное, ростика небольшого — по всему чувствуется (такие крупными не бывают, по «стандарту» не положено). Что-то капризное есть, что-то застенчивое, но ничего горестного.

— Давно снималась?

— В этом году.

— Симпатичная?

— Ага.

— Ну, как она вообще, я не об этом... — Вернул Бабкину фото. — Я вроде и знал уже, что она красивая. Ну, главное самое... — Запнулся, удивляясь: «Почему не могу выговорить это слово?» Наконец выжимаю из себя: — Любит она тебя?

— Молчит. Спрошу — нахмурится, застесняется.

— А ты?

Бабкин опустил локти на колени, сцепил пальцы, хрустнул суставами. Выпуклой темнотой глаз уставился в белизну снега. Слегка свел плотные, остро сложенные в верхушке брови. Занемел, как бы вслушиваясь в себя.

Я не мешал ему. Поглядывал, думал о нем. Крупный, хорошо сложенный, с румянцем на щеках. И сильный. И, должно быть, смелый: медаль «За отвагу» просто так, на память, не выдают. А вот растерялся, притих. Может, ему и подумать по-настоящему некогда было: здесь служба, суета; там, когда увидит Катю, вовсе не до этого. Обидно стало за себя, за него. Какой он жених? (Жалеем — вот и бросать не хочется!) Какой я советчик? Беспризорные мы оба. Нам бы демобилизоваться, да учиться идти, да осмотреться как следует, да к девушкам попривыкнуть; свою себе отыскать. И никто нам не поможет. Не сможет помочь. Ни ближайшие командиры, ни сам Стихин.

— Знаешь... — тронул легонько плечо Бабкина; он медленно, будто всплывая на поверхность, поднял глаза. — Ты вот что... Она требует, что ли, жениться?

— Молчит.

— Так подожди немного, а?

Бабкин не ответил, опять погрузил голову в белесое сияние из окна.

— Куда торопиться? Говорят, карточную систему скоро отменят. Хоть свадьбу по-человечески справите.

— Не в этом дело.

— Понятно. А все-таки время покажет. На то ведь оно существует.

Бабкин вздохнул и вроде кивнул мне. Требовать добавочного ответа я не стал — хватит на сегодня, на один раз нам двоим. Нервные клетки, говорят, не восстанавли-

ливаются. А жить надо. Да и службы впереди неизвестно сколько. Поэтому я потихоньку закурил — от двери наш закуток дневальному не досмотреть, — положил Бабкину. Хорошо помолчали и покурили. Набрались тишины, законного слюденистого сияния снега.

Уже было встали, чтобы разойтись, но хлопнула дверь, кто-то спросил, где старший сержант Бабкин, дневальный ответил, и перед нами возник солдатик Васюков. Вскинул ладошку к виску, отдернул, вспомнив, что прибежал без головного убора, доложил:

— Товарищ старший сержант! Заболел рабочий по кухне Кислюк! Старшина Шемет просит замену!

Бабкин поморщился слегка — уж очень сильно и резко кричал Васюков, — хотелось постепенно вернуться к службе, чтобы сообразить что к чему. Сказав Васюкову «идите», он пробежал взглядом по лицам спящих на нижнем этаже нар и тут же повернулся ко мне:

— Подмени. Чтобы не будить.

— Могу. Приказ начальника — закон...

Бабкин полувзмахнул рукой, почти по-сидоровски, шагнул к своей койке, не раздеваясь, лег лицом к потолку, закрыл глаза.

Я пошел на кухню. Можно и поповарить. Меня редко посылают рабочим по кухне, потому что это считается поощрением: в тепле, еды вдоволь, целые сутки никаких занятий, никаких уставов. Самый главный — старшина Шемет, а он в белом колпаке и халате, и командовать давно разучился. Так, больше шуточками подгоняет или «стариковским» ворчанием.

— Привет! — кричу от порога, как если бы вошел в деревенскую избу друга.

Иван Шемет читает газету, не торопится глянуть (надо остановиться на точке — обстоятельность в любом деле полезна), наконец поднимается, идет ко мне, протягивая нежные, по-бабьи мягкие ладони, обдавая крепкими поварскими запахами. Трясет меня за плечи, словно проверяя, хорошо ли прибавляю в веее. Я вдыхаю его запахи, завидую: вот бы и мне когда-нибудь нажать такое мощное тело!

— Веришь, нет? — говорит Шемет. — Я знал — тебя назначат. Подумал — тебя бы назначили — и вот... Хуже других, что ли ча? Я тут Беленького как-то просил: назначь, говорю. Не заслужил, говорит. — Он бросает

мне халат и колпак. — Облачайся. Уходит к своему низенькому стульчику, приспособленному для отдыха, берет газету. — И чего ты плохо служишь? Вроде грамотный парень. Уставы не изучил, что ли ча?

Я не отвечаю, да Иван и не ждет ответа. Он просто так, для себя рассуждает, удивляется: разве можно считаться плохим служакой? Он служил хорошо, воевал отлично. Он поварит старательно, хотя не собирается на всю жизнь присвоить себе эту профессию. У него натура такая — любому делу всего себя отдавать. Япощек бить? Пожалуйста. В лучшем виде обработаем. В деревню? Можно. Однако с пустыми руками, на чужое подворье не годится. Подработать надо, обстоятельность в себе почувствовать.

— Послушай вот, земляк. — Иван Шемет гремит новенькой газетой, прячет в нее голову. — Про мою деревню, Тамбовку, описывают. — Но читать почему-то не стал, отложил газету (газета у него «Амурская правда», лично подписывается на нее), свернул озабоченно сигарку. — К весне у нас готовятся, к севу. Тебе это не понять, крестьянского духу не прихватил для дальнейшей жизни, так?

— Не прихватил.

— Как сказать еще! Не радуйся. Может, проснется с годками, намучает?

— Не знаю.

— Вот правильно. Человек мало чего про себя знает. Век с собой спорит, себя боится... Я вот сейчас читаю — плуги, сеялки, зерно... И изнутри как нахлынет к самому горлу, к голове, аж в глазах потемнело: «Буду агрономом!» Отчего, а? От волнения, не иначе. Раньше и думать про это не собирался.

— Наверно, была мыслишка, самая маленькая.

Иван мыслит, поджимая губы, будто одиноко горюет.

— Не припомню что-то.

Мелкими шагами приближается Васюков — он перемыл миски, бачки и половники, по прозвищу «разводящие», — заслужил отдых и решил поговорить, потому что очень любил беседы на любые темы.

— Васюков! — нарочито строго встречает его Шемет. — Отвечайте: получится из меня агроном?

— Не могу знать, товарищ старшина. Вопрос требует изучения, индивидуального подхода. А также уточ-

нения: институт вы хотите кончать или техникум? Какая у вас общеобразовательная подготовка и так далее. Многое еще.

— Ты скажи! Вот академик! А я и не подумал. Желание есть, думаю, и ладно. Главное, как жук, в навозе хочу копаться.

— Это тоже имеет значение. Однако образование...

— Брось ты! — обрываю я Васюкова, видя в глазах Шемета откровенную грусть. — В техникум пойдет, а там заочно в институт. Да он и председателем и директором МТС сможет.

— Я ничего. Я их предупреждаю. Вопрос мне задали.

— Не, в начальники не пойду, — говорит сам себе Шемет. — Не пойду. Не гожусь командовать. У меня вся душа, весь ум в руках. Не могу лишиться такого таланта. Плохим сделаюсь.

Так я всегда и думал об Иване Шемете. Так чувствовал его. Оттого и радовался, наверное, его голосу, незлобным шуточкам, крупному телу, надежным рукам. Человек, видно по всему — человек! (Мне припомнился Васейкин: они так похожи — Шемет и Васейкин. Не внешне — душами, сутью своей. Вот же как устроена жизнь: не умирают до конца люди, какая-то часть их живет в других, дальше передается. И хорошо. Васейкинская простота, брезгливость к окрику, возвышению словно бы переселились в Шемета). А сколько желающих в начальники попасть? Иные по слабости придумывают себе высокие должности — кому хочется свиней пасти или навоз в поле вывозить? — но есть и серьезные людишки — эти прямо от рождения начальники. И будут. Лишь бы должностей хватило.

— А ты кем собираешься? — спрашиваю Васюкова.

Он морщит свой мелкий лобик, вскидывает к потолку суетливые глаза, слегка улыбается: очень, видимо, нравится ему такой разговор.

— Вопрос ваш заслуживает серьезного внимания. Его необходимо, для упрощения, разбить на два подвопроса: это — кем желаю и кем могу. А потом уже вывести среднеарифметическую цифру...

— Ладно, Васюков, — слегка отталкивает его Шемет, чтобы избавиться от мелкой слюны, бьющей из рта Васюкова. — Ты умный, читаешь все подряд. Разъясни вопрос: что такое абстракция?

Васюков мгновенно переключился, упрямо наверстал тот шаг, на который отгеснил его Шемет.

— Это явление свойственно некоторым нездоровым тенденциям в литературе и искусстве, — заговорил он без запинки, — когда отдельные авторы, создавая произведения выражают в них субъективные, никому не нужные чувства, копаются в своих мелких душонках, не видя жизни и созидательного труда. Ставят себя в положение пресловутого человека вселенной.

— Молоток! — искренне удивился Шемет. — Дак это интеллигенции касается, в Москве?

— Всех касается.

— Интересно. А вот ты. Ты, кажется, из рыбаков. Как ты этим абстрактом заделаешься? Рыбке-то все равно, кто ее ловит.

— Рыбке — да, — подтвердил с летучей улыбкой, терпеливо и охотно Васюков. — Но людям не все равно, кто для них ловит.

Иван Шемет поднялся, осторожно обошел Васюкова, направился к плите, приподнял деревянную крышку котла — из-под нее рванулся пар, ударил в потолок, и осыпало нас теплой моросью; запотели окна; стало как в парной; Шемет сказал от плиты, едва видимый за туманом:

— Понятно. Спасибо. Как лекцию послушал.

Васюков сел на маленький стульчик Шемета и сделался совсем мизерным, игрушечным солдатиком из мультфильма, но лобик свой все морщил, напрягал, поглядывая на меня с явной мыслью: «Чувствуешь подготовку? То-то. Не в фигуре дело!»

Мне захотелось еще немного поговорить с Васюковым, раньше я слышал лишь его звонкие ответы на политзанятиях. Достал свой растрепанный блокнот, куда записывал свои и чужие стихи, непонятные слова.

— Значит, ты так понимаешь абстракционизм?

— Как положено.

— Ну, все-таки. Я вот тоже понимаю... Например, послушай стихотворение:

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,  
Где даль пугается, где дом упасть бонгся,  
Где воздух синь, как узелок с бельем  
У выписавшегося из больницы.

— Кто написал?

— Борис Пастернак. Книжку в гарнизонной библиотеке нашёл. Кое-что выписал. Говорят, ещё поэт Есенин был. Мне один человек наизусть кое-что читал — вот это стихи!

— Ущербная поэзия.

— А ты-то читал?

— Не собираюсь. На мой век более важных дел хватит. Не слышал я про таких поэтов. Таких и не бывает. Это же безграмотно: «тополь удивлен», «даль пугается», «дом упасть боится» — разве дом или тополь человек? Нет, не советую вам выписками заниматься. Читайте других наших лучших поэтов.

— Подожди. Мы ведь о стихах. Они же могут сами по себе. Читаю и чувствую — тревожат, хоть и не все понятно. Как от песни на чужом языке.

Васюков поднялся, отшагнул немного, глянул с терпеливой усмешечкой на меня, сидящего, сказал, четко выкатывая изо рта слова-шарики:

— Ничего не бывает само по себе. Запомните. И обращайтесь со мной на «вы», как положено военислужащим.

Вот тебе и Васюков! Поговорили интересно. Ему наперед все известно, на любой вопрос заготовлен ответ. Где это его обучили, в каких университетах? Семь классов — как и у большинства из нас. Жил где-то на севере, среди гиляков, сеткой кету ловил. От неважной пищи и вырасти не сумел. Когда успел натренироваться? Вот тебе и пуд соли, который надо съесть. Мы с Васюковым, может быть, полтора съели, а я только сегодня узнал его.

— Эй! — кричит от плиты Иван Шемет. — Давайте сюда!

Подходим. Иван, утирая колпаком распухшее от пота и жары лицо, тычет пальцем сначала в грудку Васюкова:

— Ты, агитация, печку кочегарить. — Толкает в плечо меня: — Ты, абстракция, кашу мешать. — Он сует мне в руки деревянную веселку. — Да чтоб не подгорела!

Котел большущий, чугунный, выбрасывает из себя клубы огненного пара, как в бане по-черному; пшено разваривается, густеет, и мешать — водить веселкой по дну и стенкам котла — не так уж и весело. Быстро ра-

зогреваюсь, мое тощее тело, оказывается, на удивление водянистое — истекаю потоками пота. Я почти слепну во мгле пара и, как Иван, утираюсь скомканным в руке колпаком.

Но работа — она всегда работа. К ней привыкаешь, принаравливаешь себя. Терпит Шемет — и я смогу. Надо веселку удобнее держать, рычагом, отталкивать ее от края котла. Легче, и не виснешь над самым жаром. А помешивать чаще — Васюков шурует топку во всю свою силенку, и может снизу пригореть пшенка. Пригар — испорченный продукт. Значит, меньше каши попадет ребятам в желудки. Это уже не по-братски! Это работа на врага, вернее, на помойную яму. Ничего такого я не допущу, даже если весь превращусь в воду.

В любом деле необходимо нащупать «второе дыхание», привести себя в полное рабочее состояние, отключиться на время от всей другой жизни. У меня это получается, я умею сделать из себя «рабочий организм», потому что с детства начал работать и тогда уже развил в себе самое важное — «второе дыхание».

Тело мое меньше потеет — зачем ему терять всю влагу, оно ведь еще жить хочет, — мышцы рук, туловища, ног объединились, как бы сделались простым, но прочным механизмом, выполняющим заданные движения. Р-раз — веселку пускаю вниз по стенке котла, провожу по дну, с вывертом поднимаю вверх — каша взбурливается, клокочет, — двумя движениями пускаю веселку по окружности котла — снимаю верхний пригар. И опять все сначала. Были бы руки, держали бы ноги!

— Так, молоток! — подойдя неслышно, подбадривает Иван Шемет. — Может, в повара пойдешь? Надежная работка, без хлеба никогда не останешься. А стишки, они для книжков или кто физически болеет. Хошь, откомандирую к себе?

Он берет веселку, командует Васюкову: «Притуши малость!» — и медленно, одной рукой, будоражит кашу. Она уже готова. Выйдет из нее пар, чтобы посуше была, и раздавать можно.

— Спасибо, — говорю я. — У тебя хорошо. Но радио больше нравится. Мне радио потом пригодится.

— Одобряю. Я так думаю: хоть из тебя службист никакой, а умишко крестьянский имеется. Рассчитать, прикинуть на будущее. Надежность иметь. — Иван при-

двинулся ко мне, сказал в ухо: — А в говоруны не ходи. Говорун, он что? Сегодня нужен, завтра уволят.

Я киваю Шемету. Я согласен. Не потому, что все его слова считаю истиной, не подлежащей сомнению. Если начну вдумываться, найду, наверное, и такое, с чем не соглашусь. Но в том-то все дело — не хочется мне сомневаться в правоте Шемета. Он прав. Он всегда работал. Он воевал. Он красиво любил. Он всегда будет работать.

Мне хочется встретиться с ним лет через десять, когда я буду знать о жизни не меньше его — помучаюсь, поработаю, поезжу и, конечно, все для себя обдумаю, — вот тогда мы сможем сделаться настоящими друзьями, и поспорим за столом, на котором будет отличная еда и бутылка водки.

— Да-а, — говорю я протяжно и скупно, через силу улыбаюсь: «Грустновато, видишь, но все-таки хорошо».

— Так-то, — подтверждает Шемет.

Он прикрывает котел деревянной крышкой — каша уже вполне успокоилась, — командует нам:

— Несите бачки, миски. Будем раздавать.

В столовую с грохотом ввалился первый взвод, и началась обычная кухонная суета: повар бросал черпак каши в бачок — норма на четверых, — мы подавали бачки в окошко, отсчитывали пайки хлеба, наливали в жестяные чайники чай-кипяток. Собирали со столов посуду, перемывали, ее забирали новые едоки. И так до последней смены — радистов, подменных на ужин; им достались гвардейские порции, гущина со дна.

Еще раз собрали посуду, переполоскали в кипятке, почистили котел, вымыли полы в столовой и на кухне. Поужинали вдвоем, уже молча — лучшие силы ушли на работу. И сказано было все, хоть Васюков пытался что-то разъяснить о проживании Гитлера в Аргентине. Мало заинтересовало. Потом пришел новый наряд рабочих — сдали поштучно бачки, миски, «разводящих», тряпки, колпаки, халаты, а также идеальную чистоту, и я сказал Ивану Шемету:

— Ну, пока.

В казарме был час личного времени. Ребята «забивали козла», играли в шахматы, писали письма. Лучшее время. Почти как уволенным чувствует каждый себя. Да и в казарме сейчас стало хорошо, намного уютнее:

деревянные, почерневшие от многих лет пары выбросили, и вместо них поставили двумя рядами двухэтажные железные койки с тумбочками в проходах. Прямо-таки замечательно стало! Подушки, заправка по линейке, полотенца угольниками. В тумбочках личные принадлежности. И солнца, воздуха вдвое прибавилось.

Пробираюсь к своей койке — взять из тумбочки книгу. В проходе сидит Мищенко, уткнувшись носом в листок бумаги, вроде плачет. Толкаю в плечо, чтобы поднимал голову.

— Ты что?

Личико млажавого старичка сморщено, щеки поблескивают сыростью, и маленькие глаза, залитые влагой, кажутся непомерно большими. Он медленно, словно от свежей боли, растягивает губы, выдавливает из себя:

— Дид Скиба помер.

— Какой это?

— Кажись, я тебе рассказывав...

Мне припомнилось — да, рассказывал Мищенко про деда Скибу. Что-то длинное, печальное: Однако главное четко восстановилось в моей памяти. Дед Скиба, сосед по деревне, взял жить к себе Мищенку, когда тот совсем осиротел. Это было еще при немцах. Взял подраженного в ногу, спрятал, выходил. Вместе всю оккупацию пробедовали, оба одинокие, и деду Скибе много пришлось перестрадать из-за беспризорного, озленного приемыша. Один раз, когда Мищенко ударил пьяного немца кирпичом, деда чуть не расстреляли. У стенки уже стоял. Перетерпел, и внуку своему названному простил. Так и дожили до освобождения. Дед потом в армию Мищенку проводил. Письма писал, называл «ридным». Расстарался как-то — посылочку с салом и сухарями прислал. И вот дед Скиба, хороший человек, помер.

— Бильше никого нема, — сказал Мищенко.

## 10

Старший сержант Бабкин, выйдя из канцелярии, подал команду:

— Третий взвод, приготовиться к построению! — И через минуту: — Становись!

После завтрака, перед занятиями по специальной подготовке нас обычно не строили, и мы не очень охотно выполнили команду («Что еще за тревога?», «Отменяют спецподготовку?», «Опять двор подметать или в лес топать — на заготовку дров?»). Но, конечно, выстроились, подравнялись, рассчитались, будто нас со стороны невозможно пересчитать. Приготовились выслушать поставленную перед нами задачу.

Бабкин сказал: «Вольно!», прошагал в канцелярию, отрапортовал там кому-то; вышел вместе с младшим лейтенантом Голосковым, опять крикнул:

— Взвод, смирн...!

— Вольно! — негромко, но поспешно прервал его Голосков; Бабкин эхом отозвался: «Вольно!» Голосков неторопливо, как бы осторожно, подошел к строю. Глянул, начиная с правофлангового, каждому в лицо, словно еще раз пересчитал, отвел глаза к окну, сиявшему солнцем и снегом.

— Товарищи. Пришел приказ — я увольняюсь.

Голосков всех разом охватил взглядом своих просторных глаз, словно спросил: «Ну, что? Удивило вас это?» А мы, обдумывая его сообщение, помалкивали — да и что скажешь в строю? — и с невозможным удивлением смотрели на своего, теперь уже бывшего командира взвода. Выглядел он сегодня нарядным, непривычно подтянутым. В новенькой диагоналевой гимнастерке, в синих диагоналевых брюках, начищенных сапогах. Даже пряжка ремня и звездочки на погонах сияли желтизной. Напоследок, что ли, на память себе и нам «оформился» Голосков? Или хотел сказать этим: «И я бы мог служить, да вот не судьба...»

— Командиром у вас будет пока лейтенант Маевский.

И опять промолчали. Хотя после этих слов, наверное, каждому захотелось крикнуть: «Почему Маевский? Не надо Маевского! Пусть командует своим первым взводом! Мы не привыкнем теперь к нему!» Голосков, будто внимательно выслушав наше немое возмущение, осторожно сказал:

— Ну, а самым непосредственным так и останется старший сержант. — Он стиснул Бабкину локоть, слегка качнул к себе. — Его вы знаете.

У Бабкина загорелись щеки, и он часто замигал де-

вичьими ресницами, как бы опахиваясь ветерком. Нахмурился, сердито «беря себя в руки».

— Вот и собрал вас — сказать до свидания. И еще — спасибо за службу.

С некоторым промедлением, но все-таки дружно, с внезапным единым порывом, мы выкрикнули:

— Служим Советскому Союзу!

Голосков обошел строй, и каждому, начиная с правофлангового, пожал руку своими просторными и мягкими ладонями. Вернулся к Бабкину, что-то проговорил невнятно. Бабкин назвал мою фамилию, распорядился:

— Пойдете с младшим лейтенантом.

Все направились в радиокласс, а я пошел вслед за Голосковым в офицерскую половину дома. Голосков шагал впереди. Поглядывая на его широченную, округлую, плотную спину, я чувствовал, что ему очень грустно. Вошли в его комнату, глянул Голоскову в лицо и — точно, увидел грусть, которая прямо-таки физически проступила: синевой под глазами, складками возле губ; и молчанием. Но ведь он просился на гражданку, ждал, добивался. Или такова уж человеческая натура: все постылое становится милым, если уже позади?

В комнате пусто, однако чисто, даже пол подметен. По-старому выглядела застеленная солдатским одеялом койка да книги у окна; правда, ворох несколько поуменьшился. Все другое со стола и стен было уложено в дерматиновый чемодан и пузатый, с ремнями поперек, довоенного производства портфель. Третьей упаковкой был патефон.

— Присядем по обычаю, — сказал Голосков.

— Полагается.

Он опустился на середину койки — она продавилась глубоко, пропела что-то скрипучее, — хлопнул несильно ладонью по подушке, как по голове живого существа. Я присел на краешек одинокого стула. Помолчали минуту или две. Погрустили. Потом он сказал, кивнув на книги:

— Выберешь, что понравится. Остальные — в библиотеку.

— Так и сделаю.

— Ну, поднялись.

Я взял чемодан, Голосков портфель и патефон. Вышли во двор, медленно двинулись мимо окон аппарат-

ной комнаты, контрольного пункта, столовой; вот и окна казармы.

От двери быстрыми шагами движется майор Сидоров, придерживая на переносице очки; за ним, отставая и задыхаясь, капитан Мерзляков. Голосков ставит поклажу на снег, идет навстречу.

— Ну, всего тебе доброго, — говорит Сидоров, жмет руку Голоскова, а другую, левую, кладет ему на плечо, притягивает к себе его голову, целует в щеку. — Напиши, как и что там.

— Спасибо, товарищ майор. Непременно...

— Ну, ладно, ладно. Будь здоров.

Жмет руку Голоскову капитан Мерзляков, но как-то издали, неясно произносит несколько слов (ему, по слабости, трудна и эта работа), и мы шагаем с Голосковым дальше.

Всегда матово-бледноватые щеки Голоскова теперь покраснелись, он отворачивается, хмурится: наверное, глаза ему застилают слезы. А я думаю о майоре Сидорове: какой он непохожий на Голоскова человек! Ну, прямо как жители разных планет. А ведь любил же за что-то младшего лейтенанта, если прощал ему штатскую выправку, философствования, явную нелюбовь к службе и чинопочитанию. Что-то знал о нем, видел в нем. Может, они встречались на квартире у Сидорова, сидели за столом, и жена майора ставила им графинчик. Или раньше были знакомы друг с другом. Об этом я никогда не узнаю, потому что не смогу спросить Голоскова, да он, пожалуй, и не ответит. Зачем? Не такие мы близкие друзья-товарищи.

Втянулись в лесок, зашагали по четким синим теням берез, пролеглим поперек дороги. Как по шпалам. Сзади послышался частый топот. Остановились. Слегка запыхавшись, подбежал ефрейтор Потапов, доложил:

— Товарищ младший лейтенант! Старший сержант Бабкин направил в ваше распоряжение! — И пояснил: — Помочь донести вещи.

Голосков внимательно оглядел Потапова, будто не совсем понимая его слова, в какое-то мгновение хотел отослать его назад. — «Зачем? Сам не донесу, что ли?», — но губы, готовые высказать это, по-обычному размягчились, он глянул на портфель и патефон. — «Ладно, не обижать же ефрейтора, а главное — Бабкин

послал», — сунул их Потапову, пропустил нас вперед, сам немного отстал.

Шли через перелески, поляны, распадки. По сиянию дня, сквозь острый стрекот снегирей, красными плодами отягощавших ветки берез. Дышали солнцем, а снегيري ругались: скоро опять откочевывать на вечные снега севера. Хорошо мечталось. Но Потапов забегал вперед, заговаривал. Он не любил, когда о нем забывали.

— Куда едет Голосков?

— Не знаю.

— Есть у него жена?

— Не знаю.

Пришли к шоссе. Поставили на обочину вещи. Надо ждать попутку, голосовать. В рабочие дни машины ходят часто, городские и деревенские, однако всегда груженные или уже с пассажиром в кабине. Поэтому не знаешь, сколько простишь. Прощмыгнули два газогенератора, чадя древесным дымом, проплыл, раскачиваясь, тяжелый ЗИС с брезентовым верхом. Это не наш транспорт — не в ту сторону, занят.

Голосков приближался неохотно, пощелкивая прутиком по голенищу, словно подгоняя себя. Сдвинул на затылок шапку, морщился от необъятной белизны света. И опять был невоенным настолько, что распахнутая шинель, собравшаяся складками на животе гимнастерка казались обычным гражданским одеянием. Когда Голосков подошел, из-за леска, куда одним краем упрятывалось шоссе, показал широкое глазастое рыло «виллис» — зеленый, военный. Поравнявшись с нами, он остановился. Как по заказу.

Шофер-солдат, откинув дверцу, не выпуская руля, сказал:

— Прошу, товарищ лейтенант.

Сказал он это в меру небрежно, в меру сдержанно и безразлично: «Возим, кого прикажут, такая наша служба». Легко было догадаться — машину, конечно, попросил майор Сидоров у соседей, и этот шофер знает, что младший лейтенант демобилизовался. Нарочито «сокращаясь», назвал лейтенантом, не доложил по форме: «Какой-то чернопогонник, технарь мелкий...» Но Голосков ничего этого не заметил, сунул в кузов чемодан, портфель, и патефон, пожал Потапову руку, стиснул мою.

— Вот... Прощай. А может, до свидания. Увидимся когда-нибудь, а?

— Не знаю.

— Адресок есть?

— Есть.

— Хоть через сто лет заходи.

— Хорошо.

Голосков прочно уселся рядом с шофером, слёгка потеснив его своей широтой, поднял руку и заулыбался — с нами он расставался весело. Шофер запустил мотор и тронул было машину, но Голосков, схватив его за рукав, придержал. Выхватил из кармана шинели каковую-то книжицу, бросил мне через кювет.

— Пригодится тебе!

Машина покатилась к седым, недвижимым дымам города. Я проводил взглядом до поворота — ее словно заглотил и пережевывал белыми зубами березник, — выбрался на дорогу, по которой далеко впереди бодро вышагивал ефрейтор Потапов.

Раскрыл самодельную книжицу. Она вся была исписана стихами. Прочитал на первой странице:

Пускай ты выпита другим,  
Но мне осталось, мне осталось —  
Волос твоих стеклянный дым  
И глаз осенняя усталость.

И еще на какой-то странице:

Не жалею, не зову, не плачу —  
Все пройдет, как с белых яблонь дым...

Есенин! Целый блокнот Есенина! У меня зарябило в глазах от множества строчек, затряслись, как у пропойцы, руки; чтобы не выронить, не потерять блокнот, сунул его глубоко под бушлат, в карман гимнастерки, застегнул пуговицей. Потрогал сверху — на месте, туго бугрится. Немного успокоился, глотая воздух, как после внезапного испуга, зачём-то втугую затянул ремень.

Шагал, нашептывая: «Есенин, Есени... сени... сено... ясени... осенин... есе-иси... иже-еси...» Шел, подбирая слоги к стуку шагов.

— Стой, стрелять буду!

Из-за куста выглядывал ефрейтор Потапов. Он, оказывается, уже оправился и обстоятельно застегивал штаны. Проковылял к дороге, ступая в свой прежний след, спросил:

- Ты что такой? Испугался, кого?
- Нет.
- А чего?
- Так.
- Покажи, покажи, что тебе подарил Голосков.
- Стихи...
- А-а.

Это насмешливое «а-а» остро отозвалось внутри меня, и я решил: скажу, чьи стихи. К тому же, от Голоскова слышал, будто Есенина собираются издавать в Москве. Сказал погромче и попонятнее:

- Стихи Есенина.
- Это который запрещенный?
- Был.
- Ладно, фиг с ним. А на военную тематику у Голоскова есть что-нибудь?
- Нету. Не любил эту тематику.
- Ясно. Потому и выгнали шляпу носить.
- Сам ушел.

— Ладно. Вопрос с ним решен окончательно. Хочешь, кусочек тебе прочитаю. Блеск! — Потапов вынул из-под полы бушлата новенький том. — Тут про войну. Как в будущем будем воевать. Грандиозно! Масштабы! Дух захватывает. — Потапов отыскал страницу. — Вот.

«Серый громоздкий аппарат беззвучно двигался, прокладывая бронированным, сплошным гусеничным животом ровную просеку среди старого леса, оставляя позади горячую уничтоженную землю. Вдруг он остановился, повел механическими ушами, похожими на локаторы, и башня с множеством оружейных стволов нацелилась в лесную чащу: аппарат уловил подозрительные звуки жизни. В следующую минуту из коротких стволов вырвались ослепительные лезвия света, они мгновенно проникли в сонную чащу, и над нею вспухло огненно-черное облако. Когда дым рассеялся, на сколько хватало глаз — зиял ровный провал пустоты. Все живое...»

- Не надо. Хватит.
- Нервы слабые? Блеск!
- Слабые.

Ефрейтор Потапов остановился и захохотал, приговаривая: «Ой, не могу!» и приседая на корточки. Потом сказал:

- Не бойся. Вы не понадобитесь.

— А вы?

— Мы-то и будем восвать.

— Ты?

— Говорю — я. Потому что всегда служить буду. Подал рапорт в военное училище.

— А-а, — пропел теперь я. — Желаю успехов. — И, оторвавшись, быстро зашагал к казарме, глуповато радуясь, что мне не придется быть под началом Потапова.

При входе, возле тумбочки дневального, меня ожидал Зыбин-Серый. Молча указал на часы. До начала дежурства в аппаратной оставалось пять минут. Я мог опоздать, но не опоздал — так само собой получилось, хоть и совсем позабыл о дежурстве. Голосков, Есенин, Потапов... У меня слегка побаливала голова, как это бывает от бессонницы. И я почему-то был рассержен. Наверное, сказал бы что-нибудь «остренькое» Серому, если бы тот начал ставить меня по стойке «смирно». Мой отделенный выглядел сегодня смирным, на лицо еще более серым и, вовсе непохоже на себя, грустным.

— Пойдем, — сказал он просто, будто звал посмотреть свой огород.

В аппаратной тихо, солнечно и тепло. Лучшее место в роте. Всегда чисто, всегда натоплено. Пахнет технической краской, сияют застекленные диапазоны. Булькает, позванивает, стучит в эфире морзянка. Она как бы проливается сквозь антенны сама собой, наполняет доверху аппаратную, в которой от этого плотнее, весомее воздух — хоть подпрыгивай и барахтайся в нем невесомым.

Сменяю сержанта Рыбочкина, расписываюсь в журнале приема-передачи, он встает, снимает наушники, я тут же оседлываю ими свою голову и, уже слушая эфир, мельком пускаю взгляд по лицу, фигуре, конопатым рукам Рыбочкина; сажусь, поворачиваюсь к нему спиной. Морзянка отпевает первые минуты дежурства.

Думаю неторопливо, с расчетом на длинные часы сидения. Вот только что видел Рыбочкина и не помню, какое у него лицо — нос, глаза, волосы; есть ли голос? Руки — да, конопатые. И больше ничего. Получил он благодарность, съездил на Ургал, нацепил значок «Отличник боевой и политической подготовки»; еще немного о нем поговорили; помаленьку замолчали. И как бы опять перестал существовать сержант Рыбочкин. Да и

прежде, когда его славили с подъема до отбоя и даже во сне хотелось равняться на него, — я никак не мог чем-нибудь особенным отличить Рыбочкина от всех других, запомнить.

Однажды он мне приснился маленьким, призрачным, зигзагообразным сигналом, на голубых, спиральных ножках, похожих на обрезки антенны. Рыбочкин-сигнал был едва видим, дрожал, колебался и зуммерил — разговаривал морзянкой. И вроде передал мне глупенькую песенку: «Как у нашей Гали новые сандалии...» Ерундовый сон, о нем я никому не рассказывал. Но Рыбочкин так и остался для меня сигналом на ножках-проводниках, словно влетел к нам из эфира и потихоньку живет в казарме. Я и заговорить с ним побаиваюсь — вдруг зазуммерит. Иной раз с холодком по коже открываю аппаратную: гляну — а стул пустой, навсегда покинул нас Рыбочкин, ушмыгнул сквозь приемник и антенну в бесплотный эфир.

Зыбин-Серый подсовывает мне клочок бумажки, читаю:

— «Лизка письмо прислала, беременная сообщает, жди сыночка грозится».

Ага, вот почему запечалился, посерел мой отделенный. Занятненькое дельце. Что же это получается? Надо прикинуть. У нас в роте он служит около года, перевел из пехотного полка, там прослужил не меньше двух лет. Бывал ли он в отпуске и когда? Пишу на бумажке, подталкиваю ему:

— «Ездил домой?»

Отвечает, поскоблив пером:

— «Один раз».

Так, понятно — мамочка-председательша сумела хлопотать сына (что-нибудь насчет своего здоровья придумала), потешила блинами и яишней. Советую Серому:

— «Подсчитай, сколько месяцев прошло».

Толкает назад бумажку:

— «Девять с лишком получается».

— «Должна бы уже родить...»

Зыбин комкает исписанный клочок бумаги, бросает под стол. Обиделся, что ли? Осторожно поворачиваю к нему голову — и натыкаюсь на выпученный, сумасшедший, заплывший мутью взгляд. И губы дрожат. Навер-

пьяка сейчас Зыбин ничего не слышит в наушниках. Мне становится нехорошо, жутко от малого расстояния между нами. И стыдно, будто я в чем-то виноват. В чем? Сказал, что думаю. Это же правда. Не приставай. Есть у тебя мамочка в деревне, пусть следит за Лизкой, мне еще не хватало... Скашиваю глаза — Зыбин уронил голову на руки, узенько сжал плечи... они подергиваются. Ну, чертовщина! Этакий бугай... И вдруг у меня остренько промелькивает: «Э, стой! Как же я сразу не подумал!» И вызревает догадка: «Дураки, особенно он. Еще папой готовится быть!» Быстро пишу на листке, подталкиваю Зыбину:

— «Все правильно, Серый. Пока шло письмо — она родила».

Смотрит на меня, мигает разбежавшимися глазенками, вроде улыбается. Я киваю ему: «Порядочек, не унывай. Думать надо!» Я почти люблю его — «Как перестрадал человек, тоже душа недалеко спрятана!» — хочу от него большей улыбки, чтобы согласие закрепить, как после хорошего общего дела... Но вижу всегдашние стекляшки глаз, с выражением «себе на уме», строгость на лбу, твердость в тяжелых губах. Он громоздится надо мной во весь свой рост. Что это с ним? Губы начинают двигаться, выговаривать. Сквозь каучук наушников, словно откуда-то из-за стены, пробиваются мне в уши слова:

— Опять шуточки? Как не стыдно! Бессовестный вы человек!

Зыбин-Серый тяжело садится, будто обрушивается на стул, упирается грудью в стол, придвигает голову к яркой шкале приемника, показывая этим, что болтовне — конец, что пора с полной ответственностью приниматься за работу. А я и не отключался ни на минуту. Уши мои слушали эфир, рука натренированно пошевеливала колесиком настройки (как рулевой перекидывает колесо, нащупывая фарватер) и, чем больше страдал, уходил в себя Зыбин, тем глубже погружался в эфир я. И не как-нибудь там сознательно, с учетом обстановки — просто это в натуре радиста, если он уже радист, — брать на себя нагрузку товарища, не оставлять, боже упаси, без присмотра неразбериху эфира. Я это хорошо понимаю, потому что собираюсь долго работать радистом; может быть, всю жизнь.

И что наорал на меня Зыбин-Серый — ерунда. За время службы у меня выработалась защитная реакция на подобные крики: нервишки затягиваются узелками, леденеют, мне делается спокойно, как чучелу соломенному. И следить можно за кричащим. Ему хоть немножго, а стыдно за то, что кричит. Серому тоже стыдно: знает наверняка — не разыгрывал я его, и все равно не удержался, чтобы не возвыситься. Неужели он никогда ни с кем не дружил? Как мы будем жить такие, когда фронтовики перемрут?

«Хватит», — говорю я себе.

Понемногу забываю себя, земное существование, начинаю жить где-то посередине — между небесами и твердью. Полуразмываюсь, полууничтожаюсь. Обращаюсь в огромные, чуткие, напряженные уши. Они живут словно бы сами по себе, для себя — слушать, вбирать насытно звуки эфира, питаться ими, существовать ради них.

На моей волне тесно. Слева поет иностранка, дзинькает, дребезжит, вздыхает азиатская музыка — это японский авиамаяк; справа — микрофонная хрипучая скороговорка на русском языке: «Вьюга. Вы меня слышите?.. Слышите, спрашиваю! Вьюга!.. Как грузы? Грузы как? Слышите? Отвечайте. Перехожу на прием». И опять то же самое, до бесконечности. По самому центру, точно на частоте — отраженное эхо затухающей волны или как еще называют у нас — гармоника; где-то по ту сторону земли работает станция, швыряя в эфир бешеные звуки джаза, а мне слышится лишь легонькое бульканье, то замирающее, то вновь возникающее из ничего. Рядом стук мощной морзянки — фонирует почти на весь диапазон, колотится в наушниках щипящими всхлипами. Тесно, суетно в пустоте над землей. Ладно, хоть не все это знают.

А писем от Аси Шатуновской нет. Давно нет. И, наверное, не будет. Могла бы, конечно, написать, сообщить — вышла замуж, или познакомилась с хорошим парнем, или готовится к весенней сессии. Мало ли что может случиться. Я все пойму. И переписка у нас была так, в шутку — воспоминанием о войне (тогда без этого нельзя было); в мирное время смешно заочно знакомиться, через газету. Кажется, один только я и придумал из всей роты. Ясно — рассчитывал на некоторую

необычность Аси: пишет стихи — значит, откликнется. Человек, имеющий фантазию, живет как бы сразу во всем мире. Все ему свои, близкие. Понимал я, что ее стихи: «...я знаю, ты вернешься... нежно улыбнешься... придешь затем, чтоб больше не уйти», — совсем не для меня. Стихи — вообще. Таких можно километры насочинять. И суть не в них, не в чем-то другом. Просто очень интересно, любопытно, таинственно получить листок исписанной бумаги, будто ниоткуда. Бросил в гущу людей слова — и отзвук пришел. Словами. Но они и не совсем слова, наполовину звучание, музыка.

И вот тишина. Заглохли звуки. Может быть, это хорошо? Так надо? Ася Шатуновская раньше меня поняла, что пора жить; просто жить, как все люди. Всему свое время. Стихам, фантазиям. Они приятны, пока не надо зарабатывать на хлеб, думать о чулках, стоптанных ботинках... Особенно мне пора, давно уже. Я чуть ли не от рождения добываю себе хлеб, а маму не видел с начала войны. Пожалуй, уродился таким — пропащим фантазером.

Напишу Асе письмо, последнее. Напишу так:

«Здравствуйте, Ася. Ваше долгое молчание навело меня на мысль, что Вы решили прервать нашу переписку. Не спрашиваю о причинах, но поддерживаю Вас. Мы уже достаточно взрослые, нам пора заниматься серьезными делами. Вам скоро учить детей. Мне работать радистом на корабле дальнего плавания. Давайте стойко встретим дни нашей будущей жизни. Прощайте! Всего Вам наилучшего!

Р..S. Посылаю Вам свой последний экспромт:

Где-нибудь в вагоне или в чайной  
Через много лет, наверняка,  
Мы с тобою встретимся случайно,  
Чтоб уже расстаться на века».

Стало грустно. Словно я долго-долго дружил с Асей Шатуновской, и вдруг она изменила мне. Хоть бы фотографию прислала... Почему она такая жестокая?.. Но сразу ловлю себя на том, что нарочито расслабляюсь — хочу плакаться, жаловаться, казаться обиженным. Это нехорошо — чувствую, что нехорошо. Психопатично. Эдак можно сделаться плакальщиком по самому себе.

Я спасаюсь — думаю о матери, о нашей безотцовской семье, для которой все еще идет война. С нуждой. И

главный вояка — мать. Чем я могу помочь ей сейчас? Письмом, только письмом. Надо хотя бы чаще писать. Напоминаю себе каждый день, однако трудно, очень трудно писать, потому что — нечего; потому что слова истощились, сделались просто словами, как только закончилась война.

И понимаю я — не будет у меня корабля дальнего плавания, ничего другого интересного. Будет работа. Демобилизуюсь — и работать. Зарабатывать себе, матери, семье. Вкалывать, еще говорят. Нужен хлеб, нужна одежда. А там станет видно. Жизнь ведь большая, хватит времени подумать о себе, найти подходящее дело.

— Встать!

Вскакиваю, смотрю на Зыбина-Серого. Он усмехается, ему хорошо и весело оттого, что удалась команда, что с Лизкой никаких хлопот, что скоро весна и всякое такое. Отворачиваюсь, осилив в себе слова, мгновенно приготовленные для Зыбина, сажусь.

— Проверка бдительности, — радостно говорит Серый.

## 11

В угловой комнате, с узким окошком, железной печкой у входа, стояли две строго заправленные, всегда чистые кровати, стол и стул; на стене висел новенький плакат «Личная гигиена — залог здоровья воина». Здесь помещался ротный медпункт.

Печка жарко топилась, пахло успокоительно медикаментами, было солнечно в окне.

Санинструктор Вася Колушкин, еле видимый против света, сидел у стола, что-то писал. Он в белом, тесноватом халате, на мощном чубе, как прилепленная, высоко торчала докторская шапочка. Погревшись, минуту у печки, я сказал:

— Привет, Вася!

— Проходи, — не глянув, буркнул он. — Садись.

Сесть было некуда, пришлось примоститься на краешек кровати. Под моими сапогами растеклась лужица — очень грязная на желтой краске (в медпункте недавно покрасили пол). Подсадовал: «Забыл отшоркать подошвы!» Не по-товарищески — Колушкин сам убирает

помещение, топит печку и живет здесь, чтобы в любое время оказать медицинскую помощь. Хоть и нетрудная у него служба, в мирное время самая невоенная, почти женская, но пачкать надраенный до лоска пол ни к чему. Любой труд надо уважать.

Вася повернулся вместе со стулом, протер кулаком глаза, уставшие от света, изучил меня выпуклым, сонно-спокойным взглядом.

— Ты ко мне?

— К тебе.

— На что жалуемся?

— Да так... Настроение неважное. Чихаю чего-то.

— Простудился где?

— Может быть.

— На, погрей. — Он подошел, расстегнул мне ворот гимнастерки, сунул под мышку термометр. — Погрей. А я еще напишу. Отчет замучил.

Было жарко. Очень светло. Резал белый цвет наволочек, простыней, Васиного халата. Сиял желтый пол, сверкала лужица под сапогами. В окне все тонуло и расплывалось, как на засвеченной фотографии.

— Так, дай градусник. — Сунул под гимнастерку руку, холодную и сырую. — Тридцать семь и три. Ерунда. Раздаться-ка.

Слушал, ходил вокруг меня, заставлял глубоко вдыхать и выдыхать, покашливать.

— Дам освобождение, — заключил наконец. — На сутки. Вот таблетки. Выпей перед сном, пропотей.

Я кивнул Васе Колушкину, хорошо думая о нем: техникум не успел закончить, а совсем как врач. Говорит, трогает руками, дышит тебе в затылок — и все это успокаивает, ободряет, лечит.

В казарме прошел к своей кровати, достал из тумбочки книгу «Хождение по мукам», оставленную мне Голосковым, сдвинул слегка постель, сел читать. Потом подумал: «Освобожденному с температурой можно лечь — по всем уставам полагается», — принялся раздеваться и тут же вспомнил, что не доложил Беленькому о болезни, вполне рискуя нарваться на разнос, пошел искать старшину. Казарма глухо пустовала: одни на дежурстве, другие в наряде или на занятиях; кое-кто спал, добирая свое законное ночное время.

Тихонько приоткрыл дверь в канцелярию, глянул.

За столом сидел старшина Беленький, низко пригнув голову, покусывая карандаш. Он не услышал легонького скрипа двери, а когда я вошел, прикрыл дверь и прошагал к столу, не подняв головы и на эти звуки. Прерывисто, с подскоком карандаша он что-то выводил на тетрадном листке, хмурил лоб, натруженно вздыхал, видимо, подбирая нужные слова. Раза два слегка отпрянул от стола, как бы в возмущении, но меня не заметил.

Выдерживает Беленький или в самом деле не видит? Попробуй угадай. Однако яснее ясного то, что я пожаловал в самое не вовремя. Человек занят, углубился в себя, сочиняет какой-то документ; обратись — вздрогнет от неожиданности, рассердится. Отвлечется. К тому же человек — старшина Беленький. Помнить это надо всегда, никакое освобождение не может освободить от его власти.

Я стоял и тосковал или, как еще говорят, «нудился». Бывает такое остолебенение: все внутренние силы в тебе словно бы уравнились, столкнулись, замерли в противоборстве. Тебе уже все равно, какая из них победит, лишь бы скорей победила, и ты просто стоишь, ждешь, ненавидишь себя и никак не можешь овладеть собой.

Наверное, победила отчаянность в союзе со злостью, потому что я выговорил довольно внятно:

— Товарищ старшина...

Беленький дрогнул бровями (что означало — он услышал), протянул строчку маленьких букв до края листа, поставил крупную точку. Только после этого поднял голову, а подняв, миг отрешился от бумаги и карандаша — так мне показалось, — сидя выпрямился, но не по обычному строго — вполсилы, даже слегка приветливо.

— ...санинспектор Колушкин... — продолжил я.

— Знаю, — сказал он негромко, протянул руку к спинке соседнего стула, пододвинул его к столу. — Садитесь.

Не спуская взгляда с лица старшины — мало ли как оно может перемениться, — я сел строго вертикально, ожидая дальнейших слов, и видел: лицо его все больше расслаблялось, добрело, потом и вовсе сделалось расплывчатым, будто у подвыпившего мужичка.

— Вот. Письмо сочинял. — Беленький накрыл короткопалой, веской ладонью тетрадный листок. — Трудная работа. Особенно когда матери. Ей там «служба идет нормально, живу хорошо...» недостаточно. Подробности, детально давай. Сколько хлеба ешь, каким маслом кашу маслишь, что купил для себя в городе, байковые ли у тебя портянки... В каждом письме — доскональный допрос. Что-нибудь упустишь — выговор. Вот. — Беленький полистал тетрадку. — Отдельно вопросы выписываю. Перечень входящих и исходящих.

Он засмеялся, и мне захотелось, помочь ему улыбкой, потому что лицо у него как бы потеряло себя, проступили сквозь привычные, напряженные черты морщины и складки тридцатилетнего человека.

— Вам приходится так?

— Так точно.

— Давайте по-простому. Как не на службе. Вы больной, я письмо матери пишу. Побеседуем. По уставу полагается, по душе тоже. Как считаете?

Я промолчал, совсем уж не понимая Беленького, задавая себе сразу много вопросов: «Чего он хочет от меня, почему именно меня выбрал для «душевной беседы», как вести себя с ним, не лучше ли отпроситься спать?» — но, конечно, не шелохнулся на стуле, и это можно было принять за согласие.

— Лично с вами я давно собирался побеседовать. Однако считал — не созрели вы для разговора, не разберетесь правильно. Обижены на меня, больше других нарядов получили. Правильно говорю?

— Так точно.

— Правильно получили, как считаете?

— Раз получил...

— Вот-вот! Так у нас и получается: сначала обидимся, а после подумать не в состоянии. Обида осмыслить не дает... Был у меня один солдат, по фамилии Шукин. Очень похожий на вас, вроде и стишки сочинял. Ну, упрямый, ну, заносчивый. Я ему — наряд, он у меня два просит. Прибавтку сочинил: «Полюбите Беленького, а черненького всякий полюбит». Ломал я его ломал, только под конец он приутих. Теперь письма пишет из Томска: «Спасибо, товарищ старшина, за воспитание, научили жить, бригадиром работаю...» Строгость, она никого не портит. Надеюсь, и вы мне скажете спасибо?

Я спросил себя: «Скажу или нет?» Прислушался к своим ощущениям, мыслям, но не нашел в себе ничего такого, что могло бы благодарностью отозваться на строгость Беленького, однако и прежней злости к нему уже не чувствовал. Подумал: «Может, когда-нибудь потом?..»

— Теперь это. Валенок. Прошу извинения, погорячился тогда. Неправ был. Служба... Пусть останется между нами. — Беленький встал, четко-заученно одернул гимнастерку, отправил складки за спину, щедро растянул в улыбке губы. — Я ведь сам решил дальневосточником заделаться, останусь на постоянное жительство. Может, встретимся где?

Он протянул мне руку, крепко пожал и, стоя, проводил до двери.

От всего услышанного, пережитого у меня замутилась голова, как бывает после беспокойного сна с неясными сновидениями, которые никак не удается осмыслить. Я вернулся к своей кровати, разделся. А когда лег и взял книгу, понял — читать не смогу, надо подумать, развеяться.

Решил сходить в лес, побродить среди набухших почек, по оттаявшим пятнам земли.

Дорога затекла лужами, словно обозначила имисяющий, зовущий путь в дали дальние. На бровке купался тощий взъерошенный воробей. Окунал головенку, чистил перышки, подпрыгивал и бездумно чирикал. Припомнился вдруг давний голос отца. Он сказал мне, увидев такого воробья: «Смотри, зимой кричал: «чуть жив, чуть жив!», а сейчас: «семь жен прокормлю, семь жен...»

— Погоди-ка!

Я оглянулся. Перепрыгивая лужи, по дороге бежал старший сержант Бабкин. Бежал ко мне.

— Ты куда? — спросил он, часто дыша, покраснев от быстрого движения. — В лес?

— Угадал.

— Смотрю в окно — потопал. Думаю — прогуляюсь тоже. Голова гудит, погодка какая-то дурная... Колушкин освободил, что ли?

— Освободил.

— Миррово! — Бабкин разбежался, сделал длинный прыжок через лужу с ледяным дном, пяткой угодил в воду, взрывом расплеснул брызги.

Я побежал за ним, и мы бежали, пока не утомились, потом пошли шагом; за пригорком спряталась казарма, лишь высилась к небу, истончалась и пропадала в свете радиомачта.

— Во лесу-лесочке набухают почки, — по-детски жалобно пропел Бабкин. — Сам сочинил. Хорошие стихи?

— Вполне.

— В школе, когда учился, сочинял. В стенгазете печатали. — Он потрянул чубом, пальнул в меня черным монголистым глазом — верю или нет? — Тихонько рассмеялся. — Девчонки влюблялись.

— С твоей мордой да еще стишки!

— Во! Правильно! Потому и бросил: проходу не давали. А ты сочиняй, может, человеком станешь.

— Еще учитель нашелся!

— Обиделся? Постой, постой-ка. — Бабкин ухватил меня за рукав, остановил, взгляделся хмуровато в мое лицо. — Да ты что, по-серьезному больной?

— Не знаю.

— Температура есть?

— Небольшая.

— Лицо у тебя будто после парной. Может, назад повернем?

— Ерунда. Побродим.

Свернули с дороги, пошли по мягкому, насыщенному влагой снегу — он легко вминался под ногами, но где-то в глубине, спрессовываясь, держал крепко, почти как наст. Березовые релки чернели крутым, вытаявшими лбами — рифы среди снежного разлива, — туманились в исходящем от них теплом мареве, а снега так сияли, так слепили, что и вправду казались белой неподвижной водой. И было странно, смутно видеть, как эта вода выгибается округлыми холмами, круто лежит на склонах распадков, стенами поднимается в небо на дальних голых вершинах.

Мы подобрались к релке, плотно заросшей багульником, тронули жесткую, робко оживавшую листву. Невидимым облаком поднялись от земли терпкие скипидарные запахи, утопили нас в себе, отделили от белого мира зимы. На просохшей горбинке сели. Зеленоватый мох был теплым, скупое зацветал белесыми крапинками. А вверху, в неощутимом сквознячке, тоненько посвистывали черные березовые ветки, отягощенные вздутыми

пузырьками почек, и оттуда, словно после проливного дождя, падали редкие холодные капли.

Стужа пустого, светящегося неба, стужа земли — и этот холмик живого тепла. Будто взвешенный в пространстве. Неощутимость тела, болей, огорчений. И подсознательная радость: мое повышенное, горячее тепло помогает земле отогреваться.

— Ми-ро-во, — длинно выговорил в сырое пространство Бабкин, сбросил бушлат, шапку, пропустил растопыренную пятерню сквозь чуб, сграбастал его, потряс вместе с головой. — Понимаешь, мутно, как в кадushке с брагой.

Подошел к березе, провел ладонями по коре, постоял в обнимку и вынул из кармана складной нож. Щелкнул — лезвие сверкнуло, выстрелило. Показал мне: отличный, охотничий, сибирский нож.

— Напою соком.

С поваленного, сухого ствола снял кусок бересты, согнул корытцем, закрепил края — получился аккуратненький туесок. Вернулся к живой, выбранной березе, осторожно сделал поперечный надрез; от середины его провел продольный, пошевелил ножом, слегка приподняв кору, и в конец надреза вбил желобок, выстроганный из подсохшего сучка.

Желобок набух, уронил несколько мутных капель, а потом с его кончика засквозила прерывистая струйка сока. Когда она просветлела, засверкала дождевой ниткой, Бабкин поставил под нее туесок. Тугая береста тихонечко залопотала, забубнила.

Лег животом на бушлат, подпер ладонями подбородок.

— Смотри, — сказал через минуту. — Муравьишка бежит. — Подставил палец. — Смотри, сердится. Укусить хочет.

— Пусть бежит, не мешай.

— Да я так — интересно. Такой холод перемог.

— Голосков говорил: у нас не больше права на жизнь. Раздавишь просто так червяка, убьешь просто так ворону, обидишь просто так человека — считай, что и сам уже человек наполовину.

— Смешной был. Ему бы женщиной родиться.

— Или деревом.

— Ты немножечко смахиваешь на него.

— Спасибо.

— А я не хочу таким. Я переделаю себя. Как лейтенант Маевский буду — одни натянутые жилы.

— Для чего?

— Для жизни.

Я рассказал Бабкину о Беленьком, его письме к матери, о нашем разговоре. Он помолчал, похмурился, обдумывая мои слова, проговорил грустно:

— Я так о нем и думал. Просто мужик, потому и пергибает. Ему бы грамотешки поднабраться...

Рядом белела тоненькая березка, я качнул ее — сверху посыпалась роса. Вгляделся в редкую сетку ветвей, и на ровной голубизне неба проступили песчаные блестящие, как на оконном стекле после дождя: с кончиков сложенных веточек, с каждой почки свешивались, дрожали в холодке капельки сока. Я показал их Бабкину.

— Это для стишков, — смущенно, как-то по-девчоночьи усмехнулся он. — С почек — горький, не пробовал? Попробуй моего, — он поднялся, пошел к березе-донору; осторожно ступая, принес в протянутых ладошках берестовый туесок. — Пей свои сто пятьдесят. Законные.

— Полезно?

— Живая водица.

Туесок был полный, сок бугорком вспухал над его краями, и я медленно, словно кипятильник приблизил его к губам. Отпил. Сладковатая древесная прохлада пролилась внутрь меня. Выпил все, до белого донца. Отдал Бабкину туесок и сидел, явственно ощущая, как холод сока всасывает в себя мое повышенное тепло: будто понемногу приобщает, приспосабливает к открытому; ветренному, сырому простору.

Бабкин опять лег на бушлат, занемел, свел резкие скобки бровей, уставившись в жестколистый багульниковый лес. Он размышлял. А я не мог мыслить от шума, какой-то ослепленности, почти непроницаемой мутности в голове. Лишь раз отчетливо возникли белый халат, белый колпак, белые простыни... Я спросил себя: «Неужели серьезно?» — и зябко вздрогнул. Словно ощутив это, Бабкин быстро повернулся, сел, сцепил на коленях руки — хрустнули пальцы, как влажные ветки, — тяжело, с силой тряхнул головой.

— Послушай... Сейчас решил. Навсегда. Лежал — и решил. От всего этого: снега, земли, от тебя тоже. От

жизни. — Кивок головой, вдох, шумный выдох. — Женюсь на Кате. Мне она как память о войне будет. Еще как пример: она упрямая, мне души не хватает. Я только на вид строжусь. Ты знаешь. И она угадала. Говорит: «Я же тебе мама буду, а не женушка». Сама-то на пять лет младше меня. И еще... — Молчание, хруст пальцев, выдох. — Это главное. Как подумаю: ее никогда не будет, потеряю, как из рук выроню, — сам себя пугаюсь.

Мы встали, двинулись к дороге. Не говорили до самой казармы, и Бабкин не спрашивал у меня совета: теперь он был не нужен ему.

Перед сумерками пришел Иван Шемет, поставил на тумбочку ужин, сел на край кровати, очень весело хлопнул по одеялу. Похохотал. Заговорил о всяком разном: вот еду принес, узнав, что друг захворал, погуще по такому случаю кашицы всыпал, а вообще весна уже, скоро река тронется, водица заиграет и можно будет удочкой побаловаться. Веселил, щекотал, взбадривал. Пообещал вызвать в свой колхоз, назначить личным секретарем, когда сам на главного агронома выучится.

Спустя две недели меня пригласил в кабинет капитан Мерзляков. Был он чисто выбрит, держался легко и прямо, и руки у него не дрожали — выглядел так, словно навсегда перестал мучить его отполовиненный желудок. Улыбнулся мне. Неторопливо пожимая руку, поздравил с присвоением звания «старшина» и вручил удостоверение радиста первого класса. Выразил надежду, что «ценная армейская специальность» вообще пригодится мне в жизни («Считайте — вам повезло!»), пожелал дальнейших успехов.

Служба подходила к концу.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

*Часть первая*

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| ПРАЗДНИК БОЛЬШОЙ РЫБЫ . . . | 5 |
|-----------------------------|---|

*Часть вторая*

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ЖЕЛТЫЙ ХЭМЭКЭН . . . . . | 125 |
|--------------------------|-----|

*Часть третья*

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| БЕРЕГ ДОЛГОЙ ЗИМЫ . . . . . | 237 |
|-----------------------------|-----|

*Часть четвертая*

|                        |     |
|------------------------|-----|
| ВОЛНЫ ЛИМАНА . . . . . | 361 |
|------------------------|-----|

*Часть пятая*

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| СИГНАЛ ОПОВЕЩЕНИЯ . . . . . | 481 |
|-----------------------------|-----|

**Ткаченко А. С.**

**Т 48**    **Время долгой зимы. Повести. Хабаровск, Ки.**  
изд., 1974.

592 с. 75 000 экз. 1 р. 06 к.

Повести о детстве, которое прошло в амурских поселках и на берегу Охотского моря в трудное военное время. Об учебе в школе, ФЗО, о работе на рыбозаводе и службе в армии. Книга написана от первого лица. В повествовании много острых сюжетных коллизий.

**Т**    0-7-3-2—30  
**М160(03)-74** 20-74

**ДВР2**

**Анатолий Сергеевич Ткаченко**

**ВРЕМЯ ДОЛГОЙ ЗИМЫ**

Редактор *Ю. В. Ефименко*. Художник *В. А. Смирнов*.

Художественный редактор *А. В. Колесов*.

Технический редактор *Н. А. Лызова*. Корректор *Н. П. Рыжова*.

Сдано в набор 26/II 1974 г. Подписано к печати 22/V 1974 г.  
ВЛ 10331. Бумага типографская № 3. Формат 84×108/32. 31,08 усл.  
п. л. 31,63 уч.-изд. л. Тираж 75 000 (1 — 35 000) экз. Заказ 1875.  
Цена 1 р. 06 к.

Хабаровское книжное издательство Государственного комитета Советов Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.

Типография № 1 краевого управления издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.

1 р 06 к

